М. Горький

М. ГОРЬКИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

3

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО



М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

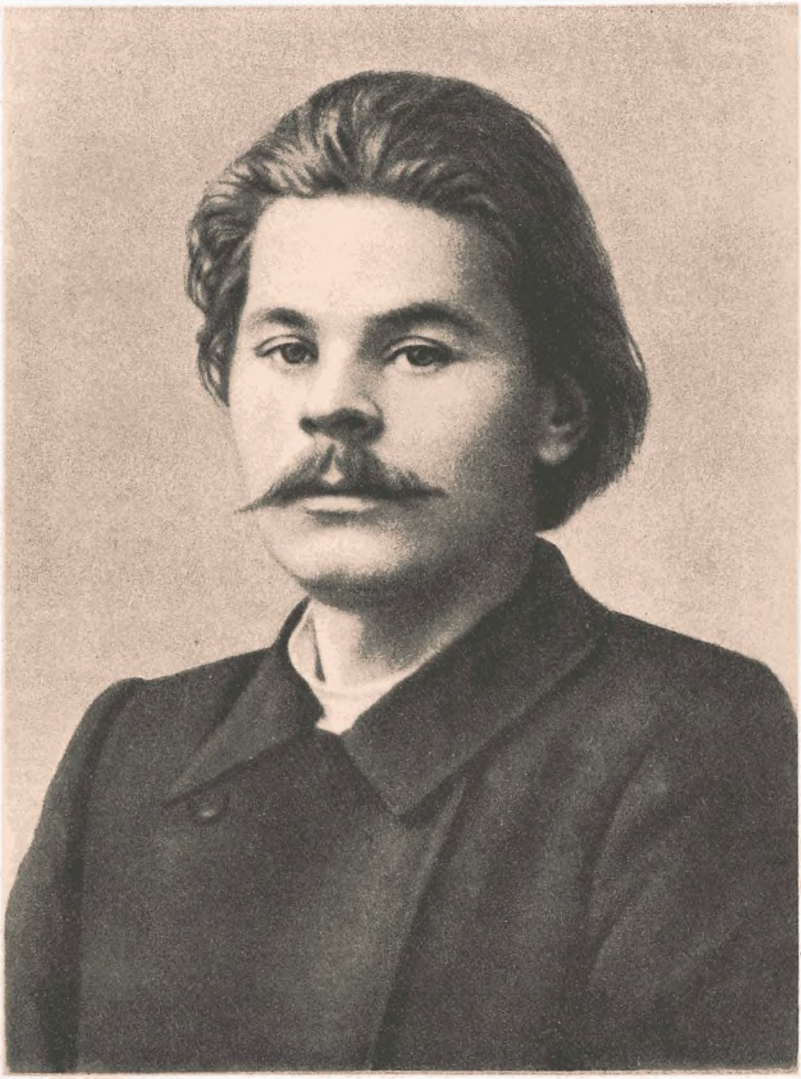
ТОМ ТРЕТИЙ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

1896—1897

МОСКВА · 1969

7-3-1
Подписное



А. М. ГОРЬКИЙ

Самара, 1898 г.

Фото Б. Бик
(кадр из группы)

I

КОНОВАЛОВ

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию».

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни,— я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

— Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми.— Корка сгорела! Хлеб

сырой! Ах ты, чёрт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнет-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, кацап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

— Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию?

— Слугу царя и отечества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволнованно сопя. Это всё, что он мог сделать,— было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил, хозяин скрежетал зубами, а мне в силу этого приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

— Ну, солдат,— сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой,— ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

— Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

— В поход собирайся! — ликовал хозяин.

— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

— Куда хочешь...

— Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат.

— А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего не-

сколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

— Ну, это ты врешь!..— с тревогой сказал он, вставая на ноги.

— Иди-ка, иди...

— Идти?

— Проваливай.

— Наработался, значит...— с горечью мотнул головой солдат.— Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты — паук!

— Я паук? — вскипел хозяин.

— Ты! кровососец паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

— Поди-ка вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись,— не возьмут! Нигде не возьмут...

— Нового наняли? — спросил я.

— Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница, и-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

— И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел, Лёса?

— Совсем,— отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босяк, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге

остатки резинового ботика, на другой — кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; всё это было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

«Вот я какой... Не обессудьте».

— Проходи, Сашок, вот тебе подручный,— говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

— Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки... Холста на колпак.

— Всё будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребятушки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение.

В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел всё это, вздохнул и спросил скучным голосом:

— Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

— Экая тюрьма! — вздохнул он.— Пойдем на улицу к воротам, посидим?..

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну,— не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой — бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

— Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня:

— Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай,— и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша! — читал я.— Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне

хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья — уехал, со мной не простился. Но всё же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке? Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это всё вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья.

Твоя Капитолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.

— А писать ты умеешь?

— Могу...

— А чернила у тебя есть?

— Есть.

— Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл... Напиши!

— Изволь. Она кто?..

— Проститутка... Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья.

Твой Александр».

— Гм...— сказал Коновалов, почесав голову,— а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал...

— Да зачем это?

— А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил:

— Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший,— мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

— Капитолина? Девочка она,— совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом... Я — смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю: «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу — погоди!» И всё у меня было готово, деньги и всё... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

— Что же ты,— спросил я его,— жениться хочешь на ней?

— Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет — может, человеком будет.

— Она с тобой хочет жить...

— Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы... Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы — как углей каленых в сердце

всыплет. Так ты весь и задрожишь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама всё плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребёнок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего,— очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше...

— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я.

— А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И всё мне в ту пору противеет—и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они — не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого роду была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с этаким-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго — привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то — на даче когда жили,— бывало, поедем с ней кататься — во весь дух она любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда

я не забуду одной — о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и всё такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была— вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и всё такое — женщина, как женщина... а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее — тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня».— «Прощай, говорит, Саша». И — чудна́я — обнажила мне руку по локоть да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

— Чудачка! Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова...

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди,— это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец, его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

— Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко...

— Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего,— он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было,— верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду,— так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это

М. Горький.

Очерки и разсказы.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. Челкашъ.
2. Пѣсня о соколѣ.
3. На плотахъ.
4. Тоска.
5. Зазубрина.
6. Дѣдъ Архипъ и Ленька.
7. Скуки ради.
8. Емелька.
9. Мальвъ Чудра.
10. Супруги Орловы.

ИЗДАНІЕ

С. Дороватовскаго и А. Чарушникова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Паровая скоропечатня И. А. Богельманъ, Невскій 146.
1898.

«ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ».
Титульный лист второго тома.

всё равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают — видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти не подобающие ему речи?»

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, всё более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая груда углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно...

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них — большая — блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее,— едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

— Ты простой парень! Хорошо это! — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату,— я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев — пышных, румяных и высоких — не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно

всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...

И мне было приятно смотреть на <этого гигантского> ребенка, влагавшего всю душу в работу свою,— как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

— Саша, говорят, ты поешь хорошо?

— Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И ежели петь начну — затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты,— штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

— Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

— Про что книжка?

Это были «Подлиповцы».

— Почитай вслух, а?..— попросил он.

И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами,— у меня до сей поры они в памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных белых зубов. Поднятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки,

которыми он охватил колени,— вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец я устал и закрыл книгу.

— Всё уж? — шёпотом спросил меня Коновалов.

— Меньше половины...

— Всю вслух прочитаешь?

— Изволь.

— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

— Как ты это читаешь! — шёпотом заговорил он.— На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это всё правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь — читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... Всё это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмурив брови, изредка кратко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одеревенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

— Хорошо? — спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шёпотом заговорил:

— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно.

За сердце берет — вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

— То есть как?

— Ну, например, дали ему награду или что там?

— А за что ему нужно дать награду? — спросил я.

— Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и...

— И — что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но — увы! — она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал наконец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он.

— Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове.

— Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

— Как всё это премудро, господи! — вполголоса заговорил он.— Написал человек книгу... бумага и на ней точечки разные — вот и всё. Написал и... умер он?

— Умер,— сказал я.

— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди — Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем — ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь,

а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?.. А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям...

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

— Порядки,— вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки — единственной утехи их многотрудной жизни.

— Да разве такие люди пьют? — шёпотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям.— Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

— Конечно, после,— решил Коновалов.— Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И вольют тоску в книги... Это уж не помогает, потому — сердце тронуто, из него тоски огнем не выжжешь... Остается— водкой ее заливать. Ну и пьют... Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости.

— Ну, и по всей правде,— продолжал он развивать психологию сочинителей,— следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например,— что такое? Босяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле, и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет,— понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы,

что ли? Ну, нет во мне одной штуки — и всё тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне неизвестно...

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы.

— Ну, и что же дальше? — допытывался я.

— Дальше?.. Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне,— мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о людях — владыках ее.

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу всё резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило всё это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал:

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Всё из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих незадачах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе

не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босяком — потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно́: воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как всё это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!..

— Погоди,— сказал я,— ты согласен со мною? Верно я говорил?

— Тебе лучше знать, верно или нет,— ты грамотный... Оно, пожалуй,— ежели взять других,— так верно... А вот ежели я...

— То что?

— Ну, я — особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его — однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит — во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...

Он — этот большой человек с ясными глазами ребенка — с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее ненужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничижением, до той поры еще невиданным мною у босяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда всё винили, на всё жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости,— они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не

винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собою за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босяка,— хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы городов,— из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно — особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Мы с ним спорили всё жарче.

— Да погоди,— кричал я,— как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячась и сверкая глазами.

— Да во что упереться?

— Найди свою точку и упрись!

— А ты чего же не упирался?

— Вот я те и говорю, чудак-человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу!

Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу пра-

вильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов.

— Есть...

— Почитаешь мне?

— Ладно...

— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину — тебе!

— На что?

— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи — хоть две. Мне — которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этакие, вот как у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил — почему, он

даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

— Читай — ничего! Это я так...

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь волжской вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой,— он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и всё то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам,— теперь потемневшим и суженным,— исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

— Читай,— тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он всё более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе.

У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

— Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью

тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул их на пол...»

— Будет!.. К чёрту! — крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу.— Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей перед нами мучительной и жестокой картины пыток.

— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне.— А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

— Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы всё говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он — экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила «съехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

— Ах, шельма клейменая,— ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось — незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коновалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, всё лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции,— стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» — печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити — это была правда, и встречались нити ярких цветов — ложь. Такое кружево падало на

мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас — я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот,— выслушав такую историю, всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

— Не веришь, Лёса? — восклицал рассказчик.

— Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь — врет он, верь ему, слушай и старайся понять: почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?

— Верно,— соглашается рассказчик.— А все-таки ты это к чему головой-то качал?

— К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают,— значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить?

— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал,— говорят Коновалову.

— А кто должен строить жизнь? — победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: — Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша

жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора — это мы! Ну, а известно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое: никто ни в чем не виноват пред нами, каждый виноват сам пред собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлипкие и решительно не способные ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в грязи.

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

— Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по нескольку часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался

каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

— Эх!.. Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красой природы...

Как всё — и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговорил и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев, и, когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

— Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за всё время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

— Извините...

— Кого нужно? — спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

— Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову — в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых красных губ.

— Здесь! — ответил я ей.

— Здесь, здесь! — вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к гостье.

— Сашенька! — глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней.

— Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! — торопливо изъяснялся перед ней Коновалов, всё еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

— Максим... ты, брат, воюй один сегóдня, а я займусь вот по дамской части... Где же ты, Капа, остановилась?

— А я прямо сюда, к тебе...

— Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте... в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра; но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чаянии видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событию настроением моего друга.

— Ничего...— уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

— Нет, все-таки?..— настаивал я.

— Да что тебе? — устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе.— Все-таки... все-таки... Все-таки — баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и наконец он дал мне его такими приблизительно словами:

— Говорю — баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется — значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу — почему... Вот она, Капитолина, какую линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем несообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня — запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить...» — и прочее такое, очень многое... А она: «Запой — наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю — жизнью такой жить не умею, не научусь». А она: «А я, говорит, в речку прыгну!» А я ей: «Ду-урра!» А она ругаться, да ведь ка-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный чёрт!..» И почала, и почала... просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с ней делать?

— Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил?— спросил я.

— Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрязает человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решился. Какие

резоны были! Мог бы с приданым и... всё такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она... это, конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

— Максим! — просительно и сконфуженно заговорил он,— пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!

— Что же я ей скажу?

— Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А то скажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!

— Да ведь это неправда? — засмеялся я.

— Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, чёрт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно — ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он всё ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

— И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

— Нет, меня на такого червя не поймаешь, я рыба крупная! — хвастливо воскликнул он.— Я вот как возьму да... а что в самом деле? — И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

— Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения:

я питал надежду выучить его грамоте и передать ему всё то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово всё лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...

— Ну, это уж ты ерундишь! — несколько смущенно сказал я ему.

— Да что ж мне делать? — воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать.

И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.

Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

— Не попала! — визгливо кричали в него.— Плохо метила. А уж бы...

— П'дё-ем! — рычал зверский бас.— П'дё-ем, а я его после уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

— Это она! — тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

— Да п'дё-ем! — лопотал бас.

— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай...— следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидал Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом...

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, всё рычал:

— П'дё-ем!..

— Сашка! Погубил ты меня... помни! Будь проклят, рыжий чёрт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеялась я... Насмеялся ты, злодей, надо мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчик.

— Я не спрятался...— подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов.— Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел; добро будет — думал, а ты понесла совсем несообразное...

— Сашка! Можешь ты меня убить?

— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы... завтра!..

— Сашка! Саша! Утопи меня!

— Бу-удет! П'дё-ем!

— Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

— Что за шум, а? Кто такие?

Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

— Зачем я в тебя, чёрт, поверила...— рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня...

— Не хочу в полицию! Са-аша! — тоскливо вопила девушка.

По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычание, вопли...

— Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Всё это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что всё это

было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

— Всё!..— как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

— Как она меня!..— с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник.— В полицию попала... пьяная... с каким-то чёртом. Скоро как порешила! — Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он всё это не понимал, не знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им — стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дё-ем!..» — всё это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

— Вот так раз! — восклицал он.— Ловко! Ну, и... что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?

В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

— И зачем я ее тронул с того места! — каялся Коновалов.— Эхма! ведь как она теперь на меня... Я пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю... как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово... я — скоро!

И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни.

Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру — хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

— Что же, ты видел ее? — спросил я.

— Затем и ходил.

— Ну так что же?

— Ничего.

Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной головой и всё с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

— Вот и порешили с человеком,— медленно заговорил Коновалов.— А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смиренство... ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смирная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и никакого призору за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может понимать.

— Ну так как же ты с Капитолиной-то? — спросил я.

— А? — встрепенулся он.— С Капкой? Шабаш...— Он решительно махнул рукой.

— Кончил, значит?

— Я? Нет... она сама кончила.

— Как?

— Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Всё по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трещали. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы — не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я вынул хлебы, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу: Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, перевертывает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

— А я думал, ты спишь...— смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что... Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые — ничего себе... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который в начале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки.— Он перевел дух и продолжал просительно: — Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания...

— Максим!..

— А?

— Как меня Капитолина-то раскрашивала!

— Да ладно уж... Будет тебе...

— Конечно, теперь уж нечего... А что, скажи мне... вправе она?..

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

— Вот и я тоже так полагаю... Вправе...— уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, постланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

— Ты где был?

— Ходил Капку посмотреть.

— Ну и что?

— Шабаш, брат! Ведь я те говорил...

— Ничего, видно, не поделаешь с этим народом...— попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

— Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть заразный человек... Не доля мне жить на свете... Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь ежели подумать — кому я всей моей жизнью удовольствие принес? Никому! А тоже, со многими людьми имел дело... Тлеющий я человек...

— Это чепуха!..

— Нет, верно!..— убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни...

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск.

— Саша, ты что? — спросил я его.

— Запой начинается,— объяснил он.— Скоро я начну водку глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжоги, знаешь... Пришло время... Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул сколько-нибудь. Ну — ест меня это дело... Как так? Желал я человеку оказать добро — и вдруг... Совсем несообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?.. Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

— Ну тебя... Слыхал я это... Тут не в жизни дело, а в человеке... Первое дело — человек... понял? Ну, и больше никаких... Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там всё это переделается, человек все-таки должен оставаться как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было и светло и не тесно на земле,— вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

— Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

— Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать...

— А может, оправится?!.

— Ну, как же, жди... Знаю я его...

Я пошел в «Стенку» — кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в

земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли завсегдатаи — темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб донага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины...

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги и одежа... Дня на три хватит всего. Всё пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить здесь не хочу.

— Город сквернейший,— сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

— Работа? — вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: — Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право всё пропить и даже возводя это право на степень непременной обязанности — именно с ними пропить.

— А, Максим... и котомка с ним! — скаламбурил Коновалов, увидав меня.— Ну-ка, книжник и фарисей,— тяпни! Я, брат, окончательно спрыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос... Когда одни волосы на теле останутся — кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась — его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

— Брось, Саша, уйдем отсюда,— сказал я, положив ему руку на плечо.

— Бросить?..— Он засмеялся.— Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это — может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу... Чего мне

делать? Ведь я чувствую, всё чувствую, всякое движение жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую — и пью, потому что больше мне делать нечего... Выпей!

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова — угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

— Братцы! Это мой товарищ,— ученый, чёрт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу... Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... ведь Пила-то — это я? Максим!.. И Сысойка — я... Ей-богу! Вот и объяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

— Потерянный я человек... Зачем меня мать на свет родила? Ничего неизвестно... Темь!.. Теснота!.. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином — получи и дай мне, я их пропью... Нет! Возьми себе на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли так... Уйди от меня! У-уходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он — меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и

глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал,— было до слез жалко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоти доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму,— всё было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и один из них поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

— Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? — прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку.— Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она... Потом еще будут люди... Найдем! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми с собой книги... будешь читать про Стеньку и про других... Друг! Ах и тошно мне, тошно мне... то-ошно-о!..

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

— Пей, ребята! — крикнул Коновалов.— Пей! Отводи душу — дуй вовсю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стонала и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающаго, что если онъ захочетъ, одно движеніе—и вся работа лилипутовъ исчезнетъ.

Оно лежало, ослѣпляя глаза своимъ блескомъ—большое, сильное, доброе, и его могучее дыханіе вѣяло на берегъ, освѣжая истомленныхъ людей, трудящихся надъ тѣмъ, чтобы стѣснить свободу его волнъ, которыя теперь такъ кротко и звучно ласкаютъ изуродованный берегъ. Оно какъ бы жалѣло ихъ:—вѣка его существованія научили его понимать, что не тѣ злоумышляютъ противъ него, которые строятъ; оно давно уже знаетъ, что это только рабы, ихъ роль бороться со стихіями лицомъ къ лицу, а въ этой борьбѣ готова и месть стихіи имъ. Они все только строятъ, вѣчно трудятся, ихъ потъ и кровь—цементъ всѣхъ сооруженій на землѣ; но они ничего не получаютъ за это, отдавая всѣ свои силы вѣчному стремленію сооружать—стремленію, которое создаетъ на землѣ чудеса, но все-таки не даетъ людямъ крова и слишкомъ мало даетъ имъ хлѣба. Они—тоже стихія, и вотъ почему море не гнѣвно, а ласково смотритъ на ихъ трудъ, отъ котораго имъ нѣтъ пользы. Эти сѣрые маленькіе черви, такъ источившіе гору—то же самое, что и его капли, которыя первыми идутъ на неприступныя и холодныя скалы береговъ, въ вѣчномъ стремленіи моря расширить свои предѣлы, и первыми гибнутъ, разбиваясь о нихъ. Въ массѣ эти капли тоже родственны ему, тогда онѣ совсѣмъ какъ море, такъ же мощны и такъ же склонны къ разрушенію, чуть только вѣяніе бури пронесется надъ ними. Морю издревле вѣдомы и рабы, строившіе пирамиды въ пустынѣ, и рабы Ксеркса, смѣшного человѣка, который думалъ показать море тремя стами ударовъ за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, ихъ всегда плохо кормили, и они вѣчно исполняли великое и чудесное, иногда ороготворяя тѣхъ, кто за-

ЦЕНЗОРСКИЕ ВЫЧЕРКИ В РАССКАЗЕ «КОНОВАЛОВ», ЗАПРЕЩЕННОМ К ПЕЧАТИ В 1905 ГОДУ.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности,— одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя всё и грязно, но всё так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творилах цемент и, делая из него саженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темно-коричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в облаках

каменной пыли, в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево сваи, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

— Бе-е-ри-и!

И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла густая пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой, ду-убинушка,
У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно

улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение — и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском,— большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они всё только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению сооружать,— стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору,— то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море,— так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремястами ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли...

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах, узких у голени, но — с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастием губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выделялись — и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи — из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы — сравнительно с работой на тачках и с киркой — более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть, «заедавшем» веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

— Дерни!

Веревку лениво дергали.

— Сто-ой!.. Ищё дерни. Сто-ой! П'шел!..

Запевала — давно небритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

— Ба-аба сваю в землю гонит...

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

— Поше-ол! — неистово заорал сверху копра нарядчик.— Заржали!..

— Митрич,— лопнешь!..— предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это — Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

— О-о-ух! о-о-ох! — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх всё на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал всё слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи — все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому.

Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему

лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

— Коновалов!

— Постой... — он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

— Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна, канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже — солдат, по роже — студент! Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... всё!..

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец мне удалось-таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

— А это, видишь ты... история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула — местечко этакое есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! Кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну — бежать! Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муромский!.. Его тоже скоро в госпиталь положили — контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: «Это, говорит, я тебя полоснул?» — «Надо быть, ты, коли признаешь».— «Должно, я, говорит;

ты, говорит, не сердись — служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили — брюхо подпороли. Ничего не поделаешь: жизнь — игра серьезная». Ну, мы и подружились с ним. Хороший солдатик — Яшка Мазин... А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним, валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался — возится со мной, как с дитей, а на что я ей нужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю — нет ли, мол, чего этакого? Принесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и всё у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил — на кой чёрт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

— Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

— А — выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки и будет. Денег у меня есть рубля три да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдем со мной к нам... Мы не в бараке, а тут поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительства. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет — лихорадка его скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику... я скоро!..

Он быстро встал и пошел как раз в то время, когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

— 27 —

смотрѣлъ на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогожѣ, брошенной около ларя. Пахло горячимъ хлѣбомъ, кислымъ тѣстомъ, углекислотой... Свѣтало и въ стекла оконъ, покрытыя пленкой мучной пыли, смотрѣло сѣрое небо. Грохотала телѣга, и пастухъ игралъ, собирая стадо.

Коноваловъ храпѣлъ. Я смотрѣлъ, какъ вздымалась его широкая грудь, и обдумывалъ разные способы наискорѣйшаго обращенія его въ мою вѣру, но ничего не выдумалъ и заснулъ.

Поутру мы съ нимъ встали, поставили опару, умылись и сѣли на ларѣ пить чай.

— Что, у тебя есть книжка?—спросилъ Коноваловъ.

— Есть...

— Почитаешь мнѣ?

— Ладно...

— Вотъ хорошо! Знаешь что? Проживу я мѣсяцъ, возьму у хозяина деньги и половину—тебѣ.

— На что?

— Купи книжекъ... Себѣ купи, которыя по вкусу тамъ, и мнѣ купи, хоть двѣ. Мнѣ, которыя про мужиковъ. Вотъ въ родѣ Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, съ жалостью было написано, а не смѣха ради... Есть иныя—чепуха совсѣмъ! Панфилка и Филатка—даже съ картинкой на первомъ мѣстѣ—дурость! Пошехонцы... сказки разныя. Не люблю я это все. Я не зналъ, что есть этакія, вотъ какъ у тебя.*

Я еще нѣсколько разъ читалъ ему «Тараса Бульбу» и «Бѣдныхъ людей». «Тарасъ» тоже очень понравился моему слушателю, но онъ не могъ затемнить яркаго впечатлѣнія отъ книги Костомарова. Макара Дѣвушкина

М. ГОРЬКИЙ. «ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ».

Страница из первого издания С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1898 г., с пометами Горького.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдали. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русых кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень удобной для человеческого жительства». На самом деле «дыра» была весьма удобна — в горе когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа.

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пілтавы»,— задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие

черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширм, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели: справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море, пред нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой своих оттенков...

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

— Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

— Каждый раз, как я бываю у моря, я всё думаю — чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно — ласковое такое... хорошие думы от него в душе у человека. А ну, расскажи, как ты сам жил в эти годы?

Я стал рассказывать ему. Море вдали уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей заката.

— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься,— убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею.— И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны — это всего лучше. Идешь и всё видишь новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни от кого

стеснения: захотелось есть — пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы—попроси хлеба, дадут. Так — хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхоличный звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком...

— Костер бы...— сказал он, покашливая.

— Можно...

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось всё тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбачьих лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

— Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь! Нет, вот она жизнь, вот как мы...

— Ого,— тряхнул головой хохол,— коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь...— Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

— Н-да,— смутился тот,— зима — треклятое время. Для зимы города действительно нужны... тут уж ничего не поделаешь... Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-

трое ужиться между собой не могут?.. Я — вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь...

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля всё тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Всё та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и всё там... что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

— А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

— Нет, скажи ты мне...— спрашивал Коновалов,— почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и всё прочее?.. И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

— Вот скулит человек,— удивился хохол.— Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

— Верно...— грустно согласился Коновалов.

— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать,— с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас всё было глухо, завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было

видимо нам,— так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

— А поляжемте спать,— предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и всё стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!»

...Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся.

Не пришлось...

ВАРЕНЬКА ОЛЕСОВА

I

...Через несколько дней после назначения приват-доцентом в один из провинциальных университетов Ипполит Сергеевич Полканов получил телеграмму от сестры из ее имения в далеком лесном уезде, на Волге.

Телеграмма кратко сообщала:

«Муж умер, ради бога немедленно приезжай помочь мне. Елизавета».

Этот тревожный призыв неприятно взволновал Ипполита Сергеевича, нарушая его намерения и настроение. Он уже решил уехать на лето в деревню к одному из товарищей и работать там, чтобы с честью приготовиться к лекциям, а теперь нужно ехать за тысячу с лишком верст от Петербурга и от места назначения, чтоб утешать женщину, потерявшую мужа, с которым, судя по ее же письмам, ей жилось не сладко.

Последний раз он видел сестру года четыре тому назад, переписывался с нею редко, между ними давно уже установились те чисто формальные отношения, которые так обычны между двумя родственниками, разъединенными расстоянием и несходством жизненных интересов. Телеграмма вызвала у него воспоминание о муже сестры. Это был добродушный человек, любивший выпить и покушать. Лицо у него круглое, покрытое сетью красных жилок, глазки веселые, маленькие; он плутовато прищуривал левый и, сладко улыбаясь, пел на сквернейшем французском языке:

Regardez par-ci, regardez par-là... [1]

---

[1] Смотрите здесь, смотрите там...

Ипполиту Сергеевичу было как-то неловко верить, что этот веселый малый умер, потому что люди пошлые обыкновенно долго живут.

Сестра относилась к слабостям этого человека с полупрезрительным снисхождением; как женщина неглупая, она понимала, что «в камень стрелять — только стрелы терять». Едва ли ее сильно огорчила смерть мужа.

Но отказать ей в просьбе было бы неудобно. Работать можно и у нее не хуже, чем где-нибудь...

Ипполит Сергеевич решил ехать, и недели через две, теплым июньским вечером, утомленный сорокаверстным путешествием на лошадях от пристани до деревни, он сидел за столом против сестры на террасе, выходившей в парк, и пил вкусный чай.

У перил террасы пышно разрослись кусты сирени, акаций; косые лучи солнца, пробиваясь сквозь их листву, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами. Узорчатые тени лежали на столе, тесно уставленном деревенскими яствами; воздух был полон запахом липы, сирени и влажной, согретой солнцем земли. В парке шумно щебетали птицы, иногда на террасу влетала пчела или оса и озабоченно жужжала, кружась над столом. Елизавета Сергеевна брала в руки салфетку и, досадливо размахивая ею в воздухе, изгоняла пчел и ос.

Полканов уже успел заметить, что сестра — как он и думал — не особенно огорчена смертью мужа, что она смотрит на него, брата, испытующе и, говоря с ним, что-то скрывает от него. Он ожидал увидеть ее нервной, бледной, утомленной. Но теперь, глядя на ее овальное лицо, покрытое здоровым загаром, спокойное, уверенное и оживленное умным блеском светлых глаз, он чувствовал, что приятно ошибся, и, следя за ее речами, старался подслушать и понять в них то, о чем она молчала.

— Я была подготовлена к этому,— говорила она спокойным контральто, и ее голос красиво вибрировал на верхних нотах.— После второго удара он почти каждый день жаловался на колотья в сердце, перебои, бессонницу... Говорят, он там очень волновался, кричал... накануне он ездил в гости к Олесову — тут есть один помещик, полковник в отставке, пьяница и циник,

разбитый подагрой. Кстати, у него есть дочь,— вот сокровище, я тебе скажу!.. Ты познакомишься с ней...

— Если нельзя избежать этого,— вставил Ипполит Сергеевич, с улыбкой взглянув на сестру.

— Нельзя! Она часто бывает здесь, а теперь, конечно, будет еще чаще,— ответила она ему улыбкой же.

— Ищет жениха? Я не гожусь для этой роли.

Сестра пристально посмотрела в его лицо, овальное, худое, с острой черной бородкой и высоким белым лбом.

— Почему же не годишься? Я, конечно, говорю вообще, без мысли об этой Олесовой — ты поймешь почему, когда увидишь ее,— но ведь ты думаешь же о женитьбе?..

— Пока еще нет,— кратко ответил он, подняв от стакана свои глаза, светло-серые с сухим блеском.

— Да,— задумчиво сказала Елизавета Сергеевна,— в тридцать лет делать этот шаг для мужчины и поздно и рано...

Ему нравилось, что она перестала говорить о смерти мужа, но — зачем же, однако, она так пугливо позвала его к себе?

— Нужно жениться в двадцать лет или в сорок,— задумчиво говорила она,— так меньше риска обмануться самому и обмануть другого человека... а если и обманешь, то в первом случае платишь ему за это свежестью своего чувства, во втором же... хотя бы внешним положением, которое почти всегда солидно у мужчины в сорок лет.

Ему казалось, что она говорит это больше для себя, чем для него, он молчал, откинувшись в кресло, глубоко вдыхая ароматный воздух.

— Так я говорила — накануне он был у Олесова и, конечно, пил там. Ну и вот...— Елизавета Сергеевна печально тряхнула головой.— Теперь я... осталась одна... хотя я уже с третьего года жизни с ним почувствовала себя внутренно одинокой. Но теперь такое странное положение! Мне двадцать восемь лет, я не жила, а состояла при муже и детях... дети умерли. Что я теперь? Что мне делать и как жить? Я продала бы это имение и поехала за границу, но его брат претендует на наследство, возможен процесс. Я не хочу уступать своего без закон-

ных к тому оснований и не вижу их в претензии его брата. Как ты об этом думаешь?

— Ты знаешь, я не юрист,— усмехнулся Ипполит Сергеевич.— Но ты расскажи мне всё это... посмотрим. Этот брат — он писал тебе?

— Да... и довольно грубо. Он — жуир, разоренный, сильно опустившийся... Муж не любил его, хотя в них много общего.

— Посмотрим! — сказал Ипполит Сергеевич и довольно потер руки. Ему было приятно узнать, зачем он нужен сестре,— он не любил ничего неясного и неопределенного. Он заботился прежде всего о сохранении внутреннего равновесия, и если нечто неясное нарушало это равновесие — в душе его поднималось смутное беспокойство и раздражение, тревожно побуждавшее его поскорее объяснить это непонятное, уложить его в рамки своего миропонимания.

— Говоря откровенно,— тихо и не глядя на брата объяснила Елизавета Сергеевна,— меня испугала эта нелепая претензия. Я так утомлена, Ипполит, так хочу отдохнуть, а тут опять что-то начинается.

Она тяжело вздохнула и, взяв его стакан, продолжала унылым голосом, неприятно щекотавшим нервы ее брата:

— Восемь лет жизни с таким человеком, как покойный муж, мне кажется, дают право на отдых. Другая на моем месте — женщина с менее развитым чувством долга и порядочности — давно бы порвала эту тяжелую цепь, а я несла ее, хотя изнемогала под ее тяжестью. А смерть детей... ах, Ипполит, если бы ты знал, что я переживала, теряя их!

Он смотрел в лицо ей с выражением сочувствия, но ее жалобы не трогали его души. Ему не нравился ее язык, какой-то книжный, несвойственный человеку, глубоко чувствующему, а светлые глаза ее странно бегали из стороны в сторону, редко останавливаясь на чем-либо. Жесты у нее были мягкие, осторожные, и от всей ее стройной фигуры веяло внутренним холодом.

На перила террасы села какая-то веселая птичка, попрыгала по ним и упорхнула. Брат и сестра, проводив ее глазами, несколько секунд молчали.

— Бывает у тебя кто-нибудь? Читаешь ты? — спросил брат, закуривая папиросу и думая о том, как хорошо было бы в этот славный тихий вечер молчать, сидя в покойном кресле тут на террасе, слушая тихий шелест листвы и ожидая ночь, которая придет, погасит звуки и зажжет звезды.

— Бывает Варенька, потом изредка заезжает Банарцева... помнишь ее? Людмила Васильевна... Она тоже плохо живет со своим супругом... но она умеет не обижать себя. У мужа много бывало мужчин, но интересных — ни одного! Положительно не с кем словом перекинуться... хозяйство, охота, земские дрязги, сплетни — вот и всё, о чем они говорят... Впрочем, один есть... кандидат на судебные должности Бенковский... молодой и очень образованный. Ты помнишь Бенковских? Подожди! Кажется, едет.

— Кто едет, этот Бенковский? — спросил Ипполит Сергеевич.

Его вопрос почему-то рассмешил сестру; смеясь, она встала со стула и сказала каким-то новым голосом:

— Варенька!

— А!

— Посмотрим, что ты о ней скажешь... Здесь она всех победила. Но какой же это урод с духовной стороны! А впрочем — вот сам увидишь!

— Не хотел бы,— равнодушно заявил он, потягиваясь в своем кресле.

— Я сейчас вернусь,— сказала Елизавета Сергеевна, уходя из комнаты.

— А она без тебя явится,— обеспокоился он.— Не уходи, пожалуйста, лучше я уйду!

— Да я сейчас же! — крикнула ему сестра из комнат.

Он поморщился и остался в своем кресле, глядя в парк. Откуда-то доносился быстрый топот лошади и шорох колес о землю.

Перед глазами Полканова стояли ряды старых корявых лип, окутанные сумраком вечера. Их ветви переплелись друг с другом, образовали вверху густой навес пахучей зелени, и все они, дряхлые от времени, с потрескавшейся корой, с обломанными сучьями, казались живой и дружной семьей существ, тесно сплоченных

стремлением вверх, к свету. Но кора их стволов была сплошь покрыта желтым налетом плесени, у корней густо разросся молодятник, и от этого на старых мощных деревьях было много засохших ветвей, висевших в воздухе безжизненными скелетами.

Ипполит Сергеевич смотрел на них и чувствовал желание уснуть тут в кресле, под дыханием старого парка.

Между стволов и ветвей просвечивали багровые пятна горизонта, и на его ярком фоне деревья казались еще более мрачными, истощенными. По аллее, уходившей от террасы в сумрачную даль, медленно двигались густые тени, и с каждой минутой росла тишина, навевая какие-то смутные фантазии. Воображение, поддаваясь чарам вечера, рисовало из теней силуэт одной знакомой женщины и его самого рядом с ней. Они молча шли вдоль по аллее туда, вдаль, она прижималась к нему, и он чувствовал теплоту ее тела.

— Здравствуйте! — раздался густой грудной голос.

Он вскочил на ноги и оглянулся, немного смущенный.

Пред ним стояла девушка среднего роста в сером платье, на голове у нее было накинуто что-то белое и воздушное, как фата невесты,— это всё, что он заметил в первое мгновение.

Она протягивала ему руку, спрашивая:

— Ипполит Сергеевич, да? Олесова... Я уже знала, что вы приедете сегодня, и явилась посмотреть, какой вы. Никогда не видала ученых и... не знала, что они могут быть такие.

Его руку крепко пожимала сильная и горячая маленькая ручка, а он, немного растерявшись под этим натиском, молча кланялся ей, сердился на себя за свое смущение и думал, что когда он взглянет ей в лицо, то на нем увидит откровенное и грубое кокетство. Но, взглянув, он увидал большие темные глаза, они простодушно и ласково улыбались, освещая красивое лицо. Ипполит Сергеевич вспомнил, что такое же лицо, гордое здоровой красотой, он видел на одной старой итальянской картине. Такой же маленький рот с пышными губками, такой же лоб, выпуклый и высокий, и огромные глаза под ним.

— Позвольте... я скажу, чтоб дали огня... пожалуйста, садитесь,— попросил он ее.

— Да вы не беспокойтесь, я ведь здесь как дома,— сказала она, садясь в его кресло.

Он стоял у стола и молча смотрел на нее, зная, что это неловко и что ему нужно говорить. Но она, не смущаясь под его пристальным взглядом, сама спрашивала его, как он доехал, нравится ли ему деревня, долго ли он тут проживет; он односложно отвечал ей, точно оглушенный ударом; ум его, всегда ясный, теперь смутился перед силой внезапно и хаотически взволнованных чувств. Восхищение пред ней боролось с раздражением на себя и любопытство — с чем-то близким к боязни. Цветущая здоровьем девушка сидела против него, откинувшись на спинку кресла, плотно обтянутая материей костюма, позволявшего видеть пышные формы ее плеч и груди, и звучным голосом, полным властных нот, говорила ему пустяки, обычные при первой встрече незнакомых людей. Ее темно-каштановые волосы красиво вились, брови были темнее волос. На смуглой шее около розового прозрачного уха трепетала кожа, обнаруживая быстрое движение крови в ее жилах, на подбородке являлась ямка всякий раз, когда улыбка открывала ее белые мелкие зубы, и от каждой складки ее платья веяло раздражающим соблазном. Было нечто хищное в мелких зубах, блестевших из-за сочных губ, а ее поза, полная непринужденной прелести, напоминала о грации избалованных кошек.

Полканову казалось, что он раздвоился: одна половина его существа поглощена этой чувственной красотой и рабски созерцает ее, другая механически отмечает состояние первой. Он отвечал на вопросы девушки и сам о чем-то спрашивал ее, будучи не в состоянии оторвать глаз от ее соблазнительной фигуры. Он уже назвал ее про себя «роскошной самкой» и внутренно усмехнулся над собой, но это не уничтожило его раздвоения.

На террасе появилась его сестра, говоря:

— Скажите, какая ловкая! Я ее ищу там, а она уже...

— Я обошла парком.

— Познакомились?

— О да! Я думала, что Ипполит Сергеевич по крайней мере лысый!

— Налить тебе чаю?

— Пожалуй, налей.

Ипполит Сергеевич отошел в сторону от них и стал у лестницы, спускавшейся в парк. Он провел рукой по лицу и потом пальцами по глазам, точно стирал пыль с лица и глаз. Ему стало стыдно перед собой за то, что он поддался взрыву чувства, стыд уступил место раздражению против девушки. Он назвал про себя сцену с ней казацкой атакой на жениха, и ему захотелось заявить ей о себе как о человеке, равнодушном к ее вызывающей красоте.

— Я ночую у тебя и завтра пробуду весь день...— говорила она его сестре.

— А как же Василий Степанович? — удивленно спросила сестра.

— У нас гостит тетя Лучицкая... Ты знаешь, папа очень любит ее...

— Извините меня,— сказал Полканов,— я очень утомлен и пойду отдохну...

Он поклонился и пошел, а вслед ему раздалось одобрительное восклицание Вареньки:

— Вам давно следовало это сделать!

В тоне ее восклицания он услыхал только добродушие, но определил его как заискивающее, фальшивое.

Для него была приготовлена комната, служившая кабинетом мужу сестры. Среди нее стоял тяжелый и неуклюжий письменный стол, перед ним дубовое кресло, у одной из стен, почти во всю длину ее, развалился широкий турецкий диван, у другой — фисгармония и два шкапа с книгами. Несколько мягких стульев, курительный столик у дивана и шахматный у окна дополняли меблировку комнаты. Потолок был низок и закопчен, со стен смотрели темные пятна каких-то картин и гравюр в грубых золоченых рамах — всё было тяжело, старо и издавало неприятный запах.

На столе стояла большая лампа под голубым колпаком, и свет от нее падал на пол.

Ипполит Сергеевич остановился на границе этого светлого круга, испытывая неприятное чувство смутной

тревоги, глядя на окна комнаты. Их было два; за ними в сумраке вечера рисовались темные силуэты деревьев. Он подошел и растворил окна. Тогда комната наполнилась запахом цветущей липы и вместе с ним влетел веселый взрыв здорового грудного смеха.

На диване ему приготовлена была постель, она занимала немного больше половины дивана. Он посмотрел на нее и стал развязывать галстук, но потом резким движением толкнул кресло к окну и сел, нахмурившись.

Ощущение непонятной тревоги смущало и раздражало его. Чувство недовольства собой редко являлось в нем, но и являясь, никогда не охватывало его сильно и надолго — он умел быстро справляться с ним. Он был уверен, что человек должен понимать свои эмоции и развивать или уничтожать их, и, когда при нем говорили о таинственной сложности психической жизни человека, он, иронически усмехаясь, называл такие суждения «метафизикой».

Он спрашивал себя: неужели встреча с этой здоровой и красивой девушкой — должно быть, очень чувственной и глупой,— неужели эта встреча могла так странно повлиять на него? И, тщательно просмотрев порядок впечатлений этого дня, он должен был ответить утвердительно. Да, это так, потому что она застала врасплох его ум, потому что он сильно утомлен путешествием и находился в непривычном ему настроении мечтательности в момент ее появления пред ним.

Его несколько успокоило это размышление, и тотчас же она явилась пред его глазами в своей пышной красоте. Он созерцал ее, закрыв глаза и нервозно вдыхая дым своей папиросы, но, созерцая, критиковал.

«В сущности она,— думал он,— вульгарна: слишком много крови и мускулов, мало нервов. Ее наивное лицо неинтеллигентно, а гордость, сверкающая в открытом взгляде ее глубоких темных глаз,— это гордость женщины, убежденной в своей красоте и избалованной поклонением мужчин. Сестра говорила, что эта Варенька всех побеждает. Конечно, она попытается победить и его. Но он приехал сюда работать, а не шалить, и она скоро поймет это».

«А не много ли я думаю о ней для первой встречи?» — мелькнуло у него в голове.

Диск луны, огромный, кроваво-красный, поднимался за деревьями парка; он смотрел, как глаз чудовища. Неясные звуки носились в воздухе, долетая со стороны деревни. Под окном в траве порой раздавался шорох: должно быть, крот или еж шли на охоту. Где-то пел соловей. И луна так медленно поднималась на небо, точно роковая необходимость ее движения была понятна ей и утомляла ее.

Выбросив за окно угасшую папиросу, Полканов встал, разделся и погасил лампу. Тогда в комнату из сада хлынула тьма, деревья подвинулись к окнам, точно желая заглянуть в них, на пол легли две полосы лунного света, слабого и мутного.

Пружины дивана пискливо скрипнули, и, охваченный приятной свежестью полотняного белья, Полканов вытянулся и замер, лежа на спине. Скоро он уже дремал и слышал под окном у себя чьи-то осторожные шаги и густой шёпот:

— Ма-арья... Ты тут?

Улыбаясь, он заснул.

Утром, проснувшись в ярком сиянии солнца, наполнявшем комнату, он тоже улыбался, вспоминая о девушке. К чаю он явился тщательно одетый, сухой и серьезный, как и подобало ученому; но когда он увидал, что за столом сидит одна сестра, у него невольно вырвалось:

— А где же...

Лукавая улыбка сестры остановила его раньше, чем он окончил свой вопрос, и он, замолчав, сел к столу. Елизавета Сергеевна подробно осмотрела его костюм, не переставая улыбаться. Его злила эта улыбка.

— Она давно уже встала, мы с ней ходили купаться, а теперь она, наверное, в парке и должна скоро явиться,— объясняла Елизавета Сергеевна.

— Как ты подробно,— усмехнулся он.— Пожалуйста,— вели сейчас же после чая распаковать мои вещи.

— И вынуть их?

— Нет, нет, этого не надо. Я сам, а то всё перепутают... Там есть для тебя конфеты и книги.

— Спасибо! Это мило... А вот и Варенька!

Она явилась в дверях в легком белом платье, пышными складками падавшем с ее плеч к ногам. Костюм ее был похож на детскую блузу, и сама она в нем смотрела ребенком. Остановившись на секунду в дверях, она спросила:

— Разве вы ждали меня? — и бесшумно, как облако, подошла к столу.

Ипполит Сергеевич молча поклонился ей и, пожимая ее руку, обнаженную до локтя, ощутил нежный аромат фиалок, исходивший от нее.

— Вот надушилась! — воскликнула Елизавета Сергеевна.

— Разве больше, чем всегда? Вы любите духи, Ипполит Сергеевич? Я — ужасно! Когда есть фиалки, я каждое утро рву их и растираю в руках, это я научилась еще в прогимназии... Вам нравятся фиалки?

Он пил чай и не смотрел на нее, но чувствовал ее глаза на своем лице.

— Я никогда не думал над тем, нравятся они мне или нет,— пожав плечами, сухо сказал он, но, взглянув на нее, невольно улыбнулся.

Оттененное снежно-белой материей ее платья, лицо у нее горело пышным румянцем и глубокие глаза сверкали ясной радостью. Здоровьем, свежестью, бессознательным счастьем веяло от нее. Она была хороша, как ясный майский день на севере.

— Не думали? — воскликнула она.— Но как же,— ведь вы ботаник.

— А не цветовод,— кратко пояснил он и, недовольно подумав, что, пожалуй, это грубо, отвел глаза свои в сторону от ее лица.

— А ботаника и цветоводство не одно и то же? — спросила она, помолчав.

Его сестра, не стесняясь, засмеялась. А он почувствовал, что этот смех почему-то коробит его, и с сожалением воскликнул про себя:

«Да она глупа!»

Но потом, поясняя ей разницу между ботаникой и цветоводством, он смягчил свой приговор — она только невежда. Слушая его толковую и серьезную речь,

девушка смотрела на него глазами внимательной ученицы, и это нравилось ему.

— Да-а,— протянула Варенька,— вот как это! А что, ботаника интересная наука?

— Гм! Видите ли, на науки нужно смотреть с точки зрения той пользы, которую они приносят людям,— объяснил он со вздохом. Ее неразвитость усиливала в нем симпатию к ней. А она, задумчиво постукивая ложкой по краю своей чашки, спрашивала его:

— Какая же может быть польза от того, что вы узнаете, как растет репей?

— Та же, которую мы извлекаем, изучая явления жизни в каком-нибудь одном человеке.

— Человек и репей,— улыбнулась она.— Разве один человек живет, как все?

Ему было странно, что этот неинтересный разговор не утомляет его.

— Разве я ем и пью так же, как мужики? — серьезно, сдвигая брови, продолжала она.— И разве многие живут так, как я?

— А как вы живете? — спросил он, предчувствуя, что этот вопрос изменит тему разговора.

— Как я живу? — вскричала девушка.— Хорошо! — И она даже закрыла глаза от удовольствия.— Знаете, я просыпаюсь утром, и, если день ясный, мне становится сразу ужасно весело! Точно мне подарили что-то дорогое и красивое, такое, что я давно хотела иметь... Бегу купаться — у нас река на ключах — вода холодная, так и щиплет тело! Есть очень глубокие места, и я туда прямо с берега вниз головой — бух! Так всю и обожжет... летишь в воду, как в пропасть, и в голове шумит... Вынырнешь, вырвешься из воды,— солнце смотрит на тебя и смеется. Потом иду лесом домой, наберу цветов, надышусь лесным воздухом допьяна; приду — чай готов! Пью чай, а предо мной стоят цветы... и солнце на меня смотрит... Ах, если бы вы знали, как я люблю солнце! Потом наступает день и начинаются хлопоты по хозяйству... все меня любят, сразу понимают, слушаются,— и всё кружится колесом вплоть до вечера... потом солнце заходит, луна, звезды являются... До чего это всё хорошо и как ново всегда! Вы пони-

маете? Я не умею понятно сказать... почему так хорошо жить... Но, может быть, вы чувствуете это и сами, да? Ведь вам понятно, почему жизнь такая хорошая, интересная?

— Да, конечно! — подтвердил он, готовый рукой стереть с лица сестры тонкую, насмешливую улыбку.

Он смотрел на Вареньку, не мешая себе любоваться ею, трепетавшей от желания передать ему силу наполняющего ее существо ликования.

— А зима? Любите вы зиму? Она вся белая, здоровая, задорная, вызывающая бороться с ней...

Резкий звонок перебил ее речь. Звонила Елизавета Сергеевна, и, когда в комнату влетела высокая девушка с круглым добрым лицом и плутоватыми глазами, она сказала ей утомленным голосом:

— Убирайте посуду, Маша.

Потом озабоченно начала ходить по комнате, громко шаркая ногами.

Всё это несколько отрезвило увлеченную девушку; она повела плечами, как бы стряхивая с них что-то, и, немножко смущенная, спросила Полканова:

— Я надоела вам своими россказнями?

— Ну, что это вы! — протестовал он.

— Нет, серьезно,— я показалась вам глупой? — добивалась она.

— Но — почему же?! — воскликнул Ипполит Сергеевич и удивился, что это у него вышло так горячо и искренно.

— Я дикая... необразованная... Но я очень рада говорить с вами... потому что вы ученый и такой... не такой, каким я вас себе представляла.

— А вы как представляли себе меня? — осведомился он, улыбаясь.

— Я думала, вы всё будете говорить разные мудрости... это не так, а вот этак, и все глупы, а я — умница... У папы гостил товарищ, тоже полковник, как и папа, и тоже ученый, как вы. Но он военный ученый... как это?.. генерального штаба... Он был ужасно надутый... по-моему, он даже ничего и не знал, а просто хвастался...

— Вы и меня таким же представляли? — спросил Ипполит Сергеевич.

Она сконфузилась, покраснела и, вскочив со стула, смешно забегала по комнате, растерянно говоря:

— Ах, как вы... ну, разве я могла...

— Ну, вот что, милые мои дети,— глядя на них прищуренными глазами, заявила Елизавета Сергеевна,— я пойду кое-чем заняться по хозяйству, а вас оставлю на волю божию!

Смеясь, она исчезла. Ипполит Сергеевич укоризненно посмотрел ей вслед и подумал, что нужно будет поговорить с ней о ее манере держаться по отношению к этой, в сущности, очень милой, только неразвитой девушке.

— Знаете что — хотите кататься в лодке? Доедем до леса, там пойдем гулять и к обеду вернемся. Идет? Я ужасно рада, что сегодня такой ясный день и я не дома... А то у папы опять разыгралась подагра, и мне пришлось бы возиться с ним. А папа капризный, когда болен...

Он, удивленный ее эгоизмом, не сразу ответил согласием, а когда ответил, то вспомнил намерение, которое возникло у него вчера, с которым он вышел сегодня поутру из своей комнаты. Но пока ведь она не дает оснований для того, чтобы заподозрить ее в желании победить его сердце? В ее речах можно видеть всё, кроме кокетства. И, наконец, почему же не провести один день с такой несомненно оригинальной девушкой?

— А вы умеете грести? Плохо? Это ничего, я буду сама, я сильная.

Они вышли на террасу, спустились в парк. Рядом с его длинной и худой фигурой она казалась ниже ростом и полнее. Он предложил было ей руку, но она отказалась.

— Зачем? Это хорошо, когда устанешь, а так только мешает идти...

Он улыбался, глядя на нее через свои очки, и шел, соразмеряя свои шаги с ее шагами, что ему очень нравилось. Походка у нее была легкая и красивая,— ее белое платье плыло вокруг ее стана, не колыхаясь ни одной складкой. В одной руке она держала зонт, другой свободно и красиво жестикулировала, рассказывая ему о красоте окрестностей деревни. Эта рука, по локоть обна-

женная, сильная и смуглая, покрытая золотистым пухом, двигаясь в воздухе, заставляла глаза Ипполита Сергеевича внимательно следить за ней. И опять у него в темной глубине души трепетала непонятная, смутная тревога. Он старался уничтожить ее, спрашивая себя: что побуждает его идти за этой девушкой? и отвечал себе: — любопытство; спокойное и чистое желание созерцать ее красоту.

— Вот и река! Идите и садитесь в лодку, а я сейчас достану весла...

И она исчезла среди деревьев, прежде чем он успел попросить ее указать ему, где можно найти весла.

В неподвижной холодной воде реки отражались деревья вниз вершинами; он сел в лодку и смотрел на них. Эти призраки были пышнее и красивее живых деревьев, стоявших на берегу, осеняя воду своими изогнутыми и корявыми ветвями. Отражение облагораживало их, стушевывая уродливое и создавая в воде яркую и гармоничную фантазию на мотивах убогой, изуродованной временем действительности.

Любуясь призрачной картиной, окруженный тишиной и блеском еще не жаркого солнца, вдыхая вместе с воздухом песни жаворонков, полные счастья жить, Ипполит Сергеевич ощущал в себе возникновение нового для него, приятного чувства покоя, ласкавшего ум, усыпляя его постоянное стремление понимать и объяснять. Тихий мир царил вокруг, и в этом мире неустанно совершалось безмолвное творчество природы, беззвучно созидалась жизнь, всегда поражаемая смертью, но непобедимая, тихо работала смерть, всё поражая, но не одерживая победы. А голубое небо сияло торжественной красотой.

На фоне картины в воде реки явилась белая красавица с ласковой улыбкой на лице. Она стояла там с веслами в руках, точно приглашая идти к ней, молчаливая, прекрасная, и казалась отраженной с неба.

Ипполит Сергеевич знал, что это вышла из парка Варенька и что она смотрит на него, но ему не хотелось разрушать очарование ни звуком, ни движением.

— Скажите, какой вы мечтатель! — раздалось удивленное восклицание.

Тогда он, с сожалением отвернувшись от воды, взглянул на девушку.

И сожаление исчезло, ибо эта девушка и в действительности была чарующе хороша.

— Вот уж нельзя подумать, что вы любите мечтать! У вас лицо такое строгое. Вы будете править, хорошо? Мы поедем вверх по течению... там красивее... И вообще против течения интереснее ехать, потому что гребешь, двигаешься, чувствуешь себя...

Оттолкнутая от берега лодка лениво закачалась на сонной воде, но сильный удар весел сразу поставил ее вдоль берега, и, перевалившись с борта на борт под вторым ударом, она легко скользнула вперед.

— Мы поедем под горным берегом, потому что тут тень,— говорила девушка, разбивая воду ловкими ударами.— Только здесь слабое течение... а вот на Днепре — у тети Лучицкой там имение — там, я вам скажу, ужас! Так и рвет весла из рук... Вы не видали порогов на Днепре?..

— Только пороги дверей,— попытался сострить Ипполит Сергеевич.

— Я ездила через них,— смеясь, говорила она.— Хорошо! Однажды чуть не разбила лодку, непременно утонула бы тогда...

— Ну, это уж было бы нехорошо,— серьезно сказал Ипполит Сергеевич.

— А что же? Я нисколько не боюсь смерти, хотя и люблю жить. Может быть, и там тоже интересно, как на земле...

— А может быть, там ничего нет,— с любопытством взглянув на нее, сказал он.

— Ну, как же нет! — убежденно воскликнула она.— Конечно, есть!

Она сидела против него, упираясь маленькими ножками в перекладину, прибитую ко дну лодки, и с каждым ударом весел отклоняла свой корпус назад. Тогда под легкой материей платья рельефно обрисовывалась девичья грудь, высокая, упругая, вздрагивавшая от движений.

«Она не носит корсета»,— подумал Ипполит Сергеевич, опуская глаза вниз. Но там они остановились на ее

ножках. Упираясь в дно лодки, они напрягались, и тогда были видны их контуры до колен.

«Что она — нарочно, что ли, надела это дурацкое платье?» — с раздражением подумал он и отвернулся, рассматривая высокий берег.

Плыли под крутым обрывом; с него свешивались кудрявые стебли гороха, плети тыкв с бархатными листьями; большие желтые круги подсолнухов, стоя на краю обрыва, смотрели в воду. Другой берег, низкий и ровный, тянулся куда-то вдаль, к зеленым стенам леса, и был густо покрыт травой, сочной и яркой; из нее ласково смотрели на лодку милые, как детские глазки, голубые и синие цветы. Впереди тоже стоял темно-зеленый лес — и река вонзалась в него, как кусок холодной стали.

— Вам не жарко? — спросила Варенька.

Он взглянул на нее и почувствовал себя сконфуженным: на лбу у нее под короной вьющихся волос блестели капельки пота, а грудь поднималась часто и высоко.

— Простите, пожалуйста! — с раскаянием воскликнул он.— Я засмотрелся... вы утомились... дайте мне весла!

— Вот уж не дам! Вы думаете, я устала? Это даже обидно мне! Мы и двух верст не проехали... Нет, уж вы сидите... Сейчас пристанем и пойдем гулять.

По лицу ее было видно, что с ней бесполезно спорить; он, досадливо пожав плечами, замолчал, с неудовольствием думая про себя:

«Очевидно, она считает меня слабым».

— Видите — вот это к нам дорога,— указала она ему на берег кивком головы.— Здесь брод через реку, до нас отсюда четырнадцать верст. У нас красивее, чем в вашей Полкановке.

— Вы и зиму живете в деревне? — спросил он.

— А как же? Ведь я веду всё хозяйство, папа не встает с кресла... Его возят по комнатам.

— Но, должно быть, скучно вам жить так?

— Почему же? У меня ужасно много дела... а помощник один — Никон, денщик папы. Он уже старик и тоже пьет, но страшный силач и знает свое дело. Мужики его боятся. Он — бьет их, и они тоже раз как-то сильно побили его... очень сильно! Он замечательно честен и

предан нам с папой... любит нас, как собака! Я тоже его люблю. Вы, может быть, читали один роман, где есть герой, офицер, граф Луи Граммон, и у него тоже денщик Сади-Коко?

— Не читал,— скромно сознался молодой ученый.

— Прочитайте непременно — это хороший роман,— уверенно посоветовала она ему.— Я Никона, когда он угодит мне, называю Сади-Коко. Сначала он сердился на меня за это, но я однажды прочитала ему этот роман, и теперь он знает, что для него лестно быть похожим на Сади-Коко.

Ипполит Сергеевич смотрел на нее так, как европеец смотрит на тонко выполненную статуэтку китайца. А она с жаром рассказывала ему о подвигах Сади-Коко, полных беззаветной преданности к графу Луи Граммон.

— Простите, Варвара Васильевна,— перебил он ее речь,— а романы русских авторов вы читали?

— О да! Но я не люблю их — скучные! И пишут всё такое, что я сама знаю не хуже их. Они не умеют выдумывать ничего интересного, и у них почти всё правда.

— А разве вы не любите правды? — ласково спросил Ипполит Сергеевич.

— Ах, да нет же! Я всем говорю правду в глаза и...

Она замолчала, подумала и спросила:

— А что же тут любить? Это моя привычка.

Он ничего не успел сказать ей на это, потому что она быстро и громко командовала ему:

— Правьте налево... скорее! Вон к этому дубу... Ай, какой вы неловкий!

Лодка не слушалась его руки и шла к берегу бортом, хотя он с напряжением ворочал воду своим веслом.

— Ничего, ничего,— говорила она и, вдруг поднявшись на ноги, прыгнула через борт.

Ипполит Сергеевич глухо вскрикнул, бросив весло и простирая за ней руки, но она невредима стояла на берегу, держа цепь лодки в руках и виновато спрашивая его:

— Я испугала вас?

— Я думал, что вы упадете в воду,— тихо сказал он.

— Да разве можно тут упасть? И к тому же тут неглубоко,— оправдывалась она, подводя лодку к берегу.

А он, сидя на корме, думал, что это нужно бы сделать ему.

— Видите, какой лес? — говорила она, когда он вышел на берег и стал рядом с ней.— Хорошо ведь? Там, около Петербурга, нет таких красивых лесов?

Перед ними лежала узкая дорога, огражденная с обеих сторон стволами деревьев. Под ногами простирались узловатые корни, избитые колесами телег, а над ними — густой шатер из ветвей и где-то высоко — голубые клочья неба. Лучи солнца, тонкие, как струны, трепетали в воздухе, пересекая наискось узкий зеленый коридор. Запах перегнивших листьев окружал их. Мелькали птицы, нарушая важную тишину леса хлопотливым щебетаньем. Где-то стучал дятел, жужжала пчела и, как будто указывая им дорогу, в воздухе, впереди их, порхали два мотылька, преследуя один другого.

Шли медленно. Полканов молчал, не мешая Вареньке искать слова для выражения ее мыслей, а она горячо говорила ему:

— Я не люблю читать о мужиках; что интересного в их жизни? Я знаю их, живу с ними и вижу, что о них пишут неверно, неправду. Они такими жалкими описываются, а они просто подлые, их совсем не за что жалеть. Они только одного и хотят — надуть вас, украсть у вас что-нибудь. Клянчат всегда, ноют, гадкие, грязные... А они ведь умные, о! они даже очень хитрые; как они мучат меня иногда, если б вы знали!

На лице ее выразилось озлобление и скука. Ипполит Сергеевич был изумлен силой ее волнения, но, не желая слушать эти барские выходки, перебил девушку:

— Вы говорили о французских писателях...

— Ах, да! То есть о русских,— поправила она его, успокаиваясь.— Вы спрашиваете, почему русские пишут хуже,— это ясно! потому что они не выдумывают ничего интересного. У французов герои настоящие, они и говорят не так, как все люди, и поступают иначе. Они всегда храбрые, влюбленные, веселые, а у нас герои — простые человечки, без смелости, без пылких чувств, какие-то некрасивые, жалкенькие — самые настоящие люди и больше ничего! Почему они герои? Никогда в русской книжке не поймешь этого. Русский герой какой-то

глупый и мешковатый, всегда ему тошно, всегда он думает о чем-то непонятном и всех жалеет, а сам-то жалкий-прежалкий! Подумает, поговорит, пойдет объясняться в любви, потом опять думает, пока не женится, а женится — наговорит жене кислых глупостей и бросит ее... Что в этом интересного? Меня злит это, потому что похоже на обман — вместо героя какое-то чучело торчит в романе! И никогда, читая русскую книжку, не забудешь о настоящей жизни,— разве это хорошо? А читаешь сочинение француза — дрожишь за героев, жалеешь их, ненавидишь, хочешь драться, когда они дерутся, плачешь, когда погибают... Страстно ждешь, когда кончится роман, а прочтешь его — чуть не плачешь с досады, что уже всё кончено. Зачем писать книжки, если не можешь сказать ничего необыкновенного? Странно, право!

— На это многое можно возразить вам, Варвара Васильевна,— остановил он поток ее речей.

— Что же, возражайте! — разрешила она с улыбкой.— Вы, конечно, разнесете меня.

— Постараюсь. Прежде всего, каких вы русских авторов читали?

— Разных... впрочем, все они одинаковые. Вот, например, Сальяс... он подражает французам, но плохо. Впрочем, у него русские герои, а разве о них можно писать интересно? Еще многих читала — Тургенева, Маркевича, Пазухина,— даже по одной фамилии уже видно, что он не может хорошо писать! Вы его не читали? А читали ли вы Фортюнэ де Буагобэя? Понсон де Терайля? Арсена Гуссэ? Пьера Законнэ? Дюма, Габорио, Борна? Как хорошо, боже мой! Знаете что? Мне в романах больше всего нравятся злодеи, те, которые так ловко плетут разные ехидные сети, убивают, отравляют... Умные они, сильные... и когда наконец их ловят — меня зло берет, даже до слез дохожу. Все ненавидят злодея, все идут против него — он один против всех! Вот — герой! А те, другие, добродетельные, становятся гадки, когда они побеждают... И вообще, знаете, мне люди до той поры нравятся, пока они хотят чего-нибудь, куда-нибудь идут, ищут чего-то, мучатся... но, если они дошли до цели своей и остановились, тут они уже неинтересны...

Возбужденная, она медленно шла рядом с ним, красиво подняв голову и сверкая глазами.

Он смотрел ей в лицо и, нервозно покручивая бородку, искал таких возражений, которые сразу сорвали бы с ее ума эту грубую пелену пыли. Но, чувствуя себя обязанным возразить ей, он хотел еще слушать ее наивную болтовню, еще видеть ее увлеченной своими суждениями и искренно раскрывающей пред ним свою душу. Он никогда не слыхал таких речей; они были уродливы, но в то же время всё, что говорила она, как нельзя более гармонировало с ее немного хищной красотой. Пред ним был ум неотшлифованный, оскорблявший его грубостью, и — женщина, соблазнительно прекрасная, раздражавшая его чувственность. Эти две силы давили на него всей энергией своей непосредственности, и нужно было что-нибудь противопоставить им. У него была ясная логика, он хорошо спорил с людьми своего круга. Но как говорить с ней, чтоб вызвать ум ее на правильный путь и облагородить душу, изуродованную глупыми романами и обществом мужиков, солдата, пьяницы-отца?

— Ух, как я заговорилась! — воскликнула она, вздыхая.— Надоело вам, да?

— Нет, но...

— Я, видите ли, рада очень вам. Мне до вас не с кем было поговорить. Ваша сестра, я знаю, не любит меня и всё сердится на меня... должно быть, за то, что я даю водки отцу, и за то, что побила Никона...

— Вы?! Побили! Э... как это вы? — изумился Полканов.

— Очень просто, отхлестала его папашиной нагайкой, вот и всё! Понимаете, молотьба, страшная горячка, а он, скот, пьян! Я рассердилась! Разве он смеет напиваться, когда кипит работа и везде нужен его глаз? Эти мужики, они...

— Но, послушайте же, Варвара Васильевна,— убедительно и как только мог мягче заговорил он,— разве это хорошо бить слугу? Благородно ли это? подумайте! Разве те герои, пред которыми вы преклоняетесь, бьют своих преданных Сади-Коко?

— О, еще как! Граф Луи однажды такую пощечину влепил Коко, что мне даже жалко стало бедного солда-

тика. И что же я могу делать с ними, как не бить? Хорошо еще, что могу... я ведь сильная! Пощупайте, какие у меня мускулы!

Согнув свою руку в локте, она гордо протянула ее к нему. Он положил ладонь на ее тело выше локтя и крепко сжал пальцы, но тотчас же опомнился и, смущенный, с краской на лице, оглянулся вокруг. Всюду безмолвно стояли деревья и только...

Он вообще не был скромен с женщинами, но эта своей простотой и доверчивостью делала его таким, хотя и разжигала в нем чувственность.

— У вас завидное здоровье,— сказал он, пристально и задумчиво рассматривая маленькую загорелую кисть ее руки.— И я думаю, что у вас очень хорошее сердце,— неожиданно для себя вырвалось у него.

— Не знаю! — отозвалась она, качнув головой.— Едва ли,— у меня нет характера: иногда я жалею людей, даже тех, которых не люблю.

— Иногда только? — усмехнулся он.— Но ведь люди всегда достойны сожаления и сострадания.

— За что? — спросила она.

— Разве вы не видите, как они несчастны? Хотя бы эти, ваши мужики. Как тяжело им живется и сколько несправедливости, горя, мучений в их жизни!

Это вырвалось у него горячо, и она внимательно взглянула в лицо ему, говоря:

— Вы, должно быть, очень добрый, если так говорите. Но ведь вы не знаете мужиков, не жили в деревне. Они несчастны — это верно, но кто же в этом виноват? Они ведь хитрые, и никто им не мешает сделаться счастливыми.

— Ведь у них даже хлеба нет настолько, чтоб быть сытыми!

— Еще бы! Их вон как много...

— Да, их много! Но и земли много... ибо есть люди, которые имеют десятки тысяч десятин. У вас, например, сколько?

— Пятьсот семьдесят три... Ну, так что же? Неужели,— ну, слушайте! Неужели им отдать?

Она смотрела на него взглядом взрослого на ребенка и тихо смеялась. Его смущал и злил этот смех.

В нем разгоралось желание убедить ее в заблуждениях ее ума.

И раздельно, даже резко произнося слова, он начал говорить ей о несправедливом распределении богатств, о бесправии большинства людей, о роковой борьбе за место в жизни и за кусок хлеба, о силе богатых и бессилии бедных и об уме, подавленном вековой неправдой и тьмой предрассудков, выгодных сильному меньшинству людей.

Идя рядом с ним, она молча, с любопытством и удивлением смотрела на него.

Вокруг них царила сумрачная тишина леса, та тишина, по которой звуки как бы скользят, не нарушая ее меланхоличной гармонии.

Полканов замолчал и, вытирая пот со лба, утомленный своей лекцией, ждал, что она скажет.

Она смотрела вдаль пред собой, сузив свои глаза, и на лице ее дрожали какие-то тени. Минута молчания разрешилась ее тихим возгласом:

— Как вы хорошо говорите!.. Неужели в университете все могут так говорить?

Молодой ученый безнадежно вздохнул, ожидание ее ответа сменилось у него глухим раздражением против нее и жалостью к самому себе. Почему она не воспринимает того, что так логически ясно для всякого хоть немного мыслящего существа? Чего именно не хватает в его речах, почему ее чувство не задевают они?

— Очень хорошо говорите вы! — вздохнула она, не дожидаясь его ответа, и в глазах ее он читал истинное удовольствие.

— Но — верно ли я говорю? — спросил он.

— Нет! — не задумываясь, ответила девушка.— Вы хотя и ученый, но я с вами поспорю. Ведь и я тоже что-нибудь понимаю!.. Вы говорите так, что выходит, как будто люди строят дом и все они в этой работе равны. И даже не они, а всё — и кирпичи, и плотники, и деревья, и хозяин дома — всё это у вас равно одно другому. Но разве это можно? Мужик — он должен работать, вы должны учить, а губернатор смотреть — все ли делают то, что нужно. И потом вы сказали, что жизнь борьба,— ну, где же это? Напротив, люди очень мирно

живут. А если уж борьба, значит — нужны побежденные. А общая польза — это я совсем не понимаю. Вы говорите, что общая польза в равенстве всех людей. Но это же неверно! Мой папа полковник — как же он равен Никону или мужику? И вы — вы ученый, но разве вы ровня нашему учителю русского языка, который пил водку... рыжий, глупый, и сморкался громко, как медная труба?

Считая свои доводы неотразимыми, она ликовала, а он любовался ее радостным волнением и был доволен собой за то, что дал ей эту радость.

Но ум его старался разрешить — почему не тронутая анализом, цельная мысль, разбуженная им, работала в направлении, прямо противоположном тому, на которое он ее толкал?

— Вы нравитесь мне, а другой не нравится... где же равенство?

— Я вам нравлюсь? — как-то вдруг спросил Ипполит Сергеевич.

— Да, очень! — утвердительно кивнула она головой и тотчас же спросила: — А что?

Он испугался за себя пред бездной наивности, смотревшей на него ясным взглядом.

«Неужели это ее манера кокетничать?» — подумал он.

— Почему вы спрашиваете об этом? — допытывалась она, глядя в его лицо любопытными глазами.

Его смущал ее взгляд.

— Почему? — пожал он плечами.— Это, я думаю, естественно. Вы женщина... я мужчина...— как мог, спокойно объяснил он.

— Ну, так что же? Все-таки незачем вам знать. Ведь вы не собираетесь жениться на мне!

Она так просто сказала это, что он даже и не смутился. Ему только показалось, что некая сила, с которой бесполезно бороться ввиду ее слепой стихийности, перемещает работу его мозга с одного направления на другое. И он с оттенком игривости сказал ей:

— Кто знает?.. И потом — желание нравиться и желание жениться или выйти замуж — не одно и то же... как вы, наверное, знаете.

Она вдруг громко расхохоталась, а он сразу охладел под ее смехом и безмолвно проклял и себя и ее. Ее грудь трепетала от сочного искреннего смеха, весело сотрясавшего воздух, а он молчал, виновато ожидая отповеди за свою игривость.

— Ох! ну какая... какая же я... была бы жена вам! Вот смешно... как страус и пчела!

И он тоже засмеялся,— не над ее курьезным сравнением, а над своим непониманием тех пружин, которые управляли движением ее души.

— Милая вы девушка! — искренно вырвалось у него.

— Дайте-ка мне руку... вы очень медленно идете, я потащу вас! Нам пора назад... очень пора! Елизавета Сергеевна будет недовольна, потому что к обеду мы опоздали...

Они пошли назад. Полканов сознавал себя обязанным возвратиться к выяснению ее заблуждений, не позволявших ему чувствовать себя рядом с ней так свободно, как хотелось бы. Но прежде этого нужно было подавить в себе неясное беспокойство, которое глухо бродило в нем, стесняя его намерение спокойно слушать и решительно опровергать ее доводы. Ему было бы так легко срезать уродливый нарост с ее мозга логикой своего ума, если б не мешало это странное, обессиливающее ощущение, не имеющее имени. Что это? Оно похоже на нежелание вводить в душевный мир этой девушки понятия, чуждые ей... Но такое уклонение от своей обязанности было бы постыдно для человека, стойкого в своих принципах. А он считал себя таким и был глубоко уверен в силе ума, в главенстве его над чувством.

— Сегодня вторник? — говорила она.— Ну, конечно. Значит, через три дня приедет черненький господинчик...

— Кто и куда приедет, сказали вы?

— Черненький господинчик, Бенковский, приедет к вам в субботу.

— Зачем же?

Она рассмеялась, пытливо глядя на него.

— Разве вы не знаете? Он — чиновник...

— А! Да, сестра говорила мне...

— Говорила? — оживилась Варенька.— Ну и что же... скажите, скоро они обвенчаются?

— Почему же они должны обвенчаться? — растерянно спросил Ипполит Сергеевич.

— Почему? — изумилась Варенька, сильно краснея.— Да я не знаю. Так принято! Но, господи! Разве же вы этого не знали?

— Ничего я не знаю! — решительно произнес Ипполит Сергеевич.

— А я вам сказала! — с отчаянием воскликнула она.— Как это хорошо! Пожалуйста, миленький Ипполит Сергеевич, пусть вы и теперь не знаете этого... будто бы я не говорила ничего!

— Очень хорошо! Но, позвольте, ведь я и в самом деле ничего не знаю. Я понял одно — сестра выходит за господина Бенковского... да?

— Ну да! Если она сама вам этого не говорила, то, может быть, этого и не будет. Вы не скажете ей про это?

— Не скажу, конечно! — пообещал он.— Я ехал сюда на похороны, а попал, кажется, на свадьбу? Это приятно!

— Пожалуйста, ни слова о свадьбе! — умоляла она его.— Вы ничего не знаете.

— Совершенно верно! Но что такое господин Бенковский? Можно спросить?

— О нем можно! Он — черненький, сладенький и тихонький. У него есть глазки, усики, губки, ручки и скрипочка. Он любит нежные песенки и вареньице. Мне всегда хочется потрепать его по мордочке.

— Однако вы его не любите! — воскликнул Ипполит Сергеевич, ощущая жалость к господину Бенковскому при такой характеристике его наружности.

— И он меня не любит! Я терпеть не могу мужчин маленьких, сладких, скромных. Мужчина должен быть высок, силен; он говорит громко, глаза у него большие, огненные, а чувства — не знающие никаких препятствий. Пожелал и сделал — вот мужчина!

— Кажется, таких больше нет,— сухо усмехаясь, сказал Ипполит Сергеевич, чувствуя, что ее идеал мужчины раздражает его.

— Должны быть! — уверенно воскликнула она.

— Да ведь вы же, Варвара Васильевна, какого-то зверя изобразили! Что привлекательного в таком чудище?

— И совсем не зверя, а сильного мужчину! Сила — вот и привлекательное. Теперешние мужчины родятся с ревматизмом, с кашлем, с разными болезнями — это хорошо? Интересно мне, например, иметь мужем какого-нибудь сударя с прыщами на лице, как земский начальник Кокович? Или красивенького господинчика, как Бенковский? Или сутулую и худую дылду, как судебный пристав Мухин? Или Гришу Чернонебова, купеческого сына, большого, жирного, с одышкой, лысиной и красным носом? Какие дети могут быть от таких дрянных мужей? Ведь об этом надо думать... как же? Ведь дети — это... очень важно! А они — не думают... Они ничего не любят. Никуда они не годятся, и я... я била бы мужа, если бы вышла замуж за которого-нибудь из этих!

Ипполит Сергеевич остановил ее, доказывая, что ее суждение о мужчине вообще неправильно, потому что она слишком мало видела людей. И названные ею люди не должны быть рассматриваемы только с внешней стороны — это несправедливо. У человека может быть скверный нос, но хорошая душа, прыщи на лице, но светлый ум. Ему скучно и трудно было говорить эти истины; до встречи с ней он так редко вспоминал о их существовании, что теперь все они и самому ему казались затхлыми и изношенными. Он чувствовал, что всё это не идет к ней и не будет воспринято ею...

— Вот и река! — воскликнула она с радостью, перебивая его речь.

А Ипполит Сергеевич подумал:

«Она радуется тому, что я замолчал».

Снова они поплыли по реке, сидя друг против друга. Варенька завладела веслами и гребла торопливо, сильно; вода под лодкой недовольно журчала, маленькие волны бежали к берегам. Ипполит Сергеевич смотрел, как навстречу лодке двигаются берега, и чувствовал себя утомленным всем, что он говорил и слышал за время этой прогулки.

— Смотрите, как быстро идет лодка! — сказала ему Варенька.

— Да,— кратко ответил он, не обращая на нее глаз. Всё равно — и не видя ее, он представлял себе, как соблазнительно изгибается ее корпус и колышется грудь.

Показался парк... Скоро они шли по его аллее, а навстречу им, улыбаясь, двигалась стройная фигура Елизаветы Сергеевны. Она держала в руках какие-то бумаги и говорила:

— Однако вы загулялись!

— Долго? Зато у меня такой аппетит, что я — у! съем вас!

И Варенька, обняв талию Елизаветы Сергеевны, легко завертела ее вокруг себя, смеясь над ее криками.

Обед был невкусный и скучный, потому что Варенька была увлечена процессом насыщения и молчала, а Елизавета Сергеевна сердила брата, то и дело ловившего на своем лице ее пытливые взгляды. Вскоре после обеда Варенька уехала домой, а Полканов ушел в свою комнату, лег там на диван и задумался, подводя итог впечатлениям дня. Он вспоминал мельчайшие подробности прогулки и чувствовал, как из них образуется мутный осадок, разъедавший привычное ему устойчивое равновесие чувства и ума. Он даже и физически ощущал новизну своего настроения в форме странной тяжести, сжимавшей ему сердце,— точно кровь его сгустилась за это время и обращалась медленнее, чем всегда.

Бесспорно, эта девушка ошеломляюще красива, но увидать ее и сразу же войти в темный круг каких-то смутных ощущений — это уже слишком много для нее и постыдно для него, это распущенность, недостаток выдержки. Она сильно волнует чувственность — да, но с этим нужно бороться.

«Нужно ли?» — вдруг вспыхнул в его голове краткий, уколовший его вопрос.

Он поморщился, относясь к этому вопросу так, как будто он был грубо поставлен кем-то извне его.

Во всяком случае то, что творится в нем, не есть начало увлечения женщиной, это протест ума, оскорбленного столкновением, из которого он не вышел победителем, хотя его противник детски слаб. Нужно гово-

рить с этой девушкой образами. Его обязанность — уничтожить ее дикие понятия, разрушить все эти грубые и глупые фантазии, впитанные ее мозгом. Нужно обнажить ее ум от заблуждений, очистить, опустошить ее душу, тогда она будет способна и вместить в себя истину.

«Могу ли я сделать это?» — снова вспыхнул в нем посторонний вопрос. И снова он обошел его... Какова она будет, когда воспримет в себя нечто противоположное тому, что в ней есть? И ему казалось, что, когда ее душа, освобожденная им из плена заблуждения, проникнется стройным учением, чуждым всего неясного и омрачающего,— девушка будет вдвойне прекрасна.

Когда его позвали пить чай, он уже твердо решил перестроить ее мир, вменяя это решение в прямую обязанность себе. Теперь он встретит ее холодно и спокойно и придаст своему отношению к ней характер строгой критики всего, что она скажет, всего, что сделает.

— Ну что, как тебе нравится Варенька? — спросила сестра, когда он вышел на террасу.

— Очень милая девушка,— сказал он, подняв брови.

— Да? Вот как... Я думала, что тебя поразит ее неразвитость.

— Пожалуй, я немного удивлен этой стороной в ней,— согласился он.— Но, откровенно говоря, она во многом лучше девушек развитых и рисующихся этим.

— Да, она красива... И выгодная невеста... пятьсот десятин прекрасной земли, около сотни — строевой лес. Да еще наследует после тетки солидное имение И оба не заложены...

Он видел, что сестра намеренно не поняла его.

— С этой стороны я не смотрю на нее,— сказал он

— Так посмотри... я серьезно советую.

— Благодарю.

— Ты немного не в духе, кажется.

— Напротив. А что?

— Так. Хочу знать это, как заботливая сестра.

Она мило и немножко заискивающе улыбнулась. Эта улыбка напомнила ему о господине Бенковском, и он тоже улыбнулся ей.

— Ты что смеешься? — спросила она.

— А ты?

— Мне весело.

— Мне тоже весело, хотя я и не схоронил жены две недели тому назад,— сказал он, смеясь.

А она сделала серьезное лицо и, вздохнув, заговорила:

— Может быть, ты в душе осуждаешь меня за недостаток чувства к покойному, думаешь, что я эгоистична? Но, Ипполит, ты знаешь, что такое мой муж, я писала тебе, как мне жилось. И я часто думала: «Боже мой! неужели я создана затем только, чтоб услаждать грубые вожделения Николая Степановича Варыпаева, когда он напивается пьян настолько, что уже не может различить жены от простой деревенской бабы или уличной женщины».

— Но неужели?..— с недоверием воскликнул Ипполит Сергеевич, вспоминая ее письма, в которых она много говорила о бесхарактерности мужа, о его страсти к вину, лени, о всех пороках, кроме разврата.

— Ты сомневаешься? — с укором спросила она и вздохнула.— А между тем это факт; он часто бывал в таком состоянии... Я не утверждаю, что он изменял мне, но допускаю это. Разве он мог сознавать — я пред ним или другая, если он окна принимал за двери?

Она долго и скучно говорила ему о своей печальной жизни, а он слушал и ждал, когда она скажет ему то, что хочет сказать. И невольно ему думалось, что Варенька едва ли когда-нибудь будет жаловаться на свою жизнь, как бы она ни сложилась у нее.

— Мне кажется, что судьба должна вознаградить меня за долгие годы горя... Может быть, оно близко — это вознаграждение.

Елизавета Сергеевна замолчала и, вопросительно взглянув на брата, немного покраснела.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он ласково, наклонясь к ней.

— Видишь ли... я, быть может, снова выйду замуж!

— И прекрасно сделаешь! Поздравляю... Но почему ты так смущаешься?

— Право, не знаю!

— Кто же он?

— Я, кажется, говорила тебе о нем... Бенковский...

будущий прокурор... а пока поэт и мечтатель... Может быть, ты встречал его стихи? Он печатается...

— Стихов не читаю. Хороший человек? Впрочем, конечно, хороший.

— Я, кажется, могу сказать, что он способен вознаградить меня за прошлое... Он любит меня... У меня сложилась маленькая философия... может быть, она покажется тебе несколько жесткой.

— Философствуй безбоязненно, это теперь в моде...

— Мужчины и женщины — два племени, вечно враждующие...— мягко говорила женщина.— Доверие, дружба и прочие чувства этого порядка едва ли возможны между мной и мужчиной. Но возможна любовь... а любовь — это победа того, кто любит меньше, над тем, кто любит больше... Я была однажды побеждена и поплатилась за это... теперь я победила и воспользуюсь плодами победы...

— А, это довольно свирепая философия...— прервал ее брат, с удовольствием чувствуя, что Варенька не может так философствовать.

— Ее жизнь подсказала мне... Видишь ли, он на четыре года моложе меня... только что кончил университет. Я знаю, что это опасно для меня... и, как это сказать?.. Я хотела бы устроить дело с ним так, чтоб мои имущественные права не подвергались никакому риску.

— Да,— и что же? — спросил Ипполит Сергеевич, становясь внимательным.

— Так вот ты мне посоветуй, как всё это устроить. Я не хочу давать ему никаких юридических прав на мое имущество и не дала бы права на личность, если бы это было можно.

— Это, мне кажется, достижимо в гражданском браке. Впрочем...

— Нет, гражданский брак я отрицаю.

Он смотрел на нее и думал:

«Однако она умная! Если бог и создал людей, то жизнь так легко пересоздает их, что они, наверное, давно стали ему противны».

А сестра убедительно выяснила свою точку зрения на брак.

— Брак должен быть разумной сделкой, исключающей всякий риск. Именно так и думаю я поставить с Бенковским. Но, прежде чем сделать этот шаг, я хотела бы выяснить законность претензии этого досадного брата. Пожалуйста, пересмотри все бумаги.

— Ты позволишь мне заняться этим делом завтра? — спросил он.

— Конечно, когда хочешь.

Она еще долго развивала пред ним свои идеи, потом много рассказывала ему о Бенковском. О нем она говорила снисходительно, с улыбкой, блуждавшей на ее губах, и зачем-то прищуривая глаза. Ипполит слушал ее и сам удивлялся отсутствию в нем всякого участия к ее судьбе.

Уже солнце село, когда они разошлись: он — усталый от нее, в свою комнату; она — оживленная беседой, с уверенным блеском в глазах,— хлопотать по хозяйству.

Придя к себе, Ипполит Сергеевич зажег лампу, достал книгу и хотел читать; но с первой же страницы он понял, что ему будет не менее приятно, если он закроет книгу. Сладко потянувшись, он закрыл ее, повозился в кресле, ища удобной позы, но кресло было жесткое; тогда он перебрался на диван. Сначала ему ни о чем не думалось, потом он с досадой вспомнил, что скоро придется познакомиться с Бенковским, и сейчас же улыбнулся, припоминая характеристику, данную Варенькой этому господину.

И скоро одна она занимала его мысль и воображение. Между прочим, он подумал:

«А что, если бы жениться на таком милом чудовище? Пожалуй, это была бы очень интересная жена... хотя бы уже по одному тому, что из ее уст не услышишь копеечной мудрости популярных книжек...»

Но, рассмотрев всесторонне свое положение в роли мужа Вареньки, он засмеялся и категорически ответил себе:

«Никогда!»

И вслед за тем ему стало грустно.

II

Утро субботы началось для Ипполита Сергеевича маленькой неприятностью: одеваясь, он свалил со столика на пол лампу, она разлетелась вдребезги, и несколько капель керосина из разбитого резервуара попало ему в одну из ботинок, еще не надетых им на ноги. Ботинки, конечно, вычистили, но Ипполиту Сергеевичу стало казаться, что от чая, хлеба, масла и даже от красиво причесанных волос сестры струится в воздухе противный маслянистый запах.

Это портило ему настроение.

— Сними ботинку и поставь ее на солнце, тогда керосин испарится,— советовала ему сестра.— А пока надень туфли мужа, есть одни совершенно новенькие.

— Пожалуйста, не беспокойся. Это скоро исчезнет.

— Очень нужно ждать, когда исчезнет. В самом деле, я скажу, чтоб дали туфли?

— Нет, не надо. Брось их.

— Зачем?. Туфли хорошие, бархатные... Годятся.

Ему хотелось спорить, керосин раздражал его.

— Куда они могут годиться? Не будешь же ты носить.

— Я, конечно, нет, но Александр будет.

— Это кто?

— А Бенковский.

— Ага! — он сухо усмехнулся.— Это очень трогательная верность туфлям умершего мужа. И практично.

— Ты сегодня зол?

Она смотрела на него немножко обиженно, но пытливо, и он, поймав в ее глазах это выражение, неприязненно подумал:

«Наверно, она воображает, что я раздражен отсутствием Вареньки».

— К обеду Бенковский приедет, вероятно,— сообщила она, помолчав.

— Очень рад,— откликнулся он, соображая про себя: «Желает, чтоб я был любезен с будущим зятем».

И его раздражение усилилось чувством томительной скуки. А Елизавета Сергеевна говорила, тщательно намазывая тонкий слой масла на хлеб:

— Практичность, по-моему, очень похвальное свойство. Особенно в настоящее время, когда бремя оскудения так давит нашу братию, живущую от плодов земли. Почему бы Бенковскому не носить туфель покойного мужа?..

«И саван покойника, если ты и саван с него сняла и хранишь»,— язвительно подумал Ипполит Сергеевич, сосредоточенно занимаясь переселением пенок из сливочника в свой стакан.

— После мужа остался очень обширный и приличный гардероб. А Бенковский не избалован. Большая семья — трое юношей, помимо Александра, да девиц пять. Имение заложено. Знаешь, я очень выгодно купила у них библиотеку,— есть весьма ценные вещи. Ты посмотри, может быть, найдешь что-либо нужное тебе... Александр существует на жалованье.

— Ты давно его знаешь? — спросил он ее; нужно было говорить о Бенковском, хотя говорить не хотелось ни о чем.

— В общем года четыре, а так... близко — месяцев семь-восемь. Ты — увидишь, он очень милый. Нежный такой, легко возбуждающийся, идеалист и немножко, кажется, декадент. Впрочем, теперь молодежь вся склонна к декадентству... Одни падают в сторону идеализма, другие к материализму... и те и другие не кажутся мне умными.

— Есть еще люди, исповедующие «скептицизм во сто лошадиных сил», как определяет это настроение один мой товарищ,— заявил Ипполит Сергеевич, наклоняя лицо над столом.

Она засмеялась, говоря:

— Это остроумно, хотя и грубовато. Я, пожалуй, тоже близка к скептицизму, знаешь, здравому скептицизму, который связывает крылья всевозможных увлечений...

Он поторопился выпить свой чай и ушел, заявив, что ему нужно разобрать привезенные книги. Но в комнате у него, несмотря на открытые двери, стоял запах керо-

сина. Он поморщился и, взяв книгу, ушел в парк. Там, в тесно сплоченной семье старых деревьев, утомленных бурями и грозами, царила меланхолическая тишина, обессиливающая ум, и он шел, не открывая книги, вдоль по главной аллее, ни о чем не думая, ничего не желая.

Вот река и лодка. Здесь он видел Вареньку отраженной в воде и ангельски прекрасной в этом отражении.

«Я точно гимназист!» — воскликнул он про себя, ощущая, что воспоминание о ней приятно ему.

Постояв с минуту у реки, он вошел в лодку, сел на корму и стал смотреть на картину в воде. Она и сегодня была так же хороша, но на ее прозрачном фоне не являлась белая фигура девушки. Полканов закурил папиросу и тотчас же бросил ее в воду, думая, что, пожалуй, он глупо сделал, приехав сюда. В сущности, зачем он тут нужен? Кажется, только затем, чтоб охранять доброе имя сестры,— проще говоря, чтоб дать сестре возможность, не смущаясь приличиями, принимать у себя господина Бенковского. Роль неважная. А этот Бенковский, должно быть, не очень умен, если действительно любит сестру, слишком умную.

Просидев часа три в состоянии полусозерцания, в каком-то расслаблении мысли, скользившей по предметам, не обсуждая их, он встал и медленно пошел в дом, негодуя на себя за бесполезно потраченное время и твердо решив скорее приняться за работу. Подходя к террасе, он увидал стройного юношу в белой блузе, подпоясанной ремнем. Юноша стоял спиной к аллее и рассматривал что-то, наклонясь над столом. Ипполит Сергеевич замедлил шаги, соображая — неужели это и есть Бенковский? Вот юноша выпрямился, красивым жестом откинул со лба назад длинные пряди вьющихся черных волос и обернулся лицом к аллее.

«Да это паж средневековый!»

Лицо Бенковского, овальное, матово-бледное, казалось измученным от напряженного блеска больших, миндалевидных и черных глаз, глубоко ввалившихся в орбиты. Красиво очерченный рот оттенялся маленькими черными усами, а выпуклый лоб — прядями небрежно спутанных, вьющихся волос. Он был маленький, ниже

среднего роста, но его гибкая фигура, сложенная изящно, скрадывала этот недостаток. Он смотрел на Полканова так, как смотрят близорукие, в бледном лице его было что-то очень симпатичное, но болезненное. В берете, в костюме из бархата он действительно был бы пажом, убежавшим с картины, изображающей средневековый двор.

— Бенковский! — глухо сказал он, протягивая Ипполиту Сергеевичу, взошедшему на ступеньки террасы, белую руку с тонкими и длинными пальцами музыканта.

Молодой ученый крепко пожал руку.

С минуту оба неловко молчали, потом Полканов заговорил о красоте парка. Юноша отвечал ему кратко, заботясь, очевидно, только о соблюдении вежливости и не проявляя никакого интереса к собеседнику.

Скоро явилась Елизавета Сергеевна в свободном белом платье, с черными кружевами на воротнике, подпоясанная длинным черным шнуром с кистями на концах. Этот костюм хорошо гармонировал с ее спокойным лицом, придавая величавое выражение его мелким, но правильным чертам. На щеках ее играл румянец удовольствия, и холодные глаза смотрели оживленно.

— Сейчас будем обедать,— объявила она.— Я вас угощу мороженым. А вы, Александр Петрович, почему такой скучный? Вы не забыли Шуберта?

— Привез и Шуберта и книги,— ответил он, откровенно и мечтательно любуясь ею.

Ипполит Сергеевич видел выражение его лица и чувствовал себя неловко, понимая, что этот милый юноша, должно быть, дал себе обет не признавать его существования.

— Прекрасно! — воскликнула Елизавета Сергеевна, улыбаясь Бенковскому.— После обеда мы с вами играем?

— Если вам будет угодно! — Он склонил пред ней голову.

Это вышло у него грациозно, но все-таки заставило внутренно усмехнуться Ипполита Сергеевича.

— Мне очень угодно,— кокетливо объявила его сестра.

— А вы любите Шуберта? — спросил Ипполит Сергеевич.

— Прежде всего Бетховен — Шекспир музыки,— ответил Бенковский, повернув к нему свое лицо в профиль.

Ипполит Сергеевич слыхал и раньше, что Бетховена называют Шекспиром музыки, но разница между Шубертом и им составляла для него одну из тех тайн, которые его совершенно не интересовали. Его интересовал этот мальчик, и он серьезно спросил:

— Почему же вы ставите именно Бетховена прежде всего?

— Потому что он идеалист более, чем все творцы музыки, взятые вместе.

— Да? Вы тоже принимаете за истинное это мировоззрение?

— Несомненно. И знаю, что вы крайний материалист. Читал ваши статьи,— объяснился Бенковский, и глаза его странно сверкнули.

«Он хочет спорить! — подумал Полканов.— А он хороший малый, прямой и, должно быть, свято честный».

Его симпатия к идеалисту, осужденному носить туфли покойника, увеличилась.

— Значит, мы с вами враги? — улыбаясь, спросил он.

— Как мы можем быть друзьями? — горячо воскликнул Бенковский.

— Господа! — крикнула им Елизавета Сергеевна из комнаты.— Не забывайте, что вы только что познакомились...

Горничная Маша, гремя посудой, накрывала на стол и исподлобья посматривала на Бенковского глазами, в которых сверкало простодушное восхищение. Ипполит Сергеевич тоже смотрел на него, думая, что к этому юноше следует относиться со всей возможной деликатностью и что было бы хорошо избежать «идейных» разговоров с ним, потому что он, наверное, в спорах волнуется до бешенства. Но Бенковский смотрел на него с горячим блеском в глазах и нервной дрожью на лице. Очевидно, ему страстно хотелось говорить и он

с трудом сдерживал это желание. Полканов решил замкнуться в рамки официальной вежливости.

Его сестра, сидя за столом, красиво бросала то тому, то другому незначительные фразы в шутливом тоне, мужчины кратко отвечали на них — один с фамильярной небрежностью родственника, другой с уважением влюбленного. И все трое были охвачены чувством неловкости, заставлявшим их следить друг за другом и каждого за собой.

Маша внесла на террасу первое блюдо.

— Пожалуйте, господа! — пригласила Елизавета Сергеевна, вооружаясь разливательной ложкой.— Вы выпьете водки?

— Я — да! — сказал Ипполит Сергеевич.

— Я не буду, если позволите,— заявил Бенковский.

— Позволяю, и охотно. Но ведь вы пьете?

— Не хочу...

«Чокнуться с материалистом»,— подумал Ипполит Сергеевич.

Вкусный суп с пирожками или корректное поведение Полканова как будто несколько охладили и смягчили суровый блеск черных глаз юноши, и, когда подали второе, он заговорил:

— Может быть, вам показалось вызывающим мое восклицание в ответ на ваш вопрос — враги ли мы? Может быть, это невежливо, но я полагаю, что отношения людей друг к другу должны быть свободны от официальной лжи, всеми принятой за правило.

— Вполне согласен с вами,— улыбнулся ему Ипполит Сергеевич.— Чем проще, тем лучше. И ваше прямое заявление только понравилось мне, если позволите сказать прямо.

Бенковский грустно усмехнулся, говоря:

— Мы действительно неприятели в сфере идей, и это определяется сразу, само собой. Вот вы говорите: проще — лучше, я тоже так думаю, но я влагаю в эти слова одно содержание, вы — другое...

— Разве? — спросил Ипполит Сергеевич.

— Несомненно, если вы пойдете прямым путем логики от взглядов, изложенных в вашей статье.

— Я, конечно, сделаю это...

— Вот видите... И с моей точки зрения ваше понятие о простоте будет грубо. Но оставим это... Скажите: представляя себе жизнь только механизмом, вырабатывающим всё — и в том числе идеи, — неужели вы не ощущаете внутреннего холода и нет в душе у вас ни капли сожаления о всем таинственном и чарующе красивом, что низводится вами до простого химизма, до перемещения частиц материи?

— Гм... этого холода я не ощущаю, ибо мне ясно мое место в великом механизме жизни, более поэтическом, чем все фантазии... Что же касается до метафизических брожений чувства и ума, то ведь это, знаете, дело вкуса. Пока еще никто не знает, что такое красота. Во всяком случае, следует полагать, что это ощущение физиологическое.

Один говорил глухим голосом, полным задушевности и скорбных нот сожаления к заблуждающемуся противнику; другой — спокойно, с сознанием своего умственного превосходства, с желанием не употреблять тех слов, колющих самолюбие противника, которых всегда так много в споре двух людей о том, чья истина ближе к истине. Елизавета Сергеевна, тонко улыбаясь, следила за игрой их физиономий и спокойно кушала, тщательно обгладывая косточки дичи. Из-за дверей выглядывала Маша и, очевидно, хотела понять то, что говорят господа, потому что лицо у нее было напряжено и глаза стали круглыми, утратив свойственное им выражение хитрости и ласки.

— Вы говорите — действительность, но что она, когда всё вокруг нас и мы сами только химизм и механизм, неустанно работающий? Всюду движение и всё движение, нет ни одной сотой секунды покоя,— как же я уловлю действительность, как познаю ее, если сам я в каждый данный момент не то, чем был, и не то, чем буду в следующий? Вы, я — мы только материя? Но однажды мы будем лежать под образами, наполняя воздух скверным запахом гниения... От нас останутся на земле, быть может, только выцветшие фотографии, и они никогда никому ничего не скажут о радостях и муках нашего бытия, поглощенных неизвестностью.

Неужели не страшно верить в то, что все мы, думающие и страдающие, живем лишь для того, чтобы сгнить?

Ипполит Сергеевич внимательно слушал его речь и думал про себя:

«Если бы ты был убежден в истине твоей веры,— ты был бы спокоен. А ты вот кричишь. И не потому ты, брат, кричишь, что ты идеалист, а потому, что у тебя скверные нервы».

А Бенковский, глядя в лицо ему пылающими глазами, всё говорил:

— Вы говорите — наука,— прекрасно! Преклоняюсь пред ней, как пред могучим усилием ума разрешить узы оковывающей меня тайны... Но я вижу себя при свете ее там же, где стоял мой далекий предок, непоколебимо веривший в то, что гром гремит по милости пророка Илии. Я не верю в Илию, я знаю — это действие электричества, но чем оно яснее Илии? Тем, что сложнее? Оно так же необъяснимо, как и движение и все другие силы, которыми безуспешно пытаются заменить одну. И порой мне кажется, что дело науки целиком сводится к усложнению понятий — только! Я думаю, что хорошо верить; надо мной смеются, мне говорят: нужно не верить, а знать. Я хочу знать, что такое материя, и мне отвечают буквально так: «Материя — это содержимое того места пространства, в котором мы объективируем причину воспринятого нами ощущения». Зачем так говорить? Разве можно выдавать это за ответ на вопрос? Это насмешка над тем, кто страстно и искренно ищет ответов на тревожные запросы своего духа... Я хочу знать цель бытия — это стремление моего духа тоже осмеивается. А ведь я живу, это нелегко и дает мне право категорически требовать от монополистов мудрости ответа — зачем я живу?

Полканов исподлобья смотрел в пылающее волнением лицо Бенковского и сознавал, что этому юноше нужно возражать словами, равными его словам по силе вложенного в них буйного чувства. Но, сознавая это, он не чувствовал желания возражать. А огромные глаза юноши стали еще больше,— в них горела страстная тоска. Он задыхался, белая изящная кисть его правой руки быстро мелькала в воздухе, то судорожно сжатая

в кулак и угрожающая, то как бы ловя что-то в пространстве и бессильная поймать.

— Ничего не давая, как много взяли вы у жизни! На это вы возражаете презрением... А в нем звучит — что? Ваше неумение жалеть людей. Ведь у вас хлеба духовного просят, а вы камень отрицания предлагаете! Ограбили вы душу жизни, и если нет в ней великих подвигов любви и страдания — в этом вы виноваты, ибо, рабы разума, вы отдали душу во власть его, и вот охладела она и умирает, больная и нищая! А жизнь всё так же мрачна, и ее муки, ее горе требуют героев... Где они?

«Да он припадочный какой-то!» — восклицал про себя Ипполит Сергеевич, с неприятным содроганием глядя на этот клубок нервов, дрожавший пред ним в тоскливом возбуждении. Он пытался остановить бурное красноречие своего будущего зятя, но это было безуспешно, ибо, охваченный вдохновением своего протеста, юноша ничего не слышал и, кажется, не видел. Он, должно быть, долго носил в себе все эти жалобы, лившиеся из его души, и был рад, что может высказаться пред одним из тех людей, которые, по его мнению, испортили жизнь.

Елизавета Сергеевна любовалась им, прищурив светлые глаза, и в них сверкала искорка вожделения.

— Во всем, что вы так сильно и красиво сказали,— размеренно и ласково заговорил Ипполит Сергеевич, воспользовавшись невольной паузой утомленного оратора и желая успокоить его,— во всем этом звучит бесспорно много искреннего чувства, пытливого ума...

«Что бы ему сказать этакое охлаждающее и примиряющее?» — усиленно думал он, сплетая сеть комплиментов.

Но его выручила из затруднительного положения сестра. Она уже насытилась и сидела, откинувшись на спинку кресла. Темные волосы ее были причесаны старомодно, но эта прическа в форме короны очень шла властному выражению ее лица. Ее губы, вздрогнувшие от улыбки, открыли белую и тонкую, как лезвие ножа, полоску зубов, и, красивым жестом остановив брата, она сказала:

— Позвольте и мне слово! Я знаю одно изречение какого-то мудреца, и оно гласит: «Неправы те, которые говорят — вот истина, но неправы и те, которые возражают им — это ложь, а прав только Саваоф и только Сатана, в существование которых я не верю, но которые где-нибудь должны быть, ибо это они устроили жизнь такой двойственной и это она создала их. Вы не понимаете? А ведь я говорю тем же человеческим языком, что и вы. Но всю мудрость веков я сжимаю в несколько слов, для того чтобы вы видели ничтожество вашей мудрости».

Кончив свою речь, она с очаровательно ясной улыбкой спросила у мужчин:

— Как вы это находите?

Ипполит Сергеевич молча пожал плечами,— его возмущали слова сестры, но он был доволен тем, что она укротила Бенковского.

А с Бенковским произошло что-то странное. Когда Елизавета Сергеевна заговорила — его лицо вспыхнуло восторгом и, бледнея с каждым ее словом, выражало уже нечто близкое к ужасу в тот момент, когда она поставила свой вопрос. Он хотел что-то ответить ей, его губы нервно вздрагивали, но слова не сходили с них. Она же, великолепная в своем спокойствии, следила за игрой его лица, и, должно быть, ей нравилось видеть действие своих слов на нем, в глазах ее сверкало удовольствие.

— Мне, по крайней мере, кажется, что в этих словах действительно весь итог огромных фолиантов философии,— сказала она, помолчав.

— Ты права до известной степени,— криво усмехнулся Ипполит Сергеевич,— но всё же...

— Так неужели человеку нужно гасить последние искры Прометеева огня, еще горящие в душе его, облагораживая ее стремления?— с тоской глядя на нее, воскликнул Бенковский.

— Зачем же, если они дают нечто положительное... приятное вам!— улыбаясь, сказала она.

— Ты берешь очень опасный критерий для определения положительного,— сухо заметил ей брат.

— Елизавета Сергеевна! Вы — женщина, скажите: великое идейное движение женщин какие отзвуки будит

в вашей душе?— спрашивал вновь разгоравшийся Бенковский.

— Оно интересно.

— Только?

— Но я думаю, что это... как вам сказать?.. это стремление лишних женщин. Они остались за бортом жизни, потому что некрасивы или потому, что не сознают силы своей красоты, не знают вкуса власти над мужчиной... Они — лишние. Но — нужно есть мороженое.

Он молча взял зеленую вазочку из ее рук и, поставив ее перед собой, стал упорно смотреть на холодную белую массу, нервно потирая свой лоб рукой, дрожащей от сдерживаемого волнения.

— Вот видите, философия портит не только вкус к жизни, но и аппетит,— шутила Елизавета Сергеевна.

А брат смотрел на нее и думал, что она играет в скверную игру с этим мальчиком. В нем весь этот разговор вызвал ощущение скуки, и хотя ему жалко было Бенковского, эта жалость не вмещала в себе сердечной теплоты.

«Sic visum Veneri!»[1] — решил он, вставая из-за стола и закуривая папиросу.

— Будем играть?— спросила Елизавета Сергеевна Бенковского.

И, когда он, в ответ на ее слова, покорно склонил голову, они ушли с террасы в комнаты, откуда вскоре раздались аккорды рояля и звуки настраиваемой скрипки. Ипполит Сергеевич сидел в удобном кресле у перил террасы, скрытой от солнца кружевной завесой дикого винограда, всползавшего с земли до крыши по натянутым бечевкам, и слышал всё, что говорят сестра и Бенковский. Окна гостиной, закрытые только зеленью цветов, выходили в парк.

— Вы написали что-нибудь за это время?— спрашивала Елизавета Сергеевна, давая тон скрипке.

— Да, маленькую пьеску.

— Прочитайте!

— Право, не хочется.

---

[1] «Так угодно Венере» (*лат.*).

— Хотите, чтоб я просила вас?

— Хочу ли? Нет... Но хотел бы прочитать те стихи, которые теперь слагаются у меня...

— Пожалуйста!

— Да, я прочту... Но они только что явились... и вы их вызвали к жизни...

— Как мне приятно слышать это!

— Не знаю... Может быть, вы говорите искренно... не знаю...

«Пожалуй, мне нужно уйти?» — подумал Ипполит Сергеевич. Но ему лень было двигаться, и он остался, успокоив себя тем, что им должно быть известно его присутствие на террасе.

Твоей спокойной красоты
Холодный блеск меня тревожит...

— раздался глухой голос Бенковского.

Ты осмеешь мои мечты?
Ты не поймешь меня, быть может?

— тоскливо спрашивал юноша.

«Боюсь я, что уж поздно тебе спрашивать об этом»,— скептически улыбаясь, подумал Полканов.

В твоих очах — участья нет,
В словах — холодный смех мне слышен...
И чужд тебе безумный бред
Моей души...

Бенковский замолчал от волнения или недостатка рифмы.

А он так пышен!
В нем песен вихрь, в пем жизнь моя!
Он весь проникнут буйной страстью
Решить загадку бытия,
Найти для всех дорогу к счастью...

«Надо уйти!»— решил Полканов, невольно поднятый на ноги истерическими стонами юноши, в которых зву-

чало одновременно и трогательное «прости!» миру его души, и отчаянное «помилуй!», обращенное к женщине.

Твой раб,— воздвиг тебе я трон
В безумствах сердца моего...
И жду...

«Своей гибели, ибо — так хочет Венера!» — докончил стихи ученый, идя по аллее парка.

Он удивлялся сестре: она не казалась настолько красивой, чтоб возбудить такую любовь в юноше. Наверное, она достигла этого тактикой сопротивления. Быть может, ему, как брату и порядочному человеку, следует поговорить с ней об истинном характере ее отношений к этому раскаленному страстью мальчику? А к чему может повести такой разговор теперь? И не настолько он компетентен в делах Амура и Венеры, чтоб вмешиваться в эту историю...

«А что было бы, если б этот факел страсти пылал пред сердцем Вареньки?»

Полканов не стал решать этот вопрос, а задумался о том, чем занята в данный момент девушка? Бьет по щекам своего Никона? Он почувствовал обиду за нее. Как жалко, что она живет далеко и нельзя видеть ее чаще, чтобы день за днем расшатывать всё то, что искажает ее душу!

Из дома неслись певучие звуки скрипки, нервные ноты рояля. Одна за другой в парке рождались фразы сладостных молений, нежного призыва.

С неба тоже лилась музыка — там пели жаворонки. Взъерошенный, черный, как кусок угля, на сучке липы сидел скворец и, пощипывая себе перья на грудке, многозначительно посвистывал, косясь на задумчивого человека, который медленно шагал по аллее, заложив руки назад и глядя куда-то далеко улыбавшимися глазами.

Вечером за чаем Бенковский был более сдержан и не так похож на безумного; Елизавета Сергеевна казалась тоже согретой чем-то.

— Ты ничего не рассказываешь о Петербурге, Ипполит,— сказала Елизавета Сергеевна.

— Что о нем сказать? Очень большой и живой город... Погода в нем сырая, а...

— А люди сухие,— перебил Бенковский.

— Далеко не все. Есть много совершенно размякших, покрытых плесенью очень древних настроений; везде люди довольно разнообразны!

— Слава богу, что это так! — воскликнул Бенковский.

— Да, жизнь была бы невыносимо скучна, если бы этого не было! — подтвердила Елизавета Сергеевна.— А что, в каком фаворе у молодежи деревня? Продолжают играть на понижение?

— Да, понемножку разочаровываются.

— Это явление очень характерно для интеллигенции наших дней,— усмехаясь, заявил Бенковский.— Когда она была в большинстве дворянской, оно не имело места. А теперь, когда сын кулака, купца или чиновника, прочитавший две-три популярные книжки, уже интеллигент,— деревня не может возбуждать интереса у такой интеллигенции. Разве она ее знает? Разве она для них может быть чем-то иным, кроме места, где хорошо пожить летом? Для них деревня — это дача,— да и вообще они дачники по существу их душ. Они явились, поживут и исчезнут, оставив за собой в жизни разные бумажки, обломки, обрывки — обычные следы своего пребывания. Придут за ними другие и уничтожат этот сор, а с ним и память об интеллигенции позорных, бездушных и бессильных девяностых годов.

— Эти другие—реставрированные дворяне? — щуря глаза, спросил Полканов.

— Вы меня, кажется, поняли... очень нелестно для вас, извините! — вспыхнул Бенковский.

— Я спросил только, кто эти будущие?

— Они — молодая деревня! Пореформенное поколение ее, люди уж и теперь с развитым чувством человеческого достоинства, жаждущие знаний, пытливые и сильные, готовые заявить о себе.

— Приветствую их заранее,— равнодушно сказал Полканов.

— Да, нужно сознаться, что деревня начинает производить на свет нечто новое,— примиряюще заговорила Елизавета Сергеевна.— У меня тут есть очень интересные ребята — Иван и Григорий Шаховы, прочитавшие

почти половину моей библиотеки, и Аким Мозырев, человек «всё понимающий», как он заявляет. Действительно, блестящие способности! Я проверяла его — дала ему физику: прочитай и объясни закон рычага и равновесия; так он через неделю с таким эффектом сдал мне экзамен, просто я была поражена! Да еще говорит, отвечая на мои похвалы: «Что ж? Вы это понимаете,— значит, и мне никем не заказано — книжки сочиняются для всех!» Каков? А вот... их понимание своего достоинства пока еще развилось только до дерзостей и грубостей. Эти новорожденные свойства они применяют даже ко мне, но я терплю и не жалуюсь земскому начальнику, понимая, что на этой почве могут расцвести такие огненные цветы... пожалуй, в одно прекрасное утро проснешься только на пепле своей усадьбы.

Полканов улыбнулся. Бенковский взглянул на женщину с грустью.

Поверхностно задевая темы и не особенно сильно самолюбие друг друга, они побеседовали часов до десяти, и тогда Елизавета Сергеевна с Бенковским снова пошли играть, а Полканов простился с ними и ушел к себе, заметив, что его будущий зять не сделал даже и маленького усилия скрыть то удовольствие, которое он чувствовал, провожая брата своей возлюбленной.

«...Узнаешь то, что хочешь узнать, и, как бы в виде вознаграждения за пытливость, является скука». Именно это обессиливающее ощущение почувствовал Полканов, когда сел за стол в своей комнате с намерением написать несколько писем знакомым. Он понимал мотивы своеобразных отношений сестры к Бенковскому, понимал и свою роль в ее игре. Всё это было нехорошо, но в то же время всё это было как-то чуждо ему, и душа его не возмущалась разыгравшейся пред ним пародией на историю Пигмалиона и Галатеи, хотя умом он осуждал сестру. Меланхолически постучав ручкой пера по столу, он уменьшил огонь лампы и, когда комната погрузилась в сумрак, стал смотреть в окна.

Тишина царила в парке, сквозь стекла окон луна казалась зеленоватой.

Под окнами мелькнула какая-то тень и исчезла, оставив за собой тихий шорох ветвей. Полканов, подойдя

к окну, открыл его,— за деревьями мелькнуло белое платье горничной Маши.

«Что же? — подумал он, улыбаясь,— пусть хоть горничная любит, если барыня только играет в любовь».

Медленно исчезали дни — утомительно однообразные. Впечатлений почти не было, а работалось с трудом, ибо знойный блеск солнца, наркотические ароматы парка и задумчивые лунные ночи — всё это возбуждало мечтательную лень.

Полканов наслаждался растительной жизнью, со дня на день откладывая решение приняться за работу. Иногда ему становилось скучно, он укорял себя в бездеятельности, недостатке воли, но всё это не возбуждало у него желания работать, и он объяснял себе свою лень стремлением организма к накоплению энергии. По утрам, просыпаясь после здорового, крепкого сна, он, с наслаждением потягиваясь, отмечал, как упруги его мускулы, эластична кожа, как свободно и глубоко дышат легкие.

Прискорбная привычка философствовать, слишком часто проявлявшаяся у его сестры, первое время раздражала его, но постепенно он помирился с этим недостатком Елизаветы Сергеевны и умел так ловко и безобидно доказать ей бесполезность философии, что она стала сдержаннее. Ее стремление обо всем рассуждать вызывало у него неприятное впечатление: он видел, что сестра рассуждает не из естественной склонности уяснить себе свое отношение к жизни, а лишь из предусмотрительного желания разрушать и опрокидывать всё то, что так или иначе могло бы смутить холодный покой ее души. Она выработала себе схему практики, а теории лишь постольку интересовали ее, поскольку могли сгладить пред братом ее сухое, скептическое отношение к жизни и людям. Понимая это, он не чувствовал, однако, в себе желания упрекнуть и пристыдить сестру; он осуждал ее в уме, но в нем не было чего-то, что позволило бы высказать вслух свое осуждение.

Почти каждый раз после визита Бенковского он давал себе слово поговорить с сестрой об ее отношениях к юноше и не находил удобного момента для этой беседы.

«Неизвестно, кто будет страдающей стороной, когда здравый смысл проснется в этом воспаленном господине,— оправдывал он себя.— Сестра твердо помнит, что он моложе ее, о ней нечего заботиться. А если она будет наказана — что же? Так и следует, если жизнь справедлива...»

Варенька бывала часто. Они катались по реке вдвоем или втроем с сестрой, но никогда с Бенковским; гуляли по лесу, однажды ездили в монастырь верст за двадцать. Девушка продолжала нравиться ему и возмущать его своими дикими речами, но с нею всегда было приятно. Ее наивность смешила его и сдерживала в нем мужчину; цельность ее натуры вызывала в нем удивление.

Всё чаще он спрашивал себя:

«Разве у меня нет столько энергии, сколько нужно для того, чтоб выбить из ее головы все эти глупости?»

Не видя ее, он чувствовал необходимость освободить ее мысль из уродливых пут, но Варенька являлась — и он забывал о своем решении. Иногда он замечал за собой, что слушает ее так, точно желает чему-то научиться у нее, и сознавал, что в ней было нечто, стесняющее свободу его ума. Случалось, что он, имея уже готовым возражение, которое, ошеломив ее своею силой, убедило бы в очевидности ее заблуждений,— прятал это возражение в себе, как бы боясь сказать его. Поймав себя на этом, он думал:

«Неужели это у меня от недостатка уверенности в своей правде?»

И убеждал себя в противном. Ему трудно было говорить с ней еще и потому, что она почти не знала даже азбуки общепринятых взглядов. Нужно было начинать с основ, и ее настойчивые вопросы: почему? зачем? — постоянно заводили его в дебри отвлеченностей, где она уже совершенно не понимала ничего. Однажды, утомленная его противоречиями, она изложила ему свою философию в таких словах:

— Бог меня создал, как всех, по образу и подобию своему — значит, всё, что я делаю, я делаю по его воле и живу — как нужно ему... Ведь он знает, как я живу? Ну, вот и всё, и вы напрасно ко мне придираетесь!

Всё чаще она раздражала в нем жгучее чувство самца, но он следил за собой и быстро гасил в себе чувственные вспышки, даже старался скрывать их от себя, когда же не мог скрыть, то говорил сам себе, виновато усмехаясь:

«Что же?— это естественно при ее красоте... А я мужчина, мой организм с каждым днем становится всё крепче под влиянием солнца и воздуха... Это естественно, но ее странности вполне гарантируют от увлечения ею...»

У него не было сил любить слепо — он это знал, но в глубине его ума всё чаще вспыхивала надежда обладать девушкой, и втайне от себя он ожидал, что она увлечется им. Рассуждая с самим собой о всем, что не унижало его в своих глазах, он удачно скрывал в себе всё, что могло бы вызвать у него сомнение в своей порядочности...

Однажды за вечерним чаем сестра объявила ему:

— Знаешь, завтра день рождения Вареньки Олесовой. Нужно ехать. Мне хочется прокатиться... Да и лошадям это будет полезно.

— Поезжай... и поздравь ее от моего имени,— сказал он, чувствуя, что и ему тоже хочется ехать туда.

— А ты не хочешь поехать? — с любопытством глядя на него, спросила она.

— Я? Не знаю. Кажется, не хочу. Но могу и поехать.

— Это не обязательно! — заявила Елизавета Сергеевна и опустила веки, скрывая улыбку, сверкнувшую в ее глазах.

— Я знаю,— с неудовольствием сказал он.

Наступила длинная пауза, в течение которой Полканов сделал себе строгое замечание за то, что он так ведет себя по отношению к этой девушке, точно боится, что не устоит против ее чар.

— Она мне говорила, эта Варенька, что у них там прекрасная местность,— сказал он и покраснел, зная, что сестра поняла его. Но она ничем не выдала этого, напротив — стала его уговаривать.

— Да поедем, пожалуйста! Посмотришь, у них действительно славно. И мне будет более ловко с тобой... Мы ненадолго, хорошо?

Он согласился, но настроение у него было испорчено.

«Зачем это мне было нужно лгать? Что постыдного или противоестественного в том, что я хочу еще раз видеть красивую девушку?» — зло спрашивал он себя.

На следующее утро он проснулся рано, и первые звуки дня, пойманные его слухом, был громкий смех — так смеяться могла только Варенька. Полканов, приподнявшись на постели, сбросил с себя простыню и слушал, улыбаясь. То, что сразу вторглось в него и наполнило его душу, едва ли можно было бы назвать радостью, скорее это было ласково щекотавшее нервы предчувствие близкой радости. И, вскочив с постели, он начал одеваться с быстротой, которая смущала и смешила его. Неужели она, в день своего рождения, приехала звать к себе его и сестру? Вот милая девушка!

Когда он вошел в столовую, Варенька комически виновато опустила перед ним глаза и, не принимая его протянутой к ней руки, заговорила робким голосом:

— Я боюсь, что вы...

— Представь себе! — воскликнула Елизавета Сергеевна,— она сбежала из дома!

— Это как? — спросил Полканов.

— Потихоньку,— объяснила Варенька.— От женихов... Представьте, какие у них будут рожицы! Тетя Лучицкая — ей ужасно хочется вытурить меня замуж! — разослала им торжественные приглашения и наварила и напекла для них столько, точно их — полк! Я помогала ей... а сегодня проснулась и верхом — марш сюда! Им оставила записку, что я поехала к Щербаковым... понимаете? совсем в другую сторону!

Он смотрел на нее и смеялся, в груди у него рождалась ласкающая теплота. Она снова была в белом широком платье, складки его нежными струями падали с плеч до ног, окутывая ее тело легким облаком. Смех сиял в глазах ее, лицо горело румянцем.

— Вам не нравится, что я так сделала? Ведь это невежливо, я понимаю! — серьезно сказала она и тотчас же снова расхохоталась.— Воображаю я их! Разодетые, надушенные... Напьются они с горя — боже мой, как!

— Много их? — спросил Ипполит Сергеевич, улыбаясь.

— Четверо...

— Чай налит!— объявила Елизавета Сергеевна.— Тебе придется поплатиться за эту выходку, Варя... Ты думаешь об этом?

— Нет, и — не хочу!— решительно ответила девушка, усаживаясь за стол.— Это будет, когда я ворочусь к ним,— значит, вечером, потому что я пробуду у вас весь день. Зачем же с утра думать о том, что будет еще только вечером? Папа рассердится, но от него можно уйти и не слушать... Тетя? — она без памяти любит меня! Они? Я могу заставить их ходить вокруг меня на четвереньках... Вот бы смешно!.. Чернонебов не может, потому что у него живот!

— Варя! Ты с ума сходишь! — пыталась унять ее Елизавета Сергеевна.

— Не буду,— обещала девушка сквозь смех, но унялась нескоро, комически рисуя женихов и увлекая искренностью своего оживления брата и сестру.

Всё время, пока пили чай, неустанно звучал смех. Елизавета Сергеевна смеялась с оттенком снисхождения к Варе, Ипполит пытался сдерживать себя и не мог. После чая стали обсуждать, чем бы наполнить этот весело начатый день. Варенька предложила поездку на лодке в лес и чаепитие там, и Ипполит Сергеевич немедленно согласился с ней. Но его сестра сделала озабоченное лицо и заявила:

— Я не могу — у меня сегодня неотложная поездка в Санино. Я думала ехать к тебе, Варя, и по дороге завернуть туда... но теперь уже необходимо отправиться нарочно...

Полканов искоса посмотрел на нее — ему казалось, что это она сейчас выдумала для того, чтоб оставить Варю наедине с ним. Но ее лицо выражало только неудовольствие и озабоченность.

Варенька была опечалена ее словами, но скоро снова оживилась:

— Ну что ж? Тебе хуже — а мы все-таки поедем! Ведь да?.. Только вот что—можно с нами ехать Григорию и Маше?

— Григорию, конечно! Но — Маша,— кто же подаст обед?

— А кто же будет обедать? Ты поедешь к Бенковским, мы не вернемся до вечера.

— Хорошо, бери Машу...

Варенька умчалась куда-то. Полканов, закурив папироску, вышел на террасу и стал ходить по ней взад и вперед. Ему улыбалась эта прогулка, но Григорий и Маша казались излишними. Они будут стеснять его — это несомненно.

Через полчаса Ипполит и Варя стояли у лодки, около нее возился Григорий — рыжий голубоглазый парень с веснушками на лице и орлиным носом. Маша, укладывая в лодке самовар и разные узелки, говорила ему:

— А ты, рыжий, скорей возись; видишь — господа дожидаются.

— Сейчас будет готово,— тенором отвечал парень, укрепляя уключины.

Ипполит догадался, кто по ночам шмыгает мимо его окон.

— Вы знаете,— говорила Варя, сидя в лодке и кивком головы указывая на Григория,— он у нас тут тоже за ученого слывет... Законник.

— Уж вы скажете, Варвара Васильевна,— усмехнулся Григорий, показывая крепкие зубы.— Законник!

— Серьезно, Ипполит Сергеевич,— он знает все русские законы...

— В самом деле, Григорий? — поинтересовался Ипполит Сергеевич.

— Это они шутят,— где же! Все-то их, Варвара Васильевна, никто не знает.

— А тот, кто писал?

— Господин Сперанский? Они давным-давно померли...

— Что же вы читаете? — спросил Полканов, присматриваясь к смышленому лицу парня.

— А вот законы, как они говорят,— указал Григорий на Варю бойкими глазами.— Попал мне, случаем, десятый том,— я посмотрел, вижу — интересно. Стал читать... А теперь имею том первый... Первая статья в нем прямо говорит: «Никто не может отговариваться

незнанием законов». Ну, я так думаю, что никто их не знает. Вот еще скоро учитель мне положение о крестьянах достанет; очень интересно почитать — что такое?

— Видите какой? — спрашивала Варенька.

— А много вы читаете? — допытывался Ипполит, вспоминая о Петрушке Гоголя.

— Читаю, когда время есть. Здесь книжек много... у одной Елизаветы Сергеевны — до тысячи. Только у нее всё романы да повести разные...

Лодка ровно шла против течения, тихо двигались берега, вокруг было упоительно хорошо: светло, тихо, душисто. Полканов смотрел в лицо Вареньки, обращенное к широкогрудому гребцу, а он, мерно разбивая веслами гладь реки, говорил о своих литературных вкусах, довольный тем, что его охотно слушает ученый барин. В глазах Маши, следивших за ним из-под опущенных ресниц, светились любовь и гордость.

— Не люблю читать про то, как солнце садилось или всходило, и вообще про природу. Восходы эти я, может, не одну тысячу раз видел... Леса и реки тоже мне известны; зачем мне читать про них? А это в каждой книжке и, по-моему, совсем лишнее... Всяк по-своему заход солнца понимает... У всякого свои глаза есть. А вот про людей — интересно. Читаешь, так думаешь: «А как бы ты сам сделал, коли бы тебя на эту линию поставить?» Хоть и знаешь, что всё это неправда.

— Что неправда? — спросил Ипполит Сергеевич.

— А книжки. Выдумано. Про крестьян, например... Разве они такие, как в книжках? Про них всё с жалостью пишут, дурачками их делают... нехорошо! Люди читают, думают — и в самом деле так, и не могут по-настоящему понять крестьянина... потому что в книжке-то он больно уж... глуп да плох...

Вареньке, должно быть, стали скучны эти речи, и она запела вполголоса, рассматривая берег потускневшими глазами.

— Вот что,— давайте мы с вами, Ипполит Сергеевич, встанем и пойдем пешком по лесу. А то сидим мы и печемся на солнце,— разве так гуляют? А Григорий с Машей поедут до Савёловой балки, там пристанут, приготовят нам чай и встретят нас... Григорий, приста-

вай к берегу. Ужасно я люблю пить и есть в лесу, на воздухе, на солнце... Чувствуешь себя бродягой свободной...

— Вот видите,— оживленно говорила она, выпрыгнув из лодки на песок берега,— коснешься земли, сразу же и есть что-то... бунтующее душу. Вот я насыпала себе песку полные ботинки... а одну ногу обмочила в воде... Это неприятно и приятно, значит — хорошо, потому что заставляет чувствовать себя... Смотрите, как быстро пошла лодка!

Река лежала у ног их и, взволнованная лодкой, тихо плескалась о берег. Лодка стрелой летела к лесу, оставляя за собой длинный след, блестевший на солнце, как серебро. Видно было, что Григорий смеялся, глядя на Машу, а она грозила ему кулаком.

— Это влюбленные,— сообщила Варенька, улыбаясь.— Маша уже просила у Елизаветы Сергеевны позволения выйти замуж за Григория. Но Елизавета Сергеевна пока не разрешила ей этого; она не любит замужней и женатой прислуги. А вот у Григория осенью кончится срок службы, и тогда он стащит Машу у вас... Они славные оба. Григорий просит меня продать ему земли в рассрочку... десять десятин хочет. Но я не могу, пока папа жив, и это жалко... Я знаю, что он выплатил бы мне всё и очень аккуратно... Он ведь на все руки... и слесарь, и кузнец, и вот кучером служит у вас... Кокович — земский начальник и мой жених — говорит мне про него так: «Эт-тё, знаитё, опасно бестиё — не поважает начальствё!»

— Кто он, этот Кокович? Поляк? — спросил Ипполит, любуясь ее гримасами.

— Мордвин, чуваш — я не знаю! У него ужасно длинный и толстый язык, он не помещается во рту и мешает ему говорить... Ух! Какая грязь!

Им преграждала дорогу лужа воды, покрытая зеленой плесенью, окруженная черным бордюром жирной грязи. Полканов посмотрел на свои ноги, говоря:

— Нужно обойти стороной.

— Вы разве не перепрыгнете? Я думала, что она высохла уже!..— с негодованием, топая ножкой, воскликнула Варенька.— Стороной идти далеко... и потом

оборвусь я там... Попробуйте перепрыгнуть! Это легко, смотрите — р-раз!

Она подпрыгнула и бросилась вперед: ему показалось, что это платье сорвалось с плеч ее и полетело по воздуху. Но она стояла на той стороне лужи и с сожалением восклицала:

— Ай, как я испачкалась! Нет, вы идите стороной... фи, какая гадость!

Он посмотрел на нее и бледно улыбался, ловя в себе какую-то дразнившую его темную мысль и чувствуя, что его ноги погружаются глубоко в грязь. По ту сторону лужи Варенька встряхивала платье, оно издавало мягкий шум, Ипполит при его колебаниях видел тонкие чулки на стройных ножках. На миг ему показалось, что грязь, разделявшая их друг от друга, имеет смысл предостережения ему или ей. Он торопливо пошел в сторону в кусты, где все-таки ему пришлось шагать по воде, скрытой травою. С мокрыми ногами и каким-то неясным ему решением он вышел к ней,— она, с гримасой указывая ему на свое платье, сказала:

— Смотрите — хорошо? Бя!

Он смотрел,— черные пятна грязи резали глаза, торжествующе красуясь на белой материи.

— Я люблю и привык видеть тебя такой свято чистой, что даже пятно грязи на твоем платье бросает черную тень на мою душу,— медленно выговорил Ипполит, с улыбкой глядя в лицо Вареньки.

Ее глаза вопросительно стояли на лице его, а он чувствовал, что его грудь как бы наполняется жгучей пеной, и вот она сейчас превратится в чудесные слова, которыми он еще никогда, ни с кем не говорил, ибо не знал их до сей поры.

— Что такое вы сказали? — настойчиво спрашивала Варенька.

Он вздрогнул, вопрос ее звучал строго. Стараясь говорить спокойно, он объяснил ей:

— Это — стихи,— по-русски они выходят прозой... но вы слышите ведь, что это стихи? Это, кажется, итальянские стихи,— не помню, право... А впрочем, это, может быть, и проза из какого-нибудь романа...

— Как это, нуте-ка, скажите еще?— попросила она его, вдруг задумавшись над чем-то.

— Я люблю...— он остановился, потирая себе лоб рукой.— Поверите ли? Ведь я забыл, как сказал. Честное слово — забыл!

— Ну, пойдемте!

И она решительно двинулась вперед.

Ипполит старался объяснить себе свою странную выходку и не мог. Было неловко пред Варенькой. Она шла рядом с ним, молча, наклонив голову, не смотрела на него, и ему казалось, что она думает о нем нехорошо. Напряженно-весело он заметил:

— Знали бы ваши женихи, как вы проводите время.

Девушка посмотрела на него так, точно он призвал ее откуда-то издалека, но тотчас ее лицо стало простым, детски милым.

— Да! Но они узнают, о! узнают! И... может быть, такое подумают обо мне...

— Вы боитесь этого?

— Я? — равнодушно спросила она.

— Простите меня за вопрос.

— Вы ведь не знаете меня... не знаете, как они противны мне! Иногда мне хочется свалить их себе под ноги и ходить по их лицам... наступая им на губы, чтобы они не могли ничего говорить. У! они подлые!

Злоба и бессердечие сверкали в ее глазах так ярко, что ему стало неприятно смотреть на нее, и он отвернулся, говоря ей:

— Как грустно, что вам приходится жить среди ненавистных вам людей... Неужели между ними нет ни одного, который... казался бы вам порядочным...

— Нет! Знаете,— ужасно мало на свете интересных людей... Все такие пришибленные, неодушевленные, противные...

Он улыбнулся над ее жалобой и сказал с оттенком иронии, самому ему непонятной:

— Так говорить вам рано еще. А вот подождите немножко — и встретите человека, который удовлетворит вас... Он будет всячески интересен для вас...

— Это кто? — быстро спросила она и даже остановилась.

— Ваш будущий муж.

— Но — кто он?

— Как же я могу это знать! — пожал плечами Полканов, недовольно отметив живость ее вопросов.

— А — говорите! — вздохнула девушка.

Они шли кустарником; дорога лежала среди него, как потерянная лента, вся в капризных изгибах. Теперь пред ними встал густой лес.

— Вам хочется выйти замуж? — спросил Ипполит Сергеевич.

— Да... не знаю! Не думается об этом,— просто ответила она. Взгляд ее красивых глаз, устремленный вдаль, был сосредоточен, точно она вспомнила что-то далекое и дорогое ей.

— Вам нужно пожить зиму в городе — там ваша красота обратит на вас всеобщее внимание, и вы скоро найдете то, что хотите... Потому что многие и сильно пожелают назвать вас своей женой,— задумчиво, негромко и медленно говорил он.

— Нужно, чтоб я позволила это!

— Как вы можете запретить желать?

— Ах, да! Конечно... пусть желают!

Они прошли несколько шагов в молчании.

Она, задумчиво рассматривая даль, всё вспоминала что-то, он же зачем-то считал пятна грязи на ее платье. Их было семь: три большие, похожие на звезды, два — как запятые, и одно — точно мазок кистью. Своим черным цветом и формой расположения на материи они что-то значили для него.

— Вы влюблялись? — раздался ее голос, серьезный и пытливый.

— Я? — вздрогнул Ипполит.— Да... давно уже, когда был юношей...

— Я тоже давно...— сообщила она.

— А... кто он? — спросил Полканов, не чувствуя неловкости вопроса, и, сорвав попавшуюся под руку ветку, далеко отбросил ее от себя.

— Он-то? Он — конокрад... Три года прошло с той поры, как я видела его. Семнадцать лет тогда было мне... Его однажды поймали, избили и привезли к нам на двор.

Он лежал в телеге, скрученный веревками, и молчал, глядя на меня... я стояла на крыльце. Помню, утро было такое ясное — это было рано утром, и все у нас еще спали...

Она замолчала, вспоминая.

— Под телегой была лужа крови — жирная такая лужа — и в нее падали тяжелые капельки из него... Его звали — Сашка Ремезов. Мужики пришли на двор и, глядя на него, ворчали, как собаки. У всех глаза были злые, а он смотрел на них спокойно... Я чувствовала, что он — избитый и связанный — считает себя лучше всех. Он так уж смотрел... глаза у него были большие, карие. Мне было жалко его и страшно... Я пошла в дом, налила ему стакан водки... вышла и подаю ему. А у него руки связаны, и он не может выпить... Он сказал мне, подняв немного свою голову, всю в крови: «Дайте, барышня, ко рту». Я поднесла ему,— он выпил так медленно, медленно и сказал: «Спасибо вам, барышня! Дай боже вам счастья!» Тогда я вдруг как-то шепнула ему: «Убегите!» А он громко ответил: «Если жив буду — непременно убегу! Уж поверьте!» — и мне ужасно понравилось, что он сказал это так громко, что все слышали на дворе. Потом он говорит: «Барышня! Велите вымыть мне лицо!» Я сказала Дуне, и она обмыла... Лицо осталось синее, опухшее от побоев... да! Скоро его увезли, и, когда телега съезжала со двора, я смотрела на него, а он мне кланялся и улыбался глазами... хотя он очень сильно был избит... Сколько я плакала о нем! Как я молилась богу за то, чтоб он убежал...

— Вы что же...— иронически перебил ее Ипполит,— может быть, ждете, что он убежит и явится к вам и... тогда выйдете за него замуж?

Она не услышала или не поняла иронии, ибо просто ответила:

— Ну, зачем он сюда явится?

— А если бы явился — вы вышли бы?

— За мужика?.. Нет, я думаю!

Полканов рассердился.

— Испортили вы себе голову вашими романами, вот что я вам скажу, Варвара Васильевна,— строго заговорил он.

При звуке его сухого голоса она с удивлением взглянула в лицо ему и стала молча, внимательно слушать его суровые, почти карающие слова. Он доказывал ей, как развращает ум эта, излюбленная ею, литература, искажающая действительность, чуждая облагораживающих идей, равнодушная к печальной правде жизни, к желаниям и мукам людей. Голос его резко звучал в тишине леса, и часто в придорожных ветвях раздавался тревожный шорох — кто-то прятался там. Из листвы на дорогу смотрел пахучий сумрак, порой по лесу проносился протяжный звук, похожий на подавленный вздох, и листва трепетала слабо, как во сне.

— Нужно читать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, желания людей и мотивы их поступков. Нужно знать, как плохо живут люди и как хорошо они могли бы жить, если б были более умны и более уважали права друг друга. А те книги, которые вы читаете, лгут, и лгут грубо. Вот они внушили вам дикое представление о героизме... И что же? Теперь вы будете искать в жизни таких людей, каковы они в этих книжках...

— Нет, конечно, не буду! — серьезно сказала девушка.— Я знаю — таких нет. Но тем-то книжки и хороши, что они изображают то, чего нет. Обыкновенное — везде, вся жизнь обыкновенная. Уж очень много говорят о страданиях... Это, наверное, неправда, а если это неправда — нехорошо говорить много о том, чего на самом деле меньше! Вот вы говорите, что в книгах нужно искать... примерных чувств и мыслей... и что все люди заблуждаются и не понимают себя... Так ведь книги пишут люди же! И почем я знаю, во что нужно верить и которое лучше? А в тех книжках, на которые вы нападаете, очень много благородного...

— Вы не поняли меня,— с раздражением воскликнул он.

— Да? Вы на меня сердитесь за это? — виноватым голосом спросила она.

— Нет! Конечно, я не сержусь...

— Вы сердитесь, я знаю, знаю! Я ведь и сама сержусь всегда, когда не соглашаются со мной! Но зачем вам нужно, чтоб я согласилась с вами? И мне тоже...

Зачем вообще все люди всегда спорят и хотят, чтоб с ними согласились? Ведь тогда и говорить нельзя будет ни о чем.

Она засмеялась и сквозь смех закончила:

— Точно все хотят, чтобы от всех слов осталось только одно — да! Ужасно весело!

— Вы спрашиваете, зачем мне нужно...

— Нет, я понимаю; вы привыкли учить, и для вас уж необходимо, чтоб вам не мешали возражениями.

— Вовсе не так! — с огорчением воскликнул Полканов.— Я хочу вызвать у вас критику всего, что творится вокруг вас и в вашей душе.

— Зачем? — спросила она, наивно взглянув в его глаза.

— Боже мой! Как это — зачем? Чтобы вы умели проверять свои чувства, думы, поступки... чтобы разумно относились к жизни, к себе самой.

— Ну, это... должно быть, трудно! Проверять себя, критиковать себя... как это? Я ведь — одна... И что же... как же? надвое расколоться мне, что ли? Вот не понимаю! У вас выходит так, что правда только вам известна... Положим, это и у меня... и у всех... Но, значит, все и ошибаются! Потому что ведь вы говорите — правда одна для всех, да?.. А смотрите — какая красивая поляна?

Он смотрел, не возражая ей. В нем бушевало чувство недовольства собой. Он привык считать глупыми людей, не соглашавшихся с ним; в лучшем случае он признавал их лишенными способности развиться дальше той точки, на которой застыл их ум,— к таким людям он относился с презрением и жалостью. Но эта девушка не казалась ему глупой, не возбуждала его обычных чувств к оппонентам. Почему же это? Он отвечал себе:

«Несомненно только потому, что она подавляюще красива... Ее дикие речи можно, пожалуй, не ставить в вину ей... они оригинальны, а оригинальность вообще встречается крайне редко, тем более в женщине».

Человек высокой культуры, он внешне относился к женщине, как к существу умственно равному, но в глубине души, как все мужчины, думал о женщине скептически и с иронией.

Они медленно шли по широкой, почти правильно круглой поляне. Дорога двумя черными линиями колея резала ее поперек и снова скрывалась в лесу. Среди поляны стояла маленькая толпа стройных молодых березок, бросая кружевные тени на стебли скошенной травы. Недалеко от них склонился к земле полуразрушенный шалаш из ветвей; внутри его виднелось сено, а на нем сидели две галки. Ипполиту они казались совершенно ненужными и нелепыми среди этой маленькой и красивой пустыни, окруженной со всех сторон темными стенами таинственно молчавшего леса. Галки боком смотрели на людей, шедших по дороге, и в их позах было что-то безбоязненное, уверенное,— точно они, сидя на шалаше, охраняли вход в него, сознавая это как свою обязанность.

— Вы не устали? — спросил Полканов, с чувством, близким к гневу, рассматривая галок.

— Я? Гуляя — устать? Это даже обидно слушать! К тому ж, до места, где нас ждут, осталось не более версты... Вот сейчас войдем в лес, и дорога пойдет под гору. Лес там сосновый, он стоит на высоком пригорке и называется Савёлова Грива. Сосны — громадные, и стволы у них без ветвей, только вверху каждой темно-зеленый зонт. Тихо, жутко, вся земля усыпана хвоей, лес кажется подметенным. Когда я гуляю в нем, мне почему-то всегда думается о боге... Вокруг его престола, должно быть, так же жутко... ангелы не славословят его — это неправда! Зачем ему слава? Разве он сам не знает, как он велик?

В уме Ипполита Сергеевича сверкнула яркая мысль:

«Что, если я воспользуюсь авторитетом догмата, чтоб поднять целину ее души?»

Но он тотчас же гордо отверг это невольное признание в своей слабости пред нею. Было бы нечестно действовать силой, в существование которой не веришь.

— Вы не верите в бога? — как бы ловя его мысль, спросила она.

— Почему вы так думаете?

— Все ученые не верят...

— Уж и все! — усмехнулся он, не желая говорить с ней на эту тему. Но она не отступала от него.

— Разве не все? Пожалуйста, расскажите о тех, которые совсем не верят!.. Я не понимаю — как это можно? Откуда же всё явилось?

Он помолчал, будя свой ум, сладко дремавший под звуки ее речей. Потом заговорил о происхождении мира так, как он понимал его:

— Могучие неведомые силы вечно движутся, сталкиваются, и великое движение их рождает видимый нами мир, в котором жизнь мысли и былинки подчинены одним и тем же законам. Это движение не имело начала и не будет иметь конца...

Девушка внимательно слушала его и часто просила объяснить ей то или другое. Он объяснял с удовольствием, видя напряжение мысли на ее лице. Но, когда он кончил, она, помолчав с минуту, простодушно спросила его:

— Но ведь тут начато не с начала! А в начале был бог. Как же это? Тут о нем просто не говорится, разве это и значит не верить в него?

Он хотел возражать ей, но по выражению ее лица понял, что это бесполезно. Она верила — об этом свидетельствовали ее глаза. Тихо, с боязнью, она говорила ему что-то странное.

— Когда видишь людей и как всё это гадко у них и потом вспомнишь о боге, о страшном суде — даже сердце сожмется! Потому что ведь он может всегда — сегодня, завтра, через час — потребовать ответов... И знаете, иногда мне кажется — это будет скоро! Днем это будет... сначала погаснет солнце... а потом вспыхнет новое пламя, и в нем явится он.

Ипполит Сергеевич слушал ее бред и думал:

«В ней есть всё, кроме того, чему необходимо следовало бы быть...»

Ее речи вызвали бледность на ее лице, испуг был в глазах у нее.

Но ее бред исчез вдруг, когда до них донесся громкий смех, звучавший где-то близко.

— Слышите? Это Маша,— вот мы и пришли!

И, ускорив шаги, крикнула:

— Маша, ау!

Вышли на берег реки; он полого спускался к воде,

по откосу его были капризно разбросаны веселые группы берез и осин. На противоположном берегу стояли у самой воды высокие молчаливые сосны, наполняя воздух густым смолистым запахом. Там всё было хмуро, неподвижно и пропитано суровой важностью, а здесь — грациозные березы качали гибкими ветвями, нервно дрожала серебристая листва осины, калинник и орешник стоял пышными купами, отражаясь в воде; там желтел песок, усеянный рыжеватой хвоей; здесь под ногами зеленела отава, чуть пробивавшаяся среди срезанных стеблей; от разбросанных, между деревьев, копен пахло свежим сеном. Река, спокойная и холодная, отражала, как зеркало, два берега, не похожие друг на друга.

В тени группы берез был разостлан яркий ковер, на нем стоял самовар, испуская струйки пара и голубой дым, а около него, присев на корточки, возилась Маша с чайником в руке. Лицо у нее было красное, счастливое, волосы на голове мокрые.

— Ты купалась? — спрашивала у нее Варенька.— А где Григорий?

— Тоже купаться поехал. Скоро уж вернется.

— Да мне его не нужно. Я хочу есть, пить и... есть и пить! Вот как! А вы, Ипполит Сергеевич?

— Не откажусь!

— Маша, живо!

— Что сначала прикажете? Цыплят, паштет...

— Всё сразу давай и можешь исчезнуть! Может быть, тебя ждет кто-нибудь?

— Ровно бы некому,— тихонько засмеялась Маша, благодарными глазами взглядывая на нее...

— Ну, ладно, притворяйся!

«Как это у нее просто всё выходит»,— думал Ипполит Сергеевич, принимаясь за цыплят.

А Варенька со смехом вышучивала смущение Маши, стоявшей пред нею потупив глаза и с улыбкой счастья на лице.

— Погоди, он тебя заберет в руки! — грозила она.

— Ка-ак же! Так я ему и дамся!.. Я, знаете, я его...— и она, закрыв лицо передником, закачалась на ногах в приступе неудержимого смеха.— Дорогой в воду ссунула!

— Ну? Молодец! А как же он?

— Плыл за лодкой... и... и всё упрашивал, чтоб я его впустила... а я ему... веревку бросила с кормы!

Заразительный смех двух женщин принудил и Полканова расхохотаться. Он смеялся не потому, что представлял себе Григория плывущим за лодкой, а потому, что хорошо ему было. Чувство свободы от самого себя наполняло его, и порой он точно откуда-то издали удивлялся себе, замечая, что никогда раньше он не был так просто весел, как в этот момент. Потом Маша исчезла, и они снова остались вдвоем.

Варенька полулежала на ковре и пила чай, а Ипполит Сергеевич смотрел на нее как бы сквозь дымку дремы. Вокруг них было тихо, лишь самовар пел задумчивую мелодию, да порой что-то шуршало в траве.

— Вы что молчаливый такой? — спросила Варенька, заботливо глядя на него. — Вам, может быть, скучно?

— Нет, мне хорошо,— медленно сказал он,— а говорить не хочется.

— Вот и я тоже так,— оживилась девушка,— когда тихо, я ужасно не люблю говорить. Ведь словами немного скажешь, потому что бывают чувства, для которых нет слов. И когда говорят — тишина, то это напрасно — о тишине нельзя говорить, не уничтожая ее... да?

Она помолчала, посмотрела на сосновый лес и, указав на него рукой, спросила, тихо улыбаясь:

— Посмотрите, сосны точно прислушиваются к чему-то. Там среди них тихо-тихо. Мне иногда кажется, что лучше всего жить вот так — в тишине. Но хорошо и в грозу... ах, как хорошо! Небо черное, молнии злые, ветер воет... В это время выйти в поле, стоять там и петь — громко петь или бежать под дождем, против ветра. И зимой. Вы знаете, однажды во вьюгу я заблудилась и чуть не замерзла.

— Расскажите, как это? — попросил он. Ему было приятно слышать ее,— казалось, что она говорит на языке новом для него, хотя и понятном.

— Я ехала из города, поздно ночью,— придвигаясь к нему и остановив улыбающиеся глаза на его лице, начала она.— Кучером был Яков, старый такой, строгий

мужик. И вот началась вьюга, страшной силы вьюга и прямо в лицо нам. Рванет ветер и бросит в нас целую тучу снега так, что лошади попятятся назад. Вокруг всё кипит, точно в котле, а мы в холодной пене. Ехали, ехали, потом Яков, вижу я, снял шапку с головы и крестится. «Что ты?» — «Молитесь, барышня, господу и Варваре великомученице, она помогает от нечаянной смерти». Он говорил просто и без страха, так что я не испугалась; спрашиваю: «Заплутались?» — «Да», говорит.—«Но, может быть, выедем?» — «Где уж, говорит, выехать в такую вьюгу! Вот я отпущу вожжи, авось кони сами пойдут, а вы все-таки про бога-то вспомните!» Он очень набожный, этот Яков. Кони стали и стоят, и нас заносит. Холодно! Лицо режет снегом. Яков сел с козел ко мне, чтобы нам обоим теплее было, и мы с головой закрылись ковром. На ковер наносило снег, он становился тяжелым. Я сидела и думала: «Вот и пропала я! И не съем конфет, что везла из города...» Но страшно мне не было, потому что Яков разговаривал всё время. Помню, он говорил: «Жалко мне вас, барышня! Зачем вы-то погибнете?» — «Да ведь и ты тоже замерзнешь?» — «Я-то ничего, я уж пожил, а вот вам...» — и всё обо мне. Он меня очень любит, даже ругает иногда, знаете, ворчит на меня, сердито так: «Ах, ты, безбожница, сорви-голова, бесстыжая вертушка!..»

Она сделала суровую мину и говорила густым басом, растягивая слова. Воспоминание о Якове отвлекло ее от своего рассказа, и Полканов должен был спросить ее:

— Как же вы нашли путь?

— А кони озябли и пошли сами, шли-шли и дошли до деревни, на тринадцать верст в сторону от нашей. Вы знаете, наша деревня здесь близко, версты четыре, пожалуй. Вот если идти так вдоль берега и потом по тропе, в лесу направо, там будет ложбина и уже видно усадьбу. А дорогой отсюда верст десять.

Смелые синицы порхали вокруг них и, садясь на ветки кустов, бойко щебетали, точно делясь друг с другом впечатлениями от этих двух людей, одиноких среди леса. Издали доносился смех, говор и плеск весел,— Григорий и Маша катались на реке.

— Позовем их и переедем на ту сторону в сосны? — предложила Варенька.

Он согласился, и, приставив руку ко рту рупором, она стала кричать:

— Плывите сюда-а!

От крика ее грудь напряглась, а Ипполит молча любовался ею. Ему о чем-то нужно было подумать — о чем-то очень серьезном, чувствовал он,— но думать не хотелось, и этот слабый позыв ума не мешал ему спокойно и свободно отдаваться более сильному велению чувства.

Явилась лодка. У Григория лицо было лукавое и немного виноватое, у Маши — притворно сердитое; но Варенька, садясь в лодку, посмотрела на них и засмеялась, тогда и они оба засмеялись, сконфуженные и счастливые.

«Венера и рабы, обласканные ею»,— подумал Полканов.

В сосновом лесу было торжественно, как в храме; могучие стройные стволы стояли, точно колонны, поддерживая тяжелый свод темной зелени. Теплый густой запах смолы наполнял воздух, под ногами тихо хрустела хвоя. Впереди, позади, с боков — всюду стояли красноватые сосны, и лишь кое-где у корней их сквозь пласт хвои пробивалась какая-то бледная зелень. В тишине и молчании двое людей медленно бродили среди этой безмолвной жизни, свертывая то вправо, то влево пред деревьями, загораживавшими путь.

— Мы не заплутаемся? — спросил Ипполит.

— Я заплутаюсь? — удивилась Варенька.— Я везде найду нужное направление — стоит только посмотреть на солнце.

Ему не хотелось говорить, хотя иногда он чувствовал, что много мог бы сказать ей. Варенька шла рядом с ним, и он видел на лице ее отражение тихого восторга.

— Хорошо? — изредка спрашивала она его, и ласковая улыбка заставляла вздрагивать ее губы.

— Да, очень,— кратко отвечал он, и снова они молчали, идя по лесу. Ему казалось, что он — юноша, благоговейно влюблен, чужд грешных помыслов и внутренней борьбы с самим собой. Но каждый раз, когда глаза ловили пятно грязи на ее платье, на душу ему падала

тревожная тень. Он не понимал, как это случилось, что вдруг, в момент, когда такая тень окутала его сознание, он, глубоко вздохнув, точно сбрасывая с себя тяжесть, сказал:

— Какая вы красавица!

Она удивленно взглянула на него.

— Что это вы? Молчали, молчали — и вдруг!

Ипполит тихо засмеялся.

— Так, знаете... хорошо здесь! Лес хорош... а вы в нем как фея... или — вы богиня, и лес — ваш храм.

— Нет,— улыбаясь, возразила она,— это не мой лес, это казенный, наш лес в ту сторону, вниз по реке.

И она указала рукой куда-то вбок.

«Шутит она или не понимает?» — подумал Ипполит, и в нем стало разгораться настойчивое желание говорить о ее красоте. Но она была задумчива, спокойна, это сдерживало его.

Гуляли долго, но говорили мало, мягкие и мирные впечатления дня овеяли их души сладким утомлением, в нем уснули все желания, кроме желания молча думать о чем-то невыразимом словами.

Воротясь домой, они узнали, что Елизаветы Сергеевны еще нет, и стали пить чай, быстро приготовленный Машей. Сейчас же после чая Варенька уехала домой, взяв с него слово приехать к ним в усадьбу вместе с Елизаветой Сергеевной. Он проводил ее и когда пришел на террасу, то поймал себя на тоскливом ощущении утраты чего-то необходимого ему. Сидя за столом, пред остывшим стаканом чая, он попробовал уничтожить всю эту игру раздраженных за день чувств, но в нем явилась жалость к самому себе, и он отказался от хирургических операций над собой.

«Зачем? — думал он,— разве всё это серьезно? Это не вредит ей, не может повредить, если б я и хотел. Это несколько мешает мне жить... но тут столько юного и красивого...»

Потом, снисходительно улыбаясь самому себе, он вспомнил свое решение разбудить ее ум и свои неудачные попытки сделать это.

«Нет, с ней нужно говорить иными словами. Эти целостные натуры скорее склонны поступиться своей

непосредственностью пред метафизикой... защищаясь против логики броней слепого, примитивного чувства... Странная девушка!»

В думах о ней его застала сестра. Она явилась шумной и оживленной,— такой он еще не видал ее. Приказав Маше подогреть самовар, она уселась против брата и начала ему рассказывать о Бенковских.

— Изо всех щелей их старого дома смотрят жесткие глаза нищеты, торжествуя победу над этим семейством. В доме, кажется, нет ни копейки денег и никаких запасов; к обеду посылали в деревню за яйцами. Обед без мяса, и поэтому старик Бенковский говорит о вегетарианстве и о возможности морального перерождения людей на этой почве. У них пахнет разложением, и все они злые — от голода, должно быть. Я ездила к ним с предложением продать мне клок земли, врезавшийся в мои владения.

— Зачем это? — полюбопытствовал Ипполит.

— Представь, что ради моих будущих детей,— смеясь сказала она.— Ну, а ты как провел время?

— Приятно.

Она помолчала, исподлобья посмотрев на него.

— Извини за вопрос,— ты не боишься немножко увлечься Варенькой?

— Чего же тут бояться?

— Возможности увлечься сильно.

— Ну, это едва ли я сумею...— скептически ответил он и верил, что говорит правду.

— А если так, то прекрасно. Немножко — это хорошо, а то — ты несколько сух... слишком серьезен для твоих лет. И я, право, буду рада, если она расшевелит тебя... Быть может, ты хотел бы видеть ее чаще?..

— Она взяла с меня слово приехать к ним и просила тебя об этом,— сообщил Ипполит.

— Когда ты хочешь поехать?

— Всё равно... Как ты найдешь удобным. Ты сегодня хорошо настроена.

— Это очень заметно? — засмеялась она.— Что же? Я провела хорошо день. Вообще... боюсь, это покажется тебе цинизмом... но, право, со дня похорон мужа я чувствую, что возрождаюсь... Я эгоистична — конечно!

Но это радостный эгоизм человека, выпущенного из тюрьмы на свободу. Суди, но будь справедлив!

— Сколько оговорок для такой маленькой речи! Рада и — радуйся,— ласково засмеялся Ипполит.

— И ты сегодня добр и мил,— сказала она.— Видишь, немножко счастья — и человек сразу же становится лучше, добрее. А некоторые, слишком мудрые, люди находят, что нас очищают страдания... Желала бы я, чтоб жизнь, применяя к ним эту теорию, очистила их умы от заблуждения...

«А если Вареньку заставить страдать, что было бы из нее?» — спросил себя Полканов.

Скоро они разошлись. Она стала играть, а он, уйдя в свою комнату, лег там и задумался: какое представление о нем сложилось у этой девушки? Что может нравиться ей в нем? Что-то привлекает ее к нему — это очевидно. Но едва ли он имеет в ее глазах цену как умный, ученый человек; она так легко отбрасывает от себя все его теории, взгляды, поучения. Вероятнее, что он нравится ей просто как мужчина.

И, дойдя до этого заключения, Ипполит Сергеевич вспыхнул от радости. Закрыв глаза, он с улыбкой удовольствия представлял себе эту девушку покорной ему, побежденной им, готовой на всё для него, робко умоляющей его взять ее и научить думать, жить, любить.

III

Когда кабриолет Елизаветы Сергеевны остановился у крыльца дома полковника Олесова, на крыльце явилась длинная и худая фигура женщины в серой блузе и раздался басовый голос, резко выделявший звук «р».

— А-а! Какой приятный сюрприз!

Ипполит Сергеевич даже вздрогнул от этого приветствия, похожего на рычание.

— Мой брат Ипполит,— представила Елизавета Сергеевна, поцеловавшись с женщиной.

— Маргарита Лучицкая.

Пять холодных и цепких костей сжали пальцы Ипполита Сергеевича; сверкающие серые глаза останови-

лись на его лице, и тетя Лучицкая пробасила, внятно отчеканивая каждый слог, точно она считала их, боясь сказать лишний:

— Очень рада быть знакомой с вами.

Затем она отодвинулась в сторону и ткнула рукой на дверь.

— Прошу!

Ипполит шагнул через порог, а навстречу ему откуда-то донесся хриплый кашель и раздраженный возглас:

— Чёрт возьми твою глупость! Ступай посмотри и скажи, кто приехал...

— Иди, иди,— поощрила Елизавета Сергеевна брата, когда он нерешительно остановился.— Это полковник кричит... Мы приехали, полковник!

Среди большой, с низким потолком, комнаты стояло массивное кресло, а в него было втиснуто большое рыхлое тело с красным дряблым лицом, поросшим седым мхом. Верхняя часть этой массы тяжело ворочалась, издавая удушливый храп. За креслом возвышались плечи какой-то высокой и дородной женщины, смотревшей в лицо Ипполита Сергеевича тусклыми глазами.

— Рад вас видеть,— ваш брат?.. Полковник Василий Олесов... бил турок и текинцев, а ныне сам разбит болезнями... хо-хо-хо! Рад вас видеть... Мне Варвара всё лето барабанит в уши о вашей учености и уме и прочее такое... Прошу сюда, в гостиную. Фекла,— вези!

Пронзительно завизжали колеса кресла, полковник качнулся вперед, откинулся назад и разразился хриплым кашлем, так болтая головой, точно желал, чтоб она у него оторвалась.

— Когда барин кашляет — стой! Не говорила я тебе этого тысячу раз?

И тетя Лучицкая, схватив Феклу за плечо, вдавила ее в пол.

Полкановы стояли и ждали, когда откашляется грузно колыхавшееся тело Олесова.

Наконец двинулись вперед и очутились в маленькой комнате, где было душно и тесно от обилия мягкой мебели в парусиновых чехлах.

— Рассаживайтесь... Фекла — за барышней! — скомандовала тетя Лучицкая.

— Елизавета Сергеевна, голубушка, я вам рад!— заявил полковник, глядя на гостью из-под седых бровей, сросшихся на переносье, круглыми, как у филина, глазами. Нос у полковника был комически велик и конец его, сизый и блестящий, уныло прятался в седой щетине усов.

— Я знаю, что вы рады мне так же, как и я рада видеть вас,— ласково сказала гостья.

— Хо-хо-хо! Это — пардон! — вы врете! Какое удовольствие видеть старика, разбитого подагрой и болящего от неутолимой жажды выпить водки? Лет двадцать пять тому назад можно было действительно радоваться при виде Васьки Олесова... И много женщин радовались... а теперь ни вы мне, ни я вам совершенно не нужны... Но при вас мне дадут водки — и я рад вам!

— Не говори много, опять закашляешь...— предупредила его Лучицкая.

— Слышали? — обратился полковник к Ипполиту Сергеевичу.— Я не должен говорить — вредно, пить — вредно, есть, сколько хочу,— вредно! Всё вредно, чёрт возьми! И я вижу — мне жить вредно! Хо-хо-хо! Отжил... Не желаю вам сказать когда-нибудь этакое про себя... А впрочем, вы наверное скоро умрете... схватите чахотку — у вас невозможно узкая грудь...

Ипполит смотрел то на него, то на тетю Лучицкую и думал о Вареньке:

«Однако среди каких монстров она живет!»

Суровая, угловатая худоба тети Лучицкой колола ему глаза; он не мог видеть ее длинной шеи, обтянутой желтой кожей, и всякий раз, как она говорила,— ему становилось чего-то боязно, точно он ждал, что басовые звуки, исходившие из широкой, но плоской, как доска, груди этой женщины,— разорвут ей грудь. Шелест юбок тети Лучицкой казался ему трением ее костей. От полковника пахло каким-то спиртом, пóтом и скверным табаком. Судя по блеску его глаз, он, должно быть, часто раздражался, и Полканов, воображая его раздраженным, почувствовал отвращение к этому старику. В комнатах было неуютно, обои на стенах закоптели, а из-

разцы печи испещряли трещины. Краска пола была стерта колесами кресла, рамы в окнах кривы, стекла тусклы; отовсюду веяло старостью, разрушением.

— Сегодня душно,— говорила Елизавета Сергеевна.

— Будет дождь,— категорически объявила Лучицкая.

— Неужели? — усомнилась гостья.

— Верьте Маргарите,— захрипел старик.— Ей известно всё, что будет. Она ежедневно уверяет меня в этом. Ты, говорит, умрешь, а Варьку ограбят и сломят ей голову... видите? Я спорю: дочь полковника Олесова не позволит кому-нибудь сломить ей голову,— она сама это сделает! А что я умру — это правда... так должно быть. А вы, господин ученый, как себя здесь чувствуете? Тощища в кубе, не правда ли?

— Нет, почему же? Красивая лесная местность...— любезно откликнулся Ипполит.

— Красивая местность — здесь-то? Пхе! Это значит, что вы не видали красивого на земле. Красивое — это долина Казанлыка в Болгарии, красиво в Хорасане... На Мургабе есть места, как рай... А! Мое драгоценное детище!..

Варенька внесла аромат свежести в затхлый воздух гостиной. Фигура ее была окутана в какую-то хламиду из сарпинки светло-сиреневого цвета. В руках она держала большой букет только что срезанных цветов, и ее лицо сияло удовольствием.

— Как хорошо, что вы приехали именно сегодня!— восклицала она, здороваясь с гостями.— Я уже собиралась к вам,— они меня загрызли!

Широким жестом руки она указала на отца и тетку, сидевшую рядом с гостьей до того неестественно прямо, точно у нее позвоночник окаменел.

— Варвара! Ты говоришь вздор! — сурово окрикнула она девушку, сверкнув глазами.

— Не кричите! А то я начну рассказывать Ипполиту Сергеевичу о поручике Яковлеве и его пылком сердце...

— Хо-хо-хо! Варька — смирно! Я сам расскажу...

«Куда я попал?» — соображал Ипполит, с удивлением посматривая на сестру.

Но ей, очевидно, было знакомо всё это, в углах ее губ дрожала улыбка пренебрежения.

— Иду распорядиться чаем! — объявила Маргарита Лучицкая, не сгибая корпуса, вытянулась кверху и исчезла, окинув полковника укоризненным взглядом.

Варенька села на ее место и начала что-то говорить на ухо Елизавете Сергеевне.

«Что у нее за страсть к широким одеждам?» — думал Ипполит Сергеевич, искоса поглядывая на ее фигуру, в красивой позе склоненную к сестре.

А полковник гудел, как разбитый контрабас:

— Вы, конечно, знаете, что Маргарита — жена моего товарища, подполковника Лучицкого, убитого при Эски-Загре? Она с ним делала поход, да! Энергичная, знаете, женщина. Ну и вот, был у нас в полку поручик Яковлев, этакая нежная барышня... ему редиф разбил грудь прикладом, чахотка и... конец! И вот он болел, а она за ним ухаживала пять месяцев! а? каково? И, знаете, дала ему слово не выходить замуж. Молодая она была очень эффектна. За ней ухаживали достойные люди... Капитан Шмурло, очень милый хохол, даже спился и бросил службу. Я — тоже... то есть тоже предлагал: «Маргарита! иди за меня замуж!..» Не пошла... очень глупо, но, конечно, благородно. А вот когда меня разбила подагра, она явилась и говорит: «Ты один, я одна...» и прочее такое. Трогательно и свято. Дружба навек, и всегда грыземся. Она приезжает каждое лето, даже хочет продать имение и переселиться навсегда, то есть до моей смерти. Я ценю, но смешно всё это — да? Хо-хо-хо! Потому что была женщина с огнем и — видите, как он ее высушил? Не шути с огнем... хо! Она, знаете, злится, когда рассказываешь эту поэзию ее жизни, как она выражается. «Не смей, говорит, оскорблять гнусным языком святыню моего сердца!» Хо-хо! А в существе дела — какая святыня? Заблуждение ума... мечты институтки... Жизнь проста, не так ли? Наслаждайся и умри в свое время, вот и вся философия! Но... умри в свое время! А я вот пропустил срок, это скверно, не желаю вам этого...

У Ипполита кружилась голова от рассказа и запаха, который распространял полковник. А Варенька, не об-

ращая на него внимания, вполголоса разговаривала с Елизаветой Сергеевной, слушавшей ее внимательно и серьезно.

— Приглашаю чай пить! — раздался в дверях бас Маргариты Лучицкой.— Варвара, вези отца!

Полканов облегченно вздохнул и пошел сзади Вареньки, легко катившей пред собой тяжелое кресло.

Чай был приготовлен по-английски, с массой холодных закусок. Громадный кровавый ростбиф окружали бутылки вина, и это вызвало довольный хохот у полковника. Казалось, что и его полумертвые ноги, окутанные медвежьей шкурой, дрогнули от предвкушения удовольствия. Он ехал к столу и, простирая к бутылкам дрожащие пухлые руки, поросшие темной шерстью, хохотал, сотрясая воздух столовой, обставленной плетеными стульями.

Чаепитие продолжалось мучительно долго, и всё время полковник с хрипом рассказывал военные анекдоты, Маргарита кратко и басом вставляла свои замечания, а Варенька тихо, но оживленно разговаривала с Елизаветой Сергеевной.

«О чем она?» — с тоской думал Ипполит, предоставленный в жертву полковнику.

Ему казалось, что сегодня она слишком мало обращает на него внимания. Что это — кокетство? Он чувствовал, что готов рассердиться на нее.

Но вот она взглянула в его сторону и звонко засмеялась.

«Это сестра обратила ее внимание на меня!» — недовольно хмуря брови, сообразил Полканов.

— Ипполит Сергеевич! Вы кончили чай? — спросила Варенька.

— Да, уже...

— Гулять? Я покажу вам славные местечки!

— Пойдемте. А ты, Лиза, идешь?

— Я — нет! Мне приятно посидеть с Маргаритой Родионовной и полковником.

— Хо-хо-хо! Приятно постоять на краю могилы, куда сваливается полумертвое тело мое! Зачем так говорить?

«Сейчас она спросит у меня: вам скучно у нас?» — думал Ипполит, выйдя с Варенькой из комнат в сад. Но она спросила его:

— Как вам нравится папа?

— О! — тихо воскликнул Ипполит Сергеевич.— Он возбуждает почтение!

— Ага! — довольно отозвалась Варенька.— Вот и все так. Он ужасно храбрый! Знаете, он не говорит о себе сам, но тетя Лучицкая,— она ведь одного полка с ним,— рассказывала, что под Горным Дубняком у его лошади разбили пулей ноздрю и она понесла его прямо на турок. А турки наступали; он как-то свернул и поскакал вдоль фронта; лошадь, конечно, убили, он упал и видит — на него бегут четверо... Вот наскочил один и замахнулся на него прикладом, а папа — цап его за ногу! Свалил и прямо в лицо из револьвера — бац! И ногу из-под лошади вытащил, а тут еще трое бегут, а там еще за ними, и наши солдатики тоже мчатся навстречу с Яковлевым... это вы знаете кто?.. Папа схватил ружье убитого, вскочил на ноги — вперед! Но он ужасно сильный был, это чуть не погубило его; он ударил по голове турка, и ружье сломалось, осталась сабля, но она была скверная и тупая, а уж турок хочет бить его штыком в грудь. Тогда папа поймал рукой ремень ружья да и побежал навстречу своим, таща за собой турка. В это время его ранили в бок пулей и в шею штыком. Он понял, что погиб, обернулся лицом к неприятелю, вырвал ружье у турка и на них — ура! А тут Яковлев с солдатиками прибежал, и они так дружно взялись, что турки отступили. Папе дали за это Георгия, но он рассердился на то, что не дали Георгия одному унтеру его полка, который в этой свалке два раза спас Яковлева и раз — папу, папа отказался от креста. А когда дали унтеру — и он взял.

— Вы так рассказываете об этой свалке, точно сами в ней участвовали,— заметил Ипполит.

— Да-а,— протянула она, вздыхая и щуря глаза.— Мне нравится война... И я уйду в сестры милосердия, если будут воевать...

— А я тогда поступлю в солдаты...

— Вы? — спросила она, оглядывая его фигуру.—

Ну, это вы шутите... из вас вышел бы плохой солдат... худой такой...

Его задело это.

— Я достаточно силен, поверьте,— заявил он, точно предостерегая ее.

— Ну, где же? — спокойно не верила ему Варенька.

В нем вспыхнуло бешеное желание схватить ее и, что есть силы, прижать к себе — так, чтобы слезы брызнули у нее из глаз. Он быстро оглянулся вокруг, поводя плечами, и тотчас устыдился своего желания.

Они шли садом по дорожке, обсаженной правильными рядами яблонь, сзади них в конце дорожки смотрело им в спины окно дома. С деревьев падали яблоки, глухо ударяясь о землю, и где-то вблизи раздавались голоса. Один спрашивал:

— Он, стало быть, тоже в женихи к нам?

А другой угрюмо ругался.

— Подождите...— остановила Варенька своего спутника, взяв его за рукав,— послушаем, это они про вас говорят...

Он сухо взглянул на нее и сказал:

— Я не охотник подслушивать разговоры слуг.

— А я люблю! — объявила Варенька.— Сами с собой они всегда очень интересно говорят про нас, господ...

— Может быть, интересно, но — едва ли хорошо! — усмехнулся Ипполит.

— Почему же? Про меня они всегда хорошо говорят.

— Поздравляю вас...

Он был во власти злого желания говорить с ней резко, грубо, оскорблять ее. Сегодня его возмущало ее поведение: там, в комнатах, она не обращала на него внимания, точно не понимая, что он приехал ради нее, к ней, а не к ее безногому отцу и высушенной тетке. Потом, признав его слабым, она стала смотреть на него как-то снисходительно.

«Что всё это значит? — думал он.— Если я не нравлюсь ей внешне и не интересен с внутренней стороны — что же влекло ее ко мне? Новое лицо и — только?»

Он верил в ее тяготение к нему и снова думал, что имеет дело с кокетством, ловко скрытым под маской наивности и простодушия.

«Быть может, она считает меня глупым... и надеется, что я поумнею...»

— А тетя права — дождь будет! — сказала Варенька, глядя вдаль,— смотрите, какая туча!.. И становится душно, как всегда перед грозой...

— Это неприятно...— сказал Ипполит.— Нужно воротиться и предупредить сестру...

— Зачем же?

— Чтоб до дождя возвратиться домой...

— Кто вас отпустит? Нужно переждать здесь.

— А если дождь затянется до ночи?

— Ночевать у нас...— категорически сказала Варенька.

— Нет, это неудобно...— протестовал Ипполит.

— Господи! Разве уж так трудно провести одну ночь неудобно?

— Я не свои удобства имею в виду...

— А о других не беспокойтесь — всякий умеет сам о себе заботиться.

Они спорили и шли вперед, а встречу им по небу быстро ползла темная туча, и уже где-то далеко глухо ворчал гром. Тяжелая духота разливалась в воздухе, точно надвигавшаяся туча, сгущая зной дня, гнала его пред собой. В жадном ожидании освежающей влаги листья на деревьях замерли.

— Воротимтесь? — предложил Ипполит.

— Да, душно... Как я не люблю время пред чем-нибудь — пред грозой, пред праздниками. Сама гроза или праздники — хорошо, но ожидать — скучно. Вот если б всё делалось сразу... Ложишься спать — зима, мороз; проснешься — весна, цветы, солнце... Или — солнце сияет, и вдруг тьма, гром и ливень.

— Может быть, вы хотите, чтоб и человек изменялся также вдруг и неожиданно? — усмехаясь, спросил Ипполит.

— Человек всегда должен быть интересен...— сказала она.

— Да — что же значит быть интересным? — с досадой воскликнул Полканов.

— Это трудно сказать... Я думаю, что люди были бы все интересны, если бы они были... живее... да, живее!

Больше бы смеялись, пели, играли... были бы более смелыми, сильными... даже дерзкими... даже грубыми.

Он внимательно слушал и спрашивал себя:

«Это она рекомендует мне программу желательных отношений к ней?..»

— Быстроты нет в людях... а нужно, чтобы всё делалось быстро, для того, чтобы жилось интересно...

— Может быть, вы и правы...— тихо заметил Ипполит.— Конечно, не совсем правы...

— Да не отговаривайтесь! — засмеялась она.— Как это не совсем? Или уж совсем, или не права... или хорошая, или дурная... или красивая, или урод... вот как надо рассуждать! А то говорят: порядочная, миленькая— это просто из трусости так говорят... боятся правды потому что!

— Ну, знаете, с одним этим делением на два вы уж чересчур многих обидите!

— Чем это?

— Несправедливостью...

— Вот далась человеку эта справедливость! Точно в ней вся жизнь и без нее никак не обойдешься. А кому она нужна?

Она восклицала с сердцем и капризно, а глаза у нее то и дело щурились и метали искры.

— Всем людям, Варвара Васильевна! Всем, от мужика до вас...— внушительно сказал Ипполит, наблюдая ее волнение и стараясь объяснить его себе.

— Мне никакой справедливости не нужно! — решительно отвергла она и даже сделала движение рукой, точно отталкивая от себя что-то.— А понадобится — я сама себе найду ее. Чего вы всегда о всех людях беспокоитесь? И... просто вы говорите это для того, чтоб злить меня... потому что вы сегодня важный, надутый...

— Я? Злить вас? Зачем же? — изумился Ипполит.

— Почему я знаю? Скуки ради, должно быть... Но — лучше бросьте! Я и без вас — ух как заряжена! Меня из-за женихов целую неделю кормили разными рацеями... обливали ядом... и грязными подозрениями... благодарю вас!

Ее глаза вспыхивали фосфорическим блеском, ноздри вздрагивали, и вся она трепетала от волнения, вдруг

охватившего ее. Ипполит с туманом в глазах стал горячо оправдываться пред нею.

— Я не хотел злить вас...

Но в этот момент над ними гулко грянул гром — точно захохотал кто-то чудовищно огромный и грубо добродушный. Оглушенные, они вздрогнули, остановились на миг, но сейчас же быстро пошли к дому. Листва дрожала на деревьях, и тень падала на землю от тучи, расстилавшейся по небу бархатным пологом.

— Как мы, однако, заспорились,— сказала Варенька на ходу.— Я и не заметила, как она подкралась.

На крыльце дома стояли Елизавета Сергеевна и тетя Лучицкая в большой соломенной шляпе на голове,— шляпа придавала ей сходство с подсолнухом.

— Будет страшная гроза,— объявила она своим внушительным басом прямо в лицо Полканову, точно считала своей обязанностью уверить его в приближении грозы. Потом она сказала: — Полковник уснул...— И исчезла.

— Как это тебе нравится? — спросила Елизавета Сергеевна, кивком головы указывая на небо.— Пожалуй, нам придется ночевать здесь.

— Если мы никого не стесним.

— Вот человек! — воскликнула Варенька, смотря на него с удивлением и чуть ли не с жалостью.— Всё боится стеснить, быть несправедливым... ах ты, господи! Ну и скучно же вам, должно быть, жить, всегда в удилах! А по-моему, хочется вам стеснить — стесните, хочется быть несправедливым — будьте!..

— А бог — сам разберет, кто прав...— перебила ее Елизавета Сергеевна, улыбаясь ей с сознанием своего превосходства.— Я думаю, нужно спрятаться под крышу — а вы?

— Мы будем здесь смотреть грозу — да? — обратилась девушка к Полканову.

Он изъявил ей свое согласие поклоном.

— Ну, я не охотница до грандиозных явлений природы — если они могут вызвать лихорадку или насморк. К тому же можно наслаждаться грозой и сквозь стекло окна... Ай!

Сверкнула молния; разорванная ею тьма вздрогнула и, на миг открыв поглощенное ею, вновь слилась. Секунды две царила подавляющая тишина, потом, как выстрел, грохнул гром, и его раскаты понеслись над домом. Откуда-то бешено рванулся ветер, подхватил пыль и сор с земли, и всё, поднятое им, закружилось, столбом поднимаясь кверху. Летели соломинки, бумажки, листья; стрижи с испуганным писком пронизывали воздух, глухо шумела листва деревьев, на железо крыши дома сыпалась пыль, рождая гулкий шорох.

Варенька смотрела на эту игру бури из-за косяка двери, а Ипполит, морщась от пыли, стоял сзади ее. Крыльцо представляло собою коробку, в которой было темно, но, когда вспыхивали молнии, стройная фигура девушки освещалась голубоватым призрачным светом.

— Смотрите, смотрите! — вскрикивала Варенька, когда молния рвала тучу. — Видели? Туча точно улыбается — не правда ли? Это очень похоже на улыбку... Есть такие люди, угрюмые и молчаливые... молчит, молчит такой человек и вдруг улыбнется — глаза загорятся, зубы сверкнут...

По крыше барабанили тяжелые, крупные капли, сначала редко, потом всё чаще, наконец с каким-то воющим гулом.

— Уйдемте,— сказал Ипполит,— вас замочит!

Ему было неловко стоять так близко к ней в этой тесной темноте, неловко и приятно. И он думал, глядя на ее шею:

«Что, если я поцелую ее?»

Сверкнула молния, озарив полнеба, и при блеске ее Ипполит увидал, что Варенька с восклицанием восторга взмахнула руками и стоит, откинувшись назад, точно подставляя свою грудь молниям. Он схватил ее сзади за талию и, почти положив свою голову на плечо ей, спросил ее, задыхаясь:

— Что, что с вами?

— Да ничего! — воскликнула она с досадой, освобождаясь из его рук гибким и сильным движением корпуса.— Боже мой, как вы пугаетесь! А еще мужчина!

— Я испугался за вас,— глухо сказал он, отступая в угол.

Прикосновение к ней точно обожгло его руки и наполнило грудь его неукротимым огнем желания обнять ее до боли крепко. Он терял самообладание, ему хотелось сойти с крыльца и стать под дождь, там, где крупные капли хлестали по деревьям, как бичи.

— Я иду в комнаты,— сказал он.

— Идемте,— недовольно согласилась Варенька и, бесшумно скользнув мимо него, вошла в двери.

— Хо-хо-хо! — встретил их полковник.— Что? По распоряжению командующего стихиями арестованы впредь до отмены приказа? Хо-хо-хо!

— Ужасный гром,— совершенно серьезно сообщила тетя Лучицкая, пристально рассматривая бледное лицо гостя.

— Вот не люблю этих безумств в природе! — говорила Елизавета Сергеевна с гримасой пренебрежения на холодном лице.— Грозы, вьюги — к чему эта бесполезная трата такой массы энергии?

Ипполит, подавляя свое волнение, едва нашел в себе силы спокойно спросить сестру:

— Как ты думаешь, надолго это?

— На всю ночь,— ответила ему Маргарита Родионовна.

— Уж вы отсюда не вырветесь! — со смехом заявила Варенька.

Полканов вздрогнул, чувствуя что-то фатальное в ее смехе.

— Да, придется ночевать,— заявила Елизавета Сергеевна.— Ночью мы не проедем Камовым перелеском, не изуродовав экипажа...

— Здесь достаточно комнат! — изрекла тетя Лучицкая.

— Тогда... я попросил бы... извините, пожалуйста!.. Гроза действует на меня отвратительно!.. Я бы желал знать... где я помещусь... пойти туда на несколько минут.

Его слова, сказанные глухим и прерывающимся голосом, произвели общий переполох.

— Нашатырный спирт! — октавой прогудела Маргарита Родионовна и, вскочив с места, исчезла.

Варенька суетилась по комнате с изумлением на лице и говорила ему:

— Сейчас я покажу вам... отведу... там тихо...

Елизавета Сергеевна была спокойнее всех и, улыбаясь, спрашивала его:

— Закружилась голова?

А полковник хрипел:

— Ерунда! Пройдет. Мой товарищ, майор Горталов, заколотый турками во время вылазки, был молодчина! О! На редкость! Храбрый малый! Под Систовым лез на штыки впереди солдат так спокойно, точно танцами дирижировал: бил, рубил, орал, сломал шашку, схватил какую-то дубину и бьет ею турок. Храбрец, каких немного! Но тоже в грозу нервничал, как женщина... Вот так же, как вы, бледнеет, шатается, ах, ох! Пьяница, жуир, двенадцать вершков,— вообразите, как это к нему шло!

Ипполит извинялся, успокаивал всех и проклинал себя. У него действительно кружилась голова, и когда Маргарита Родионовна, сунув ему под нос какой-то флакон, скомандовала: «Нюхайте!»—он схватил спирт и начал усердно втягивать ноздрями его едкий запах, чувствуя, что вся эта сцена комична и унижает его в глазах Вареньки.

А в окно барабанил дождь, заглядывали молнии, гром заставлял стекла испуганно дребезжать, и всё это будило у полковника воспоминания о шуме битв.

— В турецкую кампанию... не помню где... такой же гвалт был. Гроза, ливень, молнии, пальба залпами из орудий, пехота бьет врассыпную... Поручик Вяхирев вынул бутылку коньяку, горлышко в губы — бульбуль-буль! А пуля трах по бутылке — вдребезги! Поручик смотрит на горло бутылки в своей руке и говорит: «Чёрт возьми, они воюют с бутылками!» Хо-хо-хо! А я ему: «Вы ошибаетесь, поручик, турки стреляют по бутылкам, а воюете с бутылками — вы!» Хо-хо-хо! Остроумно, а?

— Лучше вам? — спрашивала Полканова тетя Лучицкая.

Он, стиснув зубы, благодарил ее, глядя на всех тоскливо-злыми глазами и замечая, что Варенька недо-

верчиво и удивленно улыбается под шёпот его сестры, склонившейся к ее уху. Наконец ему удалось уйти от этих людей, и в маленькой комнатке, отведенной ему, он, под шум дождя, стал приводить в порядок свои чувства.

Бессильный гнев на себя боролся в нем с желанием понять, как это случилось, что он утратил способность самообладания,— неужели настолько глубоко в нем увлечение этой девушкой? Но ему не удавалось остановиться на чем-либо одном; в нем бушевал бешеный вихрь возмущенного чувства. Он решил сегодня объясниться с ней и тотчас же откинул это решение, вспоминая, что за ним стоит нежелательная ему обязанность вступить с Варенькой в определенные отношения, а ведь невозможно же жениться на этом красивом уроде! Он обвинял себя в том, что зашел так далеко в своем увлечении ею, и в том, что недостаточно смел в отношениях к ней. Ему казалось, что она вполне готова отдаться и что она играет с ним, играет, как кокетка. Он называл ее глупой, бессердечной и возражал себе, оправдывая ее. А в окно угрожающе стучал дождь, и дом весь вздрагивал от ударов грома.

Наконец ему удалось сжать себя в тисках рассудочности, взволнованные чувства, отхлынув куда-то глубоко в его сердце, уступили место обиде на самого себя.

Девушка, непоправимо испорченная уродливой средой, недоступная внушениям здравого смысла, непоколебимо твердая в своих заблуждениях,— эта странная девушка в течение каких-то трех месяцев превратила его почти в животное! Он чувствовал себя подавленным позором. Он сделал не меньше того, сколько мог сделать, чтоб очеловечить ее; если же у него не было возможности сделать больше — не он виноват в этом. Но, сделав то, что мог, он должен был уйти от нее, и он виновен в том, что своевременно не ушел, а позволил ей возбудить в себе постыдный взрыв чувственности.

«Человек менее порядочный, чем я, в данном случае был бы, пожалуй, умнее меня».

Тут его больно кольнула одна неожиданная мысль:

«Порядочность ли удерживает меня? Быть может,

только бессилие чувства? Могу ли я любить вообще... могу ли я быть мужем, отцом... есть ли во мне то, что нужно для этих обязанностей?»

Думая в этом направлении, он ощущал внутри себя холод и что-то пугливое, унижавшее его.

Позвали ужинать.

Варенька встретила его любопытным взглядом и ласковым вопросом:

— Прошла головка?

— Да, благодарю вас...— сухо ответил он, садясь вдали от нее и думая про себя:

«Даже говорить не умеет: „прошла головка“!»

Полковник дремал, покачивая головой, всхрапывая, дамы сидели все три рядом на диване и говорили о каких-то пустяках. Шум дождя за окнами стал тише, но этот негромкий настойчивый звук явно свидетельствовал о его твердом решении обливать землю бесконечно долго.

В окна смотрела тьма, в комнате было душно, запах керосина трех зажженных ламп, смешиваясь с запахом полковника, увеличивал духоту и нервное настроение Ипполита. Он смотрел на Вареньку и размышлял:

«Не подходит ко мне... Уж не сообщила ли ей Елизавета... что-нибудь глупое... сделав вывод из своих наблюдений за мной?»

В столовой тяжело возилась дородная Фекла. Ее большие глаза то и дело заглядывали в гостиную на Ипполита, молча курившего папиросу.

— Барышня! Готово для ужина,— со вздохом заявила она, вставив свою фигуру в двери гостиной.

— Идемте есть... Ипполит Сергеевич, пожалуйста. Тетя, не надо тревожить папу, пусть останется тут и дремлет,— там он снова будет пить.

— Это благоразумно,— заметила Елизавета Сергеевна.

А тетя Лучицкая изрекла вполголоса и пожимая плечами:

— Теперь уже поздно всё это! Будет пить — скорее умрет, зато больше получит удовольствия, не будет пить — проживет годом больше, но — хуже.

— И это тоже благоразумно,— смеясь, сказала Елизавета Сергеевна.

За столом Ипполит сидел рядом с Варенькой и подмечал за собой, что близость девушки снова возбуждает в нем смятение. Ему хотелось подвинуться к ней так близко, чтобы можно было прикоснуться ее. И, по обыкновению, следя за собой, он подумал, что в его влечении к ней есть много упрямства плоти, но нет силы духа...

«Вялое сердце!» — с горечью воскликнул он про себя. И вслед за тем почти с гордостью отметил, что вот он не боится сказать правду о самом себе и умеет понять каждое колебание своего «я».

Занятый собой, он молчал.

Варенька сначала обращалась к нему часто, но, получая ответы сухие, односложные, утратила желание беседовать с ним. Лишь после ужина, когда они случайно остались один на один, она просто спросила у него:

— Вы почему такой унылый? Вам скучно или вы недовольны мной?

Он ответил, что не чувствует ни уныния, ни, тем более, недовольства ею.

— Так что же с вами? — допрашивала она.

— Кажется, ничего особенного... Впрочем... иногда излишек внимания к человеку утомляет его.

— Излишек внимания? — заботливо переспросила Варенька.— Чьего же,— папина? Тетя ведь не говорила с вами.

Он чувствовал, что краснеет пред этим неуязвимым простодушием или безнадежной глупостью. А она, не дожидая его ответа, с улыбкой предложила ему:

— Не будьте таким, а? Пожалуйста! Я ужасно не люблю хмурых людей... Знаете что? Давайте играть в карты... вы умеете?

— Я плохо играю... и, признаюсь, не люблю этот вид бесполезной траты времени...— заявил Ипполит, чувствуя, что примиряется с ней.

— И я тоже не люблю, но — что же делать? Вы видите, какая у нас скука! — огорченно заявила девушка.— Я знаю, что вы стали такой оттого, что скучно.

Он начал уверять ее в противном и чем более говорил, тем горячее у него становились слова, пока, наконец, он незаметно для себя не закончил:

— Если вы захотите, с вами и в пустыне не будет скучно...

— Что же я должна сделать для этого? — подхватила она, и он видел, что ее желание развеселить его вполне искренно.

— Ничего не должны вы делать,— ответил он, глубоко пряча в себе то, что хотел бы ответить.

— Нет, право,— вы приехали сюда отдыхать, у вас много трудной работы, вам нужны силы, и перед вашим приездом мне Лиза говорила: «Вот мы с тобой поможем ученому отдохнуть и развлечься...» А мы... что я могу сделать? Право... Я... если б от этого скука ушла... расцеловала бы вас!

У него помутилось в глазах, и вся кровь так бурно хлынула ему к сердцу, что он даже пошатнулся.

— Попробуйте... поцелуйте...— глухо сказал он, стоя перед ней, но не видя ее.

— Ого! Ишь вы какой! — засмеялась Варенька, исчезая.

Он шагнул вперед и остановился, схватившись за косяк двери, всё в нем рвалось за ней.

Через несколько секунд он увидал полковника: старик спал, склонив голову на плечо, и сладко всхрапывал. Потом ему нужно было убедить себя в том, что монотонное и жалобное стенание раздается не в его груди, а за окнами и что это плачет дождь, а не его обиженное сердце. Тогда в нем вспыхнула злоба.

«Ты играешь,— ты так играешь?» — твердил он про себя, стиснув зубы, и грозил ей какой-то унизительной карой. В груди у него было жарко, а ноги и голову точно острые льдинки кололи.

Весело смеясь над чем-то, вошли дамы, при виде их Ипполит внутренно подтянулся. Тетя Лучицкая смеялась так глухо, что, казалось, у нее в груди лопаются какие-то пузыри. Лицо Вареньки было оживлено плутоватой улыбкой, а смех Елизаветы Сергеевны был снисходительно сдержанным.

«Быть может, это они надо мной!» — подумал Ипполит Сергеевич.

Предложенная Варенькой игра в карты не состоялась, и это дало возможность Ипполиту уйти в свою комнату, извинившись недомоганием. Уходя из гостиной, он чувствовал на своей спине три взгляда и знал, что все они выражают недоумение.

Теперь в груди у него было что-то неустранимое и тяжелое; ему одновременно хотелось и не хотелось определить это странное, почти болезненное ощущение.

«Да будут прокляты безымянные чувства!» — восклицал он про себя.

А капли воды, падая откуда-то на пол, монотонно отчеканивали:

— Так... так...

Просидев с час в состоянии борьбы с самим собой, он решил лечь и заснуть с тем, чтоб завтра уехать свободным от всего, что ломало и унижало его. Но, лежа на постели, он невольно представлял себе Вареньку такой, как видел ее на крыльце, с руками, поднятыми как бы для объятий, с грудью, трепещущей при блеске молний. И снова думал о том, что если б он был смелее с ней... и обрывал себя, доканчивая эту мысль так: то навязал бы себе на шею бесспорно очень красивую, но страшно неудобную, тяжелую, глупую любовницу, с характером дикой кошки и с грубейшей чувственностью,— это уж наверное!..

Но вдруг среди этих дум, озаренный одной догадкой или предчувствием, он вздрогнул всем телом, быстро вскочил на ноги и, подбежав к двери своей комнаты, отпер ее. Потом, улыбаясь, снова лег в постель и стал смотреть на дверь, думая про себя с надеждой и восторгом:

«Это бывает... бывает...»

Он читал где-то, как однажды это было: она вошла среди ночи и отдалась, ни о чем не спрашивая, ничего не требуя, просто для того, чтобы пережить момент. Варенька,— ведь в ней есть что-то общее с героиней рассказа,— она может поступить так. В ее милом возгласе: «Ишь вы какой!» — может быть, в нем звучало обе-

щание, не расслышанное им? И вот — вдруг она придет, в белом, вся трепещущая от стыда и желания!

Он несколько раз вставал с постели, прислушиваясь к тишине в доме, к шуму дождя за окнами и охлаждая свое горячее тело. Но не раздавалось в тишине желанного звука осторожных шагов.

«Как она войдет? — думал он и представлял ее себе на пороге двери с лицом решительным и гордым.— Конечно, она гордо отдаст ему свою красоту! Это подарок царицы. А может быть, она остановится перед ним с опущенной головой, смущенная, стыдливая, со слезами на глазах. Или, вдруг, явится со смехом, с тихим смехом над его муками, которые она знает, замечала, но не показывала ему, что замечает, чтобы помучить его, потешить себя».

В этом состоянии, близком к бреду безумия, рисуя в воображении сладострастные картины, Ипполит Сергеевич не замечал, что дождь прекратился и в окна его комнаты с ясного неба смотрели звезды. Он всё ждал звука шагов женщины, несущей ему наслаждение. Порой, на краткий миг, надежда обнять девушку гасла в нем; тогда он слышал в учащенном биении своего сердца упрек себе и сознавал, что состояние, переживаемое им, позорно для него, болезненно и гадко.

До утра бредил он, мучимый страстью, и уже когда солнце взошло — шаги раздались. Он сел на постели, дрожащий, с воспаленными глазами, и ждал и чувствовал, что когда явится она,— он не в силах будет даже слово благодарности сказать ей.

Вот дверь тихо отворилась... Ипполит бессильно откинулся на подушку и, закрыв глаза, замер.

— Али я вас разбудила? Сапоги мне надо бы ваши... и брюки,— сонным голосом говорила толстая Фекла, медленно, как вол, идя к постели. Вздыхая и двигая мебель, она забрала его платье и ушла, оставив за собою запах кухни.

Он долго лежал, разбитый и уничтоженный, равнодушно отмечая в себе медленное исчезновение осколков тех образов, которые всю ночь истязали его нервы.

Опять пришла баба с вычищенным платьем, положила его и ушла, тяжело вздохнув. Он стал одеваться,

не представляя себе, зачем это нужно так рано. Потом, не думая, он решил пойти выкупаться в реке, и это несколько оживило его. Осторожно ступая по полу, он прошел мимо комнаты, в которой гудел храп полковника, потом еще мимо затворенной двери в какую-то комнату. Он на миг остановился перед ней, но, внимательно взглянув на нее, почувствовал, что это не та. И наконец, в полусне, вышел в сад и пошел узкой дорожкой, зная, что она приведет его к реке.

Было светло и свежо, лучи солнца еще не утратили розовых красок восхода. Скворцы оживленно болтали друг с другом, ощипывая вишни. На листьях дрожали капли дождя, как бриллианты, радостными, сверкающими слезами падая на землю. Земля была сыра, но она поглотила всю влагу, упавшую за ночь, и нигде не видно было ни грязи, ни луж. Всё кругом было чисто, свежо и ново — точно родилось в эту ночь, всё было тихо и неподвижно, как будто еще не освоилось с жизнью на земле и, первый раз видя солнце, молча изумлялось его красоте.

Ипполит смотрел вокруг себя, а пелена тоски, одевшая его ум и душу за эту ночь, понемногу освобождала его, уступая чистому веянию новорожденного дня, полному сладких, освежающих запахов.

Вот — река, еще розоватая и золотая в лучах солнца. Вода, мутная от дождя, слабо отражает прибрежную зелень. Где-то близко плещется рыба; этот плеск да пение птиц — все звуки, нарушающие тишину утра. Если б не было сыро, можно бы лечь на землю, здесь у реки, под навесом зелени, и лежать, пока душа не успокоится.

Полканов шел по берегу, причудливо изрезанному песчаными мысами и маленькими заливами, окруженными зеленью,— почти каждые пять шагов открывали пред ним новую картину. Бесшумно шагая около самой воды, он так и знал, что впереди его ждет всё новое и новое. И он подробно рассматривал очертания каждого залива и фигуры деревьев, склоненных над ним, точно желая навсегда запомнить, чем разнится эта деталь картины от той, что осталась сзади него.

И вдруг, ослепленный, он остановился.

Пред ним, по пояс в воде, стояла Варенька, наклонив голову, выжимая руками мокрые волосы. Ее тело — розовое от холода и лучей солнца, и на нем блестели капли воды, как серебряная чешуя. Они, медленно стекая по ее плечам и груди, падали в воду, и перед тем как упасть, каждая капля долго блестела на солнце, как будто ей не хотелось расстаться с телом, омытым ею. И из волос ее лилась вода, проходя между розовых пальцев девушки, лилась с нежным, ласкающим ухо звуком.

Он смотрел с восторгом, с благоговением, как на что-то святое — так чиста и гармонична была красота этой девушки, цветущей силой юности, он не чувствовал иных желаний, кроме желания смотреть на нее. Над головой его на ветке орешника рыдал соловей,— <но> для него весь свет солнца и все звуки были в этой девушке среди волн. Волны тихо гладили ее тело, бесшумно и ласково обходя его в своем мирном течении.

Но хорошее так же кратко, как редко красивое; то, что видел он,— он видел несколько секунд, ибо девушка вдруг подняла голову и с гневным криком быстро опустилась в воду по шею.

Это ее движение отразилось в его сердце — оно тоже, вздрогнув, как бы упало в холод, стеснивший его. Девушка смотрела на него сверкающими глазами, а ее лоб разрезала злая складка, исказившая лицо испугом и гневом. Он слышал ее негодующий голос:

— Прочь... идите прочь! Что вы? Как не стыдно!..

Ее слова долетали до него откуда-то издалека, неясные, ничего не запрещавшие ему. И он наклонялся к воде, простирая вперед руки, едва держась на ногах, дрожавших от усилия сдержать его неестественно изогнутое тело, горевшее в пытке страсти. Весь, каждым фибром своего существа, он стремился к ней, и вот он упал на колени, почти коснувшись ими воды.

Она гневно вскрикнула, сделала движение, чтобы плыть, но остановилась, глухо и тревожно говоря:

— Уходите!..

«Я не могу»,— хотел он ответить, но его дрожащие губы не выговорили этих слов, не было силы сказать что-либо.

— Берегись... ты! Прочь иди! — крикнула девушка.— Подлый!

Что ему были эти крики? Он смотрел ей в глаза сухо горящими глазами и, стоя на коленях, ждал ее. И ждал бы, если б знал, что над его головой некто замахнулся топором, чтобы разбить ему череп.

— О!.. гадкий пес... ну, я тебя...— с отвращением прошептала девушка и вдруг бросилась из воды к нему.

Она росла на его глазах, сверкая своей красотой,— вот вся она до пальцев ног пред ним, прекрасная и гневная; он видел это и ждал ее с жадным трепетом. Вот она наклонилась к нему — он взмахнул руками, но обнял воздух.

И в то же время удар по лицу чем-то мокрым и тяжелым ослепил его и покачнул назад.

Он быстро стал протирать глаза — мокрый песок и грязь были под его пальцами, а на его голову, плечи, щеки сыпались удары. Но удары — не боль, а что-то другое будили в нем, и, закрывая голову руками, он делал это скорее машинально, чем сознательно. Он слышал злые рыдания... Наконец, опрокинутый сильным ударом в грудь, он упал на спину. Его не били больше. Раздался шорох кустов и замер...

Невероятно длинны были секунды угрюмого молчания, наступившего после того, как замер этот звук. Человек всё лежал вверх лицом, неподвижный, раздавленный своим позором, и, полный инстинктивного стремления спрятаться от стыда, жался к земле. Открывая глаза, он увидел голубое небо, бесконечно глубокое, и ему казалось, что оно быстро уходит от него выше, выше...

...Так пролежал он до поры, пока ему не стало холодно; когда он открыл глаза, то увидал Вареньку, наклонившуюся над ним. Сквозь ее пальцы на лицо ему струилась вода. Он слышал ее голос:

— ...Что,— хорошо?.. Как вы придете в дом такой?.. весь грязный, мокрый, оборванный... Эх вы!.. Скажите хоть, что в воду с берега сорвались... Не стыдно ли? Ведь я могла бы убить, если б в руки попало что другое.

И еще много она говорила ему, но всё это нисколько

не уменьшало и не увеличивало того, что он чувствовал. Он ничего не отвечал на ее слова до поры, пока она не сказала ему, что уходит. Тогда он тихонько спросил:

— Вы... больше... я не увижу вас?

И когда спросил это, то вспомнил и понял, что ему нужно было сказать ей:

«Простите меня...»

Но он не успел сказать этого, потому что девушка, махнув рукой, быстро скрылась за деревьями.

Он сидел, прислонясь спиною к стволу дерева или к чему-то другому, и тупо смотрел, как у ног его текла мутная вода реки.

Она текла медленно... медленно...

БОЛЕСЬ

Один знакомый вот что рассказал мне:

«Когда я был в Москве студентом, мне довелось жить рядом с одной из „этих“,— знаешь? Она была полька, звали ее Тереза. Высокая такая, сильная брюнетка, с черными сросшимися бровями и с лицом большим, грубым, точно вырубленным топором,— она приводила меня в ужас животным блеском своих темных глаз, густым, басовитым голосом, извозчичьими ухватками, всей своей громадной мускулистой фигурой рыночной торговки... Я жил на чердаке, и ее дверь была против моей. Я, бывало, никогда не отворял моей двери, если знал, что она дома. Но это, конечно, случалось редко. Иногда мне приходилось встречаться с ней на лестнице, на дворе, и она улыбалась мне улыбкой, которую я считал хищной и циничной. Не раз я видел ее пьяной, с осовелыми глазами, растрепанной, улыбающейся как-то особенно безобразно. В таких случаях она говорила мне:

— Бывайте здоровы, пане студент! — и глупо хохотала, увеличивая мое отвращение к себе. Я бы съехал с квартиры, чтоб избавиться от таких встреч и приветствий, но у меня была такая миленькая комнатка, с широким видом из окна, и так тихо было в этой улице... Я терпел.

И вдруг, однажды утром лежу я на койке, стараясь найти какие-либо основания для того, чтоб не идти на лекции,— отворяется дверь, и эта отвратительная Тереза возглашает с порога басом:

— Бывайте здоровы, пане студент!

— Что вам угодно? — говорю. Вижу — лицо у нее смущенное, просительное... Необычное для нее лицо.

— Видите ли, пане, буду я вас просить об одном деле... уж вы сделайте мне его!

Я лежу, молчу и думаю:

„Подвох! Покушение на мою чистоту, ни больше ни меньше. Крепись, Егор!“

— Нужно бы мне, видите, письмо послать на родину,— говорит она, и так умоляюще, тихо, робко.

„Э, думаю, чёрт с тобой, изволь!“ Встал, сел к столу, взял бумагу и говорю:

— Проходите сюда, садитесь и диктуйте...

Она проходит, осторожно садится на стул и виновато смотрит на меня.

— Ну-с, кому письмо?

— По Варшавской дороге, в город Свенцяны, Болеславу Кашпуту...

— Что писать? Говорите...

— Милый мой Болесь... сердце мое... Мой верный возлюбленный... Да сохранит тебя матерь божия! Золотое мое сердце... почему ты так давно не писал своей тоскующей голубке Терезе...

Я чуть-чуть не расхохотался. „Тоскующая голубка“ двенадцати вершков роста, с пудовым кулачищем и с такой черной рожей, как будто голубка всю жизнь трубы чистила и ни разу не умывалась! Сдержался кое-как, спрашиваю:

— Он — кто, этот Болесть?

— Болесь, пане студент,— как будто обиделась она на меня за то, что я исковеркал имя.— Он жених мой...

— Жених?!?

— А чего же пан так удивился? Разве ж у меня, у девушки, не может быть жениха?

У нее, у девушки?!

— О, почему же! Всё бывает... А давно он ваш жених?..

— Шестой год...

„Ого-го!“ — думаю я. Ну, написали мы письмо. Такое, я вам скажу, нежное и любовное, что я бы сам, пожалуй, поменялся местом с этим Болесем, если б корреспонденткой была не Тереза, а что-нибудь другое, поменьше ее.

— Вот, спасибо вам, пане, за услугу! — говорит мне Тереза, кланяясь.— Может, и я могу вам чем послужить?

— Нет, покорно благодарю!

— А может, у пана рубаха или штаны в дырках?

Чувствую, что этот мастодонт в юбке вогнал меня в краску, и довольно резко заявляю, что не нуждаюсь в ее услугах.

Ушла.

Прошло недели две... Вечер. Сижу под окном и свищу, думая, чем бы мне отвлечь себя от себя. Скучно, а погода скверная, идти никуда не хочется, и от скуки я занимался самоанализом, помню. Это тоже довольно-таки скучно, но больше ничего делать не хотелось. Отворяется дверь — слава богу! — кто-то пришел...

— А что, пан студент не займуется никаким спешным делом?

Тереза! Гм...

— Нет... а что?

— Хотела бы попросить пана еще письмо написать...

— Извольте... К Болесю?..

— Нет, теперь уж от него...

— Что-о?

— О, глупая женщина! Не так я, пане, сказала, простите! Теперь уж, видите ли, нужно не мне, а одной подруге... то есть, не подруге, а... одному знакомому... Он сам не пишет... а у него есть невеста, как я же вот... Тереза... Так вот, может быть, пан напишет письмо к той Терезе?

Смотрю я на нее — рожа у нее смущенная, пальцы дрожат, путается чего-то — и... догадываюсь!

— Вот что, сударыня,— говорю,— никаких Болесей и Терез у вас нет, и всё это вы врете. А около меня вам не обрыбиться, и в знакомство вступать я с вами не хочу... Поняли?

Она вдруг как-то странно испугалась, растерялась, начала топтаться на одном месте и стала смешно шлепать губами, желая что-то сказать и ничего не говоря. Я жду, что из всего этого воспоследует, и вижу, и чувствую, что, кажется, немного ошибся, заподозрив ее в же-

лании совратить меня с путей благочестия. Тут как будто бы что-то другое.

— Пан студент,— начала она и вдруг, махнув рукой, круто повернулась к двери и ушла. Я остался с очень скверным чувством на душе, слышу — у нее хлопнула дверь, громко так — рассердилась, видно, бабища... Подумал и решил — пойду к ней и, позвав ее сюда, напишу ей всё, что там надо.

Вхожу в ее комнату — вижу, она сидит у стола, облокотилась на него и голову сжала руками.

— Послушайте,— говорю...

...Всегда вот, когда я рассказываю эту историю и дойду до этого места, ужасно нелепо чувствую себя... такая глупость! Да-а...

— Послушайте,— говорю...

Она вскакивает с места, идет на меня, сверкая глазами, и начинает, положив мне руки на плечи, шептать — вернее, гудеть своим басом...

— Ну, что ж? Ну? Так! Нет никакого Болеся, нет... И Терезы тоже нет! А вам что? Вам трудно поводить пером по бумаге, да? Эх, вы! А еще такой... беленький! Никого нет, ни Болеся, ни Терезы, только я одна есть! Ну, что ж! ну?

— Позвольте,— говорю я, ошеломленный этим приемом,— в чем дело? Болеся нет?

— Да, нет! Так что ж?

— А Терезы — тоже нет?

— И Терезы — нет! Я — Тереза!

Ничего не понимаю! Таращу на нее глаза и пытаюсь определить, кто из нас сошел с ума. А она ушла опять к столу, порылась там, идет ко мне и обиженно говорит:

— Если вам уж так трудно было написать Болесю, то вот оно, ваше писанье, возьмите! А мне и другие напишут...

Вижу — в руке у меня письмо к Болесю. Ф-фу!

— Слушайте, Тереза! Что всё это значит? Зачем вам нужно, чтобы писали другие, если я вот написал, а вы его не послали?

— Куда?

— А к этому... к Болесю?

— Да его же нет!

Решительно ничего не понимаю! Оставалось только плюнуть и уйти. Но она объяснилась.

— Что же? — обиженно заговорила она.— Нет его, так и нет! — И развела руками, как бы не понимая — почему же это его нет? — А мне хочется, чтоб он был... Разве ж я не человек, как все? Конечно, я... я знаю... Но ведь никому нет вреда от того, что я пишу ему...

— Позвольте — кому?

— Да Болесю ж!

— Да ведь его нет?

— Ах, Иезус-Мария! Ну что же, что нет,— ну? Нет, а будто бы есть!.. Я пишу к нему, ну, и выходит, как бы он есть... А Тереза — это я, и он мне отвечает, а я опять ему...

Я понял... Мне стало так больно, так скверно, так стыдно чего-то. Рядом со мной, в трех шагах от меня, живет человек, у которого нет на земле никого, кто бы мог отнестись к нему любовно, сердечно, и этот человек выдумывает себе друга!

— Вот вы мне написали письмо к Болесю, а я его дала другому прочитать, и когда мне читают, я слушаю и думаю, что Болесь есть! И прошу написать письмо от Болеся к Терезе... ко мне. Когда такое письмо мне напишут да читают, я уж совсем думаю, что Болесь есть. А от этого мне легче живется...

...Да-с... Чёрт возьми!.. Ну, я с той поры аккуратно стал два раза в неделю писать письма к Болесю и ответ от Болеся — Терезе. Хорошо я писал эти ответы... Она, бывало, слушает их и ревет... басом этаким ревела. И за то, что я вызывал у нее письмами к ней от воображаемого Болеся слезы, она мне бесплатно чинила все дырки на носках, рубахах и прочем... Потом, месяца через три после этой истории, ее посадили за что-то в тюрьму. А теперь она, наверное, умерла».

...Мой знакомый сдунул пепел с папиросы, задумчиво посмотрел в небо и закончил:

«Н-да-с... Чем больше человек вкусил горького, тем свирепее жаждет он сладкого. А мы этого не понимаем, облеченные в наши ветхие добродетели и глядя друг на друга сквозь дымку самомнения и убеждения в нашей всяческой непогрешимости.

Выходит довольно глупо и... очень жестоко. Дескать, падшие люди... А что такое падшие люди? Прежде всего — люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и те же нервы, как и у нас. Говорят нам об этом целые века изо дня в день. А мы слушаем и... чёрт знает как это всё нелепо! В сущности, сами-то мы тоже падшие и, пожалуй, очень даже глубоко падшие... в пропасть всяческого самомнения и убеждения в превосходстве наших нервов и мозгов над мозгами и нервами тех людей, которые только менее хитры, чем мы, хуже умеют притворяться хорошими, чем мы притворяемся... А впрочем, будет об этом. Так всё это старо... что даже совестно говорить...»

БАЛЛАДА
О ГРАФИНЕ ЭЛЛЕН ДЕ КУРСИ,
УКРАШЕННАЯ РАЗЛИЧНЫМИ СЕНТЕНЦИЯМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ВЕСЬМА ЗАБАВНЫЕ

Известно ли вам, о мой друг, что в Бретани
Нет лучше — хоть камни спроси! —
Нет лучше средь божьих созданий
Графини Эллен де Курси?

Всё, что творится в мире,
Мы видеть и слышать должны,
Для этого нам добрым богом
Глаза и уши даны.

Из замка она выплывает, как лебедь,
К подъемному мосту идет.
Солнце смеется в небе.
Нищий стоит у ворот.

Но если случится — излишне
Остер и зорок глаз,
Тогда это значит — всевышний
Хочет помучить нас.

Влюбленные очи поднять не дерзая,
За ней юный паж по следам,
А также собака борза́я,
Любимица доброй madame.

Мы знаем — нередко собака
Любимого друга честней,
И приятно любить собаку —
Никто не ревнует к ней!

Скажу вам, что нищий был молод и строен
И — был он слеп, как поэт.

Но — разве слепой не достоин
Внимания дамы,— нет?

Слепой завидует зрячим.
О, если б он знал, сколько мы
В душе нашей тайно прячем
Тяжелой и страшной тьмы!

Вздрогнуло сердце графини, в котором
Любовь обитала всегда.
Бретонка окинула нищего взором:
«Достоин внимания, да!»

У всех есть мысли сердца,
У льва, у тебя, у змеи.
Но — кто эти мысли знает?
И — знаешь ли ты свои?

И вот говорит она нищему: «Слушай!
С тобою — графиня Эллен.
Мне жаль твою темную душу.
Чем я облегчу ее плен?»

Когда ты почувствуешь в сердце
Избыток меда иль яда,
Отдай его ближним скорее —
Зачем тебе лишнее надо?

«Madame! — отвечает ей нищий покорно,—
Моя дорогая madame!
Все дни моей жизни черной
За ваш поцелуй я отдам!»

О правде красивой тоскуя,
Так жадно душой ее ждешь,
Что любишь безумно, как правду,
Тобой же рожденную ложь.

«Мой маленький, ты отвернись немного! —
Сказала графиня пажу.—
Для славы доброго бога
Я скромность мою не щажу!»

Как всё — и женщина тоже
Игрушка в божьих руках!
Подумаем лучше о детях,
О ласточках, о мотыльках.

Слепой обнимает стан гордой графини,
Устами прижался к устам,
Туманится взор ее синий,
Сгибается тонкий стан.

Друзья! Да здравствует счастье!
Что ж, пусть его жизнь — только миг!
Но мудрости в счастье больше,
Чем в сотне толстых книг.

Тут гордость графини вдруг страсть одолела.
Румяней вечерней зари,
Бретонка пажу повелела:
«Этьен, о, дитя, не смотри!»

Враги наши — чёрт и случай —
Всегда побеждают нас,
И как ты себя ни мучай —
Греха неизбежен час!

Потом, поднимаясь с земли утомленно,
«Убей!» — приказала пажу.
И радостно мальчик влюбленный
Дал волю руке и ножу.

Кто пьет из единой чаши
Любовь и ревность вместе,—
Тот неизбежно выпьет
Красный напиток мести.

Вот, влажные губы платком отирая,
Графиня сказала Христу:
«Тебе, повелитель рая,
Дала я мою чистоту!»

О том, куда ветер дует,
Нам честно былинка скажет,

БАЛЛАДА

О

ГРАФИНѢ ЭЛЛЕНЪ де КУРСИ,

украшенная различными сентенціями, среди которыхъ есть весьма забавныя.

Иллюстрации В. Лебедева.



Извѣстно-ли вамъ, о, мой другъ, что въ Брешіи
Нѣтъ лучше—хотя камни спроси!—
Нѣтъ лучше среди Божьихъ созданій
Графини Эллены де Курси?

Все, что говорится въ міру,
Мы знаемъ и слышимъ доколѣ,
Для чего намъ добрачь Регину
Сказки и чуди далѣе.

Изъ замка она выѣзжаетъ, какъ лебедь,
Къ подъемному мосту идетъ,
Сказки сидѣнья въ небѣ
Пишій стоитъ у воротъ.

Но, если случится—изъ сердца
Оставь и забудь ихъ,
Тогда она значитъ—Всевышній
Хочетъ получить насъ.

Влюбленныя очи поднять не дерзая,
За ней онъ идетъ по садамъ,
А тамъ же собака борзая,
Любимица добрая Madame.

Мы знаемъ—передъ собакой
Любимцы друзей человѣкъ,
И вѣрности любовь собаку
Никто не рѣшится изъ насъ.

Скажу вамъ, что пишій былъ молодъ и строенъ,
И—бѣлъ онъ сѣдинъ, какъ полынь
Но—развѣ сѣдой не достоинъ
Внимания дамъ—нѣтъ.

Сѣдой завладѣть значитъ,
О, сколь онъ желалъ, сколько мы
Въ душѣ нашей тайно прячемъ
Тяжелой и скрытной тайны!

Взволнуло сердце графини, въ которомъ
Любовь обитали всегда,
Вретона окинула нищаго взоромъ—
— «Достоинъ вниманія, да! —

У всѣхъ есть тайна сердца,
У васъ, у него, у меня.
Но—кто знаетъ мысли людскія?
И—знаетъ-ли ихъ онъ свои?

И вновь, говоритъ она нищему: «Слушай!
«Съ любовью графиня Элленъ,
«Мнѣ жаль твою пѣсенку душу,
«Цѣнь я обѣщу ея плѣнъ?

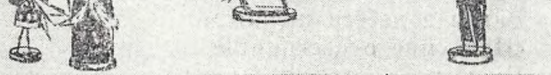
Когда ты почувствуешь въ сердцѣ
Избытокъ желанья къ дарамъ,
Пишій его бѣлѣющій скорбе—
Зачѣмъ любовь лишнее злато?

«Madame!—спокойненько ей пишій покорно:
«Моя дорогая госпожа!
«Всѣ дни моей жизни черной
«За вашъ поцѣлуй я отдамъ!

О нѣтъ! Коснешься пальчуга,
Тебѣ можно душой ея завѣдь,
Чтоб любящій безумно, какъ правду,
Тебѣ-же довѣрилъ любовь.

«Мой маленькій, ты ошиблись немного!
Сказала графиня пажу:
«Для слѣпца добраго Бога
«Я скромность всю не щажу!

Какъ все, и женщина тоже
Играетъ въ Божьихъ рукахъ.
Подумаешь лучше о дѣвахъ,
О достоинствахъ и пожалуйста.



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА «БАЛЛАДЫ О ГРАФИНЕ ЭЛЛЕН ДЕ КУРСИ» В «СВОБОДНОМ ЖУРНАЛЕ», 1917, № 6, С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ В. В. ЛЕБЕДЕВА.

Но то, чего женщина хочет,—
Сам бог не знает даже!

А мальчика нежно и кротко спросила:
«Не правда ли, как я добра?
О чем же ты плачешь, милый?
Идем, нам домой пора!»

Любовь возникает, как пламя,
И мы, сгорая в нем,
Чудесно становимся сами
Прекрасным и ярким огнем.

Он ей не ответил, он только беретом
Смахнул капли слез со щек,
Но тяжкого вздоха при этом
Этьен удержать не мог.

Мы щедро жизнь одаряем!
Ведь каждый в нее принес
Немножко веселого смеха
И полное сердце слез.

Нахмурила черные брови бретонка
И, злые сдержав слова,
Сбросила с моста ребенка
В зеленую воду рва.

Если мы строго осудим
Всех, кто достоин кары,—
Мы счастливей не будем,
Но — опустеет мир старый!

И вновь свои гордые, синие очи
Эллен в небеса подняла.
«Будь мне судьею, отче,
Будь добр, как я была!»

Мы знаем: грехи красоток —
Не больше, как милые шутки.
А бог — так добр и кроток,
А он такой мягкий и чуткий!

Ночью графиня, позвав аббата,
Рассказала грехи свои,
И были с души ее сняты
Грехи за пятнадцать луи.

Всё, что творится в мире,
Мы видеть и слышать должны;
Для этого нам добрым богом
Глаза и уши даны.

Всё это для мира осталось бы тайной,
Не знал бы об этом свет,
Но — в лепту попало случайно
Девять фальшивых монет.

Но если бывает — излишне
Остер и зорок глаз,
Тогда это значит — всевышний
Хочет помучить нас.

И вот, раздавая их бедным вилланам,
Монах позлословить рад —
Нескромность его и дала нам
Одну из прекрасных баллад.

Мучительны сердца скорби,
И часто помочь ему нечем,—
Тогда мы забавной шуткой
Боль сердца успешно лечим!

ЗАЗУБРИНА

...Круглое окно моей камеры выходило на тюремный двор. Оно было очень высоко от пола, но, приставив к стене стол и взлезая на него, я мог видеть всё, что делалось на дворе. Над окном, под навесом крыши, голуби устроили себе гнездо, и, когда я, бывало, смотрел из окна вниз на двор, они ворковали над моей головой.

У меня было достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с населением тюрьмы, и я знал, что самый веселый человек среди ее угрюмого населения назывался — Зазубрина.

Это коренастый и толстый малый, с красным лицом и высоким лбом, из-под которого всегда оживленно сверкали большие светлые глаза.

Шапку свою он носил на затылке, уши торчали на его бритой голове как-то смешно; тесемки ворота рубахи он никогда не завязывал, куртку не застегивал, и каждое движение его мышц давало понять в нем душу, не способную к унынию и озлоблению.

Всегда хохотавший, подвижной и шумный, он был кумиром тюрьмы; его постоянно окружала толпа серых товарищей, он смешил и развлекал ее разными курьезными выходками, скрашивая своим искренним весельем тусклую, скучную жизнь тюрьмы.

Однажды он явился из камеры на прогулку с тремя крысами, хитро запряженными в бечевки. Зазубрина бегал за ними по двору, крича, что он едет на тройке; крысы, обезумев от его криков, метались во все стороны, а арестанты-зрители хохотали, как дети, глядя на толстого человека и его тройку.

Он, очевидно, считал себя существующим исключительно для увеселения людей и, чтоб достичь этого, не брезговал ничем. Иногда его изобретательность принимала жестокие формы; так, например, однажды он приклеил чем-то к стене волосы мальчика-арестанта, дремавшего, сидя на земле у этой стены, и потом, когда волосы присохли, внезапно разбудил его. Мальчик быстро вскочил на ноги и, схватившись тонкими и худыми руками за голову, с плачем упал на землю. Арестанты хохотали. Зазубрина был доволен. После,— я видел это из окна,— он приласкал мальчика, оставившего на стене порядочный клок своих волос...

Кроме Зазубрины, в тюрьме был еще один фаворит— рыжий и толстый котенок, маленькое, избалованное всеми, игривое животное. Выходя на прогулку, арестанты каждый раз отыскивали его где-то и подолгу возились с ним, передавая его с рук на руки, бегая по двору за ним и позволяя ему царапать их руки и рожи, оживленные этой игрой с баловнем.

Когда на сцену являлся котенок, он отвлекал внимание от Зазубрины, последний не мог быть доволен этим предпочтением. Зазубрина был в душе артист и, как артист,— непомерно таланту самолюбив. Когда его публика увлекалась котенком, он оставался один, садился на дворе где-нибудь в уголке и оттуда следил за товарищами, забывавшими его в эти минуты. А я из своего окна следил за ним и чувствовал всё то, чем полна была душа его в эти моменты. Мне казалось неизбежным, что Зазубрина убьет котенка при первом же удобном случае, и мне было жалко веселого арестанта. Стремление человека быть центром общего внимания людей — пагубно для него, ибо ничто не умерщвляет душу так быстро, как жажда нравиться людям.

Когда сидишь в тюрьме — даже жизнь грибков плесени на ее стенах кажется интересной; понятно поэтому то внимание, с которым я следил из окна за маленькой драмой внизу, за ревностью человека к котенку, и понятно то нетерпение, с каким я ждал развязки. Она наступила.

Однажды, в яркий солнечный день, когда арестанты высыпали из камер во двор, Зазубрина увидал в углу

двора ведро зеленой краски, оставленное малярами, красившими крышу тюрьмы. Он подошел к нему, подумал и, окунув палец в краску, выкрасил себе усы в зеленый цвет. Эти зеленые усы на его красной роже возбудили общий хохот. Какой-то подросток захотел воспользоваться идеей Зазубрины и тоже стал было раскрашивать себе верхнюю губу, но Зазубрина, обмакнув руку в ведро, ловко смазал ему всю физиономию. Подросток фыркал и мотал головой, Зазубрина приплясывал вокруг него, а публика хохотала, поощряя своего забавника одобрительными возгласами.

Именно в этот момент на дворе явился рыжий котенок. Он шел по двору, не торопясь, грациозно поднимая лапки, поводил поднятым кверху хвостом и нимало, очевидно, не боялся попасть под ноги толпы, бесновавшейся вокруг Зазубрины и окрашенного им подростка, усиленно растиравшего по лицу ладонями липкую смесь масла и медянки.

— Братцы! — воскликнул кто-то. — Мишка пришел!

— А! плутишка-Мишка!

— Рыжий! Кисонька!

Котенка схватили, и он переходил с рук на руки, всеми ласкаемый.

— Ишь, наелся! Брюхо-то какое толстое!

— Ведь как он растет быстро!

— Царапается, чертенок!

— Пусти его! Пущай сам прыгает...

— Ну, я подставлю спину... Прыгай, Мишка!

Около Зазубрины было пусто. Он стоял один, стирая пальцами краску с усов, и поглядывал на котенка, прыгавшего по плечам и спинам арестантов. Это всех очень забавляло, смех звучал непрерывно.

— Братцы! давайте выкрасим кота! — раздался голос Зазубрины. Он так звучал, точно Зазубрина, предлагая эту забаву, вместе с тем и просил согласиться на нее.

Толпа арестантов зашумела.

— Д'ыть, он с того подохнет! — заявил кто-то.

— С краски-то? Ска-азал!

— Валяй, Зазубрина! Крась живо!

Широкоплечий малый, с огненно-рыжей бородой, воскликнул одушевленно:

— И придумал же, сатана, этакую штуку!

Зазубрина уже держал котенка в руках и шел с ним к ведру с краской.

По-осмотрите, братцы, во-от...

— пел Зазубрина:

Красится рыжий кот
В зеленую краску:
Д'воспляшемте пляску!

Грянул взрыв хохота, и, поджимая бока, арестанты раздались,— мне видно было, как Зазубрина, держа котенка за хвост, окунул его в ведро и, приплясывая, пел:

Постой, не мяучь,
Отца крестного не мучь!

Хохот разгорался. Кто-то тонким голосом визжал:

— О-ой! Ой, Июда косопузая!

— А, ба-атюшки! — стонал другой.

Захлебывались смехом, задыхались от него; он кривил тела этих людей, сгибал их, сотрясал и грохотал в воздухе — могучий, беззаботный, всё возрастая и доходя почти до истерики. Из окон женского корпуса смотрели на двор улыбавшиеся лица в белых платочках. Надзиратель, прижавшись спиной к стене, выпятил свой толстый живот и, поддерживая его руками, пускал из себя залпами густой, басовитый, душивший его хохот.

Смех разбросал людей во все стороны около ведра. Выкидывая ногами удивительные штуки, ходил вприсядку Зазубрина, подпевая себе:

Ай жись-то весела!
Д'кошка серая жила,
А сын ее, рыжий кот,
Нынче зе́лено живет!

— Бу-удит, чёрт те подери! — стоная, воскликнул огненно-рыжий бородач.

Но Зазубрина был в ударе. Вокруг него гремел безумный смех серых людей, и Зазубрина знал, что это он именно заставляет всех так смеяться. В каждом его жесте, в каждой гримасе его подвижного шутовского лица ясно проглядывало это сознание, и всё его тело подергивалось от наслаждения торжеством. Он держал котенка за голову и, смахивая с его шерсти избыток краски, в экстазе артиста, сознающего свою победу над толпой, не уставая, танцевал, припевая:

Родненькие братцы,
Поглядите в святцы;
Коту имя надо дать,
Д'уж и как нам его звать?

Всё смеялось вокруг обуянной безумным весельем толпы арестантов,— смеялось солнце на стеклах окон с железными решетками, улыбалось синее небо над двором тюрьмы, и даже ее старые, грязные стены как будто улыбались улыбкой существ, которые должны подавлять в себе веселье, как бы оно ни бушевало в них. Всё вокруг переродилось, сбросило с себя скучный серый тон, наводивший уныние, ожило, пропитанное этим очищающим смехом, который, как солнце, даже и грязь заставляет быть более приличной.

Положив зеленого котенка на траву, островки которой, пробиваясь между камнями, пестрили тюремный двор, Зазубрина, возбужденный, задыхавшийся и потный, всё исполнял свой танец.

Но смех уже гас. Его было чрезмерно много, и он утомил людей. Кое-кто еще истерически взвизгивал, некоторые продолжали хохотать, но уже с паузами... Наконец явились моменты, когда все молчали, кроме напевавшего плясовую Зазубрины и котенка, который тихо и жалобно мяукал, ползая по траве. Он почти не отличался от нее цветом и,— должно быть, краска ослепила его, связала его движения,— большеголовый, склизкий, он бессмысленно ползал на дрожащих лапках, останавливался, точно приклеиваясь к траве, и всё мяукал...

Погляди, народ крещеный!
Ищет места кот зеленый,
Бывший рыжий Мишка-кот,
Себе места не найдет!

— комментировал Зазубрина движения котенка.

— Ишь ты, собака, ловко как! — сказал рыжий детина. Публика смотрела на своего артиста пресыщенными глазами.

— Мяукаить! — заявил подросток-арестант, кивая головой на котенка, и посмотрел на товарищей. Они, наблюдая за котенком, молчали.

— Что же, он на всю жизнь зеленым останется?— спросил подросток.

— А сколько ему жизни?— заговорил седой и высокий арестант, садясь на корточки около Мишки.—Вот он подсохнет на солнце, шерсть-то склеится у него, он и сдохнет...

А котенок раздирающе мяукал, вызывая реакцию в настроении арестантов.

— Сдохнет? — спросил подросток.— А ежели бы вымыть его?

Никто не отвечал ему. Маленький зеленый комок возился у ног этих грубых людей и был жалок в своей беспомощности.

— Ф-фу! упарился я! — воскликнул Зазубрина, бросаясь на землю. На него не обратили внимания.

Подросток подвинулся к котенку и взял его в руки, но тотчас же положил на траву, заявив:

— Горячий весь...

Потом он осмотрел товарищей и жалобно проговорил:

— Вот те и Мишка! И не будет у нас Мишки-то! Пошто убили животную? Тоже...

— Ну, чай, поправится,— сказал рыжий.

Зеленое безобразное существо всё ползало по траве, двадцать пар глаз следили за ним, и уже ни на одном лице не было и тени улыбки. Все были угрюмы, молчали, и все стали так же жалки, как этот котенок, точно он сообщил им свое страдание и они почувствовали его боль.

— Оправится! — усмехнулся подросток, возвышая голос. — Тоже... Был Мишка.... любили его все... За што мучаете? Убить бы, что ли...

— А кто всё? — злобно крикнул рыжий арестант.— Вон он, дьяволов затейник!

— Ну,— сказал Зазубрина примиряюще,— чай, все вместе решились!

И он съежился, точно от холода.

— Все вместе! — передразнил его подросток.— Тоже! Ты один виноват... да!

— А ты, теленок, не мычи,— миролюбиво посоветовал Зазубрина.

Седой старик взял котенка на руки и, тщательно осмотрев его, посоветовал:

— Ежели его в керосине искупать, смоется краска!

— А по-моему, взять его за хвост и через стенку кинуть,— сказал Зазубрина и, усмехаясь, добавил: — Самое простое дело!

— Что-о? — взревел рыжий.— А ежели я тебя самого этак-то? Хочешь?

— Дьявол! — вскричал подросток и, выхватив котенка из рук старика, бросился куда-то. Старик и еще несколько человек пошли за ним.

Тогда Зазубрина остался один в кругу людей, смотревших на него злыми и угрюмыми глазами. Они как бы ждали от него чего-то.

— Ведь я же не один, братцы! — жалобно сказал Зазубрина.

— Молчи! — крикнул рыжий, оглядывая двор,— не один! А кто еще?

— Да ведь все! — звонко вырвалось у потешника.

— У, собака!

Рыжий ткнул его кулаком в зубы. Артист отшатнулся назад, но там его встретил подзатыльник.

— Братцы!..— взмолился он тоскливо.

Но его братцы видели, что двое надзирателей далеко от них, и, обступив своего фаворита тесной толпой, несколькими ударами сбили его с ног. Издали их тесную группу можно было принять за компанию, которая оживленно беседовала. Окруженный и скрытый ими, Зазубрина лежал у их ног. Раздавались изредка глухие

звуки: били ногами по ребрам Зазубрины, били не торопясь, без озлобления, выжидая, когда, извиваясь ужом, человек откроет удару ноги какое-нибудь особенно удобное место.

Минуты три продолжалось это. Вдруг раздался голос надзирателя:

— Эй, вы, черти! Знай край, да не падай!

Арестанты прекратили истязание не вдруг. Один по одному расходились они от Зазубрины, и каждый, уходя, прощался с ним пинком ноги.

Когда же они разошлись, он остался лежать на земле. Лежал он грудью вниз, плечи у него дрожали — должно быть, плакал,— он всё кашлял и отхаркивался. Потом он осторожно, точно боясь рассыпаться, начал подниматься с земли, уперся левой рукой в нее, потом подогнул одну ногу и, завыв, как больная собака, сел на земле.

— Притворяйся! — крикнул грозно рыжий. Зазубрина метнулся на земле и быстро встал на ноги.

Потом, шатаясь, он направился к одной из стен тюрьмы. Одна рука у него была прижата к груди, другую он простирал вперед. Вот он уперся ею в стену и, став, наклонил свою голову к земле. Он кашлял...

Я видел, как на землю падали темные капли; отлично видно было, как они мелькали на сером фоне тюремной стены.

И чтобы не запачкать своей кровью казенного здания, Зазубрина всячески старался лить ее на землю так, чтоб ни одна капля ее не попала на стену.

Над ним смеялись...

Котенок исчез с той поры. И Зазубрина уже ни с кем не делил внимания обитателей тюрьмы.

В СТЕПИ

Мы вышли из Перекопа в самом сквернейшем настроении духа — голодные, как волки, и злые на весь мир. В продолжение половины суток мы безуспешно употребляли в дело все наши таланты и усилия для того, чтобы украсть или заработать что-нибудь, и, когда убедились наконец, что ни то, ни другое нам не удастся, решили идти дальше. Куда? Вообще — дальше.

Мы готовы были пойти и во всех отношениях дальше по той жизненной тропе, по которой давно уже шли,— это было молча решено каждым из нас и ясно сверкало в угрюмом блеске наших голодных глаз.

Нас трое; мы все недавно познакомились, столкнувшись друг с другом в Херсоне, в кабачке на берегу Днепра.

Один — солдат железнодорожного баталиона, потом — якобы дорожный мастер, рыжий и мускулистый человек, с холодными серыми глазами; он умел говорить по-немецки и обладал очень подробным знанием тюремной жизни.

Наш брат не любит много говорить о своем прошлом, всегда имея на это более или менее основательные причины, и потому все мы верили друг другу — по крайней мере, наружно верили, ибо внутренно каждый из нас и сам-то себе плохо верил.

Когда второй наш товарищ, сухонький и маленький человечек с тонкими губами, всегда скептически поджатыми, говорил о себе, что он бывший студент московского университета,— я и солдат принимали это за факт. В сущности, нам было решительно все равно, был ли он когда-то студентом, сыщиком или вором,— важно было лишь то, что в момент нашего знакомства

он был равен нам: голодал, пользовался особым вниманием полиции в городах и подозрительным отношением мужиков в деревнях, ненавидел и ту и других ненавистью загнанного, голодного зверя, мечтал об универсальной мести всем и всему,— одним словом, и по своему положению среди царей природы и владык жизни, и по настроению — был нашего поля ягода.

Третий был я. По скромности, со времен младых ногтей моих присущей мне, я ни слова не скажу о моих достоинствах и, не желая показаться вам наивным, умолчу о своих недостатках. Но, пожалуй, в виде материала для моей характеристики, я скажу, что всегда считал себя лучше других и успешно продолжаю заниматься этим до сего дня.

Итак,— мы вышли из Перекопа и шли дальше, имея в виду чабанов, у которых всегда можно попросить хлеба и которые очень редко отказывают в этом прохожим людям.

Я шел рядом с солдатом, «студент» шагал сзади нас. На плечах у него висело нечто, напоминавшее пиджак; на голове — острой, угловатой и гладко остриженной — покоился остаток широкополой шляпы; серые брюки в разноцветных заплатах обтягивали его ножки, а к ступням он пристроил веревочками, свитыми из подкладки его костюма, найденное на дороге голенище сапога, назвал это сооружение сандалиями и шагал молча, поднимая много пыли и поблескивая зеленоватыми маленькими глазками. Солдат был одет в красную кумачовую рубаху, которую, по его словам, он «собственноручно» приобрел в Херсоне; сверх рубахи на нем был еще теплый ватный жилет; на голове, по воинскому уставу — «с заломом верхнего круга на правую бровь»— надета была солдатская фуражка неопределенного цвета; на ногах болтались широкие чумацкие шаровары. Он был бос.

Я тоже был одет и бос.

Вокруг нас во все стороны богатырским размахом распростерлась степь и, покрытая синим знойным куполом безоблачного неба, лежала, как громадное круглое черное блюдо. Серая, пыльная дорога резала ее широкой полосой и жгла нам ноги. Местами попада-

лись щетинистые полосы сжатого хлеба, имевшие странное сходство с давно не бритыми щеками солдата.

Солдат шел и пел сиповатым басом:

— ... И святое воскресение твое поем и хва-алим...

Во время своей службы он был чем-то вроде дьячка баталионной церкви, знал бесчисленное множество тропарей, ирмосов и кондаков, знанием которых и злоупотреблял каждый раз, когда беседа наша почему-либо не вязалась.

Впереди, на горизонте, росли какие-то фигуры мягких очертаний и ласковых оттенков от лилового до нежно-розового.

— Очевидно, это и есть Крымские горы,— сказал «студент».

— Горы? — воскликнул солдат,— больно рано, друг, увидал ты их. Это... облака. Видишь, какие — точно клюквенный кисель с молоком...

Я заметил, что было бы в высшей степени приятно, если бы облака и в самом деле состояли из киселя.

— Ах, дьявол! — выругался солдат, сплевывая.— Хоть бы одна живая душа попалась! Никого... Приходится, как медведям зимой, собственные лапы сосать...

— Я говорил, что надо было к заселенным местам двигаться,— поучительно заявил «студент»...

— Ты говорил! — возмутился солдат.— На то ты и ученый, чтобы говорить. Какие тут заселенные места? Чёрт их знает, где они!

«Студент» замолчал, поджав губы. Солнце садилось, облака на горизонте играли разнообразными, неуловимыми словом красками. Пахло землей и солью.

И от этого сухого вкусного запаха наши аппетиты еще более усиливались.

В желудках сосало. Это было странное и неприятное ощущение: казалось, что из всех мускулов тела соки медленно вытекают куда-то, испаряются и мускулы теряют свою живую гибкость. Ощущение колющей сухости наполняло полость рта и глотку, в голове мутилось, а перед глазами мелькали темные пятна. Иногда они принимали вид дымящихся кусков мяса, караваев хлеба; воспоминание снабжало эти «виденья былого,

виденья немые» свойственными им запахами, и тогда в желудке точно нож повертывался.

Мы все-таки шли, делясь друг с другом описанием наших ощущений, зорко посматривая по сторонам — не видать ли где-либо отары овец, и слушая — не раздастся ли резкий скрип арбы татарина, везущего фрукты на армянский базар.

Но степь была пуста, безмолвна.

Накануне этого тяжелого дня мы втроем съели четыре фунта ржаного хлеба и штук пять арбузов, а прошли около сорока верст — расход не по приходу! Заснув на базарной площади Перекопа, мы проснулись от голода.

«Студент» справедливо советовал нам не ложиться спать, а в течение ночи заняться... но в порядочном обществе не принято вслух говорить о проектах нарушения права собственности, я молчу. Я хочу быть только правдивым, не в моих интересах быть грубым. Я знаю, что люди становятся всё мягче душой в наши высококультурные дни и даже, когда берут за глотку своего ближнего с явной целью удушить его,— стараются сделать это с возможной любезностью и соблюдением всех приличий, уместных в данном случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот прогресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что всё развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости...

Так, глотая голодную слюну и стараясь дружеской беседой подавить боли в желудках, мы шли пустынной, безмолвной степью, в красноватых лучах заката; пред нами солнце тихо опускалось в мягкие облака, щедро окрашенные его лучами, а сзади нас и с боков голубоватая мгла, поднимаясь со степи в небо, суживала неприветливые горизонты.

— Собирайте, братцы, материал для костра,— сказал солдат, поднимая с дороги какую-то чурбашку.— Придется ночевать в степи — роса! Кизяки, всякий прут — всё бери!

Мы разошлись по сторонам дороги, собирая сухой

бурьян и всё, что могло гореть. Каждый раз, когда приходилось наклоняться к земле, в теле возникало страстное желание упасть и есть землю, черную, жирную, много есть, есть до изнеможения, потом — заснуть. Хоть навсегда заснуть, только бы есть, жевать и чувствовать, как теплая и густая кашица изо рта медленно опускается по ссохшемуся пищеводу в желудок, горящий от желания впитать в себя что-либо.

— Хоть бы коренья какие-нибудь найти...— вздохнул солдат.— Есть этакие съедобные коренья...

Но в черной вспаханной земле не было никаких кореньев. Южная ночь наступала быстро, и еще не успел угаснуть последний луч солнца, как уже в темно-синем небе заблестели звезды, а вокруг нас всё плотнее сливались тени, суживая бесконечную гладь степи...

— Братцы, — вполголоса сказал «студент», — там влево человек лежит...

— Человек? — усомнился солдат.— А чего ему там лежать?

— Иди и спроси. Наверное, у него есть хлеб, коли он расположился в степи.

Солдат посмотрел в сторону, где лежал человек, и решительно сплюнул.

— Идем к нему!

Только зеленые, острые глаза «студента» могли разобрать, что темная куча, возвышавшаяся саженях в пятидесяти влево от дороги,— человек. Мы шли к нему, быстро шагая по комьям пашни, и чувствовали, как зародившаяся в нас надежда на еду обостряет боли голода. Мы были уже близко — человек не двигался.

— А может, это не человек,— угрюмо выразил солдат общую всем мысль.

Но наше сомнение рассеялось в тот же момент, ибо куча на земле вдруг зашевелилась, выросла, и мы увидали, что это — самый настоящий, живой человек; он стоял на коленях, простирая к нам руку, и говорил глухим и дрожащим голосом:

— Не подходи,— застрелю!

В мутном воздухе раздался сухой краткий щелчок.

Мы остановились, как по команде, и несколько секунд молчали, ошеломленные нелюбезной встречей.

— Вот так мер-рзавец! — выразительно пробормотал солдат.

— Н-да,— задумчиво сказал «студент».— С револьвером ходит... видно, икряная рыба...

— Эй! — крикнул солдат, очевидно, решив что-то.

Человек, не изменяя позы, молчал.

— Эй, ты! Мы не тронем тебя,— дай нам только хлеба — есть? Дай, брат, Христа ради!.. Будь ты, анафема, проклят!

Последние слова солдат произнес себе в усы.

Человек молчал.

— Слышишь? — с дрожью злобы и отчаяния снова заговорил солдат.— Дай, мол, хлеба! Мы не подойдем к тебе... брось нам его...

— Ладно,— кратко сказал человек.

Он мог бы сказать нам «дорогие братья мои!»— и, если б он влил в эти три слова все самые святые и чистые чувства, они не возбудили бы нас так и не очеловечили бы настолько, как это глухое краткое «ладно»!

— Ты не бойся нас, добрый человек,— мягко улыбаясь, заговорил солдат, хотя человек не мог видеть его улыбки, ибо был отделен от нас расстоянием по крайней мере в двадцать шагов.

— Мы люди смирные,— идем из России в Кубань... Подшиблись деньгой в дороге, всё с себя проели,— а теперь вот уж вторые сутки не жрамши...

— Держи! — сказал добрый человек, взмахнув рукой в воздухе. Черный кусок мелькнул и упал неподалеку от нас на пашню. «Студент» бросился за ним.

— Еще держи! Больше нет...

Когда «студент» собрал эту оригинальную подачку, оказалось, что мы имеем фунта четыре пшеничного черствого хлеба. Он был вывалян в земле и очень черств. Черствый хлеб сытнее мягкого: в нем меньше влаги.

— Так... и так... и так! — сосредоточенно распределял солдат куски.— Стой... не ровно! У тебя, ученый, надо ущипнуть кусочек, а то ему мало...

«Студент» беспрекословно подчинился утрате кусочка хлеба золотников в пять весом; я получил его, положил в рот.

И стал жевать, медленно жевать, едва сдерживая судорожное движение челюстей, готовых искрошить камень. Мне доставляло острое наслаждение чувствовать судороги пищевода и понемножку, капельками удовлетворять его. Глоток за глотком, теплые, неописуемо вкусные, проникали в желудок и, казалось, тотчас же превращались в кровь и мозг. Радость — такая странная, тихая и оживляющая радость — грела сердце по мере того, как наполнялся желудок. Я позабыл о проклятых днях хронического голода, позабыл о моих товарищах, погруженный в наслаждение ощущениями, которые я переживал.

Но когда я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба, то почувствовал, что смертельно хочу есть.

— У него, анафемы, сало там еще осталось или мясо какое-то...— ворчал солдат, сидя на земле против меня и потирая руками желудок.

— Наверное, потому хлеб имел запах мяса... Да и хлеб, наверно, остался,— сказал «студент» и тихонько добавил: — Если бы не револьвер...

— Кто он такой?

— Видно, наш брат Исакий...

— Собака! — решил солдат.

Мы сидели тесной группой, посматривая туда, где сидел наш благодетель с револьвером. Оттуда до нас не доносилось ни звука, ни признака жизни.

Ночь собирала вокруг свои темные силы. Мертвенно-тихо было в степи,— мы слышали дыхание друг друга. Иногда где-то раздавался меланхолический свист суслика... Звезды, живые цветы неба, горели над нами... Мы хотели есть.

С гордостью говорю — я был не хуже и не лучше моих случайных товарищей в эту несколько странную ночь. Я предложил им встать и идти на этого человека. Не нужно трогать его, но мы съедим всё, что найдем. Он будет стрелять — пускай! Из троих попадет только в одного,— если попадет; а если и попадет, так едва ли револьверная пуля убьет насмерть.

— Идем! — сказал солдат, вскочив на ноги.

«Студент» поднялся медленнее его.

И мы пошли, почти побежали. «Студент» держался сзади нас.

— Товарищ! — укоризненно крикнул ему солдат.

Навстречу нам неслось глухое бормотанье и резкий звук щелкающего курка. Вот сверкнул огонь, раздался сухой звук выстрела.

— Мимо! — радостно крикнул солдат, одним прыжком достигая человека.— Ну, дьявол, я ж тебе теперь задам...

«Студент» бросился к котомке.

А «дьявол» упал с колен на спину и, разметав руки, хрипел...

— Что за чёрт! — изумился солдат, уже поднявший ногу, чтобы дать пинка этому человеку.— Неужто он в себя ахнул? Ты! Что ты? Эй! Застрелился, что ли?

— И мясо, и какие-то лепешки, и хлеб... много, братцы! — раздался ликующий голос «студента».

— Ну, чёрт с тобой, издыхай... Едим! — крикнул солдат. Я вынул револьвер из руки человека, который уже перестал хрипеть и лежал теперь неподвижно. В барабане был еще один патрон.

Мы снова ели, ели молча. Человек лежал и тоже молчал, не двигая ни одним членом. Мы не обращали на него внимания.

— Неужто, братцы родные, вы это только из-за хлеба? — вдруг раздался хриплый и дрожащий голос.

Мы все вздрогнули. «Студент» даже поперхнулся и, согнувшись к земле, стал кашлять.

Солдат, прожевав кусок, начал ругаться.

— Собачья ты душа, чтоб те треснуть, как сухой колоде! Шкуру, что ли, мы с тебя сдерем? На кой она нам нужна? Дурье твое рыло, поганый дух! На-ко! — вооружился и палит в людей! Анафема ты...

Он ругался и ел, отчего ругань его теряла выразительность и силу...

— Погоди, вот мы поедим, так рассчитаемся с тобой,— зловеще пообещал «студент».

Тогда в тишине ночи раздались воющие рыдания, испугавшие нас.

— Братцы... разве я знал? Стрелял... потому что боюсь. Иду из Нового Афона... в Смоленскую губер-

нию... Господи! Лихорадка смаяла... как солнце зайдет — беда моя! От лихорадки и с Афона ушел... Столярил там... столяр я... Дома жена... две девочки... три года четвертый не видал их... братцы! Всё ешьте...

— Съедим, не проси,— сказал «студент».

— Господи боже! кабы я знал, что вы мирные, хорошие люди... разве бы я стал стрелять? А тут, братцы, степь, ночь... виноват я?

Он говорил и плакал, вернее — издавал дрожащий, пугливый вой.

— Вот скулит! — презрительно сказал солдат.

— У него должны быть деньги с собой,— заявил «студент».

Солдат прищурил глаза, посмотрел на него и усмехнулся.

— А ты — догадливый... Вот что, давайте-ка костер запалим да и спать...

— А он? — осведомился «студент».

— А чёрт с ним! Жарить нам его, что ли?

— Следовало бы,— сказал «студент», качнув своей острой головой.

Мы сходили за набранными нами материалами, которые бросили там, где остановил нас столяр своим окриком, принесли их и скоро сидели вокруг костра. Он тихо теплился в безветренную ночь, освещая маленькое пространство, занятое нами. Нас клонило ко сну, хотя мы все-таки могли бы еще раз поужинать.

— Братцы! — окликнул столяр. Он лежал в трех шагах от нас, и порой мне казалось, что он что-то шепчет.

— Да? — сказал солдат.

— Можно мне к вам... к огню? Смерть моя приходит... кости ломит!.. Господи! не дойду я, видно, домой-то...

— Ползи сюда,— разрешил «студент».

Столяр медленно, точно боясь потерять руку или ногу, подвинулся по земле к костру. Это был высокий, страшно исхудавший человек; всё на нем как-то болталось, большие мутные глаза отражали снедавшую его боль. Искривленное лицо было костляво и даже при освещении костра имело какой-то желтовато-землистый мертвенный цвет. Он весь дрожал, возбуждая презри-

тельную жалость. Протянув к огню длинные, худые руки, он потирал костлявые пальцы, суставы их гнулись вяло, медленно. В конце концов на него было противно смотреть.

— Что же ты это — в таком виде — пешком идешь? — скуп, что ли? — угрюмо спросил солдат.

— Посоветовали мне... не езди, говорят, по воде... а иди Крымом,— воздух, говорят. А я вот не могу идти... помираю, братцы! Помру один в степи... птицы расклюют, и не узнает никто... Жена... дочки будут ждать — написал я им... а мои кости дожди будут степные мыть... Господи, господи!

Он завыл тоскливым воем раненого волка.

— О дьявол! — взбесился солдат, вскочив на ноги.— Чего ты скулишь? Что ты не даешь покоя людям? Издыхаешь? Ну, издыхай, да молчи...

— Ляжемте спать,— сказал я.— А ты, коли хочешь быть у огня, так не вой, в самом деле...

— Слышал? — свирепо сказал солдат.— Ну, и понимай. Ты думаешь, мы возиться с тобой будем за то, что ты в нас хлебом швырял да пули пускал? Кислый чёрт! Другие бы — тьфу!..

Солдат замолчал и вытянулся на земле.

«Студент» уже лежал. Я тоже лег. Напуганный столяр съежился в комок и, подвинувшись к огню, молча стал смотреть на него. Я слышал, как стучали его зубы. «Студент» лег слева и, кажется, сразу заснул, свернувшись в комок. Солдат, заложив руки под голову, смотрел в небо.

— Экая ночь, а? Звезд сколько...— обратился он ко мне.— Небо-то — одеяло, а не небо. Люблю я, друг, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно и голодно, но свободно уж очень... Нет над тобой никакого начальства... Хоть голову себе откуси — никто тебе слова не скажет. Наголодался я за эти дни, назлился... а вот теперь лежу, смотрю в небо... Звезды мигают мне — ничего, Лакутин, ходи знай по земле и никому не поддавайся... И на сердце хорошо... А ты — как тебя? эй, столяр! Ты не сердись на меня и ничего не бойся... Что мы хлеб твой съели, это ничего: у тебя был хлеб, а у нас не было, мы твой и съели... А ты, дикий человек,

пули пускаешь... Неужто ты не понимаешь, что пулей вред человеку можно сделать? Очень я на тебя давеча рассердился и, ежели бы ты не упал, вздул бы я тебя, брат, за твою дерзость. А насчет хлеба — дойдешь ты завтра до Перекопа и купишь там,— деньги у тебя есть, конечно... Давно ты схватил лихорадку-то?

Долго еще в моих ушах гудел бас солдата и дрожащий голос больного столяра. Ночь — темная, почти черная — спускалась всё ниже на землю, и в грудь лился свежий, сочный воздух.

От костра исходил ровный свет и живительное тепло... Глаза слипались.

— Вставай! Живо! Идем!

Я с испугом открыл глаза и быстро вскочил на ноги, чему помог солдат, сильно дернув меня с земли за руку.

— Ну, живо! Шагай!

Лицо у него было сурово и тревожно. Я оглянулся вокруг. Всходило солнце, уже розовый луч его лежал на неподвижном, синем лице столяра. Рот у него был открыт, глаза далеко вышли из впадин и смотрели стеклянным взглядом, выражая ужас. Одежда на его груди вся изорвана, он лежал в неестественно изломанной позе. «Студента» не было.

— Ну, загляделся! Иди, говорю! — внушительно сказал солдат, таща меня за руку.

— Он умер? — спросил я, вздрагивая от утренней свежести.

— Конечно. И тебя удушить, так ты умрешь, — объяснил солдат.

— Его — «студент»? — воскликнул я.

— Ну, а кто же? Ты, может? А то я? Вот те и ученый... Ловко управился с человеком... и товарищей своих в рюху всадил. Знай я это, я бы вчера этого «студента» убил. Убил бы с одного разу. Трах его кулаком в висок... и нет на свете одного мерзавца! Ведь что он сделал, ты понимаешь? Теперь мы должны так идти, чтобы ни один глаз человеческий не видал нас в степи. Понял? Потому — столяра сегодня найдут и

увидят — удушен и ограблен. И будут смотреть за нашим братом... откуда идешь, где ночевал? Хотя при нас с тобой и нет ничего... а револьвер-то его у меня за пазухой! Штука!

— Ты его брось,— посоветовал я солдату.

— Бросить? — задумчиво сказал он.— Вещь-то ценная... А может, нас и не словят еще?.. Нет, я не брошу... кто знает, что у столяра оружие было? Не брошу... Он рубля три стоит. Пуля в нем есть... эхма! Как бы эту я самую пулю милому товарищу нашему в ухо выпустил! Сколько он, собака, денег огреб,— а? Анафема!

— Вот те и дочки столяровы...—сказал я.

— Дочки? Какие? А, у этого... Ну, они вырастут, замуж-то не за нас выйдут, об них и разговору нет... Идем, брат, скорее... Куда нам идти?

— Я не знаю... Всё равно.

— И я не знаю, и знаю, что всё равно. Идем вправо: там должно море быть.

Мы пошли вправо.

Я обернулся назад. Далеко от нас в степи возвышался темный бугорок, а над ним сияло солнце.

— Смотришь, не воскрес ли? Не бойсь, догонять нас не встанет... Ученый-то, видно, со сноровкой парень, основательно управился... Ну, и товарищ! Здорово он нас всадил! Эх, брат! Портятся люди, из года в год всё больше портятся! — печально сказал солдат.

Степь, безмолвная и пустынная, вся залитая ярким солнцем утра, развертывалась вокруг нас, сливаясь на горизонте с небом, таким ясным, ласковым и щедрым светом, что всякое черное и несправедливое дело казалось невозможным среди великого простора этой свободной равнины, покрытой голубым куполом небес.

— А жрать-то хочется, брат! — сказал мой товарищ, свертывая папироску.

— Чего мы сегодня поедим, и где, и как?

Задача!

На этом рассказчик — мой сосед по больничной койке — кончил свою повесть, сказав мне:

— Вот и всё. Я очень подружился с этим солдатом, мы с ним вместе дошли до Карсской области. Это был добрый и опытный малый, типичный бродяга. Я уважал его. До самой Малой Азии шли мы вместе, а там потеряли друг друга...

— Вы вспоминаете иногда о столяре? — спросил я.

— Как видите или — как слышали...

— И... ничего?

Он засмеялся.

— А что я должен чувствовать при этом? Я не виноват в том, что с ним случилось, как вы не виноваты в том, что случилось со мной... И никто ни в чем не виноват, ибо все мы одинаково — скоты.

ЯРМАРКА В ГОЛТВЕ

Местечко Голтва стоит на высокой площади, выдвинувшейся в луга, как мыс в море. С трех сторон обрезанная капризным течением Псла, эта ровная площадь открывает широкие горизонты на север, запад и восток, и в южной части ее столпились в живописную группу белые хатки Голтвы, утопающие в зелени тополей, слив и черешен. Из-за хат вздымаются в небо пять глав деревянной церкви, простенькой и тоже белой. Золотые кресты отражают снопы солнечных лучей и, теряя в блеске солнца свои формы,— похожи на факелы, горящие ярким пламенем.

На восток раскинулась равнина обработанных полей — вплоть до горизонта пестреют квадраты, желтые и темные; среди них там и тут стоят пышные, зеленые левады, белые хатки прячутся в садах, дороги вьются меж хлебов, как змеи, стада вдали на выгонах — как игрушечные. На западе площадь крутым обрывом опускается к быстро текущему Пслу; его вода блестит на солнце серебром, на берегах стоят вербы и осокори; за Пслом опять поля до горизонта и опять на них куски яркой зелени, полосы созревшего хлеба и белые пятна хуторов. Хутора, в рамках из тополей и верб,— всюду, куда ни взглянешь... Густо засеяна людьми благодатная земля Украйны!

Над громадным пространством, тесно заставленным возами, тысячеголосый говор стоит в воздухе, знойном и пыльном. Всюду толкутся, спорят и «регочуть» «чоловіки», горохом рассыпаются бойкие речи «жінок». Десять хохлов в минуту выпускают из себя столько слов, сколько в то же время наговорят трое евреев,

а трое евреев скажут в ту же минуту не более одного цыгана. Если сравнивать, то хохла следует применить к пушке, еврея — к скорострельному ружью, а цыган — это митральеза. Черные лица, черные волосы и белые хищные зубы цыган так и мелькают в толпе; их характерная, гортанная речь трещит в ушах,— за ней не успеваешь следить. Их проворные движения и жесты красивы, но заставляют опасаться, быстрые темные глаза с синеватыми белками сверкают хитростью и нахальством. Ловкие, гибкие, они являются ласковыми лисицами басен и скалят зубы, как голодные волки. Четверо из них осаждают какого-то «чоловіка», уже сбитого с толку и растерявшегося под градом убедительных речей, осыпающих его немудрую голову. Он стоит среди них, усердно чешет затылок и тяжело соображает. У него на поводу молоденькая лошаденка. Ее осаждают оводы с таким же усердием и жаром, как ее хозяина — цыгане. Вокруг этой группы толпа, внимательно следящая за ходом сделки.

— Підождіть!..— говорит хохол.

— Не хочу! — восклицает цыган.— Что мне ждать: хиба ж я с того, что подожду, гро́ши зароблю? Я тебе говорю прямо, как перед богом: моя лошадь такая, что и сам полтавский губернатор на ней поехал бы, куда хочешь — хоть в Петербург! Вот на — какая моя лошадь! А что твоя? Только тем она на мою и похожа, что у нее тоже четыре ноги и хвост! А какой у нее хвост? Это стыд, дядько, стыд, а не хвост...

Цыган ожесточенно дергает лошадь за хвост, щупает ее всюду и руками и глазами и всё говорит, говорит. Его товарищи пренебрежительно советуют ему:

— Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться? Вот дурной!.. Брось...

— В убыток? Ну, и буду меняться в убыток! Разве ж я моему коню и карману не хозяин? Мне человек нравится, и я хочу человеку доброе сделать! Дядько! Молитесь господу!..

Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на церковь.

— Ну, господи благослови! — восклицает цыган.— Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце...

Берите его и давайте мне пять карбованцев придачи... Вот и всё!.. Кончено!.. Давайте руки...

Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана и говорит:

— Два дам!

— Э! Четыре с половиной!

— Два!

Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс ею в воздухе и потом внимательно осмотрел свою ладонь, как бы удостоверяясь — цела ли?

— Четыре ровно!

— Два! — упорно стоит на своем хохол.

— Ну,— утомленно говорит цыган,— идите ж теперь к вашей жінке и расскажите ей, какой вы дурень...

— Два! — говорит хохол.

— Вот что,— молитесь богу!

Снова молятся и снова бьют руки друг друга.

— Ну, берите же на свое счастье, мне в убыток: не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать, коли нет их у вас в кармане... Даете три с полтиной?

— Ни,— качает головой хохол, оглядывая лошадь цыгана, понурую и шершавую.

— Три с чствертью?

— Ни...

— Чтоб ваша жінка сказала вам сто раз «ни», когда вы у нее борща попросите! Даете три гладких карбованца? И то не даете? Так берите ж за вашу цену... Э, пропали мои гроши и конь хороший!

Лошадей передают из полы в полу, и хохол уходит, ведя на поводу выменянную крупную рыжую кобылу, равнодушно переступающую разбитыми ногами. Морда у нее печальная, и уныло смотрят ее тусклые глаза на толпу людей.

Скоро хохол возвращается назад. Он идет торопливо, так что лошадь едва поспевает за ним; лицо у него сконфуженное и растерянное. Цыгане смотрят навстречу ему спокойно и разговаривают о чем-то на своем странном языке.

— Це діло не законне,— покачивая головой, говорит хохол, подходя к ним.

— Какое дело? — осведомляется один из цыган.

— А це... Як же вы мені...
— А что мы тобі?..
— Підождіть!.. Як же...
— А як же?
— Да підождіть же!
— А чего ждать? Когда кобыла родит? Да ты ж, дядько, еще и не венчался с ней!
В толпе хохот. Бедняга хохол апеллирует к ней.
— Добрые люди — ратуйте! Воны мені беззубу коняку на місто моеи зубатои наміняли!
Толпа не любит неловких так же, как и слабых. Она становится на сторону цыган...
— А де ж у тебе очи булы? — спрашивает хохла сивый старик.
— Не май з цыганами діла! — поучительно заявляет другой.
Обманутый рассказывает, что он смотрел зубы у коня, но на верхние не обратил внимания, а из них три оказываются сломанными. Должно быть, коня когда-то сильно ударили по морде и сломали ему три зуба. Куда он годится такой? Он есть не может,— вон у него какой вздутый живот. Человека два-три из толпы начинают защищать хохла. Возникает гвалт, и громче всех кричит, не уставая, цыган...
— Э, добрый чоловік! чого ж ты затіяв таку завороху? Хиба ты не знаешь, як треба конів куповаты? Конів куповаты — як жінку выбираты, все одно, таке ж важне діло... Слухай, я тобі скажу одну казку... Як булы на світі три братика, двое розумні а третій дурень — ось як ты або ж я...
Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку, оправдывая его; хохлы лениво ругаются в ответ; толпа становится всё гуще и теснее...
— Що ж мені зостаеться, добрі люди? — горестно вопрошает обиженный.
— Ходы до урядника! — кричат ему.
— А и пойду! — решает он.
— Стой, чоловіче! — останавливает его цыган.— Разорить меня хочешь? Разоряй! Давай мне три карбованца — я твою лошадь назад виддам! Желаешь? Давай два! Желаешь? Ну, иди и жалуйся...

Хохлу не особенно приятно «тягать к ділу» урядника, и он задумывается. Со всех сторон ему дают советы, но он остается глух и нем, решая что-то про себя. Наконец решил...

— Ну, от що,— уныло говорит он цыгану,— нехай бог тебя судит... Отдай мені моего коня, а два карбованци, що ты в придачу узял,— твои... Триста трясців тобі у боки — грабь!

И цыган ограбил его с таким видом, точно великую милость ему оказал.

— Догадливі люди! — похваливали «чоловіки» цыган, отходя от них.

— Деготь московский, атличный, фабричный, аккуратный, аппаратный, пахучий, тягучий! Шесть копеек кварта, пятнадцать четверть! — возглашает черниговец, восседающий на телеге. Телега, бочка и сам торговец — всё это черно и жирно от дегтя и всё двигается одной сплошной массой, распространяя вокруг себя характерный аромат.

— А, мабудь, и по пьять за кварту продадите? — справляется у дегтярника «чоловік» в необычайно широких штанах и в соломенной шляпе на голове.

— Тпру-у! По пять не могу, хозяину на шесть копеек присягал...

— А, мабудь, можно по пьять?

— Никак...

— Эге... Зовсім не можно?

— Слушай, дядько, продам тебе по пять, не говори только никому... Не скажешь?

— Ни, не скажу...

— Ну, давай баклажку.

— На що?

— А на деготь!

— Та мені того вашого дегтя не треба, бо я вже купив... И теж по шість копіек и теж у вас... Я спросив вас за тим, що, мабудь, вы теперь дешевше виддаете цей деготь.

Дегтярник молча отвертывается, трогает лошадь и едет между возов, возглашая о своем товаре... «Чоловік»

провожает его взглядом и говорит другому, раскинувшемуся на возу:

— Коли б я не куповал кварты дегтя утром, была бы в мене копійка лишня у кишені...

— Эге ж... Жарко!

— Як у пекли...

— Хиба ж твой батько писав тобі з пекла, як там жарко? — спрашивают с воза.

Томящий зной всё усиливается. Запах дегтя, навоза и пота висит в воздухе вместе с тонкой пеленой едкой пыли. Всюду у возов стоят и лежат волы, жуют, не уставая, сено и смотрят в землю большими добрыми глазами. Кажется, что они думают: у них такие осмысленные морды и в глазах светится спокойная, привычная печаль. Мычат коровы и телята, блеют овцы, раздается звон кос, пробуемых покупателями. «Чоловіки», приехавшие продавать скот или руно, лежат под возами, скрываясь от солнца и ожидая покупателей. «Чоловіки» покупающие расхаживают между возами, высматривая скот и шагая через ноги продавцов, разбросанные на земле. У каждого покупателя в руке кнут, и, подходя к волам, покупатель считает нужным вытянуть смиренную скотину по боку кнутом. Волы медленно поднимаются на ноги, если они лежали, и тяжело двигаются от удара, если стояли на ногах.

— Скільки за цю пару просите? — спрашивает покупатель пространство...

Из-под воза раздается неторопливый ответ:

— Девяносто рублів...

— И то гроши! — говорит покупатель и отходит или спрашивает:

— А чего ж бы вам, дядько, цілу сотнягу не просить?

— Та вже мені більш того, скільки треба,— не треба грошей. А коли вы вже такий добрый, то давайте и усю сотню — я візьму...

— Спасибо вам... А скільки ж бы ділом узяли?

— Та вже так, щоб не довго балакать, возьму я с вас... девяносто рублів...

Начинается торг. «Чоловіки» не торопятся,— это совсем не в их характере,— и продавец вылезает из-под воза не ранее того, как убедится, что покупатель серьезный. Понемногу горячатся и вот уже бьют друг друга по рукам, молятся по десяти раз и более, расходятся, снова сходятся. Всё делается медленно, но основательно, вдумчиво. Ядреной и крутой ругани великоруссов, от которой дух в груди спирает и глаза на лоб лезут, не слышно,— ее заменяет меткий юмор, щедро украшающий речи. Не слышно и великорусского «тыканья». Сивый дід, у которого безусый хлопец торгует пару молоденьких бычков, так, например, отчитывает покупателя:

— Здается мені, что вы, хлопче, раненько маткину цицьку на люльку зміняли, бо разума у річах ваших не бачу я...

— Та як же, діду! Воны и некрасиви — ось роги якие...

— А хиба ж вы рогами пахати будете? Так купуйте ж собі козлів: у них рога красивейши...

Сыны Израиля вертятся меж возов, как вьюны. Они обо всем спрашивают, всё щупают и всё покупают. «Чоловіки» говорят им «ты» и смотрят за ними во все глаза. Паны встречаются с «чоловіками» с чувством собственного достоинства, и в разговоре с паном у хохла сквозь внешнюю почтительность пробивается не одна нотка пренебрежения. Видно, что пан давно уже определен как «ненужна козявка у пчелином рои».

У одного из возов корова, привязанная к нему, вдруг зашаталась и в корчах повалилась на землю. «Жінка», продававшая ее, соскочила с воза и закрутилась вокруг больного животного, как в вихре. Испуг, граничащий с ужасом, выразился на лице бедной женщины, сразу лишившейся надежды продать свою скотину.

— Ой, господи! Ой, добри люде! Ратуйте — що воно таке? Що воно? Ой, мати пречистая!

Сразу выросла толпа и принялась горячо обсуждать несчастие. Делали предположения, отчего именно

заболела корова и как всего лучше лечить ее. Явился какой-то древний старик, весь, точно плесенью, покрытый лохмотьями, и начал отчитывать корову, творя шёпотом молитву. Толпа поснимала шапки и молча ждала результатов моления, изредка крестясь. А корова билась на земле в судорогах, пыталась встать и снова грузно падала. Она тяжело вздыхала, и много боли было в ее кротких глазах. Потом ее хозяин, сняв с головы шапку, стал ею растирать хребет животного, трижды обвел шапкой вокруг рогов, трижды вокруг шеи и столько же вокруг хвоста. И это не помогло. Принесли бутылку дегтя и вылили в глотку животного, потом угостили его скипидаром, наконец явился коновал, угрюмый мужик, с разнообразными инструментами у пояса. Он важно осмотрел корову и пробил ей каким-то ржавым гвоздем вену на шее. Тонкими струйками хлынула густая, черная кровь. Какой-то моралист нашелся в толпе. Он посмотрел на корову и ее хозяина, убитого горем, и сказал:

— От це вам, дядько, божие наказание... Здаетца менi, що хотели вы утаиты, яка вона ваша корова... И открыв господь людям вашую думку... От як!

Хохол посмотрел на него и грустно покачал головой.

— Бог мою думку знае...— вздохнул он.

А рядом с этой сценой разыгрывается другая. «Жінка», размахивая руками, как поломанная мельница крыльями, бранит своего «чоловіка». Он сидит на земле, упираясь в нее руками, и блаженно улыбается. Нос у него красный, сияющий, шапка на затылке, ворот рубахи развязался, и солнце бьет ему прямо в грудь и лицо.

— Голодранец ты! Хиба ж морді твоій не стыдно? Э-э, шибеник! Визьму кнут, та як учну стегать...

— Оле-ена! Утыхо-о-омырся-а! — тянет «чоловік», подмигивая жінке.— Слухай... Я и тобі пивкварты купив.

— О-о! — стонет жінка. — Бесстыжи очи!

Наклопясь к мужу, она с великим трудом приподнимает его с земли и старается засунуть это расслаблен-

ное хмелем тело под воз. «Чоловік» стукается головой о колесо и предупреждает жену:

— У кармані штанів скляница... то як бы и... и вона не побилась... э?

Через минуту они оба дружелюбно распивают «пивкварты», и добрая, хотя строгая, супруга уже обложила своего благоверного сеном и одеждой так, что он мог свалиться в любую сторону без риска удариться своей головой о колесо.

Молоденький еврей с ящиком на груди ходит и кричит:

— Роменский табак! Панский табак! Крепчайший табак! Чёрт курил — дымом жінку уморил.

— От це добрый табачино, коли з его жінки мрут! — замечает какой-то Солопий Черевик.

В центре ярмарки два длинных ряда палаток образуют широкую улицу, сплошь набитую народом. Под одним из полотняных навесов приютился еврей с рулеткой. Его окружает плотная толпа преимущественно молодежи, и из нее то и дело раздаются то угрюмые, то возбужденные голоса:

— Красна! Черна! Чет!

В стороне бледный и встревоженный парубок уговаривает другого:

— Онисиме! Дай же мені карбованец! Бо я, мабудь, и ворочу мои гроши... О, не грать бы мені в ту бісову штуку... Вертыться, вертыться — та и выверне твои карманці...

Остробородый ярославец торгует гребешками, ножичками, книжками, мылом...

— Паж-жалуйте-с! Заграничные товары! Столичные книги! Благовонные мыла! Небесные духи! Молодой юноша! — позвольте вам предложить книжечку для приятного чтения-с? Не угодно ли подробно рассмотреть, очень занимательная история — смерть господина Ивана Ильича, сочинение графа Толстого. При сем же веселая комедия — «Плоды просвещения». Очень тонко осмеяны господа столичные и русские мужики. Продаю за двадцать копеек-с! Графское сочинение — за двугри-

венный, дешевле никто не продаст! А вот еще не пожелаете ли — «Князь Серебряный»? Про царя Ивана Грозного... по случаю того, как эта книжечка уже читана, — за тридцать пять копеек отдам! Стихи поэта Пушкина-с — по пятачку и по три копейки книжка... Прекрасные стихи самого веселого содержания... «Андрей Бесстрашный, русская повесть»... цена три копейки. «Япанча, татарский наездник, взятие города Казани». О разведении кур — не желаете ли просветиться? Пять копеек цена... Машинка для усов —извольте-с! «Житие иже во святых отца нашего»... Красавица! Купите зеркальце? Душистое мыло есть... Чего-с? За Ивана Ильича гривенник? Напечатано на книжке — двадцать. За гривенник могу продать вот-с «Еврейские рассказы»... Тетка! Ты так гребень сломаешь... Почтенный! купите бритву? «Загробная жизнь, или О том, что ждет душу нашу по смерти»... Весьма полезно знать — цена полтина! Не желаете? «Болезни домашних животных» — полюбопытствуйте! «Веретагианская кухня»... А то вот часики продаю: серебро — как золото, ход самый правильный, цена дешевая... Почтеннейший — мыльца для дочки не желаете ли приобрести?.. Последнее слово, милый: за Ивана Ильича — восемнадцать копеек...

Ни одной секунды не молчит этот сухой и поджарый ярославец, продающий сразу двум десяткам покупателей. Его звонкий голос издали влечет к нему народ, и около его лавочки тесная толпа. Одни покупают, другие просто смотрят на продавца и слушают его бойкую, рассыпчатую речь. Здоровенный усатый хохол долго таращил на ярославца большие выпуклые глаза и вдруг расхохотался.

— Чого вы, пане, регочете? — спросил его сосед.

— Та ось вiн, цей москаль, нехай ему, бiсову сыну, гадюка у глотку влiзе... Вин зовсим як та молотилка роботае. Доброму чоловiку у мисяць стильки не сказати, як вин у час каже...

А у возов с глиняной посудой из Опошни,— посудой, замечательной по рисункам, но грубоватой по исполне-

нию,— торгуют хохлы. Здесь не торопятся. Вот какая-то разомлевшая от жары женщина с зонтиком в руках подходит, берет макитру — подобие великорусской корчаги — и, рассмотрев ее, спрашивает:

— Скильки грошей?

— За що? — осведомляется продавец, возлежащий под возом на брюхе.

— А за макитру...

— Тридцать пьять копіек...

— О, лишечко! та то дуже дорого!

— Хиба ж?

— А звісно! Вон она неровна та корява...

— А що ж вы, пани, с цей макитры стрелять хочете чи що? Зачим ей буты ровной? Не ружье вона, а макитра.

— Та воно вірно... Ще и не гладка вона та и тускла яка-то...

— Так же то зеркало гладко та блестяще, зеркало, а не макитра...

— Вона и дребезжит...

— О? То значится — в ней дирка е.

— То-то е дирка...

— Так вже світ устроен, пани, что у ним усе диряво... Вон и у вас, пани, хусточка з диркой...

Пани краснеет и оправляет платок на груди...

— А вы, пани, подивітеся, може и знайдете крепку макитру.

Пани смотрит макитры, а продавец, неподвижно лежа под возом, смотрит на нее...

— Будьте милостивы, скажить мені — от така хороша? — показывает пани выбранную посудину.

— Це? Зо всих наилучша...

Начинают торговаться. Это длится долго, часто прерываясь паузами, во время которых женщина выдумывает всё новые и новые недостатки макитры, а торговец наслаждается покоем в тени воза. Бойчее торгуют «жінки». Они продают какое-то розовое питье, вишни и тарань. Этой рыбы целые вороха лежат на земле, и, так как ее здесь очень любят, она покупается хорошо. Звонкие голоса женщин так и режут уши.

— Рыба черноморска, керченска, вкусна та солена!

— А вот ще наилучша рыба!

Вечереет. Солнце уже низко над лугами, и пыль, тучей стоящая над ярмаркой, кажется розовой в лучах заката. Гонят скотину на Псел, раздается мычание, суровые окрики, кое-где налаживаются песни. Веселые звуки сопилки несутся со стороны погоста. Там, у земляного вала, ограждающего ниву опочивших, собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания на «дідові могилы», собирается «танцювати» в виду их. Тополя на погосте тихо качают вершинами, точно протестуя против нарушения мира и тишины в месте упокоения.

А тепери я велыка,
Треб-ба менi чоловiка...

— распевают двое пьяных, идя к погосту. Они толкают друг друга плечами и качаются на ногах, как надломленные. У обоих блаженные красные лица, оба они охрипли от усилий петь согласно: один сдвинул шапку на ухо, а другой держит ее в руке и дирижирует ею, не замечая, что из нее вылезли и болтаются в воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста навстречу им несется дробный топот ног, с жаром выбивающих гопака, и задорные звуки сопилки.

Тени от возов становятся всё длиннее. Жара спадает. С лугов тянет запахом свежескошенного сена. Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака, еще розовые от заката. Шум понемногу стихает; люди, изморенные хлопотами и зноем дня, укладываются спать на воздухе и под возами. Тяжело дышат волы, пережевывая сено; фыркают лошади.

Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны, они не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял в течение дня. Вот раздается торжественная музыка. Около слепого, играющего на фисгармонике, толпа молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно слушает музыку.

— Господа сим восхва-а-лим и возблагодарим творца на-а-шего,— поет слепой, аккомпанируя себе на звучном инструменте. Густые и успокаивающие ноты печально вьются в воздухе над головами молитвенно настроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные

шепчут что-то — видно, как шевелятся их губы, иные вздыхают... Большинство немо, неподвижно и глубоко серьезно.

А со стороны погоста несется удалая песня, исполняемая могучим хором молодых голосов: «Гей-гей!» — гремит припев.

Слышно, что эта песня складывалась в широкой степи, верхом на конях, во время похода, старыми свободолюбивыми «лыцарями», проливавшими свою бурную и горячую кровь «за віру хрістиянську та вольності козачи»...

— Пойте славу бога нашег-о-о... яко он творец мира и прибежище челове-е-ков, в нем же обрящем упокоение...— поет и играет слепой.

Ночь идет.

Кое-где уже вспыхнули огоньки костров, и вокруг них видны фигуры людей, красноватые в блеске огня. Приятной свежестью веет с лугов, где Псел, темный, красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру и с ним — в море. Вспыхивают звезды...

Ночь идет.

ОЗОРНИК

По большой светлой комнате редакции «N-ской газеты» нервно бегал взволнованный, гневный редактор и, тиская в руках свежий номер, отрывисто кричал и ругался. Редактор был маленький, с острым худым лицом, украшенным бородкой и золотыми очками. Топая ножками в серых брюках, он кружился подле длинного стола среди комнаты, заваленного скомканными газетами, корректурными гранками и клочьями рукописей. У стола, облокотясь на него одной рукой, а другой потирая лоб, стоял издатель — высокий полный блондин средних лет — и, с тонкой усмешкой на белом сытом лице, следил за редактором светлыми глазами. Метранпаж, угловатый человек с желтым лицом и впалой грудью, в коричневом сюртуке, очень грязном и не по росту длинном, робко жался к стене. Он поднимал брови кверху и таращил глаза в потолок, как бы что-то вспоминая или обдумывая, а через минуту разочарованно потягивал носом и уныло опускал голову на грудь. В дверях торчала фигура редакционного рассыльного; то и дело отталкивая его, входили и снова исчезали какие-то люди с озабоченными и недовольными лицами. Голос редактора — злой, раздраженный и звонкий — иногда поднимался до взвизгиваний и заставлял издателя морщиться, а метранпажа — испуганно вздрагивать.

— Нет... это такая подлость! Я уголовное преследование возбужу против этого мерзавца... Корректор пришел? Чёрт возьми,— я спрашиваю — пришел корректор? Собрать сюда всех наборщиков! Сказали? Нет,

вы только сообразите, что теперь будет! Все газеты подхватят... Ср-рам! На всю Россию... Я не спущу этому мерзавцу!

И, подняв руки с газетой к голове, редактор замер на месте, как бы желая обернуть газетой голову и тем защитить ее от ожидаемого срама.

— Вы прежде найдите его,— сухо усмехаясь, посоветовал издатель.

— Н-найду-с! Н-найду! — сверкнул глазами редактор, снова пускаясь в бег, и, прижав газету к груди, начал ожесточенно теребить ее.— Найду и упеку... Да что же этот корректор?.. Ага... Вот... Ну-с, прошу пожаловать, милостивые государи! Гм!.. Смиренные командиры свинцовых армий... Проходите-с...

Один за другим в залу входили наборщики. Они уже знали, в чем дело, и каждый из них приготовился к роли обвиняемого; они единодушно изображали на своих чумазых лицах, пропитанных свинцовою пылью, полную неподвижность и какое-то деревянное спокойствие. Редактор остановился перед ними, закинув руки с газетой за спину. Он был ниже их ростом, и ему пришлось поднять голову кверху, чтобы взглянуть им в лица. Он сделал это движение слишком быстро, и очки вдруг вскочили ему на лоб; думая, что они падают, он взмахнул в воздухе рукой, ловя их, но в этот момент они снова упали на переносье.

— Чёрт вас,— скрипнул он зубами.

На чумазых рожах наборщиков засияли счастливые улыбки. Кто-то подавленно засмеялся.

— Я вас призвал сюда не затем, чтобы вы зубы ваши показывали мне! — озлобленно крикнул редактор, бледнея.— Кажется, достаточно оскандалили газету... Если среди вас есть честный человек, который понимает, что такое газета, пресса... он скажет, кто это устроил... В передовой статье...

Редактор стал нервно развертывать газету.

— Да в чем дело-то? — раздался голос, в котором не слышно было ничего, кроме простого любопытства.

— А! Вы не знаете? Ну вот извольте... вот... «Наше фабричное законодательство всегда служило для прессы предметом горячего обсуждения... то есть говорения

глупой ерунды и чепухи!..» Вот! вы довольны? Не угодно ли будет тому, кто добавил эти «говорения»...— и главное — говорения! как это грамотно и остроумно! — ну-с, кто же из вас автор этой «глупой ерунды и чепухи»?..

— Статья-то чья? Ваша? Ну, вы и автор всего, что в ней нагорожено,— раздался тот же спокойный голос, который и раньше спрашивал редактора.

Это было дерзостью, и все невольно предположили, что виновник события найден. В зале произошло движение; издатель подошел ближе к группе, редактор поднялся на цыпочки, желая взглянуть через головы наборщиков в лицо говорившему. Наборщики раздвинулись. Пред редактором стоял коренастый малый, в синей блузе, с рябым лицом и вьющимися кверху вихрами на левом виске. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы штанов, и, равнодушно уставив на редактора серые злые глаза, чуть-чуть улыбался из курчавой русой бороды. Все смотрели на него — издатель, сурово нахмурив брови, редактор с изумлением и гневом, метранпаж, сдержанно улыбаясь. Лица наборщиков изображали и плохо скрытое удовольствие, и испуг, и любопытство...

— Это... вы и есть? — спросил наконец редактор, указывая пальцем на рябого наборщика, и многообещающе сжал губы.

— Я...— ответил тот, усмехнувшись как-то особенно просто и обидно.

— А-а!.. весьма приятно! Так это вы? Зачем же вы вставили, позвольте узнать...

— Да я разве сказал, что вставил? — И наборщик посмотрел на своих товарищей.

— Это он, наверное, Митрий Павлович,— обратился к редактору метранпаж.

— Ну я, так я,— не без некоторого добродушия согласился наборщик, махнув рукой.

Опять все замолчали. Никто не ожидал такого скорого и спокойного признания. Гнев редактора сменился на минуту изумлением. Пространство вокруг рябого стало шире, метранпаж быстро отошел к столу, наборщики расступились...

— Ты ведь это нарочно, с намерением? — спросил издатель, оглядывая рябого круглыми глазами.

— Извольте отвечать! — крикнул редактор, взмахивая смятой газетой.

— Не кричите... не боюсь! Многие на меня кричали, да без толку всё!..— И в глазах наборщика сверкнул ухарский, наглый огонек.— Точно...— продолжал он, переступив с ноги на ногу и обращаясь уже к издателю,— я это с намерением подставил слова...

— Слышите? — обратился редактор к публике.

— Да что же ты такое в самом деле, чёртова ты кукла! — взбесился вдруг издатель.— Понимаешь ли ты, сколько ты вреда мне сделал?

— Вам-то ничего... еще, чай, розничную продажу увеличил. А вот господину редактору — действительно... не особенно по губе этакая штучка.

Редактор точно окаменел от негодования; он стоял перед этим спокойным и злым человеком и молча сверкал глазами, не находя слов для выражения волновавших его чувств.

— А ведь тебе за это, брат, худо будет! — злорадно протянул издатель и вдруг, смягчившись, ударил себя рукой по колену.

В сущности, он был доволен и происшествием и дерзким ответом рабочего: редактор относился к нему всегда несколько высокомерно, не стараясь скрывать сознания своего умственного превосходства, и вот теперь он, этот самолюбивый и самоуверенный человек, повержен во прах и — кем?

— За эту твою дерзость мы тебе, душа, воздадим!..— добавил он.

— Да уж, наверно, не спустите,— согласился наборщик.

Этот тон и эти слова опять произвели впечатление. Наборщики переглянулись друг с другом, метранпаж поднял брови и как-то съежился, редактор отступил к столу и, опершись на него руками, более растерянный и обиженный, чем гневный, пристально смотрел на своего врага.

— Зовут тебя как? — спросил издатель, вынув из кармана записную книжку.

— Николка Гвоздев! — быстро объявил метранпаж.

— А ты, Иуда, молчи, когда тебя не спрашивают,— сурово взглянув на метранпажа, сказал наборщик.— У меня свой язык есть, я сам за себя отвечу... Зовут меня Николай Семенович Гвоздев... Жительство...

— Найдем!— пообещал издатель.— А теперь убирайся к чёрту! Все идите!..

Громко топая, наборщики пошли вон. Гвоздев шел сзади всех.

— Постой... позволь...— сказал редактор тихо, но ясно, и протянул руку вслед Гвоздеву.

Гвоздев обернулся к нему, ленивым движением прислонился к косяку двери и, покручивая бородку, уставился в лицо редактора дерзкими глазами.

— Я тебя вот о чем спрошу,— начал редактор. Он хотел быть спокойным, но это не удавалось ему: голос его срывался, переходил в крик.— Ты сознался... что, делая этот скандал... имел в виду меня. Да? Значит, это что же? месть мне? Я тебя спрашиваю — за что? Ты понимаешь это? Можешь ты мне ответить?

Гвоздев передернул плечами, скривил губы и, опустив голову, помолчал с минуту. Издатель нетерпеливо притоптывал ногой, метранпаж вытянул вперед шею, а редактор кусал губы и нервно хрустел пальцами. Все ждали.

— Я, пожалуй, скажу... Только, как я необразованный человек, то, пожалуй, непонятно будет... Ну, уж извините тогда!.. Вот, стало быть, в чем дело. Вы пишете разные статьи, человеколюбие всем советуете и прочее такое... Не умею я сказать вам всё это подробно — грамоту плохо знаю... Вы, чай, сами знаете, про что речи ведете каждый день... Ну, вот я и читаю эти ваши статьи. Вы про нашего брата рабочего толкуете... а я всё читаю... И противно мне читать, потому что всё это пустяки одни. Одни слова бесстыжие, Митрий Павлыч!.. потому что вы пишете — не грабь, а в типографии-то у вас что? Кирьяков на прошлой неделе работал три с половиной дня, выработал три восемь гривен и захворал. Жена приходит в контору за деньгами, а управляющий ей говорит, что не ей дать, а с нее нужно

рубль двадцать получить — штрафу. Вот те и не грабь! Вы что же про эти порядки не пишете? И как управляющий лается и мальчишек дует за всякую малость?.. Вам этого нельзя писать, потому что вы и сами-то этой же политики держитесь... Пишете, что людям плохо жить на свете,— и потому вы, я вам скажу, всё это пишете, что ничего больше делать не умеете. Вот и всё... И потому под носом у себя вы никаких зверств не видите, а про турецкие зверства очень хорошо рассказываете. Разве это не пустяки — статьи-то ваши? Давно уж мне хотелось, стыда вашего ради, истинные слова в ваши статьи вклеить. И не так бы еще надо.

Гвоздев гордо выпятил грудь, высоко поднял голову и, не скрывая своего торжества, в упор смотрел на редактора. А редактор плотно прижался к столу, вцепившись в него руками, откинулся назад и то бледнел, то краснел и всё улыбался презрительно, смущенно и болезненно. Широко открытые глаза его часто моргали.

— Социалист? — с боязнью и интересом спросил издатель, вполголоса обращаясь к редактору. Тот улыбнулся, но ничего не ответил, склонив голову.

Метранпаж ушел к окну, где стояла кадка с филодендроном, бросавшая на пол комнаты теневой узор, стал за кадку и смотрел оттуда на всех маленькими черными и подвижными, как у мыши, глазами. В них было какое-то нетерпеливое ожидание и порой вспыхивал радостный огонек. Издатель смотрел на редактора. Тот почувствовал это, поднял голову и с беспокойным блеском в глазах, с нервной дрожью в лице крикнул вслед уходившему Гвоздеву:

— Позвольте... постойте! Вы оскорбили меня. Но вы не вправе... я надеюсь, вы это чувствуете? Я благодарен вам за... в-вашу... прямоту, с которой вы высказались, но, повторяю...

Он хотел говорить с иронией, но вместо иронии в словах его звучало что-то бледное и фальшивое, и он сделал паузу, желая настроить себя к отпору, достойному и его и этого судьи, о праве которого судить его, редактора, он никогда еще не думал.

— Известно! — качнул головой Гвоздев.— Тот только и прав, кто много сказать может.

И, стоя в дверях, он оглянулся вокруг себя с таким выражением на лице, которое ясно показывало его нетерпеливое желание уйти отсюда.

— Нет, позвольте! — повышая тон и поднимая руку кверху, заявил редактор.— Вы выдвинули против меня обвинение, а раньше этого самовольно наказали меня за мою якобы вину пред вами... Я имею право защищаться, и я прошу вас слушать...

— Да вам какое до меня дело? Вы перед издателем защищайтесь, коли нужно. А со мной-то о чем говорить? Обидел я вас, так к мировому тащите. А то — защищаться!

Он круто поворотился и, заложив руки за спину, пошел.

На ногах у него были тяжелые сапоги с большими каблуками, он громко стучал ими, и шаги его гулко раздавались в большой, сараеобразной комнате редакции.

— Вот так история с географией! — воскликнул издатель, когда Гвоздев захлопнул за собою дверь.

— Василий Иванович, я тут ни при чем, в этом деле...— заговорил метранпаж, виновато разводя руками, и осторожными коротенькими шагами подошел к издателю. — Я верстаю набор и никак не могу знать, что мне дежурный сунет. Я-с целую ночь на ногах... нахожусь здесь, а дома у меня жена хворает, дети без присмотра... трое... Я, можно сказать, кровью истекаю за тридцать рублей в месяц-то... А Федору Павловичу, когда они нанимали Гвоздева, я говорил: «Федор Павлович, говорю, я Николку с мальчишек знаю и должен вам сказать, что Николка озорник и вор, без совести человек. Его уже у мирового судили, говорю, сидел в тюрьме даже...»

— За что сидел? — задумчиво спросил редактор, не глядя на рассказчика.

— За голубей-с... то есть не за голубей, а за взломы замков. В семи голубятнях сломал замки в одну ночь-с... и все охоты выпустил на волю — всю птицу разогнал-с! И у меня тоже пара смурых, один турман

с игрой да скобарь так и пропали. Очень ценные птицы.

— Украл? — любопытно осведомился издатель.

— Нет, этим не балуется. Судился и за воровство, да оправдали. Так он — озорник... Распустил птицу и рад, надсмехается над нами, охотниками... Били уж его не однажды. Раз после битья в больнице даже лежал... А вышел — у кумы моей в печи чертей развел.

— Чертей? — изумился издатель.

— Чушь какая! — пожал плечами редактор, наморщив лоб, и, снова кусая губы, задумался.

— Это совершенная истина, только сказал не так,— сконфузился метранпаж.— Он, видите, печник, Николка-то. Он на все руки: по литографской части смекает, гравер, водопроводчиком был тоже... Так вот кума — у нее свой дом, она из духовного звания — и наняла его печь переложить. Ну, он переложил, всё как следует; но только, подлый человек, в стену-то печи вмазал бутылку со ртутью и с иголками... и еще чего-то кладется там. От этого происходит звук — особый этакий, знаете, как бы стон и вздох, и тогда говорят — черти в доме завелись. Печь-то вытопят, ртуть в бутылке нагреется и пойдет там бродить. А иголки по стеклу скребут, точно зубом кто скрипит. Кроме иголок, еще разные железины в ртуть кладут, и от них тоже разные звуки — иголка по-своему, гвоздь по-своему, и выходит этакая чертовская музыка... Кума даже продать хотела дом, да никто не покупает,— кому понравится с чертями-с? Три молебна с водосвятием служила — не помогает. Ревет женщина, дочь у нее невеста, кур голов до ста, две коровы, хорошее хозяйство... и вдруг черти! Билась, билась, смотреть жалко. Николка же ее и спас, можно сказать. Давай, говорит, пятьдесят целковых — выгоню чертей! Она ему сначала четвертную дала, а потом — как он вытащил бутылку да дознались, в чем дело,— ну и прощай! В суд хотела подать, но ей отсоветовали... И еще за ним многие художества водятся.

— За одно из этих милых «художеств» с завтрашнего дня я буду расплачиваться. Я?! — нервно воскликнул редактор и, сорвавшись с места, снова начал

метаться по комнате.—О боже мой! Как глупо, по́шло всё это...

— Ну-у, очень уж вы! — успокоительно сказал издатель.— Сделаете поправку, объясните, почему это вышло... Малый-то больно интересный, прах его возьми. Чертей в печку насажал, ха-ха! Нет, ей-богу! Проучить мы его проучим, но мерзавец с умом и возбуждает к себе что-то этакое... знаете!..— Издатель щелкнул над головой пальцами и кинул взгляд в потолок.

— Вас это занимает, да?. — резко крикнул редактор.

— Ну, так что? Разве не смешно? С умом, бестия!— отплатил издатель редактору за окрик.— По какой статье вы с ним считаться-то намерены?

Редактор быстро подбежал вплоть к издателю.

— Считаться я с ним не буду-с! Не могу-с, Василий Иванович, потому что этот фабрикант чертей прав! У вас в типографии чёрт знает что творится, вы слышали? А я играю дурака по вашей милости. Он тысячу раз прав!

— И в том добавлении, которое внес в вашу статейку? — едко спросил издатель и иронически поджал губы.

— Ну так что ж? И в этом, да! Вы поймите, мы ведь либеральная газета...

— Печатаем две тысячи экземпляров, считая бесплатные и обменные,— сухо вставил издатель.— А наш конкурент в девяти тысячах расходится!

— Н-ну-с!

— Больше ничего.

Редактор безнадежно махнул рукой и снова с потускневшими глазами стал ходить взад и вперед по зале.

— Прелестное положение! — бормотал он, пожимая плечами.— Какая-то универсальная травля! Все собаки на одну, а эта в намордник. И этот несчастный р-рабочий! О боже мой!

— Да плюньте, батенька, не волнуйтесь! — посоветовал вдруг Василий Иванович, добродушно усмехаясь, как бы утомившись волнениями и пререканиями. — Пришло и пройдет, и честь свою вновь вос-

становите. Дело гораздо больше смешное, чем драматическое.

Он миролюбиво протянул редактору свою пухлую руку и пошел было из залы в контору.

Вдруг дверь в контору растворилась и на пороге явился Гвоздев. Он был в картузе и не без некоторой любезности улыбался.

— Я пришел сказать вам, господин редактор, что ежели вы хотите со мной судиться, то скажите — потому я отсюдова уеду, а по этапу возвращаться неохота.

— Убирайся вон! — чуть не рыдая от бешенства, взвыл редактор и бросился в глубину комнаты.

— Значит, квит,— сказал Гвоздев, поправил на голове картуз и, спокойно обернувшись на пороге, исчез.

— О-о, бестия! — с восхищением выдохнул из себя Василий Иванович вслед Гвоздеву и, блаженно улыбаясь, не спеша, стал надевать пальто.

Дня через два после описанного Гвоздев, в синей блузе, подпоясанной ремнем, в брюках навыпуск, в ярко начищенных ботинках, в белом картузе, надетом набекрень и на затылок, и с суковатой палкою в руке, степенно гулял по «Горе».

«Гора» представляла собою пологий спуск к реке. В давние времена на спуске этом стояла густая роща. Теперь почти вся она была вырублена, и лишь кое-где могучие, корявые дубы и вязы, поломанные грозами, вздымали к небу свои старые дуплистые стволы, широко раскинув узловатые сучья. У корней их вилась молодая поросль, кустарники льнули к стволам, и всюду среди зелени гуляющая публика протоптала извилистые тропы, сползавшие вниз к реке, облитой сиянием солнца. Горизонтально пересекая «Гору», шла широкая аллея — заброшенный почтовый тракт — и по ней-то, главным образом, гуляла публика, расхаживая в два ряда, один навстречу другому.

Гвоздеву всегда очень нравилось бродить взад и вперед по этой аллее вместе с публикой и чувствовать себя таким же, как и все, так же свободно вдыхать

воздух, напитанный запахом листвы, так же свободно и лениво двигаться, быть частью чего-то большого и чувствовать себя равным со всеми.

В этот день он был чуть-чуть навеселе, его решительное рябое лицо смотрело добродушно и общительно. С левого виска его вились кверху русые вихры. Красиво оттеняя ухо, они лежали на околыше фуражки, придавая Гвоздеву ухарский вид молодчины мастерового, который доволен собой, хоть сейчас готов спеть, поплясать, подраться и во всякую минуту не прочь вышить. Этими характерными вихрами сама природа точно желала рекомендовать всем Николая Гвоздева как малого с огоньком и знающего себе цену. Одобрительно поглядывая вокруг себя прищуренными серыми глазами, Гвоздев миролюбиво толкал публику, без претензии сносил ее толчки, наступая дамам на шлейфы, вежливо извинялся, глотал вместе со всеми густую пыль и чувствовал себя прекрасно.

Сквозь листву деревьев видно было, как за рекой в лугах садилось солнце. Небо было там пурпурное, теплое и ласковое, манившее туда, где оно касалось краем темной зелени лугов. Под ноги гуляющим ложились узорные тени, и толпа людей наступала на них, не замечая их красоты. Франтовато засунув в левый угол губ папиросу и лениво выпуская из правого струйки дыма, Гвоздев присматривался к публике, ощущая в себе настоятельное желание потолковать с кем-нибудь за парой пива в ресторане, внизу «Горы». Знакомых никого не встречалось, а свести новое знакомство не было подходящего случая; публика, несмотря на праздник и ясный весенний день, была почему-то хмурая и не отвечала на его общительное настроение, хотя он уже не раз заглядывал в лица людей, шедших рядом с ним, с добродушной улыбкой и с выражением полной готовности вступить в беседу. Вдруг перед его глазами, в массе затылков, мелькнул хорошо знакомый, гладко остриженный и плоский, точно стесанный, затылок редактора. Гвоздев улыбнулся, вспомнив, как он отделал этого человека, и с удовольствием стал смотреть на серую низенькую шляпу Истомина. Иногда шляпа редактора скрывалась за другими шляпами, это беспо-

коило Гвоздева; он приподнимался на носки, высматривая ее, находил и снова улыбался.

Так, следя за редактором, он шел и вспоминал о том времени, когда он, Гвоздев, был Николкой слесаревым, а редактор — Митькой дьяконицыным. У них был еще товарищ Мишка, прозванный ими Сахарницей. Был еще Васька Жуков, сын чиновника из крайнего в улице дома. Хороший дом был — старый, поросший мхом, облепленный пристройками. У Васькина отца была прекрасная голубиная охота. На дворе дома ловко было играть в прятки: Васькин отец скупой был и берег на дворе всякий хлам — какие-то изломанные кареты, бочки, ящики. Теперь Васька врачом в уезде, а на месте старого дома стоят железнодорожные пакгаузы... Все они обитали тогда на окраине города, в Задней Мокрой улице, жили дружно между собой и в постоянной вражде с мальчишками других улиц. Опустошали сады, огороды, играли в бабки, в шар-мазло и другие игры, учились в приходском училище... С той поры прошло лет двадцать...

Было время и — прошло, были мальчишки — такие же озорные и чумазые, как и Николка слесарев,— и стали теперь важными людьми. А Николка слесарев застрял в Задней Мокрой. Они, кончив приходское училище, в гимназию попали,— он не попал... А что, если заговорить с редактором? Поздороваться и начать разговор? Начать с того, что извиниться за скандал, и потом поговорить — так, вообще, про жизнь...

Шляпа редактора всё мелькала перед глазами Гвоздева, как бы подманивая его к себе, и Гвоздев решился. Как раз в это время редактор шел один в свободном пространстве, образовавшемся среди публики. Он шагал тонкими ногами в светлых брюках, голова то и дело повертывалась из стороны в сторону, близорукие глаза щурились, рассматривая публику. Гвоздев поравнялся с ним и сбоку любезно заглядывал ему в лицо, ожидая удобного момента, чтобы поздороваться, и в то же время ощущая острое желание знать, как отнесется к нему редактор.

— Здравствуйте, Митрий Павлович!

Редактор обернулся к нему, одной рукой приподнял шляпу, другой поправил очки на носу, разглядел Гвоздева и нахмурился.

Это не обескуражило Николая Гвоздева,— напротив, он приятнейшим манером нагнулся к редактору и, обдав его запахом водки, спросил:

— Прогуливаетесь?

Редактор на секунду остановился; губы и ноздри его брезгливо дрогнули, и он сухо кинул Гвоздеву:

— Что вам угодно?

— Мне? Ничего! Так я это... хорошо сегодня! И очень желательно мне поговорить с вами насчет происшествия.

— Я не желаю с вами ни о чем говорить! — заявил редактор, ускоряя шаг.

Гвоздев сделал то же.

— Не желаете? Понимаю... Вы в вашем праве, я это очень хорошо понимаю... Как я вас сконфузил, то, конечно, вы должны иметь против меня зуб...

— Вы, просто... вы пьяны... — снова остановился редактор.— И, если вы не оставите меня в покое, я полицию приглашу.

Гвоздев ласково засмеялся:

— Ну, зачем же?

Редактор искоса посмотрел на него тоскливым взглядом человека, попавшего в неприятное положение и не знающего, как из него выйти. Публика уже смотрела на них с любопытством. Истомин бессильно оглядывался вокруг.

Гвоздев заметил это.

— Давайте свернем,— сказал он и, не дожидаясь согласия, ловко оттер Истомина плечом в сторону с широкой аллеи на узкую тропу, спускавшуюся между кустарников вниз по горе.

Редактор не выразил протеста против этого маневра,— может быть, потому, что не успел, а может — потому, что вне публики, один на один, надеялся скорее и проще избавиться от своего собеседника. Он тихонько, осторожно упираясь палкой в землю, шел вниз по тропинке, а Гвоздев следовал за ним и дышал ему на шляпу.

— Вот тут близко есть одно дерево упавшее, мы и

сядем... Вы, Митрий Павлович, не сердитесь на меня за этот мой поступок. Извините! Я ведь это со зла... Нашего брата иногда такое зло разбирает, что и вином не зальешь... Ну, в такую вот пору и созорничаешь над кем-нибудь: прохожему в рыло дашь или что другое... Я не каюсь — что сделано, то сделано, но, может, я даже очень хорошо понимаю, что сделал-то не совсем в меру... Перехватил.

Тронуло ли редактора это искреннее объяснение и личность Гвоздева возбудила в нем любопытство, или он понял, что ему не отделаться от этого человека, но он спросил Гвоздева:

— О чем же вы хотите говорить?

— А так... обо всем! Скорбит душа у меня, потому что обиду я чувствую себе... Вот тут сядемте.

— Мне некогда...

— Знаю я... газета! Уест она вам половину жизни, всё здоровье на нее просадите. Я ведь понимаю! Он, издатель-то, что? У него в газете деньги, а у вас — кровь! Глаза-то вы уж прописали себе... Садитесь!

Пред ними вдоль тропы лежал большой пень — полусгнивший остаток когда-то могучего дуба. Ветви орешника наклонились над деревом, образуя зеленый навес; сквозь ветви просвечивало небо в красках заката; пряный запах свежей листвы наполнял воздух. Гвоздев сел и, обращаясь к редактору, который всё еще стоял, нерешительно оглядываясь, заговорил:

— Выпил я сегодня немного... Скучно мне жить, Митрий Павлович! От своих товарищей рабочих отстал я как-то, совсем у меня другое направление мысли. Увидал я сегодня вас и вспомнил, что ведь и вы товарищем мне были...

Он засмеялся, потому что редактор смотрел на него с такой быстрой сменой выражений на лице, которая делала его действительно смешным.

— Товарищем? Когда?

— А давно уж, Митрий Павлович... Тогда мы еще в Задней Мокрой существовали... помните? Через двор друг от друга. А против нас Мишка Сахарница — по нынешним временам Михаил Ефимович Хрулев, следователь судебный — изволили иметь место жительства

при своем строгом батюшке... Помните Ефимыча? Часто он нас с вами за вихры тряс... Да вы сядьте!

Редактор утвердительно кивнул головой и сел рядом с Гвоздевым. Он смотрел на него напряженным взглядом человека, вспоминающего нечто прочно забытое, и тер себе лоб.

А Гвоздев увлекался воспоминаниями.

— Житье было у нас тогда! И почему только человек на всю жизнь ребенком не остается? Растет... зачем? Потом врастает в землю. Несет всю свою жизнь несчастия разные... озлится, озвереет... чепуха! Живет, живет и — в конце всей жизни одни пустяки... А тогда мы, бывало, жили без всякой темной мысли, весело,— птички — и всё тут! Порхали через заборы по чужие плоды трудов... Помните, я вам однажды в огороде у Петровны на воровском деле в нос огурцом закатил? Вы крик подняли, а я — дра́ла... Вы с мамашей к моему отцу приходили с жалобой, и отец меня выпорол, как следует быть... А Мишка, Михаил Ефимович...

Редактор слушал и, помимо воли, улыбался. Ему хотелось бы сохранить серьезность и достоинство пред этим человеком. Но в рассказах о ясных днях детства было что-то трогательное, и в тоне Гвоздева пока еще не особенно резко звучали ноты, угрожавшие самолюбию Дмитрия Павловича. Да и кругом было хорошо. Где-то вверху шаркали по песку дорожки ноги гуляющей публики, чуть доносились голоса, иногда звучал смех; но вздыхал ветер — и все эти слабые звуки тонули в меланхоличном шорохе листвы. А когда шорох замирал, были моменты полной тишины, точно всё кругом чутко прислушивалось к словам Гвоздева, сбивчиво рассказывавшего повесть о юности...

— Помните Варьку, маляра Колокольцова дочь? Теперь она замужем за типографщиком Шапошниковым. Такая барыня — мимо идти страшно... Тогда она девчурочка хворая была... Помните, пропала она однажды, и все мы — мальчишки со всей улицы — по полю да по оврагам искали ее! В лагерях нашли и вели ее полем домой... Шуму было — страсть! Колокольцов пряниками угостил, а Варька, увидавши мать свою, сказала: «А я была у барыни офицеровой, и она меня

в дочки к себе зовет!» Хе-хе!.. В дочки!.. Славная девчурка была...

С реки доносились какие-то звуки, словно тихо охала чья-то могучая тоскующая грудь. Пароход шел, в воздухе плыл шум воды, разбиваемой его колесами. Небо было розовое, а вокруг Гвоздева с редактором сгущался сумрак. Медленно наступала весенняя ночь. Тишина становилась полной, глубокой, и, как бы подчиняясь ей, Гвоздев понизил голос... Редактор молча слушал его, вызывая в своей памяти смутные картины давно минувшего. Всё это было...

— Так вот, Митрий Павлович, значит, оно и выходит, что птица я одного с вами гнезда... А полеты у нас разные... И, как вспомню я, что ведь вся разница между мной и моими товарищами бывшими только в том, что не сидел я в гимназии за книгами,— горько мне и тошно бывает... Разве в этом человек? В душе он, в чувствах к ближнему своему, как сказано... Ну вот — вы мой ближний, а какую я цену имею для вас? Никакой — верно?

Редактор, увлеченный своими мыслями, не расслышал, должно быть, вопроса своего собеседника.

— Верно! — сказал он тоном искренним и рассеянным.

Но Гвоздев захохотал, и он спохватился:

— Позвольте! Что, собственно, верно?

— Верно, что я для вас — пустое место... Есть я или нет меня, вам всё равно — наплевать. Зачем вам душа моя? Живу я один на свете и всем людям, меня знающим, очень надоел. Потому — у меня характер злой и очень я люблю разные фокусы выкидывать. Однако у меня чувства тоже есть и ум есть... Я чувствую обиду в моем положении. Чем я хуже вас? Только моим занятием...

— Д-да... это печально! — сказал редактор, наморщив лоб, сделал паузу и продолжал каким-то успокаивающим тоном: — Но, видите ли, тут нужно применить другую точку зрения...

— Митрий Павлович! Зачем точка зрения? Не с точки зрения человек человеку внимание должен оказывать, а по движению сердца. Что такое точка зрения?

Я говорю про несправедливость жизни. Разве можно меня с какой-нибудь точки забраковать? А я забракован в жизни — нет мне в ней хода... Почему-с? Потому, что не учен? Так ведь ежели бы вы, ученые, не с точек зрения рассуждали, а как-нибудь иначе, — должны вы меня не забыть и извлечь вверх к вам снизу, где я гнию в невежестве и озлоблении моих чувств? Или — с точки зрения — не должны?

Гвоздев прищурил глаз и, торжествуя, посмотрел в лицо своего собеседника. Он чувствовал себя в ударе и выпускал из себя всю свою философию, придуманную в долгие годы своей трудовой, безалаберной и бесплодной жизни. Редактор был смущен натиском собеседника и старался определить — что это за человек и что ему возразить на его речь? А Гвоздев, в упоении самим собой, продолжал:

— Вы люди умные, сто ответов мне дадите, и всё будет — нет, не должны! А я говорю — должны! Почему? Потому что я и вы — люди из одной улицы и одного происхождения... Вы не настоящие господа жизни, не дворяне... С тех нашему брату взятки гладки. Те скажут: «Пшел к чёрту!» — и пойдешь. Потому — они издревле аристократы, а вы потому аристократы, что грамматику знаете и прочее... Но вы — свой брат, и я могу требовать с вас указания пути моей жизни. Я мещанин, и Хрулев тоже, и вы — дьяконов сын...

— Но, позвольте...— просительно сказал редактор,— разве я отрицаю ваше право?

Но Гвоздеву совсем неинтересно было знать, что отрицает и что признает редактор; ему нужно было высказаться, и он чувствовал себя в этот момент способным сказать всё, что когда-либо волновало его.

— Нет, вы позвольте! — уже каким-то таинственным шёпотом говорил он, близко склоняясь к редактору и блестя возбужденными глазами.— Как вы думаете, легко мне теперь работать на моих товарищей, которым я в старину носы расквашивал? Легко мне с господина судебного следователя Хрулева, у которого я с год тому назад ватерклозет установлял, сорок копеек на чай получить? Ведь он человек одного со мною ранга... и

было его имя Мишка Сахарница... у него зубы гнилые и посейчас, как тогда были...

Редактор задумчиво смотрел на него сбоку и молча соображал — что же сказать этому парню? Нужно сказать что-нибудь хорошее, правдивое и искреннее. Но у Дмитрия Павловича Истомина ничего нужного в данный момент не нашлось ни в голове, ни в сердце. Давно уже всякие идейные и выспренние разговоры по «вопросам» вызывали в нем чувство скуки и утомления. Он вышел сегодня отдохнуть, нарочно избегал встреч с знакомыми — и вот этот человек со своими речами. Конечно, в его речах, как и во всем, что говорят люди, есть некоторая доля правды. Они — любопытны и могли бы послужить очень интересной темой для фельетона...

— Всё, что вы сказали,— не ново, знаете,— начал он.— О несправедливости отношений человека к человеку давно идет речь... Но, пожалуй, эти ваши речи являются новостью — в том смысле, что раньше их говорили люди иного сорта... Вы несколько односторонне и неверно формулируете ваши думы... но...

— Опять ваша точка зрения! — усмехнулся Гвоздев.— Эхма, господа, господа! Умом-то вы награждены, а сердце-то, видно, померло... Вы мне скажите что-нибудь такое, чтобы сразу по недугу мне пришлось... вот!

Он, опустив голову, ждал ответа.

Истомин снова посмотрел на него, наморщив лоб, ощущая сильное желание уйти. Ему казалось, что Гвоздев пьянеет и оттого так раскис после своих возбужденных речей. Он смотрел на белую фуражку, съехавшую на затылок, на рябую щеку и задорный вихор Гвоздева, смерил взглядом всю его сильную жилистую фигуру и подумал про него, что это очень типичный рабочий, и если б...

— Так что же? — спросил Гвоздев.

— Да что же я могу вам сказать? Откровенно говоря, я не совсем ясно представляю себе, что именно хотели бы вы...

— То-то вот и есть!.. Ничего вы мне не можете ответить,— усмехнулся Гвоздев.

Редактор облегченно вздохнул, справедливо предполагая, что разговор окончен и Гвоздев уже не будет больше к нему приставать с вопросами... И вдруг он подумал:

«А что, как он побьет меня? Он — такой злой».

Ему вспомнилось выражение лица Гвоздева там, в редакции, во время этой глупой сцены. И он подозрительно покосился на него.

Было уже темно. Тишина прерывалась звуками песни, долетавшей издалека с реки. Пели хором, теноровые голоса слышались совсем ясно. Большие жуки, металлически звеня, носились в воздухе. Сквозь листву деревьев видны были звезды... Иногда та или другая ветка над головами отчего-то вздрагивала и слышалось тихое трепетание листьев.

— А ведь роса будет,— сказал редактор осторожно.

Гвоздев вздрогнул и поворотился к нему.

— Что вы сказали?

— Роса будет, говорю, вредно это...

— А-а!

Помолчали. На реке раздался крик:

— Эй-й! На-а барже-е!..

— Я думаю идти. До свидания!..

— А не распить ли нам пару пива? — предложил вдруг Гвоздев и, усмехаясь, добавил: — Окажите честь!

— Нет, извините, я в это время не могу. И потом пора мне, знаете...

Гвоздев встал с дерева и угрюмо посмотрел на редактора.

Тот протягивал ему руку, тоже встав.

— Не желаете, значит, пить пиво со мной?! Ну и чёрт с вами! — отрубил Гвоздев, нахлобучивая свою фуражку резким жестом. — Аристократия! На грош пара! Я и один напьюсь...

Редактор храбро повернулся спиной к своему собеседнику и пошел вверх по тропинке, странно втянув голову в плечи, точно боялся задеть ею за что-нибудь. Гвоздев крупными шагами пошел вниз по горе.

С реки доносился надрывавшийся голос:

— На барже-е! Черти-и! Да-а-вай лодку-у-у!

И среди деревьев разносилось тихое эхо:

— О-у-у-у!..

СУПРУГИ ОРЛОВЫ

...Почти каждую субботу перед всенощной из двух окон подвала старого и грязного дома купца Петунникова на тесный двор, заваленный разною рухлядью и застроенный деревянными, покосившимися от времени службами, рвались ожесточенные женские крики.

— Стой! Стой, пропойца, дьявол! — низким контральто кричала женщина.

— Пусти! — отвечал ей тенор мужчины.

— Не пущу я тебя, изверга!

— Вр-решь! пустишь!

— Убей, не пущу!

— Ты? Вр-решь, еретица!

— Батюшки! Убил,— ба-атюшки!

— Пу-устишь!

При первых же криках Сенька Чижик, ученик маляра Сучкова, целыми днями растиравший краски в одном из сарайчиков на дворе, стремглав вылетал оттуда и, сверкая глазенками, черными, как у мыши, во всё горло орал:

— Сапожники Орловы стражаются! Ух ты!

Страстный любитель всевозможных происшествий, Чижик подбегал к окнам квартиры Орловых, ложился животом на землю и, свесив вниз свою лохматую озорную голову с бойкой рожицей, выпачканной охрой и мумией, жадными глазами смотрел вниз, в темную и сырую дыру, из которой пахло плесенью, варом и прелой кожей. Там, на дне ее, яростно возились две фигуры, хрипя и ругаясь.

— Убьешь ведь,— задыхаясь, предупреждала женщина.

— Н-ничего! — уверенно и с сосредоточенной злобой успокаивал ее мужчина.

Раздавались тяжелые, глухие удары по чему-то мягкому, вздохи, взвизгивания, напряженное кряхтенье человека, ворочающего большую тяжесть.

— И-эх ты! Ка-ак он ее колодкой-то саданул! — иллюстрировал Чижик ход событий в подвале, а собравшаяся вокруг него публика — портные, судебный рассыльный Левченко, гармонист Кисляков и другие любители бесплатных развлечений — то и дело спрашивали Сеньку, в нетерпении дергая его за ноги и за штанишки, пропитанные красками:

— Ну?

— Сидит на ней верхом и мордой ее в пол тычет,— докладывал Сенька, сладострастно поеживаясь от переживаемых им впечатлений...

Публика тоже наклонялась к окнам Орловых, охваченная горячим стремлением самой видеть все детали боя; и хотя она уже давно знала приемы Гришки Орлова, употребляемые им в войне с женой, но все-таки изумлялась:

— Ах, дьявол! Разбил?

— Весь нос в кровь — так и тикёт! — захлебываясь, сообщал Сенька.

— Ах ты, господи, боже мой! — восклицали женщины.— Ах, изверг-мучитель!

Мужчины рассуждали более объективно.

— Беспременно он ее должен до смерти забить,— говорили они.

А гармонист тоном провидца заявлял:

— Помяните моё слово — ножом распотрошит! Устанет возиться вот этаким манером да сразу и кончит всю музыку!

— Кончил! — вскакивая с земли, вполголоса сообщал Сенька и мигом отлетал от окон куда-нибудь в сторону, в уголок, где занимал новый наблюдательный пост, зная, что сейчас должен выйти на двор Орлов.

Публика быстро расходилась, не желая попадаться на глаза свирепого сапожника; теперь, по окончании сражения, он терял в ее глазах всякий интерес и, вместе с этим, был не безопасен.

Обыкновенно на дворе не было уже ни одной живой души, кроме Сеньки, когда Орлов являлся из своего подвала. Тяжело дыша, в разорванной рубахе, с растрепанными волосами на голове, с царапинами на потном и возбужденном лице, он исподлобья оглядывал двор налитыми кровью глазами и, заложив руки за спину, медленно шел к старым розвальням, лежавшим кверху полозьями у стены дровяного сарая. Иногда он при этом ухарски посвистывал и так смотрел по сторонам, точно имел намерение вызвать на бой всё население дома Петунникова. Затем он садился на полозья розвален, отирал рукавом рубахи пот и кровь с лица и замирал в усталой позе, тупо глядя на стену дома, грязную, с облезлою штукатуркой и с разноцветными полосами красок,— маляры Сучкова, возвращаясь с работы, имели обыкновение чистить кисти об эту часть стены.

Орлову было лет под тридцать. Нервное лицо с тонкими чертами украшали маленькие темные усы, резко оттеняя полные красные губы. Над большим хрящеватым носом почти срастались густые брови; из-под них смотрели всегда беспокойно горевшие, черные глаза. Среднего роста, немного сутулый от своей работы, мускулистый и горячий, он, долго сидя на розвальнях в каком-то оцепенении, рассматривал раскрашенную стену, глубоко дыша здоровой смуглой грудью.

Солнце уже село, но на дворе душно; пахнет масляной краской, дегтем, кислой капустой и какой-то гнилью. Из всех окон обоих этажей дома на двор льются песни и брань, иногда чья-нибудь испитая физиономия с минуту рассматривает Орлова, высунувшись из-за косяка, и исчезает, усмехаясь.

Являются маляры с работы; проходя мимо Орлова, они искоса смотрят на него, перемигиваются между собой и, наполняя двор бойким костромским говором, собираются кто в баню, кто в кабак. Сверху из второго этажа сползают на двор портные — народ полуодетый, худосочный и кривоногий,— начинают подтрунивать над костромичами-малярами за их горохом рассыпающуюся речь. Весь двор наполняется шумом, бойким и живым смехом, шутками. Орлов сидит в своем углу и молчит, ни на кого не глядя. Никто не подходит к нему

и никто не решается пошутить над ним, ибо знают, что теперь он — зверь лютый.

Он сидит, охваченный глухой и тяжелой злобой, которая давит ему грудь, затрудняя дыхание, ноздри его хищно вздрагивают, а губы искривляются, обнажая два ряда крепких и крупных желтых зубов. В нем растет что-то бесформенное и темное, красные, мутные пятна плавают пред его глазами, тоска и жажда водки сосет его внутренности. Он знает, что, когда он выпьет, ему будет легче, но пока еще светло, и ему стыдно идти в кабак в таком оборванном и истерзанном виде по улице, где все знают его, Григория Орлова.

Он не хочет выходить на всеобщее посмешище, но и пойти домой, чтобы одеться и умыться, тоже не может. Там, на полу, лежит избитая жена, а она ему теперь всячески противна.

Она там стонет, чувствует, что она мученица и что она права пред ним,— он знает это. Он знает и то, что она действительно права, а он виноват,— это еще более усиливает его ненависть к ней, потому что рядом с этим сознанием в душе его кипит злобное темное чувство и оно сильнее сознания. В нем всё смутно и тяжело, и он безвольно отдается тяжести своих внутренних ощущений, не умея разобраться в них и зная, что только полбутылка водки может облегчить его.

Вот идет гармонист Кисляков. Он в плисовой безрукавке, в красной шёлковой рубашке, в шароварах, заправленных в щегольские сапоги. Под мышкой у него гармоника в зеленом мешке, черненькие усики закручены в стрелки, картуз ухарски надет набекрень, и всё лицо сияет удалью и весельем. Орлов любит его за удальство, за игру, за веселый характер и завидует его легкой, беззаботной жизни.

С по-бед-дой, Гриша, поздравляю
И с расцар-рапанной щекой!

Орлов не сердится на него за эту шутку, хотя он уже слышал ее раз пятьдесят, да гармонист и не со зла говорит это, а просто потому, что шутить любит.

— Что, брат, опять Плевна была?— спрашивает Кисляков, останавливаясь на минутку перед сапож-

ником.— Эх ты, Гриня, спела дыня! Шел бы ты туда, куда всем нам дорога... Клюнули бы мы с тобой.

— Я скоро,— не поднимая головы, говорит Орлов.

— Жду и страдаю по тебе...

Вскоре уходит и Орлов.

Тогда из подвала, держась за стены, выходит маленькая полная женщина. Голова у нее плотно закутана платком, из отверстия на лице смотрит только один глаз, кусок щеки и лба. Пошатываясь, она идет через двор и садится на то место, где сидел ее муж. Ее появление никого не удивляет — к этому привыкли, и все знают, что она просидит тут до той поры, пока Гришка, пьяный и настроенный на покаянный лад, не появится из кабака. Она выходит на двор потому, что в подвале душно, и для того, чтобы свести с лестницы пьяного Гришку. Лестница — полусгнившая и крутая; однажды Гришка упал с нее и вывихнул себе руку, так что недели две не работал, и за это время, чтобы прокормиться, они заложили почти все пожитки.

С той поры Матрена и караулила его.

Иногда кто-нибудь со двора подсаживается к ней, чаще всех Левченко — усатый унтер-офицер в отставке, рассудительный и степенный хохол с гладко остриженной головой и сизым носом. Он садится и, позевывая, спрашивает:

— Снова подрались?

— А тебе что? — недружелюбно и задорно говорит Матрена.

— А ничего! — объясняет хохол, и после этого оба они долго молчат.

Матрена тяжело дышит, и в груди у нее что-то хрипит.

— И чего вы всё воюете? Чего б вам делить? — начинает рассуждать хохол.

— Наше дело...— кратко говорит Матрена Орлова.

— Ваше, это так,— соглашается Левченко, кивая головой.

— Так чего же ты лезешь ко мне? — резонно заявляет Орлова.

— Фу ты, какая! Слова ей не скажи! Как посмотрю я на вас — пара вы с Гришкой! Батогами бы вас лупить

надо каждый день — раз поутру и раз вечером — вот что! Были бы тогда оба не такие ежи...

И, рассерженный, он уходит прочь от нее, чем она очень довольна: по двору давно уже ходит говор, что хохол недаром к ней ластится, она зла на него, на него и на всех людей, которые суются не в свое дело. А хохол идет в угол двора прямой солдатской походкой, бодрый и сильный, несмотря на свои сорок лет.

Вот откуда-то к нему под ноги подвертывается Чижик.

— Она тоже, дяденька, редька, Орлиха-то! — вполголоса сообщает он Левченку, подмигивая туда, где сидит Матрена.

— Вот я тебе такую пропишу, где нужно, редьку! — усмехаясь в усы, грозит хохол. Он любит бойкого Чижика и внимательно слушает его, зная, что Чижику известны все тайны двора.

— Около нее не обрыбишься,— не обращая внимания на угрозу, поясняет Чижик.— Максимка-маляр пробовал, дык она его так смазала! Я сам слышал — здóрово! Прямо по харе, как по барабану!

Полуребенок, полувзрослый, несмотря на свои двенадцать лет, живой и впечатлительный, он, как губка влагу, жадно впитывает в себя грязь окружающей его жизни, на лбу у него уже есть тонкая морщинка, признак, что Сенька Чижик думает.

...На дворе темно. Над ним сияет, весь в блеске звезд, квадратный кусок синего неба, и, окруженный высокими стенами, двор кажется глубокой ямой, когда с него смотришь вверх. В одном углу этой ямы сидит маленькая женская фигурка, отдыхая от побоев, ожидая пьяного мужа...

Орловы были женаты четвертый год. Был у них ребенок, но, прожив около полутора года, умер; они оба недолго горевали о нем, успокоившись в надежде иметь другого.

Подвал, где они помещались,— большая, продолговатая, темная комната со сводчатым потолком. Прямо у двери — большая русская печь, челом к окнам;

между нею и стеной — узенький проход в квадрат, освещенный двумя окнами, выходившими во двор. Свет падал из них в подвал косыми мутными полосами, в комнате было сыро, глухо и мертво. Жизнь билась где-то там наверху, а сюда залетали от нее только глухие, неопределенные звуки, падавшие вместе с пылью в яму к Орловым бесцветными хлопьями. Против печи, по стене — деревянная двухспальная кровать за ситцевым пологом, желтым, с розовыми цветами; у другой стены — стол, на нем пили чай и обедали, а между кроватью и стеной, в двух полосах света, супруги работали.

По стенам лениво путешествовали тараканы, объедая хлебный мякиш, которым были приклеены к штукатурке картинки из журналов; унылые мухи летали повсюду, скучно жужжа, и засиженные ими картинки смотрели темными пятнами с грязно-серого фона стен.

День Орловых начинался так. Часов в шесть утра Матрена просыпалась, умывалась и ставила самовар, не раз искалеченный в пылу драк и весь покрытый заплатами из олова. Пока кипел самовар, она убирала комнату, ходила в лавочку, потом будила мужа; он вставал, умывался, а самовар уже стоял на столе, шипя и курлыкая. Садились пить чай с белым хлебом, которого съедали вдвоем фунт.

Григорий работал хорошо, и работа у него была всегда, за чаем он распределял ее. Он делал чистую работу, требовавшую руки мастера, жена сучила дратву, подклеивала поднаряд, делала набойки на стоптанные каблуки и тому подобные мелочи. За чаем обсуждался обед. Зимой, когда надо есть больше, это был довольно интересный вопрос; летом из экономии печь топили только по праздникам, и то не всегда, питались же преимущественно окрошками из кваса с добавлением луку, соленой рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе. Кончив чай, садились работать: Григорий на квашонку, обитую кожей и с трещиной на боку, жена рядом с ним — на низенькую скамейку.

Сначала работали молча — о чем им было говорить? Перекинутся парой слов, относящихся к работе, и молчат по получасу и больше. Стучит молоток, шипит дратва,

продергиваемая сквозь кожу. Григорий иногда зевнет и непременно заключит зевок протяжным ревом или воем. Матрена вздыхает. Иногда Орлов запевал песню. Голос у него резкий, с металлическим тембром, но петь он умеет. Слова песни то собирались в жалобный и быстрый речитатив и, как бы боясь не договорить того, что хотели сказать, стремительно рвались из Гришкиной груди, то, вдруг растягиваясь в грустные вздохи, с воплем «эх!»,— тоскливые и громкие, летели из окна на двор. Матрена подтягивала мужу мягким контральто. Лица у обоих становились задумчивы и печальны, темные глаза Гришки подергивались влагой. Жена его, погруженная в звуки, как-то тупела, сидя точно в полусне и покачиваясь из стороны в сторону, а иногда она точно захлебывалась песней, разрывая средину ноты паузой, и снова продолжала вести ее в унисон голоса мужа. Оба они во время пения не чувствовали присутствия друг друга, стараясь излить в чужих словах пустоту и скуку своей темной жизни, хотели, быть может, оформить этими словами те полусознательные мысли и ощущения, которые зарождались в их душах.

Порой Гришка импровизировал:

Э-ох ты, жи-изнь... эх да уж ты, жизнь моя треклятая...
Да ты, тоска-а! Эх и ты, тоска моя проклятая,
Проклятущая тоска-а-а!..

Матрене эти импровизации не нравились, и она обыкновенно в таких случаях спрашивала его:

— Чего ты завыл, как пес перед покойником?

Он почему-то тотчас же сердился на нее:

— Тупорылая хавронья! Что ты можешь понимать? Кикимора болотная!

— Выл, выл да залаял...

— Молчать твое дело! Я кто — подмастерье что ли твой, что ты мне рацеи-то начитывать суешься, а?..

Матрена, видя, что у него напрягаются жилы на шее и глаза блещут гневом,— молчала, молчала долго, демонстративно не отвечая на вопросы мужа, гнев которого гас так же быстро, как и вспыхивал.

Она отвертывалась от его взглядов, искавших примирения с ней, ожидавших ее улыбки, и вся была полна

трепетного чувства боязни, что он вновь рассердится на нее за эту игру с ним. Но в то же время сердиться на него и видеть его стремление к миру с ней для нее было приятно,— ведь это значило жить, думать, волноваться...

Оба они — молодые и здоровые люди — любили друг друга и гордились друг другом. Гришка был такой сильный, горячий, красивый, а Матрена — белая, полная, с огоньком в серых глазах,— «ядрёная баба»,— говорили о ней на дворе. Они любили друг друга, но им было скучно жить, у них не было впечатлений и интересов, которые могли бы дать им возможность отдохнуть друг от друга, удовлетворяли бы естественную потребность человека волноваться, думать — вообще жить. Если б у Орловых была жизненная цель,— хоть бы накопление денег грош за грошом,— тогда, несомненно, им жилось бы легче.

Но у них не было и этого.

Постоянно один у другого на глазах, они привыкли друг к другу, знали все слова и жесты один другого. День шел за днем и не вносил в их жизнь почти ничего, что развлекало бы их. Иногда, по праздникам, они ходили в гости к таким же нищим духом, как сами, иногда к ним приходили гости, пили, пели, нередко — дрались. А потом снова один за другим тянулись бесцветные дни, как звенья невидимой цепи, отягчавшей жизнь этих людей работой, скукой и бессмысленным раздражением друг против друга.

Иногда Гришка говорил:

— Вот так жизнь, ведьма ее бабушка! И зачем только она мне далась? Работища да скучища, скучища да работища...— И, помолчав, с поднятыми к потолку глазами, с блуждающей улыбкой, он продолжал: — Родила меня мать по воле божией,— супротив этого ничего не скажешь! Научился я мастерству... это вот зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие?.. Сижу в яме и шью... Потом помру. Вот, говорят, холера... Ну и что же? Жил Григорий Орлов, шил сапоги — и помер от холеры. В чем же тут сила? И зачем это нужно, чтоб я жил, шил и помер, а?

Матрена молчала, чувствуя в словах мужа что-то страшное; иногда она просила его не говорить таких слов, потому что они против бога, который уж знает, как устроить человеку жизнь. А иногда, будучи не в духе, она скептически заявляла мужу:

— А ты бы вот не пил винища-то — и жилось бы тебе веселее, и не лезли бы в голову-то этакие мысли. Другие живут — не жалуются, а копят денежки да свои мастерские на них заводят и живут потом, как господа.

— И выходишь ты за такие деревянные твои слова — чёртова кукла! Раскинь мозгами-то, разве я могу не пить, коли в этом моя радость? Другие! Много ты их, других-то, этаких удачливых знаешь? А я разве до женитьбы такой был? Это, ежели по совести говорить, так ты меня сосешь и жизнь мне теснишь... У, жаба!

Матрена обижалась, но чувствовала, что муж ее прав. В пьяном виде он и веселый и ласковый,— другие были плодом ее фантазии,— и до женитьбы он был весельчак, занятный и добрый...

«Почему это? Неужто и впрямь я ему тяжела?»— думала она.

Сердце ее сжималось от горькой думы, ей становилось жаль себя и его: она подходила к нему и, ласково, любовно заглядывая ему в глаза, плотно прижималась к его груди.

— Ну, теперь будет лизаться, корова...— угрюмо говорил Гришка и показывал вид, что хочет оттолкнуть ее от себя; но она уже знала, что он этого не сделает, и еще ближе, еще крепче жалась к нему.

Тогда у него вспыхивали глаза, он бросал на пол работу и, посадив жену к себе на колени, целовал ее много и долго, вздыхая во всю грудь и говоря вполголоса, точно боясь, что его подслушает кто-то:

— Э-эх, Мотря! Живем мы с тобой ай-ай как плохо! Как зверье, грыземся... А почему? Такая звезда моя, под звездой родится человек, и звезда — судьба его!

Но это объяснение не удовлетворяло его, и, прижав жену к груди, он задумывался.

Они подолгу сидели так в мутном свете и спертом воздухе своего подвала. Она молчала, вздыхая, но иног-

да в такие хорошие моменты ей вспоминались незаслуженные обиды и побои, понесенные от него, и она с тихими слезами жаловалась ему на него.

Тогда он, смущенный ее ласковыми упреками, еще горячее ласкал ее, а она всё более разливалась в жалобах. Это, наконец, снова раздражало его.

— Будет скулить! Мне, может быть, в тысячу раз больнее, когда я тебя бью. Понимаешь? Ну и помолчи. Вашей сестре дай волю, так вы и за горло. Брось разговоры. Что ты можешь сказать человеку, ежели ему жизнь осточертела?

В другое время он смягчался под потоком ее тихих слез и страстных жалоб и уныло, задумчиво объяснял:

— Что я с моим характером поделаю? Обижаю я тебя,— это верно. Знаю, что ты у меня одна душа... ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной раз глаза бы мои на тебя не смотрели! Вроде как бы объелся я тобой. И подступит мне в ту пору под сердце этакое зло — разорвал бы я тебя, да и себя заодно. И чем ты предо мной правее, тем мне больше бить тебя хочется...

Она едва ли понимала его, но кающийся и ласковый тон успокаивал ее.

— Бог даст, как-нибудь поправимся, привыкнем,— говорила она, не сознавая, что они уже давно привыкли и исчерпали друг друга.

— Вот ежели бы дите у нас родилось — было бы лучше нам,— вздыхая, заявляла она.— Была бы у нас и забава и забота.

— Так чего же ты? Рожай...

— Да... ведь при таких твоих побоях — не могу я принести. Очень уж ты по животу и по бокам больно бьешь... Хоть бы ногами-то не бил...

— Ну,— угрюмо и сконфуженно оправдывался Григорий,— разве можно в этом разе соображать, чем, по чему бить надо? Да и я не палач какой... не для удовольствия бью, а от тоски...

— И отчего она завелась в тебе, тоска эта? — грустно спрашивала Матрена.

— Судьба такая, Мотря! — философствовал Гришка.— Судьба и характер души... Гляди,— хуже я других, хохла, к примеру? Однако хохол живет и не тоскует.

Один он, ни жены, никого... Я бы подох без тебя... А он ничего! Он курит трубку и улыбается,— доволен, дьявол, и тем, что трубку курит. А я так не могу... я родился с беспокойством в сердце. Характер у меня такой... как пружина: нажмешь на него — дрожит... Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое, третье, а у меня ничего нет. Это мне обидно. Хохлу — тому ничего не надо, а мне и то обидно, что он, усатый чёрт, ничего не хочет, а я... и не знаю даже чего хочу... всего! Н-да... Я сижу вот в яме, работаю, а ничего у меня нет. Опять же и ты... Жена ты мне, а — что в тебе занятного? Баба как баба, со всем бабьим набором... Знаю я всё в тебе; как ты чихнешь завтра — и то знаю, потому ты уж тысячу раз, может, при мне чихала... Какая же поэтому у меня может быть жизнь и какой интерес? Нет интересу. Ну, я и иду в трактир, потому что там весело.

— А ты зачем женился? — спрашивала Матрена.

— Зачем? — Гришка усмехался.— Чёрт меня знает зачем... не надо бы, ежели по совести сказать... В босяки бы лучше уйти... Там хоть голодно, да свободно — иди куда хочешь! Шагай по всей земле!..

— Так иди, а меня отпусти на волю, — заявляла Матрена, готовая разреветься.

— Это куда? — внушительно спрашивал Гришка.

— А мое дело.

— Ку-уда? — И глаза у него зловеще разгорались.

— Не ори,— не боюсь...

— Али присмотрела себе кого? Говори!

— Пусти!

— Куда пустить? — ревел Гришка.

Он уже держал ее за волосы, сбив платок с ее головы. Побои озлобляли ее, зло же доставляло ей великое наслаждение, возбуждая всю ее душу, и она, вместо того, чтобы двумя словами угасить его ревность, еще более подзадоривала его, улыбаясь ему в лицо многозначительными улыбками. Он бесился и бил ее, беспощадно бил.

А ночью, когда она, вся изломанная и измятая, стонная, лежала на постели рядом с ним, он искоса смотрел на нее и тяжело вздыхал. Ему было скверно, совесть мучила его, он понимал, что его ревность не имеет оснований и что он напрасно избил ее.

— Ну, будет уж,— сконфуженно говорил он.— Али я виноват? И ты тоже хороша... Вместо того, чтобы меня уговорить,— подзадориваешь. Зачем это тебе надобно?

Она молчала, но — она знала зачем, знала, что теперь ее, избитую и оскорбленную, ожидают его ласки, страстные и нежные ласки примирения. За это она готова была ежедневно платить болью в избитых боках. И она плакала уже от одной только радости ожидания, прежде чем муж успевал прикоснуться к ней.

— Ну, полно, Мотря! Ну, голубушка, а? Полно, прости уж! — Он гладил ее волосы, целовал ее и скрипел зубами от горечи, наполнявшей всё его существо.

Окна их были открыты, но небо закрывала капитальная стена соседнего дома, и в комнате их, как и всегда, было темно, душно и тесно.

— Эх, жизнь! Каторга ты великолепная! — шептал Гришка, не будучи в состоянии высказать того, что с болью чувствовал.— От ямы это, Мотря. Что мы? Вроде как бы прежде смерти в землю похоронены...

— Переедем на другую квартиру,— сквозь сладкие слезы предлагала Матрена, понимая его слова буквально.

— Э-эх! Не то, тетенька! Хоть на чердак заберись, всё в яме будешь... Не квартира — яма... жизнь — яма.

Матрена задумывалась и опять говорила:

— Бог даст, может, и поправимся...

— Да, поправимся. Часто ты это говоришь. А дело-то у нас, Мотря, не на поправку идет... Скандалы-то всё чаще,— понимаешь?

Это было верно. Промежутки между их ссорами всё сокращались, и вот, наконец, каждую субботу еще с утра Гришка уже настраивался враждебно к своей жене.

— Сегодня вечером пошабашу и в трактир к Лысому... Напьюсь...— объявлял он.

Матрена, странно щуря глаза, молчала.

— Молчишь? И ужо вот так же молчи, целее будешь,— предупреждал он.

В течение дня он с озлоблением, возраставшим по мере приближения вечера всё более, несколько раз напо-

минал ей о своем намерении напиться, чувствовал, что ей больно это слышать, и, видя, как она, сосредоточенно молчаливая, с твердым блеском в глазах, готовая бороться, ходит по комнате, еще более свирепел.

Вечером вестник их несчастья, Сенька Чижик, объявлял о «стражении».

Избив жену, Гришка исчезал иногда на всю ночь, иногда не являлся и в воскресенье. Она, вся в синяках, встречала его суровая, молчаливая, но полная скрытой жалости к нему, оборванному, часто тоже избитому, в грязи, с налитыми кровью глазами.

Она знала, что ему надо опохмелиться, и у нее уже было припасено полбутылки водки. Он тоже знал это.

— Дай рюмочку,— хрипло просил он, пил две-три и садился работать...

День проходил у него в угрызениях совести; часто он не выносил их остроты, бросал работу и ругался страшными ругательствами, бегая по комнате или валяясь на постели. Мотря давала ему время перекипеть, тогда они мирились.

Раньше это примирение имело в себе много острого и сладкого, но от времени всё это постепенно выдыхалось и мирились уже почти только потому, что неудобно же было молчать все пять дней вплоть до субботы.

— Сопьешься ты,— вздыхая, говорила Мотря.

— Сопьюсь,— подтверждал Гришка и сплевывал в сторону с видом человека, которому решительно всё равно, спиться или не спиться.— А ты от меня уйдешь,— дополнял он картину будущего, пытливо глядя ей в глаза.

Она с некоторых пор стала опускать их, чего раньше не делала, а Гришка, видя это, зловеще хмурил брови и тихонько скрипел зубами. Но, тайком от мужа, она пока еще ходила к гадалкам и знахаркам, принося от них наговорные корешки и угли. А когда всё это не помогло, она отслужила молебен святому великомученику Вонифатию, помогающему от запоя, и во всё время молебна, стоя на коленях, горячо плакала, беззвучно двигая дрожащими губами.

И всё чаще и чаще она чувствовала к мужу дикую и холодную ненависть, возбуждавшую в ней черные думы,

и всё менее жалела она этого человека, три года тому назад так обогатившего ее жизнь веселым смехом, ласками, любовными речами.

Так изо дня в день жили эти, в сущности, недурные люди, жили, ожидая чего-то такого, что окончательно вдребезги разобьет их мучительно нелепую жизнь...

Однажды, в понедельник, утром, когда Орловы пили чай, на пороге их невеселого жилища явилась внушительная фигура полицейского. Орлов вскочил и, пытаясь восстановить в своей похмельной голове события последних дней, молчаливо уставился на гостя мутными глазами, полный самых скверных ожиданий. Жена его смотрела пугливо и укоризненно.

— Сюда, сюда,— приглашал кого-то полицейский.

— Темно, как в омуте, чёрт бы побрал купца Петунникова,— раздался молодой и веселый голос, и в подвал вошел студент в белом кителе, с фуражкой в руке, гладко остриженный, с большим загорелым лбом, веселыми карими глазами, смешливо сверкавшими из-под очков.

— Здравствуйте! — воскликнул он баском.— Честь имею представиться — санитар! Пришел осведомиться, как поживаете... и понюхать ваш воздух — воздух у вас скверный!

Орлов свободно вздохнул и радушно улыбнулся. Ему сразу понравился студент: лицо у него было такое здоровое, розовое, доброе, покрытое на щеках и подбородке русым пухом. Всё оно улыбалось какою-то особенною, ясной улыбкой, от которой в подвале Орловых стало как бы светлее и веселее.

— Ну-с, господа хозяева! — без пауз говорил студент,— помойку опрастывайте почаще, а то от нее идет этот дух невкусный. Я вам, тетенька, посоветовал бы мыть ее почаще. А у вас, дяденька, почему такой скучный вид? — обратился он к Орлову и тут же, схватив его за руку, стал щупать пульс.

Бойкость студента несколько смутила Орловых. Матрена растерянно улыбалась, молча оглядывая его, Григорий улыбался недоверчиво.

— Животики у вас как поживают? — спрашивал тот.— Рассказывайте, не стесняясь,— дело житейское, а ежели чуть что неладно, мы вас снабдим разными кислыми лекарствами, и всё как рукой снимет.

— Мы ничего... в добром здоровье,— сообщил Григорий, усмехаясь.— А ежели я не того... так это одна наружность... потому что, — ежели по правде говорить, с похмелья я несколько.

— То-то я чую носом-то, что как будто бы вы, хозяин, чуть-чуть выпили вчера,— самую малость, знаете...

Он до того уморительно произнес это и такую при этом скорчил рожу, что Орлов так и прыснул смехом. Матрена тоже смеялась, закрывая рот передником. Веселее и громче всех смеялся сам студент, он же скорее всех и перестал. Когда расправились вызванные смехом складки кожи вокруг его пухлого рта и глаз, лицо его, простое и открытое, стало как-то еще проще.

— Выпить рабочему человеку следует, ежели в меру, но — по нынешним временам лучше совсем воздержаться от выпивки. Слышали, какая болезнь ходит между людьми?

И уже серьезно, понятным языком, он начал рассказывать Орловым о холере и о мерах борьбы с ней. Говорил и расхаживал по комнате, то щупая стену рукой, то заглядывая за дверь, в угол, где висел рукомойник и стояла лохань с помоями, даже нагнулся к подпечку и понюхал, чем из него пахнет. Голос у него то и дело срывался с басовых нот на теноровые, простые слова его речи как-то сами собой, без усилий со стороны слушателей, одно за другим плотно укладывались в их памяти. Светлые глаза его горели, и весь он был пропитан пылом своей молодой страсти к делу.

Григорий с улыбкой любопытства следил за ним. Матрена то и дело фыркала носом, полицейский исчез.

— Так насчет чистоты позаботьтесь сегодня же, хозяева. Тут рядом с вами стройка, каменщики вам на пятак сколько угодно известки дадут. А от выпивки нужно воздержаться, хозяин... Н-ну, пока до свиданья... Я еще забегу к вам...

Он исчез так же быстро, как явился, оставив воспоминанием о своих смеющихся глазах довольные улыбки

И все чаще и чаще она чувствовала къ мужу дикую и холодную ненависть, возбуждающую въ ней черныя думы, и все менѣе жалѣла она этого человѣка, три года тому назадъ такъ обогатившаго ея жизнь веселымъ смѣхомъ, ласками, любовными рѣчами.

Такъ изо дня въ день жили эти, въ сущности, недурные люди, жили, [redacted] ожидая чего-то такого, что окончательно вдребезги разобьетъ ихъ мучительно-нелѣпую жизнь...

Однажды, въ понедѣльникъ, утромъ, когда [redacted] Орловы [redacted] напилась чай, на порогѣ [redacted] ихъ невеселаго жилища появилась внушительная фигура полицейскаго. Орловъ вскочилъ [redacted] и, [redacted] пытаясь возстановить въ своей похмельной головѣ событія послѣднихъ дней, молчаливо [redacted] уставился на гостя мутными глазами, полный самыхъ скверныхъ ожиданій. Женаго [redacted] смотрѣла пугливо и укоризненно.

— Сюда, сюда,—приглашалъ кого-то полицейскій.

— Темно, какъ въ омутѣ, чортъ бы небралъ купца Петунникова,—раздался молодой и веселый голосъ. [redacted], и въ [redacted] вошелъ студентъ въ бѣломъ кителѣ, съ фуражкой въ рукѣ, гладко остриженный, съ большимъ загорѣлымъ лбомъ и веселыми карими глазами, смѣшливо сверкавшими изъ-подъ очковъ.

— Здравствуйте!—воскликнулъ онъ [redacted] баскомъ.—Честь имѣю представиться—санитаръ! Пришелъ освѣдомиться, какъ поживаете... и понюхать вашъ воздухъ—воздухъ у васъ [redacted] скверный!

Орловъ свободно вздохнулъ и радушно, [redacted] улыбнулся. Ему сразу понравился [redacted] студентъ: лицо у него было такое здоровое, розовое, доброе, покрытое на щекахъ и подбородкѣ русымъ пухомъ. Все

«СУПРУГИ ОРЛОВЫ».

Страница рассказа с правкой М. Горького для издания «Книга».

на лицах Орловых,— они были смущены набегом сознательной энергии в их темную жизнь.

— А-яй! — протянул Григорий, качая головой.— Вот так химик! А про них говорят, что они отравляют народ! Да разве человек с такой рожей будет этим заниматься?.. Нет, тут совсем открыто пришел и сразу — на вот, вот он я! Известка — разве это вредно? Лимонная кислота — что такое? Просто кислота и больше ничего! И главное — чистота везде, в воздухе, на полу, в лоханке... Ах, черти! Отравители, говорят... Этакой-то рубаха-парень, а? Рабочему, говорит, человеку в меру выпить всегда следует... слышь, Мотря? Ну-ка нацеди мне рюмочку,— есть что ли?

Она очень охотно налила ему полчашки водки из бутылки, неизвестно откуда взятой ею.

— Этот-то действительно хороший... располагающий к себе,— сказала она, улыбаясь при воспоминании о студенте.— А другие, прочие — кто их знает? Может, и впрямь наняты они...

— Да для чего наняты-то, и кем опять же?— воскликнул Григорий.

— Для людского истребления... Говорят, что бедного люда очень много и вышло распоряжение — травить лишних,— сообщила Матрена.

— Кто это говорит?

— Все говорят. Стряпка от маляров говорила и другие многие...

— И дуры! Да разве это выгодно? Ты подумай: лечат! Это как понимать? Хоронят! Это разве не убыток? Тоже нужен гроб, могила и прочее такое... Всё идет на счет казны... Ер-рунда! Ежели бы хотели сделать очистку и убавление людей, то взяли бы да и сослали их в Сибирь — там места про всех хватит! Или на необитаемые острова... И приказали бы там работать. Вот тебе и очистка, и очень даже выгодно... Потому что необитаемый остров никакого дохода не даст, ежели не засадить его людьми. А казне — доход первое дело, значит, морить людей да хоронить их на свой счет ей не рука... Поняла? И опять же студент... озорник он, это точно, но он больше насчет бунта, а чтобы людей морить... не-ет, его для такой игры не купишь за все медные! Разве сразу не видно,

что он к этому делу не способен? Рыло у него не того калибра...

Целый день они толковали о студенте и о всем, что он сообщил им. Вспоминали его смех, его лицо, нашли, что у него на кителе не хватало одной пуговицы, и едва не разругались из-за вопроса: «На какой стороне груди?» Матрена упорно утверждала, что на правой, ее муж говорил — на левой и уже дважды крепко ругнул ее, но, вовремя вспомнив, что, наливая водку в чашку, жена не подняла дно бутылки кверху, уступил ей. Потом решили с завтрашнего дня заняться введением у себя чистоты и снова, овеянные чем-то свежим, продолжали беседовать о студенте.

— Нет, какой ведь хлюст! — восхищался Григорий.— Пришел — точно десять лет знакомы... Обнюхал всё, разъяснил и... больше ничего! Ни крика, ни шума, хотя ведь и он начальство тоже... Ах, раздуй его горой! Понимаешь, Матрена, тут, брат, есть о нас забота. Сразу видно... Желают нас сохранить в целости, а не то что... Это всё ерунда, насчет мора,— бабьи сказки! Живот, говорит, как действует?.. А ежели мор, так на кой ему чёрт действие живота знать? А как он ловко разъяснил насчет этих... как их? дьяволов-то, которые заползают в кишки, ну?

— Как-то вроде небылицы,— усмехнулась Матрена.— Чай, это так только, для страха, чтобы насчет чистоты старался народ...

— Ну, там кто их знает, может, и правда... от сырости черви ведь заводятся же. Ах ты, чёрт! Как их, этих козявок? Небылицы? Нет... На языке вертится слово, а не поймаю...

Они и когда спать легли, всё еще говорили о событии с тем наивным воодушевлением, с каким дети делятся между собой впервые пережитым, сильно поразившим их впечатлением. Так они и заснули среди разговора.

Поутру рано их разбудили. У кровати их стояла дородная стряпка маляров, и ее всегда красное, полное лицо против обыкновения было серо и вытянуто.

— Что вы проклаждаетесь? — торопливо говорила она, как-то особенно шлепая толстыми губами.—

Холера-то ведь на дворе у нас... Посетил господь! — И она вдруг заплакала.

— Ах ты — врешь? — воскликнул Григорий.

— А я лоханку-то с вечера не вынесла,— виновато сказала Матрена.

— Я, милые вы мои, хочу расчет взять. Уйду я... Уйду... в деревню,— говорила стряпка.

— Кого забрало? — спросил Григорий, поднимаясь с постели.

— Гармониста! В ночь схватило... И схватило, сударики, прямо за живот, вроде как бы от мышьяка бывает...

— Гармонист? — бормотал Григорий. Ему не верилось. Такой веселый, удалой парень, вчера он прошел по двору таким же павлином, как и всегда.— Пойду взгляну,— решил Орлов, недоверчиво усмехаясь.

Обе женщины испуганно вскрикнули:

— Гриша, ведь зараза!

— Что ты, батюшка, куда ты?

Григорий крепко выругался, сунул ноги в опорки и, растрепанный, с расстегнутым воротом рубахи, пошел к двери. Жена схватила его сзади за плечо, он чувствовал, что рука ее дрожит, и вдруг озлился почему-то.

— В морду дам! Прочь! — рявкнул он и ушел, толкнув жену в грудь.

На дворе было тихо и пусто. Григорий, идя к двери гармониста, одновременно чувствовал озноб страха и острое удовольствие оттого, что из всех обитателей дома один он смело идет к больному. Это удовольствие еще более усилилось, когда он заметил, что из окон второго этажа на него смотрят портные. Он даже засвистал, ухарски тряхнув головой. Но у двери в каморку гармониста его ждало маленькое разочарование в образе Сеньки Чижика.

Приотворив дверь, он сунул свой острый нос в образовавшуюся щель и, по своему обыкновению, наблюдал, увлеченный до такой степени, что обернулся только тогда, когда Орлов дернул его за ухо.

— Вот так скрючило его, дяденька Григорий,— шёпотом заговорил он, подняв на Орлова свою чумазую мордочку, еще более обостренную переживаемым впе-

чатлением.— И вроде как бы рассохся он,— как худая бочка,— ей-богу!

Орлов, охваченный зловонным воздухом, стоял и молча слушал Чижика, стараясь заглянуть одним глазом в щель непритворенной двери.

— Воды ему дать напиться, дяденька Григорий? — предложил Чижик.

Орлов взглянул на лицо мальчика, возбужденное почти до нервной дрожи, и сам почувствовал взрыв возбуждения.

— Тащи воды! — скомандовал он Чижику и, смело распахнув дверь, остановился на пороге, несколько подавшись назад.

Сквозь туман в глазах Григорий видел Кислякова: гармонист в своем парадном костюме лежал грудью на столе, крепко вцепившись в него руками, и его ноги в лакированных сапогах вяло двигались по мокрому полу.

— Кто это? — спросил он сипло и апатично, точно голос его слинял.

Григорий оправился и, осторожно шагая по полу, пошел к нему, стараясь говорить бодро и даже шутливо.

— Я, брат, Митрий Павлов... А ты что это — переложил, что ли, вчера? — Он внимательно, с боязнью и любопытством рассматривал Кислякова и не узнавал его.

Лицо у гармониста всё обострилось, скулы торчали двумя резкими углами, глаза глубоко ввалились и, окруженные зеленоватыми пятнами, были странно неподвижны, мутны. Кожа на щеках такого цвета, какою она бывает у покойников в жаркое, летнее время; мертвое, страшное лицо, и только медленное движение челюстей доказывало, что оно еще живо. Неподвижные глаза Кислякова долго смотрели в лицо Григория, и этот взгляд наводил на него ужас. Зачем-то ощупывая свои бока руками, Орлов стоял шагах в трех от больного и чувствовал, что его точно кто-то схватил за горло сырой и холодной рукой, схватил и медленно душит. Ему захотелось скорее уйти из этой комнатки, прежде такой светлой и уютной, а теперь пропитанной удушающим запахом гнили и странным холодом.

— Ну...— начал было он, приготовляясь отступать. Но серое лицо гармониста странно задвигалось, губы,

покрытые черным налетом, раскрылись, и он сказал своим беззвучным голосом:

— Это... я... умираю...

Неизъяснимое равнодушие трех его слов отдалось в голове и груди Орлова, как три тупых удара. С бессмысленной гримасой на лице он повернулся к двери, но навстречу ему влетел Чижик, с ведром в руке, запыхавшийся и весь в поту.

— Вота — из колодца от Спиридонова,— не давали, черти...

Он поставил ведро на пол, бросился куда-то в угол, снова явился и, подавая стакан Орлову, продолжал тараторить:

— У вас, говоряг, холера... Я говорю, ну, так что? И у вас будет,— теперь уж она пойдет чесать, как в слободке... Дык — он меня как ахнет по башке!..

Орлов взял стакан, зачерпнул из ведра воды и одним глотком выпил ее. В ушах его звучали мертвые слова: «Это... я... умираю...»

А Чижик вьюном вертелся около него, чувствуя себя как нельзя более в своей сфере.

— Дайте пить,— сказал гармонист, двигаясь по полу вместе со столом.

Чижик подскочил к нему и поднес к черным губам его стакан воды. Григорий, прислонясь к стене у двери, точно сквозь сон слушал, как больной громко втягивал в себя воду; потом услыхал предложение Чижика раздеть Кислякова и уложить его в постель, потом раздался голос стряпки маляров. Ее широкое лицо, с выражением страха и соболезнования, смотрело со двора в окно, и она говорила плаксивым тоном:

— Дать бы ему сажи голландской с ромом: на стакан чайный — сажи две ложки хлёбальных да рому до краев.

А кто-то невидимый предложил деревянного масла с огуречным рассолом и царской водкой.

Орлов вдруг почувствовал, что тяжелая, гнетущая тьма внутри его освещается каким-то воспоминанием. Он крепко потер себе лоб, как бы желая усилить яркость этого света, и вдруг быстро вышел вон, перебежал двор и исчез на улице.

— Батюшки! Сапожника схватило! В больницу побежал,— крикливо плачущим голосом объяснила стряпка его бегство.

Матрена, стоявшая рядом с ней, посмотрела широко открытыми глазами и, побледнев, вся затряслась.

— Врешь ты,— хрипло сказала она, едва двигая белыми губами,— Григорий этой поганой болезнью не захворает,— не поддастся!

Но стряпка, горестно воя, уже исчезла куда-то, и через пять минут на улице около дома купца Петунникова глухо гудела кучка соседей и прохожих. На всех лицах чередовались одни и те же чувства: возбуждение, сменявшееся безнадежным унынием, и что-то злое, уступавшее иногда место деланной удали. Со двора к толпе и обратно то и дело летал Чижик, сверкая босыми ногами и сообщая ход событий в комнате гармониста.

Публика, тесно сбившись в кучу, наполняла пыльный и пахучий воздух улицы глухим гулом своего говора, а иногда сквозь него вырывалось крепкое ругательство, злое и бессмысленное.

— Смотрите — Орлов-то!

Орлов подъехал к воротам на козлах холщовой фуры, которой правил угрюмый человек, весь одетый в белое. Он рявкнул глухим басом:

— Пошел с дороги!

И поехал прямо на людей.

Вид этой фуры и окрик ее возницы как бы придавил повышенное настроение зрителей — все сразу потемнели, многие быстро ушли.

Вслед за фурой явился студент, знакомый Орловых. Фуражка у него съехала на затылок, по лбу струился пот, на нем была надета какая-то длинная мантия ослепительной белизны, и спереди на ее подоле красовалась большая круглая дыра с рыжими краями, очевидно, только что прожженная чем-то.

— Ну, где больной? — громко спрашивал он, искоса посматривая на публику, собравшуюся в уголке у ворот,— люди встретили его недоброжелательно.

Кто-то громко сказал:

— Ишь ты, какой повар!

Другой голос тише и зловеще пообещал:

— Погоди, он те угостит!

Нашелся, как всегда в толпе, шутник.

— Он те даст такой суп, что у тебя лопнет пуп!

Раздался смех, невеселый, затемненный боязливым подозрением.

— Ведь вот сами-то они не боятся заразы,— это как понимать? — многозначительно спросил человек с напряженным лицом и взглядом, полным сосредоточенной злобы.

Лица людей потемнели, говор стал глуше...

— Несут!

— Орлов-то! Ах, собака!

— Не боится!

— Ему что? Пьяница...

— Осторожней, осторожней, Орлов! Поднимайте выше ноги... так! Готово! Поезжай, Петр! — командовал студент. — Я скоро приеду. Ну-с, господин Орлов, я прошу вас помочь мне уничтожить здесь заразу... Кстати, на случай, вы выучитесь, как это делать... Согласны?

— Могу,— сказал Орлов, оглядываясь вокруг и чувствуя прилив гордости.

— И я тоже могу,— заявил Чижик.

Он проводил печальную фуру за ворота и вернулся как раз вовремя для того, чтобы предложить свои услуги. Студент через очки посмотрел на него.

— Ты кто такой есть, а?

— Из маляров,— в учениках...— объяснил Чижик.

— А холеры боишься?

— Я? — удивился Сенька. — Вота! Я — ничего не боюсь!

— Н-ну? Ловко! Так вот что, братцы.—Студент присел на бочку, лежавшую на земле, и, покачиваясь на ней, стал говорить о необходимости для Орлова и Чижика хорошенько вымыться.

К ним подошла Матрена, боязливо улыбаясь. За ней кухарка, вытиравшая мокрые глаза сальным передником. Через некоторое время осторожно, как кошки к воробьям, к этой группе подошло еще несколько человек. Около студента собрался тесный кружок человек в десять, и это воодушевило его. Стоя в центре людей, быстро

жестикулируя, он, то вызывая улыбки на лицах, то сосредоточенное внимание, то острое недоверие и скептические смешки, начал нечто вроде лекции.

— Главное дело во всех болезнях — чистота тела и воздуха, которым вы дышите,— уверял он своих слушателей.

— О господи!—громко вздыхала стряпка маляров.— От нечаянной смерти Варваре великомученице надо молиться...

— И в теле и в воздухе живут, однако тоже помирают,— заявил один из слушателей.

Орлов стоял рядом со своей женой и смотрел в лицо студента, о чем-то думая. Его дернули за рубаху.

— Дяденька Григорий! — шепнул Сенька Чижик, сверкая горящими, как угольки, глазами, теперь вот помрет Митрий-то Павлов, родных у него нету... кому же гармоника достанется?

— Отстань, чертенок! — отмахнулся Орлов.

Сенька отошел в сторону и уставился в окно комнатки гармониста, ища в ней чего-то жадным взглядом.

— Известка, деготь,— громко перечислял студент.

Вечером этого беспокойного дня, когда Орловы сели пить чай, Матрена с любопытством спросила у мужа:

— Ты давеча куда ходил со студентом-то?

Григорий посмотрел ей в лицо затуманенными, чужими глазами, не отвечая.

Около полудня, кончив мыть комнату гармониста, Григорий ушел куда-то с санитаром, воротился часа в три задумчивый, молчаливый, лег на постель и вплоть до чая лежал кверху лицом, не вымолвив за всё время ни слова, хотя жена много раз пыталась вызвать его на разговор. Он даже не обругал ее,— это было странно, непривычно ей и возбуждало ее.

Инстинктом женщины, вся жизнь которой сосредоточилась на муже, она подозревала, что его охватило чем-то новым, ей было боязно и тем более страстно хотелось знать — что с ним?

— Тебе, может, нездоровится, Гриша?

Григорий слил с блюдца в рот последний глоток чая,

вытер рукой усы, не спеша подвинул жене пустой стакан и, нахмурив брови, заговорил:

— Ходил я со студентом в барак...

— В холерный? — воскликнула Матрена и тревожно, понизив голос, спросила: — Много там их?

— Пятьдесят три с нашим-то... Некоторые поправляются... Ходят... Желтые, худые...

— Холерные? Чай — нет?.. Других каких-нибудь сунули туда для оправдания: вот-де, смотрите, вылечиваем!

— Ты дура! — решительно сказал Григорий и зло блеснул глазами.— Все вы тут дубье! Необразованность и глупость — больше ничего! Подохнешь с вами от тоски при вашем невежестве... Ничего вы не можете понимать,— он резко подвинул к себе вновь налитый стакан чаю и замолчал.

— Где это ты образовался так? — ехидно спросила Матрена и вздохнула.

Он промолчал, задумчивый, неприступно суровый. Потухавший самовар тянул пискливую мелодию, полную раздражающей скуки, в окна со двора веяло запахом масляной краски, карболки и обеспокоенной помойной ямы. Полусумрак, писк самовара и запахи — всё плотно сливалось одно с другим, черное жерло печи смотрело на супругов так, точно чувствовало себя призванным проглотить их при удобном случае. Супруги грызли сахар, стучали посудой, глотали чай. Матрена вздыхала, Григорий стукал пальцем по столу.

— Чистота невиданная! — вдруг с раздражением заговорил он.— Все служащие до последнего — в белом. Хворые то и дело в ванны лезут... Вином их поят,— два с полтиной бутылка! Кушанья... с одного запаха сыт будешь... Обращение со всеми — материнское... Н-да... Извольте понять: живешь на земле, ни один чёрт даже и плюнуть на тебя не хочет, не то что зайти иногда и спросить — что, как и вообще — какая жизнь? по душе она или по́ душу человеку? А начнешь умирать — не только не позволяют, но даже в изъян вводят себя. Бараки... вино... два с полтиной бутылка! Неужто нет у людей догадки? Ведь бараки и вино большущих денег стоят. Разве эти самые деньги нельзя на улучшение жизни употреблять — каждый год по нескольку?

Жена не старалась понять его речей, ей достаточно было чувствовать, что они новы, и она безошибочно выводила отсюда: у Григория в душе творится что-то нехорошее для нее. Она скорее хотела узнать — как это коснется ее? В этом желании была и боязнь, и надежда, и что-то враждебное мужу.

— Там, чай, уж побольше твоего знают,— сказала она, когда он кончил, и поджала губы.

Григорий повел плечом, искоса взглянул на нее и, помолчав, начал в тоне еще более повышенном:

— Знают, не знают — это их дело. Но ежели мне, не видав никакой жизни, помирать приходится, об этом я могу рассуждать. Я тебе вот что скажу: такого порядка я больше не хочу, сидеть, дожидаться, когда придет холера да меня скрючит,— не согласен. Не могу! Петр Иванович говорит: вали навстречу! Судьба против тебя, а ты против нее,— чья возьмет? Война! Больше никаких... Значит — что теперь? А поступаю я служителем в барак — и всё тут! Поняла? Прямо в пасть влезу — глотай, а я буду ногами дрыгать!.. Двадцать рублей в месяц жалованья, да еще награду могут дать... Можно умереть?.. Это так, но здесь еще скорее сдохнешь.

Орлов стукнул кулаком по столу так, что вся посуда подпрыгнула.

Матрена в начале речи смотрела на мужа с выражением беспокойства и любопытства, а в конце ее уже враждебно прищурила глаза.

— Это студент тебе насоветовал? — сдержанно спросила она.

— У меня свой ум есть,— могу рассудить,— уклонился Григорий от прямого ответа.

— Ну, а как же со мной разделаться посоветовал он тебе? — продолжала Матрена.

— С тобой? — Григорий несколько смутился — он не успел подумать о жене. Конечно, можно бабу оставить на квартире, вообще это делается, но Матрену — опасно. За ней нужен глаз да глаз. Остановившись на этой мысли, Орлов хмуро продолжал: — Что же? Будешь тут жить... а я буду жалованье получать... н-да...

— Так,— спокойно сказала женщина и усмехнулась той многозначащей, женской улыбкой, которая сразу

может вызвать у мужчины колющее сердце чувство ревности.

Орлов, нервозный и чуткий, ощутил это, но из самолюбия, не желая выдавать себя, бросил жене:

— Квак да хрюк — все твои речи!..— И насторожился, ожидая — что еще скажет она?

Она снова улыбнулась этой раздражающей улыбкой и промолчала.

— Ну, так как же? — спросил Григорий повышенным тоном.

— Что? — произнесла Матрена, равнодушно вытирая чашки.

— Ехидна! Не финти — пришибу! — вскипел Орлов.— Я, может, на смерть иду!

— Не я тебя посылаю, не ходи...

— Ты бы рада послать, я знаю! — иронически воскликнул Орлов.

Она молчала. Это бесило его, но Орлов сдержал привычное выражение чувства, сдержал под влиянием преехидной, как ему казалось, мысли, мелькнувшей у него в голове. Он улыбнулся злорадной улыбкой, говоря:

— Я знаю, тебе хочется, чтобы я провалился хоть в тартарары. Ну, еще посмотрим, чья возьмет... да! Я тоже могу сделать такой ход — ах ты мне!

Он вскочил из-за стола, схватил с окна картуз и ушел, оставив жену не удовлетворенной ее политикой, смущенной угрозами, с возрастающим чувством страха пред будущим. Она шептала:

— О господи! Царица небесная! Пресвятая богородица!

Она долго сидела за столом, пытаясь предположить, что сделает Григорий. Пред ней стояла вымытая посуда; на капитальную стену соседнего дома, против окон комнаты, заходящее солнце бросило красноватое пятно; отраженное белой стеной, оно проникло в комнату, и край стеклянной сахарницы, стоявшей пред Матреной, блестел. Наморщив лоб, она смотрела на этот слабый отблеск, пока не утомились глаза. Тогда она, убрав посуду, легла на кровать.

Григорий пришел, когда уже было совсем темно.

Еще по его шагам на лестнице она догадалась, что муж в духе. Он выругал тьму в комнате, подошел к постели, сел на нее.

— Знаешь что? — усмехаясь, спросил Орлов.

— Ну?

— И ты пойдешь на место!

— Куда? — дрогнувшим голосом спросила она.

— В один барак со мной! — торжественно объявил Орлов.

Она обняла его за шею и, крепко сжав руками, поцеловала в губы. Он не того ждал и оттолкнул ее.

«Притворяется...— думал он,— ей, шельме, совсем не хочется вместе с ним. Притворяется, ехидна, за дурака считает мужа...»

— Чему рада? — грубо и подозрительно спросил он, чувствуя желание сбросить ее на пол.

— Так уж! — бойко ответила она.

— Финти! Знаю я тебя!

— Еруслан ты мой храбрый!

— Брось... а то смотри!

— Гришаня ты мой!

— Да ты что в самом деле?

Когда ее ласки укротили его несколько, он озабоченно спросил ее:

— А ты не боишься?

— Чай, вместе будем,— просто ответила она.

Ему приятно было слышать это. Он сказал ей:

— Молодчина!

И так ущипнул ее, что она взвизгнула.

Первый день дежурства Орловых совпал с очень сильным наплывом больных, и двум новичкам, привыкшим к своей медленно двигавшейся жизни, было жутко и тесно среди кипучей деятельности, охватившей их. Неловкие, не понимавшие приказаний, подавленные жуткими впечатлениями, они растерялись и хотя пытались работать, но только мешали другим. Григорий несколько раз чувствовал, что заслуживает строгого окрика или выговора за свое неуменье, но, к великому его изумлению, на него не кричали.

Когда один из докторов, высокий черноусый человек с горбатым носом и большущей бородавкой над правой бровью, велел Григорию помочь одному из больных сесть в ванну, Григорий с таким усердием цапнул больного под мышки, что тот даже крякнул и сморщился.

— А ты, голубчик, не ломай его, он и целиком в ванну уберется...— серьезно сказал доктор.

Орлов сконфузился; больной же, сухой и длинный верзила, усмехнулся через силу и хрипло сказал:

— С нови... Непривычен.

Другой доктор, старик с острой седой бородой и блестящими большими глазами, сказал Орловым, когда они пришли в барак, наставление, как обращаться с больными, что делать в том или другом случае, как брать больных, перенося их; в заключение спросил их, были ли они вчера в бане, и выдал им белые передники. Голос у этого доктора был мягкий, говорил он быстро; он очень понравился супругам. Вокруг них мелькали люди в белом, раздавались приказания, подхватываемые прислугой на лету, хрипели, охали и стонали больные, текла и плескалась вода, и все эти звуки плавали в воздухе, до того густо насыщенном острыми, неприятно щекочущими ноздри запахами, что казалось — каждое слово доктора, каждый вздох больного тоже пахнут, раздирая нос...

Сначала Орлов находил, что тут царит бесшабашный хаос, в котором ему ни за что не найти себе места, и что он задохнется, заболеет... Но прошло несколько часов, и, охваченный веянием повсюду рассеянной энергии, он насторожился, проникся желанием приспособиться к делу, чувствуя, что ему будет покойнее и легче, если он завертится вместе со всеми.

— Сулемы! — кричал доктор.

— Горячей воды! — командовал худенький студентик с красными опухшими веками.

— Вы — как вас? Орлов... трите-ка ему ноги!.. Вот так... понимаете?.. Та-ак, та-ак... Легче,— сдерете кожу! — показывал Григорию другой студент, длинноволосый и рябой.

— Еще больного привезли! — раздавалось сообщение.

— Орлов, тащите его.

Григорий усердствовал — потный, ошеломленный, с мутными глазами и с тяжелым туманом в голове. Порой чувство личного бытия в нем совершенно исчезало под давлением впечатлений, переживаемых им. Зеленые пятна под мутными глазами на землистых лицах, кости, точно обточенные болезнью, липкая, пахучая кожа, страшные судороги едва живых тел — всё это сжимало сердце тоской и вызывало тошноту.

Несколько раз в коридоре барака он мельком видел жену; она похудела, и лицо у нее было серое и растерянное. Он охрипшим голосом спросил ее:

— Ну, что?

Она слабо улыбнулась в ответ ему и молча исчезла.

Григория кольнула совершенно непривычная ему мысль: а пожалуй, он напрасно втиснул сюда, в такую пакостную работу, свою бабу! Захворает она... И, встретив ее еще раз, он строго крикнул:

— Смотри, чаще руки-то мой,— берегись!

— А то что будет? — задорно спросила она, оскалив свои мелкие белые зубы.

Это разозлило его. Вот нашла место смешкам, дура! И до чего они подлы, эти бабы! Но сказать ей он ничего не успел: поймав его сердитый взгляд, Матрена быстро ушла в женское отделение.

А он через минуту уже нес знакомого полицейского в мертвецкую. Полицейский тихо покачивался на носилках, уставившись в ясное и жаркое небо стеклянными глазами из-под искривленных век. Григорий смотрел на него с тупым ужасом в сердце: третьего дня он этого полицейского видел на посту и даже ругнул его, проходя мимо,— у них были маленькие счеты между собой. А теперь вот этот человек, такой здоровяк и злючка, лежит мертвый, обезображенный, скорченный судорогами.

Орлов чувствовал, что это нехорошо,— зачем и на свет родиться, если можно в один день от такой поганой болезни умереть? Он смотрел сверху вниз на полицейского и жалел его. Но вдруг согнутая левая рука трупа

медленно пошевелилась и выпрямилась, а левая сторона искривленного рта, раньше полуоткрытая, закрылась.

— Стой! Пронин...— захрипел Орлов, ставя носилки на землю.—Жив! — шёпотом заявил он служителю, который нес с ним труп.

Тот обернулся, пристально взглянул на покойника и с сердцем сказал Орлову:

— Чего врешь? Али не понимаешь, что это он для гроба расправляется? Айда, неси!

— Да ведь шевелится,— трепеща от ужаса, протестовал Орлов.

— Неси, знай, чудак-человек! Что ты слов не понимаешь? Говорю: выправляется — ну, значит, шевелится. Эта необразованность твоя, смотри, до греха тебя может довести... Жив! Разве можно про мертвый труп говорить такие речи? Это, брат, бунт... Понимаешь? Молчи, никому ни слова насчет того, что они шевелятся,— они все так. А то свинья — борову, а боров — всему городу, ну и бунт — живых хоронят! Придет сюда народ и разнесет нас вдребезги. И тебе будет на калачи. Понял? Сваливай налево.

Спокойный голос служителя, его неторопливая походка действовали на Григория отрезвляюще.

— Ты, брат, только духом не падай — привыкнешь. Здесь хорошо. Харч, обращение и всякое другое — всё в аккурате. Все, брат, мертвецами будем; это самое обыкновенное дело. А пока что — живи знай, не робей только — главная причина! Водку пьешь?

— Пью,— сказал Орлов.

— Ну вот. Вон тут в ямке у меня бутылочка есть на всякий случай, айда-ка, проглотим несколько.

Они подошли к ямке за углом барака, выпили, и Пронин, налив на сахар мятных капель, подал его Орлову, со словами:

— Ешь, а то пахнуть водкой будешь. Здесь насчет водки — строго. Потому вредно пить ее!

— А ты привык тут? — спросил у него Григорий.

— Я — спервоначалу. При мне тут народу перемерло — сотни, прямо сказать. Житье здесь беспокойное, а — хорошее житье, ежели говорить правду.

Божье дело. Вроде как на войне... ты про санитаров и сестер милосердия слыхал? Я в турецкую кампанию насмотрелся на них. Под Ардаганом, под Карсом был. Ну, а это, брат, чище нас, солдат, люди. Мы воюем, ружье у нас есть, пули, штык; а они — безо всего под пулями, как в зеленом саду, гуляют. Наш, турка — берут и тащат на перевязочный. А вокруг них — ж-жи! ти-ю! фить! Иногда ему, санитару-то, в затылок — чик! — и готово!..

После этого разговора и здорового глотка водки Орлов несколько приободрился.

«Взялся за гуж, так не бай, что не дюж»,— усовещивал он себя, растирая ноги больного. За его спиной кто-то жалобно стонущим голосом просил:

— Пи-ить! Ой, голу-убчики-и!

А кто-то гоготал:

— Ого-го-го! Погорячей!.. Го-го-сподин доктор, помогает! Вот вам Христос,— чувствую! Разрешите еще подлить кипяточку!

— Дайте вина! — кричал доктор Ващенко.

Орлов работал и видел, что, в сущности, всё это совсем уж не так погано и страшно, как казалось ему недавно, и что тут — не хаос, а правильно действует большая, разумная сила. Но, вспоминая о полицейском, он все-таки вздрагивал и искоса посматривал в окно барака на двор. Он верил, что полицейский мертв, но было что-то неустойчивое в этой вере. А вдруг выскочит и крикнет? И ему вспомнилось, как кто-то рассказывал: однажды холерные мертвецы выскочили из гробов и разбежались.

Он вспоминал о жене: каково ей? Иногда к этому примешивалось мимолетное желание улучить минутку и посмотреть на Матрену. Но вслед за этим Орлов как бы конфузился своего желания и восклицал про себя:

«Повертись-ка вот этак-то, толстомясая! Небойсь, подсохнешь... Лишишься своих намерениев...»

Он всегда подозревал, что у жены его имеются в душе намерения, оскорбительные для него как мужа, а иногда, восходя в своих подозрениях до некоторого объективизма, даже признавал, что эти намерения имеют основание. Жизнь у нее желтенькая, от такой жизни

всякая дрянь в голову полезет. Этот объективизм обыкновенно перерождал, на время, его подозрения в уверенность. Потом он спрашивал себя: а зачем ему надо было лезть из своего подвала в этот котел кипящий? И недоумевал. Но все эти думы вращались где-то глубоко в нем, они были как бы отгорожены от прямого влияния на его работу тем напряженным вниманием, с которым он относился к действиям врачебного персонала. Он никогда не видал, чтоб в каком-нибудь труде люди убивались так, как они убиваются тут, и не раз подумал, глядя на утомленные лица докторов и студентов, что все эти люди — воистину недаром деньги получают!

Сменясь с дежурства, усталый, Орлов вышел на двор барака и прилег у стены его под окном аптеки. В голове у него шумело, под ложечкой сосало, ноги болели поющей болью. Ни о чем не думалось и ничего не хотелось, он вытянулся на дерне, посмотрел в небо, где стояли пышные облака, богато украшенные красками заката, и уснул, как убитый.

Приснилось ему, что будто бы он с женой в гостях у доктора в громадной комнате, уставленной по стенам венскими стульями. На стульях сидят все больные из барака. Доктор с Матреной ходят «русскую» среди зала, а он сам играет на гармонике и хохочет, потому что длинные ноги доктора совсем не гнутся, и доктор, важный, надутый, ходит по залу за Матреной — точно цапля по болоту. И все больные тоже хохочут, раскачиваясь на стульях.

Вдруг в дверях является полицейский.

— Ага! — мрачно и грозно кричит он.— Ты, Гришка, думал, что я умер? На гармонике играешь, а меня в мертвецкую стащил! Ну-ка, пойдем со мной! Вставай!

Охваченный дрожью, облитый потом, Орлов быстро поднялся и сел на земле. Против него сидел на корточках доктор Ващенко и укоризненно говорил ему:

— Какой же ты, друже, санитар, если спишь на земле, да еще и брюхом на нее лег, а? А ну ты простудишь себе брюхо,— ведь сляжешь на койку да еще, чего доброго, и помрешь... Это, друже, не годится,—

для спанья у тебя есть место в бараке. Тебе не сказали про это? Да ты и потный и знобит тебя. Ну-ка, иди, я тебе кое-чего дам.

— Я с устатка,— пробормотал Орлов.

— Тем хуже. Надо беречь себя,— время опасное, а ты человек нужный.

Орлов молча прошел за доктором по коридору барака, молча выпил какое-то лекарство из одной рюмки, выпил еще из другой, сморщился и плюнул.

— Ну, а теперь иди спи! — И доктор начал переставлять по полу коридора свои длинные тонкие ноги.

Орлов посмотрел ему вслед и вдруг, широко улыбнувшись, побежал за ним.

— Покорно благодарю, доктор!

— За что? — остановился тот.

— За заботу. Теперь я буду стараться для вас во всю силу! Потому приятно мне ваше беспокойство... и... что я нужный человек... и вообще пок-корнейше благодарен!

Доктор пристально и с удивлением смотрел на взволнованное какой-то радостью лицо барачного служителя и тоже улыбнулся.

— Чудачина ты! А впрочем, ничего,— это всё славно у тебя выходит, искренно! Валяй, старайся вовсю; это не для меня будет, а для больных. Надо нам человека от болезни отбить, вырвать его из ее лап — понимаешь? Ну, вот и давай стараться во всю силу победить болезнь. А пока — спи иди!

Вскоре Орлов лежал на койке и засыпал с приятным ощущением ласкающей теплоты в животе. Ему было радостно, и он был горд своим таким простым разговором с доктором.

Заснул он, сожалея, что жена не слыхала этого разговора. Рассказать ей завтра... Не поверит, чёртова перечница.

— Чай пить иди, Гриша,— разбудила его поутру жена.

Он приподнял голову и посмотрел на нее. Она улыбалась ему. Гладко причесанная, в своем белом балахоне, она была такая чистенькая, свежая.

Ему было приятно видеть ее такой, и в то же время он подумал, что ведь и другие мужчины в бараке ее видят такой же.

— Это какой же чай пить? У меня свой чай есть,— куда мне идти? — хмуро сказал он.

— А ты иди со мной попей,— предложила она, глядя на него ласкающими глазами.

Григорий отвел свои глаза в сторону и сказал, что придет.

Она ушла, а он снова лег на койку и задумался.

«Ишь ты какая! Чай пить зовет, ласковая... Похудела, однако же, за день-то». Ему стало жалко ее и захотелось сделать для жены приятное. Купить к чаю чего-нибудь сладкого, что ли? Но, умываясь, он уже отбросил эту мысль,—зачем бабу баловать? Живет и так!

Чай пили в маленькой светлой каморке с двумя окнами, выходившими в поле, залитое золотистым сиянием утреннего солнца. На дерне, под окнами, еще блестела роса, вдали, на горизонте, в туманно-розоватой дымке утра, стояли деревья почтового тракта. Небо было чисто, с поля веяло в окна запахом сырой травы и земли.

Стол стоял в простенке между окон, за ним сидело трое: Григорий и Матрена с товаркой — пожилой, высокой и худой женщиной с рябым лицом и добрыми серыми глазами. Звали ее Фелицата Егоровна, она была девицей, дочерью коллежского асессора, и не могла пить чай на воде из больничного куба, а всегда кипятила самовар свой собственный. Объявив всё это Орлову надорванным голосом, она гостеприимно предложила ему сесть под окном и дышать вволю «настоящим небесным воздухом», а затем куда-то исчезла.

— Что, устала вчера? — спросил Орлов у жены.

— Просто страсть как! — живо ответила Матрена.— Ног под собой не слышу, головонька кружится, слов не понимаю, того и гляди, пластом лягу. Еле-еле до смены дотянула... Всё молилась,— помоги, господи, думаю.

— А боишься?

— Покойников — боюсь. Ты знаешь,— она накло-

пилась к мужу и со страхом шепнула ему: — они после смерти шевелятся — ей-богу!

— Это я ви-идал! — скептически усмехнулся Григорий.— Мне вчера Назаров, полицейский, и после смерти своей чуть-чуть плюху не влепил. Несу я его в мертвецкую, а он ка-ак размахнется левой рукой... я едва увернулся... вот как! — Он приврал немного, но это вышло само собой, помимо его желания.

Очень уж ему нравилось чаепитие в светлой, чистой комнате с окнами в безграничный простор зеленого поля и голубого неба. И еще что-то ему нравилось — не то жена, не то он сам. В конце концов — ему хотелось показать себя с самой лучшей стороны, быть героем наступающего дня.

— Примусь я тут работать — даже небу жарко станет, вот как! Потому есть причина у меня на это. Во-первых, люди здесь, я тебе скажу,— не существующие на земле!

Он рассказал свой разговор с доктором, и, так как он снова, незаметно для себя, несколько приврал,—это обстоятельство еще более усилило его настроение.

— Во-вторых, работа сама! Это, брат, великое дело, вроде войны, например. Холера и люди — кто кого? Тут ум требуется и чтобы всё было в аккурате. Что такое холера? Это надо понять, и валяй ее тем, что она не терпит! Мне доктор Ващенко говорит: «Ты, говорит, Орлов, человек в этом деле нужный! Не робей, говорит, и гони ее из ног в брюхо больного, а там, говорит, я ее кисленьким и прищемлю. Тут ей и конец, а человек-то ожил и весь век нас с тобой благодарить должен, потому кто его у смерти отнял? Мы!» Орлов гордо выпятил грудь, глядя на жену возбужденными глазами.

Она задумчиво улыбалась ему в лицо, он был красив и очень походил теперь на того Гришу, каким она видела его когда-то давно, еще до свадьбы.

— У нас в отделении тоже все такие работящие и добрые. Докторша то-олстая в очках. Хорошие люди, говорят с тобой таково просто, и всё у них понимаешь.

— Так ты, значит, ничего, довольна? — спросил Григорий, несколько остыв от возбуждения.

— Я-то? Господи, ты посуди: я получаю 12 рублей, да ты 20 — 32 рубля в месяц! На готовом на всем! Это, ежели до зимы хворать будут люди, сколько мы накопим?.. А там, бог даст, и поднимемся из подвала-то...

— Н-да, это тоже важная статья... — задумчиво сказал Орлов и, помолчав, воскликнул с пафосом надежды, ударив жену по плечу: — Эх, Матренка, али нам солнце не улыбнется? Не робей знай!

Она вся загорелась.

— Только бы ты стерпел...

— А про это — молчок! По коже — шило, по жизни — рыло... Иная жизнь, иное и поведенье мое будет.

— Господи, кабы это случилось! — глубоко вздохнула женщина.

— Ну, и цыц!

— Гришенька!

Они расстались с какими-то новыми чувствами друг к другу, воодушевленные надеждами, готовые работать до изнеможения, бодрые, веселые.

Прошло дня три-четыре, и Орлов заслужил несколько лестных отзывов о себе, как о сметливом и расторопном малом, и вместе с этим заметил, что Пронин и другие служители в бараке стали относиться к нему с завистью, с желанием насолить. Он насторожился, в нем тоже возникла злоба против толстожего Пронина, с которым он не прочь был вести дружбу и беседовать «по душе». В то же время ему делалось как-то горько при виде явного желания товарищей по работе нанести ему какой-либо вред.

«Эх, злыдари!» — восклицал он про себя и тихонько поскрипывал зубами, стараясь не упустить удобного случая заплатить врагам «за лычко — ремешком». Невольно мысль его останавливалась на жене — с той можно говорить про всё, она его успехам завидовать не будет и, как Пронин, карболкой сапог ему не сожжет.

Все дни работы были такие же бурные и кипучие, как первый, но Григорий уже не так уставал, ибо тратил свою энергию с каждым днем более сознательно. Он научился распознавать запахи лекарств и, выделив из них запах эфира, потихоньку, когда удавалось, с

наслаждением нюхал его, заметив, что вдыхание эфира действует почти так же приятно, как добрая рюмка водки. С полуслова понимая приказания медицинского персонала, всегда добрый и разговорчивый, умевший развлекать больных, он всё более и более нравился докторам и студентам, и вот, под влиянием совокупности всех впечатлений новой формы бытия, у него образовалось странное, повышенное настроение. Он чувствовал себя человеком особых свойств. И в нем забилось желание сделать что-то такое, что обратило бы на него внимание всех, всех поразило бы. Это было своеобразное честолюбие существа, которое вдруг сознало себя человеком и, еще не уверенное в этом новом для него факте, хотело подтвердить его чем-либо для себя и других; это было честолюбие, постепенно перерождавшееся в жажду бескорыстного подвига.

Из такого побуждения Орлов совершал разные рискованные вещи, вроде того, что единолично, не ожидая помощи товарищей и надрываясь, тащил коренастого больного с койки в ванну, ухаживал за самыми грязными больными, относился с каким-то ухарством к возможности заражения, а к мертвым — с простотой, порою переходившей в цинизм. Но всё это не удовлетворяло его: ему хотелось чего-то более крупного, это желание всё разгоралось в нем, мучило его и, наконец, доводило до тоски. Тогда он изливал душу жене,— потому что больше было некому.

Однажды вечером, сменившись с дежурства, попив чаю, супруги вышли в поле. Барак стоял далеко за городом, среди длинной зеленой равнины, с одной стороны ограниченной темной полосой леса, с другой — линией городских зданий; на севере поле уходило вдаль и там, зеленое, сливалось с мутно-голубым горизонтом; на юге его обрезывал крутой обрыв к реке, а по обрыву шел тракт и стояли на равном расстоянии друг от друга старые, ветвистые деревья. Заходило солнце, кресты городских церквей, возвышаясь над темной зеленью садов, пылали в небе, отражая снопы золотых лучей, на стеклах окон крайних домов города тоже отражалось красное пламя заката. Где-то играла музыка; из оврага, густо поросшего ельником, веяло

смолистым запахом; лес расстилал в воздухе свой сложный, сочный аромат; легкие душистые волны теплого ветра ласково плыли к городу; в поле, пустынном и широком, было так славно, тихо и сладко-печально.

Орловы шли по траве молча, с удовольствием вдыхая чистый воздух вместо барачных запахов.

— Где это музыка играет, в городе или в лагерях? — тихонько спросила Матрена у задумавшегося мужа.

Она не любила видеть его думающим — он казался чужим ей и далеким от нее в эти минуты. Последнее время им и так мало приходится бывать вместе, и тем более она дорожила этими моментами.

— Музыка? — переспросил Григорий, точно освобождаясь от дремы.— А чёрт с ней, с этой музыкой! Ты бы послушала, какая в душе у меня музыка... вот это так!

— А что? — тревожно взглянув ему в глаза, спросила она.

— А я — не знаю что... Горит у меня душа... Хочется ей простора... чтобы мог я развернуться во всю мою силу... Эхма! силу я в себе чувствую — необоримую! То есть если б эта, например, холера да преобразилась в человека,— в богатыря... хоть в самого Илью Муромца,— сцепился бы я с ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Орлов, сила,— ну, кто кого? Придушил бы я ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле и надпись: «Григорий Андреев Орлов... Освободил Россию от холеры». Больше ничего не надо...

Он говорил, и лицо его горело, а глаза сверкали.

— Силач ты мой! — ласково шепнула Матрена, прижимаясь к нему боком.

— Понимаешь... на сто ножей бросился бы я... но чтобы с пользой! Чтоб от этого облегчение вышло жизни. Потому — вижу я людей: доктор Ващенко, студент Хохряков — работают они, даже удивление! Им бы давно надо умереть с устатка... Из-за денег, думаешь? Из-за денег так работать нельзя! У доктора — слава те господи! — есть-таки кое-что и еще немножко... А старик захворал прошлый раз, так Ващенко за него

четверо суток отбарабанил, даже домой не съездил за всё время... Деньги тут ни при чем; тут жалость — причина. Жалко им людей — и не жалеют себя... Ради кого, спроси? Ради всякого... Ради Мишки Усова... Мишке место в каторге, потому — всякий знает, что Мишка вор, а может, хуже... Мишку лечат... Рады, когда он с койки встал, смеются... Вот и я хочу эту самую радость испытать... и чтобы было много ее — задохнуться бы мне в ней! Потому что смотреть на них, как они смеются от своей радости,— заноза мне. Взною весь и загорюсь. Эх ты... чёрт!

Орлов глубоко задумался.

Матрена молчала, но сердце у нее билось тревожно — ее пугало возбуждение мужа, в словах его она ясно чувствовала великую страсть его желания, непонятного ей, потому что она и не пыталась понять его. Ей был дорог и нужен муж, а не герой.

Подошли к краю оврага и сели рядом друг с другом. Снизу на них смотрели кудрявые вершины молоденьких березок, на дне оврага лежала синеватая мгла, оттуда несло сыростью, гниющими листьями, хвоей. Порой тихо проносился ветер, ветки берез колыхались, колыхались и маленькие ели,— весь овраг наполнялся трепетным, боязливым шёпотом, казалось, кто-то, нежно любимый и оберегаемый деревьями, заснул в овраге под их сенью и они чуть-чуть перешептываются, боясь разбудить его. В городе вспыхивали огни, выделяясь на темном фоне садов, как цветы. Орловы сидели молча,— он задумчиво барабанил пальцами по своему колену, она поглядывала на него, тихонько вздыхая.

И вдруг, охватив его шею руками, положила на грудь ему голову, шёпотом говоря:

— Голубчик ты мой, Гриша! Милый ты мой! Какой ты опять хороший ко мне стал, удалой ты мой! Ведь будто тогда... после свадьбы... живем мы с тобой... Ни слова обидного ты мне не скажешь, разговоры всё со мной говоришь, душу открываешь... не зыкаешь на меня.

— А ты соскучилась об этом? Я ин поколочу, если хочешь,— ласково пошутил Григорий, ощущая в душе прилив нежности и жалости к жене.

Он стал рукой тихо гладить ей голову, и ему нравилась эта ласка,— такая отеческая — ласка ребенку. Матрена в самом деле похожа была на ребенка: она взобралась к нему на колени и сжалась у него на груди в маленький, мягкий и теплый комок.

— Милый мой! — шептала она.

Он глубоко вздохнул, и на язык ему сами собой потекли новые для него и жены его слова.

— Эх ты, кошечка! Видишь, как-никак, а нет друга ближе мужа. А ты всё в сторону норовишь... Ведь ежели я иной раз обижал тебя — от тоски это! Жили в яме... Свету не видели, людей не знали. Выбрался из ямы и прозрел,— а до этого слепой был. Понимаю теперь, что жена, как-никак, первый в жизни друг. Потому люди — змеи, ежели правду сказать... Всё язву желают другому нанести... К примеру — Пронин, Васюков... Э, ну их к... Молчок, Мотря! Выправимся, не робей... Выйдем в люди и заживем с понятием... Ну? Чего ты, дуреха ты моя?

Она плакала сладкими слезами счастья и на вопрос его ответила поцелуями.

— Единственная ты моя! — шептал он и тоже целовал ее.

Оба они стирали поцелуями слезы друг друга и оба чувствовали их солоноватый вкус. И долго еще говорил Орлов новыми для него словами.

Уже совсем стемнело. Небо, пышно расцвеченное бесчисленными роями звезд, смотрело на землю с торжественной грустью, в поле было тихо, точно в небе.

У них вошло в привычку пить чай вместе. На другое утро после разговора в поле Орлов явился в комнату жены чем-то сконфуженный и хмурый. Фелицата захворала, Матрена была одна в комнате и встретила мужа с сияющим лицом, но тотчас же потемнела и тревожно спросила у него:

— Что ты такой? Нездоровится?

— Нет, ничего,— сухо ответил он, садясь на стул.

— А что же? — добивалась Матрена.

— Не спалось. Всё думал. Раскудахтались мы с

тобой вчера, смякли... мне теперь стыдно себя... Ни к чему всё это. Ваша сестра, в таких разах, норовит человека в руки взять... н-да... Только ты про это не мечтай — не удастся... Меня ты не обойдешь, я тебе не поддамся. Так и знай!

Он сказал всё это очень внушительно, но на жену не смотрел. Матрена всё время не отводила глаз от его лица, и губы ее странно искривились.

— Что же, ты каешься в том, что вчера таким мне близким был? — тихо спросила она.— Каешься, что целовал да ласкал меня? Это, что ли? Обидно мне это слышать... очень горько, рвешь ты мне сердце такими речами. Что тебе надо? Скучно тебе со мной,— не люба я тебе или что?

Она смотрела на него подозрительно, и в тоне ее звучали и горечь и вызов мужу.

— Н-нет,— смущенно сказал Григорий,— я вообще... Жили мы с тобой... знаешь сама, что за жизнь! Вспоминать тошно. А вот теперь поднялись... и боязно чего-то. Всё так скоро переменилось... И я сам себе как чужой, и ты другая будто бы. Это что такое? И что за этим будет?

— Что бог даст, Гриша! — серьезно сказала Матрена.— Ты только не кайся в том, что хорош вчера был.

— Ладно, брось... — всё так же смущенно остановил ее Григорий.— Я, видишь ли, думаю, что все-таки ничего не выйдет у нас. И прежняя жизнь наша не цветиста и теперешняя мне не по душе. И хоть не пью я, не дерусь с тобой, не ругаюсь...

Матрена судорожно засмеялась.

— Некогда тебе теперь заниматься-то всем этим.

— Напиться я всегда бы нашел время,— улыбнулся Орлов.— Не тянет — вот диво! А потом мне вообще как-то... не то совестно чего-то, не то боязно... — Он тряхнул головой и задумался.

— Господь тебя знает, что с тобой,— тяжело вздохнув, сказала Матрена.— Житье хорошее, хоть работы и много; доктора тебя любят, сам ты в аккурате себя держишь,— уж я не знаю что? Беспокойный ты очень.

— Это верно, беспокойный... Вот я думал ночью: «Петр Иванович говорит: все люди равны друг другу,

а я разве не человек, как все? Но, однако, доктор Ващенко получше меня, и Петр Иванович получше, и многие другие... Значит, они мне не ровня, и я им не ровня, я это чувствую. Они вылечили Мишку Усова и рады... А я этого не понимаю. И вообще чему радоваться, коли человек выздоровел? Жизнь у него хуже холерной судороги, ежели говорить по правде. Они понимают это, а — рады... И я тоже хотел бы порадоваться, как они, а не могу... Потому что — чему же радоваться, опять-таки?»

— А они жалеют людей,— возразила Матрена.— У нас тоже... начнет поправляться больная, так, господи, что делается! А которая бедная идет на выписку, так ей и советов, и денег, и лекарств надают... Даже слеза меня прошибает... добрые люди!

— Вот ты говоришь — слеза... А меня удивление берет... Больше ничего.— Орлов повел плечами и потер себе голову, недоумевающе поглядев на жену.

У нее откуда-то явилось красноречие, и она с усердием начала доказывать мужу, что люди достойны жалости. Наклонясь к нему, глядя в лицо его ласкающими глазами, она долго говорила ему про людей и тяжесть жизни, а он смотрел на нее и думал:

«Ишь как говорит! Откуда у нее слова?»

— Ведь и сам ты жалостливый — говоришь, удушил бы холеру, ежели бы сила. А — для чего? Тебе оттого, что она явилась, даже лучше жить стало.

Орлов вдруг расхохотался.

— А ведь верно! И впрямь лучше! Ах ты, дуй ее горой! Люди мрут, а мне от этого жить лучше, а?.. Вот так жизнь! Тьфу!

Он встал и, смеясь, ушел на дежурство. Когда он шел по коридору, у него вдруг явилось сожаление о том, что, кроме него, никто не слышал речей Матрены. «Ловко говорила! Баба, баба, а тоже понимает кое-что». И, охваченный приятным чувством, он вошел в свое отделение навстречу хрипам и стонам больных.

Матрена, в свою очередь, всячески старалась расширить свое возрастающее значение в жизни мужа. Трудовая, бойкая жизнь сильно приподняла ее самооценку. Она не думала, не рассуждала, но, вспоминая

свою прежнюю жизнь в подвале, в тесном кругу забот о муже и хозяйстве, невольно сравнивала прошлое с настоящим, и мрачные картины подвального существования постепенно отходили всё далее и далее от нее. Барачное начальство полюбило ее за сметливость и уменье работать, все относились к ней ласково, в ней видели человека, это было ново для нее, оживляло ее...

Однажды, во время ночного дежурства, толстая докторша начала расспрашивать ее об ее жизни, и Матрена, охотно и открыто рассказывая ей про свою жизнь, вдруг замолчала, улыбаясь.

— Ты что смеешься? — спросила докторша.

— Да так... очень уж плохо жила я... и ведь, поверите ли, милая моя барыня,— не понимала я этого, вот до сего часу не понимала, как плохо.

После этого смотра прошлому в душе Орловой родилось странное чувство к мужу,— она всё так же любила его, как и раньше,— слепой любовью самки, но ей стало казаться, как будто Григорий — должник ее. Порой она, говоря с ним, принимала тон покровительственный, ибо он часто возбуждал в ней жалость своими беспокойными речами. Но все-таки иногда ее охватывало сомнение в возможности тихой и мирной жизни с мужем, хотя она верила, что Григорий остепенится и погаснет в нем его тоска.

Роковым образом они должны были сблизиться друг с другом и — оба молодые, трудоспособные, сильные — зажили бы серой жизнью полусытой бедности, кулацкой жизнью, всецело поглощенной погоней за грошом, но от этого конца их спасло то, что Гришка называл своим «беспокойством в сердце» и что не могло помириться с буднями.

Утром хмурого сентябрьского дня на двор барака въехала фура, и Пронин вынул из нее маленького мальчика, перепачканного красками, костлявого, желтого, едва дышавшего.

— Опять из дома Петунникова, с Мокрой улицы,— сообщил возница на вопрос, откуда больной.

— Чижик! — огорченно вскричал Орлов,— ах ты, господи! Сенька! Чиж! Ты меня узнаешь?

— У...узнал,— с усилием сказал Чижик, лежа на носилках и медленно заводя глаза под лоб, чтобы видеть Орлова, который шел у него в головах и склонился над ним.

— Ах ты,— веселая птица! Как же это ты сбрендил? — спрашивал Орлов. Он был странно встревожен видом этого мальчугана, измученного болезнью.— Мальчишку-то за что? — воплотил он в один вопрос свои ощущения, печально качнув головой.

Чижик молчал и пожимался.

— Холодно,— сказал он, когда, положив на койку, стали снимать с него прокрашенные всеми красками лохмотья.

— А вот мы тебя сейчас в горячую воду пустим,— обещал Орлов.— И вылечим.

Чижик потряс головенкой и зашептал:

— Не вылечишь... Дяденька Григорий... наклонись-ка... ухом. Гармонику-то я стащил... Она — в дровянике... Третьего дня в первый раз тронул после того как украл. А-ах какая! Спрятал ее, а тут и брюхо заболело... Вот... Значит, за грех это... Она под лестницей на стенке висит... дровами я ее заложил... Вот... Ты, дяденька Григорий, отдай ее... У гармониста сестра есть... Спрашивала... От-да-ай!.. — Он застонал и начал корчиться в судорогах.

С ним сделали всё, что могли, но истощенное, худое тельце некрепко держало в себе жизнь, и вечером Орлов нес его на носилках в мертвецкую. Нес и чувствовал себя так, точно его обидели.

В мертвецкой Орлов попробовал расправить тело Чижика, это ему не удалось. Орлов ушел убитый, хмурый, унося с собой образ изувеченного страшною болезнью веселого мальчика.

Его охватило расслабляющее сознание своего бессилия перед смертью. Сколько он хлопотал около Чижика, как ревностно трудились над ним доктора — умер мальчик! Обидно... Вот и его, Орлова, схватит однажды, скрючит, и кончено. Ему стало страшно, его охватило одиночество. Поговорить бы с умным человеком насчет всего этого! Он не раз пробовал завести разговор с кем-либо из студентов, но никто не имел времени для фило-

софии. Приходилось идти к жене и говорить с ней. Он пошел, хмурый и печальный.

Она мылась в углу комнаты, но самовар уже стоял на столе, наполняя воздух паром и шипением.

Григорий молча сел, глядя на голые круглые плечи жены. Самовар бурлил, плескалась вода, Матрена фыркала, по коридору взад и вперед быстро бегали служители, Орлов по походке старался определить, кто идет.

Вдруг ему представилось, что плечи Матрены так же холодны и покрыты таким же липким потом, как у Чижика, когда тот корчился в судорогах на больничной койке. Он вздрогнул и глухо сказал:

— Умер Сенька-то...

— Умер?! Царство небесное новопреставленному отроку Семену! — молитвенно сказала Матрена и вслед за тем начала свирепо плеваться — мыло попало в рот.

— Жалко мне его,— вздохнул Григорий.

— Озорник больно был.

— Умер и — шабаш! Не твое теперь дело, каков он был... А что умер — это жалко. Бойкий был. Гармонику... Гм! Ловкий мальчонка... Я иной раз смотрел на него и думал: взять его к себе вроде как в ученики... Сирота... привык бы и стал заместо сына нам... Здоровенная ты, а не родишь... Родила один раз, да и кончено. Эх ты! Были бы у нас пискуны этакие, глядишь, не так скучно жилось бы нам... А то вот живи, работай... А для чего? Для пропитания своего и твоего... А куда мы... куда нам пропитание? Чтобы работать... Колесо бессмысленное выходит... А ежели были бы дети — другой разговорец. Н-да...

Он говорил, низко опустив голову, тоном грусти и недовольства. Матрена стояла перед ним и слушала, постепенно бледнея.

— Я здоровый, ты здоровая, а детей нет... Почему? Н-да... Думаешь, думаешь этак-то и... запьешь.

— Врешь! — твердо и громко сказала Матрена.— Врешь ты! Не смей ты мне этих подлых твоих слов говорить... слышишь? Не смей! Пьешь ты — так себе, из баловства, потому что сдержать себя не можешь, а бездетство мое ни при чем тут; врешь!

Григорий был ошеломлен. Он откинулся на спинку стула, взглянул на жену и не узнал ее. Никогда раньше он не видал ее такою разъяренной, никогда не смотрела она на него такими безжалостно злыми глазами и не говорила с такой силой.

— Ну, ну?! — вызывающе произнес Григорий, вцепившись руками в сиденье стула.— Ну-ка, говори еще!

— И скажу! Не сказала бы, но укора твоего такого не могу снести! Не рожу я тебе? И не буду! Не могу уж... Не рожу!.. — рыдание послышалось в ее крике.

— Не ори,— предупредил ее муж.

— Почему не рожу, а? Ну-ка вспомни, сколько ты меня бил? Сколько пинков в бока мне насыпал?.. Сосчитай-ка! Как ты мучил, истязал меня? Знаешь ли ты, сколько крови из меня лилось после мучительства твоего? По шею рубаха-то в крови бывала! Вот почему не рожу, муж милый! Как же ты можешь упреки мне делать за это, а? Как же харе твоей не совестно смотреть-то на меня?.. Ведь убивец ты! Понимаешь ли — убивец! Убивал ты, сам убивал деток-то своих! а теперь меня упрекаешь за то, что не рожу... Всё я от тебя сносила, всё я тебе прощала,— этаких слов вовеки не прощу! Умирать буду — вспомню! Неужто ты не понимаешь, что сам виноват, что извел ты меня? Неужто я не как все женщины — не хочу детей! Многие ночи я, не спамши, господа бога молила сохранить дитя в утробе моей от тебя, убивца... Вижу дитя чужое — горечью захлебываюсь от зависти да жалости к себе... Мне бы... Царица небесная!.. Семку этого... тихонько ласкала... Что я? Господи! Бесплодная...

Она стала задыхаться. Слова прыгали из ее рта без смысла и связи.

Лицо у нее было в пятнах, она дрожала и царапала себе шею,— в горле ее клокотали рыдания. Крепко держась за стул, Григорий, бледный, подавленный, сидел против нее и широко раскрытыми глазами смотрел на эту, чужую ему женщину. И боялся ее — боялся, что она вцепится ему в горло и задушит его. Именно это обещали ему ее страшные, горящие злобой глаза. Она была теперь вдвое сильнее его, он это чувствовал и трусил; не мог встать и ударить ее, как сделал бы, если бы

не понимал, что она переродилась, впитав великую силу откуда-то.

— Душу ты мне задел... Велик твой грех передо мной! Терпела я, молчала... люблю тебя потому что — но не могу я попрека такого снести!.. Сил уж нет... Богоданный ты мой! будь ты за слова твои трижды проклят...

— Молчать! — рявкнул Гришка, оскалив зубы.

— Вы, скандалисты! Забыли, где вы?

У Григория был туман в глазах. Не видя, кто стоит в двери, выругался скверными словами, оттолкнул человека в сторону и убежал в поле. А Матрена, постояв среди комнаты с минуту, шатаясь, точно слепая, протянув руки вперед, подошла к койке и со стоном свалилась на нее.

Темнело, в окна комнаты с неба, из сизых рваных туч, заглядывала любопытно золотистая луна. Но вскоре по стеклам окон и стене барака зашуршал мелкий частый дождь — предвестник бесконечных, наводящих тоску дождей осени.

Маятник часов равномерно отбивал секунды, неустанно били в стекла капли дождя. Один за другим шли часы, и дождь всё шел, а на койке неподвижно лежала женщина, глядя воспаленными глазами в потолок; зубы ее крепко стиснуты, скулы выдались. Дождь всё шуршал о стены и стекла; казалось, он настойчиво шепчет что-то утомительно однообразное, хочет убедить кого-то в чем-то, но не имеет достаточно страсти для того, чтобы сделать это быстро, красиво, и надеется достичь своей цели мучительною, бесконечной, бесцветною проповедью, в которой нет искреннего пафоса веры.

Дождь шел и тогда, когда небо покрылось предрассветной серостью, обещающей ненастный день. Матрена не могла уснуть. В монотонном шуме дождя она слышала тоскливый и пугавший ее вопрос:

«Что теперь будет?»

Ответ вспыхивал пред нею в образе пьяного мужа. Ей было трудно расстаться с мечтой о спокойной, любовной жизни, она сжилась с этой мечтой и гнала прочь угрожающее предчувствие. И в то же время у нее мелькало сознание, что, если запьет Григорий, она уже не сможет жить с ним. Она видела его другим, сама стала

другая, прежняя жизнь возбуждала в ней боязнь и отвращение — чувства новые, ранее неведомые ей. Но она была женщина и — стала обвинять себя за размолвку с мужем.

— И как это всё вышло?.. О, господи!.. Точно я с крючка сорвалась...

Рассвело. В поле клубился тяжелый туман, и неба не видно было сквозь его серую мглу.

— Орлова! Дежурить...

Повинуясь зову, брошенному в дверь ее комнаты, она поднялась с постели, наскоро умылась и пошла в барак, чувствуя себя бессильной, полубольной. В бараке она вызвала общее недоумение вялостью и угрюмым лицом с погасшими глазами.

— Вам нездоровится? — спросила ее докторша.

— Ничего...

— Да вы скажите, не стесняясь! Ведь можно заменить вас...

Матрене стало совестно, ей не хотелось выдавать боли и страха пред этим хорошим, но все-таки чужим ей человеком. И, почерпнув из глубины своей измученной души остаток бодрости, она, усмехаясь, сказала докторше:

— Ничего! С мужем немножко повздорила... Пройдет это... не в первинку...

— Бедная вы! — вздохнула докторша, знавшая ее жизнь.

Матрене хотелось ткнуться головой в ее колени и зареветь... Но она только плотно сжала губы да провела рукой по горлу, отталкивая готовое вырваться рыдание назад в грудь.

Сменившись с дежурства, она вошла в свою комнату и посмотрела в окно. По полю к бараку двигалась фура — должно быть, везли больного. Мелкий дождь сыпался... Больше ничего не было. Матрена отвернулась от окна и, тяжело вздохнув, села за стол, занятая вопросом:

«Что теперь будет?»

Долго сидела она в тяжелой полудремоте, каждый раз шум шагов в коридоре заставлял ее вздрагивать и, привстав со стула, смотреть на дверь...

Но когда, наконец, эта дверь отворилась и вошел Григорий, она не вздрогнула и не встала, ибо почувствовала себя так, точно осенние тучи с неба вдруг опустились на нее всей своей тяжестью.

А Григорий остановился у порога, бросил на пол мокрый картуз и, громко топая ногами, пошел к жене. С него текла вода. Лицо у него было красное, глаза тусклые и губы растягивались в широкую, глупую улыбку. Он шел, и Матрена слышала, как в сапогах его хлюпала вода. Он был жалок, таким она не ждала его.

— Хорош! — сказала она.

Григорий глупо мотнул головой и спросил:

— Хочешь, в ноги поклонюсь?

Она молчала.

— Не хочешь? Твое дело... А я всё думал: виноват я пред тобой или нет? Выходит — виноват. Вот я и говорю: хочешь, в н-ноги поклонюсь?

Она молчала, вдыхая запах водки, исходивший от него, душу ее разъедало горькое чувство.

— Ты вот что — ты не кобенься! Пользуйся, пока я смирный,— повышая голос, говорил Григорий.— Ну, прощаешь?

— Пьяный ты, — сказала Матрена, вздыхая.— Иди-ка спать...

— Врешь, я не пьяный, а — устал я. Я всё ходил и думал... Я, брат, много думал... О! ты смотри!..

Он погрозил ей пальцем, криво усмехаясь.

— Что молчишь?

— Не могу я с тобой говорить.

— Не можешь? Почему?

Он вдруг весь вспыхнул, и голос у него стал тверже.

— Ты вчера накричала на меня тут, налаяла... ну, а я вот у тебя прощения прошу. Понимай!

Он сказал это зловеще, у него вздрагивали губы и ноздри раздувались. Матрена знала, что это значит, и пред ней в ярких образах воскресало прежнее: подвал, субботние сражения, тоска и духота их жизни.

— Понимаю я! — резко сказала она.— Вижу,— опять ты озвереешь теперь... эх ты!

— Озверею? Это к делу не идет... Я говорю: простишь? Ты что думаешь? Нужно мне оно, твое

прощенье? Обойдусь и без него, а хочу вот, чтоб ты меня простила... Поняла?

— Уйди, Григорий! — тоскливо воскликнула женщина, отвертываясь от него.

— Уйти? — зло засмеялся Гришка.— Уйти, а ты чтобы осталась на воле? Ну, не-ет! А ты это видела?

Он схватил ее за плечо, рванул к себе и поднес к ее лицу нож — короткий, толстый и острый кусок ржавого железа.

— Эх, кабы ты меня зарезал,— глубоко вздохнув, сказала Матрена и, освободясь из-под его руки, вновь отвернулась от него. Тогда и он отшатнулся, пораженный не ее словами, а тоном их. Он слыхал из ее уст эти слова, не раз слыхал, но так — она никогда не говорила их. Минуту назад ему было бы легко ударить ее, но теперь он не мог и не хотел этого. Почти испуганный ее равнодушием, он бросил нож на стол и с тупой злобой спросил:

— Дьявол! Чего тебе нужно?

— Ничего мне не надо! — задыхаясь, крикнула Матрена.— Ты что? Убить пришел? Ну и убей.

Орлов смотрел на нее и молчал, не зная, что ему делать. Он пришел с определенным намерением победить жену. Вчера, во время столкновения, она была сильнее его, он это чувствовал, и это унижало его в своих глазах. Непременно нужно было, чтобы она опять подчинилась ему, он твердо знал — нужно! Натура страстная, он много пережил и передумал за эти сутки и — темный человек — не умел разобраться в хаосе чувств, которые возбудила в нем жена брошенным ему правдивым обвинением. Он понимал, что это восстание против него, и принес с собой нож, чтоб испугать Матрену; он убил бы ее, если б она не так пассивно сопротивлялась его желанию подчинить ее. Но вот она была пред ним, беззащитная, убитая тоской и — все-таки сильнее его. Ему было обидно видеть это, и обида действовала на него отрезвляюще.

— Слушай! — сказал он, — ты не фордыбачь! Ты знаешь, я ведь и в самом деле — ахну вот тебя в бок — и шабаш! И всей истории будет точка!.. Очень просто...

Почувствовав, что он говорит не то, что нужно,

Орлов замолчал. Матрена не двигалась, отвернувшись от него. В ней бился этот неотвязный вопрос:

«Что теперь будет?»

— Мотря! — тихо заговорил Григорий, опираясь на стол рукой и наклонясь к жене.— Али я виноват, что... всё не в порядке?..

Он покрутил головой, вздохнув.

— Так тошно! Ведь разве это жизнь? Ну, скажем, холерные — что они? Разве они мне поддержка? Одни помрут, другие выздоровеют... а я опять должóн буду жить. Как? Не жизнь — судорога... разве не обидно это? Ведь я всё понимаю, только мне трудно сказать, что я не могу так жить... Их вон лечат и всякое им внимание... а я здоровый, но ежели у меня душа болит,— разве я их дешевле? Ты подумай — ведь я хуже холерного... у меня в сердце судороги! А ты на меня кричишь!.. Ты думаешь, я — зверь? Пьяница — и всё тут? Эх ты... баба ты!

Он говорил тихо и вразумительно, но она плохо слышала его речь, занятая строгим смотром прошлого.

— Ты вот молчишь,— говорил Гришка, прислушиваясь, как в нем растет что-то новое и сильное.— А что ты молчишь? Чего ты хочешь?

— Ничего я от тебя не хочу! — воскликнула Матрена.— Что мучишь? Чего тебе надо?

— Чего! А того... чтобы, стало быть...

Но тут Орлов почувствовал, что не может сказать ей, чего именно ему нужно,— так сказать, чтоб всё сразу было ясно и ему и ей. Он понял, что между ними образовалось что-то, чего уже не свяжешь никакими словами...

Тогда в нем вдруг вспыхнула дикая злоба. Он с размаха ударил жену кулаком по затылку и зверем зарычал.

— Ты что, ведьма, а? Ты что играешь? Убью!

Она от удара ткнулась лицом в стол, но тотчас же вскочила на ноги и, глядя в лицо мужа взглядом ненависти, твердо, громко сказала:

— Бей!

— Цыц!

— Бей! Ну?

— Ах ты, дьявол!

— Нет уж, Григорий, будет! Не хочу я больше этого...

— Цыц!

— Не дам я тебе измываться надо мной...

Он заскрипел зубами и отступил от нее на шаг — быть может, для того, чтоб удобнее ударить ее.

Но в этот момент дверь отворилась, и на пороге явился доктор Ващенко.

— Эт-то что такое? Вы где, а? Вы что это тут разыгрываете?

Лицо у него было строгое, изумленное. Орлов нимало не смутился при виде его и даже поклонился ему, говоря:

— А так это... дезинфекция промежду мужем и женой...

И он судорожно усмехнулся в лицо доктору...

— Ты почему не явился на дежурство? — резко крикнул доктор, раздраженный усмешкой.

Гришка пожал плечами и спокойно объявил:

— Занят был... по своим делам...

— А скандалил тут вчера — кто?

— Мы...

— Вы? Очень хорошо... Вы ведете себя по-домашнему... без спроса шляетесь...

— Не крепостные потому что...

— Молчать! Кабак вы тут устроили... скоты! Я покажу вам, где вы...

Прилив дикой удали, страстного желания всё опрокинуть, вырваться из гнетущей душу путаницы горячей волной охватил Гришку. Ему показалось, что вот сейчас он сделает что-то необыкновенное и сразу разрешит свою темную душу от пут, связавших ее. Он вздрогнул, почувствовал приятный холодок в сердце и, с какой-то кошачьей ужимкой повернувшись к доктору, сказал ему:

— Вы не беспокойте глотку, не орите... Я знаю, где я,— в морильне!

— Что-о? Как ты сказал? — нагнулся к нему пораженный доктор.

Гришка понял, что сказал дикое слово, но не охладел от этого, а еще более распалился.

— Ничего, сойдет! Скушаете... Матрена! Собирайся.

— Нет, голубчик, постой! Ты мне ответь... — с зловещим спокойствием произнес доктор.— Я тебя, мерзавец, за это...

Гришка в упор смотрел на него и заговорил, чувствуя себя так, точно он прыгает куда-то и с каждым прыжком ему дышится всё легче...

— Вы не кричите... не ругайтесь... Вы думаете, ежели холера, то вы и можете надо мной командовать. Напрасная мечта... Что вы лечите, так это даже и не нужно никому... А что я сказал — морилка, это, конечно, я дразнился... Но вы все-таки не очень орите...

— Нет, врешь! — спокойно сказал доктор.— Я тебя проучу... Эй, подите сюда!

В коридоре уже столпились люди... Гришка прищурил глаза и сцепил зубы...

— Я не вру и не боюсь... А коли вам нужно проучить меня, то я для вашего удобства и еще скажу...

— Н-ну? Скажи...

— Я пойду в город и цыкну: «Ребята! А знаете, как холеру лечат?»

— Что-о? — широко раскрыл глаза доктор.

— Так тогда мы тут такую дезинфекцию с лимонацией...

— Что ты говоришь, чёрт тебя возьми! — глухо вскричал доктор. Раздражение уступило в нем место изумлению пред этим парнем, которого он знал как трудолюбивого и неглупого работника и который теперь, неизвестно зачем, бестолково и нелепо лез в петлю...

— Что ты мелешь, дурак?

«Дурак!» — отозвалось эхом во всем существе Гришки. Он понял, что этот приговор справедлив, и еще более обиделся.

— Что я говорю! Я знаю... Мне всё равно...— говорил он, сверкая глазами.— Я так понимаю теперь, что нашему брату всегда всё равно... и совсем напрасно стесняемся мы в наших чувствах... Матрена, собирайся!

— Я не пойду! — твердо заявила Матрена.

Доктор смотрел на них круглыми глазами и тер себе лоб, ничего не понимая.

—Ты... пьяный или сумасшедший человек! понимаешь ты, что делаешь?

Гришка не сдавался, не мог сдаться. И в ответ доктору он говорил иронически:

— А вы как понимаете? Вы-то что делаете? Дезинфекцию, ха, ха! Больных лечите... а здоровые помирают от тесноты жизни... Матрена! Башку разобью! Иди...

— Я с тобой не пойду!

Она была бледна, неестественно спокойна, глаза ее смотрели в лицо мужа твердо и холодно. Гришка, несмотря на весь свой геройский кураж, отвернулся от нее и, опустив голову, замолчал.

— Тьфу! — плюнул доктор.— Сам дьявол не разберет, что это такое... Ты! Пошел вон! Ступай и благодари, что я тебя не приструнил... Тебя бы следовало под суд... болван! Пошел!

Григорий молча взглянул на доктора и опять поник. Ему было бы лучше, если бы его побили или хоть отправили в полицию...

— Последний раз говорю — идешь ты? — сипло спросил Гришка жену.

— Нет, не пойду,— ответила она и немножко согнулась, точно ожидая удара.

Гришка махнул рукой.

— Ну... чёрт вас всех возьми!.. Да и на кой дьявол вы нужны мне?

— Ты, дубина дикая, — урезонивающе начал доктор.

— Не лайтесь! — крикнул Гришка.— Ну, шлюха проклятая,— ухожу я! Чай, не увидимся... а может, увидимся... это уж как я захочу! Но ежели увидимся— нехорошо тебе будет, так и знай!

И Орлов двинулся к двери.

— Прощай,— трагик! — сардонически сказал доктор, когда Гришка поравнялся с ним.

Григорий остановился и, подняв на доктора тоскливо сверкавшие глаза, сдержанно и негромко заявил:

— А вы меня не троньте... не заводите пружину сначала... Развернулась она, никого не задела... ну и ладно!

Он поднял с пола картуз, налепил его себе на голову, поежился и ушел, не взглянув на жену.

На нее пытливо смотрел доктор. Она стояла пред ним бледная. Доктор кивнул головой вслед Григорию и спросил:

— Что с ним?

— Не знаю...

— Гм... А куда он теперь?

— Пьянствовать! — твердо ответила Орлова.

Доктор повел бровями и ушел.

Матрена посмотрела в окно. От барака к городу в вечернем сумраке, под дождем и ветром быстро двигалась фигура мужчины. Одна — среди мокрого серого поля...

...Лицо Матрены Орловой побледнело еще более, она оборотилась в угол, стала на колени и начала молиться, усердно отбивая земные поклоны, задыхаясь в страстном шёпоте молитвы и растирая грудь и горло дрожащими от возбуждения руками.

Однажды я осматривал ремесленную школу в N. Моим чичероне был знакомый человек, один из основателей ее. Он водил меня по образцово устроенной школе и рассказывал:

— Как видите, мы можем похвалиться... чадо наше растет и развивается на славу. Учительский персонал на удивление подобрался. В сапожной и башмачной мастерской, например, учительница — простая сапожница, баба, даже бабеночка, вкусная такая, шельма, но безупречнейшего поведения. Впрочем, это к чёрту... н-да. Так вот, эта бабочка — простая, говорю, сапожница, но — как она работает!.. как умело преподает свое ремесло, с какою любовью относится к ребятишкам — изумительно! Бесценная работница... Работает за двенадцать рублей и квартиру при школе... и еще двух сирот содержит на свои убогие средства! Это, я вам скажу, преинтересная фигура.

Он так усердно расхваливал сапожницу, что вызвал во мне желание познакомиться с ней.

Это скоро устроилось, и вот однажды Матрена Ивановна Орлова рассказывала мне свою печальную жизнь. Первое время после того, как она разошлась с мужем, он не давал ей покоя: приходил к ней пьяный, устраивал скандалы, подстерегал ее всюду и бил нещадно. Она терпела.

Когда барак закрыли, докторша предложила Матрене Ивановне устроить ее при школе и оградить от мужа. И то и другое удалось, и Орлова зажила спокойною, трудовою жизнью; выучилась под руководством знакомых фельдшериц грамоте, взяла себе на воспитание двух сирот из приюта — девочку и мальчика — и работает, довольная собой, с грустью и со страхом вспоминая свое прошлое. В воспитанниках своих она души не чает, значение своей деятельности понимает широко, относится к ней сознательно и среди заправил школы заслужила общее уважение к себе. Но она кашляет сухим, подозрительным кашлем, на впалых щеках ее горит зловещий румянец, в серых глазах ютится много грусти.

Мне удалось познакомиться и с Орловым. Я нашел его в одной из городских трущоб, и в два-три свидания мы с ним были друзьями. Повторив историю, рассказанную мне его женой, он задумался ненадолго и потом сказал:

— Вот так-то, значит, Максим Савватеич, приподняло меня, да и шлепнуло. Так я никакого геройства и не совершил. А и по сю пору хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: «Ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего!» А потом вниз тормашками с высоты и — вдребезги! Н-да-а! А-ах как скучно и тесно жить!.. Думал я, сбросив с шеи Матрешку: «Н-ну, Гриня, плавай свободно, якорь поднят!» Ан не тут-то было — фарватер мелок! Стоп! И сижу на мели... Но не обсохну, не бойсь! Я себя проявлю! Как? — это одному дьяволу известно... Жена? Ну ее ко всем чертям! Разве таким, как я, жена нужна? На кой ее... когда меня во все четыре стороны

сразу тянет... Я родился с беспокойством в сердце... и судьба моя — быть босяком! Ходил я и ездил в разные стороны... никакого утешения... Пью? Конечно, а как же? Все-таки водка — она гасит сердце... А горит сердце большим огнем... Противно всё — города, деревни, люди, разных калибров... Тьфу! Неужто же лучше этого и выдумать ничего нельзя? Все друг на друга... так бы всех и передушил! Эх ты, жизнь, дьявольская ты премудрость!

Тяжелая дверь кабака, в котором сидел я с Орловым, то и дело отворялась и при этом как-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представление о какой-то пасти, которая медленно, но неизбежно поглощает одного за другим бедных русских людей, беспокойных и иных...

БЫВШИЕ ЛЮДИ

I

Въезжая улица — это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворешницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел — жалкая флора городских окраин, населенных беднотою.

Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора — это остатки или начала тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце.

В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью,— и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости.

В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под

горой, дальше за ним широко развертывается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.

Большой старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.

Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки — точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более увеличивала его плачевный вид — казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную груду полугнилых обломков.

Ворота отворены — одна половинка их, сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный двор дома. В глубине двора — низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом необитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь помещалась «ночлежка», содержимая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.

Внутри ночлежка — длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажен; она освещалась — только с одной стороны — четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок, из барочного днища, тоже прокоптел до черноты; посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола — сыростью, от нар — гниющим тряпьем.

Помещение хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокруг печи были почетным местом, и на них размещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина.

День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора

Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова; там ротмистр обедал и пил водку.

Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам,— «просто — жил! И славно жил, чёрт возьми! Умеючи жил, могу сказать!»

Это был широкоплечий высокий человек лет пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем в горле, и почти всегда в зубах его торчала немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным околышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен,— поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером — навеселе. Допьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял.

Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев.

— Что за человек? — спрашивал он у подходившего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине опустившегося вниз.

Человек отвечал.

— Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил:

— Всё в порядке. За ночь — две копейки, за неделю — гривенник, за месяц — три гривенника. Ступай и займи себе место, да смотри — не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие...

Новички спрашивали его:

— А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?

— Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику — хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц,— объяснял Кувалда деловым тоном,— ко мне идет народ, к роскоши непривычный... а если ты привык каждый день жрать — вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин — значит, что ты ешь? Сам себя ешь!

За такие речи, произносимые деланно строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.

— Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?

— Здорово. Жив. Говори дальше.

— Не узнали?

— Не узнал.

— А помните, я у вас зимой жил с месяц... когда еще облава-то была и трех забрали?

— Н-ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиция бывает!

— Ах ты, господи! Еще вы тогда частному приставу кукиш показали!

— Погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно?

— Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вы мне, значит...

— Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабак с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.

— А вы всё такой же — всё шутите?

— Да что же еще можно делать, живя среди вас, горюнов?

Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался

в ночлежку; на другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.

— Ваше благородие! Вот те и раз! Опять я к вам в команду попал? Как же теперь?

— Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует и скулить,— резонировал ротмистр.— Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать с похмелья — невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызения совести и скрежета зубовного... зубы береги, а то тебя бить не по чему будет. На-ка, вот тебе двугривенный,— иди и принеси косушку водки, на пятачок горячего рубца или легкого, фунт хлеба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел...

Положение дел определялось вполне точно дня через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от трешницы или пятишницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента.

— Приехали! Баста! — говорил ротмистр.— Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано: не согрешив — не покаешься, не покаявшись — не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя — скажи подрядчику, чтоб он твои деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!

Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль, но видел пред собой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая, в случае надобности, может поддержать его.

И действительно, чрез месяц-два какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора

за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра.

— Н-ну, друг мой,— критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда,— штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения — верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но, чёрт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме, сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу и, уплатив мне хотя половину твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь!

— Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? — смущенно осведомлялся клиент.

— Рубль и семь гривен... Теперь дай мне рубль или семь гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь.

— Покорнейше благодарю за ласку! — говорит тронутый клиент.— Экой вы,— добряга! право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила... Какой, чай, вы орел были на своем-то месте?!

Ротмистр жить не может без витиеватых речей.

— Что значит — на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты — ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь — какая штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только случайно — и то ненадолго — мы попадаем на свое место!

Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова

начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и... пропивались оба.

Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру, и, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.

С ним Кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонок и имея намерение снять себе в городе угол,— Аристид Кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было Кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестели в его речах, с развитой превратностями судьбы привычкой мыслить,— можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себя.

Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведал еще несколько профессий, наконец, сдав экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным острым носом и лысым черепом. На костлявом, желтом лице с клинообразной бородкой блестели беспокойно глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были печально опущены книзу. Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей пятнадцать. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил:

— Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.

— Похвально! Сочувствуя от души твоему, Филипп, решению, я не дам тебе ни рюмки! — строго предупреждал его ротмистр.

— Буду благодарен!..

Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил:

— Хоть реви — не дам!

— Ну, и — кончено! — вздыхал учитель и отправлялся на репортаж. А через день, много через два, он, жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждал, когда смягчится сердце друга. Ротмистр произносил пропитанные убийственной иронией речи о позоре слабохарактерности, о скотском наслаждении пьянства и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать ему справедливость — он вполне искренно увлекался своей ролью ментора и моралиста; но настроенные скептически завсегдатаи ночлежки, следя за ротмистром и слушая его карающие речи, говорили друг другу, подмигивая в его сторону:

— Химик! Ловко отбояривается! Дескать, я тебе говорил, ты меня не слушал — пеняй на себя!

— Его благородие настоящий воин — вперед идет, а уже назад дорогу ищет!

Учитель ловил своего друга где-нибудь в темном углу и, вцепившись в его грязную шинель, дрожащий, облизывая сухие губы, невыразимым словами, глубоко трагическим взглядом смотрел в его лицо.

— Не можешь? — угрюмо спрашивал ротмистр.

Учитель утвердительно кивал головой.

— Потерпи еще день,— может быть, справишься?— предлагал Кувалда.

Учитель тряс головой отрицательно. Ротмистр видел, что худое тело друга всё трепещет от жажды яда, и доставал из кармана деньги.

— В большинстве случаев бесполезно спорить с роком,— говорил он при этом, точно желая оправдать себя перед кем-то.

Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней мере половину их он тратил на детей Въезжей улицы.

Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице, в ее пыли и ямах, с утра до́ вечера шумно возились кучи оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.

Дети — живые цветы земли, но на Въезжей улице они имели вид цветов, преждевременно увядших.

Учитель собирал их вокруг себя и, накупив булок, яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там они сначала жадно поедали всё, что предлагал им учитель, а потом играли, наполняя воздух на целую версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная фигура пьяницы как-то съеживалась среди маленьких людей, они относились к нему, как к своему однолетку, и звали его просто Филиппом, не добавляя к имени дядя или дядюшка. Вертясь около него, как вьюны, они толкали его, вскакивали к нему на спину, хлопали его по лысине, хватали за нос. Всё это, должно быть, нравилось ему, он не протестовал против таких вольностей. Он вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с ними, в роли их игрушки и товарища, по нескольку часов кряду, рассматривая оживленные рожицы тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в харчевню Вавилова и там молча напивался до потери сознания.

Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и грязные.

Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Симцов, бывший лесничий, а ныне торговец спичками, чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей измятыми полями его толстое и красное лицо с белой густой бородой, из которой на свет божий весело смотрел маленький пунцовый нос и блестели слезящиеся циничные глазки. Его прозвали Кубарь — прозвище метко

очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на жужжание.

Вылезал откуда-нибудь из угла Конец — мрачный, молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный смотритель Лука Антонович Мартьянов, человек, существовавший игрой «в ремешок», «в три листика», «в банковку» и прочими искусствами, столь же остроумными и одинаково нелюбимыми полицией. Он грузно опускал свое большое, жестоко битое тело на траву, рядом с учителем, сверкал черными глазами и, простирая руку к бутылке, хриплым басом спрашивал:

— Могу?

Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в драке, лицо, желтое и острое, как у лисицы, кривилось в ехидную улыбку. Тонкие губы открывали два ряда черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке. Его прозвали Объедок. Он промышлял торговлей мочальными щетками собственной фабрикации и вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, с испуганным выражением в больших круглых глазах, молчаливый, робкий, трижды сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, расстриженного за пьянство и развратное поведение. Дьякон был низенький и коренастый человек с богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он удивительно хорошо плясал и еще удивительнее сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей специальностью пилку дров на берегу реки, а в свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому желающему слушать сказки «собственного сочинения», как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и таращили глаза в изумлении перед фантазией

дьякона, рассказывавшего, прищурив глаза, поразительно бесстыдные и грязные приключения. Воображение этого человека было неиссякаемо и могуче — он мог сочинять и говорить целый день и никогда не повторялся. В лице его погиб, быть может, крупный поэт, в крайнем случае недюжинный рассказчик, умевший всё оживлять и даже в камни влагавший душу своими сквернымн, но образными и сильными словами.

Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали — днем он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.

— Мальчишка! Ты что такое на сей земле?

Мальчишка храбро и кратко ответил:

— Я — босяк...

Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.

— Ты — дурак! — решил Аристид Кувалда.— Что ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать умеешь? Тоже нет. Иди, научись и приходи тогда, когда уже человеком будешь...

Парень засмеялся.

— Нет, уж я поживу с вами.

— Для чего?

— А так...

— Ах ты — метеор! — сказал ротмистр.

— Вот я ему сейчас зубы вышибу,— предложил Мартьянов.

— А за что? — осведомился парень.

— Так...

— А я возьму камень и по голове вас тресну,— почтительно объявил парень.

Мартьянов избил бы его, если б не вступился Кувалда.

— Оставь его... Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну, и чёрт с ним... Мы все живем без достаточного к тому основания...

— Но лучше б вам, молодой человек, удалиться от нас,— посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и всё замечал.

Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их «бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие люди», и хотя не менее их испытали превратностей судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они — «бывшие мужики». Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни.

Видным представителем бывших мужиков являлся старик-тряпичник Тяпá. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. В фас лица его не было видно, в профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра, про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря: «шаркнули просто так, озорство» и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости — голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел качающейся, неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной — он казался человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем:

— Смотрите, вот ищет себе пристанища совесть купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бега. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!

Говорил Тяпá хрипящим голосом, трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпá при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал несчастного едкими насмешками, со злым хрипом выходившими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки.

Тогда Тяпá, успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал Библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель читал газету. Тяпá молча слушал всё, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Тяпá протягивал свою костлявую руку и говорил:

— Дай-ка...

— На что тебе?

— Дай,— может, про нас есть что...

— Про кого это?

— Про деревню.

Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побило хлеб, в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила мужа,— всё, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпá читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие.

В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая Библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать.

— Эй ты, чернокнижник,— говорил ему Кувалда,— что ты понимаешь? Брось!

— А что ты понимаешь?

— И я ничего не понимаю, но я ведь не читаю книг...

— А я читаю...

— Ну и — глуп! — решал ротмистр.— Когда в голове заведутся насекомые — это беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли — как же ты будешь жить, старая жаба?

— Мне недолго уж,— говорил спокойно Тяпá.

Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Тяпá кратко ответил ему:

— В тюрьме...

— Ты был там?

— Был...

— За что?

— Так... Ошибся... Вот и Библию оттуда вынес. Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...

— Н-ну? Чем это?

— Вразумляет... Грамоте вот научился... книгу достал... Всё — даром...

Когда в ночлежку явился учитель, Тяпá уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю,— чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпá сгибал весь свой корпус набок,— долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.

— Вот — ты ученый был... Библию-то читал?

— Читал...

— То-то... Помнишь ее?

— Ну — помню...

Старик согнул корпус набок и посмотрел на учителя серым, сурово-недоверчивым глазом.

— Помнишь, были там амаликитяне?

— Ну?

— Где они теперь?

— Исчезли, Тяпá,— вымерли...

Старик помолчал и снова спросил:

— А филистимляне?

— И эти тоже...

— Все вымерли?

— Все...

— Так... А мы тоже вымрем?

— Придет время — и мы вымрем,— равнодушно обещал учитель.

— А от которого мы из колен Израилевых?

Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказывать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.

— Врешь ты всё! — захрипел он, когда учитель кончил.

— Почему вру? — изумился тот.

— Какие ты народы назвал? Нет их в Библии.

Встал и пошел прочь, злобно ворча.

— Из ума ты выживаешь, Тяпá,— убежденно сказал вслед ему учитель.

Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым грязным пальцем.

— От господа — Адам, от Адама — евреи, значит, все люди от евреев... И мы тоже...

— Ну?

— Татары от Измаила... а он от еврея...

— Да тебе-то чего надо?

— Зачем врешь?

И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.

— Был ты ученый... должен знать — кто мы?

— Славяне, Тяпá,— ответил учитель.

— Говори по Библии — там таких нет. Кто мы — вавилоняне, что ли? Или — эдом?

Учитель пустился в критику Библии. Старик долго, внимательно слушал его и перебил:

— Погоди, — брось! Значит, в народах, богу известных,— русских нет? Неизвестные мы богу люди? Так ли? Которые в Библии записаны — господь тех знал... Сокрушал их огнем и мечом, разрушал города и села их, а пророков посылал им для поучения,— жалел, значит. Евреев и татар рассеял, но сохранил... А мы как же? Почему у нас пророков нет?

— Н-не знаю! — протянул учитель, стараясь понять старика. А он положил руку на плечо учителя, стал тихонько толкать его взад и вперед и захрипел, будто глотая что-то...

— Так и скажи!.. А то говоришь ты много,— будто всё знаешь. Слушать мне тебя тошно... душу ты

мутишь... Молчал бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у нас нет пророков? А где мы были, когда Христос по земле ходил? Видишь? Эх ты! И врешь — разве целый народ может умереть? Народ русский не может исчезнуть — врешь ты... он в Библии записан, только неизвестно под каким словом... Ты народ-то знаешь,— какой он? Он — огромный... Сколько деревень на земле? Всё народ там живет,— настоящий, большой народ. А ты говоришь — вымрет... Народ не может умереть, человек может... а народ нужен богу, он строитель земли. Амаликитяне не умерли — они немцы или французы... А ты... эх ты!.. Ну, скажи вот, почему мы богом обойдены? Нету нам ни казней, ни пророков от господа? Кто нас научит?..

Речь Тяпы́ была сильна; насмешка, укоризна и глубокая вера звучали в ней. Он долго говорил, и учителю, который по обыкновению был выпивши и в минорном настроении, стало, наконец, так скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. Он слушал старика, смотрел на его исковерканное тело, чувствовал странную, давившую силу слов, и вдруг ему стало до боли жалко себя. Ему тоже захотелось сказать старику что-нибудь сильное, уверенное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу́ в его пользу, заставило бы говорить не этим укоризненно-суровым тоном, а — мягким, отечески ласковым. И учитель ощущал, как в груди у него что-то клокочет, подступает ему к горлу.

— Какой ты человек?.. Душа у тебя изорванная... а говоришь! Будто что знаешь... Молчал бы...

— Эх, Тяпа́,— тоскливо воскликнул учитель,— это — верно! И народ — верно!.. Он огромный. Но — я ему чужой... и — он мне чужой... Вот в чем трагедия. Но — пускай! Буду страдать... И пророков нет... нет!.. Я действительно говорю много... и это не нужно никому... но — я буду молчать... Только ты не говори со мной так... Эх, старик! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять...

Учитель заплакал наконец. Он заплакал легко и свободно, обильными слезами, ему стало приятно от этих слез.

— Шел бы ты в деревню,— просился бы там в учителя или в писаря... был бы сыт и проветрился бы. А то чего маешься? — сурово хрипел Тяпá.

А учитель всё плакал, наслаждаясь слезами.

С этих пор они стали друзьями, и бывшие люди, видя их вместе, говорили:

— Учитель охаживает Тяпу́, к деньгам его держит курс.

— Это его Кувалда подучил разведать, где стариковы капиталы...

Могло быть, говоря так, думали иначе. У этих людей была одна смешная черта: они любили показать себя друг другу хуже, чем были на самом деле.

Человек, не чувствуя в себе ничего хорошего, иногда не прочь порисоваться и своим дурным.

Когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его газетой — начинается чтение.

— Ну-с,— говорит ротмистр,— о чем сегодня рассуждает газетина? Фельетон есть?

— Нет,— сообщает учитель.

— Жадничает издатель... а передовица имеется?

— Есть... Гуляева.

— Ага! Валяй ее; он, шельма, толково пишет, гвоздь ему в глаз.

— «Оценка недвижимых имуществ,— читает учитель,— произведенная более пятнадцати лет тому назад, и поныне продолжает служить основанием ко взиманию оценочного, в пользу города, сбора...»

— Это наивно,— комментирует ротмистр Кувалда,— продолжает служить! Это смешно! Купцу, ворочающему делами города, выгодно, чтоб она продолжала служить, ну, она и продолжает...

— Статья и написана на эту тему,— говорит учитель.

— Странно! Это фельетонная тема... об этом нужно писать с перцем...

Возгорается маленький спор. Публика слушает его внимательно, ибо водки выпито пока только одна бутылка. После передовой читают местную хронику, потом судебную. Если в этих криминальных отделах

действующим и страдающим лицом является купец — Аристид Кувалда искренно ликует. Обворовали купца — прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбили — приятно слышать, но прискорбно, что он остался жив. Иск в суде проиграл купец — великолепно, но печально, что судебные издержки не возложили на него в удвоенном количестве.

— Это было бы незаконно,— замечает учитель.

— Незаконно? Но законен ли сам купец? — спрашивает Кувалда.— Что есть купец? Рассмотрим это грубое и нелепое явление. Прежде всего каждый купец — мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того, чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец — мошенник-мужик!

— Ловко! — одобряет публика вывод оратора.

А Тяпá мычит, потирая себе грудь. Так же точно он мычит, когда с похмелья выпивает первую рюмку водки. Ротмистр сияет. Читают корреспонденции. Тут для ротмистра — «разливанное море», по его словам. Он всюду видит, как купец скверно делает жизнь и как он портит сделанное до него. Его речи громят и уничтожают купца. Его слушают с удовольствием, потому что он — зло ругается.

— Если б я писал в газетах! — восклицает он.— О, я бы показал купца в его настоящем виде... я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает.

Объедок, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляет:

— Да, с той поры, как дворяне начали помирать с голода,— исчезают люди из жизни...

— Ты прав, сын паука и жабы; да, с той поры, как дворяне пали,— людей нет! Есть только купцы... и я их не-на-вижу!

— Оно и понятно, потому что и ты, брат, попран во прах ими же...

— Я? Я погиб от любви к жизни,— дурак! Я жизнь любил — а купец ее обирает. Я не выношу его именно за это — а не потому, что я дворянин. Я, если хочешь знать, не дворянин, а бывший человек. Мне теперь наплевать на всё и на всех... и вся жизнь для меня — любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее.

— Врешь! — говорит Объедок.

— Я вру? — орет Аристид Кувалда, красный от гнева.

— Зачем кричать? — раздается холодный и мрачный бас Мартьянова.— Зачем рассуждать? Купец, дворянин — нам какое дело?

— Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку...— вставляет дьякон Тарас.

— Отстаньте, Объедок,— примирительно говорит учитель.— Зачем солить селедку?

Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда вокруг разгораются страсти, его губы складываются в болезненную гримасу, он рассудительно и спокойно старается помирить всех со всеми, а если это не удается ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в лице учителя лучшего слушателя своих речей.

— Я повторяю,— более спокойно продолжает он,— я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только дворянина, но врагов всего благородного, алчных, неспособных украсить жизнь чем-либо...

— Однако, брат,— говорит учитель,— купцы создали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы...

— Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду Иуду Петунникова и иже с ним...

— А до этих тебе какое дело? — тихо спрашивает учитель.

— А — разве я не живу? Ага! Живу — значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.

— И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке,— задирает Объедок.

— Хорошо! Это глупо, я согласен... Как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли,

когда-то мои. Это, пожалуй, верно... Но чем же я и все вы — чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно,— поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое, новое... ибо и мы в жизни новость...

— Несомненно нам нужно это,— говорит учитель.

— Зачем? — спрашивает Конец.— Не всё ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят... моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такою жизнью.

— И какая мы новость?— усмехается Объедок,— гольтепа всегда была.

— И она создала Рим,— говорит учитель.

— Да, конечно,— ликует ротмистр,— Ромул и Рем — разве они не золоторотцы? И мы — придет наш час — создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия,— перебивает Объедок. Он хохочет, довольный собой. Смех у него скверный, разъедающий душу. Ему вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по головам:

— Всё это глупости,— мечты,— ерунда!

Странно было видеть так рассуждающими этих людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью.

Для ротмистра такие беседы были положительно праздником сердца. Он говорил больше всех, и это давало ему возможность считать себя лучше всех. А как бы низко ни пал человек — он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее,— хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид Кувалда злоупотреблял этим наслаждением, но не пресыщался им, к неудовольствию Объедка, Кубаря и других бывших людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об

укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Объедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинах, но в защиту их всегда выступал учитель, сердившийся, если очень уж пересаливали. Ему уступали, ибо все смотрели на него как на человека недюжинного и — у него, по субботам, занимали деньги, заработанные им за неделю.

Он вообще пользовался многими привилегиями: его, например, не били в тех нередких случаях, когда беседа заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто не пользовался этим правом, ибо ротмистр всех предупреждал:

— Баб ко мне не водить... Бабы, купцы и философия — три причины моих неудач. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой!.. Бабу тоже изобью... За философию — оторву голову...

Он мог оторвать голову — несмотря на свои года, он обладал удивительной силой. Затем, каждый раз, когда он дрался, ему помогал Мартьянов. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятник, во время общего боя он всегда становился спиной к спине Кувалды, и тогда они изображали собой всё сокрушавшую и несокрушимую машину.

Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что вцепился в волосы учителя и выдрал клок их. Кувалда ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок, а когда он очнулся, заставил его съесть волосы учителя. Тот съел, боясь быть избитым до смерти.

Кроме чтения газеты, разговоров и драк, развлечением служила еще игра в карты. Играли без Мартьянова, ибо он не мог играть честно, о чем, после нескольких уличений в мошенничестве, сам же откровенно и заявил:

— Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.

— Бывает,— подтвердил дьякон Тарас.— Я привык дьяконицу свою по воскресеньям после обедни

бить; так, знаете, когда умерла она — такая тоска на меня по воскресеньям нападала, что даже невероятно. Одно воскресенье прожил — вижу, плохо! Другое — стерпел. Третье — кухарку ударил раз... Обиделась она... Подам, говорит, мировому. Представьте себе мое положение! На четвертое воскресенье — вздул ее, как жену! Потом заплатил ей десять целковых и уж бил по заведенному порядку, пока опять не женился...

— Дьякон,— врешь! Как ты мог в другой раз жениться? — оборвал его Объедок.

— А? А я так — она у меня за хозяйством смотрела.

— У вас были дети? — спросил его учитель.

— Пять штук... Один утонул. Старший,— забавный был мальчишка! Двое умерли от дифтерита... Одна дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с ним в Сибирь, а другая захотела учиться и умерла в Питере... от чахотки, говорят... Д-да... пять было... как же! Мы, духовенство, плодовитые...

Он стал объяснять, почему это именно так, возбуждая гомерический хохот своим рассказом. Когда хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил, что у него тоже была дочь.

— Лидкой звали... Толстая такая...

И больше он, должно быть, не помнил ничего, потому что посмотрел на всех, улыбнулся виновато и — умолк.

О своем прошлом эти люди мало говорили друг с другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в общих чертах и в более или менее насмешливом тоне. Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошлом ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды на будущее.

А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали, немножко боялись, как воров и драчунов, немножко презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова был клубом Въезжей улицы, а бывшие люди — интеллигенцией клуба.

По субботам — вечерами, в воскресенье — с утра до ночи — трактир был полон, и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды, и так же сброшенных из города, как и они. Уменье обо всем говорить и всё осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая удаль этих людей — не могли не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь безнаказанно смошенничать. За всё это им платили водкой и лестным удивлением пред их талантами.

По своим симпатиям улица делилась на две, почти равные, партии. Одна полагала, что «ротмистр — куда забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум у него большущие!» Другая была убеждена, что учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства, которые были известны в улице как записные пьяницы, воры и сорвиголовы, для которых путь от сумы до тюрьмы был неизбежен. Учителя уважали люди более степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие, вечно чем-то занятые и редко сытые.

Характер отношений Кувалды и учителя к улице точно определился следующим примером. Однажды в трактире обсуждалось постановление городской думы, коим обыватели Въезжей улицы обязывались: рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.

— Откуда же я должен взять этот самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворешницу хотел строить, да и то вот еще не собрался? — жалобно заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.

Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлекая к себе внимание.

— Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Таким образом, вы дважды послужите украшению города — и Въезжую сделаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трех дочек — девицы для упряжки вполне годные. А то разрушьте дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мокей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла — на ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный огородник Павлюгин спросил:

— А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..

— Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает улицу — ну и пускай!

— Некоторые дома попадать хотят...

— Не мешайте им, пускай падают! Упадут — дери с города вспомоществование; не даст — валяй к нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов...

— Вода — от дождя, скажут...

— Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убежденная радикалом Кувалдой, решила ждать, когда ее домишки смоет дождевой водой из города.

Более степенные люди нашли в учителе человека, который составил им убедительную реляцию думе.

В этой реляции отказ улицы выполнить постановление думы был мотивирован настолько солидно, что дума вняла. Улице разрешили воспользоваться мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для возки пять лошадей пожарного обоза. Даже более — признали необходимым проложить, со временем, по улице сточную трубу. Это и многое другое создало учителю

широкую популярность в улице. Он писал прошения, печатал заметки в газетах. Так, например, однажды гости Вавилова заметили, что селедки и другие снеди в трактире Вавилова совершенно не соответствуют своему назначению. И вот дня через два Вавилов, стоя за буфетом с газетой в руках, публично каялся.

— Справедливо — одно могу сказать! Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие селедки. И капуста — верно!.. задумалась она немножко. Известно, ведь каждый человек хочет как можно больше в свой карман пятаков нагнать. Ну, и что же? Вышло совсем наоборот: я — посягнул, а умный человек предал меня позору за жадность мою... Квит!

Это покаяние произвело на публику очень хорошее впечатление и дало возможность Вавилову скормить ей и селедку и капусту,— всё это публика, под приправой своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма значительный, ибо он не только увеличивал престиж учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного слова. Случалось, что учитель читал в трактире лекции практической морали.

— Видел я,— говорил он, обращаясь к маляру Яшке Тюрину,— видел я, как ты бил свою жену...

Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами водки и находится в ухарски развязном настроении. Публика смотрит на него, ожидая, что вот сейчас он «выкинет коленце», и в харчевне воцаряется тишина.

— Видел? Понравилось? — спрашивает Яшка.

Публика сдержанно смеется.

— Нет, не понравилось,— отвечает учитель. Тон его так внушительно серьезен, что публика молчит.

— Кажись бы, я старался,— бравирует Яшка, предчувствующий, что учитель его «срежет».— Жена довольна,— не встает сегодня...

Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-то фигуры и, разглядывая их, говорит:

— Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это... Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна; ты бил ее вчера по животу и по бокам — значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при ро-

дах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно, и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни требуют лекарств, а лекарства — денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе, а для тебя важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным — и то скверно: свяжет мать и потребует лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей... Верно я говорю?

— Верно,— подтверждает публика.

— Ну, это, чай, тово,— не случится! — говорит Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной учителем.— Она здоровая... сквозь ее до ребенка не дойдешь, поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! — восклицает он с огорчением.— Чуть я что,— и пойдет меня есть, как ржа железо!

— Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить жену,— снова раздается спокойный и вдумчивый голос учителя,— у тебя на это много причин... Не характер твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно бьешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

— Вот это верно,— восклицает Яков,— живем действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.

— Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена... самый близкий к тебе человек — и терпит без вины перед тобой только потому, что ты ее сильнее; она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это... нелепо!

— Оно так... чёрт ее возьми! Да ведь что же мне делать-то? Али я не человек?

— Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать: бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ее здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам — бей по шее или возьми веревку и... по мягким местам...

Оратор кончил свою речь, и его глубоко ввалившиеся темные глаза смотрят на публику и, кажется, в чем-то

извиняются перед ней и о чем-то виновато спрашивают ее.

Она же оживленно шумит. Ей понятна эта мораль бывшего человека — мораль кабака и несчастия.

— Что, брат Яша, понял?

— Вот она какая правда-то бывает!

Яков понял: неосторожно бить жену — вредно для него.

Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шутки товарищей.

— И опять же, что такое жена? — философствует калачник Мокей Анисимов.— Жена — друг, ежели правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу, не сумеешь — цепь почуешь...

— Погоди,— говорит Яков,— ведь и ты свою бьешь?

— А я разве говорю — нет? Бью... Иначе невозможно... Кого же мне — стену, что ли, дуть кулаками, когда невтерпеж приходит?

— Ну вот, и я тоже...— говорит Яков.

— Ну, какая же у нас жизнь тесная и аховая, братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!

— И даже жену бей с оглядкой! — юмористически скорбит кто-то.

Так они беседуют до поздней ночи или до драки, возникающей на почве опьянения и тех настроений, какие навевают на них эти беседы.

За окнами трактира дождь идет, дико воет холодный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда в его вое слышится подавленный, безнадежный стон и потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о необходимости иметь теплую одежду и много есть. На пустой желудок так плохо спится в бесконечные зимние ночи. Идет зима, идет... Как жить?

Невеселые думы вызывали усиленную жажду обы-

вателей Въезжей, у бывших людей увеличивалось количество вздохов в их речах и количество морщин на лицах, голоса становились глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой.

Тогда они били друг друга; били жестоко, зверски; били и снова, помирившись, напивались, пропивая всё, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.

Кувалда в такие времена приходил к ним на помощь с философией.

— Не горюй, братцы! Всё имеет свой конец — это самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и снова будет лето... Славное время, когда, говорят, и у воробья — пиво.

Но его речи не действовали — глоток самой чистой воды не насытит голодного.

Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику, распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг отчаянное, удалое веселие вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных.

Потом снова впадали в тупое, равнодушное отчаяние, сидя за столами в копоти ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая вой ветра и думая о том, как бы напиться, напиться до потери чувств.

И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех.

II

Всё относительно на этом свете, и нет в нем для человека того положения, хуже которого не могло бы ничего быть.

Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем

кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание рядом с трактиром Вавилова, думал.

Здание, еще окруженное лесами, предназначалось под свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми, темными впадинами длинного ряда окон и паутиной дерева, окружавшей его от основания до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый деревянный трактир Вавилова, с кривой крышей, поросшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен завода и казался большим паразитом, присосавшимся к ней.

Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется искать другое помещение, а такого удобного и дешевого не найдешь. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить свечи и мыло. И ротмистр чувствовал, что если б ему представился случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу — о! с каким наслаждением он испортил бы ее!

Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на дворе ночлежки с архитектором и своим сыном. Измеряли двор и всюду натыкали в землю каких-то палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.

Перед глазами ротмистра стоял этот купец — маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном картузе и высоких, ярко начищенных сапогах. Костлявое, скуластое лицо, с седой клинообразной бородкой, с высоким изрезанным морщинами лбом, и из-под него сверкали узкие серые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающие. Острый хрящеватый нос, маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид благочестиво хищный и почтенно злой.

«Проклятая помесь лисицы и свиньи!»— выругался про себя ротмистр и вспомнил первую фразу Петунни-

кова, касавшуюся его. Купец пришел с членом городской управы покупать дом и, увидев ротмистра, спросил у своего провожатого бойким костромским говором:

— Энто тот самый огарок — квартирант-от ваш?

И с той поры вот уже почти полтора года они состязаются друг с другом в своем уменье оскорблять человека.

И вчера между ними произошло легонькое «упражнение в буесловии», как называл ротмистр свои разговоры с купцом. Проводив архитектора, купец подошел к ротмистру.

— Сидишь? — спросил он, дергая рукой за козырек картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он его или же хочет изобразить поклон.

— Мыкаешься? — в тон ему сказал ротмистр и сделал движение нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человек мог принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть свою трубку из одного угла рта в другой.

— Денег у меня много — вот и мыкаюсь. Деньги хотят, чтоб их в жизнь пускали, вот я и даю им ход,— дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.

— Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю,— комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка в живот купцу.

— Али это не всё равно? С ними, с деньгами-то, всяко приятно... А вот ежели без них...

И купец с нахально подделанным состраданием оглядывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает, обнажая крупные волчьи зубы.

— Имея ум и совесть, можно жить и без них... Деньги обыкновенно являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает... Совести меньше — денег больше...

— Это верно... А то есть люди, у которых ни денег, ни совести...

— Ты смолоду-то таким и был? — простодушно спрашивает Кувалда.

Теперь у Петунникова вздрагивает нос. Иван Андреевич вздыхает, щурит глазки и говорит:

— Мне смолоду о-ох большие тяжести поднять пришлось!

— Я думаю...

— Работал я, ох как работал!

— А многих обработал?

— Таких, как ты? Дворян-то? Ничего,— достаточно их от меня христовой молитве выучились...

— Не убивал, только грабил? — режет ротмистр.

Петунников зеленеет и находит нужным изменить тему.

— А хозяин ты плохой — сидишь, а гость стоит...

— Пусть и он сядет,— разрешает Кувалда.

— Да не на что, вишь...

— На землю... земля всякую дрянь принимает...

— Я это по тебе вижу... Однако пойти от тебя, ругателя,— ровно и спокойно сказал Петунников, но глаза его излили на ротмистра холодный яд.

Он ушел, оставив Кувалду в приятном сознании, что купец боится его. Если б он не боялся, так уже давно бы выгнал из ночлежки. Не из-за пяти же рублей в месяц он не гонит его! Потом ротмистр следит, как купец ходит вокруг своего завода, ходит по лесам вверх и вниз. Ему очень хочется, чтоб купец упал и изломал себе кости. Сколько уже он создал остроумных комбинаций падения и всяческих увечий, глядя на Петунникова, лазившего по лесам, как паук по своей сетке. Вчера ему даже показалось, что вот одна доска дрогнула под ногами купца, и ротмистр в волнении вскочил со своего места... Но — ничего не вышло.

И сегодня, как всегда, перед глазами Аристида Кувалды торчит это красное здание, прочное, плотное, крепко вцепившееся в землю, точно уже высасывающее из нее соки. Кажется, что оно холодно и темно смеется над ротмистром зияющими дырами своих стен. Солнце льет на него свои осенние лучи так же щедро, как и на уродливые домики Въезжей улицы.

«А вдруг!— мысленно воскликнул ротмистр, измеряя глазами стену завода.— Ах ты, чёрт возьми! Если бы...». Весь встрепенувшись, возбужденный своей мыслью, Аристид Кувалда вскочил и торопливо пошел в трактир Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про себя.

Вавилов встретил его за буфетом дружеским восклицанием:

— Вашему благородию здравия желаем!

Среднего роста, с лысой головой, в венчике седых кудрявых волос, с бритыми щеками и с прямо торчащими усами, похожими на зубные щетки, прямой и ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением позволял узнать в нем старого унтер-офицера.

— Егор! У тебя вводный лист и план на дом есть?— торопливо спросил Кувалда.

— Имею.

Вавилов подозрительно сузил свои вороватые глаза и пристально уставился ими в лицо ротмистра, в котором он видел что-то особенное.

— Покажи мне! — воскликнул ротмистр, стукая кулаком по стойке и опускаясь на табурет около нее.

— А зачем? — спросил Вавилов, решившийся при виде возбуждения Кувалды держать ухо востро.

— Болван, неси скорей!

Вавилов наморщил лоб и испытующе поднял глаза к потолку.

— Где они у меня, эти самые бумаги?

На потолке не нашлось никаких указаний по этому вопросу; тогда унтер устремил глаза на свой живот и с видом озабоченной задумчивости стал барабанить пальцем по стойке.

— Будет тебе кобениться,— прикрикнул на него ротмистр, не любивший его, находя, что бывшему солдату привычнее быть вором, чем трактирщиком.

— Да я, Ристид Фомич, уж вспомнил. Кажись, они в окружном суде остались. Как я вводился во владение...

— Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы, покажи мне сейчас план, купчую и всё, что есть. Может быть, ты не одну сотню рублей выиграешь от этого — понял?

Вавилов ничего не понял, но ротмистр говорил так внушительно, с таким серьезным видом, что глаза унтера загорелись любопытством, и, сказав, что посмотрит, нет ли этих бумаг у него в укладке, он ушел в дверь за буфетом. Через две минуты он возвратился с бумагами в руках и с выражением крайнего изумления на роже.

— Ан они, проклятые, дома!

— Эх ты... паяц из балагана! А еще солдат был... — не преминул укорить его Кувалда, выхватив из его рук коленкоровую папку с синей актовой бумагой. Затем, развернув перед собой бумаги и всё более возбуждая любопытство Вавилова, ротмистр стал читать, рассматривать и при этом многозначительно мычал. Вот, наконец, он решительно встал и пошел к двери, оставив бумаги на стойке и кинув Вавилову:

— Погоди... не прячь их...

Вавилов собрал бумаги, положил их в ящик выручки, запер его и подергал рукой — хорошо ли заперлось? Потом он, задумчиво потирая лысину, вышел на крыльцо харчевни. Там он увидал, что ротмистр, измерив шагами фасад харчевни, щелкнул пальцами и снова начал измерять ту же линию, озабоченный, но довольный.

Лицо Вавилова как-то напрягалось, потом вытянулось, потом вдруг радостно просияло.

— Ристид Фомич! Неужто? — воскликнул он, когда ротмистр поравнялся с ним.

— Вот те и неужто! Больше аршина отрезано. Это по фасаду, а вглубь сейчас узнаю...

— Вглубь?.. Десять сажен два аршина!

— Что, догадался, бритая харя?

— Как же, Ристид Фомич! Ну и глазок у вас — в землю вы на три аршина видите! — с восхищением воскликнул Вавилов.

Через несколько минут они сидели друг против друга в комнате Вавилова, и ротмистр, большими глотками уничтожая пиво, говорил трактирщику:

— Итак, вся стена завода стоит на твоей земле. Действуй без всякой пощады. Придет учитель, и мы накатаем прошение в окружной. Цену иска, чтобы не тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется нарушением границ чужого владения,— очень приятное событие для тебя! Ломай! А ломать такую махину да подвигать ее — дорого стоит! Мировую! Тут ты и прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить сломка самым точным образом — с битым кирпичом, с ямой под

новый фундамент,— всё высчитаем! Даже время примем в счет! И — позвольте, Иуда, две ты-ся-чи рублей!

— Не даст! — тревожно моргая глазами, сверкавшими жадным огнем, вытянул Вавилов.

— Врет! Даст! Ты пошевели мозгами — что ему делать? Ломать? Но — смотри, Егорка, не продешеви! Покупать тебя будут — не продавайся дешево! Пугать будут — не бойся! Положись на нас...

Глаза у ротмистра горели свирепой радостью, и лицо, красное от возбуждения, судорожно подергивалось. Он разжег алчность трактирщика и, убедив его действовать возможно скорее, ушел торжествующий и непреклонно свирепый.

Вечером все бывшие люди узнали об открытии ротмистра и, горячо обсуждая будущие действия Петунникова, изображали в ярких красках его изумление и злобу в тот день, когда судебный рассыльный вручит ему копию иска. Ротмистр чувствовал себя героем. Он был счастлив, и все вокруг него были довольны. Большая куча темных, одетых в лохмотья фигур лежала на дворе, шумела и ликовала, оживленная событием. Все знали купца Петунникова. Презрительно щуря глаза, он дарил их таким же вниманием, как и весь другой мусор улицы. От него веяло сытостью, раздражавшей их, и даже сапоги его блестели пренебрежением ко всем. И вот теперь один из них сильно ударит этого купца по карману и самолюбию. Разве это не хорошо?

Зло в глазах этих людей имело много привлекательного. Оно было единственным орудием по руке и по силе им. Каждый из них давно уже воспитал в себе полусознательное, смутное чувство острой неприязни ко всем людям сытым и одетым не в лохмотья, в каждом было это чувство в разных степенях его развития.

Две недели жила ночлежка ожиданием новых событий, и за всё это время Петунников ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нет в городе и что копия прошения еще не вручена ему. Кувалда громил практику гражданского судопроизводства. Едва ли

когда-нибудь и кто-либо ждал этого купца с таким напряженным нетерпением, с которым ожидали его босяки.

Не идет, не идет мой непаглядны-ый...
Эх, знать, не любит он м-меня-а!

— пел дьякон Тарас, поджав щеку и юмористически-скорбно глядя в гору.

И вот однажды под вечер Петунников явился. Он приехал в солидной тележке с сыном в роли кучера — краснощеким малым, в длинном клетчатом пальто и в темных очках. Они привязали лошадь к лесам; сын вынул из кармана рулетку, подал конец ее отцу, и они начали мерить землю, оба молчаливые и озабоченные.

— Ага-а! — торжествуя, возгласил ротмистр.

Все, кто был налицо в ночлежке, высыпали к воротам и смотрели, вслух выражая свои мнения по поводу происходившего.

— Что значит привычка воровать — человек ворует, даже не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько украдет,— соболезновал ротмистр, вызывая у своего штаба смех и ряд подобных замечаний.

— Ой, малый! — воскликнул наконец Петунников, взорванный насмешками.— гляди, как бы я тебя за твои слова к мировому не потянул!

— Без свидетелей ничего не выйдет... Родной сын не может свидетельствовать со стороны отца,— предупредил ротмистр.

— Ну, гляди же! Атаман ты храбрый, да ведь и на тебя найдется управа!

Петунников грозил пальцем... Сын его, спокойный и погруженный в расчеты, не обращал внимания на кучку темных людей, потешавшихся над его отцом. Он даже не взглянул ни разу в их сторону.

— Молоденький паучок имеет хорошую выдержку,— заметил Объедок, подробно проследив все действия и движения Петунникова-младшего.

Обмерив всё, что было нужно, Иван Андреевич нахмурился, молча сел в тележку и уехал, а его сын твердыми шагами пошел к трактиру Вавилова и скрылся в нем.

— Ого! решительный молодой вор — да! Ну-ка, что будет дальше? — спросил Кувалда.

— А дальше Петунников-младший купит Егора Вавилова,— уверенно сказал Объедок и вкусно чмокнул губами, выражая полное удовольствие на своем остром лице.

— А ты этому рад, что ли? — сурово спросил Кувалда.

— А мне приятно видеть, как людские расчеты не оправдываются,— с наслаждением объяснил Объедок, щуря глаза и потирая руки.

Ротмистр сердито плюнул и промолчал. И все они, стоя у ворот полуразрушенного дома, молчали и смотрели на дверь харчевни. Прошел час и более в этом ожидающем молчании. Потом дверь харчевни отворилась, и Петунников вышел такой же спокойный, каким вошел. Он остановился на минуту, кашлянул, приподнял воротник пальто, посмотрел на людей, наблюдавших за ним, и пошел вверх по улице.

Ротмистр проводил его глазами и, обращаясь к Объедку, усмехнулся.

— А ведь, пожалуй, ты прав, сын скорпиона и мокрицы... У тебя есть нюх на всё подлое, да... Уж по харе этого юного жулика видно, что он добился своего... Сколько взял с них Егорка? Он — взял. Он их же поля ягода. Он взял, будь я трижды проклят! Это я устроил ему. Горько мне понимать мою глупость. Да, жизнь вся против нас, братцы мои, мерзавцы! И даже когда плюнешь в рожу ближнего, плевок летит обратно в твои же глаза.

Утешив себя этой сентенцией, почтенный ротмистр посмотрел на свой штаб. Все были разочарованы, ибо все чувствовали, что Вавиловым и Петунниковым заключена сделка. Сознание неуменья причинить зло более оскорбительно для человека, чем сознание невозможности сделать добро, потому что зло делать так легко и просто.

— Итак,— чего же мы тут торчим? Нам нечего больше ждать... кроме могарыча, который я сдерну с Егорки, — сказал ротмистр, хмуро посматривая на харчевню. — Благоденственному и мирному житию

нашему под кровлей Иуды — пришел конец. Попрет нас Иуда вон... О чем и объявляю по вверенному мне департаменту санкюлотов.

Конец мрачно засмеялся.

— Тюремщик, ты чего? — спросил Кувалда.

— Куда ж я пойду?

— Это, душа моя, вопросище... Судьба твоя ответит на него, не беспокойся,— задумчиво сказал ротмистр, идя в ночлежку. Бывшие люди лениво двинулись за ним.

— Мы подождем критического момента,— говорил ротмистр, шагая среди них.— Когда нас вытурят вон, тогда мы и поищем норы для себя. А пока не стоит портить жизнь такими думами... В критические моменты человек становится энергичнее... и если б жизнь, во всей ее совокупности, сделать сплошным критическим моментом, если б каждую секунду человек принужден был дрожать за целость своей башки... ей-богу, жизнь была бы более живой, люди более интересными!

— То есть с большей яростью грызли бы глотки друг другу,— пояснил Объедок, улыбаясь.

— Ну, так что же?— задорно воскликнул ротмистр, не любивший, чтобы его мысли пояснялись.

— А ничего,— это хорошо. Когда хотят скорее куда-нибудь доехать, лошадей бьют кнутом, а машины раздражают огнем.

— Ну да! Пусть всё скачет к чёрту на кулички! Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других...

— Свирепо! — усмехнулся Объедок.

— Так что? Я — бывший человек,— так? Я отвержен — значит, я свободен от всяких пут и уз... Значит, я могу наплевать на всё! Я должен по роду своей жизни отбросить в сторону всё старое... все манеры и приемы отношений к людям, существующим сыто и нарядно и презирающим меня за то, что в сытости и костюме я отстал от них, я должен воспитать в себе что-то новое — понял? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущие господа жизни, вроде Иуды Петунникова, при виде моей представительной фигуры — трепет хладный в печенках ощущали.

— Экий у тебя язык храбрый,— смеялся Объедок.

— Эх ты!..— презрительно оглядел его Кувалда.— Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умеешь ли ты думать? А я — думал... И читал книги, в которых ты не понял бы ни слова.

— Еще бы! Где мне щи лаптем хлебать... Но хотя ты читал и думал, а я не делал ни того, ни другого, однако недалеко же мы друг от друга ушли...

— Пошел к чёрту! — вскричал Кувалда.

Его разговоры с Объедком всегда так кончались. Вообще без учителя его речи,— он сам это знал,— только воздух портили, расплываясь в нем без оценки и внимания к ним; но не говорить — он не мог. И теперь, обругав своего собеседника, он чувствовал себя одиноким среди своих людей. А говорить ему хотелось, и потому он обратился к Симцову:

— Ну, а ты, Алексей Максимович, куда приклонишь свою седую голову?

Старик добродушно улыбнулся, потер рукой свой нос и объявил:

— Не знаю... Увижу! Наше дело маленькое: выпил да еще!

— Почтенная, хотя и простая задача! — похвалил его ротмистр.

Симцов, помолчав, добавил, что он устроится скорее всех их, потому что его женщины очень любят. Это была правда: старик всегда имел двух-трех любовниц-проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически; сильно избить его они почему-то не могли — может быть, жалели. Он был страстный женолюбец и рассказывал, что женщины — причина всех несчастий его жизни. Близость его отношений к женщинам и характер их отношений к нему подтверждались и частыми болезнями его, и костюмом, всегда хорошо починенным и более чистым, чем костюмы товарищей. Теперь, сидя на земле у дверей ночлежки в кругу своих товарищей, он хвастливо начал рассказывать, что его давно уже зовет Редька жить с ней, но он не идет к ней, не хочет уйти из компании.

Его слушали с интересом и не без зависти. Редьку все знали — она жила недалеко под горой и недавно только отсидела несколько месяцев за вторую кражу. Это была «бывшая» кормилица, высокая и дородная деревенская баба, с рябым лицом и очень красивыми, хотя всегда пьяными глазами.

— Ишь ты, старый чёрт! — выругался Объедок, глядя на самодовольно улыбавшегося Симцова.

— А почему они меня любят? Потому что я знаю, чем жива их душа...

— Н-да? — вопросительно воскликнул Кувалда.

— Умею заставить их жалеть меня. А женщина, когда она пожалеет, — хоть зарежет из жалости. Плачь перед ней, проси ее убить тебя, пожалеет и — убьет...

— Это я убью! — решительно заявил Мартьянов, усмехаясь своей мрачной усмешкой.

— Кого? — спросил Объедок, отодвигаясь от него в сторону.

— Всё равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!

— Зачем? — осведомился Кувалда.

— Хочу в Сибирь... Мне надоело это... Подлая жизнь... А там уж будешь знать, как нужно жить...

— Д-да, там укажут подробно,— меланхолически согласился ротмистр.

О Петунникове и грядущем выселении из ночлежки больше не говорили. Все уже были уверены, что выселение близко к ним, и считали излишним утруждать себя рассуждениями на эту тему.

Расположившись кружком на траве, эти люди лениво вели бесконечную беседу о разных разностях, свободно переходя от одной темы к другой и тратя столько внимания к чужим словам, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать беседу, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывших людей имело одно великое достоинство: в нем никто не насиловал себя, стараясь казаться лучше, чем он есть, и не побуждал других к такому насилию над собой.

Осеннее солнце старательно грело лохмотья этих людей, подставивших ему свои спины и нечесаные головы — хаотическое соединение царства растительного

с минеральным и животным. В углах двора рос пышный бурьян — высокие лопухи, усеянные цепкими репьями, и еще какие-то никому не нужные растения услаждали взоры никому не нужных людей...

А в харчевне Вавилова разыгралась следующая сцена.

Петунников-младший вошел в нее не торопясь, осмотрелся, поморщился брезгливо и, медленно сняв с головы серую шляпу, спросил у трактирщика, встретившего его почтительным поклоном и любезной усмешкой:

— Егор Терентьевич Вавилов — это вы и есть?

— Точно так! — ответил унтер, опираясь о прилавок обеими руками, как бы готовый перепрыгнуть через него.

— Имею к вам дело,— заявил Петунников.

— Вполне приятно... Пожалуйте в комнаты!

Они прошли в комнаты и сели — гость на клеенчатый диван перед круглым столом, хозяин на стул против него. В одном углу комнаты горела лампада перед громадным трехстворчатым киотом, на стене, около него, висели иконы. Ризы их были ярко вычищены, блестели, как новые. В комнате, тесно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревянным маслом, табаком, кислой капустой. Петунников осмотрелся и снова скорчил гримасу. Вавилов со вздохом взглянул на иконы, а потом они пристально осмотрели друг друга и оба взаимно произвели хорошее впечатление. Петунникову понравились откровенно вороватые глаза Вавилова. Вавилову — открытое, холодное и решительное лицо Петунникова с широкими крепкими скулами и частыми белыми зубами.

— Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я буду говорить! — начал Петунников.

— Насчет иску... я так полагаю,— почтительно сказал унтер.

— Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а идете к делу, как человек прямой души,— поощрил Петунников собеседника.

— Солдат я...— скромно сказал тот.

— Это видно. Итак, будем вести дело просто и прямо, чтобы скорее кончить его.

— Вот именно.

— Хорошо-с. Ваш иск вполне законен, и вы его, конечно, выиграете — это прежде всего я считаю нужным сообщить вам.

— Покорно благодарю,— сказал унтер, моргнув, чтобы скрыть улыбку глаз.

— Но, скажите, зачем же вам понадобилось начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями, так резко — прямо с суда?

Вавилов пожал плечами и смолчал.

— Было бы проще прийти к нам и устроить всё миром — а? Как вы думаете?

— Это, конечно, приятнее. Да видите ли... тут есть одна закорючка... не своей волей я действовал... а по наущению... После понял, как было бы лучше-то, ну — уж поздно.

— Так. Вас, полагаю, адвокат какой-нибудь научил?

— В этом роде...

— Ну-с, так желаете кончить дело миром?

— С полным удовольствием! — воскликнул солдат.

Петунников помолчал, посмотрел на него и вдруг холодно и сухо спросил:

— А почему вы этого желаете?

Вавилов не ожидал такого вопроса и сразу не мог ответить. По его мнению, это был пустой вопрос, и солдат, с сознанием превосходства, усмехнулся в лицо Петунникова-сына.

— Известно почему... с людьми надо стараться жить в мире.

— Ну,— перебил его Петунников,— это не совсем так. Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему вам хотелось бы помириться с нами... Я расскажу вам это.

Солдат удивился немного. Этот парень, весь одетый в клетчатую материю и довольно смешной в ней, говорил так, как, бывало, говорил ротный командир Ракшин, под сердитую руку выбивавший у рядовых сразу по три зуба.

— Вам нужно помириться с нами потому, что наше соседство вам очень выгодно! А выгодно оно потому, что у нас на заводе будет рабочих не менее полутораста человек, со временем — более. Если сто из них после каждого недельного расчета выпьют у вас по стакану, значит, в месяц вы продадите на четыреста стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, сообразите-ка сами выгодность нашего соседства.

— Это верно-с,— кивнул головой Вавилов,— это я знал.

— И что же? — громко осведомился купец.

— Ничего-с... Давайте помиримся...

— Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот я припас заявление в суд о прекращении вами претензии против отца. Прочитайте и подпишите.

Вавилов круглыми глазами посмотрел на своего собеседника и вздрогнул, предчувствуя что-то крайне скверное.

— Позвольте... подписать? А как же это?

— Просто, вот напишите имя и фамилию и больше ничего,— обязательно указывая пальцем, где подписать, объяснил Петунников.

— Нет — это что-о! Я не про это... Я насчет того, какое же мне вознаграждение за землю вы дадите?

— Да ведь вам эта земля ни к чему! — успокоительно сказал Петунников.

— Однако она моя! — воскликнул солдат.

— Конечно... А сколько вы хотели бы?

— Да хоть бы — по иску... Как там прописано,— робко заявил Вавилов.

— Шестьсот? — Петунников мягко засмеялся.— Ах вы, чудак!

— Я имею право... Я могу хоть две тысячи требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я так и хочу... Потому и цена иска такая малая. Я требую — ломать!

— Валяйте... Мы, может быть, и сломаем... года через три, втянув вас в большие издержки по суду. А заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше

вашей — вы и пропадете, как швед под Полтавой. Пропадете, голубчик, уж мы об этом позаботимся.

Вавилов, крепко сцепив зубы, смотрел на своего гостя и чувствовал, что гость — владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя пред лицом этой спокойной, неумолимой фигуры в клетчатом костюме.

— А в таком близком соседстве с нами находясь и в согласии живя, вы, служивый, хорошо могли бы заработать. Об этом мы тоже бы позаботились. Я, например, даже сейчас порекомендую вам лавочку маленькую открыть. Знаете — табачок, спички, хлеб, огурцы и так далее... Всё это будет иметь хороший сбыт.

Вавилов слушал и, как неглупый малый, понимал, что отдаться на великодушие врага — всего лучше. С этого и надо бы начать. И, не зная, куда девать свою злобу, солдат вслух обругал Кувалду:

— Пьяница, ан-нафема!

— Это вы того адвоката, который сочинял вам прошение? — спокойно спросил Петунников и, вздохнув, добавил: — Действительно, он мог сыграть с вами скверную шутку, если б мы не пожалели вас.

— Эх! — махнул рукой огорченный солдат.— Двое тут... Один нашел, другой писал... Корреспондент проклятый!

— Это почему же — корреспондент?

— Пишет в газеты... Всё — ваши постояльцы... Вот люди! Уберите вы их, гоните, Христа ради! Разбойники! Всех здесь в улице мутят, настраивают. Житья нет от них,— отчаянные люди — того гляди, ограбят или подожгут...

— А этот корреспондент — он кто такой? — заинтересовался Петунников.

— Он? Пьяница! Учителем был — выгнали. Пропился, пишет в газеты, сочиняет прошения. Очень подлый человек!

— Гм! Он вам и писал прошение? Та-ак-с! Очевидно, он же писал и о беспорядках на стройке,— леса там, что ли, нашел неправильно поставленными.

— Он! Я это знаю, он, собака! Сам здесь читал и хвалился — вот я, говорит, Петунникова в убыток ввел.

— Н-да... Ну-с, так как же вы... мириться намерены?

— Мириться?

Солдат опустил голову и задумался.

— Эх ты, жизнь наша темная! — с обидой в голосе воскликнул он, почесав затылок.

— Учиться надо,— порекомендовал ему Петунников, закуривая папиросу.

— Учиться? Не в этом дело-с, сударь вы мой! Свободы нет, вот что! Ведь у меня какая жизнь? В трепете живу... с постоянной оглядкой... вполне лишен свободы желательных мне движений! А почему? Боюсь... Этот кикимора учитель в газетах пишет на меня... санитарный надзор навлекает, штрафы плачу... Постояльцы ваши, того гляди, сожгут, убьют, ограбят... Что я против них могу? Полиции они не боятся... Посадят их — они даже рады — хлеб им даровой.

— А вот мы их устраним,— если сойдемся с вами,— пообещал Петунников.

— Как же мы сойдемся? — с тоской и угрюмо спросил Вавилов.

— Говорите ваши условия.

— Да что же? Шестьсот по иску...

— Сто рублей не возьмете? — спокойно спросил купец, тщательно осмотрел своего собеседника и, мягко улыбнувшись, добавил: — Больше не дам ни рубля...

После этого он снял очки и медленно стал вытирать их стекла выпутым из кармана платком. Вавилов смотрел на него с тоской в сердце и в то же время проникался почтением к нему. В спокойном лице молодого Петунникова, в его серых больших глазах, в широких скулах, во всей его коренастой фигуре было много силы, уверенной в себе и хорошо дисциплинированной умом. Вавилову нравилось и то, как Петунников говорил с ним: просто, с дружескими нотками в голосе, без всякого барства, как со своим братом, хотя Вавилов понимал, что он, солдат, не пара этому человеку. Рассматривая его, почти любуясь им, он не вытерпел и, ощутив в себе прилив горячего любопытства, на минуту заглушившего все остальные его ощущения, почтительно спросил Петунникова:

— Где изволили учиться?

— В технологическом институте. А что? — вскинул тот на него улыбавшиеся глаза.

— Ничего-с, это я так,— извините! — Солдат понурил голову и вдруг с восхищением, завистью и даже вдохновенно воскликнул: — Н-да! Вот оно, образование-то! Одно слово,— наука — свет! А наш брат — как сова перед солнцем в этом свете... Эхма! Ваше благородие! Давайте, кончим дело?

Он решительным жестом протянул руку Петунникову и сдавленно сказал:

— Ну — пятьсот?

— Не больше ста рублей, Егор Терентьевич,— как бы сожалея, что больше дать не может, пожал плечами Петунников, хлопая по волосатой руке солдата своей белой и крупной рукой.

Они скоро кончили, потому что солдат вдруг пошел навстречу желанию Петунникова крупными скачками, а тот был непоколебимо тверд. И когда Вавилов получил сто рублей и подписал бумагу,— он ожесточенно бросил перо на стол и воскликнул:

— Ну, теперь остается мне с золотой ротой ведаться! Засмеют, застыдят они меня, дьяволы!

— А вы скажите им, что я заплатил вам всю сумму иска,— предложил Петунников, спокойно пуская изо рта тонкие струйки дыма и следя за ними.

— Да разве они этому поверят? Это тоже умные мошенники, не хуже...

Вавилов остановился вовремя, смущенный едва не сказанным сравнением, и с боязнью взглянул на купеческого сына. Тот курил, весь был поглощен этим занятием. Скоро он ушел, пообещав на прощанье Вавилову разорить гнездо беспокойных людей. Вавилов смотрел ему вслед и вздыхал, ощущая сильное желание крикнуть что-нибудь злое и обидное в спину этого человека, твердыми шагами поднимавшегося в гору по дороге, изрытой ямами, засоренной мусором.

Вечером в харчевню явился ротмистр. Брови у него были сурово нахмурены и правая рука энергично стиснута в кулак. Вавилов виновато улыбался навстречу ему.

— Н-ну, достойный потомок Каина и Иуды, рассказывай...

— Порешили,— сказал Вавилов, вздохнув и опуская глаза.

— Не сомневаюсь. Сколько сребреников получил?

— Четыреста целковых...

— Наверно, врешь... Но это мне же лучше. Без дальнейших слов, Егорка, десять процентов мне за открытие, четвертную учителю за написание прошения, ведро водки всем нам и приличное количество закуски. Деньги сейчас подай, водку и прочее к восьми часам.

Вавилов позеленел и широко открытыми глазами уставился на Кувалду:

— Это-с дудки! Это грабеж! Я не дам... Что вы, Аристид Фомич! Нет, уж это вы оставьте ваш аппетит до следующего праздника! Ишь вы как! Нет, я теперь имею возможность не бояться вас. Я теперь...

Кувалда взглянул на часы за стойкой.

— Даю тебе, Егорка, десять минут для твоего поганого разговора. Кончай в этот срок блудить языком и давай, что требую. Не дашь — сожру! Конец тебе кое-что продал? Ты в газете о краже у Басова читал? Понимаешь? Спрятать не успеешь ничего — помешаем. И сегодня же ночью... Понял?

— Аристид Фомич! За что? — взвыл отставной унтер.

— Без слов! Понял или нет?

Высокий, седой и внушительно нахмурившийся Кувалда говорил вполголоса, и его хриплый бас зловеще гудел в пустой харчевне. Вавилов всегда немножко боялся его, как бывшего военного и человека, которому нечего терять. Теперь же Кувалда явился перед ним в новом виде: он не говорил много и смешно, как всегда, а в том, что он говорил тоном командира, уверенного в повиновении, звучала нешуточная угроза. И Вавилов чувствовал, что ротмистр погубит его, если захочет, погубит с удовольствием. Нужно было покориться силе. Но с злым трепетом в сердце солдат еще раз попробовал увернуться от кары. Он глубоко вздохнул и смиренно начал:

— Видно, верно сказано: сама себя баба бьет, коли нечисто жнет... Наврал я на себя вам, Аристид Фомич... хотел умнее показаться, чем я есть... Сто рублей я получил только...

— Дальше,— бросил ему Кувалда.

— А не четыреста, как сказал вам. Значит...

— Ничего не значит. Мне неизвестно, когда ты врал, давеча или теперь. Я получаю с тебя шестьдесят пять рублей. Это скромно... Ну?

— Эх, господи боже мой! Я вашему благородию всегда, сколько мог, оказывал внимания.

— Ну? Брось слова, Егорка, правнук Иуды!

— Извольте,— я дам... Только вас бог накажет за это.

— Молчать, ты, гнойный прыщ на земле! — гаркнул ротмистр, свирепо вращая глазами.— Я наказан богом... Он меня поставил в необходимость видеть тебя, говорить с тобой... Пришибу на месте, как муху!

Он потряс кулаком у носа Вавилова и скрипнул зубами, оскалив их.

Когда он ушел, Вавилов начал криво усмехаться и учащенно моргать глазами. Потом по щекам его покатились две крупные слезы. Они были какие-то серые, и когда скрылись в его усах, две другие явились на их место. Тогда Вавилов ушел к себе в комнату, стал там перед образами и так стоял долго, не молясь, не двигаясь и не вытирая слез с своих морщинистых коричневых щек.

Дьякон Тарас, всегда тяготевший к лесам и лугам, предложил бывшим людям идти в поле, в один овраг и там, на лоне природы, распить водку Вавилова. Но ротмистр и все остальные единодушно обругали и дьякона и природу, решив пить у себя на дворе.

— Один, два, три...— считал Аристид Фомич,— итого нас тринадцать; нет учителя... ну, да еще кое-какие архаровцы подойдут. Будем считать двадцать персон. По два с половиной огурца на брата, по фунту хлеба и мяса... недурно! Водки приходится по бутылке... Есть кислая капуста, яблоки и три арбуза. Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои,

мерзавцы. Итак, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо всё это — кровь и плоть его!

На земле разостлали какие-то остатки одежд, на них разложили пития и яства и уселись вокруг, чинно и молча, едва сдерживая жадное желание пить, сверкавшее у всех в глазах.

Наступал вечер, тени его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки, последние лучи солнца освещали крышу полуразвалившегося дома. Было прохладно, тихо.

— Приступим, братия! — скомандовал ротмистр.— Сколько чаш имеем мы? Шесть,— а нас — тринадцать... Алексей Максимович! наливай! Готово? Н-ну, перррвый взвод... пли!

Выпили, крякнули и стали есть.

— А учителя нет... вот уже третьи сутки я не вижу его. Никто не видал? — спросил Кувалда.

— Никто...

— Это не в его характере! Ну, всё равно. Выпьем еще! Выпьем за здоровье Аристида Кувалды, единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставлял меня одного. Хотя, чёрт его побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если б он на некоторое время лишил меня своего общества.

— Это остроумно,— сказал Объедок и закашлялся.

Ротмистр с сознанием своего превосходства посмотрел на товарищей, но не сказал ничего, ибо ел.

Выпив дважды, компания сразу оживилась — порции были внушительные. Полтора Тараса выразил робкое желание послушать сказку, но дьякон вступил в спор с Кубарем о преимуществах худых женщин пред толстыми и не обратил внимания на слова друга, доказывая Кубарю свой взгляд с ожесточением и горячностью человека, глубоко убежденного в правоте своих взглядов. Наивная рожа Метеора, лежавшего на животе около него, выражала умиление, смакуя забористые словечки дьякона. Мартьянов, обняв свои колени громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотрел на бутылку водки и ловил языком ус, стараясь закусить его зубами. Объедок дразнил Тяпу́.

— Я уже подсмотрел, куда ты, колдун, деньги прячешь!

— Твое счастье,— хрипел Тяпá.

— Я, брат, у тебя их поддедюлю!

— Бери...

Кувалде было скучно с этими людьми: среди них не было ни одного собеседника, достойного слушать его красноречие и способного понимать его.

— Где бы это мог быть учитель? — вслух подумал он.

Мартьянов посмотрел на него и сказал:

— Придет...

— Я уверен, что он именно придет, а не в карете приедет. Выпьем, будущий каторжник, за твое будущее. Если ты убьешь денежного человека, поделись со мной... Я, брат, поеду тогда в Америку, в эти... как их? Лампасы... Пампасы! Поеду туда и достукаюсь там до президента штатов. Потом объявлю всей Европе войну и вздую ее. Армию куплю... в Европе же... Приглашу французов, немцев, турок и буду бить ими ихних родственников... как Илья Муромец бил татар татарином. С деньгами можно быть Ильей... уничтожить Европу и нанять к себе в лакеи Иуду Петунникова... Он — пойдет... дать ему сто рублей в месяц — и пойдет! Но лакеем будет скверным, ибо станет воровать...

— И еще тем худая женщина лучше толстой, что она дешевле стоит,— убедительно говорил дьякон.— Первая дьяконица моя покупала на платье двенадцать аршин, а вторая десять... Так же и в пище...

Полтора Тараса виновато засмеялся, повернул голову к дьякону, уставился своим глазом ему в лицо и сконфуженно заявил:

— У меня тоже была жена...

— Это со всяким может случиться,— заметил Кувалда.— Ври дальше...

— Была худая, но ела много... И даже от этого померла...

— Ты отравил ее, кривой,— убежденно сказал Объедок.

— Нет, ей-богу! Она севрюги объелась,— рассказывал Полтора Тараса.

— А я тебе говорю — ты ее отравил! — решительно утверждал Объедок.

С ним часто это бывало: сказав какую-нибудь нелепость, он начинал повторять ее, не приводя никаких оснований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то капризно-детским тоном, постепенно доходил почти до бешенства.

Дьякон вступился за друга.

— Нет, он отравить не мог... не было причины...

— А я говорю — отравил! — взвизгнул Объедок.

— Молчать! — грозно крикнул ротмистр. Скука у него перерождалась в тоскливое озлобление. Он свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя в их рожах, уже полупьяных, ничего, что могло бы дать дальнейшую пищу его озлоблению,— опустил голову на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми зубами, так что рассол из огурца брызгал во все стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось, но этот процесс развлекал его. Мартьянов сидел неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которой уселся на землю, и так же сосредоточенно и мрачно смотрел на полуведерную бутыль водки, уже наполовину пустую. Тяпá смотрел в землю и жевал мясо, не поддававшееся его старым зубам. Объедок лежал на животе и кашлял, съежив всё свое маленькое тело. Остальные— всё молчаливые и темные фигуры — сидели и лежали в разнообразных позах, лохмотья делали их похожими на безобразных животных, созданных силой, грубой и фантастической, для насмешки над человеком.

Жила-была в Суздале
Барыня незнатная,
И с неи случилась судорга
Оч-чень неприятная!

— вполголоса напевал дьякон, обнимая Алексея Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикал.

Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали звезды, на горе в городе — огни фонарей. Заунывные свистки пароходов неслись с реки, с визгом и дребезгом стекол отворялась дверь харчевни Вавилова. На двор вошли две темные фигуры, приблизились к группе людей около бутылки, и одна из них хрипло спросила:

— Пьете?

А другая вполголоса, с завистью и радостью, произнесла:

— Ишь какие черти!

Затем через голову дьякона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное булькание водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко крякнули...

— Ну, и тоска же! — воскликнул дьякон.— Кривой! давай вспомним старину, споем «На реках вавилонских»!

— Он разве умеет? — спросил Симцов.

— Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом был... Ну, Кривой... На-а ре-е-е-ка-а...

Голос у дьякона был дикий, хриплый, прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом.

Объятый тьмою вымороч ный дом, казалось, увеличился в объеме или подвинулся всей массой полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем глухое эхо своим диким воем. Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из бывших людей храпел, остальные, всё еще недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же разговаривали вполголоса с длинными паузами. Всем было непривычно это подавленное настроение на пире, редком по обилию водки и яств. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживление, свойственное обитателям ночлежки за бутылкой.

— Вы, собаки! Погодите выть...— сказал ротмистр певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь.— Кто-то едет... на пролетке...

Пролетка на Въезжей улице, и в эту пору, не могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог рискнуть поехать по рытвинам и ухабам улицы, кто и

зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи ясно разносилось шуршание колес, задевавших за крылья пролетки. Оно всё приближалось. Раздался чей-то голос, грубо спрашивавший:

— Ну, где же?

Кто-то ответил:

— А вон к тому дому, должно быть.

— Дальше не поеду...

— Это к нам! — воскликнул ротмистр.

— Полиция! — прозвучал тревожный шёпот.

— На пролетке-то! Дурак! — глухо сказал Мартьянов.

Кувалда встал и пошел к воротам.

Объедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.

— Это ночлежный дом? — спрашивал кто-то дребезжащим голосом.

— Да,— прогудел недовольный бас ротмистра.

— Здесь жил репортер Титов?

— Это вы его привезли?

— Да...

— Пьяный?

— Болен!

— Значит, сильно пьяный. Эй, учитель! Ну-ка, вставай!

— Подождите! Я помогу вам... он сильно болен. Он двое суток лежал у меня. Берите под мышки... Был доктор. Очень скверно...

Тяпа́ встал и медленно пошел к воротам, а Объедок усмехнулся и выпил.

— Зажгите-ка огонь там! — крикнул ротмистр.

Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу. Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широкая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то маленьким человеком вели по ней учителя в ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле и руки висели в воздухе, как изломанные. При помощи Тяпы́ его свалили на нары, и он, вздрогнув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них.

— Мы с ним в одной газете работали... Очень несчастный. Я говорю: «Пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стесняете...» Но он молит меня: «Отправьте

домой!» Волнуется... я подумал, что ему вредно, и вот привез его... Ведь это именно здесь... да?

— А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом?— грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая своего друга.— Тяпá, ступай принеси холодной воды!

— Так вот...— смущенно помялся человечек.— Я полагаю... я не нужен ему?

— Вы? — Ротмистр критически посмотрел на него.

Человечек был одет в пиджак, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости, смятая, как и его худое, голодное лицо.

— Нет, вы не нужны, здесь таких, как вы, много...— сказал ротмистр, отворачиваясь от человечка.

— Значит, до свидания! — Человечек пошел к двери и оттуда тихо попросил: — Ежели что случится... вы известите в редакцию... Моя фамилия — Рыжов. Я написал бы маленький некролог, ведь все-таки он был, знаете, деятель прессы...

— Гм! некролог, говорите? Двадцать строк — сорок копеек? Я лучше сделаю: когда он умрет, я отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя. Это для вас выгоднее, чем некролог, дня на три хватит... у него ноги толстые... Ели же вы его все там живого...

Человечек как-то странно фыркнул и исчез. Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, грудь и позвал его:

— Филипп!

Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и замер.

— Это, брат, нелепо! — сказал ротмистр, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижного учителя. Потом ротмистр прислушался к его дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо, осунувшееся и землистое, вздохнул и, строго нахмурив брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная: огонь в ней дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их безмолвную игру, разглаживая себе бороду.

Пришел Тяпá с ведром воды, поставил его на нары

рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на своей руке, как бы взвешивая.

— Не надо воды,— махнул рукой ротмистр.

— Попа надо, — уверенно сказал старый тряпичник.

— Ничего не надо,— решил ротмистр.

Они помолчали, глядя на учителя.

— Пойдем выпьем, старый чёрт!

— А он?

— Ты ему поможешь?

Тяпá повернулся к учителю спиной, и они вышли на двор.

— Что там? — спросил Объедок, обращая к ротмистру свою острую морду.

— Ничего особенного. Умирает человек...— кратко сообщил ротмистр.

— Избили его? — поинтересовался Объедок.

Ротмистр не ответил, он пил водку.

— Как будто знал, что у нас есть чем поминки о нем справить,— сказал Объедок, закуривая папиросу.

Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул. Дьякон вдруг как-то напрягся, пошлепал губами, потер лоб и дико взвыл:

— Иде же праведнии у-по-ко-я-ются-а!

— Ты! — зашипел Объедок,— что орешь?

— Дай ему в рожу! — посоветовал ротмистр.

— Дурак! — раздался хрип Тяпы́.— Когда человек кончается, нужно, чтобы тихо было.

Было достаточно тихо: и в небе, покрытом тучами, грозившем дождем, и на земле, одетой мрачной тьмой осенней ночи. Порой раздавался храп уснувших, бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьякон что-то бормотал. Тучи плыли так низко, что казалось — вот они заденут за крышу старого дома и опрокинут его на группу этих людей.

— А... скверно на душе, когда умирает человек близкий...— заикаясь, проговорил ротмистр и склонил голову на грудь.

Никто ему не ответил.

— Среди вас — он был лучший... самый умный и порядочный... Мне жалко его...

— Со-о святы-ими упоко-ой... Пой, кривая шельма!— забурлил дьякон, толкая в бок своего друга, дремавшего рядом с ним.

— Молчать!.. ты! — злым шёпотом воскликнул Объедок, вскакивая на ноги.

— Я его ударю по башке,— предложил Мартьянов, поднимая голову с земли.

— А ты не спишь? — необычайно ласково сказал Аристид Фомич.— Слышал? Учитель-то у нас...

Мартьянов тяжело завозился на земле, встал, посмотрел на полосы света, исходившего из двери и окон ночлежки, качнул головой и молча сел рядом с ротмистром.

— Выпьем? — предложил тот.

Ощупью отыскав стаканы, они выпили.

— Пойду посмотрю...— сказал Тяпá,— может, ему надо чего.

— Гроб надо...— усмехнулся ротмистр.

— Не говорите вы про это,— глухим голосом попросил Объедок.

За Тяпóй встал с земли Метеор. Дьякон тоже хотел встать, но свалился набок и громко выругался.

Когда Тяпá ушел, ротмистр ударил по плечу Мартьянова и вполголоса заговорил:

— Так-то, Мартьянов... Ты лучше других должен чувствовать... Ты был... впрочем, к чёрту это. Жалко тебе Филиппа?

— Нет,— помолчав, ответил бывший тюремщик.— Я, брат, ничего такого не чувствую... разучился... Мерзко так жить. Я серьезно говорю, что убью кого-нибудь...

— Да? — неопределенно произнес ротмистр.— Ну... что же? Выпьем еще!

— Н-наше дел-ло маленькое... выпил — да еще-о!

Это проснулся и блаженным тоном пропел Симцов.

— Братцы!? Кто тут? Налейте старику чарку!

Ему налили и подали. Выпив, он снова свалился, ткнувшись головой в чей-то бок.

Минуты две продолжалось молчание, такое же темное и жуткое, как эта осенняя ночь. Потом кто-то зашептал...

— Что? — раздался вопрос.

— Я говорю, славный он парень был. Голова, тихий такой,— говорили вполголоса.

— Деньги имел... и не жалел их для своего брата...— И опять наступило молчание.

— Кончается! — раздался хрип Тяпы́ над головой ротмистра.

Аристид Фомич встал и, усиленно твердо ступая ногами, пошел в ночлежку.

— Пошто идешь? — остановил его Тяпа́.— Не ходи. Пьяный ведь ты... нехорошо!

Ромистр остановился, подумал:

— А что хорошо на этой земле? Пошел ты к чёрту!

По стенам ночлежки всё прыгали тени, как бы молча борясь друг с другом. На нарах, вытянувшись во весь рост, лежал учитель и хрипел. Глаза у него были широко открыты, обнаженная грудь сильно колыхалась, в углах губ кипела пена, и на лице было такое напряженное выражение, как будто он силился сказать что-то большое, трудное и — не мог и невыразимо страдал от этого.

Ротмистр стал перед ним, заложив руки за спину, и с минуту молча смотрел на него. Потом заговорил, болезненно наморщив лоб:

— Филипп! Скажи мне что-нибудь... слово утешения другу... брось!.. Я, брат, люблю тебя... Все люди — скоты, ты был для меня — человек... хотя ты пьяница! Ах, как ты пил водку, Филипп! Именно это тебя и погубило... А почему? Нужно было уметь владеть собою... и слушать меня. Р-разве я не говорил тебе, бывало...

Таинственная, всё уничтожающая сила, именуемая смертью, как бы оскорбленная присутствием этого пьяного человека при мрачном и торжественном акте ее борьбы с жизнью, решила скорее кончить свое бесстрастное дело,— учитель глубоко вздохнул, тихо простонал, вздрогнул, вытянулся и замер.

Ротмистр качнулся на ногах, продолжая свою речь.

— Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не пей, Филипп... Сдержись, победи себя... А то выпей! Зачем, говоря прямо, сдерживать себя?.. Чего ради, Филипп? Верно? Чего ради?..

Он взял его за ногу и потянул к себе.

— А, ты уснул, Филипп? Ну... спи! Покойной ночи... Завтра я всё это разъясню тебе и ты убедишься, что ничего не надо запрещать себе... А теперь спи... если ты не умер...

Он вышел, сопровождаемый молчанием, и, придя к своим, объявил:

— Уснул... или умер... Не знаю... Я н-немножко пьян...

Тяпá еще более согнулся, осеняя свою грудь крестным знамением. Мартьянов молча поежился и лег на землю. Объедок стал быстро возиться на земле, вполголоса, злым и тоскливым тоном говоря:

— Чёрт вас всех возьми!.. Ну, умер! Ну, что же? Меня-то... мне зачем знать это? Зачем мне об этом рассказывать? Придет время — я сам умру... не хуже его... Не хуже я других.

— Это верно! — громко говорил ротмистр, грузно опускаясь на землю.— Придет время, и все мы умрем не хуже других... ха-ха! Как мы проживем... это пустяки! Но мы умрем — как все. В этом — цель жизни, верьте моему слову. Ибо человек живет, чтоб умереть. И умирает... И если это так — не всё ли равно, как он жил? Мартьянов, я прав? Выпьем же еще... и еще, пока живы...

Накрапывал дождь. Густая, душная тьма покрывала фигуры людей, валявшиеся на земле, скомканные сном или опьянением. Полоса света, исходившая из ночлежки, побледнев, задрожала и вдруг исчезла. Очевидно, лампу задул ветер или в ней догорел керосин. Падая на железную крышу ночлежки, капли дождя стучали робко и нерешительно. С горы из города неслись унылые, редкие удары в колокол — сторожили церковь.

Медный звук, слетая с колокольни, тихо плыл во тьме и медленно замирал в ней, но раньше, чем тьма успевала заглушить его последнюю, трепетно вздыхавшую ноту, рождался другой удар, и снова в тишине ночи разносился меланхолический вздох металла.

Наутро первым проснулся Тяпá.

Повернувшись на спину, он посмотрел на небо —

изуродованная шея его только в этом положении позволяла ему видеть небо над головой.

Небо однообразно серое. Там, вверху, сгустился сырой и холодный сумрак, погасил солнце и, скрыв собою голубую беспредельность, изливал на землю уныние. Тяпá перекрестился и привстал на локте, чтоб посмотреть, не осталось ли где водки. Бутылка была пустая. Перелезая через товарищей, Тяпá стал осматривать чашки. Одну из них он нашел почти полной, выпил, вытер губы рукавом и стал трясти за плечо ротмистра.

— Вставай... эй! Слышь?

Ротмистр поднял голову, глядя на него тусклыми глазами.

— Надо полиции заявить... ну, вставай!

— А что? — сонно и сердито спросил ротмистр.

— Что умер он...

— Это кто?

— Ученый-то...

— Филипп? Да-а!

— А ты забыл... эхма! — укоризненно хрипел Тяпá.

Ротмистр встал на ноги, зычно зевнул и потянулся так, что у него кости хрустнули.

— Так иди ты, объяви...

— Я не пойду... не люблю я их,— угрюмо сказал Тяпá.

— Ну, разбуди дьякона... А я пойду посмотрю.

Ротмистр вошел в ночлежку и стал в ногах учителя. Мертвый лежал, вытянувшись во всю длину; левая рука была у него на груди, правая откинута так, точно он размахнулся, чтоб ударить кого-то. Ротмистр подумал, что, если б учитель встал теперь, он был бы такой же высокий, как Полтора Тараса. Потом он сел на нары в ногах приятеля и, вспомнив, что они прожили вместе около трех лет, вздохнул. Вошел Тяпá, держа голову, как козел, собравшийся бодаться. Он сел по другую сторону ног учителя, посмотрел на его темное лицо, спокойное и серьезное, с плотно сжатыми губами, и захрипел:

— Да... вот и умер... И я умру скоро...

— Тебе пора,— хмуро сказал ротмистр.

— Пора уж! — согласился Тяпá.— И тебе тожо надо бы умереть... Всё лучше, чем так-то...

— А может, хуже? Ты почем знаешь?

— Хуже не будет. Помрешь — с богом будешь иметь дело... А тут с людьми... А люди — что они значат?

— Ну ладно, не хрипи,— сердито оборвал его Кувалда.

В сумраке, наполнявшем ночлежку, стало внушительно тихо.

Долго они сидели у ног мертвого сотоварища и изредка поглядывали на него, оба погруженные в думы. Потом Тяпá спросил:

— Хоронить его ты будешь?

— Я? Нет! Полиция пускай хоронит.

— Ну! Чай, ты схорони... ведь за прошение-то с Вавилова взял его деньги... Я дам, коли не хватит...

— Деньги его у меня... а хоронить не стану.

— Нехорошо это. Мертвого грабишь. Я вот скажу всем, что ты его деньги заесть хочешь...— пригрозил Тяпá.

— Глуп ты, старый чёрт,— презрительно сказал Кувалда.

— Не глуп я... а только нехорошо, мол, не по-дружески.

— Ну и ладно. Отвяжись!

— Ишь! А сколько денег-то?

— Четвертная...— рассеянно сказал Кувалда.

— Вона!.. Дал бы мне хоть пятерочку...

— Экой ты мерзавец, старик...— равнодушно посмотрев в лицо Тяпы́, сказал ротмистр.

— Право, дай...

— Пошёл к чёрту!.. Я ему на эти деньги памятник устрою.

— На что ему?

— Куплю жёрнов и якорь. Жёрнов положу на могилу, а якорь цепью прикую к нему... Это будет очень тяжело...

— Зачем? Чудишь ты...

— Ну... не твое дело.

— Я, смотри, скажу...— снова пригрозил Тяпá.

Аристид Фомич тупо посмотрел на него и промолчал.

— Слышь... едут! — сказал Тяпá, встал и ушел из ночлежки.

Скоро в дверях ее явился частный пристав, следователь и доктор. Все трое поочередно подходили к учителю и, взглянув на него, выходили вон, награждая Кувалду косыми и подозрительными взглядами. Он сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не спросил его, кивая головой на учителя:

— Отчего он умер?

— Спросите у него... Я думаю, от непривычки...

— Что такое? — спросил следователь.

— Я говорю — умер он, по моему мнению, от непривычки к той болезни, которой захворал...

— Гм... да! А он давно хворал?

— Вытащить бы его сюда, не видно там ничего,— предложил доктор скучным тоном.— Может быть, есть знаки...

— Нуте-ка, позовите кого-нибудь вынести его,— приказал пристав Кувалде.

— Зовите сами... Он мне не мешает и тут...— равнодушно отозвался ротмистр.

— Ну! — крикнул полицейский, делая свирепое лицо.

— Тпру! — отпарировал Кувалда, не трогаясь с места, спокойно злой и оскаливший зубы.

— Я, чёрт возьми!..— крикнул пристав, взбешенный до того, что лицо у него налилось кровью.— Я вам этого не спущу! Я...

— Добренького здоровьица, господа честные! — сладким голосом сказал купец Петунников, являясь в дверях.

Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул, отступил шаг назад и, сняв картуз, истово перекрестился. Затем по лицу его расплылась улыбка злорадного торжества, и, в упор глядя на ротмистра, он почтительно спросил:

— Что это здесь? Никак человека убили?

— Да вот что-то в этом роде,— ответил ему следователь.

Петунников глубоко вздохнул, опять перекрестился и тоном огорчения заговорил:

— А, господи боже мой! Как я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь.... ай, ай, ай! Потом придешь домой, и всё такое начинает мерещиться — боже упаси всякого!.. Сколько раз я господину этому, вот... главнокомандующему золотой ротой, хотел отказать от квартиры, но боюсь всё... знаете... народ такой... лучше уступить, думаю, а то как бы не того...

Он плавно повел рукой в воздухе, потом провел ею по лицу, собрал в горсть бороду и снова вздохнул.

— Опасные люди. И господин этот вроде начальника у них... совершенно атаман разбойников.

— А вот мы его пощупаем,— многообещающим тоном сказал пристав, глядя на ротмистра мстительными глазами.— Он мне тоже хорошо известен!..

— Да, мы с тобой, брат, старые знакомые... — подтвердил Кувалда фамильярным тоном.— Сколько я тебе и присным твоим взяток за молчание переплатил!

— Господа! — воскликнул пристав,— вы слышали? Прошу запомнить! Я этого не спущу... А-а! Так вот что? Ну, ты у меня помни это! Я тебя... сокр-ращу, мой друг...

— Не хвались на рать идучи...— спокойно говорил Аристид Фомич.

Доктор, молодой человек в очках, смотрел на него с любопытством, следователь со зловещим вниманием, Петунников с торжеством, а пристав кричал и метался, наскакивая на него.

В дверях ночлежки явилась мрачная фигура Мартьянова. Он подошел тихо и стал сзади Петунникова, так что его подбородок приходился над теменем купца. Сбоку из-за него выглядывал дьякон, широко раскрывая свои маленькие, опухшие и красные глазки.

— Однако давайте же что-нибудь делать, господа!— предложил доктор.

Мартьянов скорчил страшную гримасу и вдруг — чихнул прямо на голову Петунникова. Тот вскрикнул, присел и прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног пристава, который едва удержал его, раскрыв ему объятия.

— Видите? — тревожно сказал купец, указывая на Мартьянова.— Вот какие люди! а?

Кувалда хохотал. Доктор и следователь смеялись, а к дверям ночлежки подходили всё новые и новые фигуры. Полусонные, опухшие физиономии с красными, воспаленными глазами, с растрепанными волосами на головах, бесцеремонно разглядывали доктора, следователя и пристава.

— Куда лезете! — усовещивал их городовой, дергая за лохмотья и отталкивая от двери. Но он был один, а их много, и они, не обращая на него внимания, лезли, дыша перегорелой водкой, молчаливые и зловещие. Кувалда посмотрел на них, потом на начальство, несколько смущенное обилием этой нехорошей публики, и, усмехаясь, сказал начальству:

— Господа! Может, вы хотите познакомиться с моими квартирантами и приятелями? Хотите? Всё равно — рано или поздно, вам придется, по обязанностям службы, знакомиться с ними...

Доктор смущенно засмеялся. Следователь плотно сжал губы, а пристав догадался, что нужно было сделать, и крикнул на двор:

— Сидоров! Свисти... скажи, когда придут сюда, чтоб достали телегу...

— Ну, а я пойду! — сказал Петунников, выдвигаясь откуда-то из-за угла.— Квартирку вы мне сегодня ослободите, господин... Я ломать буду эту хибарочку... Позаботьтесь... а то я обращусь к полиции...

На дворе пронзительно рокотал свисток полицейского, у дверей ночлежки тесной толпой стояли ее обитатели, позевывая и почесываясь.

— Итак, не хотите знакомиться?.. Невежливо!..— смеялся Аристид Кувалда.

Петунников достал из кармана кошелек, порылся в нем, вытащил два пятака и, крестясь, положил их в ноги покойника.

— Господи благослови... на погребение грешного праха...

— Что-о? — гаркнул ротмистр.— Ты — на погребение? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебе говорю...

мер-рзавец! Ты смеешь давать на погребение честного человека твои воровские гроши... разражу!

— Ваше благородие! — испуганно крикнул купец, хватая пристава за локти. Доктор и следователь выскочили вон, пристав громко звал:

— Сидоров, сюда!

Бывшие люди стали в дверях стеной и с интересом, оживлявшим их смятые рожи, смотрели и слушали.

Кувалда, потрясая кулаком над головой Петунникова, ревел, зверски вращая налитыми кровью глазами:

— Подлец и вор! Возьми деньги! Гнусная тварь — бери, говорю... а то я в зенки твои вобью эти пятаки, бери!

Петунников протянул дрожащую руку к своей лепте и, защищаясь другой рукой от кулака Кувалды, говорил:

— Будьте свидетелем, господин пристав, и вы, добрые люди.

— Мы, купец, недобрые люди,— раздался дребезжащий голос Объедка.

Пристав, надув лицо, как пузырь, отчаянно свистел, а другую руку держал в воздухе над головой Петунникова, извивавшегося перед ним так, точно он хотел влезть ему в живот.

— Хочешь, я заставлю тебя, ехидна подлая, ноги целовать у этого трупа? Х-хочешь?

И, вцепившись в ворот Петунникова, Кувалда швырнул его, как котенка, к двери.

Бывшие люди быстро расступились, чтобы дать купцу место для падения. И он растянулся у их ног, испуганно и бешено воя:

— Убивают! Караул... убили-и!

Мартьянов медленно поднял свою ногу, прицеливаясь ею в голову купца. Объедок со сладострастным выражением на своей физиономии плюнул в лицо Петунникова. Купец сжался в маленький комок и, упираясь в землю ногами и руками, покатился на двор, поощряемый хохотом. А на дворе уже появились двое полицейских, и пристав, указывая им на Кувалду, кричал:

— Арестовать! Связать!

— Вяжите его, голубчики! — умолял Петунников.

— Не сметь! Я не бегу... я сам пойду,— говорил Кувалда, отмахиваясь от городовых, подбежавших к нему.

Бывшие люди исчезали один по одному. Телега въехала во двор. Какие-то унылые оборванцы уже тащили из ночлежки учителя.

— Я т-тебя, голубчик... погоди! — грозил пристав Кувалде.

— Что, атаман? — ехидно спрашивал Петунников, возбужденный и счастливый при виде врага, которому вязали руки. — Что? Попал? Погоди! То ли еще будет!..

Но Кувалда молчал. Он стоял между двух полицейских, страшный и прямой, и смотрел, как учителя взваливали на телегу. Человек, державший труп под мышки, был низенького роста и не мог положить головы учителя в тот момент, когда ноги его уже были брошены в телегу. С минуту учитель был в такой позе, точно он хотел кинуться с телеги вниз головой и спрятаться в земле от всех этих злых и глупых людей, не дававших ему покоя.

— Веди его,— скомандовал пристав, указывая на ротмистра.

Кувалда, не протестуя, молчаливый и насупившийся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклонил голову, но не взглянул на него. Мартьянов с своим окаменелым лицом пошел за ним. Двор купца Петунникова быстро пустел.

— Н-но, поехали! — взмахнул извозчик вожжами над крупом лошади.

Телега тронулась, затряслась по неровной земле двора. Учитель, покрытый каким-то тряпьем, вытянулся на ней вверх грудью, и живот его дрожал. Казалось, что учитель тихо и довольно смеется, обрадованный тем, что вот, наконец, он уезжает из ночлежки и более уж не воротится в нее,— никогда не воротится... Петунников, провожая его взглядом, благочестиво перекрестился, потом тщательно начал обивать своим картузом пыль и сор, приставшие к его одежде. И по мере того, как пыль исчезала с его поддевки, на лице его являлось спокойное выражение довольства. Со двора ему видно

было, как по улице в гору шел ротмистр, с прикрученными на спине руками, высокий, серый, в фуражке с красным околышком, похожим на полосу крови.

Петунников улыбнулся улыбкой победителя и пошел к ночлежке, но вдруг остановился, вздрогнув. В дверях против него стоял с палкой в руке и с большим мешком за плечами страшный старик, ершистый от лохмотьев, прикрывавших его длинное тело, согнутый тяжестью ноши и наклонивший голову на грудь так, точно он хотел броситься на купца.

— Ты что? — крикнул Петунников.— Ты кто?

— Человек,— раздался глухой хрип.

Петунникова этот хрип обрадовал и успокоил. Он даже улыбнулся.

— Человек! Ах ты... такие разве люди бывают?

И, посторонившись, он пропустил мимо себя старика, который шел прямо на него и глухо ворчал:

— Разные бывают... как бог захочет... Есть хуже меня... еще хуже есть... да!

Хмурое небо молча смотрело на грязный двор и на чистенького человека с острой седой бородкой, ходившего по земле, что-то измеряя своими шагами и острыми глазками. На крыше старого дома сидела ворона и торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.

В серых, строгих тучах, сплошь покрывших небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно они, собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли.

МАЛЬВА

Море — смеялось.

Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, взбегавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило; море — тем, что отражало его ликующий свет.

Ветер ласково гладил атласную грудь моря; солнце грело ее своими горячими лучами, и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом испарений. Зеленоватые волны, взбегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену, она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его.

Узкая, длинная коса походила на огромную башню, упавшую с берега в море. Вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей солнцем воды, она теряла свое основание вдали, где знойная мгла скрывала землю. Оттуда, с ветром, прилетал тяжелый запах, непонятный и оскорбительный здесь, среди чистого моря, под голубым, ясным кровом неба.

В песок косы, усеянный рыбьей чешуей, были воткнуты деревянные колья, на них висели невода, бросая от себя паутину теней. Несколько больших лодок и одна маленькая стояли в ряд на песке, волны, взбегая на берег, точно манили их к себе. Багры, весла, корзины

и бочки беспорядочно валялись на косе, среди них возвышался шалаш, собранный из прутьев ивы, лубков и рогож. Перед входом в него на суковатой палке торчали, подошвами в небо, валяные сапоги. И над всем этим хаосом возвышался длинный шест с красной тряпкой на конце, трепетавшей от ветра.

В тени одной из лодок лежал Василий Легостев, караульщик на косе, передовом посте рыбных промыслов Гребенщикова. Лежал он на груди и, поддерживая голову ладонями рук, пристально смотрел в даль моря, к едва видной полоске берега. Там, на воде, мелькала маленькая черная точка, и Василию было приятно видеть, как она всё увеличивается, приближаясь к нему.

Прищуривая глаза от яркой игры солнечных лучей на волнах, он довольно улыбался: это едет Мальва. Она приедет, захохочет, грудь ее станет соблазнительно колыхаться, обнимет его мягкими руками, расцелует и звонко, вспугивая чаек, заговорит о новостях там, на берегу. Они с ней сварят хорошую уху, выпьют водки, поваляются на песке, разговаривая и любовно балуясь, потом, когда стемнеет, вскипятят чайник чая, напьются со вкусными баранками и лягут спать... Так бывает каждое воскресенье, каждый праздник на неделе. Рано утром он повезет ее на берег по сонному еще морю, в предрассветном свежем сумраке. Она, дремля, будет сидеть на корме, а он грести и смотреть на нее. Смешная она бывает в то время, смешная и милая, как сытая кошка. Может быть, она соскользнет с лавочки на дно лодки и уснет там, свернувшись в клубок. Она часто делает так...

В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке, раскрыв клювы и опустив крылья, или же лениво качаются на волнах без криков, без обычного хищного оживления.

Василию показалось, что в лодке не одна Мальва. Неужели опять Сережка привязался к ней? Василий тяжело повернулся на песке, сел и, прикрыв глаза ладонью, с тревогой в сердце стал рассматривать, кто еще там едет. Мальва сидит на корме и правит. Гребец — не Сережка, гребет он неумело, с Сережкой Мальва не стала бы править.

— Эй! — нетерпеливо крикнул Василий.

Чайки на песке дрогнули и насторожились.

— Эй-эй... — донесся с лодки звонкий голос Мальвы.

— С кем ты?

В ответ донесся смех.

— Чертовка! — негромко выругался Василий и сплюнул.

Ему очень хотелось знать, кто это едет там; свертывая папиросу, он упорно смотрел в затылок и спину гребца. Звучный плеск воды под ударами весел раздается в воздухе, песок скрипит под босыми ногами караульщика.

— Это кто с тобой? — крикнул он, когда различил незнакомую ему улыбку на красивом лице Мальвы.

— А вот погоди, узнаешь! — со смехом отозвалась она.

Гребец обернулся лицом к берегу и, тоже смеясь, взглянул на Василия.

Караульщик нахмурил брови, вспоминая, — кто этот как будто знакомый ему парень?

— Ударь сильней! — скомандовала Мальва.

Лодка с размаха почти до половины всползла на песок вместе с волной и, покачнувшись набок, стала, а волна скатилась назад, в море. Гребец выскочил на берег и сказал:

— Здравствуй, отец!

— Яков! — подавленно воскликнул Василий, более изумленный, чем обрадованный.

Они обнялись и поцеловались по три раза в губы и щеки; на лице Василия удивление смешалось с радостью и смущением.

— То-то я смотрю... и что-то тово — оно,— сердце зудит... Ах, ты — как это ты? На-ко! А я смотрю — Сережка? Нет, вижу, не Сережка! Ан — это ты!

Василий одной рукой гладил бороду, а другой махал в воздухе. Ему хотелось взглянуть на Мальву, но в его лицо уставились улыбавшиеся глаза сына, и ему было неловко от их блеска. Чувство довольства собой за то, что у него такой здоровый, красивый сын, боролось в нем с чувством смущения от присутствия любовницы. Он переступал с ноги на ногу, стоя перед Яковом, и

один за другим кидал ему вопросы, не дожидаясь ответа на них. В голове у него всё как-то спуталось, и особенно нехорошо стало ему, когда раздались насмешливые слова Мальвы:

— Да ты не юли уж... с радости-то! Веди его в шалаш да угощай...

Он обернулся к ней. На губах ее играла усмешка, незнакомая ему, и вся она — круглая, мягкая и свежая, как всегда, в то же время была какая-то новая, чужая. Она переводила свои зеленоватые глаза с отца на сына и грызла арбузные семечки белыми мелкими зубами. Яков тоже с улыбкой рассматривал их, и несколько неприятных Василию секунд все трое молчали.

— Я сейчас! — вдруг заторопился Василий, двигаясь к шалашу.— Вы уходите от солнца-то, а я наберу воды пойду... уху будем варить! Я тебя, Яков, та-акой ухой накормлю! Вы тут тово... располагайтесь, я сию минуту...

Он схватил с земли у шалаша котелок, быстро пошел куда-то в невода и скрылся в серой массе их складок.

Мальва и его сын тоже пошли к шалашу.

— Ну вот, молодец хороший, я доставила тебя к отцу,— говорила Мальва, искоса оглядывая коренастую фигуру Якова.

Он повернул к ней свое лицо в кудрявой темно-русой бородке и, блеснув глазами, сказал:

— Да, приехали... А хорошо тут,— море-то какое!

— Широкое море... Ну, что же,— сильно постарел отец?

— Нет, ничего. Я думал — он седее, а у него еще мало седины-то... И крепкий...

— Сколько, говоришь, время вы не видались?

— Годов пять, чай... Как уходил он из деревни — мне в ту пору семнадцатый шел...

Они вошли в шалаш, где было душно, а от рогож пахло соленой рыбой, и сели там: Яков — на толстый обрубок дерева, Мальва — на кучу кулей. Между ними стояла перерезанная поперек бочка, дно ее служило

столом. Усевшись, они молча, пристально посмотрели друг на друга.

— Стало быть, здесь работать хочешь?— спросила Мальва.

— Да вот... не знаю я... Коли найдется что — буду.

— У нас найдется! — уверенно пообещала Мальва, ощупывая его своими зелеными, загадочно прищуренными глазами.

Он не смотрел на нее, вытирая рукавом рубахи потное лицо.

Вдруг она засмеялась.

— Мать-то, чай, отцу наказы да поклоны с тобой прислала?

Яков взглянул на нее, нахмурился и кратко сказал:

— Известно... А что?

— Ничего!

Смех ее не нравился Якову,— он точно поддразнивал его. Парень отвернулся от этой женщины и вспомнил наказы матери.

Проводив его за околицу деревни, она оперлась на плетень и быстро говорила, часто моргая сухими глазами:

— Скажи ты ему, Яша... Христа ради, скажи ты ему... Отец, мол!.. Мать-то одна, мол, там... пять годов прошло, а она всё одна! Стареет, мол!.. скажи ты ему, Яковушка, ради господа. Скоро старухой мать-то будет... одна всё, одна! В работе всё. Христа ради, скажи ты ему...

И она безмолвно заплакала, спрятав лицо в передник.

Тогда Якову не было жалко ее, а теперь стало жалко... Взглянув на Мальву, он сурово повел бровями.

— Ну, вот и я! — воскликнул Василий, являясь в шалаш с рыбой в одной руке и ножом — в другой.

Он уже справился со своим смущением, глубоко скрыв его внутри себя, и теперь смотрел на них спокойно, только в движениях его явилась несвойственная ему суетливость.

— Вот сейчас запалю я костер... и приду к вам... поговорим! Ах, Яков, а?

И он опять ушел из шалаша.

Мальва, не переставая грызть семечки, бесцеремонно разглядывала Якова, а он старался не смотреть на нее, хотя ему этого очень хотелось.

Потом, так как молчание стесняло его, он сказал вслух:

— А котомку-то я в лодке оставил,— пойти взять!

Неторопливо поднявшись с места, он вышел, на смену ему в шалаш явился Василий и, наклонясь к Мальве, заговорил торопливо и сердито:

— Ну, на что ты-то приехала с ним? Что я про тебя скажу ему? Кто ты мне?

— Приехала да и всё! — коротко сказала Мальва.

— Эх, ты... несообразная баба! Как я теперь буду? Так прямо ему в глаза и тово... сразу?.. У меня жена дома-то! Мать ему... Должна ты была это сообразить!

— Очень нужно мне соображать! Боюсь я его, что ли? Али тебя? — спросила она, пренебрежительно щуря свои зеленые глаза.— А как ты давеча завертелся перед ним! То-то смешно мне было!

— Смешно тебе! А я как буду?

— А ты думал бы об этом раньше!

— Да я знал, что ли, что его так вот вдруг выбросит сюда из моря-то?

Скрипел песок под ногами Якова, и они оборвали свой разговор. Яков принес легонькую котомку, бросил ее в угол и искоса, недобрыми глазами, взглянул на женщину.

Она с увлечением щелкала семечки, а Василий присел на обрубок, потер руками колени и с улыбкой заговорил:

— Так вот ты, значит, и явился... как это ты надумал?

— Да так... Писали мы тебе...

— Когда? Я никакого письма не получал!..

— Ну? А мы писали...

— Потерялось, видно, письмо-то,— огорчился Василий.— Ишь ты, чёрт его возьми... а? Когда нужно — оно и потерялось...

— Стало быть, ты не знаешь наших-то делов? — спросил Яков, недоверчиво взглянув на отца.

— Да откуда? Не получал я письма!

Тогда Яков рассказал ему, что лошадь у них пала, хлеб весь они съели еще в начале февраля; заработков не было. Сена тоже не хватило, корова чуть с голоду не сдохла. Пробились кое-как до апреля, а потом решили так: ехать Якову после пахоты к отцу, на заработки, месяца на три. Об этом они написали ему, а потом продали трех овец, купили хлеба да сена, и вот Яков приехал.

— Вот оно что!— воскликнул Василий.— Та-ак... А... как же вы... денег я вам посылал...

— Велики ли деньги? Избу чинили... Марью замуж выдали... Плуг я купил... Ведь пять годов... время-то прошло!

— Да-а! Не хватило, значит? Такое дело... А уха-то у меня сбежит! — Он встал и вышел вон.

Присев на корточки перед костром, над которым висел закипавший котелок, сбрасывая пену в огонь, Василий задумался. Всё, что рассказал ему сын, не особенно сильно тронуло его, но породило в нем неприятное чувство к жене и Якову. Сколько он им за пять лет денег переслал, а они все-таки не справились с хозяйством. Если бы не Мальва, он сказал бы Якову кое-что. Самовольно, без отцова разрешения из деревни ушел — хватило ума на это,— а с хозяйством справиться не мог! Хозяйство, о котором Василий, живя до сего дня жизнью приятной и легкой, вспоминал очень редко, теперь вдруг напомнило ему о себе, как о бездонной яме, куда он пять лет бросал деньги, как о чем-то лишнем в его жизни, не нужном ему. Он вздохнул, мешая ложкой уху.

В блеске солнца маленький желтоватый огонь костра был жалок, бледен. Голубые, прозрачные струйки дыма тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн. Василий следил за ними и думал о том, что теперь ему хуже будет жить, не так свободно. Наверное, Яков уже догадался, кто эта Мальва...

А она сидела в шалаше, смущая парня задорными, вызывающими глазами, в которых, не исчезая, играла улыбка.

— Чай, поди-ка, невесту в деревне-то оставил? — вдруг сказала она, заглядывая в лицо Якова.

— Может, и оставил,— неохотно ответил тот.

— Красивая, что ли? — небрежно спросила она.

Яков промолчал.

— Что молчишь?.. Лучше меня али нет?

Он посмотрел ей в лицо, не желая этого. Щеки у нее были смуглые, полные, губы сочные,— полураскрытые задорной улыбкой, они вздрагивали. Розовая ситцевая кофта как-то особенно ловко сидела на ней, обрисовывая круглые плечи и высокую, упругую грудь. Но не нравились ему ее лукаво прищуренные, зеленые, смеющиеся глаза.

— Зачем ты так говоришь? — вздохнув, сказал он просящим голосом, хотя желал говорить с ней строго.

— А как надо говорить? — засмеялась она.

— И смеешься тоже... чему?

— Над тобой смеюсь...

— Ну, что я тебе? — обиженно спросил он и снова опустил глаза под ее взглядом.

Она не ответила.

Яков догадывался о том, кто она отцу, и это мешало ему свободно говорить с ней. Догадка не поражала его: он слыхал, что на отхожих промыслах люди сильно балуются, и понимал, что такому здоровому человеку, как его отец, без женщины трудно было бы прожить столько времени. Но все-таки неловко и перед ней и перед отцом. Потом он вспомнил свою мать — женщину истомленную, ворчливую, работавшую там, в деревне, не покладая рук...

— Готова ушица! — объявил Василий, являясь в шалаш.— Достань-ка ложки, Мальва!

Яков взглянул на отца и подумал:

«Видно, часто она у него бывает, коли знает, где ложки лежат!»

Взяв ложки, она сказала, что надо пойти помыть их и что в корме лодки у нее есть водка.

Отец и сын посмотрели вслед ей и, оставшись один на один, помолчали.

— Ты с ней как встретился? — спросил Василий.

— А я спрашивал про тебя в конторе, и она была там... И говорит: «Чем, говорит, идти пешком по песку, поедем в лодке, я тоже к нему». Вот и приехали.

— Да-а... А я, бывало, думаю: «Каков-то теперь Яков?»

Сын добродушно усмехнулся в лицо отца, и эта усмешка придала Василию храбрости.

— А... ничего бабенка-то?

— Ничего,— неопределенно сказал Яков, моргнув глазами.

— Никакого лешего не поделаешь, брат ты мой! — воскликнул Василий, взмахивая руками.— Терпел я сначала — не могу! Привычка... Я женатый человек. Опять же и одежу она починит и другое прочее... И вообще... эхма! От женщины, как от смерти, никуда не уйдешь! — искренно закончил он свое объяснение.

— Мне что? — сказал Яков.— Это — твое дело, я тебе не судья.

А про себя думал:

«Станет тебе такая штаны чинить...»

— Опять же мне всего сорок пять лет... Расхода на нее немного, не жена она мне...— говорил Василий.

— Конечно,— соглашался Яков и думал: «А всё, чай, треплет карман-то!»

Пришла Мальва с бутылкой водки и связкой кренделей в руках; сели есть уху. Ели молча, кости обсасывали громко и выплевывали их изо рта на песок к двери. Яков ел много и жадно; это, должно быть, нравилось Мальве: она ласково улыбалась, глядя, как отдуваются его загорелые щеки, быстро двигаются влажные крупные губы. Василий ел плохо, но старался показать, что он очень занят едой,— это нужно было ему для того, чтоб без помехи, незаметно для сына и Мальвы, обдумать свое отношение к ним.

Ласковую музыку волн перебивали хищные крики чаек. Зной становился менее жгучим, уже иногда в шалаш залетала прохладная струя воздуха, пропитанного запахом моря.

После вкусной ухи и водки глаза Якова осовели. Он начал глуповато улыбаться, икать, позевывать и смотрел на Мальву так, что Василий нашел нужным сказать ему:

— Ты приляг тут, Яшутка, пока до чаю... а там мы тебя разбудим.

— Это можно-о...— согласился Яков, сваливаясь на кули.— А... вы куда? Ха-ха!

Василий, смущенный его смехом, торопливо вышел, а Мальва поджала губы, сдвинула брови и ответила Якову:

— А куда мы пойдем — это не твое дело! Ты что? Ты еще нашему богу — бя! Вот ты что, паренек!..

— Я? Ладно! — воскликнул Яков вслед ей.— Па-а-агоди... Я тебе покажу! Ишь ты какая...

Он поворчал еще немного и заснул с пьяной, сытой улыбкой на раскрасневшемся лице.

Василий воткнул в песок три багра, соединил их верхние концы, набросил на них рогожу и, так устроив тень, лег в ней, закинув руки за голову, глядя на небо. Когда Мальва опустилась на песок рядом с ним, он повернул к ней свое лицо, и на нем она увидела обиду и недовольство.

— Что — мало рад сыну-то? — спросила она, засмеявшись.

— Вон он... смеется надо мной... из-за тебя!.. — угрюмо сказал Василий.

— Ну? Из-за меня? — лукаво удивилась она.

— А как же?

— Ах ты, жалкенький! Что же теперь? Не ходить к тебе, что ли? а? Ну — не буду!..

— Ишь ты, ведьма какая! — укорил ее Василий.— Эх вы, люди! Он смеется, ты тоже... а вы мне самые близкие! За что же смеетесь? Черти! — Он отвернулся от нее и замолчал.

Мальва, обняв руками колени, тихонько покачивала корпусом, рассматривая зелеными глазами сверкающее, веселое море, и улыбалась одною из тех торжествующих улыбок, которых так много у женщины, понимающей силу своей красоты.

Парусное судно скользило по воде, как большая, неуклюжая птица с серыми крыльями. Оно было далеко от берега и шло еще дальше, туда, где море и небо сливались в синюю бесконечность.

— Что молчишь? — спросил Василий.

— Думаю,— сказала Мальва.

— Про что это?

— Так,— повела она бровями и, помолчав, добавила: — Сын у тебя — молодец парень...

— А тебе что? — ревниво воскликнул Василий.

— Мало ли что...

— Ты — смотри! — окинул он ее суровым взглядом, полным подозрения.— Ты не дури! Я хотя и смирный, но ты меня не дразни,— да!

Он стиснул зубы и сжал кулаки, продолжая:

— Ты сегодня сразу, как приехала, играть начала что-то... Я еще не понимаю этого... ну, смотри, пойму, неладно тебе будет! И улыбочки у тебя этакие... и всё такое... Я тоже с вашей сестрой умею обращаться...

— А ты меня, Вася, не пугай...— равнодушно и не глядя на него попросила она.

— То-то! не шути же...

— А ты уж не стращай...

— Я и взбучку дам, коли баловать начнешь...— грозил Василий, озлобляясь.

— Бить станешь? — обернулась она к нему, с любопытством глядя в его взволнованное лицо.

— А что ты за графиня? И вздую...

— Да я тебе что — жена, что ли? — вразумительно и спокойно спросила Мальва и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Привыкши бить жену ни за что ни про что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я сама себе барыня, и никого не боюсь. А ты вон — сына боишься: давеча как заюлил перед ним — стыд! А еще грозишь мне!

Она презрительно качнула головой и замолчала. Ее холодные, пренебрежительные слова подавили озлобление Василия. Никогда еще он не видал ее такой красивой.

— Разошлась, раскаркалась...— молвил он, и злясь и любуясь ею.

— И еще скажу тебе вот что. Ты Сережке бахвалился, что я без тебя, как без хлеба, жить не могу! Напрасно ты это... Может, я не тебя люблю и не к тебе хожу, а люблю я только место это...— Она широко повела рукой вокруг себя.— Может, мне то нравится, что здесь пусто — море да небо и никаких подлых людей нет.

А что ты тут — это всё равно мне... Это вроде платы за место... Сережка был бы — к нему бы я ходила, сын твой будет — к нему пойду... А еще лучше, кабы вас вовсе никого не было... обрыдли вы мне!.. Если я с моей красотой захочу — я всегда себе мужика, какого мне нужно, выберу...

— Вот ка-а-к?! — свирепо зашипел Василий и вдруг схватил ее за горло.— Так вот что-о?

Он встряхивал ее, но она не отбивалась, хотя лицо ее краснело и глаза наливались кровью. Она просто положила обе свои руки на его руку, давившую ей горло, и упорно смотрела ему в лицо.

— Так в тебе вон что есть? — хрипел Василий, всё свирепея.— А — молчала, шкура... а — обнимала... а — ласки мне... Я ж тебе дам!

Он пригнул ее к земле и с наслаждением ударил по шее раз, два — тяжелыми ударами крепко стиснутого кулака. Приятно было ему, когда кулак с размаха падал на ее упругую шею.

— На... Что, змея?..— с торжеством спросил он ее и отшвырнул от себя.

Она, не охнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц с холодной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством взглянул на нее — она улыбалась. Дрогнули ее полные губы, вспыхнули глаза, на щеках явились ямки. Василий изумленно посмотрел на нее.

— Что ты,— чёрт! — грубо дернув ее за руку, крикнул он.

— Васька!.. Это ты бил меня? — полушёпотом спросила она.

— Ну, а кто? — Ничего не понимая, он смотрел на нее и не знал, что ему делать. Не ударить ли ее еще раз? Но в нем уже не было злобы, и рука его не поднималась на нее.

— Стало быть, ты меня любишь? — снова спросила она, и от ее шёпота ему стало жарко.

— Ладно,— угрюмо сказал он.— Так ли тебя надо!

— А ведь я думала, что ты уже не любишь меня... думаю: «Вот теперь сын к нему приехал... прогонит он меня...»

Она засмеялась странным, слишком громким смехом.

— Дуреха! — сказал Василий, тоже невольно усмехаясь.— Сын,— что он мне за уставщик?

Ему стало совестно перед ней и жалко ее, но, вспомнив ее речи, он заговорил строго:

— Сын тут ни при чем... А что я ударил тебя — сама виновата, зачем дразнила?

— Так ведь я это нарочно,— пытала тебя...— И она прижалась к нему плечом.

— Пытала! Чего пытать? Вот и допыталась.

— Ничего! — уверенно сказала Мальва, щуря глаза,— я не сержусь — ведь любя побил? А я тебе за это заплачу́...— Она в упор посмотрела на него и, понизив голос, повторила: — Ох, как заплачу́!

Василий в этих словах услыхал обещание, приятное ему, оно сладко волновало; улыбаясь, он спросил:

— А как?.. Ну-ка?!

— Увидишь,— спокойно сказала Мальва, но губы у нее дрогнули.

— Эх ты, милушка моя! — воскликнул Василий, крепко стиснув ее руками влюбленного.— А знаешь, как побил я тебя — дороже ты мне стала! Право! Роднее... али как?

Чайки носились над ними. Ласковый ветер с моря приносил брызги волн почти к их ногам, а неугомонный смех моря всё звучал...

— Эх, дела наши! — свободно вздохнул Василий, задумчиво лаская женщину, прильнувшую к нему.— И как всё устроено на свете: что грешно, то и сладко. Ты вот ничего не понимаешь... а я иной раз задумаюсь про жизнь — даже страшно станет! Особливо ночью... не спится когда... Смотришь: перед тобой море, над тобой — небо, кругом темно таково, жутко... а ты тут — один! И станешь тогда сам для себя таким ма-аленьким, маленьким... Земля под тобой шатается, и никого-то на ней, кроме тебя, нет. Хоть бы ты была в ту пору... все-таки двое...

Мальва, закрыв глаза, лежала у него на коленях и молчала. Грубоватое, но доброе, коричневое от солнца и ветра лицо Василия наклонилось над ней, его большая выцветшая борода щекотала ее шею. Женщина не двигалась, только грудь ее вздымалась высоко и ровно. Глаза Василия то блуждали в море, то останавливались на этой груди, близкой к нему. Он стал целовать ее в губы, не торопясь, чмокая так громко, точно горячую и жирно намасленную кашу ел.

Часа три они провели так; когда солнце начало спускаться в море, Василий сказал скучным голосом:

— Ну, пойду чай кипятить... скоро гость проснется!

Мальва ленивым движением разнежившейся кошки отодвинулась в сторону, он неохотно встал и пошел к шалашу. Женщина, чуть приподняв ресницы, посмотрела вслед ему и вздохнула, как вздыхают люди, сбросив ношу, утомившую их.

Потом они, трое, сидели вокруг костра и пили чай.

Солнце окрашивало море в живые краски заката, зеленоватые волны блестели пурпуром и жемчугом.

Василий, прихлебывая чай из белой глиняной кружки, расспрашивал сына о деревне, сам вспоминал о ней. Мальва, не вмешиваясь, слушала их медленные речи.

— Живут, стало быть, мужички?

— Живут, как-никак...— отвечал Яков.

— Нашему брату — много ли надо? Избу, да хлебушка вдоволь, да в праздник водки стакан... Но и этого нет... Разве бы я ушел сюда, ежели бы можно было кормиться дома-то? В деревне я сам себе хозяин, всем равный человек, а здесь вот — слуга...

— Зато здесь сытнее и работа легче...

— Ну, этого тоже не скажи! Бывает так, что все кости ноют. Опять же здесь чужому работаешь, а там — самому себе.

— А выработаешь больше, — спокойно возражал Яков.

Внутренно Василий соглашался с доводами сына: в деревне и жизнь и работа тяжелее, чем здесь,— но ему почему-то не хотелось, чтобы Яков знал это. И он сурово сказал:

— Ты считал заработок-то здешний? В деревне, брат...

— Как в яме: и темно и тесно,— усмехнулась Мальва.— А особенно бабье житье — одни слезы.

— Бабье житье одинаково везде... и свет везде один, одно солнце!..— нахмурился Василий, взглянув на нее.

— Ну это ты врешь! — воскликнула она, оживляясь.— Я в деревне-то хочу не хочу, а должна замуж идти. А замужем баба — вечная раба: жни да пряди, за скотом ходи да детей роди... Что же остается для нее самой? Одни мужьевы побои да ругань...

— Не всё побои,— перебил ее Василий.

— А здесь я ничья,— не слушая его, говорила она.— Как чайка, куда захочу, туда и полечу! Никто мне дороги не загородит... Никто меня не тронет!..

— А как тронет? — усмехаясь, напоминающим тоном спросил Василий.

— Ну,— я уж заплачу́! — тихо сказала она, и разгоревшиеся глаза ее погасли.

Василий снисходительно засмеялся.

— Эх ты,— бойка ты, да слаба! Бабьи слова говоришь. В деревне баба — нужный для жизни человек... А здесь — так она... для баловства только живет...—Помолчав, он добавил: — Для греха.

Яков, когда их разговор оборвался, сказал, задумчиво вздохнув:

— И конца, кажись, нет этому морю...

Все трое молча взглянули в пустыню перед ними.

— Ежели бы всё это земля была! — воскликнул Яков, широко размахнув рукой.— Да чернозем бы! Да распахать бы!

— Вон что! — добродушно засмеялся Василий, одобрительно взглянув в лицо сына, даже покрасневшее от силы выраженного желания. Ему приятно было слышать в словах сына любовь к земле, и он подумал, что эта любовь, быть может, скоро и настоятельно позовет Якова от соблазнов вольной промысловой жизни назад в деревню. А он останется здесь с Мальвой — и всё пойдет по-старому...

— Это, Яков, хорошо ты сказал! Крестьянину так и следует. Крестьянин землей и крепок: докуда он на ней — жив, сорвался с нее — пропал! Крестьянин без земли — как дерево без корня: в работу оно годится, а прожить долго не может — гниет! И красоты лесной нет в нем — обглоданное, обстроганное, невидное!.. Это ты, Яков, очень хорошие слова сказал.

Море, принимая солнце в свои недра, встречало его приветливой музыкой плеска волн, разукрашенных его прощальными лучами в дивные, богатые оттенками цвета. Божественный источник света, творящего жизнь, прощался с морем красноречивой гармонией своих красок, чтобы далеко от трех людей, следивших за ним, разбудить сонную землю радостным блеском лучей восхода.

— У меня душа тает, когда я смотрю, как солнышко заходит, право, ей-богу! — сказал Василий Мальве.

Она промолчала. Голубые глаза Якова улыбались, блуждая в дали моря. Долго все трое задумчиво смотрели туда, где гасли последние минуты дня. Пред ними тлели уголья костра. Сзади ночь развертывала по небу свои тени. Желтый песок темнел, чайки исчезли, — всё вокруг становилось тихим, мечтательно-ласковым... И даже неугомонные волны, взбегая на песок косы, звучали не так весело и шумно, как днем.

— Что я сижу? — сказала Мальва.— Надо идти.

Василий поежился и взглянул на сына.

— Куда торопиться? — недовольно пробормотал он.—Погоди,—вот месяц взойдет...

— А что — месяц? Я и так не боюсь,— не в первый раз мне ночью отсюда уходить!

Яков взглянул на отца и прищурил глаза, скрывая усмешку; потом посмотрел на Мальву,— она тоже смотрела на него,— и ему стало неловко.

— Ну что ж! Иди! — разрешил Василий, недовольный и скучный.

Она встала, простилась и медленно пошла вдоль берега косы; волны, подкатываясь ей под ноги, точно заигрывали с ней. В небе трепетно вспыхивали звезды — его золотые цветы. Яркая кофточка Мальвы, удаляясь

от Василия и его сына, провожавших ее глазами, линяла в сумраке.

Милый мой... скорей иди!
Да-ах! Прижми-ись к моей груди!

— запела Мальва высоким и резким голосом.

Василию показалось, что она остановилась и ждет. Он с ожесточением плюнул, думая: «Это она нарочно, дразнит меня, дьяволица!»

— Ишь ты! Поет! — усмехнулся Яков.

Она была для их глаз только серым пятном в сумраке.

Не-е жа-алей моих грудей,
Двоих бе-елых лебедей!

— разносился над морем ее голос.

— Ишь как! — воскликнул Яков и всем телом потянулся туда, откуда неслись соблазнительные слова.

— Значит, не сладил ты там с хозяйством-то? — раздался суровый голос Василия.

Яков, недоумевая, взглянул на него и принял прежнюю позу.

Утопая в шуме волн, до их слуха доносились отдельные, разорванные слова задорной песни:

...Ах... спать не в мочь
...одной... в эту ночь!

— Жарко! — тоскливо воскликнул Василий, возясь на песке.— Ночь ведь... а жарко! Экая проклятая сторона...

— Это — песок... нагрелся за день-то...— отворотясь в сторону и как будто запинаясь, сказал Яков.

— Ты чего?.. Смеешься никак? — сурово спросил его отец.

— Я? — невинно спросил Яков.— Чему это?

— То-то, мол, ровно бы нечему...

Они замолчали.

А сквозь шум волн до них долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики.

Прошло две недели, снова наступило воскресенье, и снова Василий Легостев, лежа на песке около своего

шалаша, смотрел в море, ждал Мальву. И пустынное море смеялось, играя отраженным солнцем, и легионы волн рождались, чтоб взбежать на песок, сбросить на него пену своих грив, снова скатиться в море и растаять в нем. Всё было такое же, как и четырнадцать дней тому назад. Только Василий, прежде ожидавший свою любовницу со спокойной уверенностью, сегодня ждал ее с нетерпением. В прошлое воскресенье она не была — сегодня должна быть! Он не сомневался, что она приедет, но ему хотелось скорее видеть ее. Яков не будет мешать сегодня: третьего дня он приезжал за неводом вместе с другими рабочими и сказал, что в воскресенье с утра отправится в город купить себе рубах. Он нанялся на ватаги по пятнадцати рублей в месяц, уже несколько раз ездил на ловлю рыбы и теперь смотрел бойко и весело. От него, как от всех рабочих, пахло соленой рыбой, и, как все, он был грязный и рваный. Василий вздохнул при мысли о сыне.

«Как бы он здесь уцелел... Избалуется... тогда, пожалуй, не захочет уж назад в деревню идти... И придется мне самому...»

Кроме чаек, в море никого не было. Там, где оно отделялось от неба тонкой полоской песчаного берега, иногда появлялись на этой полоске маленькие черные точки, двигались по ней и исчезали. А лодки всё не было, хотя уже лучи солнца падают в море почти отвесно. В это время Мальва бывала уже давно здесь.

Две чайки схватились в воздухе и дерутся так, что перья летят из них. Ожесточенные крики рвут веселую песню волн, такую постоянную, так гармонично слитую с торжественной тишиной сияющего неба, что она кажется звуком радостной игры солнечных лучей на равнине моря. Чайки падают в воду, бьют друг друга, яростно вскрикивая от боли и злобы, и снова взлетают в воздух, преследуя друг друга... А подруги их — целая стая — как бы не видя этой борьбы, жадно ловят рыбу, кувыркаясь в зеленоватой, прозрачной, играющей воде.

Море — пустынно. Не являлось в нем там, далеко у берега, знакомое темное пятно...

— Не едешь? — вслух сказал Василий.— Ну и не надо! А ты думала как?..

И он презрительно сплюнул по направлению к берегу.

Море смеялось.

Василий встал и пошел в шалаш, намереваясь варить себе обед, но почувствовал, что есть ему не хочется, воротился на старое место и снова лег там.

«Хоть бы Сережка приехал! — мысленно воскликнул он и заставил себя думать о Сережке.— Это — ядпарень. Надо всеми смеется, на всех лезет с кулаками. Здоровый, грамотный, бывалый... но пьяница. С ним весело... Бабы души в нем не чают, и хотя он недавно появился — все за ним так и бегают. Одна Мальва держится поодаль от него... Не едет вот. Экая окаянная бабенка! Может, она рассердилась на него за то, что он ударил ее? Да разве ей это в новинку? Чай, как били... другие! Да и он теперь задаст ей...»

Так, думая то о сыне, то о Сережке и больше всего о Мальве, Василий возился на песке и всё ждал. Беспокойное настроение незаметно перерождалось у него в темную подозрительную мысль, но он не хотел остановиться на ней. И, скрывая от себя свое подозрение, он провел время до вечера, то вставая и расхаживая по песку, то снова ложась. Уже море потемнело, а он всё еще рассматривал его даль, ожидая лодку.

Мальва не приехала в этот день.

Ложась спать, Василий уныло ругал свою службу, не позволяющую ему отлучиться на берег, а засыпая, он часто вскакивал,— сквозь дрему ему слышалось, что где-то далеко плещут весла. Тогда он прикладывал руку козырьком к своим глазам и смотрел в темное, мутное море. На берегу, на промысле, горели два костра, а в море никого не было.

— Ладно же, ведьма! — грозил он. А потом заснул тяжелым сном.

А на промысле вот что произошло в этот день.

Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. Он вышел из барака к морю умываться и, подойдя к берегу, увидал Мальву. Она сидела на корме баркаса, причален-

ного к берегу, и, спустив за борт голые ноги, расчесывала мокрые волосы.

Яков остановился и стал смотреть на нее любопытными глазами.

Ситцевая кофточка, не застегнутая на груди, спустилась с одного плеча, а плечо было такое белое, вкусное.

В корму баркаса били волны, Мальва то поднималась над морем, то опускалась так низко, что голые ее ноги почти касались воды.

— Купалась, что ли? — крикнул Яков.

Она обернула к нему лицо, мельком взглянула на него и, снова расчесывая волосы, ответила:

— Купалась... Что рано поднялся?

— Ты еще раньше...

— А я тебе что за пример?

Яков промолчал.

— По моей-то манере будешь жить — трудно будет тебе голову носить! — сказала она.

— О? Ишь ты, какая страшная! — усмехнулся Яков и, присев на корточки, стал умываться.

Черпая пригоршнями воду, он плескал ее себе на лицо и покряхтывал, ощущая свежесть. Потом, утираясь подолом рубахи, спросил Мальву:

— Что ты меня стращаешь всё?

— А ты что на меня глаза пялишь?

Яков не помнил, чтобы смотрел на нее больше, чем на других промысловых женщин, но теперь вдруг сказал ей:

— Да ежели ты... вон какая сдобная!

— Вот отец узнает эти твои замашки — он тебе шею-то насдобит!

Она лукаво и задорно смотрела ему в лицо.

Яков засмеялся и полез на баркас. Он опять-таки не понимал, про какие его замашки она говорит, но коли она говорит, так, значит, он поглядывал на нее зорко. Ему стало приятно, весело.

— А что отец? — говорил он, идя к ней по борту баркаса.— Что ты — купленная его, что ли?

Усевшись рядом с ней, он уставился на ее голое плечо, полуобнаженную грудь, на всю ее фигуру — свежую и крепкую, пахнувшую морем.

— Вон ты — белуга какая! — с восхищением воскликнул он, подробно осмотрев ее.

— Не про тебя! — кратко заявила она, не глядя на него, не оправляя своего откровенного костюма.

Яков вздохнул.

Пред ними необозримо расстилалось море в лучах утреннего солнца. Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Далеко в море, как шрам на атласной груди его, виднелась коса. С нее в мягкий фон голубого неба вонзался шест тонкой черточкой, и было видно, как треплется по ветру тряпка.

— Да, паренек! — заговорила Мальва, не глядя на Якова.— Вкусна я, да не про тебя... А и никем я не купленная, и отцу твоему не подвластна. Живу сама про себя... Но ты ко мне не лезь, потому что я не хочу между тобой и Васильем стоять... Ссоры не хочу и разной склоки... Понял?

— Да я что? — изумился Яков.— Я ведь тебя не трогаю...

— Тронуть ты меня не смеешь! — сказала Мальва.

Она так это сказала, с таким пренебрежением к Якову, что в нем был обижен и мужчина и человек. Задорное, почти злое чувство охватило его, глаза вспыхнули.

— О? Не смею? — воскликнул он, подвигаясь к ней.

— Не смеешь!

— Н-ну? А как трону?

— Тронь!

— А что будет?

— А я дам тебе по затылку, ты и кувырнешься в воду.

— А ну, дай!

— А — тронь!

Он окинул ее горящими глазами и вдруг крепко охватил ее сбоку сильными лапами, сдавив ей грудь и спину. От прикосновения ее тела, горячего и крепкого, он вспыхнул весь и горло его сжалось от какого-то удушья.

— Вот! Ну... бей! Ну... что?

— Пусти, Яшка! — спокойно сказала она, не делая попытки освободиться из его вздрагивавших рук.

— А по затылку хотела?

— Пусти! Смотри, худо будет!

— Ну... не стращай ты меня! Эх ты... малина!

Он прижался к ней и впился толстыми губами в ее румяную щеку.

Она задорно захохотала, крепко схватила Якова за руки и вдруг, сильным движением всего своего тела, рванулась вперед. В объятиях друг друга они тяжелой массой свалились в воду и скрылись в пене и брызгах. Потом на взволнованной воде появилась мокрая голова Якова с испуганным лицом, а рядом с ней вынырнула Мальва. Яков, отчаянно взмахивая руками, разбивал вокруг себя воду, выл и рычал, а Мальва с громким хохотом плавала вокруг него, плеская ему в лицо пригоршни соленой воды, ныряла, уклоняясь от широких взмахов его лап.

— Чёрт! — закричал Яков, фыркая. — Я утону! Будет!.. Ей-богу... утону! Вода... горькая... Ах ты... тону-у!

Но она уже оставила его и, по-мужски загребая руками, плыла к берегу. Там, ловко взобравшись снова на баркас, она стала на корме и, смеясь, смотрела на Якова, торопливо подплывавшего к ней. Мокрая одежда, пристав к ее телу, обрисовывала его формы от колен по плечи, и Яков, подплыв к лодке и уцепившись рукой за нее, уставился жадными глазами на эту почти голую женщину, весело смеявшуюся над ним.

— Ну, вылезай, тюлень! — сказала она сквозь смех и, став на колени, подала ему одну руку, а другой оперлась в борт лодки.

Яков схватил ее руку и с одушевлением воскликнул:

— Ну... Теперь держись! Я тебя — в-выкупаю!..

Он тянул ее к себе, стоя по плечи в воде; волны перебегали через его голову и, разбиваясь о лодку, брызгали в лицо Мальве. Она жмурилась, хохотала и вдруг, взвизгнув, прыгнула в воду, сбив Якова с ног тяжестью своего тела.

И снова они начали играть, как две большие рыбы, в зеленоватой воде, брызгая друг на друга и взвизгивая, фыркая, ныряя.

Солнце, смеясь, смотрело на них, и стекла в окнах

промысловых построек тоже смеялись, отражая солнце. Шумела вода, разбиваемая их сильными руками, чайки, встревоженные этой возней людей, с пронзительными криками носились над их головами, исчезавшими под набегом волн из дали моря...

Наконец, усталые и наглотавшиеся воды, они вылезли на берег и сели на солнце отдыхать.

— Тьфу! — морщась, плевался Яков.— Ну и вода дрянная! То-то ее и много так!

— Дрянного всего много на свете, парней, например,— батюшки сколько! — смеялась Мальва, выжимая воду из своих волос...

Волосы у нее были темные и хотя не длинные, но густые и вьющиеся.

— То-то ты старика и облюбовала себе,— ехидно усмехнулся Яков, толкнув ее локтем в бок.

— Иной старик лучше молодого.

— Уж коли отец хорош, стало быть, сын еще лучше...

— Ишь ты! Где учился хвастать-то?

— Мне девки в деревне часто говорили, что я совсем не плох парень.

— Разве девки что понимают? А ты меня спроси...

— А ты что? Али не девка?

Она пристально взглянула на него; он зазорно смеялся. Тогда она вдруг стала серьезной и с сердцем сказала ему:

— Была, да однажды родила!

— Складно, да не ладно,— сказал Яков и расхохотался.

— Дурачина! — резко бросила ему Мальва и отвернулась от него.

Яков сробел и замолчал, поджав губы.

С полчаса они оба молчали, повертываясь к солнцу так, чтобы оно скорее высушило их мокрое платье.

В бараках — длинных грязных сараях, с крышами на один скат — просыпались рабочие. Издали все они были похожи друг на друга—оборванные, лохматые, босые... Доносились до берега их хриплые голоса, кто-то стучал по дну пустой бочки, летели глухие удары, точно рокотал большой барабан. Две женщины визгливо ругались, лаяла собака.

— Просыпаются,— сказал Яков.— А ведь я хотел сегодня в город ехать пораньше... и вот пробаловал с тобой...

— Со мной добра не будет,— не то шутя, не то серьезно сказала она.

— Чего ты всё пугаешь меня? — удивленно усмехнулся Яков.

— А вот увидишь, как отец-то тебя...

Это напоминание об отце вдруг рассердило его.

— Что отец? Ну? — грубо воскликнул он.— Отец! Я сам не маленький... Важность какая... Здесь не те порядки... я не слепой, вижу... Он сам не праведник... он тут себя не стесняет... Ну, и меня не тронь.

Она насмешливо поглядела ему в лицо и с любопытством спросила:

— Не трогать тебя? А ты что делать собираешься?

— Я? — Он надул щеки и выпятил вперед грудь, как будто тяжесть поднимал.— Я-то? Я много могу! Меня чистым-то воздухом довольно обвеяло, деревенскую-то пыль сдуло с меня.

— Скоренько! — насмешливо воскликнула Мальва.

— А что? Я вот возьму да и отобью тебя у отца.

— Н-ну? Неужто?

— А то побоюсь?

— Да ну-у?

— Ты вот что,— взволнованно и пылко заговорил Яков,— ты меня не дразни! Я... смотри!

— Что? — спокойно спросила она.

— Ничего!

Он отворотился от нее и замолчал, имея вид парня удалого и уверенного в себе.

— А ты задорный! Вот у приказчика черненький кутенок, видел? Так он такой же, как и ты. Издали лает, укусить обещает, а близко подойдешь, он подожмет хвост да и бежать!

— Ну, ладно же! — воскликнул Яков, озлобляясь.— Погоди ты! Увидишь, каков я есть, увидишь!

А она смеялась в лицо ему.

К ним шел, медленной походкой и покачивая корпусом, высокий, жилистый, бронзовый человек в густой шапке растрепанных огненно-рыжих волос. Кумачная

рубаха без пояса была разорвана на спине у него почти до ворота, и чтобы рукава ее не сползали с рук, он засучил их до плеч. Штаны представляли собой коллекцию разнообразных дыр, ноги были босы. На лице, густо усеянном веснушками, дерзко блестели большие голубые глаза, нос, широкий и вздернутый кверху, придавал всей его фигуре вид бесшабашно-нахальный. Подойдя к ним, он остановился и, блестя на солнце телом, выглядывавшим из бесчисленных дыр его костюма, громко шмыгнул носом, вопросительно уставился на них глазами и скорчил смешную рожу.

— Вчера Сережка выпил немножко, а сегодня в кармане у Сережки — как в бездонном лукошке... Дайте двугривенный взаймы! Я всё равно не отдам...

Яков добродушно расхохотался над его бойкой речью, а Мальва усмехнулась, разглядывая его ободранную фигуру.

— Дайте, черти! Я вас обвенчаю за двугривенный — хотите?

— Ах ты, балагур! Да разве ты поп? — смеялся Яков.

— Дурак! Я в Угличе у попа в дворниках жил... Дай двугривенный!

— Я не хочу венчаться! — отказал ему Яков.

— Всё равно — дай! Я твоему отцу не скажу, что ты за его кралей приухлыстываешь,— настаивал Сережка, облизывая языком сухие, потрескавшиеся губы.

— Ври, та́к он тебе и поверит...

— Уж я совру, так поверит! — пообещал Сережка, — и вздует тебя — ах как!

— Не боюсь! — усмехнулся Яков.

— Ну, так я сам вздую! — спокойно заявил Сережка, суживая глаза.

Якову было жалко двугривенного, но его уже предупреждали, что с Сережкой не нужно связываться, а лучше удовлетворить его притязания. Многого он не потребует, а если не дать ему — подстроит во время работы какую-нибудь пакость или изобьет ни за что ни про что. Яков, вспомнив эти наставления, вздохнул и полез в карман.

— Вот так! — поощрил его Сережка, опускаясь на песок рядом с ним.— Всегда меня слушай, умным будешь. А ты,— обратился он к Мальве,— скоро за меня замуж пойдешь? Скорей собирайся,— я долго ждать не буду.

— Драный ты... Зашей дыры сначала, потом поговорим,— ответила Мальва.

Сережка критически посмотрел на свои дыры и качнул головой.

— А ты мне лучше свою юбку дай.

— Так! — сказала Мальва и засмеялась.

— А право! Дай — есть какая-нибудь старенькая?

— Да ты купи себе штаны,— посоветовала Мальва.

— Ну, я лучше пропью деньги...

— Лучше! — смеялся Яков, держа в руке четыре пятака.

— А как же? Мне поп говорил, что человек не о шкуре своей должен заботиться, о душе. Душа у меня требует водки, а не штанов. Давай деньги! Ну, вот теперь я выпью... А отцу про тебя все-таки скажу.

— Говори! — махнул рукой Яков и ухарски подмигнул Мальве, толкнув ее в плечо.

Сережка заметил это, сплюнул и еще пообещал:

— И вздуть тебя не забуду... Как только свободное время будет — такую дам клочку!

— Да за что? — тревожно спросил Яков.

— Уж я знаю... Ну, так замуж за меня скоро пойдешь? — обратился Сережка к Мальве.

— А вот ты расскажи мне, что мы делать будем и как жить,— тогда подумаю,— серьезно сказала она.

Сережка поглядел в море, прищурив глаза, и, облизав губы, объяснил:

— Ничего не будем делать, гулять будем!

— А есть где возьмем?

— Ну,— махнул рукой Сережка,— ты, ровно мать моя, рассуждаешь. Что да как? Разве я знаю, что и как? Пойду выпью...

Он встал и пошел прочь от них, провожаемый странной улыбкой Мальвы и неприязненным взглядом парня.

— Ишь какой командир! — сказал Яков, когда

Сережка ушел от них далеко.— У нас бы в деревне такого хахаля живо усмирили... Дали бы ему хо-орошую взбучку — и всё... А здесь боятся...

Мальва посмотрела на него и процедила сквозь зубы:

— Ах ты, порося! Понимаешь ты ему цену!

— Чего понимаешь? Цена таким пятачок за пучок, да и то — когда их в пучке-то сотня.

— Тоже! — насмешливо воскликнула Мальва. — Это тебе цена... А он... везде бывал, скрозь прошел всю землю и никого не боится...

— А я кого боюсь? — храбро спросил Яков.

Она не ответила ему, задумчиво следя за игрой волн, взбегавших на берег, колыхая тяжелый баркас. Мачта качалась из стороны в сторону, корма, вздымаясь и падая в воду, хлопала по ней. Звук был громкий и досадливый,— точно баркасу хотелось оторваться от берега, уйти в широкое, свободное море и он сердился на канат, удерживавший его.

— Ну, чего же ты не уходишь? — спросила Мальва у Якова.

— А куда мне? — отозвался он.

— В город хотел...

— Не пойду!

— Ну, к отцу поезжай.

— А ты?

— Что?

— Тоже поедешь?

— Нет...

— Ну, и я нет.

— Целый день около меня будешь торчать? — спокойно спросила Мальва.

— Не больно-то ты мне нужна...— ответил Яков с обидой, встал и ушел от нее.

Но он ошибся, говоря, что она не нужна ему. Без нее стало скучно. Странное чувство родилось в нем после разговора с ней: смутный протест против отца, глухое недовольство им. Вчера этого не было, не было и сегодня до встречи с Мальвой... А теперь казалось, что отец мешает ему, хотя он там, далеко в море, на этой, чуть заметной глазу, полоске песку... Потом ему

казалось, что Мальва боится отца. А кабы она не боялась — совсем бы другое вышло у него с ней.

Он шлялся по промыслу, рассматривая людей. Вон, в тени барака, на бочке сидит Сережка и, треньКая на балалайке, поет, строя смешные рожи:

Господин гор-родо-ввой!
Будьте вежливы со мной...
Отведите меня в часть,
Чтобы в грязь мне не упасть...

Его окружает человек двадцать таких же оборванцев, от всех,— как и от всего здесь,— пахнет соленой рыбой, селитрой. Четыре бабы, некрасивые и грязные, сидя на песке, пьют чай, наливая его из большого жестяного чайника. А вот какой-то рабочий, несмотря на утро, уже пьян, возится на песке, пытаясь встать на ноги и снова падая. Где-то, взвизгивая, плачет женщина, доносятся звуки испорченной гармоники, и всюду блестит рыбья чешуя.

В полдень Яков нашел себе тенистое местечко среди груды пустых бочек, лег там и проспал до вечера, а проснувшись, снова начал бродить по промыслу, ощущая смутное влечение куда-то.

Проходив часа два, он нашел Мальву далеко от прииска под купой молоденьких ветел. Она лежала на боку и, держа в руках какую-то растрепанную книжку, смотрела навстречу ему, улыбаясь.

— Ишь ты где! — сказал он, садясь рядом с ней.

— А ты меня давно ищешь? — уверенно спросила она.

— Да разве я тебя искал?! — воскликнул Яков, вдруг понимая, что это так и есть: он искал ее. И, в недоумении, парень качнул головой.

— Ты грамотный? — спросила она его.

— Грамотный... да плохо, забыл всё уж...

— И я тоже — плохо... В школе учился?

— В земской.

— А я сама выучилась...

— Ну?

— Право... В Астрахани у адвоката кухаркой была; сын его научил меня читать.

— Значит, не сама...— пояснил Яков.

Она посмотрела на него и опять спросила:

— А тебе хочется книжки читать?

— Мне? Нет... чего там?

— А я — люблю, — вот выпросила у приказчиковой жены книжку и читаю...

— Про что?

— Про Алексея божия человека.

И, задумчиво рассказав ему о том, как юноша — сын богатых и важных родителей — ушел от них и от своего счастья, а потом вернулся к ним, нищий и оборванный, жил на дворе у них вместе с собаками, не говоря им до смерти своей, кто он,— Мальва тихо спросила у Якова:

— Зачем это он так?

— Кто же его знает? — равнодушно ответил Яков.

Бугры песка, наметенного ветром и волнами, окружали их. Издали доносился глухой, темный шум,— это на промысле шумели. Солнце садилось, на песке лежал розоватый отблеск его лучей. Жалкие кусты ветел чуть трепетали своей бедной листвой под легким ветром с моря. Мальва молчала, прислушиваясь к чему-то.

— Чего же ты сегодня не поехала туда... на косу?

— А тебе что?

Яков искоса жадными глазами поглядывал на женщину, соображая, как ему сказать ей то, что нужно.

— Я вот, когда одна и тихо... всё плакать хочу... Или — петь. Только песен я хороших не знаю, а плакать — стыдно...

Он слышал ее голос, тихий, ласковый, но то, что говорила она, не задело в нем ничего, лишь придало более резкую форму его желанию.

— А ты вот что,— глухо заговорил он, пододвигаясь к ней, но не глядя на нее,— ты послушай, что я тебе скажу... Я — парень молодой...

— И глупый, глу-упый! — убежденно вытянула Мальва, качая головой.

— Ну, пускай глупый,— с досадой воскликнул Яков. — Разве тут ум нужен? Глупый — и ладно! А вот что я скажу — желаешь ты со мной...

— Не желаю!..

— Чего?

— Ничего!

— Да ты не дури...— Он осторожно взял ее за плечи. — Ты сообрази...

— Пошел прочь, Яшка! — сурово сказала она, стряхпув с себя его руку.— Пошел!

Он встал и осмотрелся вокруг.

— Ну... ежели ты так — мне наплевать! Вас здесь много... Думаешь — ты лучше других?

— Щенок ты,— спокойно сказала она, встав на ноги и отряхивая песок с платья.

И они пошли рядом друг с другом на промысел. Шли медленно, потому что ноги вязли в песке.

Яков грубо уговаривал ее уступить его желанию, она спокойно посмеивалась и отвечала ему колкими словами.

Вдруг он, когда они были уже около промысловых бараков, остановился и схватил ее за плечо.

— А ведь это ты нарочно разжигаешь меня?! Зачем ты это? Я тебе — смотри!

— Отстань ты, говорю! — она вывернулась из-под его руки и пошла, а навстречу ей из-за угла барака явился Сережка и, тряхнув своей лохматой огненной башкой, сказал зловеще:

— Гуляли? Ладно!

— Подите вы все к чёрту! — злобно крикнула Мальва.

А Яков остановился против Сережки и угрюмо смотрел на него. Между ними было шагов десять расстояния.

Сережка уставился в глаза Якова. Постояв так с минуту, как два барана, готовые треснуться друг о друга лбами, они молча разошлись в разные стороны.

Море было тихое и красное от заката; над промыслом стоял глухой шум, и из него рельефно выделялся пьяный женский голос, истерически выкрикивавший нелепые слова:

...Та-агарга, матагарга,
Матаничка м-моя!
П-пьяная, избитая,
Растрепанная-а!

И эти слова, гадкие, как мокрицы, разбегались по промыслу, пропитанному запахом селитры и гнилой рыбы,— разбегались, оскорбляя собою музыку волн.

В нежном блеске утренней зари даль моря спокойно дремала, отражая перламутровые облака. На косе возились полусонные рыбаки, укладывая в баркас снасти.

Серая масса сети ползла по песку на баркас и складывалась в кучу на дно его.

Сережка, как всегда, без шапки, полуголый, стоя на корме, торопил рыбаков хриплым, похмельным голосом. Ветер играл лоскутьями его рубахи и рыжими вихрами волос.

— Василий! Где зеленые весла? — кричал кто-то.

Василий, хмурый, как октябрьский день, укладывал невод в баркасе, а Сережка смотрел ему в согнутую спину и облизывал губы,— признак его желания опохмелиться.

— У тебя водка есть? — спросил он.

— Есть,— глухо сказал Василий.

— Ну, так я не поеду... останусь у сухого крыла.

— Готово! — крикнули с косы.

— Отчаливай, давай! — командовал Сережка, сходя с баркаса.— Поезжайте... я останусь здесь. Смотри — завози шире, не путай! Да клади ровнее,— петель не навяжите!..

Баркас столкнули в воду, рыбаки влезли в него с бортов и, разобрав весла, подняли их на воздух, готовые ударить по воде.

— Раз!

Весла дружно упали в волны, и баркас рванулся вперед, в широкую равнину озаренной воды.

— Два! — командовал рулевой, и, как лапы гигантской черепахи, весла поднялись к бортам...— Раз!.. Два!..

На берегу у сухого крыла невода осталось пятеро: Сережка, Василий и еще трое. Один из них опустился на песок и сказал:

— Поспать еще...

Двое последовали его примеру, и на песке скорчились в комки три тела в грязных лохмотьях.

— Ты что в воскресенье не был? — спросил Василий у Сережки, идя с ним в шалаш.

— Нельзя было...

— Пьян был?

— Нет. Следил за твоим сыном да за его мачехой,— спокойно сообщил Сережка.

— Нашел заботу! — криво усмехнулся Василий.— Малые они ребята, что ли?

— Хуже... Один — дурак, другая — юродивая...

— Это Мальва юродивая? — спросил Василий, и глаза его вспыхнули злобой.— Давно ли такой стала?

— У нее, брат, душа не по телу...

— Подлая у нее душа.

Сережка покосился на него и презрительно фыркнул.

— Подлая! Эх вы... землееды тупорылые! Ни черта вы понимать не можете... Вам бы только титьки были у бабы жирные,— а характера ее вам не надо... А в характере весь цвет у человека... без характера баба — без соли хлеб. Можешь ты получить удовольствие от такой балалайки, у которой струн нет? Кобель!..

— Ишь ты до каких речей допился вчера!..— уязвил его Василий.

Ему очень хотелось спросить, где и как видел вчера Сережка Якова и Мальву, но было совестно.

Придя в шалаш, он налил Сережке чайный стакан водки, надеясь, что после такой порции Сережка сразу охмелеет и сам расскажет ему про них.

Но Сережка выпил, крякнул и, весь прояснившись, уселся в двери шалаша, потягиваясь и зевая.

— Выпьешь — как огня проглотишь!..— сказал он.

— Ну и пьешь ты! — воскликнул Василий, пораженный быстротой, с которой Сережка проглотил водку.

— Умею...— кивнул босяк рыжей головой и, вытерев ладонью мокрые усы, заговорил поучительно: — Умею, брат! Я всё делаю скоро и прямо. Без изворотов — валяй прямо и всё! А куда попадешь — это всё равно! С земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь...

— Ты хотел на Кавказ уходить? — спросил Василий, тихонько двигаясь к своей цели...

— Уйду, когда захочу. Когда я захочу,— я прямо — раз-раз и... готово! Или по-моему вышло, или шишку на лбу набью... Просто!

— Чего проще! Вроде как без головы живешь...

Сережка насмешливо покосился на Василия.

— А ты — умный! Тебя сколько раз в волости пороли?

Василий посмотрел на него и смолчал.

— А ведь это хорошо, что у вас начальство ум-то сзади наперед розгами перегоняет... Эх ты! Ну, что ты с своей головой можешь поделать? И куда ты с ней угодишь? И чего ты можешь выдумать? То-то! А я без головы пру прямо, и больше никаких! И, наверное, дальше тебя буду,— хвастливо говорил босяк.

— Это — пожалуй!..— усмехнулся Василий.— Ты и до Сибири дойдешь...

Сережка искренно расхохотался.

Он не пьянел, вопреки ожиданию Василия, и того злило это. Поднести еще стакан ему было жалко, а в трезвом виде от Сережки ничего не добьешься... Но босяк сам выручил его.

— Ты что же про Мальву не спрашиваешь?

— А чего мне? — равнодушно протянул Василий, вздрагивая от какого-то предчувствия.

— Ведь она в воскресенье не была здесь... Спрашивай, как она жила за эти дни... Чай, ревнуешь, старый чёрт!

— Много их! — пренебрежительно махнул рукой Василий...

— Много их! — передразнил Сережка.— Эх вы, деревня лыкова помещика дикого! Дай вам мед, дай деготь — всё у вас кулага будет...

— Ты что ее всё хвалишь? Сватать, что ли, пришел? Так я ее сам давно усватал,— насмешливо сказал Василий.

Сережка осмотрел его, помолчал и увесисто начал говорить Василию, положив ему руку на плечо:

— Я знаю, что она живет с тобой. Я тебе в этом не мешал — не надо было... Но теперь этот Яшка,

сын твой, около нее вертится — вздуй его докрасна! Слышишь? А то я сам вздую... Ты мужик хороший... дурак дубовый... Я тебе не мешал, и ты это помни...

— Вон что! И ты тоже за ней? — глухо спросил Василий.

— Тоже! Кабы я знал, что тоже,— я бы прямо всех вас посшибал с моей дороги и — конец... А то — куда мне ее?

— Так что же ты путаешься? — подозрительно спросил Василий.

Сережку, должно быть, поразил этот простой вопрос.

Он широко открытыми глазами посмотрел на Василия и засмеялся.

— Чего путаюсь? Да — чёрт-е знает чего... Так,— баба она... этакая... с перцем... Нравится мне... А может, мне ее жалко, что ли...

Василий смотрел на него недоверчиво, но чувствовал, что Сережка искренно, от души говорит.

— Кабы она нетронутая девка была — ну еще можно пожалеть. А так — чудно́ что-то!

Сережка молчал, глядя, как баркас далеко в море поворачивал носом к берегу, описывая широкую дугу. Глаза Сережки смотрели открыто, лицо было доброе и простое.

Василий смягчился, глядя на него.

— А ты это верно, она баба славная... вертячка только!.. Яшка? Ну, я ему задам! Ишь, щенок!..

— Мне он не по душе...— заявил Сережка.

— А он ластится к ней? — сквозь зубы спросил Василий, разглаживая бороду.

— Он, — вот увидишь, — клином войдет между вами,— уверенно сказал Сережка.

В дали морской вспыхнул розовый веер лучей восхода. Сквозь шум волн с моря из баркаса долетел слабый крик:

— Веди-и!..

— Вставай, ребята! Эй! К неводу! — командовал Сережка.

И скоро они, все пятеро, уже выбирали свой край невода. Из воды тянулась на берег длинная веревка,

упругая, как струна, и рыбаки, захлестывая за нее лямки, покрякивая, тащили веревку.

А другую сторону невода вел к берегу баркас, скользя по волнам.

Солнце, великолепное и яркое, поднималось над морем.

— Увидишь Якова — скажи, чтобы он завтра побывал ко мне,— попросил Василий Сережку.

— Ладно.

Баркас пристал к берегу, и, соскочив с него на песок, рыбаки тянули свое крыло невода. Две группы постепенно сближались друг с другом, и поплавки невода, прыгая на воде, образовали правильный полукруг.

Поздним вечером этого дня, когда рабочие на промысле поужинали, Мальва, усталая и задумчивая, сидела на разбитой лодке, опрокинутой вверх дном, и смотрела на море, одетое сумраком. Там, далеко, сверкал огонь; Мальва знала, что это костер, зажженный Василием. Одинокий, точно заблудившийся в темной дали моря, огонь то ярко вспыхивал, то угасал, как бы изнемогая. Мальве было грустно смотреть на эту красную точку, потерянную в пустыне, слабо трепетавшую в неугомонном рокоте волн.

— Ты чего тут сидишь? — раздался голос Сережки за ее спиной.

— А тебе что? — спросила она, не взглянув на него.

— Любопытно.

Он помолчал, разглядывая ее, свернул папироску, закурил и сел верхом на лодку. Потом сказал дружелюбно:

— Чудна́я ты баба: то бежишь прочь ото всех, то чуть не всем на шею виснешь.

— Это тебе, что ли, я висну? — равнодушно спросила она.

— Не мне, а Яшке.

— А тебе завидно?

— Мм... Давай прямо, по душе говорить? — предложил Сережка, ударив ее по плечу. Она сидела боком

к нему, и он не видел ее лица, когда она кратко бросила ему:

— Говори.

— Ты что, Василья бросила, что ли?

— Не знаю,— ответила она, помолчав.— А тебе зачем это?

— Да — так...

— Сердита я на него теперь.

— За что?

— Побил меня!..

— Н-ну?.. Это он-то? А ты — далась ему? Ай-яй!

Сережка был изумлен. Он заглядывал сбоку в ее лицо и иронически чмокал губами.

— Кабы захотела — не далась бы,— возразила она с сердцем.

— Так что же ты?

— Не захотела.

— Крепко, значит, любишь кота? — насмешливо сказал Сережка и обдал ее дымом своей папиросы.— Ну, дела! А я было думал, что ты не из таких...

— Никого я вас не люблю,— снова равнодушно сказала она, отмахиваясь рукой от дыма.

— Врешь, поди-ка?

— Для чего мне врать? — спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей действительно не для чего.

— А ежели ты его не любишь, как же ты позволяешь ему бить тебя? — серьезно спросил он.

— Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?

— Чудно́!..— тряхнув головой, сказал Сережка.

И оба они долго молчали.

Ночь приближалась. Тени ложились на море от облаков, медленно двигавшихся в небе. Волны звучали.

Огонь у Василия на косе погас, но Мальва всё еще смотрела туда. А Сережка смотрел на нее.

— Слушай! — сказал он.— Ты знаешь, чего хочешь?

— Кабы знала! — с глубоким вздохом, очень тихо ответила Мальва.

— Стало быть, не знаешь? Это плохо! — уверенно заявил Сережка.— А я вот всегда знаю! — И с от-

тенком грусти он добавил:— Только мне редко чего хочется.

— Мне всегда хочется чего-то,— задумчиво заговорила Мальва.— А чего?.. не знаю. Иной раз села бы в лодку — и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать. А иной раз так бы каждого человека завертела да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась. То жалко всех мне, а пуще всех — себя самоё, то избила бы весь народ. И потом бы себя... страшной смертью... И тоскливо мне и весело бывает... А люди все какие-то дубовые.

— Народ гнилой,— согласился Сережка.— То-то, я смотрю на тебя и вижу — не кошка ты, не рыба... и не птица... А всё это есть в тебе, однако... Не похожа ты на баб.

— И то слава богу! — усмехнулась Мальва.

Из-за гряды песчаных бугров, слева от них, появилась луна, обливая море серебряным блеском. Большая, кроткая, она медленно плыла вверх по голубому своду неба, яркий блеск звезд бледнел и таял в ее ровном, мечтательном свете.

Мальва улыбнулась.

— А... знаешь?.. Мне иной раз кажется,— что, если бы барак ночью поджечь,— вот суматоха была бы!

— Какая! — с восхищением воскликнул Сережка и вдруг толкнул ее в плечо.— Знаешь что... я тебя научу,— забавную штуку сыграем! Хочешь?

— Ну? — с интересом спросила Мальва.

— Ты этого Яшку — раззадорила здорово?

— Огнем пышет,— усмехнулась она.

— Страви его с отцом! Ей-богу! Потешно будет... Схватятся они, как медведи... Ты подогрей старика-то, да и этого тоже... А потом мы их друг на друга и спустим... а?

Мальва обернулась к нему и пристально посмотрела на его рыжее, весело улыбавшееся лицо. Освещенное луной, оно казалось менее пестрым, чем днем, при свете солнца. На нем не было заметно ни злобы,— ничего, кроме добродушной и немножко озорной улыбки.

— За что ты их не любишь? — подозрительно спросила Мальва.

— Я?.. Василий — ничего, мужик хороший. А Яшка — дрянь. Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... сволочи! Они прикинутся сиротами — им и хлеба дают и — всё!.. У них вон есть земство, и оно всё для них делает... Хозяйство у них, земля, скот... Я у земского доктора кучером служил, насмотрелся на них... потом бродяжил много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба — цоп тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бивали сколько раз... То за конокрада примут, то просто так... В холодную сажали... Они ноют да притворяются, но жить могут: у них есть зацепка — земля. А я что против них?

— А ты разве не мужик? — перебила его Мальва, внимательно слушая его речь.

— Я мещанин! — с некоторой гордостью отрекся Сережка.— Города Углича мещанин.

— А я — из Павлиша,— задумчиво сообщила Мальва.

— За меня никого нет заступника! А мужики... они, черти, могут жить. У них и земство и всё такое.

— А земство — это что? — спросила Мальва.

— Что? А чёрт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа... Плюнь на это... Ты говори о деле — устрой-ка им стычку, а? Ничего ведь от этого не будет,— подерутся только!.. Ведь Василий бил тебя? Ну, вот и пусть ему его же сын за твои побои возместит.

— А что? — усмехнулась Мальва.— Это хорошо бы...

— Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?.. Двинула ты языком раз-два и — готово!

Сережка долго, с увлечением рассказывал ей о прелести ее роли. Он одновременно и шутил и говорил серьезно.

— Эх, ежели бы я красивой бабой был! Такую бы я на сем свете заваруху развел! — воскликнул он в заключение, схватил голову в руки, крепко сжал ее, зажмурил глаза и замолчал.

Луна уже была высоко в небе, когда они разошлись. Без них красота ночи увеличилась. Теперь осталось

только безмерное, торжественное море, посеребренное луной, и синее, усеянное звездами небо. Были еще бугры песку, кусты ветел среди них и два длинные, грязные здания на песке, похожие на огромные, грубо сколоченные гроба. Но всё это было жалко и ничтожно перед лицом моря, и звезды, смотревшие на это, блестели холодно.

Отец и сын сидели в шалаше друг против друга, пили водку. Водку принес сын, чтобы не скучно было сидеть у отца и чтобы задобрить его. Сережка сказал Якову, что отец сердится на него за Мальву, а Мальве грозит избить ее до полусмерти; что Мальва знает об этой угрозе и потому не сдается ему, Якову. Сережка смеялся над ним.

— За-адаст он тебе за твои шашни! Так оттянет уши, что они по аршину величиной будут! Ты лучше не попадайся на глаза ему!

Насмешки рыжего, неприятного человека породили в Якове острую злобность к отцу. А тут еще Мальва мнется и, глядя на него то задорно, то грустно, усиливает до боли его желание обладать ею...

И вот Яков, придя к отцу, смотрит на него, как на камень посреди своей дороги,— на камень, через который невозможно перескочить и обойти его нельзя. Но, чувствуя, что он нимало не боится отца, Яков уверенно смотрел в его угрюмые, злые глаза, точно говорил ему:

«Ну-ка, тронь?!»

Они уже дважды выпили, но ничего не сказали еще друг другу, кроме нескольких незначительных слов о промысловой жизни. Один на один среди моря, они копили в себе озлобление друг против друга, и оба знали, что скоро оно вспыхнет, обожжет их.

Рогожи шалаша шуршали под ветром, лубки постукивали друг о друга, красная тряпка на конце шеста лепетала что-то. Все эти звуки были робки и похожи на отдаленный шёпот, бессвязно, нерешительно просивший о чем-то.

— Что, Сережка пьет всё? — угрюмо спросил Василий.

— Пьет, каждый вечер пьяный,— ответил сын, наливая еще водки.

— Пропадет он... Вот она, свободная-то жизнь... без страха!.. И ты такой же будешь...

Яков кратко ответил:

— Я таким не буду!

— Не будешь?! — хмуря брови, сказал Василий.— Знаю я, что говорю... Сколько времени живешь здесь? Третий месяц пошел, скоро надо будет домой идти, а много ли денег понесешь? — Он сердито плеснул из чашки в рот себе водку и, собрав бороду в руку, дернул ее так, что у него голова тряхнулась.

— За такое малое время многого здесь и нельзя добыть,— резонно ответил Яков.

— А коли так, так нечего тебе тут шалыганить: иди в деревню!

Яков молча усмехнулся.

— Что рожу кривишь? — угрожающе воскликнул Василий, озлобляясь спокойствием сына.— Отец говорит, а ты смеешься! Смотри, не рано ли начал вольничать-то? Не взнуздал бы я тебя...

Яков налил водки, выпил. Грубые придирки обижали его, но он крепился, не желая говорить так, как думал и хотел, чтоб не взбесить отца. Он немножко робел пред его взглядом, сверкавшим сурово и жестко.

А Василий, видя, что сын выпил один, не налив ему, еще более освирепел.

— Говорит тебе отец — ступай домой, а ты смешки ему показываешь? Проси в субботу расчет и... марш в деревню! Слышишь?

— Не пойду! — твердо сказал Яков и упрямо мотнул головой.

— Это как так? — взревел Василий и, опершись руками о бочку, поднялся со своего места. — Я тебе говорю или нет? Что ты, собака, против отца рычишь? Забыл, что я могу с тобой сделать? Забыл ты?

Губы у него дрожали, лицо кривили судороги; две жилы вздулись на висках.

— Ничего я не забыл,— вполголоса сказал Яков, не глядя на отца.— Ты-то всё ли помнишь, гляди?

— Не твое дело учить меня! Разражу вдребезги...

Яков уклонился от руки отца, поднятой над его головой, и, стиснув зубы, заявил:

— Ты не тронь меня... Здесь не деревня.

— Молчать! Я тебе везде — отец!..

— Здесь в волости не выпорешь, нет ее здесь, волости-то,— усмехнулся Яков прямо в лицо ему и тоже медленно поднялся.

Василий, с налитыми кровью глазами, вытянув вперед шею, сжал кулаки и дышал в лицо сына горячим дыханием, смешанным с запахом водки; а Яков откинулся назад и зорко следил угрюмым взглядом за каждым движением отца, готовый отражать удары, наружно спокойный, но — весь в горячем поту. Между ними была бочка, служившая им столом.

— Не выпорю? — хрипло спросил Василий, изгибая спину, как кот, готовый прыгнуть.

— Здесь — все ровня... Ты рабочий — и я тоже.

— Вон что-о?

— Ну, а как? За что ты на меня взъелся? Думаешь, я не понимаю? Ты сам сначала...

Василий зарычал и так быстро взмахнул рукой, что Яков не успел уклониться. Удар попал ему по голове; он пошатнулся и оскалил зубы в зверское лицо отца, уже снова поднявшего руку.

— Смотри! — предупредил он его, сжимая кулаки.

— Я тебе — посмотрю!

— Брось, мол!

— Ага... ты!.. ты — отца?.. отца?.. отца?..

Им было тесно тут, в ногах у них путалось кулье из-под соли, опрокинутая бочка, обрубок.

Отбиваясь кулаками от ударов, Яков, бледный и потный, со стиснутыми зубами и по-волчьи горевшим взглядом, медленно отступал перед отцом, а тот шел на него, свирепо махая кулаками, слепой в своей злобе, как-то вдруг и странно растрепавшийся — точно ощетинился, как освирепевший кабан.

— Отстань — будет — брось! — говорил Яков, зловеще и спокойно, выходя из двери шалаша на волю.

Отец рычал и лез на него, но его удары встречали только кулаки сына.

— Ишь как тебя... ишь...— поддразнивал его Яков, сознавая себя более ловким.

— Погоди... пос-стой...

Но Яков прыгнул вбок и бросился бежать к морю.

Василий пустился за ним, наклонив голову и простирая руки вперед, но запнулся ногой за что-то и упал грудью на песок. Он быстро поднялся на колени и сел, упершись в песок руками. Он был совершенно обессилен этой возней и тоскливо завыл от жгучего чувства неудовлетворенной обиды, от горького сознания своей слабости...

— Будь ты проклят! — захрипел он, вытягивая шею к Якову и сплевывая пену бешенства со своих дрожащих губ.

Яков прислонился к лодке и зорко смотрел на него, потирая рукой ушибленную голову. Один рукав его рубахи был оторван и висел на нитке, ворот тоже был разорван, белая потная грудь лоснилась на солнце, точно смазанная жиром. Он чувствовал теперь презрение к отцу; он считал его сильнее, и, глядя, как отец, растрепанный и жалкий, сидит на песке и грозит ему кулаками, он улыбался снисходительной, обидной улыбкой сильного слабому.

— Проклят ты от меня... вовеки!

Василий так громко крикнул проклятие, что Яков невольно оглянулся в даль моря, к промыслу, точно думал, что там услышат этот крик бессилия.

Но там были только волны и солнце. Тогда он сплюнул в сторону и сказал:

— Кричи!.. Кому досадишь? Себе только... А коли у нас так вышло, я вот что скажу...

— Молчи!.. Уйди с глаз... уйди!—крикнул Василий.

— В деревню я не пойду... буду тут зимовать... — говорил Яков, не переставая следить за движениями отца.— Мне здесь лучше,— я это понимаю, не дурак. Здесь легче... Там ты бы надо мной верховодил, как хотел, а здесь — на-ко выкуси!

Он показал отцу кукиш и засмеялся, не громко, но так, что Василий, снова разъяренный, вскочил на ноги и, схватив весло, бросился к нему, хрипло выкрикивая:

— Отцу? Отцу-то? Убью...

Но когда он, слепой в своей ярости, подскочил к лодке, Яков был уже далеко от него. Он бежал, и оторванный рукав рубашки несся за ним по воздуху.

Василий бросил в него веслом, оно не долетело, и мужик, снова обессиленный, свалился грудью в лодку и царапал ногтями дерево, глядя на сына, а тот кричал ему издали:

— Стыдился бы! Седой уж, а — из-за бабы — так озверел... Эх ты! А в деревню я не ворочусь... Сам иди туда... нечего тебе тут делать...

— Яшка! молчи! — заглушая его крик, взревел Василий.— Яшка! Убью я тебя... Поди прочь!

Яков пошел не торопясь.

Тупыми, безумными глазами отец смотрел, как он идет. Вот он стал короче, ноги его как бы утонули в песке... он ушел в него по пояс... по плечи... с головой. Нет его... Но через минуту, немного дальше того места, где он исчез, опять сначала появилась его голова, плечи, потом весь он... Он стал меньше теперь... Обернулся и смотрит сюда и что-то кричит.

— Проклят ты! Проклят, проклят! — ответил Василий на крик сына. Тот махнул рукой, снова пошел и... снова исчез за бугром песка.

Василий еще долго смотрел в ту сторону, пока спина его не заныла от неудобной позы, в которой он полулежал, прислонясь к лодке. Разбитый, он встал на ноги и пошатнулся от ноющей боли в костях. Пояс сбился ему под мышки; деревянными пальцами он развязал его, поднес к глазам и бросил на песок. Потом пошел в шалаш и, остановясь перед углублением в песке, вспомнил, что на этом месте он упал и что если б не упал он, то поймал бы сына. В шалаше всё было разбросано. Василий поискал глазами бутылку с водкой и, найдя ее между кулями, поднял. Пробка сидела в горле бутылки плотно, водка не пролилась. Василий медленно выковырял пробку и, сунув горло бутылки себе в рот, хотел пить. Но стекло стукало его по зубам, и водка лилась изо рта на бороду, на грудь.

В голове у Василия шумело, на сердце было тяжело, спину ломила ноющая боль.

— Стар я, однако!.. — вслух сказал он и опустился на песок у входа в шалаш.

Пред ним было море. Смеялись волны, как всегда шумные, игривые. Василий долго смотрел на воду и вспомнил жадные слова сына:

«Кабы это всё земля была! Да чернозем бы! Да распахать бы!»

Едкое чувство охватило мужика. Он крепко потер себе грудь, оглянулся вокруг себя и глубоко вздохнул. Голова его низко опустилась и спина согнулась, точно тяжесть легла на нее. Горло сжималось от приступов удушья. Василий откашлялся, перекрестился, глядя на небо. Тяжелая дума обуяла его.

... За то, что он, ради гулящей бабы, бросил жену, с которой прожил в честном труде больше полутора десятка лет,— господь наказал его восстанием сына. Так, господи!

Надругался сын над ним, больно рванул его за сердце... Убить его мало за то, что он так надсадил душу своего отца! Из-за чего? Из-за женщины, дрянной, зазорной жизнью живущей!.. Грех было ему, старику, связываться с ней, забыв о своей жене и сыне...

И вот господь, во святом гневе своем, напомнил ему, через сына, ударил его по сердцу справедливой карой своей... Так, господи!..

Василий сидел согнувшись, крестился и часто моргал глазами, смахивая ресницами слезы, ослеплявшие его.

Солнце опускалось в море. На небе тихо гасла багряная заря. Из безмолвной дали несся теплый ветер в мокрое от слез лицо мужика. Погруженный в думы раскаяния, он сидел до поры, пока не уснул.

Через день после ссоры с отцом Яков с партией рабочих отправился на барке под буксиром парохода, верст за тридцать от промысла, на ловлю осетра. Воротился он на промысел через пять дней один, в лодке под парусом,— его послали за харчами. Он приехал в полдень, когда рабочие, пообедав, отдыхали. Было не-

стерпимо жарко, раскаленный песок жег ноги, а чешуя и кости рыб кололи их. Яков осторожно шагал к баракам и ругал себя за то, что не надел сапог. Возвращаться на баркас было лень, к тому же он торопился скорее поесть чего-нибудь и увидеть Мальву. За скучное время, проведенное в море, он часто вспоминал ее. Ему теперь хотелось узнать, видела ли она его отца и что он говорил ей... Может быть, он избил ее? Ее побить не вредно — смирнее будет! А то больно уж задорна да бойка она...

На промысле было тихо и пустынно. Окна в бараках были открыты, и эти большие деревянные ящики тоже, казалось, изнывали от жары. В приказчиковой конторе, спрятавшейся между бараками, надрываясь, кричал ребенок. Из-за груды бочек доносились чьи-то тихие голоса.

Яков смело пошел на них: ему показалось, что он слышит речь Мальвы. Но, подойдя к бочкам и взглянув за них, он отступил назад и, насупившись, стал.

За бочками, в тени их, лежал вверх грудью, закинув руки под голову, рыжий Сережка. По одну сторону его сидел отец, а по другую — Мальва.

Яков подумал про отца:

«Зачем он тут? Неужто перевелся на промысел со своей спокойной должности для того, чтобы к Мальве ближе быть, а его к ней не подпускать? Ах, чёрт! Кабы мать все эти его поступки знала!.. Идти к ним или не надо?»

— Так!.. — сказал Сережка.— Стало быть — прощай? Ну, что же! Иди, ковыряй землю...

Яков радостно моргнул.

— Иду... — сказал отец.

Тогда Яков смело шагнул вперед и поздоровался:

— Честно́й компании!

Отец мельком взглянул на него и отвернулся в сторону, Мальва и бровью не моргнула, а Сережка дрыгнул ногой и сказал густым голосом:

— Вот воротился из дальних стран возлюбленный сын наш Яшка! — и своим обыкновенным тоном добавил: — Драть с него шкуру на барабан, как овчину с барашка...

Мальва тихо засмеялась.

— Жарко! — сказал Яков, садясь.

Василий снова взглянул на него.

— А я тебя, Яков, жду,— заговорил он.

Голос его показался Якову более тихим, чем всегда, и лицо было тоже точно новое.

— Я за харчами... — сообщил он и попросил у Сережки табаку на папироску.

— Нет от меня табаку тебе, дураку,— сказал Сережка, не двигаясь.

— Ухожу я домой, Яков,— внушительно произнес Василий, ковыряя песок пальцем руки.

— Что — так? — невинно посмотрел на него сын.

— Ну, а ты... останешься?

— Да, я останусь... Что нам двоим дома делать?

— Ну... я ничего не скажу. Как хочешь... не маленький! Только ты того... помни, что я недолго протяну. Жить-то, может, и буду, а работать не знаю уж как... Отвык я, чай, от земли... Так ты помни, мать у тебя там есть.

Ему, должно быть, трудно было говорить: слова как-то вязли у него в зубах. Он гладил бороду, и рука его дрожала.

Мальва пристально смотрела на него. Сережка прищурил один глаз, а другой сделал круглым и уставил его в лицо Якова. Яков был полон радости и, боясь выдать ее, молчал, глядя на свои ноги.

— Не забудь же про мать-то... Смотри, один ты у нее,— говорил Василий.

— Чего там? — сказал Яков, поежившись.— Я знаю.

— Ладно, коли знаешь!.. — недоверчиво взглянув на него, сказал отец.— Я говорю только — не забудь, мол.

Василий глубоко вздохнул. Несколько минут все четверо молчали. Потом Мальва сказала:

— Скоро зазвонят на работу...

— Ну, я пойду!.. — поднимаясь на ноги, объявил Василий. И все остальные встали за ним.

— Прощай, Сергей... Случится тебе быть на Волге — может, заглянешь?.. Симбирского уезда, деревня Мазло, Николо-Лыковской волости...

— Ладно,— сказал Сережка, тряхнул ему руку и, не выпуская ее из своей жилистой лапы, поросшей рыжей шерстью, взглянул с улыбкой в его грустное и серьезное лицо.

— Лыково-Никольское — большое село... Далеко его знают, а мы от него — четыре версты,— объяснял Василий.

— Ну, ну... Я забреду,— коли случай будет...

— Прощай!

— Прощай, милый человек!

— Прощай, Мальва! — глухо сказал Василий, не глядя на нее.

Она не торопясь вытерла себе губы рукавом и, закинув ему свои белые руки на плечи, трижды молча и серьезно поцеловала его в щеки и губы.

Он смутился и что-то невнятно промычал. Яков наклонил голову, скрывая усмешку, а Сережка легонько зевнул, глядя в небо.

— Жарко тебе будет идти,— сказал он.

— Ничего... Ну, прощай, Яков!

— Прощай!

Они стояли друг против друга, не зная, что делать. Печальное слово «прощай», так часто и однообразно звучавшее в воздухе в эти секунды, пробудило в душе Якова теплое чувство к отцу, но он не знал, как выразить его: обнять отца, как это сделала Мальва, или пожать ему руку, как Сережка? А Василию была обидна нерешительность, выражавшаяся в позе и на лице сына, и еще он чувствовал что-то близкое к стыду пред Яковом. Это чувство вызывалось в нем воспоминаниями о сцене на косе и поцелуями Мальвы.

— Так про мать-то помни! — сказал, наконец, Василий.

— Да ладно уж! — тепло улыбнувшись, воскликнул Яков.— Ты не беспокой себя... а я уж!..

И он тряхнул головой.

— Ну... и всё! Живите тут, дай вам господь... не поминайте лихом... Так котелок-то, Серега, в песке я зарыл, под кормой, у зеленой лодки.

— А на что ему котелок? — быстро спросил Яков.

— Он на мое место определен... Туда, на косу! — объяснил Василий.

Яков посмотрел на Сережку, взглянул на Мальву и опустил голову, скрывая радостный блеск в своих глазах.

— Прощайте ж, братцы... иду я!

Василий поклонился им и пошел. Мальва двинулась за ним.

— Я провожу тебя немножко...

Сережка лег на песок и схватил за ногу Якова, тоже было шагнувшего за Мальвой.

— Тпру! Куда?

— Погоди! Пусти... — рванулся было Яков.

Но Сережка схватил его за другую ногу.

— Посиди со мной...

— Да ну-у! Чего дуришь?

— Я не дурю... А ты сядь!

Яков сел, стиснув зубы.

— Чего тебе надо?

— Погоди! Ты помолчи, а я подумаю, потом и скажу...

Он грозно окинул парня своими нахальными глазами, и Яков покорился ему...

Мальва и Василий несколько времени шли молча. Она заглядывала сбоку в лицо ему, а глаза ее странно блестели. А Василий угрюмо нахмурился и молчал. Ноги их вязли в песке, и шли они медленно.

— Вася!

— Что?

Он взглянул на нее и тотчас отвернулся.

— А ведь это я нарочно поссорила тебя с Яшкой-то... Можно бы и так жить вам здесь, не ссорясь,— говорила она спокойно и ровно.

— Зачем же это ты? — помолчав, спросил Василий.

— Не знаю... Так!

Она пожала плечами, усмехаясь.

— Хорошее сделала дело! Эх ты! — укорил он ее злым голосом.

Она промолчала.

— Испортишь ты мне парня, вконец испортишь!

Эхма! Ведьма ты, ведьма... бога не боишься... стыда не имеешь... что делаешь?

— А что надо делать? — спросила она его. Не то тревога, не то досада звучали в ее вопросе.

— Что? Эх ты!.. — вспыхивая острой злобой к ней, воскликнул Василий.

Ему страстно хотелось ударить ее, свалить ее себе под ноги и втоптать в песок, ударяя сапогами в ее грудь и лицо. Он сжал кулак и оглянулся назад.

Там, у бочек, торчали фигуры Якова и Сережки, и лица их были обращены к нему.

— Поди прочь,— уйди! Расшиб бы я тебя...

Он почти шептал ей ругательства прямо в лицо. Глаза у него были налиты кровью, борода тряслась, а руки невольно тянулись к ее волосам, выбившимся из-под платка.

Она же смотрела на него спокойно своими зелеными глазами.

— Убить бы мне тебя, потаскуха ты! Погоди... налетишь еще... сломят тебе башку!

Она усмехнулась, помолчала, а потом, вздохнув глубоко, бросила ему:

— Ну, полно... Прощай!

И, круто повернувшись, пошла назад.

Василий рычал вслед ей и скрипел зубами. А Мальва шла и всё старалась попасть своими ногами в ясные глубокие следы ног Василия, оттиснутые в песке, и, попав в этот след, она старательно затирала его своей ногой. Так она медленно шла вплоть до бочек, где Сережка встретил ее вопросом:

— Ну, проводила?

Она утвердительно кивнула ему головой и села рядом с ним. Яков смотрел на нее и ласково улыбался, двигая своими губами так, точно он шептал что-то, слышное только ему.

— Что же — проводила, жалко стало? — снова спросил ее Сережка словами песни.

— Ты когда пойдешь туда, на косу? — ответила она вопросом, кивая головой в море.

— Вечером.

— И я с тобой...

— Важно!.. Это я люблю...

— И я пойду! — решительно заявил Яков.

— Кто тебя зовет? — спросил Сережка, щуря глаза.

Раздался дребезжащий звон разбитого колокола — призыв к работе. Звуки торопливо неслись в воздухе один за другим и умирали в веселом шорохе волн.

— А вот она позовет! — сказал Яков, вызывающе глядя на Мальву.

— Я? На что ты мне нужен? — удивилась она.

— Будем говорить прямо, Яшка!.. — сурово сказал Сергей, поднимаясь на ноги.— Ежели ты к ней приставать будешь — изобью вдрызг! А пальцем тронешь — убью, как муху! Хлопну по башке — и нет тебя на свете! У меня — просто!

Всё лицо его, вся фигура и узловатые руки, потянувшиеся к горлу Якова, очень убедительно говорили о том, как всё это просто для него.

Яков отступил на шаг и сдавленно сказал:

— Погоди! Ведь она сама же...

— Цыц — и всё тут! Что ты такое? Не тебе, собака, барашка поедать: скажи спасибо, коли дадут костей поглодать... Ну?.. Чего буркалы пялишь?

Яков взглянул на Мальву. Зеленые глаза ее усмехались в лицо ему обидной, унижающей усмешкой, и она прижалась сбоку к Сережке так ласково, что Якова в пот бросило.

Они ушли от него рядом друг с другом и, отойдя немного, засмеялись оба громким смехом. Яков крепко втиснул правую ногу в песок и замер в напряженной позе, тяжело дыша.

Вдали по желтым, мертвым волнам песка двигалась маленькая, темная человеческая фигурка; справа от нее сверкало на солнце веселое, могучее море, а слева, вплоть до горизонта, лежали пески — однообразные, унылые, пустынные. Яков посмотрел на одинокого человека и, заморгав глазами, полными обиды и недоумения, крепко потер себе грудь обеими руками...

На промысле закипала работа.

Яков слышал сочный, грудной голос Мальвы, сердито кричавшей:

— Кто взял мой нож?..

Волны звучали, солнце сияло, море смеялось...

II

ИДИЛЛИЯ

В маленькой комнатке с низким закопченным потолком слабо мерцает лампада пред божницей в углу. Ее дрожащий свет родил на стенах неустанно трепещущие, пугливые тени, и они, ползая вверх и вниз, то покрывают собой, то открывают яркие дешевые картинки, изображающие «Страшный суд», «Путь праведника и грешника» и другие ужасы в этом роде, иллюстрирующие достоинства добродетели и недостатки порока.

Кроме мерцания лампады, в комнату входит еще длинная полоса света откуда-то извне, сквозь стекло четырехугольного отверстия в низкой, обитой клеенкой двери. Эта полоса ложится светлой тропой на пол, покрытый холщовым половиком, и уходит под стол. Пахнет деревянным маслом и еще чем-то, таким же тяжелым. Вся комната тесно заставлена. По одной ее стене стоит широкая двуспальная кровать, за спинкой кровати — громадный, покрытый ковром, сундук, потом божница. У другой стены помещается неуклюжий, старинный комод, рядом с ним опять большой сундук, за ним — стол, а между столом и дверью на стене висит гора одежды. Впереди, у широкого окна, стоит еще стол, два стула по бокам его, один посредине, на столе лампа, две рамки с портретами и толстая книга в коже.

В окно смотрит темно-синее небо летней ночи, молчаливое и меланхоличное, с золотыми крапинками беспокойно дрожащих звезд. Порой стекла окна дребезжат от шума проехавшей по улице пролетки. Полумрак в комнате увеличивает размеры загромождающих ее предметов, и от безмолвной игры теней всё свободное пространство среди комнаты кажется населенным призраками. Яркие пятна картин на стенах смотрят, как

чьи-то четырехугольные, большие и уродливые глаза. И всё в этом тесном чулане пропитано безмолвием и тяжелым, мертвым запахом.

Светлый четырехугольник в двери иногда застилает собой какое-то темное тело... Тогда полоса света на полу вздрагивает и на секунду исчезает, потом снова является, как широкий меч, вонзаясь в сумрак и пугая своим появлением населяющие его тени. Но безмолвие не оживляется этим движением света; только из-за двери доносятся в пустоту комнаты щелканье косточек счет, характерный звон денег и удары чем-то тяжелым по доске.

...Дверь отворяется, и в комнату входит маленький, сухой старик, с острой седой бородкой, в тяжелых очках на красном хрящеватом носу, в белом длинном переднике и с лампой в руке. За ним стоит, держась за скобку двери, старушка, сгорбленная временем, с головой, наклоненной к земле. Они оба окидывают быстрым взглядом внутренность каморки; старик ставит лампу на стол, крестится и сиповато говорит:

— День прошел и — слава богу!

— Слава те, господи! — вторит ему старуха.— Чайку попьешь?

— Уж известно!

И старушка возвращается назад в помещение, заваленное мешками муки, ящиками, банками. Это — маленькая бакалейная лавочка на захолустной улице города. В ней продают коленкор и деготь, иголки и сено, угли, хлеб, нитки, табак, кислую капусту — всё, что ежедневно нужно людям, считающим деньги копейками.

Пока старушка возится в лавке, старик проходит вперед к столу и ставит лампу, тихо напевая себе под нос какой-то тропарь. Комната сразу принимает жилой вид, и теперь можно ясно разобрать неописуемые муки грешников на картине «Страшного суда».

— «И-им же тя хва-а-лим...» Мать! Захвати-кась счеты оттуда...

— Знаю, чай... — ворчливо отвечает старушка, гремя чайной посудой.

— То-то... «Им же тя ве-елича-аем...»

Заложив руки за спину, он останавливается пред

«Страшным судом» и перестает петь, в тысяча первый раз рассматривая, как корчатся грешники, палимые огнем адовым, похожим на снопы красной соломы. Каждый грешник поджаривается в отдельном помещении и представляет вместе с огнем, объявшим до половины его скрюченное муками тело, нечто очень похожее на половинку елочной хлопушки, из которой высунулся сюрприз.

— «О-от юности моея мнози борют мя страсти, но сам мя заступи и спаси, спасе мой...» — баском и речитативом произносит старик и, отходя от картины, глубоко воздыхает.

— Отец, неси-ко самовар-от! — командует мать из лавочки.

— Готов уж? Ай да ты у меня! — говорит отец, идя в лавку, а навстречу ему несется ворчливое, но польщенное:

— Ну уж!

Это у них происходит каждый день после того, как они закроют свою лавочку и на свободе захотят попить чайку. Почти всегда, кончая торговлю, он начинает петь тропари, ирмосы и кондаки, она ставит самовар; потом они садятся пить чай и за чаем считают дневную выручку и свои барыши.

Вот они за столом. Самовар шипит и курлыкает; мать сняла платок с головы, поправила шелковую «головку» на своих седых волосах и наливает отцу чай в фаянсовый бокал с отбитой ручкой, который служит уже не один десяток лет. Перед ней — синяя, с черной трещиной, большая чашка, блюдечко с медом, крепдели... Перед ним — счеты и длинная узенькая книга, испещренная крупными иероглифами, выведенными карандашом... Он вонзает свои маленькие, быстрые глазки с красными веками в книгу и кладет сухой, крючковатый и коричневый палец на грязные косточки счет.

— Ну-кося, господи благослови!

И старуха крестится, благоговейно взглядывая на божницу. Потом она переводит глаза на палец мужа, то и дело передвигающий косточки, и следит за ним, смачно прихлебывая с блюдечка чай. Минут пять вся комната полна щелканьем косточек, шёпотом старика,

читающего цифры, и бульканьем чая в горле старухи. Ее сморщенное, как смятая перчатка, лицо — полно внимания, большие черные, тусклые глаза не отрываются от счет.

У него на лице — напряжение математика, решающего сложную задачу.

— Мыло... полфунта 6 к., махорка 4 к. ... гривенник... н-да... А всего итого отпущено сегодня в долг на два шесть гривен! Вот как!

— Мишка-сапожник отдал восемнадцать копеек? — осведомляется старуха.

— Сапожник? Просил приписать к старому долгу. Это дело пропащее... И зачем ты ему отпустила?

— Да я, говорит, в субботу отдам все...

— Как он может отдать? Жена у него больная, сам он без работы, а Манька знать их не хочет... гуляет себе и больше никаких.

— Да ведь у тебя расписка на него есть?

— Расписка есть... Возня. К мировому надо, а он, мировой-то, по гривеннику с листа прошения возьмет... да разная другая канитель... Глядишь — вместо пяти-то сорока и получишь четыре целковых, а это не резон...

— У них благословенная икона есть в серебряной ризе... она рублей в восемь ценой... — напомнила старуха.

— Это я знаю... Прохвост — заложит, пожалуй...

— Пускай заложит — ведь не кому другому, а всё нам же...

— Нам-то нам... да ведь под нее надо дать хоть целковый, а с долгом-то это уж будет шесть сорок...

— И то мы в барыше...

— Мы всегда будем в барыше, потому мы с тобой люди прозорливые... А только и то надо помнить — какой барыш...

— Ну, уж не всё помногу...

— И это верно... Да-кось мне медку-то!

Минуты две продолжается молчание, прерываемое только звучным схлебыванием чая с блюдечек. Старики сосредоточенно дуют на дымящийся чай и посматривают в открытое окно на ночное, торжественно важное небо и на яркие звезды его...

— А опять вызвездило,— говорит старик, выпив свой стакан,— завтра ведрено будет.

— Теперь такие дни должны быть всплошь до нового месяца... Месяц будет обмываться — опять дожди пойдут,— поясняет старуха. — А как ты думаешь про Загарину-барыню?..

— А думаю так, что надо будет исполнительный-то лист пустить в действие. Описать у нее все хурды-мурды да и вчистую ее...

— В богадельню-то ее не приняли...

— Н-ну?! Значит, надо поторопиться нам, а то она всё продавать учнет. Чем ей, кроме, жить?

— На паперть — одна дорога... Онамедни к ней татары приходили... Я смотрела — продаст чего или нет? Не продала...

— Видишь? Завтра я ее подожму. А может, она и продала что мелкое?

— Кажись бы, нет...— с сомнением сказала старуха.

— Погибла дворянка... — помолчав, решил старик.

— Да уж... Все они теперь так хизнут...

— Ну, туда и дорога. В свое время пожили, попировали... теперь давай дорогу другим.

Старик многозначительно улыбнулся, взглянув в лицо своей жены, и оба они перевели глаза на портреты, стоявшие за самоваром. На одном из них был снят рослый гимназист с угловатым, резким лицом, на другом — полная девочка с длинной косой, переброшенной через круглое плечо на грудь, и высоким лбом с упрямой складкой над переносьем.

— Вот они... новые-то жители земли... — кивнул головой старик, и его сухое, острое лицо оживилось доброй и мягкой улыбкой... Старушка тихонько хихикнула, тоже вся преображенная. Но это скоро прошло у них, ибо еще не вполне наступил час нежных чувств.

— Лександру-то надо будет послать рублей... с четвертную,— начал задумчиво и хмуро старик.— Хоша он за урок и получает, однако в таком кругу ему нужно следить за собой. Брюки, там, новые и всё такое. Товарищи... Тоже молодость...

— Испорть его, смотри! — предупредила старуха.

— Сашутку-то?.. Его тысячьми не испортишь,— он свою дорогу твердо знает. Вот я с Загариной да с Унженцова взыщу и пошлю ему.

— Чай, и Соне пора высылать...

— И Соне пошлю... Не бойсь, не забуду...

— И как она, я всё думаю, живет там, среди чужих-то? То-то, чай, дико бедненькой девоньке... — пригорюнилась старуха.

— Ничего... живет! Пишет — хорошо. Столичные — народ вежливый, смирный,— не наш брат... Вон третьеводни Сачков какой скандал подпял... Орет: «Донесу!» Говорит: «Заклады тайно принимаешь!.. Подай, говорит, мои вещи». А проценты седьмой месяц, мошенник, не платит. Теперь под заклад-то ему я дал тридцать, считай — по полтора рубля в месяц — уж и стало тридцать девять... Этого не понимает, кривая рожа... «Донесу!» А доноси! Найди у нас что-нибудь, ищи, вот те все сундуки!

Старик взволновался: у него покраснел и задрожал нос и очки запрыгали. Он даже закашлялся от негодования.

— А господь с ними со всеми,— миролюбиво сказала старуха и добавила: — Что они нам могут сделать? Покричат — да к нам же в нужде своей придут. А что не любят нас в околотке — пускай! Нас есть кому любить...— Она кивнула головой на портреты и снова мягко улыбнулась.

— Это так,— соглашался старик, успокаиваясь.— Это верно... Но все-таки, ежели я захочу прытко действовать,— пол-улицы как после пожара очутится. По миру пойдет!.. Потому — документы! — И он, внушительно стукнув сухими пальцами по столу, строго посмотрел на жену.

— А господь с ними, пускай их живут,— неизменно твердила старуха.— Чего ты серчаешь, коли тебе твоя сила известна?

— Обидно, мать, понимаешь? Одни мы, что ли, на земле — грешники? А выходит — как бы одни... Все на нас зубы точат, все злорадствуют.

— А нам больно наплевать,— философски возразила старуха.— Али господь-батюшка не видит, для чего

мы с тобой живем? Он всё видит! Его святой суд будет,— ну, и ответим мы пред ним... А люди нам не помеха...

— Это верно...— спокойно сказал старик.— Напилась ты? Ну, так собирай да ложись, а я псалтирь почитаю часок...

— Ну-ну, я сейчас... Почитай-кось, и утихомиришься словом-то божьим. А серчать, я тебе всегда говорю, не надо. Не для себя ведь мы — для родных, кровных детей. Вырастим их, выучим,— они вину нашу пред господом людям заслужат. Будут образованные, царевы и боговы верные люди. Ну, ради них мы и согрешим, так, чай, не во грех будет зачтено. Ведь и птичка божия, птенчиков своих выкармливая, жучков да божиих коровок клюет,— так-то-ся...

— Это истинно... Будет Соня докторшей, а Санька учителем.

— А он ведь адвокатом хотел? — быстро сказала старуха, перестав мыть чашки.

— Расхотел. Чай, я читал тебе письмо-то? Перехожу, говорит, на филагогический... в учителя, значит,— пояснил старик и, задумчиво глядя на портрет, добавил: — Да-а-леко он пойдет! Твердая у него голова.

— Дай-ко ты, господи! — молитвенно сказала старуха.

— И Соня тоже... Вознаградил нас господь бог за наши труды... да! Удались нам детки! — воскликнул старик.

— А ты еще скулишь — люди, люди! А что нам люди? Зачем нам люди?

— И верно! Ах, мать, и как это верно ты сказала!

Он даже глаза зажмурил от удовольствия и с улыбкой покачал головой, а его старуха, опершись руками о стол, улыбалась двум портретам глубоко нежной улыбкой матери.

— Ну, готова я, садись, читай. А я богу молиться стану,— сказала она, оторвавшись от стола.

— Налюбовалась...— счастливо засмеялся старик.

...Через несколько минут в маленькой, тесно заставленной комнате сделалось тихо. Небо всё смотрело в ее широкое окно, и звезды блестели на нем. На улице было безмолвно и темно.

Стоя на коленях перед божницей, закинув голову назад, так что затылок почти ложился на горб, старуха с влажными глазами, как бы задыхаясь, прерывисто шептала слова своих молитв:

— Помоги ей, господи, сохрани ее, милостивый!

А старик монотонно, растягивая слова и произнося их в нос, вполголоса читал:

— «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста...»

КАК МЕНЯ ОТБРИЛИ...

QUASI UNA FANTASIA [1]

... Когда у меня бывают лишние деньги — я иду бриться.

Читатель будет в близком соседстве с истиной, если он предположит, что я не особенно часто бреюсь, но он ошибется, если подумает, что я рассказываю об этой интимности из желания познакомить его с моими привычками, прежде чем это сделают репортеры. Нет, я далек от мысли, что интерес читателя к моей скромной фигуре возбуждает в нем желание знать обо мне столько же, сколько он знает о генералах от литературы. Избави меня боже от такой мысли, а моего читателя,— предполагая, что он у меня есть,— от такого нескромного желания! Я знаю себе цену и знаю, что я еще весь впереди и что это положение будет продолжаться до дня моей смерти, после которой я уже буду весь позади, ибо со смертью моей я намерен не печатать ничего более ни в газетах, ни в журналах и совершенно отказаться от участия в каких-либо делах земли. Объяснившись с читателем и предоставляя ему право желать скорейшего переселения моего в складочное место умных, добрых, злых, глупых, честных, подлых, жалких и всех прочих людей, которых, кстати, всегда принято называть нашими предками, я возвращаюсь к началу.

Итак, когда я имею к тому возможность, то, побуждаемый приличиями, я отправляюсь бриться, и всегда к одному и тому же парикмахеру. Я познакомился с ним еще в ту пору, когда у меня начала расти борода,— в данное время нас с ним связывает тесная дружба —

---

[1] Нечто вроде фантазии *(итал.)*.

вот как прочны мои привязанности или вот как хороши бритвы моего парикмахера!

Это человек уже пожилой, он говорит с употреблением «слова ер-с» и очень любит литературу, певчих птиц и умные разговоры. Более всего ему нравится говорить о литературе; с большой охотой он рассуждает о влиянии духов в делах любви, о напевах чижей, о политике — внешней, конечно. Он также с удовольствием говорит о всем, что может характеризовать мужика как существо глупое, но хитрое, жадное и невежественное и т. д. Всегда, когда он бреет,— он говорит, а человек, подвергаясь его операциям, слушает его и невольно забывает о том, что у него могут быть сбриты вместе с бородой уши, нос или губы, чего хотя еще и не случалось, но что вполне возможно ввиду увлечения парикмахера литературой, чижами, политикой и всем прочим.

Как я уже сказал — мы с ним друзья,— это вполне естественно: он зарабатывает свой хлеб бритвой, я пером, оба орудия остры, вот вам и почва для произрастания взаимных симпатий. В большинстве случаев они имеют гораздо менее оснований для своего бытия, что, впрочем, не удивительно, ибо само бытие — явление очень неясно обоснованное, если только оно обосновано...

Однако — к делу. Последний раз, когда я брился, мы с парикмахером преинтересно поговорили, а так как в жизни вообще не особенно много интересного, то я считаю себя нравственно обязанным рассказать вам это.

Как всегда, и последний раз, войдя к нему, я спросил его с улыбкой:

— Бреете?

— Пишете? — ответил он мне улыбкой же.

Мы издавна приветствуем друг друга в такой форме и не считаем ее хуже всех других...

Через минуту он меня намыливал, а в следующую минуту у меня в голове родилась одна мысль, очень,— как я сознал это после,— нетактичная.

— А что, вы меня... читаете?

— Пробовал-с...

— И?

— Не читаю-с!

Так как вы читатель, я полагаю — только читатель, то вы не поймете моих ощущений после такого краткого ответа. Но скажу, что мне хотелось возразить на него так:

«Сейчас же сотрите с меня ваше дурацкое вонючее мыло, я иду бриться к другому парикмахеру!»

Но я сдержался. И даже пошел дальше — я спросил ласково и мягко:

— А почему же?

Он взял меня пальцами за нос, поворотил его на юго-запад и прехладнокровно ответил:

— Да неинтересно-с!

Представьте себе, что некто в глаза вам сказал, будто ваши дети — все ужасные уроды, но что все мальчики из них, как две капли воды, похожи на вас, а все девочки — на вашу жену. Представьте еще, что он же назвал вашу тещу женщиной божественной, заслуживающей всяческого почтения и уважения, и рекомендовал вам, когда вы решите показывать себя с семейством в ярмарочных балаганах как «игру природы»,— сдать антрепризу именно ей, вашей теще, этой достойной женщине. Если вам удастся представить себе это,— вы, наверное, почувствуете нечто очень близкое тому, что чувствовал я в момент, когда мой нос смотрел на юго-запад.

Но, отличаясь, как и все мои предки, страшной силой воли, я поборол себя. Ведь рано или поздно, но попадешь же в ад, и потому следует относиться стоически к мучениям на земле.

— Вы говорите — неинтересно? Это очень интересно... Я хотел сказать — очень печально и поучительно для меня...

— Как вам угодно-с! — довольно равнодушно сказал он и поворотил мой нос на юго-восток.

— Будьте любезны, мой старый друг, объясните мне, почему именно неинтересно?.. — набив себе на сердце стальные обручи терпения, попросил я этого... критика, извините за выражение!

— С нашим удовольствием-с,— любезно согласился он, заставив мой нос подняться в небеса, что ничуть не соответствовало моему настроению.

— Прежде всего-с, вы пишете из жизни, а не из головы...

— А по вашему мнению, только те пишут интересно, чьи головы торчат за пределами жизни?..

Я иронизировал,— это нужно мне простить, потому что всякий другой на моем месте превратил бы уже парикмахерскую в груду развалин, откусил бы голову парикмахеру, перерезал бы всё его семейство и съел сырыми всех его певчих птиц. Я ничего этого не сделал.

— Нет-с, это зачем же!.. — И этот изверг засмеялся.— Я хочу сказать, что вы пишете о том, что уже есть, и ничего не выдумываете сами. Хорошие писатели, изволите видеть, обыкновенно выдумывают. А вы всё пишете насчет лиц простого звания и правду-с. Как они живут, говорят, и какие чувства имеют, и какие терпят от обстоятельств жизни и по собственной своей глупости несчастия и горе. И всё это-с известно мне и даже более известно, чем вы можете изобразить вашим пером. Взял я раз ваше сочинение в газете, прочитал оное и вижу — совершенно верно, но очень скучно и нисколько не интересно. Ну, думаю, ничего! Человек еще молодой, исправится и поймет, как нужно писать. Беру ваше писание второй раз. То же самое... Поразительно верно и весьма тошнотворно... Никакого вознесения чувств опосля чтения не возбуждается и никакого подъема духа нет-с! Следует простить молодому человеку, думаю себе. Еще раз прочитал, еще и еще... всё то же самое... Всё жизнь, жизнь и никакой фантазии. Ну и порешил я не читать вас... потому вижу, что манера ваша мне никакого удовольствия не может доставить. Так с той поры и не читаю-с!

Я всё это выслушал, и парикмахер не только остался жив, но даже не был изувечен мной. Столь удивительным самообладанием я обязан знакомству с философией Эпиктета и Зенона, которую уверенно рекомендую как братьям-писателям, так и всем другим несчастным людям. С силой такой уверенности я мог бы еще рекомендовать только один «далматский порошок» — это единственная вещь на земле, которая так же необходима человеку, как необходим ему стоицизм.

— Вы, быть может, указали бы мне ваших любимых писателей? — попросил я парикмахера.

— С удовольствием! — согласился он, опуская к земле мой нос.— Господин Густав Эмар, Понсон дю Террайль, Пьер Законне, Монтепен... весьма интересные писатели!.. Из русских — господин Гмырев, Салиас, Пазухин, Кондратьев, Вавилов, Хрущев-Сокольников, Рудниковский и многие прочие, которые придерживаются примера иностранцев... Прекрасные писатели!

Мне стало так жалко себя, как будто я вторично родился на свет божий.

— Послушайте,— взмолился я,— но чем же, наконец, я хуже их, всех этих...

— Несравненное расстояние!— ужаснулся этот Томас Торквемада, безжалостный инквизитор, чудовище без сердца и без чувств.— Вы только сообразите: вы описываете жизнь, и никакого вам нет дела до ее смысла-с! Добродетель у вас никаким вниманием с вашей стороны не пользуется, и никаких любителей добродетели, героев вы не описываете. Люди у вас — как все люди, самые простые — какой в них интерес? Такие люди по улицам каждый день сотнями ходят — и я их очень хорошо вижу, брею некоторых и всех знаю-с! Зачем же-с мне читать их описания? Довольно хорошо известен мне порядок их жизни, и очень они скучно живут. Ну... вот-с вы и сообразите: беру я книгу писателя, который с фантазией пишет и из собственной своей головы, а не из жизни. Беру, читаю и вижу — ничего подобного описанному в оной книге я не видал-с за прохождение мною моего пути на земле. Путь мой скучный есть — встаю и начинаю птиц кормить. Покормлю, вычищу им клетки и начинаю брить. Брею, брею и до того дохожу, что ропщу даже: «Господи! И зачем у людей на головах волосы растут? Неужели же нельзя без этого? Ведь всё равно — стригутся они и бреются. Господи! Все люди родятся лысыми — почто же у них волосы растут, коли большая часть людей всё равно в конце жизни лысеет!» Видите-с, в какие мысли я иногда погружаюсь. И ежели бы не было на свете интересных книг,— ей-богу, я бы стал философом! Но, слава создателю, этого не случится со мной — на

свете есть чего почитать. Так вот-с, изволите видеть, очень мне скучно жить. И жизнь людей я знаю — им тоже скучно. Тесно-с, тяжело... Все — вроде как бы в трясине, друг друга давят, друг через друга лезут, неизвестно куда, и всё это без всяких чувств и без ума. Смотришь, смотришь... и осточертеет тебе эта канитель тягучая. Куда деваться? «В земле — черви, в воде — черти, в лесу — сучки, в суде — крючки,— куда идти?» Изволите знать эту поговорку? Очень верная и весьма ясно рисует безвыходность жизни. Ведь живешь сначала-то в надежде, что с тобой произойдет некоторое событие, после которого ты уже будешь не тем, что ты есть. И вдруг — нет ничего! Ах, как это огорчительно!.. Потрудитесь надуть вашу левую щеку!

Я попросил его сказать мне, которая щека у меня левая, ибо я до того был подавлен его речью, что совершенно потерял чувство бытия и даже не мог ясно представить, сижу ли я вверх головой, по унаследованной мною от родителей привычке, или же я сижу еще как-нибудь иначе? Он определил место нахождения моей левой щеки и продолжал:

— Ну-с, так вот-с! Живя такой жизнью, без всякого, так сказать, глянца, без прикрас и без какого-либо приятства, и какой мне интерес читать ваши изображения жизни, которая довольно хорошо надоела мне? И вот-с, в свободное от бритья и стрижки время, беру я в руки любимую книгу, открываю и погружаюсь в нее... И вижу-с в ней совсем не то, что существует на самом деле. Первое дело, люди — весьма ясные господа. Этот подлец, а этот дурак, этот благороден, а эта ангел с небес. Потом — чувства-с! Погашенные вулканы и мрачные омуты! Жестокая борьба-с, свирепство поступков, одушевление, сотрясение всяких порядков жизни, бури и грозы, смерти, грабежи, ужасные деяния, быстрое вращение людей во всем этом и — трах! Добродетель превознесена, а порок попран и свергнут во прах! Слез полштофа прольешь над такой умилительной книгой-с! Волнений испытаешь сладких целый пуд-с! Разрыв сердца даже возможен — вот до чего трогательны иные фантазии господ писателей. И вот-с, вы видите, как действуют они,— учитесь! Учитесь, ежели вам бед-

ного человека жалко! Я знаю-с, что в жизни таких злодейств и одоления порока не бывает-с, да ведь в ней еще хуже возможно! Без счастливого конца... А тут я вижу счастливый конец и могу мечтать о возможности благородных чувств и бесстрашно геройских людей на нашей тесной и грязной улице. Отдыхаю душой-с, мечтая, очищаю с сердца пыль жизни. Всё лицо прикажете одеколоном смочить?

Я готов был просить его смочить мне не только лицо, но и сердце, ибо оно высохло у меня от его речей. Но я только молча кивнул ему головой.

— Да-с! А вы — разве вы можете оторвать человека от жизни и вознести его к мечтам? Нет-с, вы не тем порохом заряжены. Вам еще мно-ого нужно учиться писать, для того чтоб приносить собой людям удовольствие и отраду духа-с. Вы ползаете, извините за выражение, по жизни, а те парят над ней. Им и слава. А вы... должны учиться. Пудры прикажете?..

Я приказал еще пудры, хотя он достаточно уже пудрил меня, и я был очень бел...

— Жизнь, изволите видеть, есть труд-с, а описания ее должны уже быть удовольствием, невозможно же-с весь обед готовить из одного картофеля, коли человеку хочется и у него есть возможность бламанже кушать... я-с про фантазию говорю... Так вот-с, я вас и выбрил! Пожалуйте!

Да-с, так вот как он меня отбрил! Я все-таки без его помощи встал со стула.

— Вы на меня не обиделись за правду? — полюбопытствовал он.

«Ах ты, анафема! Я не обиделся? Будь ты проклят!»

Вы думаете, я это вслух сказал? Напрасно. Я человек все-таки культурный и скрывать мои истинные чувства умею не много хуже вас. Я сказал ему:

— О, что вы! Напротив... я очень доволен вашей почтенной беседой!

— До свидания! — сказал этот правнук Иуды Искариота, этот жёрнов, эта мельница... измоловшая меня в пыль, чтоб ему провалиться в тартар!

— От души желаю вам всего хорошего и благодарю за искренность...— крепко пожал я ему руку.

— Ежели вы будете из головы валять, так и из вас выйдет очень интересный писатель! — напутствовал он меня.

— Я попробую... — обещал я.

— Главное дело-с — вы не стесняйтесь! Валяйте вовсю, и чем меньше на жизнь похоже, тем оно лучше... приятнее для сердца... Фантазии больше, а она производит в человеке вознесение чувства к небесам и этакое сладостное трепетание сердца-с... Отрывайте человека от жизни,— видите — он заглотался ей!

Наконец он оставил меня в покое, и я ушел...

Но я пришел домой уже не тем, чем вышел из дома. Мне кажется, что мне обрили сердце. Я страдаю бессонницей и ревматизмом. У меня разыгрывается тик и, кажется, скоро начнется чахотка. В карманах она уже свирепствует, во всех. Я чувствую, что после этой беседы дни мои сочтены...

...А что, как этот парикмахер был единственным человеком, который меня читал?

Господи! И зачем на свете существуют читатели, когда с меня довольно одних издателей?

КРАСОТА

...Однажды мой приятель, сорокалетний хохол, всю жизнь игравший роль героя разных драматических коллизий, человек психически изломанный, всегда и ко всему относившийся с горьким скептицизмом, обремененный семейством в пять душ, с нервнобольной женой во главе, и работавший в управлении железной дороги чуть не двадцать часов в сутки за шестьдесят рублей в месяц,— однажды этот человек, которому, как видите, нелегко жилось, вошел ко мне с такой улыбкой, какой раньше я никогда не видел на его смуглом, выразительном лице.

Всегда нервозный, всегда готовый оскорбительно острить над жизнью и людьми, поэт безнадежности и суровый гонитель всяких грез и мечтаний, которые он называл «телячьими сантиментами», он улыбался так мирно и радостно, так задумчиво и счастливо, что я предположил: наверное, случился какой-нибудь переворот в жизни моего приятеля,— переворот, который облегчит его всячески стесненную и трудную жизнь.

— Что случилось? — спросил я, сильно заинтересованный.

Он скользнул глазами по моему лицу, молча крепко тиснул мне руку, подойдя к дивану, лег на него, закинув руки за голову, и глубоко вздохнул. Всё это было по меньшей мере странно и совершенно не походило на моего товарища. Он не был взволнован, скорее, он находился в том состоянии, которое зовут созерцанием и в котором так много чего-то очень близкого к полной утрате чувства бытия. Он лежал и, полузакрыв свои черные глаза,— обыкновенно холодные и недоверчиво прищуренные, а теперь мягкие и добрые,— как бы вспоминал что-то.

Мое любопытство всё более раздражалось его поведением.

— Ты откуда?

— Гулял... — однозвучно ответил он.

— С кем?

— Один...

— В горах?

— По городу...

Это решительно ничего не объясняло мне.

— Почему это ты такой... елейный?

Он строго и серьезно взглянул на меня, должно быть, задетый моим насмешливым тоном,— взглянул и, отвернувшись к стене, просительно сказал:

— Оставь меня...

Я видел уже, что ничего не добьюсь от него теперь, и не расспрашивал его более. Пролежав полчаса, он встал, всё такой же радостно тихий и задумчивый, и, подойдя ко мне, спросил:

— Ты завтра вечером — дома?

— Да.

— Пойдешь со мной гулять?..

Я кивнул головой в знак согласия, ожидая, что вот сейчас он расскажет мне причины его необычайного настроения. Но он взял свою шляпу, небрежно кинул ее на голову, в шапке черных волос, уже сильно оттенявших серебро седины, и ушел таким же загадочным, каким и явился, оставив меня в недоумении и несколько раздраженным странностью его поведения. Оставшись один, я долго старался догадаться, получил ли мой приятель повышение по службе или наследство? Или же наконец он нашел человека, согласившегося издать его книгу «О степени влияния среды и условий на интеллект человека» — труд пяти лет, злой крик человека, который, чувствуя себя разбитым жизнью, проповедовал безусловное подчинение ее суровым законам?

Я остановился на последнем и успокоился на этой догадке. И когда, на другой день, мой хохол пришел ко мне, я уверенно спросил его:

— Ну что, издаешь, наконец, свою книгу?

— Книгу? А я решил уже сжечь ее для пользы человечества. Что ты это вспомнил о ней?

— Ищу ключа к твоему настроению...

— Ага! Чёрт играет на струне твоего любопытства. Натянул я ее крепко, э? Ну-ну, пойдем гулять...

Мы вышли с ним на улицу полуазиатского города, в котором происходило всё это, и тихо пошли по панели, направляясь к Авлабару, одному из предместий. Было душно, раскаленные за день солнцем камни мостовой и стены зданий дышали зноем, все запахи, присущие большим скопищам людей, неподвижно стояли в воздухе, и его не освежали ни вода, бежавшая по канаве рядом с панелью, ни тени от пирамидальных тополей, росших по обе стороны улицы. Они вздымали свои острые вершины выше крыш зданий и, позлащенные заходившим солнцем, стояли, точно два ряда громадных факелов. По улице шли толпы людей, направляясь в городской сад на берег Куры, единственное место города, где было прохладно и где едкая известковая пыль не слепила глаз и не набивалась в легкие. Отовсюду несся гортанный говор; скрипя дверями, армяне запирали свои лавки, вдали гремела военная музыка, грохотали арбы и телеги, проезжая по избитой мостовой; откуда-то с горы лилась непрерывным, трепещущим ручьем раздражающая нервы, заунывно дикая мелодия зурны.

Город стоял в узкой долине между двух высоких гор; долину разрезала бешено мчавшаяся к морю Кура, и здания, толпясь между рекой и горами, казалось, лезли друг на друга, стремясь вырваться из этой ямы, полной зноя и пыли. Звуки, носившиеся над сдавленным городом, сливались все в один тяжелый вздох, точно кто-то большой, притиснутый к земле, делал усилия подняться с нее и не мог. Мы молча шли, вдыхая пыль и лавируя в толпе, лившейся черным потоком по узкой панели навстречу нам. Темнело. Улица становилась у́же, и в ней было душнее. Почти каждый дом был опоясан деревянной террасой, иногда двумя; издали они казались лепным узором на стенах, и теперь на них выходили из домов суетливые и шумные люди, вынося столы и свечи...

А высоко над всем этим расстилалась темно-синяя полоса неба, и уже звезды загорались на ней, как бы перемигиваясь с огнями города.

Мы вошли в лабиринт узких и грязных переулков. Высокие, серые, каменные стены с редкими окнами, маленькими и защищенными решетками из железа, сурово смотрели на нас, и пространства между этими стенами были точно каналы для стока по ним пахучей грязи и испорченного сырого и теплого воздуха. Иногда мы проходили мимо тяжелых, наглухо запертых ворот, и наши шаги вызывали лай и ворчанье собак, скрытых за ними. Муэдзин где-то близко призывал к молитве, и над нашими головами плавал рыдающий тенор, задумчиво выпевавший молитву.

Мой товарищ ускорил шаги и возбужденно схватил меня за руку. Чувствуя близость источника его нового настроения, я, ни о чем не расспрашивая, шагал по грязи вслед за ним, весь охваченный тоскливым чувством, навеянным на меня этими высокими стенами зданий, построенных на улицу тылом, с окнами, выходившими на дворы, пустынностью переулков, грустной молитвою муэдзина и фатализмом Востока, которым, как казалось мне, даже камни дышали.

— Стой! — вполголоса сказал мой товарищ.

Мы остановились пред маленькой нишей в стене. Очевидно, здесь была когда-то дверь во двор и ее до половины заложили кирпичом. Против нас тоже возвышалась стена с балконом на высоте аршин восьми от земли. На балкон, маленький и не задрапированный с боков, а только покрытый сверху куском полосатой материи, вела стеклянная дверь. Против нее, в углу балкона, стоял мягкий стул с высокой спинкой, на перилах был небрежно брошен ковер.

Я посмотрел на всё это и вопросительно взглянул на товарища.

— Погоди,— сказал он, толкая меня в нишу.

Мы тесно друг к другу поместились в ней, и я стал ждать, не желая думать о том, чего именно я могу дождаться, стоя в этом каменном ящике. Вокруг было безмолвно, небо над нами простиралось в виде синей дороги куда-то вдаль.

В щель двери на балкон прорвалась полоска света, скользнула по стене над нами и исчезла. Хохол толкнул меня локтем в бок:

— Смотри!

Обе половинки двери распахнулись, и в них появилась высокая и стройная фигура женщины. Она, закинув голову кверху, несколько секунд посмотрела в небо и что-то сказала по направлению к комнате. Свет освещал ее сзади, и на сером фоне стены, в этом свете, вся в белом, широкими складками падавшем с ее плеч до ног, она была фантастична. Овальное лицо ее было видно нам только как белое пятно, и глаза на нем выделялись, как две большие темные точки. Это делало ⟨ее⟩ еще менее реальной, еще более придавало ей сходства с видением, с тенью. Вот она подняла над головой руки, точно собираясь лететь... На ее левое плечо упала густая прядь волос... Свет сзади ее дрогнул и исчез; тогда мне показалось, что эта женщина, или тень женщины, стала меньше, как бы растаяла во тьме. Фон стены сгладил мягкие контуры ее фигуры, и она стала только намеком на образ, который я созерцал минуту тому назад на том месте, где он стоял. Потом опять явился свет, и опять она ожила. Складки платья заколыхались на ней, она двинулась к перилам балкона, и они сопровождали ее, как облако. В этот момент она напоминала мне чью-то картину — луна, в образе женщины, задумчиво и ласково улыбаясь, является из пышной стаи облаков на небе. Вот рядом с нею явилась еще какая-то фигура в темном и стала гладить ее волосы рукой, а они всё больше рассыпались по плечам этой женщины. Она посмотрела с балкона вниз и снова что-то вполголоса сказала, протягивая руку назад. Раздался ясный звон металлической струны, я вздрогнул, и, кажется, всё вокруг меня тоже вздрогнуло.

Женщина села на стул, свет падал на нее сбоку, и я видел ее профиль, изящно очерченный, но как бы воздушный в этой странной обстановке. Темная фигура опустилась вниз, и ковер, лежавший на перилах, скрыл ее. В четырехугольнике освещенной двери и на темной спинке стула голова женщины, несколько закинутая назад, выделялась ясно, и профиль лица как бы был окружен сиянием, исходившим от него. И ее лицо казалось мне чудесно красивым, лицом феи, героини волшебной сказки, а вся она—воплощением грезы, дивной

грезы восторженного и влюбленного поэта, явившейся в эти суровые и неуклюжие глыбы камня, на эту грязную землю, чтобы оживить и облагородить всё вокруг себя.

Я не чувствовал более ни удушливого запаха прелой грязи и не видел серых каменных стен, подавлявших воображение своей тяжестью и одетых теплой пахучей тьмой знойной ночи. Я позабыл о том, что в темном, каменном ящике мне было тесно и душно и что из стены, к которой я прислонился, мне в плечо впивался острый камень. Я всё смотрел на эту дивную женщину и больше ничего не хотел. Иногда она наклонялась вниз, и я боялся, что она уже не выпрямится и я не увижу ее больше. Но она снова откидывалась на спинку стула, и я снова спокойно и без желаний смотрел на ее чудный профиль. Тот, кто сидел на балконе у ее ног, целовал ее — я слышал эти жадные звуки, но не чувствовал в себе ни тени желания быть на его месте, понимая, что он едва ли видит ее такой, какой вижу я.

И вот вдруг в воздух — и к нам вниз и вверх к небу — брызнули звуки струн,— я видел — это она играла на чем-то. Играя, она говорила, обращаясь вниз к своим ногам, говорила речитативом, и хотя звуки струн заглушали тембр ее голоса, но он был так же чудесно красив, как и вся она. Струны дрожали то тихо и нежно, то вдруг их звуки становились громкими и смелыми. Казалось, что они сделали воздух чище и свежее и усилили еще более во всем вокруг меня отпечаток благородной красоты, явившейся вместе с появлением этой женщины, красивой, как мечта. Всё стало как сон — сон, освежающий душу... И от лица женщины, не иссякая, исходило сияние. В мечтательных звуках струн, тихо рокотавших задумчивую мелодию, высоко надо мной, на фоне неяркого, но красивого розоватого света, под синим небом над ее головою, эта дивная женщина с каждым моментом становилась всё более прекрасной и фантастичной, всё далее увлекавшей меня от земли и ее чувствований. Я стоял, боясь пошевелиться, храня мое очарование и наслаждаясь им, и мне казалось, что в меня вошло что-то новое,— новое понимание жизни и самого себя; что из всех чаш, которые я уже испил,— та, которую я пью теперь, только одна

не содержит в себе ни капли земной грязи, только одна действительно чиста...

И вдруг — всё это исчезло. Исчез огонь — и профиль женщины потерял ясные очертания. Она встала и, вся белая, прозрачная, тающая от движений, исчезла в темном четырехугольнике, откуда прежде исходил розоватый свет. Потом послышался резкий звук визга железных петель двери, дребезг стекол, грубый звук запираемого замка.

— Всё,— сказал хохол, взяв меня под руку и выводя из ниши.

Не сказав ни слова друг другу, мы пошли с ним домой, и, только расставаясь со мной, он сказал:

— Завтра опять...

Но это было бесполезно говорить мне.

На другой день мы снова пошли, когда настало время, и снова провели часы, как во сне, и опять пошли, и так ходили почти в течение месяца, в продолжение которого смотрели на эту красавицу семнадцать раз.

Мы жили все эти дни как-то странно. Не говоря никому о нашем счастье, дни мы жили, как все,— с виду как все,— так же работали и о том же говорили. Но ни на один момент мы не забывали, что, когда наступит ночь, мы будем жить созерцанием дивной красоты, доступной только нашим глазам. Мы мало говорили о ней — зачем говорить о том, что недоступно определению словом, что постигается не умом, а чувством и, охваченное им, облагораживает его, как огонь, очищая кусок темной руды, вытапливает из него девственно чистое серебро... Хорошо нам жилось в эти дни, и высоко поднятыми над землей чувствовали мы себя. Но однажды, когда мы были в нише и ждали, с балкона кто-то бросил в нас тяжелый камень. Он ударился в стену над нашими головами и запорошил нам глаза кремнистой пылью. На другой день — мы нашли нишу заваленной разным хламом, и темная фигура, стоя на балконе в угрожающей позе, ожидала нас, размахивая рукой. Мы воротились назад, и опять вслед нам был брошен камень, обрызгавший нас грязью.

Долго мы жили воспоминаниями о ней, этой женщине, и всегда вспоминали с такой тихой, ласкающей душу грустью.

ПОЭТ

НАБРОСОК

Когда Шура, придя из гимназии, разделась и прошла в столовую, она заметила, что мама, уже сидевшая за накрытым столом, улыбнулась ей как-то особенно. Это обстоятельство тотчас же задело любопытство Шуры, но она была уже большая и сочла ниже своего достоинства выдавать себя вопросами. Она молча поцеловала маму в лоб, и, мельком взглянув на себя в зеркало, села на свое место. Тут ей опять бросилось в глаза нечто особенное — стол был сервирован «по-парадному» и на пять персон. Значит, кто-то приглашен обедать, только и всего. Шура разочарованно вздохнула. Она хорошо знала всех знакомых папы с мамой и тети Зины — среди них положительно нет ни одного интересного человека. Господи! Какие все они скучные, и как вообще скучно на свете...

— Это кто? — кивнув головой на прибор, равнодушно спросила Шура.

Прежде, чем ответить ей, мама посмотрела на свои часы, потом на стенные, потом, наклонив голову в сторону окна, к чему-то прислушалась и, наконец, улыбнувшись, сказала:

— Угадай...

— Неинтересно...— сказала Шура, чувствуя, что любопытство вновь вспыхивает в ней. Она вспомнила, что горничная Люба, отворяя ей дверь, тоже как-то особенно сказала:

— Пож-жалуйте!

Люба вообще очень редко говорила «пожалуйте» и никогда еще не говорила именно так, с жужжанием. Шура очень хорошо помнит это, ибо малейшая новая черточка в скучной, установившейся в тесные рамки,

домашней жизни семьи производит очень заметную рябь на ее спокойной поверхности и хорошо запоминается жаждущей впечатлений головкой Шуры.

— А может быть, и интересно... попробуй, угадай,— снова предложила мама.

Вспомнив интонацию Любы, Шура уже была уверена, что интересно, очень интересно, но спросить прямо ей было почему-то неловко.

— Кто-нибудь приехал...— якобы равнодушно сказала она.

— Несомненно, — кивнула головой мама... — Но кто?

— Дядя Женя,— предположила Шура, чувствуя, что у нее на щеках выступала краска.

— Нет, это не родня... Это, однако, кто-то, кого ты — любишь...

Шура сделала круглые глаза... но потом вдруг сорвалась с места и бросилась на шею мамы:

— Мамочка! Неужели?

— Постой, постой,— смеясь, мама отталкивала ее от себя,— не нужно быть сумасшедшей! Ну... вот я ему всё это скажу!

— Мамочка! Крымский? а? Приехал? Папа его встречает? Да? И тетя Зина? Ведь они сейчас, сейчас будут... Мамочка, я надену серое платье! Ах, едут! Приехали!

Вся красная и взволнованная — она прыгала около стула матери, потом бросилась к зеркалу, побежала было к себе переодеваться, но, услыхав, как внизу щелкнул замок двери, снова воротилась к зеркалу, поправила прическу и степенно, подавляя свое волнение, села на свое место и закрыла глаза. Когда она откроет их, в этой комнате, так близко, всего только через один стул от нее, будет сидеть Крымский... Тот поэт, стихами которого она зачитывалась и который в гимназии считался самым лучшим поэтом из всех современных. У него такие нежные, ласкающие стихи, такие звучные... грустные... Господи! И вот он, живой, будет так близко к ней, будет говорить, читать свои новые произведения, которых в гимназии ее подруги еще не могут знать! «Ах, какую вещь написал Крымский!» — скажет она им завтра,

они спросят ее — какую; она прочитает им; тогда они спросят, где это напечатано, и она скромно,— непременно скромно! — скажет: «Ах, это еще не напечатано. Это он вчера читал мне у нас за обедом!..»

Какое изумление, какая зависть! Эта злючка Кикина — что с ней будет? Узнает она, что лучше: иметь сестру певицу или знакомого поэта? А все остальные!.. Будут просить: «Шура, покажи нам его!..» А... а вдруг он влюбится в нее? О! Это возможно... потому что он поэт... Поэты всегда влюбляются сразу... Господи! Какие у него усы! Глаза... большие и грустные, с темными кругами под ними... Нос орлиный... а усы черные. «Шура! — скажет он, ломая руки и падая пред ней на колени,— Шура! Я увидал вас, „и заря новой жизни предо мной запылала, и проник в мое сердце трепет чудных надежд... Это вы! Я клянусь — вас душа моя знала...“» Ах, он написал уже эти стихи! Значит...

— Духота, пыль, какие-то изумительно едкие запахи... Всю ночь я не мог уснуть...

Голос, вернувший Шуру в мир действительный из мира поэзии и грез, был очень мягок и симпатичен, хотя в нем и звучали хриплые, брюзгливые нотки избалованного человека. Шура открыла глаза и поднялась со стула навстречу подходившему к ней высокому худому человеку, в черной бархатной тужурке и широких серых брюках.

— Здравствуйте, барышня... Вы забыли меня, да? Ну, конечно...

— Я...— смутилась Шура,— я всегда читаю ваши стихи... но я была маленькая, когда вы были у нас...

— Но... теперь вы большая,— окидывая ее взглядом, улыбнулся поэт, хотел еще что-то сказать, но только пожевал губами, как это делают старики, и опустился на стул, говоря папе Шуры:

— А славно, уютно у тебя, Михаил...

Шура, опустив головку, смотрела в свою тарелку и на ее гладкой поверхности восстановляла образ поэта. Ей не нравились его серые брюки, стриженая голова и жидкие рыжие усы — о, всё это было крайне прозаично.

Потом эта манера жевать губами, синеватые бритые щеки и подбородок... глаза очень светлые, пожалуй, бесцветные, мешки под ними, широкий лоб в морщинах... Он совсем как один чиновник на почте, и с внешней стороны в нем ничего, ничего нет поэтического... А какие у него руки? Шура искоса посмотрела на них... Они были пухлые, с короткими толстыми пальцами. На одном пальце перстень с агатом. Шура вздохнула, чувствуя, что ей грустно.

— Так вы читаете мои стихи?

Это он ей говорит... Она кивнула головой, покраснев.

— Ну, и что же... могу спросить — нравятся они вам?

— О, да они тут с ума сходят от ваших стихов,— сказала мама.

— А! Это мне лестно...

— Вовсе нет, это неправда,— быстро возразила Шура на слова мамы, но ее возражение раздалось уже после слов поэта...

Девочка смутилась — это вышло глупо... А папа, мама, тетя и он — смеются... Он даже брови поднял зачем-то, и лицо у него стало клоунское... Зачем он поднял брови? И зачем смеется вместе со всеми? Он — поэт и должен быть чуток, деликатен... Разве ему может казаться смешным румянец ее смущения, как это кажется другим, разве он такой же, как все? Он, наверное, притворяется, чтоб не показаться папе и маме нелюбезным... Потом он будет самим собой...

— А вы, Шура, в котором классе?

— В шестом...

Зачем ему знать это? И почему он называет ее Шурой?

— А кого из учителей вы обожаете? Учителя рисования, конечно?

— Слов...

— Ах да, учителя словесности...— Раздался оглушительный хохот...

Шуре казалось, что ее рвут на части, щиплют, вонзают ей в тело тысячи булавок. Она хотела выскочить из-за стола и убежать куда-нибудь. Ей стало холодно, и она боялась, что не сдержит слез... Как это она про-

говорилась?.. Дрожа от охватившего ее негодования, она взглянула в лицо поэта глазами, в которых вспыхнул злой и нервозный огонек, и скороговоркой, боясь, что у нее не хватит сил сказать всё, что она хочет, начала, ломая под столом пальцы:

— Это смешно вам? Но это не может быть смешно — он лучший из всех учителей, и мы его все очень любим... Он интересно говорит... и читает нам... разные книги... указывает, что есть нового в литературе, и вообще... он очень хороший человек... Спросите, кого хотите, и в нашем классе и в седьмом. Зачем же смеяться? Конечно, я...

— Шурка! Что это ты? — воскликнул папа.

— Мы обидели барышню,— ласково сказал Крымский.— Я извиняюсь...

Шуре было неприятно слушать его извинения,— ей казалось, что они неискренны и что ему совсем неинтересно знать, как она отнесется к его словам... И вообще она почувствовала себя чужой и ненужной всем им... Ей стало жалко себя, и до конца обеда она просидела точно в тумане, прислушиваясь, как нарастает грусть в ее сердце, тихая, щемящая грусть.

«Так вот он какой, поэт! Такой же, как все»,— думала она после обеда, сидя у окна в своей комнате и пристально, как что-то новое, рассматривая свои любимые кусты сирени в саду под ее окном.

«Как все... Но... почему же тогда папа не пишет стихов? Разве он хуже этого?» — И она вспоминала ласкающие сердце, задумчивые строфы поэта, рифмованные фразы, в которых так много грустной нежности. Он ни словом не упомянул о них за обедом. Должно быть, он привык писать их, как Соня Сазикова привыкла делать свои чудные цветы из папиросной бумаги. Все ей завидуют, а она смеется и изумляется — ведь это же так просто!..

В саду раздались голоса: это папа с Крымским. Если они сядут на скамью за сиренью, она услышит весь их разговор до слова. И, вытянув шейку, Шура с горячим любопытством посмотрела — куда они идут.

— Ну, а как покупают твой последний сборник? — спрашивал папа.

— Ничего, идет. Думаю о втором издании. Но покупают больше из любопытства, а не из действительной потребности в поэзии. Эта... наша убогая критика, при выходе сборника, прокричала — декадентство! Публике интересно знать, что такое, наконец, это декадентство, о котором так много говорят и никто ничего ясного не может сказать. Ну, и я выигрываю... покупают, желая полюбопытствовать о декадентстве...

Голос Крымского был грустно-насмешлив, в его речи звучала обида, и эта нотка нашла родственный отзвук в маленьком сердечке девочки, подслушивающей у окна.

— Да-а,— сказал папа, — критика сурово относится к вашему брату.

— Все требуют гражданских звуков мести и скорби... Сидя в своих старых гнездах, они полагают, что на месть и скорбь в жизни есть спрос... Совсем напрасно... никаких граждан в жизни нет, есть в ней люди глупые и самодовольные и люди измученные и не довольные ничем... А больше ничего нет... Господам критикам это печальное обстоятельство неизвестно... Они имеют дело с книгами, а не с жизнью, со старыми традициями, а не с новыми веяниями... Молодежь? «Молодежь, друг мой, ныне родится стариками»,— неопровержимо сказал кто-то... Ей очень мало дела до поэзии и до всего того, что могло бы очистить душу. А впрочем, бросим эту скучную тему... Какая хорошенькая дочь у тебя...

— А, поэт! ты уже заметил?

— Милый! — сконфуженная и вся красная от радостного волнения прошептала Шура. Из его слов она заключила, что он не понят и жалуется на это. Он снова стал поэтом в ее глазах. А потом эта неожиданная похвала ей...

— Кстати, извини за нескромный вопрос...

— О жене? Ну, брат, я не знаю, где она... Года два тому назад слышал, что она где-то на Кавказе учительницей... Уф! не могу без ужаса вспомнить о ней... Есть женщины, способные чистотой своей добродетели и наивностью своего мозга внушать только ужас, искренний ужас мне, праху от праха. Моя супруга принадлежит именно к этому сорту женщин... Мне никогда не

было жалко себя так сильно, как в то время, когда я раскусил ее сердце... сердце христианки... которая хочет во что бы то ни стало страдать,— скучный персонаж... А что, нам скоро дадут чаю?

— Скоро... но ты не на тему говорил — я хотел спросить тебя, как ты теперь живешь... семейно или же в одиночестве...

— С мая в одиночестве. Зимой жил с одним ангелом... Курьезная история, дружище! Поклонница моего таланта, девочка с огоньком и не без образования, что, впрочем, не мешало ей быть классической дурехой... Сошлись мы с ней совершенно случайно... по крайней мере, с моей стороны не было ничего преднамеренного. Выпил я малость: дело было на загородном пикнике... Чёрт знает, как она очутилась у меня на квартире... Только утром я просыпаюсь, смотрю: женат! Поздравил себя, оделся и жду, что будет дальше...

Папа громко хохотал, и девочке казалось, что звуки его смеха раскалывают внутри ее что-то. Это было очень больно ей.

— Ах, дьявольщина... н-ну?

— Ну, проснулась. Последовали слезы... миллион поцелуев и столько же клятв. С неделю мы отчаянно бесились, и я порядочно измучился с ней...

— А родители?

— Скрыто. Потом жизнь понемногу начала вступать в свои права, и началось... чёрт знает что! Прежде всего она начала доказывать мне, что мои нежные, чудные, чарующие душу стихи совершенно не гармонируют с моим халатом,— вещь, за которую я заплатил шестьдесят пять рублей... Я протестую, она плачет. Скандал! В конце концов оказывается, по ее представлению, поэт — существо до такой степени неземное, что в квартире его даже не должно существовать то помещение, в которое, по силе физиологических законов, необходимо иногда ходить и поэту. О, чёрт возьми это идиотское воспитание, которое так квасит мозги женщин! Начались споры, слезы, истерики, ссылки на материнство... требование уступок на всех пунктах. Я сбежал и написал ей прозой, что поэту прежде всего необходима свобода.

— Ну и что же? — медленно спросил папа.

— Плачу ей по двадцать пять рублей в месяц...

Шуре было холодно, и она вся дрожала мелкой нервной дрожью, продолжая смотреть в сад широко открытыми глазами...

— То-то последнее время твой пессимизм звучал так громко...

— Ты читал «Воспоминаний пестрая толпа во тьме ночной передо мною вьется»?

— Ну?

— Вот там изложено всё впечатление... весь осадок этой глупой истории.

— Хорошо изложено...— вздохнул папа.— Вообще, брат, ты великий мастер ясно изображать «волнений сердца смутные узоры».

— Ба, а ты, однако, и в самом деле меня почитываешь?

— И даже очень. Без лести говоря, у тебя прелестный стих...

— Спасибо! Это не часто приходится слышать, хотя я — буду откровенен — знаю, что заслужил такой отзыв...

— Бесспорно, брат! Идем чай пить...

— Ты посмотри — кто нынче пишет и как пишет? Живодеры, а не поэты, насилуют язык, истязуют его... Я ценю это сокровище, стараюсь...

Шура видела, как они шли по саду рядом и папа обнимал поэта за талию... Вот их голоса стали неясны, пропали.

Шура выпрямилась на стуле медленно, так, как бы на ней лежало что-то тяжелое и ей ужасно трудно было шевелиться...

— Шура, иди чай пить! — донесся до нее голос мамы.

Она встала, пошла и, проходя мимо зеркала, видела, что лицо у нее бледное, осунувшееся, точно испуганное. И в глазах ее было так туманно, что, когда она вышла в столовую, знакомые лица являлись пред ней какими-то бесформенными белыми пятнами.

— Надеюсь, что барышня уже перестала сердиться на меня? — донесся до нее голос поэта.

Она молчала, глядя на его гладко стриженную голову и стараясь вспомнить, каким он, этот человек, казался ей, когда она читала его стихи и не знала его.

— Шурка, что же ты молчишь? Как вежливо! — воскликнул папа.

— Ах! — вскричала она, вскакивая со стула,— что вам надо? Отстаньте от меня... Обманщики...

И, с рыданием бросившись вон из столовой, она еще раз истерически крикнула:

— Обманщики!..

...Несколько секунд четверо людей за столом сидели молча, изумленно поглядывая друг на друга. Потом мама и тетя ушли.

— Уж... не слышала ли она наш разговор? — спросил папа поэта.

— Чёрт возьми! — смущенно воскликнул тот, заерзав на стуле.

Вошла мама и на обращенные к ней вопросительные взгляды ответила, недоумевая, пожав плечами:

— Плачет...

«ВОДА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

У всех людей есть пятна на совести, — у меня тоже есть одно.

Но большинство людей относится к этим украшениям на лице своей души крайне просто; они носят их так же легко, как крахмаленные рубашки, а я не ношу таких рубашек и, должно быть, поэтому — чувствую себя крайне неудобно с моим пятном. Одним словом — я хочу покаяться.

Я не потому каюсь, что уже не нахожу в жизни иных приятных развлечений или не чувствую себя способным чем-либо другим привлечь к себе внимание людей; я также и не потому пускаюсь в откровенность, что имею намерение рассказать что-либо о моих достоинствах,— о, нет! Ни одна из тех причин, которые обыкновенно побуждают людей к публичному покаянию, не руководит мной в данном случае. Я каюсь потому, что чувствую — пора! И вот я взял в руки перо и, как щеткой, откровенностью хочу счистить с души моей то темное пятно, которое давно уже давит мне сердце.

Началось всё это на улице в веселый день мая, когда я гулял и встретил одну знакомую гимназистку. Ее звали Лизочка; у нее были превеселые карие глазки,— но теперь они были печальны; розовое, изящное и живое, личико — в момент встречи было бледно и безжизненно; у нее была легкая, как полет птички, походка, а теперь — она едва передвигала ноги.

— Лизочка, здравствуйте! Как здоровье ваших кукол?

Я забыл сказать, в котором классе она училась. В четвертом. Я очень любил играть с ней в куклы,— это прекрасно освежает после общения с людьми.

— Здравствуйте,— сказала мне Лизочка, и в голосе ее я услыхал слезы.

— Что с вами, девочка? — спросил я, встревоженный. Сознаюсь — я любил ее, и она отвечала мне взаимностью со всей силой и страстью своих двенадцати лет. Мне в ту пору было еще только пятьдесят три года.

— Н-нам опять задали... сочинение...— сквозь слезы сказала она.

— Сочинение? Ба! Да разве тема такая печальная, что вы, еще не разработав ее, уже плачете?

Она улыбнулась.

— Да, вам хорошо,— вас не заставляют писать сочинения!

— Увы, Лизочка,— тоже заставляют. Только вас заставляют учителя, а меня — обстоятельства. Не будем говорить, кто из них хуже. Но вы не печальтесь: я напишу за вас сочинение. Какая тема?

— «Вода и ее значение в природе и в жизни человека»! Напишете? Милый! На пять?

— Постараюсь — с плюсом!

— А потом придете играть в куклы?

— После сочинения? Обязательно.

— До свидания! Какой вы ми-илый!

И она ушла...

Я потому так быстро предложил ей написать сочинение, что это дело было уже мне знакомо. Однажды учитель словесности поставил мне двойку за сочинение, написанное для одной гимназистки пятого класса на тему: «Положительные черты в характерах Скалозуба и Молчалина». Другой раз я получил единицу с минусом за сочинение для гимназиста шестого класса на тему: «Польза и вред почитания родителей» или что-то в этом роде.

Таким образом, я был знаком с тем, что должен был делать. Но все-таки я задумался. Мне очень хотелось, чтобы моя милая девочка получила полный балл. Как бы это написать так, чтоб получить именно пятерку, а не меньше? А?

Подумав, я решил: прежде, чем писать, мне нужно вообразить, что я не длинный малый. двух аршин десяти вершков ростом, а малюсенькая розовощекая гим-

назисточка двенадцати лет от роду. Несомненно, что, когда учитель дает тему, он принимает в расчет знания ребенка на тему, его психологию, его стиль и, наконец, его идейный, так сказать, взгляд на предмет сочинения, его отношение к нему. Несомненно, что это так. И, значит, что я должен, по мере возможности, подражать ребенку. Прекрасно!

Придя домой, я лег на диван, закурил папиросу и заснул, чего совсем не хотел делать. Разбудил меня приятель, который пришел ко мне в гости, чего он тоже не хотел делать, как оказалось. Он вышел из дома, не имея ни малейшего желания идти ко мне, и вдруг — пришел! И мы заговорили с ним о том, как эластичны узы дружбы: идешь направо от дома приятеля и вдруг — приходишь все-таки к нему и мешаешь ему спать. Потом мы говорили о вине и о людях, которые пьют вино. Мы открыли такую вещь: люди, у которых есть деньги в кармане или кредит в виноторговле, могут купить вино, а люди, которые не имеют ни того, ни другого,— не могут. Когда приятель ушел, писать о воде было уже поздно...

Сочинение было заказано к субботе,— у меня еще было два дня. Но на следующий день воде помешал уже не приятель, а вино, которое по отношению ко мне действительно оказалось неприятелем. И вот наступил последний день, и я засел писать о воде и ее значении в природе и жизни человека. У меня очень болела голова, но все-таки я написал. Потом — прочитал, ничего не понял и, решив, что я, должно быть, очень удачно подражал ребенку и вполне удовлетворю моим сочинением учителя,— понес его моей гимназистке.

Она встретила меня радостно.

— Готово! Ах, как хорошо! На пять, да? Ну, конечно,— ведь вы сочинитель... Идемте играть в куклы!

Мы пошли и играли, а потом я пошел домой и спокойно спал ночь...

В воскресенье я пошел к ней. Пришел. Маменька ее вышла навстречу мне, и была она величественна, как хорошая колокольня, а глаза ее смотрели на меня, как два револьверные дула.

— Ах, это вы, милостивый государь? Вы?

— Я почти уверен, сударыня, что это именно я.

— Без шуток-с!

— ?!?

— Писатель вы! Соч-чинитель! Слышите ли?

— Я думаю, что слышу... Но не уверен, что я понимаю...

— Что вы сделали с моей дочерью?..

— Позвольте мне это вспомнить...

— Взгляните на нее!..

Я пошел и взглянул. Она лежала на постельке и, как только умела, как могла,— плакала, бедненькая.

— Лизочка...— сказал я.

— Ах!.. Мама, мама, велите дворнику Матвею зарезать его ножом... топором... убейте его! — закричала Лизочка.

Это было удивительно!

— Объясните мне...

— Возьмите ваше гнусное сочинение, которое сделало мою дочь посмешищем всей гимназии и которому она обязана тем, что ей... поставили ноль!.. Возьмите и...

Я ушел. Бережно взяв сочинение, я спрятал его в карман и ушел. Мне казалось, что я несу в кармане целый Атлантический океан со всеми его тайнами. Придя домой, я прочитал сочинение... Читайте сами...

«ВОДА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Вода есть мокрая жидкость, появление которой на земле относится к доисторическим временам. Сначала воды на земле было не очень много, но после того, как по повелению господа был устроен всемирный потоп, ее стало на земле более самой земли, и с той поры она, никуда не стекая, так и остается в болотах, озерах и морях. Скопляется вода только в низких местах, а на высоких удержаться не может, потому что она жидкая. Если ее налить на вершину горы, то она скоро вся стечет вниз, поэтому подножия гор всегда бывают окружены морями, озерами и болотами. Если налить ее на апельсин, то она тоже не удержится на нем, а вот на земле она держится, хотя земля круглая, как апельсин...

Все реки также текут сверху вниз, потому что они начинаются на высоких местах и вследствие жидкости воды. Если ее даже просто пролить на пол, то и тогда она потечет туда, где ниже, а не наоборот. Ее очень просто отличить от масла, потому что она летом не застывает, а масло застывает и летом, если его поставить в погреб. Постное масло — больше похоже на воду. В болотах вода грязная, в морях соленая, и потому ее не пьют; пьют только воду из рек, но и то только там, где нет водопроводной воды. Пить воду вредно, потому что можно простудиться,— более полезно пить чай, кофе и квас... Вода также служит для путей сообщения, и те государства, у которых много воды, отличаются высокоразвитой торговлей,— таковы из древних Финикия и Греция, а из современных — Англия. В воде любят жить рыбы. По воде очень удобно возить товары на особых кораблях, которые называются флот, но пешком ходить по ней нельзя, потому что она жидкая и расступается от ног, и человек тонет. В природе вода является — летом в виде дождя, отчего на земле бывает грязно. Когда идет дождик, он прежде падает на крыши домов, а оттуда стекает ручьями на землю. Во время дождя взрослые выходят на улицу в калошах и под зонтиками, а дети сидят дома, и им бывает очень скучно. Зимой дождь замерзает и падает на землю в виде снега, отчего бывает холодно. В жизни человека вода нужна для разных надобностей: в ней заваривают чай, из нее варят суп, ею умываются, и когда умываются с мылом, то она, попадая в глаза, больно щиплет их. Из мыла с водой хорошо выходят пузыри. Для того, чтобы сделать пузырь, разводят в воде немножко мыла, берут соломинку и, окуная ее в эту жидкость, дуют в нее осторожно. На конце соломинки выдувается большой, красивый, разноцветный пузырь и, отрываясь от соломинки, летит в воздухе, пока не лопнет. В воде также стирают белье, водой моют полы в комнатах, и от воды простужаются, если пьют ее вспотевши. Еще в воде купаются, и некоторые тонут. Таким образом, мы ясно видим, что значение воды в природе и в жизни человека очень важно.

Елизавета Пионова».

Вот оно, мое сочинение. Признаюсь, что, прочитав его, я остался доволен собой, ибо нашел, что оно написано совершенно в стиле четвертого класса гимназии и не без знания детской психологии. Я знаю, что мыльные пузыри более близки интересам двенадцатилетней девочки, чем торговля финикийцев, и остановился на мыльных пузырях более подробно, чем на воде как на факторе культуры. Я не доказывал преимущества вина пред водой, хотя и мог бы блестяще доказать это. Я не доказывал в моем сочинении необходимости обложения воды акцизом в видах увеличения доходов государства,— хотя почему бы не доказывать этого? То ли еще доказывают люди с высокоразвитым чувством патриотизма! Я ни слова не сказал о всем том, чего не могла знать гимназистка четвертого класса, и, мне кажется, я сказал всё, что она знала о воде. Какого же чёрта нужно было этому достопочтенному учителю?

Пусть он сам попробует написать такое же сочинение для двенадцатилетней ученицы; посмотрел бы я, как он это сделает!..

За что он поставил нуль моей протеже? Я был возмущен и оскорблен.

Всякий на моем месте чувствовал бы то же самое, я полагаю. Я решил отправиться к этому господину.

Я пришел к нему и увидел пред собой длинную и тощую фигуру, весьма напоминающую собой ижицу, перевернутую вверх тормашками.

— Милостивый государь, — сказал я ему,— это я — автор сочинения «Вода и ее значение в природе и в жизни человека», поданного вам гимназисткой четвертого класса Елизаветой Пионовой.

— Разве вам не стыдно сознаться в этом? — с ужасом спросил он меня.

— Я не о себе пришел говорить с вами... Я хотел бы только знать, за что вы поставили Пионовой нуль?

— За сочинение,— уверенно ответил он мне.

— Чем же, собственно, вам не нравится это сочинение?

— Ер-рунда!

Тут я горько пожалел, что не захватил с собой пушки. С таким бы удовольствием я влепил в учителя хорошенький заряд из артиллерийского орудия!

— Государь мой! — смиренно заговорил я.— Вы, кажется, полагаете, что на земле возможно существование леса раньше, чем вырастут деревья. Вы требуете от ученицы ясного представления о значении воды в природе, но известно ли вам, о государь мой, что ваша ученица ни в каких близких сношениях с природой не находится и едва ли может о ней иметь представление. Она живет в детской, во втором этаже большого каменного дома, и от ее квартиры до природы огромное расстояние, ибо, как это вам должно быть известно, в благоустроенных городах природа находится за городом. Пока еще ее домашние не озаботились ознакомить ее с природой, и, уверяю вас, она, Пионова, не в состоянии сказать вам, где находится природа и какая она из себя...

— Гм?! Да? Это очень... странно! Но чего же вы желаете?

— Дайте Пионовой другую тему! Клянусь вам, я больше не буду писать для нее...

— Другую тему? Ну что ж? Это можно... Извольте...

Он взял с своего стола маленькую книжицу, на обложке которой я мельком прочитал «Паульсон», и стал ее перелистывать...

— Ну-с вот: пусть она напишет «Море и пустыня».

Я кротко и умоляюще посмотрел на него.

— «Море и пустыня»...— повторил он,— славненькая темочка!

— Но, государь мой! Она никогда не видела моря и не была в пустыне...— с отчаянием воскликнул я.

— Однако это довольно неразвитая девочка! Ну, тогда вот: «Влияние природы...»

— Опять природа!

— Да, да! Тогда — «Балтийское море и его торговое, экономическое, культурное и политическое значение»...

— Не торгует она, политикой, по молодости лет, не занимается...

— Ужасно неразвитая девочка! Что бы ей такое дать?.. Та-та-та! Нуте-ка, вот: «Что есть общего в характерах Чацкого и Хлестакова?»

...Как все люди, я тоже кроток и человеколюбив... до известного предела. Впрочем, я ведь не оправдываюсь, а только каюсь...

У него в комнате была печка, а на печке — отдушник. Ну, так вот на этом отдушнике, захлестнув учителю за шею его же собственный галстук,— я его и повесил.

Повешенный, он только потерял свое сходство с ижицей, а кроме этого, мне кажется, никто ничего не потерял.

Вот и всё, что я хотел сказать.

РОМАН

I

Герою этого романа, Яшке, было одиннадцать лет, когда он впервые почувствовал в своем маленьком сердце сладкое томление любви. Он был «мальчиком из типографии», очень чумазым мальчиком, от которого всегда густо пахло типографской краской, скипидаром и другими профессиональными ароматами. Такой же замазанный, потрепанный, как и все другие типографские мальчики, с таким же, как у них, лицом в маске черной жирной грязи,— Яшка отличался от них большими, всегда широко раскрытыми светлыми глазами, сравнительной скромностью поведения и стремлением к чистоте. В обед он всегда умывался, то есть размазывал по лицу неровно осевшую на него свинцовую пыль и грязь машин — ровным пластом, и от этой его заботливости о своей внешности казалось, что он не выпачкан, а таким уж черным произведен на свет. Ровный колорит грязи на его лице дал ему среди сверстников право на прозвание — Чистяк.

Курносый, с толстыми губами, с большими глазами и шарообразной, гладко остриженной головой, по бокам которой торчали большие, оттопыренные уши,— среди наборщиков он был более популярен под кличкой Рукомойник. Положение его в типографии было ничуть не хуже положения других сверстников: он никак не мог пожаловаться на то, что его обделяют работой или затрещинами, и в общем он ходом своей жизни был доволен. После побоев он обыкновенно плакал и жестоко ругал того, кто его бил, но ругал втихомолку, так, чтоб, кроме него самого, никто не слыхал этих ругательств. В аналогичных случаях сверстники его вели себя точно так же, и вообще Яшка Чистяк, или Рукомойник, почти

ничем от них не отличался. Жалованья он получал два рубля в месяц и всё целиком отдавал своей тетке, весьма толстой и всегда полупьяной старухе, торговавшей на толчке старьем. По отсутствию отца и матери Яшка жил у нее в темной четырехугольной дыре с одним окном, смотревшим куда-то в яму. Дыра эта была частью подвала большого трехэтажного дома и являлась прекрасной квартирой,— зимой в ней было жарко от духоты, вследствие почти полного отсутствия воздуха, а летом прохладно, как в погребе, в силу сырости, наполнявшей дыру. Яшкина тетка относилась к нему не особенно любезно и частенько жаловалась богу на тех людей, которые умирают, оставляя после себя потомство на попечение их родственников, совершенно неповинных в том, что люди имеют дурную привычку родить детей и не умеют их ставить на ноги без помощи посторонних лиц, ничем не заинтересованных в этом деле. Нередко случалось, что Яшкина тетка основательно доказывала правду своего мнения путем подзатыльников и тычков, в изобилии осыпая ими племянника. Чаще всего она делала это в нетрезвом виде. Впрочем, нужно сказать, что в трезвом виде она была только тогда, когда просыпалась после выпивки, причем это время у нее целиком поглощалось желанием опохмелиться,— желанием, которое она скоро и приводила в исполнение.

Ввиду вышеизложенного Яшка чувствовал себя на улице гораздо лучше, чем дома, и в одиннадцать лет был уже очень тонким знатоком города и городской жизни. На улице жизнь была и краше, чем дома, и содержала в себе более равенства; обида, нанесенная Яшке на улице, немедленно же возмещалась им путем ловко брошенного камня, ругательства или даже потасовки — в том случае, когда обидчик был равносилен с Яшкой. Дома возмездие было невозможно — Яшка не мог бы сладить с теткой и так был уверен в этом, что даже ни разу не пытался вступать с нею в открытый бой. Иногда только он в виде маленькой мести позволял себе кое-что: так, например, когда пьяная тетка засыпала, он подливал под нее холодную воду, подсыпал ей в табакерку перца, а в башмаки сухой горчицы. Последнее средство было самым оригинальным, и Яшка

на самом себе испытал, как именно оно действует. Ему товарищи подсыпали горчицы в сапоги, и когда она растворилась от пота,— оба сапога представили собой великолепные горчичники. Яшка долго танцевал после того, как догадался снять сапоги, и в конце концов — даже упал, вздернул ноги кверху и, болтая ими в воздухе, стал отчаянно реветь. Подошвы так жгло, точно их поджаривали на плите, между пальцами вздулись пузыри, которые потом лопнули и образовали ранки, долго заставлявшие Яшку ходить босиком и ступать только на пятки. Тетка разика два испытала прелесть этой милой шутки, очень распространенной среди других развлечений в Яшкиной типографии. Но один раз горчица оказалась не особенно крепкой и не причинила тетке ничего особенного, кроме легкого беспокойства. Зато другим разом Яшка остался доволен — тетка ныла и стонала, хуже, чем сам он после побоев. Она все-таки не догадалась, в чем дело, и Яшка не раз еще надеялся в будущем полечить ее горчичниками. Мне неизвестно, оправдались ли его надежды.

II

Однажды Яшка чистил печатный станок, а для развлечения ругался с своим товарищем по работе, и всё шло благополучно, как вдруг колеса станка почему-то пришли в движение...

— Тпр-ру, дьяволова мельница,— презрительно воскликнул Яшка, но в это время что-то дернуло его за ногу, потащило куда-то вбок и вниз и мягко, но сильно шлепнуло о пол спиной. Яшка дважды открыл и закрыл свои большие глаза, в которых было много боли и изумления, и впал в беспамятство.

Очнулся он в четырехугольной комнате с желтыми стенами. Был вечер, горели лампы, а окна были завешены темной материей. Ламп было три, и, кроме них, было еще шесть кроватей, они стояли по три друг против друга и тоже были покрыты желтым. На всех трех кроватях, стоявших против той, на которой лежал сам Яшка, спали люди, на одной, рядом с ним, лежал длин-

ный человек с черными усами и большущими глазищами смотрел прямо в лицо Яшки...

По другую сторону от него кровать была пустая, и Яшка, чувствуя, что он боится черноусого соседа, стал смотреть на нее, соображая, куда он попал? Желтый цвет напомнил ему об остроге, который снаружи был весь выпачкан желтой краской, и еще о гимназии. Яшка прислушался — не звякают ли где кандалы? Но было тихо, и только далеко где-то стонали... и ужасно скверно пахло... Значит, это больница, а не острог и не гимназия... Яшке стало жутко и очень захотелось заплакать, но он сдержался, сообразив, что его длинный сосед может ему задать за слезы выволочку. И, закрыв глаза, Яшка стал чутко прислушиваться... Прежде всего он услышал бурчание в собственном своем животе и почувствовал, что хочет есть... В то же время он как-то сразу вспомнил то, что с ним случилось до той поры, как он очутился здесь, и вместе с тем он испугался, ощутив, что у него болит голова, спина и одной ноги как будто нет совсем... Но это оказалось фальшивой тревогой: нога была с ним — когда он попробовал пошевелить ею, она дала о себе знать жестокой болью.

Яшка крепко закрыл глаза и во всю мочь закричал... а потом, не открывая глаз, стал слушать... Где-то раздались мягкие и спешные звуки шагов, и над Яшкой прозвучал женский голос... не так, чтобы очень ласковый...

— Ну, чего ты кричишь?.. а? Мальчик! Али ты в обмороке?

Очевидно, в этой больнице люди, впадавшие в обморок, не теряли дара слова, и сиделка привыкла с ними разговаривать и в то время, когда они находились без сознания. Как бы поощряя эту ее привычку, Яшка подумал — что бы ей сказать, и, открыв глаза, заявил, хотя и слабым голосом, но с полной уверенностью:

— Я есть хочу!

— Так чего же ты кричишь во всё горло? Ишь какой пострелёнок!..

И она ушла, шлепая туфлями по полу. Потом она снова явилась, и Яшка нашел уместным спросить ее:

— Ведь это, тетенька, больница?

На что она поучительно отвечала ему:

— А то постоялый двор?

Потом Яшка поел и уснул. Проснувшись среди ночи, он открыл глаза и осмотрелся. Всё было пропитано тишиной и запахами лекарств. И кто-то тихо-тихо стонал. Звук был такой странный и так плавно носился по желтой комнате, что казался единственно живым среди этой пахучей тишины и непривычной Яшке приторной чистоты. Точно это желтые стены дышали... Сосед Яшки по койке лежал вытянувшись, сложив руки на груди, на лицо его падал свет, губы были полуоткрыты и обнажали белые холодные зубы. Это было страшно. У Яшки екнуло сердце, и он, натянув себе на голову одеяло, заплакал потихоньку, чувствуя себя одиноким, забытым и погибающим.

Так и потянулись дни за днями. Яшка плохо выздоравливал и сильно худел. Худоба лица сделала Яшкины глаза еще больше, и в них замерло тоскливо-выжидательное выражение. Лицо ему отмыли, и теперь было видно, что оно белое, миленькое личико уже много думающего ребенка. Скучно ему было в больнице, тошно, одиноко.

Однажды, проснувшись среди дня, Яшка открыл глаза и вздрогнул. Кто-то смотрел на него и улыбался ему, так улыбался, что Яшка почувствовал себя совершенно здоровым и сделал движение, желая сесть на койке. Но боль в ноге заставила его сморщиться, охнуть и снова закрыть глаза.

— Что у тебя болит, мальчик? — спросили его. Никто никогда и ни о чем не спрашивал его так ласково.

Яшка взглянул — над ним наклонилось чье-то белое, нежное, почти прозрачное лицо, и прямо в глаза ему смотрели темные, ласково прищуренные глаза, смотрели и улыбались и как бы гладили Яшку чем-то мягким и теплым по всему его маленькому телу. Яшке показалось, что всего этого он давно уже ждал и что когда-то кто-то так же вот смотрел на него... но это было неизвестно когда. Яшка улыбнулся...

— Что ты молчишь?

Яшка снова улыбнулся и хитро кивнул головой, прищурив глаза.

— Милый какой!

Яшке плакать захотелось. Охватить бы эту чисто вымытую, тонкую шею и плакать долго и много.

— Ну, ответь! Давно ты здесь? Что у тебя болит? Чей ты?

У мальчика щекотало в горле, и прерывающимся голосом он спросил:

— А ты не уйдешь... вы не уйдете, если я говорить с вами буду?

— Голубчик! Почему ты думаешь так?

— А я буду говорить... вам не про что будет спрашивать, и тогда вы уйдете... Опять тогда я останусь один.— Тут Яшка заплакал слезами обиды и радости.

— Бедненький... Я не скоро уйду... вон он спит еще...

— Кто? — быстро сквозь слезы спросил Яшка.

— Брат.— И она кивнула головой на его соседа по койке...

— Так вы это не ко мне пришли? — разочарованно спросил Яшка.

— Ведь я же не знала тебя... Теперь буду уж и к тебе приходить...

— А этот, длинный-то, и есть брат? Он чего тут лежит? Тоже машина его испортила? — недоверчиво и любопытно спросил Яшка.

— Он... болен, очень болен... Его не машина, а... так он... нездоров...

— А вы кто такая? Часто вы будете ходить? Каждый день? А вы где работаете? Вы, может, корректорша, или швейка, или просто барыня? Глаза вот у вас больно чудные... большущие!.. Пока брат хворает здесь, вы всё и будете ходить сюда? Ишь... ну кабы он подольше похворал!

— Мальчик мой бедный, голубчик!

Он опять заплакал, этот Яшка Чистяк. Уж очень она хорошо говорит свои слова! Он плакал и сморкался в свои пальцы, а она утирала ему нос платком, от которого пахло цветами и весной. И Яшка чувствовал, что вместе со слезами из него выходит его боль, а вды-

хая запах платка, он вдыхает вместе с ним бодрость и силу... Потом она целовала его в глаза, и в губы, и в щеки, и в лоб. И всё это было не изведано Яшкой, всё открывало пред ним целый мир новых чувств.

Она ушла,—он остался как во сне и как во сне жил девять дней. Девять раз приходила она, и всё это время Яшка переживал бесконечно много неизведанных, сладко волновавших его душу ощущений. Она обыкновенно приходила и, подходя к его койке, поцелуем здоровалась с ним, а потом шла к брату и садилась в ногах его койки так, чтобы видеть и Яшку. Яшка, хмуря брови, следил за ней, слушал ее разговор с братом, а когда она взглядывала на него, Яшка манил ее глазами к себе. Чувство жгучей ревности к этому длинному и мрачному человеку испытывал Яшка всякий раз, как только вспоминал о его существовании. Яшка хотел бы, чтоб он умер уж, что ли, скорее, этот длинный брат, тогда бы она ходила к одному ему, к Яшке. И всякий раз, как брат со стоном хватался за грудь, Яшка вздрагивал — умирает, что ли? Но тот всё не умирал, и Яшке горько было это. Первый раз ему выпало на долю такое хорошее, и вот нужно делить это пополам с какой-то «гнилой жердью», как мысленно прозвал Яшка своего соседа. Она всё время почти сидела у него на койке и лишь изредка ненадолго подходила к Яшке. Он хватал ее за руку и, глядя на нее жадными и умоляющими глазами, тянул ее к себе, молча, крепко... Она потихоньку освобождала из его пальцев свою руку и снова шла туда, к брату, который никогда не говорил ни слова Яшке, да и с ней говорил мало. И всякий раз, когда она уходила, Яшке хотелось ругнуть ее брата, в сердце у него что-то кололо, и на глаза навертывались злые слезы. Много мук и много счастья пережил он в эти девять дней своей жизни.

И вот однажды утром, проснувшись, Яшка увидал, что «гнилую жердь» перекладывают с койки на носилки...

— Куда его тащат? — быстро спросил Яшка у сиделки.

— А тебе что? Ты еще туда не попадешь... чай, вот скоро тебя домой потурят... Набаловался здесь.

— Умер, что ли? — с трогательной просьбой в глазах еще спросил Яшка.

— Ну известно... Не живого, чай, понесут.

«Умер!» Яшка испугался несколько, видя это вялое, белое мясо, лишенное движения, какое-то изломавшееся. Еще ночью этой Яшка слышал его стоны, кашель и движения... Но скоро испуг сменила тихая радость — «она» будет ходить только к нему одному, к Яшке. И, закрыв глаза, он начал ждать ее. Он мог уже вставать с койки и ходить при помощи костыля, но лежал... Она придет и, как всегда, поцелует его, но уже не сядет туда, к брату. Нет уж его, брата-то! Жгучая радость охватывала Яшку при этой мысли, и потом она сменялась в его душе тихим и сладким покоем. Всегда теперь она будет сидеть с ним, Яшкой, и никого у нее здесь нет, кроме него... Но она не пришла...

— Хоронит...— объяснил себе Яшка этот грустный факт.— Похоронит и придет... Апельсинов, чай, принесет и книжку... И будет говорить... до-олго!

Она не пришла и на другой день и на третий, и ни разу больше не видал уж ее Яшка в течение тех двух недель, которые прожил в больнице со времени смерти ее брата...

III

Он долго, усердно искал «ее» по городу после того, как вышел из больницы. Он вынес оттуда нелюдимость, молчаливую сосредоточенность и сознание необходимости найти «ее». По воскресеньям и в нерабочие дни он шлялся по городу всюду, где бывает чистая публика, и искал, и не мог найти. Похожих было много, и все они кололи ему сердце острым воспоминанием о «ней», мимолетной грезе его печальной жизни, все они еще прочнее запечатлевали в его маленьком сердце ее славный, добрый образ, ее ласковые темные глаза, ее горячие мягкие губы, тонкую фигурку ее в черном пышном платье и маленькую головку в черной шляпе с белым пером. Нигде не было ее, кроме его сердца. Сосредоточенный и хмурый, с большими печальными глазами, опять чумазый и снова пропахший типографской краской, он был несколько

странен для типографского мальчика. В нем не было бойкости детства, беззаботности и веселого сердца ранней весны его жизни — всё детское в нем пожрала и сожгла эта девятидневная греза.

Но судьбе, всегда такой остроумной в своих жестоких шутках над людьми, судьбе его угодно было, чтоб он еще раз увидал ее. Однажды, возвращаясь с товарищами с прогулки по лесу и идя почтовым трактом, он увидел ее. Прошло два года, но она была такая же, как и тогда, в больнице, сидела в почтовом возке, и тройка коней несла ее в клубах пыли. Рядом с ней был еще кто-то... военный, потому что в глазах Яшки сверкнули металлические пуговицы. Это она была, она, он не ошибался. Он как бы прирос к земле на мгновение и вдруг с радостным криком бросился вслед за тройкой.

Он бежал, прижав локти к бокам, и кричал, и в рот ему набивалась пыль; гремели колеса тарантаса на выбоинах, и в голове Яшки шумело, сердце его билось, он кричал, кричал... Тарантас, заглушая его голос, исчезал в пыли... Деревья стремительно неслись куда-то мимо Яшки Чистяка...

И когда, обессиленный погоней, он упал в пыль дороги лицом,— то зарыдал, заплакал слезами горькой обиды, злыми слезами разочарования.

Потом он пытался найти ее. Дня через три он отправился вдаль, по почтовому тракту и шел, спрашивая на каждой станции:

— Куда ехали третьеводни барыня с офицером?

Над ним хохотали. В уездном городе, до которого он дошел наконец, его арестовали за бесписьменность и по этапу отправили в губернию. Тогда он снова поступил в типографию и, всегда хмурый, точно что-то потерявший, молчаливый и злой,— скоро во внешнем образе жизни потерял всякое различие с товарищами. Пил водку, как они, посещал с ними веселые дома, играл в орлянку и карты и работал, работал, работал ради всего этого...

Теперь Яшка Чистяк — тридцатилетний угрюмый пьяница, проводящий свою жизнь гораздо более у кабацкой стойки, чем у кассы со шрифтом. Он пользуется среди хозяев и рабочих дурной славой пьяницы, вора и полусумасшедшего... С виду ему можно дать лет пятьдесят,

весь он рваный и грязный, всегда битый и полупьяный... Глаза у него большие, бесцветные, опухшие...

Но когда однажды в кабаке он рассказывал мне эту историю,— я видел, как они блестели таким ясным, славным огнем. А кончив свой рассказ, он помолчал и добавил:

— Только всего и было в моей жизни хорошего... Мало, брат, да... Спился вот. А про нее вспоминать...приятно. Люблю я это. Хоть оно, может быть, ежели бы не она... ничего бы, жил я... А и то сказать — наплевать! Ну е к чёрту... Как ни живи — умрешь. Значит — всё равно. А как она была — есть про что вспомнить...

НЕМОЙ

БАШКИРСКАЯ ЛЕГЕНДА

...Лицо моего знакомого башкира Габуна было совершенно бесстрастно,— коричневое, скуластое, с маленькими неподвижными глазками и всё в тонких морщинах, оно всегда казалось созерцавшим какое-то воспоминание, давно уже пережитое. Мы молча сидели с ним у потухшего костра, глядя, как порой по груде пепла перед нами пробегали золотые змейки огня. Нас обнимала степь тесным и темным кольцом, над нею неподвижно стояли облака, похожие на застывшие морские валы, и вокруг нас царило суровое и важное молчание. Во тьме бесшумно плавали силуэты коней Габуна, иногда откуда-то на нас веял душный и теплый воздух, и тогда тихо шуршал песок, вздымаемый им. Но эти бледные и слабые звуки не нарушали сна степи и не тревожили тьмы в ней. От молчания и тьмы вокруг нас мне было жутко — казалось, весь мир умер и от всех людей остались только я и Габун. Он лежал против меня и смотрел через меня своими косыми и узкими глазами вдаль, в бездну тьмы и сурового молчания. Мы долго лежали так, не двигаясь и не разговаривая, и когда, наконец, я не мог уже выносить этого одиночества вдвоем, я сказал башкиру:

— Расскажи что-нибудь, Габун!..

— А ты слушай, как молчит степь...— посоветовал он мне. Но я упросил его, и нараспев, диким, воющим голосом, некрасивым и мрачным, но как нельзя более гармонировавшим с пустыней, тьмой и моим настроением, он рассказал мне легенду о немом кочевнике Юзгляре.

«От Моздока по дороге к морю, но вдали от нее и глубоко в степи, есть курган, и лежат под ним кости Юзгляра, который при жизни был нем, потому что юношей он упал с копя и откусил себе язык.

«Он был нем, но у него были огненные глаза, и девушки наши заглядывались на них, но был он высокий, худой, и, часто улыбаясь, показывал он острые, волчьи, белые зубы, и это — так страшно, что никто не любил и все боялись его.

«Он летом пас гурты овец, а зимой, хотя бы был сильный мороз и вьюга, летая по степи, выла свои хищные песни,— зимой никто не видал его у бедных наших юрт. Где он бывал? Говорили — в русских городах.

«Аа, ай! Как часто били его за то, что он был зол, и, приходя в кочевки, смеялся над батырями, которые были сильнее его! Он не говорил ничего, ни звука не знал и всё только смеялся своими глазами, в которых было много огня.

«Он посмотрит, бывало, на человека, как на труп барана, гниющий в степи, и со злом оскалит свои зубы и качает головой, а потом взглянет в небо и видит там что-то, от чего на глазах его явятся слезы.

«И бьет он себя в грудь рукой, и смеется, бывало, так, что тому, кто слышал его, становилось стыдно, и зло закипало в нем, он грозил немому кулаком, и если тот не унимался, то оба они бросались друг на друга, как волки, и дрались.

«И всегда Юзгляр бывал избит, а избив, оставляли его валяться где-нибудь около юрт, и лежал он, весь распухший от ударов, и никто не хотел принести ему воды и помочь встать с земли, он лежал и всё смотрел в небо, где так хорошо в ясные дни.

«А когда кто-нибудь приходил посмотреть, не умер ли он, он указывал подошедшему рукою в это небо, где днем летают степные орлы, а почью пасутся стада звезд, указывал туда и печально вздыхал.

«А когда мы, в праздник, собираясь в юртах и попивая кумыс, пели, бывало, старые песни о житье-бытье киргиз, хорошего степного народа, он опять приходил и смеялся над нами, отказываясь от ковша с веселым питьем.

«Мы выгоняли его тогда, и опять он скалил зубы и скрипел ими, точно хотел сказать что-то, и бил себя в грудь, и плакал,— но даже женщины не жалели его, потому что он мешал веселиться.

«Иногда мы смотрели в небо, куда указывал он, — что ж там? Мы видели всё, что было видно,— как синяя кошма оно, и стада звезд пасутся по ней, а днем там вьются молодцы-орлы,— вот и всё!

«Никто не мог понять, что видел там злой немой, и был он нам ненужен, только жить мешал, и мы гнали его от нас, гнали, как могли, и вот как-то раз он пропал...

«Мы весной нашли его, когда стаял снег, которого в ту зиму было много, мы нашли его там, где он и теперь лежит, глаза его выклевали орлы и вороны, и щеки и губы оклевали ему, и он лежал один в степи — худой и страшный — и улыбался своей бешеной улыбкой.

«Было пусто вокруг него, только степь и небо, а в небе — птицы, спугнутые нами с его тела. Жалко стало нам его тогда, и, поговорив о том, зачем он был такой и что хотел сказать нам, мы решили зарыть его там, где нашли, зарыть и насыпать над ним высокий курган из песка.

«И зарыли, и насыпали, а ветер еще выше намел этот курган, и лежит теперь под ним немой башкир, и песок насыпался ему в исклеванные очи...

«Но зимой встает он из-под песка, и, одеваясь в белый халат из снега, стоит он на вершине кургана и машет длинными руками, зовя к себе, и всё сверкают его белые зубы, улыбаются.

«Многие видели его там и в страхе бежали прочь, а вьюга летала вокруг него и пела ему свои волчьи, страшные песни, а он плакал, слушая ее, плакал горько, то как ребенок, то, как умирающий, хрипел и стонал он и всё звал к себе, в свою могилу проезжавших мимо нее башкир, хороших степных людей...

«И когда вьюга переставала выть — уходил немой в свою песчаную юрту и ложился там на спину, как мы положили его, ложился и смотрел исклеванными глазами в небо».

ВСТРЕЧА

НАБРОСОК

— Сколько же отсюда верст до этой... как ее?

— До Березянки-то? Верстов тридцать, поди... а то и с излишком.

Спрашивал высокий человек в бобровой шапке и длинной верблюжьей шубе, отвечал красноролжий лысый мужик, низко подпоясанный по замазанному полушубку красным кушаком. Оба они стояли на крыльце постоялого двора, мужик, сняв шапку, вертел ее в руках и, переступая с ноги на ногу, колыхал своим большим животом, ожидая, о чем еще спросит его проезжий. А проезжий, медленно очищая от сосулек концы своих пышно убранных инеем усов, смотрел на снег, ослепительно блестевший на солнце, и задумчиво щурил большие усталые глаза.

— Верст сорок, значит? — спросил он.

— А може, и сорок... В горницу пожалуете али по деревне сделаете прогулочку?

Деревня состояла из двух десятков бугров снега, на ярком фоне его кое-где торчали закопченные трубы печей, выглядывали темные углы крыш и стен, тускло смотрели стекла кривых окон, а в одном окне разбитое стекло, заткнутое красной тряпицей, было похоже на громадный вытекший глаз. Бугры снега неподвижными белыми волнами лежали и на улице, лучи холодного солнца усеяли их миллионами остро сверкавших искр. Проносился ветер и вдруг гасил их сияние, вздымая белые дымки, — но, потухшие на земле, они вспыхивали в воздухе и с шорохом исчезали куда-то. Было очень холодно, и изо рта проезжего дыхание вырывалось клубом белого пара прямо на лысину говорившего с ним мужика.

— Пойдем в горницу... А долго ждать?

— Самую малость... в полчаса время мы вас снарядим.

Радостно взвизгнул дверной блок, и красное лицо мужика озарилось счастливой улыбкой, когда он, распахнув дверь в сени, с тревогой и надеждой спросил:

— Самоварчик прикажете? Яички, молочко... колобашка пшенисная?

— Тащи, но, пожалуйста, брат, не долго возись...

— Живым манером...— И он скрылся с быстротой, совершенно непостижимой при его животе.

Проезжий сбросил с себя шубу, потом снял меховое пальто и остался в толстом сером костюме и в высоких, по колено, теплых сапогах.

Лицо у него было полное, сытое, разрумяненное морозом, прядь длинных волос упала на высокий лоб в тонких морщинах, глаза, большие и умные, смотрели задумчиво... Он, зевая, сел за стол и осмотрелся. Маленькая, оклеенная газетной бумагой и листами какого-то журнала с картинками, комната представляла собой правильный четырехугольный ящик. Давно немытый потолок был черен от копоти, а стены комнаты желты от бумаги, выцветшей и засиженной мухами. У стены стоял большой стол, выдвигавшийся до половины комнаты, по бокам его — лавки... Два окна освещали всё это. Пахло чем-то сложным и тяжелым. Было тихо и убийственно скучно.

Проезжий закурил папиросу, встал со скамьи и начал ходить по комнате. Одно из темных пятен на стене привлекло его внимание своей странностью,— оно изображало девушку с букетом цветов в руках, поместившуюся на вершине дерева, одной с ней величины. Он подошел поближе и увидал, что это склеены две разорванные картинки,— у девушки не было половины туловища, и дерево было подклеено как бы в виде продолжения девицы. Проезжий улыбнулся и стал рассматривать другие картинки. Одна изображала снимок с группы «Чичерровакио с сыном, расстреливаемый австрийцами», рядом с ней помещалось «Стадо бизонов в пампасах». Рядом с бизонами — портрет Тьера, но у Тьера было оторвано левое плечо, и вместо него к Тьеру подклеили «Берег реки Миссисипи». Было и еще много подобных

картинок, перемешанных с газетными листами, и один из них крупным заголовком гласил: «Х-ая Газета», № 221-й 1867 года, августа 29-го дня...

Проезжий улыбнулся так, как улыбаются при встрече хорошего старого знакомого,— с любопытством, с радостью и со смущением, вызываемым смутным чувством какой-то неловкости.

Он смотрел, улыбаясь, на заголовок желтого листа, будившего в нем воспоминания о прошлом, о дне, в который он впервые пришел в редакцию этой газеты с первой своей рукописью, и о другом дне, когда эта рукопись под заголовком «За правду» явилась в фельетоне газеты. Почти тридцать лет прошло с той поры... Давно уже не существует эта газета, и очень недолго она существовала. Около нее группировались всё такие горячие головы и честные сердца, ее редакция всегда представляла собой что-то вроде химической реторты, в которой из разнообразных явлений жизни вываривались статьи, полные убедительных выводов, в то время убеждавших. Всё, что творилось там, творилось горячо; сколько искренности, сколько молодой энергии кипело в этих людях...

Проезжий отошел от стены и снова сел за стол, мягко улыбаясь своим воспоминаниям. Они будили в нем то же очищающее душу чувство, какое будят воспоминания детства. Он думал о том, что всё это было, да, и всё это было хорошо и честно, но он не забывал и того, что всё это теперь частью позабыто, частью осмеяно и что сам он далек от настроения и идей того времени, когда он начинал жить. Он ныне — писатель для салонной публики, поставщик изящных новелл, жрец искусства, а не поборник направления.

Краснорожий мужик внес большой ярко вычищенный самовар. Самовар был чем-то разгневан — он шипел, бурлил, со свистом выпускал из отверстия крышки струю пара и, казалось, готов был соскочить со стола и куда-то бежать. Вся комната наполнилась звуками протестующего шёпота, и стекла в окнах сразу запотели. Мужик вышел, потом внес дорожный поставец проезжего, тарелку, на которой лежало с десяток яиц, горшок молока, хлеб. Потом он стал у двери и, поправляя кушак,

вопросительно уставился на барина, а тот, задумавшись, не видал его. Мужик тяжело вздохнул и спросил:

— Идтить мне?

— Иди,— тихо сказал проезжий, не глядя на него.

«Почему это в молодости жизнь всегда кажется такой простой и ясной?» — думал проезжий, поглядывая на стену. Самовар, как бы недовольный тем, что на него не обращают внимания, всё сильнее кипел и точно захлебывался от негодования. Но человек, сидевший против него, всё более погружался в задумчивость. Вспоминалось много, и всё это так славно трогало душу, овевая ее мягким дыханием ласки, явившейся из забытой дали. Тогда он жил в такой же вот грязненькой и маленькой клетушке, как эта, а рядом с ним жил один товарищ, человек стойкий до фанатизма и впоследствии дорого заплативший за эту стойкость. В том же доме жила и «она»... Теперь она его супруга, и скоро истечет двадцать пять лет со времени свадьбы. Тогда она служила цензором его совести, источником его вдохновений, теперь... она его супруга, соединенная с ним холодной привычкой друг к другу, образовавшейся за эти четверть века. Четверть века!..

Самовар положительно выходил из себя.

Теперь и тогда — какие эпохи! Одна — вся в яркнх огнях, полная энергии, самозабвения, донкихотства, эпоха великих реформ, великих надежд, великих ошибок: трагическое и смешное, бодрое и мечтательное — всё перепутывалось в ней и всё было — крупно, по меньшей мере. Теперь — туманно и серо, храмы пусты, боги забыты, души — нищи, иногда вспыхивает кое-где свет, но это блуждающий огонь, и вся жизнь, по меньшей мере,— мелочна и бедна.

Проезжий встал и, заложив руки за спину, опять подошел к стене. Как попал сюда, в глушь, этот старый газетный лист? И проезжий стал читать его, улыбаясь ему. Самовар несколько успокоился и начал скептически посвистывать, где-то мычал теленок и лаяла собака. Снег хрустел под окном.

Маленькие буквы, порыжевшие, замазанные грязью, засиженные мухами, с большим трудом составлялись

в слова и фразы, но эти слова, эти фразы были хорошо знакомы проезжему, и в ответ на них в его душе звучало что-то, давно-давно не ощущавшееся ей. Эта искренность и этот огонь, смелый огонь убеждения, которые вошли в плоть и кровь автора,— где это они теперь? Только у стариков, бойцов за свободу.

Отведя глаза в сторону, проезжий встретился с осколком зеркала, прикрепленным гвоздиками к стене, и зеркало показало ему, что усы у него — седые и волосы на голове тоже сильно посеребрены временем.

Ему стало неловко пред самим собой, и он, потерев лоб, вздохнул. Да, он изменил, он холоден и бесстрастен к тем идеям, которые тогда были так близки ему и которым теперь нет места в жизни... Его ли это вина? Жизнь всегда сильнее человека. Сомнение вечно враждует с верой.

— Лошади-те готовы... коли что! — раздался голос мужика, заглянувшего в дверь.

— Хорошо... я сейчас,— отозвался проезжий.— Я выпью стакан и поеду...

— Да мне — как вам желательно,— возгласил мужик и скрылся.

В глаза проезжего бросился угол газетного листа. Он отклеился, свернулся в трубочку и как бы приглашал развернуть его. Проезжий так и сделал. Потом он согнулся и быстро выпрямился с красным от волнения лицом. На обороте страницы газеты был напечатан его фельетон, его подпись стояла на уголке. Ему сделалось и жалко себя и как-то радостно. Разве для того, волнуясь и горя, писал он, чтобы его трудом оклеивали стены постоялых дворов? Плоды первых, самых свежих соков его мозга, плоды волнений лучших дней его юности... И в то же время он чувствовал что-то радостное, острое от этой встречи с самим собой, с тем человеком, которого он давно уже прожил, от которого в нем, теперешнем, не осталось почти ничего.

«Хотя бы в форме фельетона, написанного более четверти столетия тому назад и оставшегося на грязном листе бумаги, заменяющей обои на постоялом дворе,— все-таки приятно уцелеть, остаться в жизни»,— говорило ему тщеславие профессионалиста. Но человек в нем

был оскорблен. Он наморщил лоб, грустно усмехнулся и, подойдя к столу, стал заваривать чай.

Самовар меланхолично и тоскливо напевал о чем-то. Под окнами фыркали лошади. Маленькая фигурка, с ног до головы окутанная в рваные овчины и тряпье, тяжело ввалилась в дверь и пискливо произнесла:

— Скоро поедете ай нету?

— Сейчас... а что?

— Ничего мо... домой бы я сходил переобуться, ежели не скоро...

— Сходи... поскорее только, паренек...— добродушно попросил проезжий.

— Ин схожу... А я не паренек... мне, чай, уж под шесть десятков годов есть... А то еще и больше...— объяснила фигура и вышла, прежде чем проезжий успел что-нибудь сказать ей.

«Что, если этот лист отклеить и взять с собой?»— подумал проезжий, прихлебывая чай. Но это показалось ему смешным и сентиментальным... Зачем?.. А сколько хорошего связано с этим фельетоном, сколько мечтаний о борьбе и славе! Борьба была, и ей завоевана известность, материальное благосостояние, солидное положение в обществе — положение «нашего талантливого беллетриста». Не много... и не мало. Меньше того, о чем мечталось, больше того, чего достигли другие. Но достигнуто ли равновесие души, сознание честно выполненных задач жизни, гордость собой?

Самовар то вздыхал, то посвистывал и повизгивал,— очевидно, переживал что-то вроде агонии.

— Фекла?! Где ты, чёрт,— раздался в сенях грозный окрик.— Иди-ка погляди, что теленок-то наиграл!

И вслед за этим криком тишина вокруг проезжего стала как-то скучнее и тяжелей. Ему всё думалось; медленно и неотвязно кружились в его голове эти печальные думы. Давно не испытывал он ничего подобного, да и испытывал ли когда-либо с тех дней? Содержание их всё — незаметно, капля по капле,— просочилось куда-то вон из души. Жилось покойно, и довольство жизнью было. Он едет к старому другу, такому же успокоившемуся человеку, едет к нему отдохнуть от работы, поболтать о столичной жизни. У него было хорошее настроение

до этого постоялого двора, где, по велению судьбы, он встретился с самим собой, с собой, в виде юноши-мечтателя... Что, собственно, написано, что сказано им в этом фельетоне?

Бросив пить чай, он отправился к стене и осторожно, с озабоченным лицом стал отдирать от стены угол газеты. Бумага отстала немного и начала рваться. Проезжий остановился, склонился к желтому клочку... прочел его. Там было строк сорок крайнего газетного столбца да второго с краю строк пятнадцать.

Речь шла о каком-то Петре, который сказал «ей»: «Прощай, наши дороги разны! Ты жертва твоей среды и воспитания, тебе нет иной дороги в жизни, кроме паркета!.. А я...» — и, гордо махнув рукой вдаль, он, этот Петр, исчез.

Проезжий задумался, потирая лоб. Кто этот Петр, и кто она? Как они встретились? Весь фельетон тут, в одном номере, или нет? Наивный, детски прямой рассказ, написанный во время веры в возможность на земле всего хорошего. Но... он позабыл его содержание. Позабыл!

Проезжий конфузливо улыбнулся, подошел к столу, одним глотком выпил чай и пошел к двери. Но она сама отворилась навстречу ему, и пискливый голос произнес, исходя из кучи овчин:

— Переобулся... буде что, можно ехать... Лошадки-те смерзли...

— Сейчас оденусь... пошли хозяина.

— А я тут...

Краснорожий мужик весело улыбнулся, за ним стояла баба в сбитом набок платке и одним глазом смотрела из-за его плеча на проезжего.

— Сколько тебе? — спросил проезжий, надевая пальто.

— А сколько пожалуете... вы не наш брат, мужик, и не обидите. Я по совести с господ...

— Рубль будет?

— И рубль будет...— со вздохом сказал мужик.— К нам господа совсем даже не часто ездиют... От трахту мы очень в стороне. Господа для нас — праздник...

Он говорил печально и с явным желанием прибавки.

Но проезжий, влезая в подаваемую им шубу, не слушал его ноющей речи и всё поглядывал на стену, где от движения воздуха колебался клок отодранной им газеты.

Он точно манил к себе.

Вышли в сени. Мужик и баба сопровождали проезжего.

— Погодите... я ворочусь на минутку,— сказал он им и снова вошел в комнату, прошел к стене и, оторвав клок газеты, смял его в руке.

— Ишь ты, какой запасливый,— шепнул краснорожий бабе, улыбаясь во весь рот. Проезжий подметил эту улыбку и нахмурился.

...Через полчаса он был среди широкой снежной пустыни, розоватой в лучах заходившего солнца. Заложенные гуськом лошади бойко бежали по извилистой мягкой дороге, маленькие санки подергивало, и ямщик качался с бока на бок, говоря скрипучим своим голосом:

— Паренько-то я был лет тридцать время тому. Н-но-но! Прыткие... А теперича я гробовой житель... н-да. Кабы был хлебушка... лежал бы я на пече... А вот еду... беднота потому... У ты, убогая скотина!

Проезжий, стукаясь спиной о задок саней, старательно расправил клок газетной бумаги и еще раз прочитал его. Поднимался ветер, и с сугробов срывались кисейные ткани снега, летая в воздухе. Бумага шелестела в руках проезжего, смотревшего на нее с печальной улыбкой. Тихо-тихо поскрипывал снег под полозьями саней и шуршал о рогожный верх повозки.

Проезжий медленно оторвал от клочка газеты маленький кусочек и пустил его по ветру. Тот забился в воздухе, как желтый мотылек, и исчез. За ним полетел другой, третий... и последний.

ЧАСЫ

I

Тик-так, тик-так!

Ночью в тишине и в одиночестве жутко слушать бесстрастное красноречие маятника часов: звуки монотонные и математически правильные, однообразно отмечающие всегда одно и то же — неустанное движение жизни. Тьма и сон объемлют землю, всё молчит,— лишь часы холодно и громко отмечают исчезновение секунд... Маятник стучит, и с каждым звуком жизнь сокращается на секунду, на крошечную частичку времени, данного каждому из нас, на секунду, которая уже не вернется к нам. Откуда являются секунды, и куда они исчезают? Никто не ответит на это... И есть еще много вопросов, на которые не отвечено, есть другие, более важные вопросы, и от разрешения их зависит наше счастье. Как жить, чтобы сознавать себя нужным для жизни, как жить, не теряя веры и желания, как жить, чтоб ни одна секунда не исчезала, не волнуя души и ума? Ответят ли когда-нибудь на всё это часы, движению которых нет конца,— что скажут на это часы?

II

Тик-так, тик-так!

Нет ничего на свете бесстрастнее часов: они одинаково правильно стучат и в момент вашего рождения, и в то время, когда вы жадно срываете цветы грез юности. Со дня своего рождения каждый день человек становится ближе к смерти. И когда вы будете хрипеть в агонии — часы будут сухо и спокойно считать ее

секунды. В их холодном счете — прислушайтесь — звучит нечто всё знающее и уставшее от этого знания. Ничто, никогда не волнует их и не дорого им. Они равнодушны, и нам, если мы хотим жить,— нужно создавать себе иные часы, полные ощущений и мысли, полные действий, чтоб заменить эти скучные, однообразные, убивающие душу тоской, укоризненно и холодно звучащие часы.

III

Тик-так, тик-так!

В неустанном движении часов нет неподвижной точки,— что же мы называем настоящим? За одной родившейся секундой рождается вторая и сталкивает первую в бездну неизвестного...

Тик-так! И вы счастливы. Тик-так! И вот вам в сердце вливается жгучий яд горя, и оно может остаться на всю жизнь с вами, на все часы данной вам жизни, если вы не постараетесь наполнить каждую секунду вашей жизни чем-либо новым и живым. Страдание соблазнительно; это опасная привилегия; обладая ею, мы обыкновенно не ищем другого, более высокого права на звание человека. А его так много, этого страдания, что оно стало дешево и почти уже не пользуется вниманием людей. Поэтому едва ли стоит дорожить страданием,— следует наполнять себя чем-либо более оригинальным, более ценным, — не так ли? Страдание — обесцененный фонд. И не следует жаловаться на жизнь кому бы то ни было: слова утешения редко содержат в себе то, чего ищет в них человек. Всего же полнее и интереснее жизнь тогда, когда человек борется с тем, что ему мешает жить. В борьбе незаметно промчатся тоскливые и скучные часы.

IV

Тик-так, тик-так!

Жизнь человека до смешного кратка. Как жить? Одни упорно уклоняются от жизни, другие всецело посвящают себя ей. Первые на склоне дней будут нищи духом и воспоминаниями, вторые — богаты и тем и другим. И те и

другие умрут, и от всех не останется ничего, если никто не будет бескорыстно отдавать жизни свой ум и сердце... И когда вы будете умирать, часы бесстрастно будут считать секунды вашей агонии — тик-так! И в эти секунды родятся новые люди, по нескольку в каждую, а вас уже— нет! и ничего не останется в жизни от вас, кроме вашего тела, которое будет дурно пахнуть. Неужели же ваша гордость не возмущается этим автоматическим творчеством, которое бросило вас в жизнь, потом вырвало из нее и — только? Укрепите же в жизни память о себе, если вы горды и оскорблены вашей подчиненностью тайным задачам времени. Подумайте о вашей роли в жизни: был сделан кирпич, потом он лежал неподвижно в одном здании, потом рассыпался и исчез... И скучно и пошло быть кирпичом — не правда ли? Не походите же на кирпич, если у вас есть ум и душа и если вы хотите испытать в жизни хорошие, полные чувствований и дум, бурные часы.

V

Тик-так, тик-так!

Если вы задумаетесь о том, что теперь значите вы в беспредельном движении часов,— вы будете подавлены сознанием вашего ничтожества. Да оскорбит вас это сознание! Да возбудит оно в вас гордость, и пусть вы почувствуете вражду к жизни, унижающей вас, и да объявите вы ей борьбу. Во имя чего? Когда природа лишила человека его способности ходить на четвереньках, она дала ему, в виде посоха,— идеал! И с той поры он бессознательно, инстинктивно стремится к лучшему — всё выше! Сделайте это стремление сознательным, учите людей понимать, что только в сознательном стремлении к лучшему — истинное счастье. Не жалуйтесь на бессилие и ни на что не жалуйтесь. Единственное, что может принести вам ваша жалоба,— это сожаление, милостыня нищих духом. Все люди одинаково несчастны, но более всех несчастен тот, кто украшает себя своим несчастием. Эти же люди более всех других жаждут внимания к себе и менее всех достойны его. Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.

VI

Тик-так, тик-так!

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого ты окружил мраком?» Это старый Иов спрашивал у бога. Нынче уже нет таких смелых людей, которые, помня, что они дети бога и созданы им по образу и подобию его, говорили бы к нему, как Иов, и вообще дешево ценят ныне люди себя. И мало любят жизнь, и даже себя любят неумело. И в то же время боятся смерти, хотя никто не избежит ее, как это известно. Неизбежное — законно. Ведь человек с той поры, как явился на земле,— всё умирает, и к этому надо привыкнуть, пора. Сознание выполненной задачи может уничтожить страх смерти, и честно пройденный путь жизни даст покойный конец. Тик-так... И от человека остаются только одни дела его. И прекращаются для него часы вместе с его желаниями, и наступят иные часы — часы оценки его жизни, суровые часы.

VII

Тик-так, тик-так!

В сущности, всё довольно просто в этом запутавшемся в противоречиях, во лжи и злобе живущем мире. И было бы еще проще, если бы люди всматривались друг в друга и каждый имел за собой друга.

Один, если он и велик, все-таки мал. Необходимо понимать друг друга: ведь все мы говорим темнее и хуже, чем думаем. Человеку не хватает много слов, чтоб открыть свое сердце пред другим, и поэтому много крупных и важных для жизни дум пропадает бесследно оттого, что для них своевременно не нашлось нужных форм. Рождается мысль, есть искреннее желание воплотить ее в слова, в твердые и ясные слова... а слов — нет.

Больше внимания к мысли! Помогайте рождаться ей, она всегда окупит ваш труд. Везде и во всем есть мысль,— даже в трещинах камня вы прочтете ее, если захотите этого. Если люди захотят, они всего достигнут; если они захотят, они будут владыками жизни, а не рабами ее, как теперь. Только бы явилось желание жить, гордое

сознание силы своей, и вся жизнь представит собой прекрасные часы, полные явлений силы духа, поражающие благородством подвигов,— великие часы.

VIII

Тик-так, тик-так!

Да здравствуют сильные духом, мужественные люди— люди, которые служат истине, справедливости, красоте! Мы их не знаем, потому что они горды и не требуют наград; мы не видим, как радостно сжигают они свои сердца. Освещая жизнь ярким светом, они заставляют прозревать даже слепых. Нужно, чтобы прозрели слепые, которых так много, нужно, чтоб все люди с ужасом и отвращением увидели, как груба, несправедлива и безобразна их жизнь. Да здравствует человек, владыка своих желаний! Весь мир — в его сердце; вся боль мира, всё страдание людей — в его душе. Зло и грязь жизни, ложь и жестокость ее — его враги; все часы свои он щедро тратит на борьбу, и жизнь его полна буйных радостей, красивого гнева, гордого упрямства... Не жалей себя — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя! Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное.

Часы нашей жизни — пустые, скучные часы; наполним же их красивыми подвигами, не жалея себя, и тогда мы переживем красивые, полные радостного трепета, полные жгучей гордости часы! Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!

ШАБРЫ

РАССКАЗ

...Тяжело дыша и фыркая, усталая лошаденка Комова вывезла телегу на вершину холма и, понурив голову, стала, широко раздувая бока.

— Ах ты, привередница,— добродушно проворчал хозяин и спрыгнул на землю, желая поправить сбрую.

Он был настроен великолепно. Поездка в город удалась ему как нельзя более хорошо, он выгодно продал пару боровов и теленка, условился с одним купцом насчет одной работы на зиму и даже задаток получил с него, купил своему парнишке Федьке сапоги, девчонкам — по платку, жене — покрышку на шубу, потом разных городских гостинцев. И не раз он уже мечтал дорогой, как это он приедет домой, ребятишки обступят его и будут ныть:

— Тя-атенька, покажи, чай, чего привез?!

Жена тоже будет довольна. Потом сядут пить чай. Придет кто-нибудь из знакомых и станет спрашивать насчет города, как там цена на хлеб стоит, много ли его, и нет ли какого разговору насчет земли.

— Стой, дуреха! — прикрикнул Комов на лошадь. У нее была стерта хомутом кожа на плече, и она шарахнулась в сторону, когда Комов стал поправлять хомут. С холма пред Комовым развертывалась широкая картина, выписанная тусклыми, как бы выцветшими красками осени. Прозрачный воздух открывал далекие горизонты, во все стороны тянулись пустынные, щетинистые поля. Кое-где на них возвышались копны хлеба, зеленые полосы озимей резко бросались в глаза, маленькие рощи были расцвечены в краски, ярко-рыжеватые одинокие деревья и кусты стояли среди полей, почти

уже оголенные ветром осени. Дороги темными лентами вились по полям. И на всем лежал этот странный, как бы пропитанный туманом колорит старых, выцветших от солнца картин.

Солнце лило с безоблачного неба на эту холмистую равнину холодный свет, и меланхолия увядания не оживлялась этими неласковыми лучами. Точно в солнце угасли страсти, и оно светит земле по обязанности. И в резких порывах ветра чуялось холодное веяние зимы.

Комов посмотрел на всё это и вздохнул. Просто так вздохнул — без грусти и без удовольствия. Более сорока раз встречал он в своей жизни осень, самое сытное время для мужика. Он впрыгнул на телегу, ударил лошаденку вожжами и крикнул ей:

— Н-но, шагай, милая!

До деревни осталось верст с двадцать, а солнце уже было низко.

— А не подвезешь ты меня малость, добрый человек? — раздался спокойный, немного хриплый голос сзади Комова.

Он даже вздрогнул. За задок телеги держался рукой высокий человек в толстом рваном пальто, подпоясанном красным кушаком. На голове у него была плотно надета меховая шапка с наушниками, в руке он держал здоровую палку из березы с обделанным на конце корнем, величиной с мужицкий кулак. Лицо его было как будто знакомо Комову. Когда Комов обернулся и взглянул на него, тот поклонился ему, а Комов ответил на поклон нерешительно и с некоторой тревогой сказал:

— Пристала лошаденка-то у меня...

— Да ведь дорога-то под гору...

— Оно так... Садись ин, для бога... Садись вот, рядом-то.

Тот положил вдоль телеги свою палку, сел на нее и, сунув руку за пазуху, улыбаясь, сказал:

— Ну, вот и спасибо... Верст пяток с костей долой.

Потом вынул кисет и, наклонясь над ним, стал набивать трубку. Тревога Комова несколько уменьшилась, когда попутчик положил свою палку, и он стал соображать, где это он видел такого человека? Думая об этом, он думал также и о том, что местом они едут глухим и

что хоть и слышно, как молотят в Осинках, но ежели кричать придется,— едва ли кто услышит. Осторожно запустив левую руку в карман штанов, он набрал в руку штуки четыре крупных медных денег и крепко сжал их в пальцах. В случае чего — все-таки тяжелее ударишь. Пожалуй, этот парень помоложе лет на десять да и посильнее его — вон шея-то какая!

А парень курил трубку, спокойно смотрел вокруг и молчал, болтая ногами в новых лаптях и онучах.

— Далече тебе? — спросил Комов, искоса следивший за ним.

— До Сояновки...

— Н-ну? А я ведь сам сояновский,— с удовольствием вскричал Комов. Коли этот человек едет в одну деревню с ним,— значит, никакого греха не может быть...— Ишь ведь... К кому же ты... по каким делам, собственно? То-то я тебя как бы видал где, лицо у тебя будто знакомо мне... Ты в батраках у Сизова купца не живал ли?

— В батраках я не живал,— вполголоса ответил попутчик и, спрятав трубку в карман, поднял несколько шапку со лба.

— Та-ак,— сказал Комов,— значит, по своим делам? Чьих же ты будешь?

Тогда попутчик тихонько засмеялся и негромко сказал:

— Эко память у тебя какая стала, Игнат Иваныч! Больше тридцати годов мы с тобой бок о бок жили и землю тоже рядышком всегда ковыряли... А пяти годов не прошло — и забыл ты шабра...

— Тпру-у! Стой! — вдруг зашептал лошади Комов, дергая ее вожжами, хотя она уже встала. У него сразу вспотел лоб и шапка съехала на затылок. И ему казалось, что доносившийся издали шум молотьбы раздается теперь в его груди и голове.

— Николай! — схватив шабра за плечо, зашептал он с ужасом на лице, оглядываясь вокруг, прислушиваясь и вздрагивая.— Как же ты? Ведь на двенадцать лет тебя?.. Сбег, значит? Ах ты... как же это? а? Я-то... посуди сам...

— Ты не бойся,— спокойно сказал Николай, ударяя своего шабра по колену и посмеиваясь...— Ничего

не будет... ни тебе... ни кому... Я сбежать-то сбежал, но хватиться меня не могут там... Так устроено. Ведь розыска обо мне не было?

— Не было, брат, не было, но что-что... А все-таки— разве можно этак, без опаски? Вот мне, например, объявился...

— Так, чай, ты какой мне друг... старинный...— ласково улыбаясь, сказал Николай.

— Да ведь другие узнают! — вскричал тревожно Комов.

Лошадь шла шагом, а седоки, не обращая более внимания на нее, смотрели друг на друга с самыми разнообразными чувствами. Комову было страшно. Вот он везет к себе в деревню человека, осужденного за убийство конокрада на двенадцать лет каторги. Положим, не один он виноват в этом деле, но он осужден и бежал с каторги. Что он за человек теперь? Раньше, до того дела, Николай Брагин хороший мужик был, и с Комовым они жили душа в душу. Комов вспомнил, как он был дружкой у Николая, а потом Николай пировал на его свадьбе, и как они, бывало, одолжались друг у друга разной разностью. Вообще примерно, хорошо жили. Но теперь, после каторги, что за человек стал Николай?

А Николай смотрел на шабра с неопределенной улыбкой, и лицо его то и дело изменялось. Он тоже вспоминал прошлое, думал о жене, о ребятишках и спрашивал о них Комова.

— Жена — живет... Ничего, она баба в работе упорная. Митюшка малый бойкий такой, а Марья-то в школу ходит... Она слаба. Сирота из Песчанки, подросток, живет с ними. Тихий такой, работящий. Он вроде батрака... Жена у тебя, Николай, держится...

И, говоря это, Комов всё думал — а что, как Николай-то греха какого натворит в деревне? И потом обнаружится, что это он вот, Комов, привез его... Не объявить ли старосте про всё это? Так и так, мол, беглый каторжный человек приехал со мной, но я в этом не виноват. Али я мог его не подвезти? Я бы ему отказал, а он меня дубиной своей хватил бы по голове и всё равно пришел бы в деревню.

— Да ты чего так сомутился, Игнат Иваныч? —

задушевно и с легонькой усмешкой сказал Николай и с горечью прибавил: — Али боишься меня, что я каторжник? Так я, брат, на каторге-то и не был...

— Это как то есть? — недоверчиво спросил Комов.

— А так... не дошел до нее...

— С дороги бежал?

— Вроде этого... Видишь ты, обменялся я именем своим с одним человеком... А он был больной совсем... Ну, он умер, на одном этапе... а вышло, что умер-то я, а он бежал. Понял? — И Николай добродушно захохотал.

— Да... вон оно что,— задумчиво протянул Комов...— Ну, и что же теперь будет?

— Это со мной-то? — спросил Николай.

— Ну да... Как же ты теперь полагаешь жить? Ведь в Сояновке невозможно... Все узнают. Земский у нас... охо-хо-о!

— В Сояновке! Тоже сказал! Я, брат, Игнат Иванович, не в Сояновку... а за Дунай иду. К румынам. Там, говорили мне знающие люди, живут русские казаки... Так вот я к ним и доберусь. А в Сояновку... надо, чай, на жену с детишками хоть глазом взглянуть... ты как насчет этого?

— Это конечно. Это дело доброе... Как же? Н-да... а все-таки опасно... вдруг признает кто? Ведь что тогда будет?

— Тогда-то? Нехорошо будет. Опять в Сибирь пойду. А ты вот что: я доеду до рощи да в ней и слезу, лягу там и дождусь ночи — так? А ты, как приедешь домой, Палагее-то моей и пошепчи: муж-то, мол, твой, Палага, тут, поблизости... жди сегодня ночью. Сделаешь?

— Известно, сделаю...— сказал решительно Комов и глубоко задумался.

Брагин снова вытащил из-за пазухи трубку и закурил. Ехали по лощине, промытой дождями. С одной стороны ее опускался крутой глинистый обрыв, другая, пологая, была покрыта желтой травой, вялой, уже хваченной утренниками, и вся лощина представляла собой узкую и длинную тропу, опускавшуюся вниз, как бы в землю. Впереди виднелись полуголые вершины деревь-

ев, и бедная, редкая листва их была раскрашена в яркие краски осени.

— Вот что я скажу, Николай,— глухо заговорил Комов, не глядя на шабра...— Человек ты был хороший... это так, что уж говорить. Но... сердись ты на меня не сердись, а надо говорить правду. Дело у нас такое... вострое, что, если не говорить нам про него по правде,— большой грех может выйти. Н-да...

— Да ты, Игнат, чего всё только размахиваешься? Бей сразу! — усмехнулся Брагин и враждебно посмотрел в лицо Комова.

— Ну, это ты напрасно... «Бей!» Чего мне тебя бить? Али ты думаешь, мне не жаль тебя? — Комов тяжело вздохнул и смущенно продолжал: — Знаю я, какой ты был человек, и знаю, что не один ты в этом деле виновен. Но кто ты таков теперь? Вот оно в чем дело-то. Что ты за человек стал после всего этого? От мира деревенского ты отрезан напрочь...

— Ну? — тихо сказал Брагин.

— Ну... вот я хочу тебе сказать, Николай, такую штуку... Я человек мирской... мне мир — стена каменная... и у меня в миру место свое есть. А я могу из-за тебя его потерять.

— Да не бойсь ты! — тихо и просительно сказал Брагин.— Не бойсь за себя-то... не сделаю я для тебя худа.

— Нет, я — за мир боюсь. Вдруг ты чего-нибудь настроишь... склока поднимется, и всё такое... Вдруг ты жену свою... сделаешь ей чего худое... или красного петуха недругу своему Кирилке-кабатчику подпустишь... ваш брат на это мастер. А кто будет виноват? Я — потому я тебя прикрыл.

— Игнат, побойся бога! Али я не человек уж стал?— строго и громко воскликнул Брагин, и его лицо — худое и желтое — сердито нахмурилось.

Лошадь Комова, испуганная его возгласом, дернула, шабры покачнулись на телеге, Комов быстро оттолкнулся от Брагина и подозрительно посмотрел на него и придержал лошадь, потрусившую было рысцой.

— Я тебе и говорю, что не знаю я, кто ты теперь для мира,— вполголоса и угрюмо заговорил Комов.— Я вот

снжу и думаю, что... надо мне с тебя клятьбу взять для моего покоя и для вообще крестьянства...

Брагин молчал, покачивая головой.

— Так вот, Николай, дай ты мне клятьбу, что в деревне ты только ночь пробудешь и зла никому не сделаешь...— твердо выговорил Комов.

— А то? — засмеялся Брагин сухо и зло.

— Ну... понимай сам,— тихо сказал Комов.

— Объявишь?

— Говорю... понимай сам...

Наступило молчание. Из лощины выехали к опушке рощи, и под колесами зашуршали груды сухих листьев. Их всюду было много, желтых и жалких, то и дело они срывались с деревьев и тихо, как бы недоумевая, кружились в воздухе, падали на землю, некоторые падали в телегу. Брагин поймал один из них на лету, посмотрел на него, взял в рот и стал жевать. Комов угрюмо молчал. Солнце было скрыто за рощей, на поля ложились тени, и веяло холодом. И всё вокруг смотрело так же холодно, неприветливо, и белые стволы берез казались уже покрытыми тонкой корой снега. Брагин тяжко вздохнул.

— Я побожусь, Игнат... это я могу...

— Вот и хорошо... успокоишь меня... — несколько сконфуженно сказал Комов.

— Н-да-а... Встречал я таких людей, которые о крестьянах, бывало, как о зверье бессердечном говорят. Не понимал я их...— бормотал Николай.

— Мир, брат... В мире жить — миру и служить,— наставительно сказал Комов.— А пора тебе, Николай, слезать. Тут версты три места до деревни-то...

Комов соскочил с телеги, снял шапку и, наклонив перед шабром голову, замялся. Тот тоже сошел с телеги и тоже обнажил голову. Лошадь одним глазом смотрела, как они стояли друг перед другом. Полуголые ветви деревьев шуршали, листья падали с них, тени сгущались в глубине рощи.

— Вот те Христос и святые угодники порукой,— вполголоса заговорил Брагин,— что я к утру уйду и никакого худа никому не сделаю — разрази меня господи!

— Вот, Николай, вот! Смотри же, божился! Ну, прощай! Не увидимся, чай, уж! — И, проговорив всё это то-

ропливо и с удовольствием, Комов широко размахнул руками и склонил голову набок. Брагин ступил шаг к нему, они обнялись, трижды поцеловались из щеки в щеку, и, не глядя на шабра, Комов прыгнул в телегу и ударил вожжой лошадь.

— Тпру-у!.. Николай! — всё еще не глядя на Брагина, спросил он,— еда у тебя есть? А то вот — баранки...

— Дай...— сказал Брагин. Он стоял всё еще без шапки и опустив голову на грудь.

Комов торопливо порылся в мешке и подал шабру целые пригоршни наломанных баранок. Тот медленно выбрал их из рук Комова, спрятал себе за пазуху, и лицо его искривилось.

— Спасибо... Совсем, как нищему ты...

— Эх, Николай,— тяжело вздохнул Комов.— Отвык ты от мира... Не понимаешь мирского... Прощай!

— Прости, для бога, коли я что...

И, прыгая по избитой колее, по корням деревьев, лежащим на ней, как мертвые змеи, телега Комова покатилась. Брагин надел шапку, долго смотрел вслед ей, потом вынул из-за пазухи кусок кренделя, сунул его за щеку и пошел в чащу рощи, полную тьмы и шороха.

...Ночь была темная и ветреная. Густая и холодная тьма нависла над Сояновкой, небо и земля были одинаково черны, и только звуки давали знать о том, что где-то близко в этой тьме живут люди, скрытые ею. Как бы жалуясь друг другу на тьму и холод, тоскливо выли две собаки, то перебивая друг друга, то вместе выводя тоскливые и жалобные ноты. Порою ветер выл вместе с ними и что-то громко хлопало, порой шелестела солома на крышах и что-то скрипело — должно быть, плетень, колеблемый ветром. Сквозь сон мычали коровы, перхали овцы — порывы ветра разбрасывали эти звуки по воздуху, пропитанному тьмой, мешая их и создавая из них симфонию, щемящую сердце...

И вдруг раздавались звонкие удары металла о металл, заглушая собою всё. Один за одним, с правильными интервалами, они падали в воздух как бы из высоты, одетой тьмой, и ветер долго носил их над деревней. Это ночной сторож бил в чугунную доску, повешенную против избы старосты.

Далеко от этой избы, почти на другом конце деревни, на колодезном срубе сидела неуклюжая, закутанная в тулуп фигура. Приподняв воротник тулупа, сложив руки на животе и наклонясь вперед, фигура медленно покачивалась, как бы разрешая тяжелую думу.

Это был Игнат Комов. Когда дома у него легли спать, лег и он, но никак не мог заснуть. Ему казалось, что он привез в деревню беду, а не своего шабра, когда-то хорошего человека, Николая Брагина. Что теперь этому Николаю деревня и ее жители? Оторванный он от нее человек. И, наверное, зол он на нее за это. Не один ведь он убивал тогда конокрада, а наказание за это на одного его пало. Как не сердиться? И как не пожелать худа тем, что вышли сухи из воды...

И Комову казалось, что Николай непременно подожжет деревню. А то может жену изувечить, потому что у нее за это время ребенок был. Она, конечно, баба молодая... а все-таки — как стерпеть такую обиду? Муж на каторгу ушел, а она — на-ко! — гуляет... Положим, он, Николай-то, может, и не увидит ребенка, Комов посоветовал Пелагее спрятать его куда-нибудь... Но все-таки было бы, пожалуй, правильнее объявить старосте и связать Николая... Связать да и всё. Покойно бы это... Жалко парня, вот какое дело. Может, он и впрямь в казаки проберется и заживет там снова человеком. Наголодался, чай, он, бедняга, нахолодался... А вдруг он возьмет да чью-нибудь клеть и взломает, чтобы на дорогу себе достать чего-нибудь? Как тогда быть? Тогда уж придется Игнату Комову помалкивать про то, что он сам вора в деревню привез... А то ведь и к нему, старому приятелю, Николай-то может забраться.

И Комов несколько раз решительно вставал с лавки с целью пойти к старосте и рассказать ему про всё. Но каждый раз воспоминания о старой дружбе и о покорном, грустном поведении Брагина в то время, как они ехали в деревню,— всё это удерживало Игната, и он опять опускался на лавку.

Думы и боязнь осаждали его и мешали ему спать; то и дело ему казалось, что Николай ломится к нему в клеть... вот окно поскрипывает, половица дрожит... А вот шорох горящей соломы... запах дыма...

Наконец, Игнат решительно поднялся и сел на лавке. Его осенила одна мысль — он оденется и пойдет сторожить на улицу. Сторож не увидит — от него можно спрятаться, когда он будет близко. Игнат бесшумно оделся, накинул тулуп и вышел из избы на улицу. И вот уже часов пять сидит он на ветру, то приляжет на завалинке Николаевой избы, то перейдет на колодезный сруб.

Скоро будет светать, а в избе Брагина темно и тихо, и это беспокоит Игната. Пора бы шабру уходить. Комову хочется постучать в окно — может, он уснул там? Но что-то удерживает его, и, с тревогой поглядывая в небо, с любопытством в окна шабровой избы, Комов всё ждет.

Но — как будто вспыхнула спичка в избе? На стеклах что-то блеснуло. Комов насторожился. Вот скрипнула дверь, и раздались шаги во дворе.

— Господи Иисусе! — перекрестился Комов. Уйти ему или проводить Николая за деревню? Лучше уж проводить и поговорить с ним по душам...

На дворе раздались безудержные всхлипывания, тяжелые вздохи, и дрожащий от рыданий голос Пелагеи говорил:

— Прощай, болезно-ой! Николи-и-то я тебя не увижу-у! На кого ты покинул деток-то? Дьяволы они лютые... десятеро виноваты, а один ты за них лишился жизни...

— Не плачь, — глухо шептал Николай,— я те говорю: устроюсь там, пришлю письмо, продавай всё и поезжай... слышь? Не обманешь?

— Нико-олушка! Сейчас бы я с тобой пошла, не то што... Да разве мне легко от живого-то мужа вдовой жить? Загубленный ты мой, безвинный, горюн-то ты мой, побродяжка! Муженек ты мой разлюбезный, ты прости-прощай...

— Не реви, Палагея... услышат... вконец сгибну... Ну... прощай... ребят береги пуще глазу... Жди письмо... и сразу живо собирайся... Пачпорт возьми... я, мол, в город на житье... Деньги вышлю... как ехать, напишу... Прощай! — И стало тихо...

У Комова сердце жгло, когда он слушал всё это. Ах ты, господи, какая человеческая жизнь тяжелая! Слез-то

сколько льют люди денно и нощно! Пресвятая богородица, защити и помилуй!

— Про-о-ща-ай! — застонала Пелагея и взвизгнула. Потом застучал запор у калитки и темная фигура Брагина с палкой в руке выглянула на улицу...

— Уходи... Христа ради, уйди...— сдавленным голосом сказал он и вышел на улицу.

— Это я, Николай Степаныч... не бойся...— сказал Комов, становясь рядом с ним.— Айда-ко я тебя деревней-то провожу.

Тот посмотрел на него и молча пошел. Он тяжело дышал, шмыгал носом и то и дело проводил по лицу рукой. Шел он быстро, и, несмотря на гул ветра, слышно было, как ноги его гулко били о мерзлую землю, точно он сердился на нее и старался топтать ее как можно тяжелее.

— Потише, Николай Степаныч... неровен час —услышит кто,— сказал Комов.

Шли против ветра, тулуп Комова всё распахивался и путался у него в ногах.

— Ты... следил, Игнат? — спросил Брагин, не глядя на спутника.

Тот закашлялся почему-то.

— То есть я дожидал тебя... чтобы проводить.

— Проводить! Больно уж ты торопишься проводить-то меня.

Комов дрогнул — в словах Николая звучала и злоба и вражда. Небо серело там, далеко впереди их, а над ними было еще всё черно. Из тьмы выступали тяжелые избы и снова исчезали в ней,— точно они медленно плыли мимо шабров, молча шагавших среди дороги.

— Эх! — воскликнул Брагин.— Из-за вас, псов, жизнь мою я изломал... Вы меня, камни вы бессловесные, раздавили.

Комов глубоко вздохнул.

— За мир ты, Никола... это хорошо, ежели человек за мир пропадает... Отпущение грехов.

— За мир! — зло передразнил Брагин, взмахнув палкой.— А что мне он — мир? Застоял он меня перед судом? По правде я наказание несу? Мир... сожрал он меня, мир-то твой.

Комов молчал. Верно ведь... Правды нет в этом деле.

— Выжечь бы вас всех тут... запалить с ветра, с крайней избы... вот бы вы и согрели... души-то ваши...

«Да воскреснет бог и расточатся врази его!..» — мысленно молился Игнат, ускоряя шаги. Скорее бы пройти крайнюю избу. А там поле... Али крикнуть... Нет, покуда кто прибежит — на смерть уложит Николай палкой-то.

— Коли мир, и человек тебе нужен — дорожи им... Грязь им не замащивай... А вы... все блудили, а один в ответе. За что я терплю? а?

— Николай Степаныч... Не шуми... Господня воля... терпеть тебе, а не другому.

— Молчи... езуит ты... Иуды вы все... Отзовутся вам... мои слезы...— Брагин отчаянно и громко ругался, цинично ругался, злобно, безбоязненно.

Комов дрожал. Что будет, коли услышат люди? С чего это, спросят, ты-то, Игнат, с каторжным разгуливал по деревне? И Комов клял себя беспощадно за то, что не объявил старосте...

Но вот вышли за околицу. Брагин шагал всё так же стремительно, и Комов, весь трепетавший, точно в лихорадке, еле поспевал за ним. Изредка Брагин, скрипя зубами, ругался; но наконец замолчал, остановился и повернулся к деревне. Комов очутился сзади его, и соблазнительная, острая и горячая мысль пронизала его сердце... Тихонько нагнуться, поднять камень и оглушить Николая... Потом связать его и бежать в деревню... бить сполох...

Но Брагин обернулся... Игнат быстро взглянул ему в лицо и увидал — плачет Брагин. Стоит, смотрит на него и плачет. Комову стало стыдно чего-то...

— Никола...— дрогнувшим голосом сказал он и больше не нашел в себе никаких слов.

— Ведь двое детей...— прошептал Брагин.— Жена... хозяйство... сколько трудов положено... поту-силы пролито... За что меня погубили вы? У-уйди, Игнат, уйди от греха! Убить я могу тебя, хотя ты и ни при чем... Я знаю... Ну — весь мир убил бы я... понимаешь? Дети ведь! Какие еще они? Кто их на ноги поднимет... Уйди, Игнат... Звери вы... все вы людоеды...

— Николай... я вот что скажу...— дрожащим голосом начал Комов, вплоть, грудь к груди, подойдя к шабру.— Ты иди... Иди и... ничего не бойся! Прости меня, Николай... Погоди... не толкай... Сядем... я тебе всё расскажу...

— Отстань ты...— с тоской сказал Брагин, опять отталкивая шабра...

Но тот не отставал. Его вдруг охватило такое хорошее, горячее и легкое какое-то чувство — он сразу утратил и страх пред Николаем и все свои думы против него. У него и в голове и в груди всё вдруг стало ясно и понятно ему,— это новое чувство как бы очистило его.

— Николай, я не отстану! — он даже обе руки положил на плечи Брагина, отчего тот отшатнулся.— Бей меня — не уйду! Я тебя давеча божиться заставлял, а теперь сам тебе побожусь.

— Чего? Что мне твоя божба...— махнул рукой Николай.

—А вот что — ежели ты про детей... Николай Чудотворец порукой тебе — я за них постою! Господа-вседержителя прошу покарать меня, окаянного, коли я им не заступлю тебя! Веришь? И на сходе скажу: «Братцы-миряне! Братка-то помните? За кого он терпит! То-то! Так возместите жене... да...» Крест святой целую — сделаю это! Всегда твоему дому помогать буду и других к тому принужу... Прости меня, Николай Степаныч... я с самой встречи всё думал — выдать тебя али нет? И вот... прояснило меня... Чувствую — виноват я... Прости... а?

— Ты это... как? — спросил Брагин странным голосом, наклоняясь к лицу шабра... С минуту они смотрели друг на друга молча, и лица у них обоих были мокрые... А потом, как бы повинуясь внутреннему толчку, оба сразу взмахнули руками и обнялись крепким дружеским объятием. Так они стояли долго, оба всхлипывая и бормоча что-то...

— Ну, иди... свет уж,— сказал Игнат, разжимая руки, и, подняв полу тулупа, вытер им лицо...

— Так ты... верить тебе, Игнат?.. Поможешь? — взволнованно спросил Брагин.

— Пока жив я — не беспокойся... Как сказал — так и будет! — твердо выговорил Игнат...

— Ну, спаси тебя Христос! Иду я... Прощай!

Они еще раз обнялись...

И вот высокая фигура Брагина, в черном пальто и с палкой в руке, быстро зашагала по дороге, а коренастый Игнат, в тулупе, стоял и смотрел ему вслед с ясной улыбкой на широком лице и со слезинкой, запутавшейся в бороде... Ветер слабел, и тьма стала реже, видно было небо, покрытое облаками, серое и холодное на востоке...

Силуэт Брагина постепенно сливался с таявшим мраком ночи, и вот — исчез. Тогда Комов вздохнул и тихо пошел в деревню. Но вскоре он остановился и, посмотрев вслед шабру, с сожалением чмокнул языком и пробормотал:

— Денег бы ему надо дать, хоть с рубль... Ах ты, дуй те горой, а? Ведь у него, чай, совсем нет денег... И как я не сообразил?

Укоризненно качнув головой, Игнат снова двинулся в путь.

Быстро разгорался рассвет.

СВОБОДНЫЕ ДНИ

ЭТЮД

Петр Иванович проснулся, вздохнул и тревожно протянул руку к часам, висевшим на стене, в головах у него. Но в следующий момент рука его лениво упала на постель и на лице явилась довольная улыбка, довольная и даже несколько саркастическая. Потом он сладко зевнул и потянулся под одеялом, думая о том, как девять лет беспрерывной канцелярской работы крепко укоренили в нем привычку просыпаться по утрам с тревожной мыслью, что он проспал, опоздал на службу.

Вот и сегодня, несмотря на то, что он получил отпуск и может спать сколько хочет, он проснулся с этой обычной дрожью испуга, разрешавшегося обыкновенно торопливостью, раздражением на всех и вся и поспешным бегством в правление, куда он приходил всегда вовремя и где пользовался репутацией аккуратнейшего человека.

Петр Иванович повернулся на бок и посмотрел на окна, залитые ярким солнцем весны. На окнах стояли горшки с цветами, а среди них помещались разные предметы, роль которых заключалась совсем не в том, чтоб служить украшением подоконников. Зачем тут бутылка с бензином и грязный медный подсвечник? А также эти коробки, остов игрушечной лошади, китовый ус, очевидно, выдранный женой из лифа и приставленный к стеклу?.. Нехорошо. Люди идут по улице и видят — экий удивительный порядок в квартире у Сазоновых... Да, надо будет сделать жене замечание по этому поводу... В деликатной форме, конечно. Нужно, чтоб в доме было чисто и уютно, ибо дом есть место отдыха для труженика-мужа, утомляемого ежедневной работой на семью и... и т. д. Дойдя в своих мыслях до этой фразы, которую ему стало лень окончить, Петр Иванович начал потихонь-

ку свистать сквозь зубы и думать о том, как распределит и чем займет он свой первый свободный день.

В комнатах было тихо, а со двора доносился высокий голос кухарки Дарьи, которая убедительно говорила кому-то:

— Мордовская твоя образина, сколько разов я тебя честью, по-христиански, просила — вози раньше! Понимаешь — детей по утрам мы купам.

Петр Иванович понял, что мордовская образина — водовоз, а Дарья ругает его за то, что он поздно привозит воду. Дарья любит порядок и довольно сносно готовит, хотя она груба, как ломовой извозчик. Это надо принять к сведению. И вообще надо заняться домом. В сущности, он совсем не знает, как идут тут дела и какой царит порядок. Ему некогда заниматься этим — с девяти часов до трех он в правлении, в четыре часа обед, после обеда часика два отдыха, в пять чай, от шести до девяти вечерние занятия, в девять к кому-нибудь на винт — так прожито целые девять лет. Были, конечно, экстравагантные события, нарушавшие эту установившуюся жизнь,— роды, крестины — это пять раз повторялось,— смерть тещи, болезнь жены, холера, смерть двоих детей, пожар у соседей, кража из чулана припасов, заготовленных к рождеству, поездка в Москву для получения наследства в количестве 729 рублей, доставшихся на долю жены после смерти ее отца. Довольно много событий для такого времени, как девять лет. Все они вводили за собой в жизнь известные волнения, утомляли, потом переживались и забывались.

И снова жизнь текла тихо и мирно. Всё шло, как следует в порядочной семье,— жена любила его, Петра Ивановича, так же, как и накануне свадьбы. Разумеется, бывали ссоры, но несерьезные. Дети были здоровы и послушны, служба не обременяла и не обманывала его скромных надежд, вознаграждение он получал вполне достаточное для содержания такой семьи, было и нечто отложенное на черный день. И постоянно занятому своей работой и своим винтом Петру Ивановичу казалось, что он стоит на крепкой почве и жизнь его идет в надлежащем порядке, как и следует идти жизни каждого приличного человека.

Сделав этот маленький смотр своей жизни, Петр Иванович стал одеваться, снова думая о том, чем бы ознаменовать первый день отпуска. Во-первых, нужно устроить обед получше, во-вторых... вечером составить у себя винтик с выпивкой. А между утром и обедом следует сводить ребятишек на прогулку. Вот это будет хорошо! Забрать их и отправиться в поле за город.

Удовлетворенный, Петр Иванович умылся и вышел в столовую, набросив на плечи серый халат, сделавший его, Петра Ивановича Сазонова, похожим на пациента городской больницы.

В столовой кипел самовар, было много солнца и какого-то вкусного запаха.

— Дарья! — позвал Петр Иванович, но никто не отозвался ему. Возвысив голос, он крикнул еще раз,— тогда послышался где-то топот детских ножек, и тонкий голос Коли, среднего сынишки, закричал:

— Дарья, иди, тебя папа зовет!

— Коля! — крикнул Петр Иванович. Коля явился; это был худенький человечек, лет шести от роду. Плечи у него были острые, грудь узенькая, лицо бледное и серые глазенки — нервны. Он остановился у стола против папы, окинул его быстрым, любопытным взглядом, потом взял молочник со стола, сунул в него нос и разочарованно вздохнул.

— Ну, что ж ты не поздравляешь меня с добрым утром? — спросил его отец.

— Сегодня не праздник,— ответил Коля, отрицательно мотнув головой. Петр Иванович понял, что хотел сказать мальчик,— дети видели его по утрам только в праздники, и вот поэтому Коля не считал себя обязанным поздравлять отца с добрым утром и в будни. Петр Ивановпч объяснил ему, что он неправ. Тогда Коля выдвинул еще аргумент.

— Я наказан,— сказал он, хмуря бровки.

— За что? — осведомился Петр Иванович.

— За то, что Володька отколотил меня,— сообщил Коля.

— Этого не может быть, это ты говоришь неправду...

— Нет, правду,— возразил Коля на уверенный тон отца и, схватившись ручонками за край стола, поехал

под стол, скользя ногами по полу. За ним поехала со стола скатерть, прихваченная его пальцами, загремела посуда. Петр Иванович вскочил и, удерживая скатерть, громко крикнул:

— Ах ты... оставь!

Но Коля уже треснулся затылком о пол, вскочил на ноги и, обеими руками потирая голову, смотрел под стол, очевидно, соображая, как всё это случилось с ним. Петр Иванович читал ему нотацию, размахивая рукой над его головенкой, а в дверях стояла Дарья и сочувственно кивала головой.

— Такие они озорные...— начала она, улучив момент, когда Петр Иванович сделал паузу.

— Оставь! Где барыня?

— У нижних стояльцев... Володя с Колей подрались с ихним-то мальцом, ну, барыня и пошли...

— Уходи... мне ничего не надо... — сухо прервал барин ее доклад. Дарья обиделась, повернулась, заворчала и пошла, громко шлепая по полу какой-то допотопной обувью. Петр Иванович обернулся к сыну. Тот исследовал пальцем внутренность молочника и испуганно бросил его на стол, когда отец громко крикнул:

— Колька! Кто тебе позволил?

В то же время Петр Иванович думал про себя, что жена довольно таки плохо воспитывает детей и что нужно будет поговорить с ней по этому поводу. А Коля, растерянный и испуганный, засунул палец в рот и стал пробираться к двери.

— Погоди! Иди сюда... расскажи мне, зачем ты и Володя побили Алешу? Ну? Как это вышло?

Тон отца был суров, и Коля решил, что для него гораздо лучше будет, если он разревется. Он так и сделал, опрометью бросившись вон из столовой, но наткнулся в дверях на мать, уцепился за ее платье и, кутая им свою голову, кричал благим матом.

— Ведь я уже наказала его...— недовольно сообщила мужу Варвара Васильевна, стоя в двери и гладя сына по голове.

— Позволь...— начал было Петр Иванович.

— И тебе не нужно было вмешиваться. Ведь ты не знаешь, кто прав...

— Ты неправа... я, во-первых, никого не наказывал...

— Но почему же ребенок бежит от тебя сломя голову?..

— Это уже дело твоего воспитания...

— Ах, боже мой! Какой педагог!

Она повернулась в дверях и вышла. Петр Иванович изумленно посмотрел ей вслед. Вот совершенно неожиданный диалог! Петр Иванович думал встретиться с женой честь честью, сообщить ей о планах дня и вообще, так сказать, насладиться у семейного очага. А тут вдруг такая сцена... Очевидно, жену раздражило объяснение с Зиминым по поводу этой драки. Нужно примириться. В результате этих маленьких перипетий чай Петра Ивановича остыл, а сам Петр Иванович проникся смутным чувством недовольства, и у него исчезло желание совершить прогулку с детьми.

Нужно было занять это время чем-нибудь другим. Привычка к работе сказывалась в чиновнике. Итак — чем же наполнить время до обеда? И Петр Иванович задумчиво потер лоб.

В дверь заглянула мордочка его второго сына Володи. Это был восьмилетний бутуз с толстыми щеками, всегда возбуждавший у своего отца мысль о том, почему он, первенец, такой здоровый, толстый, спокойный, а Коля — хилый, нервный. А Лиза — так та, кажется, родилась специально для того, чтоб хворать...

— Ну, иди сюда, Волька... — ласково позвал Петр Иванович своего любимца. Тот пошел, медленно шагая и оглядывая отца несколько подозрительно...— Здравствуй... драчун. Ты зачем подрался с Алешей?

Володя ткнулся головой в грудь папы и солидно заявил:

— Он первый начал... Он толкнул Колю, а я заступился...

— Ишь ты, рыцарь какой...— одобрительно произнес Петр Иванович, но тотчас же сообразил, что говорить так с мальчиком нельзя — это звучит как поощрение к дальнейшим дракам.

— Все-таки ты не должен был драться...

— А он бы побил Колю... и меня...

— А ты бы пошел к его маме и сказал ей, что он дерется, то есть ты должен был пойти к своей маме...

Петр Иванович несколько смешался, к которой из двух мам всего удобнее пойти в этаком случае?

— А! Вы, кажется, преподаете ребенку уроки ябеды? — раздался голос одной мамы из соседней комнаты. Петр Иванович вздрогнул и несколько взволновался...

— Выдь, Володя...

И когда сын, любопытно оглядываясь, вышел и спрятался за дверью столовой, чтобы послушать, о чем будут говорить папа с мамой, — папа начал речь по направлению к невидимой маме:

— Матушка! Да ты сегодня совершенно невозможна... Если ты вообще нервная женщина — так зачем же злоупотреблять-то этим свойством?

— Пожалуйста, без остроумия... Это вы изволили встать сегодня левой ногой с постели... Запугали ребенка до истерики, другого учите бог знает чему и даже кухарку...

— Даже и кухарку оскорбил! Однако я порядочный изверг... если всё это не игра твоего воображения...

Он старался быть сдержанным и спокойным, а это сердило жену. Она, с распущенными волосами и в белой кофте, расстегнутой на груди, явилась на пороге столовой и, презрительно посмотрев на него, заявила:

— Вы захлебываетесь злостью... Вы воображаете себя в своей канцелярии, да?

— Ва-аря! — ужаснулся Петр Иванович. Он терпеть не мог, когда его правление называли канцелярией. Его не столько сердила, сколько изумляла жена, он никогда не видал ее такой злой и нелепой. И, глядя ей в лицо, он искал успокаивающих слов, думая в то же время — что с ней? Раньше вся его домашняя жизнь шла «на скорую руку», и даже ссоры носили характер торопливости и недосуга... Но не может же быть, чтобы она дожидалась свободного времени с целью излить на него всё накопленное ею недовольство и раздражение?

А она стояла в дверях и, взвинчивая сама себя, оскорбляемая его покорностью и недоумением, отраженным на его лице,— изливалась. Она несла положи-

тельно какую-то чепуху, но крайне злую чепуху. Он пытался остановить ее, успокоительно произнося:

— Варя! Послушай! Варюша... Варвара...

Но это не действовало на нее. Тогда вдруг он вскипел, вспыхнул и, вскочив со стула, ударил по столу кулаком и крикнул:

— Прошу зам...молчать!

Она вздрогнула, и лицо ее стало синим. Широко открыв глаза, она медленно произнесла:

— Да-а? Вот как? — и, многозначительно кивнув головой, исчезла.

Петр Иванович снова сел за стол. Дышалось ему тяжело, в висках стучало, и на языке вертелись грубые, оскорбительные слова. Он чувствовал, что всё происшедшее в это утро в высшей степени нелепо, и в то же время понимал, что за этой нелепостью есть какая-то законность существования. Это еще более злило его.

Пришла горничная убирать посуду, и Петр Иванович отправился в сад, не желая видеть ни детей, ни жену и полный ощущения какой-то тяжелой тревоги. Там, пройдя в беседку, он сел на скамью, пытаясь восстановить пред собой лицо жены, каким оно было когда-то. Но ему не удавалось это — жена являлась пред ним такой, какова она была теперь. И — странное дело! — он не видел в ней ничего красивого, ничего интересного. Худое, нервозное лицо, с большим ртом, лоб узенький, рот большой, зубы черные.

И вдруг его поразила странная мысль. Ведь он совершенно не знает ее, матери его детей! О чем она думает, чего хочет, каковы ее взгляды на детей и на всё? Ему положительно не приходило в голову узнать от нее всё это. Некогда всё как-то было говорить об этом с ней. Вкусы ее ему известны — он знает, что она любит крепкий чай, мучное, молочное и сладкое, а мясо ест очень неохотно. Любит крепкие духи, яркие цвета... А верует она в бога? Ходит в церковь иногда, не часто, но как верует? А сам он...

И, перейдя к самому себе, Петр Иванович нашел себя, к своему крайнему изумлению, каким-то новым. Это смутило его. И он долго искал в себе то, что когда-то, во дни юности и университетской жизни, было в нем...

Но что это было? Где это чувство? От него остались какие-то уродливые обрывки, и по ним ничего нельзя было восстановить. Он сидел, широко открыв глаза, и, думая о всем этом, в то же время чувствовал, что его как бы тянет куда-то вниз — точно он скользит, подталкиваемый тяжестью, опустившеюся ему на плечи.

Не раз мимо него пробегали дети, но, видя, что он так неподвижен, не смели зайти в беседку. Потом его звали к обеду. Он отказался. Когда горничная спросила:

— Прикажете мне накормить детей?

— А барыня?

— Оне ушли с утра еще...

— Ну хорошо...

Он чувствовал, что надо бы сдержаться и не подавать прислуге вида, что ему так не по себе,— но не мог сдерживаться. А в голове всё рождались новые, странные мысли. Это было какое-то нападение на него, нападение врасплох.

— Это от непривычки к безделью,— решил он.— Надо чем-нибудь заняться.

Но ничем не занялся, а так и сидел до вечера, уныло понурив голову, осаждаемый этими новыми мыслями, точно блокированный ими.

— Что случилось, собственно говоря? — ставил он себе вопрос и, пожимая плечами, решал его: — Ничего ровно не случилось! Поссорился с женой — экая важность!

Но этот ответ был только формальностью и ничего не исчерпывал собой. Очевидно, что что-то случилось... или должно было случиться? Поеживаясь от ощущения внутреннего холода, Петр Иванович встал, несколько раз прошелся по саду и хотел войти в дом. Но остановился у садовой калитки и не пошел, не желая видеть жены. Он решил, что ему ее надо обдумать, так сказать. В течение этих девяти лет он, в сущности, и не думал над ней.

Потом его позвали к вечернему чаю. Узнав, что барыня еще не пришла, он пошел и напился чаю с булками, а потом отправился в свою комнату, лег там на диван и стал смотреть в небо через отворенное окно. В небе всё

было тихо и спокойно, и Петр Иванович несколько успокоился.

«Пройдет!» — подумал он сквозь дрему, охватывавшую его понемногу своими мягкими объятиями. Потом он заснул. Так дурно он провел свой первый свободный день.

На другой день Петр Иванович встал с чувством легкого недомогания, с тяжелой головой и с тоскливым ощущением в груди. В детской плакала Лиза болезненным, надрывавшим душу плачем хилого ребенка. Жена порой резко вскрикивала — очевидно, всё еще не в духе и ругается с няней.

«Зачем родятся и живут больные дети?» — морща лицо, подумал Петр Иванович, и тотчас же ему стало стыдно этой мысли. Уж, конечно, не дети виноваты в том, что они маложизненны...

Идти в столовую Петру Ивановичу не хотелось. Там встретишься с женой, и она вновь, наверное, устроит сцену в возмездие за его вчерашний крик. Положительно, она вчера проявила что-то особенное, чего раньше он не замечал в ней. Нужно будет серьезно поговорить с ней. В сущности, в доме очень мало порядка — хоть бы эта бутылка с бензином в спальной на окне... Дети воспитаны плохо,— особенно Колька... Пожалуй, он, Петр Иванович, был груб вчера, но ведь это она же сама виновата. И, ободривши себя такими мыслями, Петр Иванович стал умываться. Но в умывальнике, как на грех, не хватило воды, и с лицом в мыле он начал звать горничную.

— Паша!.. Паша!..

Мыло щипало ему глаза. Снова послышался болезненный плач Лизы и раздраженный голос жены.

— Палагея, чёрт возьми!

Она явилась наконец, и, взглянув на нее одним глазом, он увидал, что лицо у нее обиженное и злое.

— Воды... вы не знаете вашего дела?

— Да разорваться мне, что ли? Там Лизонька...

— Воды, я вам сказал!

Она ушла и долго не приносила воды, а он стоял пред умывальником, строя злые гримасы, с лицом в мыле,— и, чувствуя, что он смешон, еще более злился. И когда,

умытый и причесанный, он вышел в столовую,— в нем бродило глухое раздражение против всех. Оно еще более усилилось, когда он увидал, что самовар уже потух, а на столе налито.

— Палагея! — зычно крикнул он.

Но пришла жена. Лицо ее и вся фигура выражали угнетение и привычку к страданиям, не заслуженным ею. Это окончательно взорвало Петра Ивановича.

— Послушай,— скорбным и умоляющим тоном заговорила она,— укроти ты себя, ради бога!.. Лиза только что заснула, она больна, вдруг ты кричишь, как в лесу... Ведь так ты сделаешь детей уродами.

— Они уже со дня рождения уроды, потому что родились в мать...— отрезал Петр Иванович.

Варвара Васильевна зло и сухо блеснула глазами.

— Вы можете оскорблять меня, но я прошу — пощадите детей.

— Дальше-с... Продолжайте вашу комедию...

— Ты... злой дурак!..

...Минут пять Петр Иванович просидел как бы в оцепенении. «Что это творится?» — стучало у него в голове. Сквозь всё зло и тоску ему все-таки было ясно, что всё происходящее — совершенно бессмысленно, и он чувствовал, что ему стыдно самого себя. И в то же время ему казалось, что всё это законно, что, собственно, так и следует, и его пугала эта мысль. Это, пожалуй, даже и не мысль была, а предчувствие, ощущение. Торопливо выпив свой чай, он со скукой оглянулся вокруг и решил, что лучше ему опять уйти в беседку, как это сделал он вчера. К своему неудовольствию, даже к испугу, в беседке он встретил жену. Она сидела, облокотясь о стол, плакала и вытирала лицо платком. Глаза у нее были красные, опухли, и вся она была какая-то растрепанная и жалкая. Когда он вошел в беседку, она быстро встала ему навстречу и окинула его презрительным взглядом. Он хотел посторониться и пропустить ее, но вдруг, повинуясь внезапно вспыхнувшему в нем чувству, схватил ее за руку и глухо сказал:

— Подожди, Варвара...

Она рванулась от него, молчаливая и злая.

— Подожди же! Нам нужно поговорить серьезно...—

Тон его слов был так внушителен, что она остановилась и с любопытством, плохо прикрытым деланным бесстрастием, спросила его:

— Что вы хотите?

— Сядем...— сказал он.

Она поколебалась и села за стол, он сел против нее и молчал, волнуясь и не зная, с чего начать ему разговор...

Она исподлобья следила за ним, делая вид, что не обращает на него внимания. Наконец ему показалось, что он нашел нужные слова, и вот он начал говорить:

— Так жить нельзя...

Но когда он произнес это,— он вспомнил, что уже не раз говорил ей так. И он с беспокойством взглянул на нее, думая, что она, наверное, считает его глупым за эти повторения. Но она, утвердительно кивнув головой, обиженно бросила ему:

— Конечно, нельзя...

Он легко вздохнул.

— Если и ты видишь это,— тем лучше, скорее мы поймем друг друга. Мы люди не первой молодости... да. Нам нужно договориться... Что такое происходит у нас? Я положительно поражен... Что у тебя за настроение? откуда оно? Что ты имеешь против меня? Наконец...

— Хорошо! — воскликнула она.— Хорошо! — Обратив к нему лицо с оскаленными зубами, она измеряла его фигуру враждебным взглядом.— Рассуди сам... Как я живу? Ты думал об этом? да? Нет, конечно. О женах не думают... Они возятся всю свою жизнь с няньками, с кухарками, с больными детьми, всю жизнь! Их компания — их прислуга. Я вот и живу так. Я девять лет молчала... всё смотрела, что же будет дальше? Я убила здоровье. Истрепала нервы... Скажи мне, это ради чего же всё? Ради того, чтоб был вовремя готов тебе обед... чтоб тебе жилось спокойно... всё для тебя... всё ради тебя... А я? а я? Я последний год много думала... зачем же я жила и какое же удовольствие от такой жизни? Я изжилась... стала больна... стара и некрасива — ради чего? Детей? А что я... что я могу сделать для них? Они меня не слушают, тебя никогда нет дома, а

когда ты дома, ты спишь или составляешь винт... Ты совсем как чужой всем... Ты хозяин... а я твоя служанка, да? Ну, так я не хочу этого!

Он был оглушен потоком ее слов, отрывистых и истеричных. Она говорила — точно рыдала. Когда-то давно он слышал всё это, не от нее и в более строгом изложении. Но — откуда это у нее? Быть может, она читала книги за последнее время? Она никогда не любила читать, но со скуки, быть может, читает теперь?

Он не замечал у нее книг. А не Зимина ли втолковала ей такие выцветшие идеи? Она, эта Зимина,— книжница и фарисейка и в большой дружбе с женой, кажется...

— Послушай, Варя,— что ты говоришь? Точно ты девочка из этих... либеральных... Ведь и я же работаю, ведь и моя сила уходит и... вообще я не понимаю тебя! Откуда ты взяла всё это? Кто тебе внушил, что я деспот и проглотил твою жизнь... Ведь это же смешно! Это недостойно порядочной женщины, так рассуждать. Остается ждать, что ты предложишь развод. Какая нелепица!

— Мне это жизнь внушила, жизнь изо дня в день!— крикливо говорила Варвара Васильевна.

— Позволь! ты потише... не кричи на всю улицу. Ну, ты подумай...

— Я думала уже — благодарю.

— Да чего ж ты хочешь, наконец? — с раздражением вскричал он.

— Чего? чего? — зачастила она и вдруг умолкла. Чего она, в самом деле, хочет? Ей дурно живется, это знает каждый фибр ее существа, она утомлена возней с детьми и хозяйством, и ей очень хотелось бы пожить как-нибудь иначе, отдохнуть, отдышаться от этих затхлых буден, от однообразных и скучных дней ее существования. Но, мечтая об этом, она никогда не рисовала себе иного положения реально и практически. Как, собственно говоря, можно бы жить иначе? Ближе к мужу и дальше от развращающих душу дрязг? Какие еще формы может принять жизнь женщины? Она не знала этого. К тем богачкам, что разъезжают по улицам в колясках, бросив детей на руки бонн,— она

относилась презрительно, считая их ветреницами и ставя себя выше их. А какая еще есть жизнь у женщины? Этого она не могла представить себе и не представляла ни раньше, ни теперь.

— Чего я хочу? — со слезами и злобой в голосе спрашивала она. И ей было крайне стыдно не уметь сказать мужу, чего она хочет.

— Эх, ма-атушка-а! — иронически вытянул он.— Дуришь ты, вот что я тебе скажу, да! И не идет это к тебе — подумай-ка, ведь тебе тридцать пятый!

— Нет, я знаю! Знаю!

— Ну-с? Чего же?

— Свободы! Отдыха! — истерически крикнула она.

— Свобо-оды? Это какой же? Чтобы по-французски...

— Пошляк... вы пошляк!

Она исчезла. И опять Петр Иванович долго сидел, ошеломленный ее криком. Да что же это, наконец, что? Происходит какое-то крупное недоразумение, смешное, водевильное, и в то же время тяжелое, отвратительное. Дул ветер, и деревья сада мятежно шумели, как бы в унисон настроению человека, вдруг выбитого из колеи. Петр Иванович старался разобраться в хаосе своего настроения.

«В сущности, она безусловно во всем виновата,— думал он, ища себе оплота.— Это действует бальзаковский возраст... несомненно. Она просто бесится. А я— козел отпущения, это уж постоянная роль мужей... да. Она своротила с истинного пути всякой порядочной женщины в область каких-то диких фантазий и всё отбросила... Дети не воспитаны, прислуга груба, в доме хаос... Например, эта бутылка с бензином в спальной на окне! Чистое безобразие!.. Нужно думать, что всё это влияние Зиминой... А вот взять да и сослать Зиминых с квартиры?»

Но он вспомнил, что с Зиминым заключен контракт и что они вообще хорошие постояльцы. Несколько минут спустя он думал уже о том, что соль события лежит где-то глубже влияния Зиминой. Потом ему стало обидно. Чего она орет о свободе и отдыхе? Разве он не нуждается в этом? Разве он до тридцати трех лет не бился, как

рыба об лед, для того, чтобы устроиться, разве после женитьбы, в течение этих девяти лет, он не работал, как вол, стараясь свить прочное семейное гнездо? И свил и... что же? Остается спокойно жить и пользоваться жизнью, и воспитывать детей. А тут эти бутылки на окнах... общий беспорядок жизни, дикие фантазии, смешные жалобы, сцены, беспричинная злоба. И всё это сразу, вдруг. Точно кто-то давно уже подстерегал Петра Ивановича Сазонова и вдруг выпустил на него целый вихрь разнообразных пошлостей, как бы мстя ему за что-то. «Отдыха!» Он сам давно хочет этого отдыха — ему уже сорок два года, пора! Он достаточно работал, создал благосостояние, пожертвовал ради этой работы всей своей молодостью, затратил на нее все свои силы.

Внезапно Петра Ивановича поразила одна странная мысль. Он всё устраивался, устраивал жизнь, а... жил ли он? То есть можно ли и следует ли ему признать эти вечные заботы и труды для создания себе прочного положения и приличного состояния,— следует ли это признать за жизнь? Разве она такая и именно в этом весь ее смысл и все удовольствия, всё ее значение и цель? Неужели он только для того родился и жил, чтобы только приготовляться к жизни? А ведь он, в сущности, не жил, а только всё устраивался, нацеливался и работал, ужасно много работал...

Петр Иванович смущенно улыбался, глядя в сад из беседки и хрустя пальцами. Не может этого быть! Все же так живут, и нет ведь никакой иной жизни, более широкой и полной? Он не ошибся и жил как следует, как все... Но только... всё работа и всё стремление накопить на черный день, и теперь вот близка старость. Вся жизнь прошла в работе... это верно. Но ведь в этом и цель жизни человека? И средства и цель — конечно!

А однако это странно устроено... Жить — для чего? Чтобы работать... Работать для чего? Чтобы жить... Получается нечто совершенно правильное.

Но это нечто хотя и было совершенно правильно, однако Петр Иванович почувствовал, что от этой правильности веет холодом и тоской, тяжелой, гнетущей душу тоской. И, потом, был как будто бы какой-то просмотр с его стороны, он чувствовал, что что-то из его

души он не пустил в дело, чем-то не воспользовался, заморил в себе или незаметно для себя понемножку и без толку растратил, растерял некоторое ценное, живое и светлое чувство. Смутно вспоминая свое прошлое, дни своей юности, он восстановлял какое-то особое трепетное биение своего сердца, биение, приносившее с собой особенные мысли, чувства и слова.

Но это было так давно — с той поры прошло почти уж четверть века, и ясно Петр Иванович не мог себе представить, в чем было дело. Помнил он, что это что-то некогда было для него правдой, потом он признал, что это детские мечты, и изгнал их из своего обихода. А потом забыл про них в работе.

И теперь он чувствовал себя не в состоянии восстановить их. А в них, очевидно, было что-то сильное и вообще хорошее, ибо хотя он и не помнил их, но ему было жалко их, и чувство грусти охватило его. Неужели в них именно был настоящий смысл жизни?

«Однако... однако! — вытирая пот со лба, думал он, возвращаясь к действительности,— это просто наваждение какое-то! точно полоса какая-то, совершенно новая полоса жизни... Что это за отрыжка прошлым? Зачем?»

Сквозь ветви деревьев сада была видна стена дома, балкон, окна. Вон жена стоит у одного окна и, кажется, поливает цветы. Н-да... цветы, растения, и за ними есть уход со стороны людей, и живут они просто, без ошибок, без дум, сомнений и всякой меланхолии. А человек с душой и с разумом... Но Петр Иванович не кончил параллели, чувствуя, что она не удается ему.

А все-таки хорошо быть растением и стоять в комнате на окне. Покойно, поливают водой, следят за ростом, берегут... дают в меру света и влаги... В меру света! А что человеку — в меру его сил и его способностей дано света или не в меру?

«Господи помилуй! Ведь я же в философию ударился!» — мысленно воскликнул Петр Иванович. Он всегда терпеть не мог философии и философов, и ему было очень стыдно, когда он самого себя уличил в этом бессмысленном занятии. Он решил взять себя в руки и твердо поставить на почву действительности.

Что ему нужно сделать, и как поступить с женой? Пойти к ней и, приласкав ее, помириться с ней? Гм?.. Нет! Она зазнается очень. Не разговаривать с ней, пока она сама не заговорит? Господи! Какая это будет тоска! Нет, надо дорожить отпуском, не следует портить его, их не часто дают, отпуски-то... Как бы это устроиться?

Ба! Уехать к сестре в деревню! Конечно! Самое лучшее! А как это оглушительно подействует на жену. И еще следует сказать ей что-нибудь на прощанье,— например так:

«Вот, сударыня, я уезжаю от вас к сестре отдыхать... Да-с, отдыхать еду. Ибо в семье, которую я создавал в поте лица, в продолжение десяти лет,— мне нет возможности отдохнуть! Благодарю вас — это именно вам я обязан таким милым положением!»

Решив так, он торопливо встал и спешно пошел в дом. Он спешил потому, что, несмотря на твердо принятое им решение, он боялся не выполнить его. У него в груди копошилось что-то грустное и острое, и какая-то неоформленная, тяжелая мысль вертелась в голове.

— Палагея! Принесите мой чемодан и уложите в него всё что следует... Я уезжаю...— строго скомандовал он. Мимо него во всю прыть промчался Коля. В детской кашляла Лиза... Жена, должно быть, была там...

Петр Иванович постоял в коридоре, восстановляя в уме своем речь, приготовленную для жены, и потом пошел к себе в кабинет... Там уже горничная возилась с чемоданом... Петр Иванович сказал ей, что́ нужно положить, и вышел в столовую. А против него в дверях гостиной стояла Варвара Васильевна с деревянным лицом.

Петр Иванович выпятил вперед грудь и сделал строгое и оскорбленное лицо.

— Вот, сударыня,— заговорил он искусственно глухим и дрожащим голосом,— я уезжаю от вас отдыхать к сестре... Ибо в семье, которую я десять лет создавал в поте лица,— мне нет возможности отдохнуть...

Жена, широко раскрыв глаза, смотрела на него, и на ее губах играла презрительная усмешка.

— Благодарю вас, ибо это именно вы гоните меня вон...— закончил Петр Иванович уже совершенно искренно.

— Вы... вам действительно нужно проветриться. Вы выживаете из ума... С богом!.. Помучайте кого-нибудь другого, кроме меня...— спокойно ответила жена и ушла...

Петр Иванович хотел что-то еще сказать ей, но махнул безнадежно рукой и вновь ушел к себе... Там, при виде Паши, таскавшей в чемодан вещи, его охватило зло и ему страшно захотелось крикнуть ей:

«Пошла вон, дура!»

Но он сдержался и стал готовиться к отъезду, полный злобы и тоски.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

...Окончив рождественский рассказ, я бросил перо и, встав из-за стола, прошелся по комнате.

Была ночь, и начиналась вьюга, мой слух ловил какие-то странные звуки, точно тихий шёпот или чьи-то вздохи проникали с улицы сквозь стены в мою маленькую комнатку, на две трети утопавшую в тени. Это, должно быть, снег, вздымаемый ветром, шуршал о стены дома и стекла окон. Вот мимо окна пронеслось в воздухе что-то легкое и белое, пронеслось и исчезло, повеяв на душу холодом.

Я подошел к окну и посмотрел на улицу, прислонив голову, разгоряченную работой воображения, к холодной раме. Пустынна была улица... С дороги то и дело срывались силой ветра прозрачные дымки снега и взлетали на воздух, как клочья белой прозрачной ткани. Против моего окна горел фонарь; огонек его трепетал, борясь с ветром, дрожащая полоса света широким мечом простиралась в воздухе, а с крыши дома сыпался снег и, влетая в эту полосу, вспыхивал в ней на миг разноцветными искрами. Мне стало грустно и холодно смотреть на эту игру ветра; быстро раздевшись, я потушил лампу и лег спать.

Когда погас огонь и тьма наполнила собою мою комнату, звуки стали как бы слышнее, а окно смотрело прямо на меня большим мутно-белым пятном. Часы торопливо считали секунды, иногда шорох снега заглушал их бесстрастную работу, но потом я снова слышал звук секунд, падавших в вечность. Порой они звучали с такой отчетливой ясностью, точно часы помещались у меня в голове.

Я лежал и думал о рождественском рассказе, который только что был написан мной. Удачен ли он?

В нем я поведал людям о двух нищих — слепом старике и его жене, людях, забитых жизнью, робких, кротких и полуживых. Рано утром в рождественский сочельник они пошли из своей деревни по окрестным селениям, для того, чтоб собрать милостыни и отпраздновать великий день рождения искупителя.

Они думали, что успеют обойти ближайшие деревни и еще к заутрене вернутся к себе домой с полными кошелями разных кусков, поданных им ради Христа.

И, конечно, их надежды не оправдались — им мало подали, богатые не давали из свойственной им жадности, а бедные из жалости к себе. Уже было поздно, когда усталая чета нищих решила, что пора идти домой в свою хибарку, которая простояла без них нетопленой весь день. С легкой ношей за плечами и с грустной тяжестью в сердцах они шли по снежной равнине, старуха впереди, а старик, держась за ее пояс, медленно шагал сзади нее. Ночь была темная, тучи покрывали небо, ветер вздымал снег, и ноги нищих вязли в нем, а до деревни было не близко для двух стариков. Молча шли они и зябли, пронизываемые ветром и осыпаемые снегом, переносившимся через дорогу. Ослепленная и усталая старуха сбилась с пути и давно шла долиной, а ее слепой спутник ворчливо спрашивал ее:

— Скоро ли? Смотри — опоздаем к заутрене...

Она говорила ему— «скоро» и ежилась от холода, изнемогала от усталости и чувствовала, что она сбилась с дороги, но не хотела пока говорить об этом старику. Иногда ей казалось, что ветер доносит лай собак,— она сворачивала в ту сторону, откуда неслись звуки, но вскоре этот лай уж несся с противуположной стороны.

И вот, наконец, обессиленная, она сказала старику:

— Прости Христа ради меня, отец, сбилась я с дороги... И не могу дальше идти — сяду я...

— Замерзнешь,— сказал он.

— Я немножко посижу... А и замерзнем — так что? Не сладка наша жизнь-то...

Старик вздохнул тяжело и уступил ей.

Они сели на снегу, прислонясь спинами друг к другу, сели и превратились в два комка лохмотьев, которыми стал играть ветер. Он наносил на них снег, осыпал их острыми кристаллами,— и старухе, одетой хуже своего слепого спутника, скоро стало как-то особенно тепло.

— Мать,— звал ее иззябший слепой,— вставай, пойдем!

А она засыпала и сквозь сон говорила ему непонятные слова.

Он пробовал поднять ее и не мог — не мог — не хватило силы.

— Замерзаешь! — кричал он ей и потом кричал в поле о помощи.

Но ей было хорошо. И когда он утомился от возни с нею, он снова сел на снег в немом отчаянии, решив уже, что всё это, что происходит,— суждено им богом, как суждено и то, что ждет их впереди. А вьюга, не сильная, но такая игривая, носилась вокруг них, шаловливо осыпала их снегом и весело развевала лохмотья, защищавшие истомленные долгой жизнью старческие тела. И старику тоже стало хорошо и тепло.

Вдруг ветер принес звучный и торжественный зов колокола...

— Мать! — встрепенулся старик,— звонят... к заутрене... идем скорее...

Но она уже ушла туда, откуда не приходят...

— Слышь? Звонят, говорю... Вставай!.. Эхма! Опоздали-таки! — он попробовал встать, но не мог. Тогда он понял, что погиб, и стал мысленно молиться...

— Господи, приими души рабов твоих... Грешные были оба... Прости им, господи, и помилуй...

И тогда ему показалось, что через поле в белой, ярко сверкавшей туче снега летит к нему сияющий огнями храм божий — странный храм! Он выстроен был весь из ярко горевших человеческих сердец и сам имел форму сердца, а среди него на амвоне стоял сам Христос...

Видя это, встал старик, пал на колени пред папертью храма и, прозревший, смотрел на спасителя

и страдальца, а сей говорил с амвона благоуханным и ясным голосом:

— Сердца, горящие милосердием,— основание храма моего. Войди же в храм мой, ты, так жаждавший при жизни милосердия, ты, несчастный и униженный, войди и да возрадуешься!..

— Господи! — рыдая от радости, говорил прозревший слепец.— Жив ты, господи!

А Христос улыбался светлой улыбкой старику и спутнице жизни его, ожившей от улыбки искупителя...

Так и замерзли в поле двое нищих.

Восстановив в памяти этот рассказ, я лежал и думал, достаточно ли он прост и трогателен? Способен ли он пробудить чувство сострадания в людях, которые будут читать его? И мне казалось — да! Этот рассказ, в его целом, должен произвести желаемое мною впечатление.

С этой мыслью, довольный собой, я стал дремать, сквозь дрему думая уже о празднике и тех материальных заботах, которые он приведет за собой. Расходы, беспокойство... И я думал, что люди сделали дни великих событий днями торжества своей глупости. Никогда человек не бывает более обременен мелочами жизни, чем в праздники.

Часы всё стучали, с беспощадной аккуратностью отмечая бесследно исчезавшие секунды моей жизни. Сквозь сон я слушал шорох снега, он всё усиливался. Фонарь погас. Много новых звуков порождала вьюга— скрипел ставень окна, ветви дерева назойливо постукивали о железо крыши, раздавались чьи-то вздохи, вой, стоны, шёпот, свист,— всё это то сливалось в унылую гармонию, облекавшую сердце тоской, то звучало нежно и тихо, как бы баюкая меня. Точно кто-то рассказывал нервную сказку, полную фантазий, ласкавших душу. Но вдруг — что это?

Мутное пятно окна вспыхнуло голубоватым фосфорическим светом и увеличилось, раздвинулось до стен моей комнаты. А в голубом свете, наполнившем комнату с быстротой, поразившей меня, явилось откуда-то густое, беловатое, дымное облако, в нем сверкали как бы искры, напоминавшие собою человеческие глаза,

и оно всё вертелось в странном смятении, точно подверженное действию вихря. Оно вертелось и таяло — становилось прозрачнее, разрывалось в куски, веяло на меня холодом и ужасом, казалось мне необъятным, угрожало мне чем-то. От него исходил шум, похожий на ропот, недовольный и злой. И вот оно разорвалось всё на отдельные куски, занявшие собою всю комнату. Прозрачные в голубом сиянии, пропитывавшем их, они медленно кружились и принимали постепенно знакомые мне, привычные глазу формы. Вон там в углу столпились дети, скорее тени детей, а сзади них фигура старика с седой бородой, какие-то женщины... «Откуда эти тени и что они?» — мелькнул вопрос в моей голове, полной ужаса и изумления.

Но от этих гостей бурной ночи не было скрыто движение мысли.

— Откуда мы и кто мы? — раздался важный голос — голос, звучавший печально и холодно, как шорох снега...— Вспомни! Не знакомы ли мы тебе?

Я молча покачал головой, отрицая всякое знакомство с тенями. А они плавно колебались в воздухе, как бы исполняя, под пение вьюги, какой-то торжественный танец. Полупрозрачные, едва уловимых очертаний, беззвучно толпились предо мной эти странные порождения, и вдруг среди них я различил слепого старика, державшегося за пояс старушки, согбенной и смотревшей на меня укоризненными глазами. Оба они были в лохмотьях, убранных ослепительно блестевшим снегом, и от них на меня веяло холодом. Я знал, кто они,— но зачем они пришли?

— Узнаешь ли теперь? — спросил меня голос. Я не знал, был ли это голос вьюги или голос моей совести, но в нем было нечто властное, порабощавшее меня.

— Итак, ты узнал, кто это,— продолжал голос.— И все другие — тоже герои твоих рождественских рассказов — дети, женщины и мужчины, замороженные тобою ради развлечения публики. Вот посмотри, они пройдут пред твоими глазами, и ты увидишь, как их много и как они жалки, эти плоды твоей фантазии.

Тогда тени заколебались в воздухе и впереди всех явились мальчик и девочка, как два большие цветка из снега и лунного сияния.

— Вот,— пояснял голос,— мальчик и девочка, замороженные тобой под окном богатого дома, где горела елка. Помнишь — они смотрели на нее, мечтали и замерзли...

Бесшумно пронеслись мимо меня мои маленькие герои и исчезли, растаяли в голубом сиянии. А на место их явилась изможденная женщина с печальным лицом.

— Это мать, которая спешила на Рождество в деревню к своим детям, неся им грошовые гостинцы.

Я смотрел на тень со страхом и стыдом.

— А вот еще,— спокойно перечислял голос мои произведения в лице их героев. И эти герои-тени плыли мимо меня, их белые одежды развевались, и я вздрагивал от холода, веявшего на меня. Молчаливые, грустные тени... Медленные движения и невыразимая тоска их мутных взглядов подавляли меня, мне и стыдно было чего-то пред ними, и всё больше боялся я их. Что хотят они сделать со мной? В чем смысл их появления? Что хотят они напомнить мне, или научить меня чему-то явились они?

— Вот и герой твоего последнего рассказа, только что оконченного тобой.

Слепой старик в лохмотьях, убранных снегом, медленно плыл в воздухе мимо меня и смотрел мне в лицо тусклыми, широко открытыми глазами. Борода его была вся в кристаллах снега, и во впадине рта торчали ледяные сосульки. Старуха, вся в инее, улыбалась блаженной улыбкой ребенка, но эта улыбка была неподвижна, и иней в морщинах щек старухи не колебался. Тени реяли в воздухе, а вьюга всё пела свою печальную песню и будила в душе моей какое-то мятежное чувство. Раньше я смотрел на всё это молча и как бы сквозь дымку сна; теперь нечто проснулось во мне, и я хотел говорить. Тени снова столпились в одну массу и образовали из себя как бы мутное облако неопределенных очертаний. Из этого облака смотрели на меня с грустью и тоской разноцветные глаза моих

героев, и мне было всё более неловко и стыдно от неподвижных и мертвых взглядов.

Вьюга перестала петь, и все звуки исчезли с нею. Я уже не слышал монотонного тиканья часов, ни шороха снега, ни голоса, говорившего со мной. Тишина была совершенная, и мертвы были плоды моей фантазии — без звука и движения они замерли в воздухе и точно ждали чего-то. И я тоже страстно ждал моей смятенной душой, изнывая под холодными взглядами мертвых очей.

Это тянулось долго, и всё время я не мог оторвать моих глаз от теней. Но иссякло наконец мое терпение, и я тоскливо вскричал:

— Боже мой! Зачем это? Какой смысл в этом?

Тогда снова раздался медленный и бесстрастный голос:

— Ответь сам на твои вопросы... Зачем ты написал всё это? Зачем, как бы не довольствуясь действительным несчастием, осязаемым и видимым горем жизни, ты выдумываешь новые несчастия и повествуешь о них людям, стараясь изображать твои мрачные фантазии так, как будто они действительно были? Разве мало в жизни мрачного и дурного, что ты считаешь нужным добавлять его из твоего воображения? Зачем это? Чего хочешь ты достичь — убить остатки бодрости в людях, лишить их надежд на лучшее, показывая им исключительно одно дурное? Быть может, ты враг света и надежд и хочешь создать как можно более мрачного и темного, чтобы увеличить разочарование людей? Или ты ненавидишь людей и хочешь уничтожить в них желание жить, изображая жизнь как одно сплошное несчастие? Зачем ты ежегодно замораживаешь в твоих рождественских рассказах то детей, то взрослых, и стараешься делать это так, чтоб твои изображения как можно ближе были к истине? Зачем всё это? Какая цель? Подумай...

Я был поражен. Странные обвинения — не правда ли? Рождественские рассказы все пишут одинаково — берут бедного мальчика или девочку и замораживают их где-нибудь под окном богатого дома, в котором обыкновенно горит елка. Это уже вошло в обычай, и я сле-

довал ему — вот и всё. Какой смысл в этом? Я почувствовал себя правым пред этим голосом и решил объяснить ему смысл рождественских рассказов. И признаюсь — я уже считал этот голос не особенно мудрым...

— Послушайте,— начал я,— я не знаю, кто вы, и не хочу этого знать. Вы наставили мне вопросов — извольте, я отвечу вам, после чего, я надеюсь, вы уже не откажете мне в моем праве спокойно спать в эту ночь. Я замораживаю людей из добрых побуждений: рисуя их агонию, я этим возбуждаю у публики гуманные чувства к униженным и оскорбленным. Вы понимаете меня, мой таинственный собеседник? Я пытаюсь размягчить сердце читателя, изображая пред ним в светлый праздник трагические будни бедняков. Он в праздник ест так вкусно и много — я напоминаю ему о людях, умирающих с голода. Он веселится — я рассказываю ему, как мерзнут слезы робко плачущих, загнанных жизнью людей... Я действую на сердце и верю — оно, сердце читателя, способно сострадать, и убежден, что сытый, при моей помощи, будет в состоянии разуметь голодного... Я...

Странное, ужасающее движение родилось между тенями. Я смотрел на них пораженный и не понимал, что это? Они содрогались в беззвучном танце — точно вдруг всех их охватил страшный пароксизм лихорадки. Они извивались, как бы вступив в борьбу с вихрем, который хотел разнести, изорвать их. И вьюга выла, свистала, смеялась, ревела. А тени дрожали, и их мертвые глаза были все-таки мертвы, хотя слабые очертания их лиц строили гримасы, страшные гримасы привидений. Даже голубой фосфорический свет весь дрожал от этого непонятного, беззвучного танца теней. Что с ними, боже мой, что с ними?

Холодный пот выступил на моем теле, и волосы на голове моей шевелились.

— Они смеются,— раздался бесстрастный голос.

— Над чем? — чуть слышно спросил я.

— Над тобой...

— За что?

— За наивность твоей детской речи... Изображая несчастия фантастические, ты хочешь разбудить

добрые чувства в сердцах людей, для которых даже и реальные несчастия почти всегда только зрелища. Да если б ты заморозил в одном из твоих рассказов всех бедных детей земного шара,— ты причинил бы этим только удовольствие твоим читателям. Они в шутку, быть может, назвали бы тебя Иродом, но, наверное, разочарованно вздыхали бы при мысли, что твой рассказ только фантазия. Сообрази, как давно уже будят в сердцах людей добрые чувства, вспомни, как гениально будили их, и посмотри на жизнь... Глупец! Когда действительность людей не трогает и их души не оскорбляет своей суровой мукой и пошлостью,— твои ли фантазии облагородят человека? Ты ли пробудишь в нем сердце, рассказывая ему о замерзающих, умирающих с голода, о всех мрачных явлениях жизни, на которые всякий закрывает свои глаза, ища себе в жизни и покоя и довольства, заглушая свою совесть подачкой грошей. Море нищеты и несчастия просасывается сквозь плотину бессердечия, и работе моря мешают тем, что бросают в него горошины... И ты надеешься?!

Беззвучный смех теней всё продолжался, и мне казалось, что он не кончится никогда уже,— до дня моей смерти я буду смотреть на него, подавленный ужасом. Вьюга хохотала цинично, оглушая меня, и бесстрастный голос всё говорил, говорил. Каждое его слово, как холодный гвоздь, впивалось мне то в мозг, то в сердце, а безмолвные гримасы теней становились всё ужаснее, беззвучная дрожь смеха, обуревавшего их, всё усиливалась.

И я облекался тьмой, медленно погружаясь куда-то, полный боли и ярости.

— Это ложь! — вскрикнул я в тоске и бешенстве от речей этого голоса. И вдруг, сорвавшись с постели, стремглав ринулся в темную пропасть и полетел в нее, задыхаясь от скорости падения. Свист, рев и наглый хохот сопровождали меня, и тени летели вместе со мною сквозь тьму, летели и, заглядывая мне в лицо, строили дикие гримасы...

...На утро я проснулся с головной болью и тоской в сердце. Прежде всего я взял рассказ о слепом старике и старухе, прочитал его и... разорвал.

НАВАЖДЕНИЕ

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Фома Миронович лежал у себя в кабинете на диване и, расчесывая пальцами сивую бороду, думал, хмуро сдвинув свои густые брови. Он только что пообедал, елось ему не в охоту, за столом он сидел темнее ночи и кричал на дочерей, довел их до слез, а когда за них мать вступилась, он зверем и на нее рявкнул. А потом молча бросил ложку, грохнул стулом, ушел к себе, походил тяжелыми шагами по комнате и вот лег на диван с камнем на сердце. Лег и задумался...

«Куда жизнь идет? Чтой-то за новые порядки? Что за люди стали? Пред чем страх у них есть?»

И Фома Миронович представлял себе былое в образах и картинах, пережитых им самим. Бывало, в Рождество придет семья из церкви от обедни, разденется и в полном сборе идет в горницу к отцу. Все степенные, благочестиво взирающие на корень семьи, придут и важно так встанут у порога, с почтением и страхом пред отцом. А тысячник Мирон Васильев Мосолов, как патриарх древний, весь строгий и седой, сидит за столом в праздничном кафтане, оглядит семью суровыми очами и бровью поведет — подходи, значит, с поздравлением. И подходят по старшинству. Бывало, он, Фома, старшой в семье, всегда подходит первый — поклонится в пояс, до земли рукой достанет и скажет:

— С праздником Христовым поздравляю, тятенька!

— Спасибо! — гудит суровый бас отца.— И тебя также... Вот те шапка бобровая,— носи да береги, смотри, денег стоит. А это вот полуимпериал на гулянье... Да гляди у меня, Фомка! Гулять — гуляй, а ума-разума не забывай... Понял?

— Не малое дитё, тятенька, понимаю...

— То-то! Ну, поздравляй мать да садись за стол, разговляйся.

И мать — важная, степенная, вся в шелках да в штофе,— тоже дает полуимпериал и тоже напутствует.

Усядется за стол вся семья — сестры, братья двоюродные, что воспитывались у отца, разные близкие люди к семье, старые слуги,— отцовы тогда приказчики и челядь всякая приходят. И опять идут по старшинству на поклон к отцу, и все отходят с подарками, а которые садятся тут же за стол — этим почетом отец особые заслуги награждал...

Стол ломился от разных яств — в старину и говядина-то простая вкуснее была. Часа три сидят за столом, разговляются — браги, и меды, и разные вина дорогие пьют...

Любил покойник-батюшка попить и поесть! Разговор идет чинный,— всяк говорил, что хотел, все знали, что Мирон Васильев молчаливых людей не любит, говори, что хошь, только не завирайся да другого не перебивай, дождись, когда человек свое слово до конца скажет, и тогда говори. И сам он никогда никого не перебивал, а дослушает до конца и — коли разумно говорил человек — похвалит.

— Не без ума сказано, да не до конца досказано... Кабы ты к твоей речи вот что еще прибавил... так совсем бы впору было!.. Поторопился ты, брат, со словами-то. Вот то-то и оно,— осторожно надо говорить слова, чтобы всю думу-то в них вложить...

А коли кто завреться — так со скамьи и срежет его отец, бывало:

— Э-эх, человече! Язык-то у тебя бойконько болтается, да, видно, с головой-то не знается!..

Встанут из-за стола — отец распоряженье даст:

— Ну, девки, получите от матери гостинцы и ступайте на горы. Катайтесь, играйте, а свое время знайте. И ты, Фомка, пошел гуляй... Да чтобы у всенощной всем вовремя быть! Слышали?

Распорядится и пойдет отдыхать,— в ту пору визитов-то этих, дурацких, не было. А молодежь разоденется, расфуфырится и на улицу — обновками хвастаться.

А то тройку в пошевни заложат — да по городу-то ветром и полетят. А то игры разные затеют...

Просто всё было — и одежда, и пища, и речи, и сами люди простые и понятные были. Был, конечно, и грех, и непослушание было, но был страх, великий был страх пред родителем в семье! Чтили родителя, воздавали ему честь, бога знали, душу люди имели и шли сквозь жизнь простыми путями, а не мудрствуя лукаво, как сказано в писании.

А теперича какая жизнь? Э-эхма!

Многообразна она стала и не дай бог как! Понимать ее старого закала человеку — сил нет.

Что творится? Неведомо! Пестрота и путаница, страху нет в людях, живут все по уму, а не по сердцу— и всяк норовит какую-то неведомую козульку согнуть из себя. Хилость одна. И в руках хилость и в душе. А где почитание родителей, где страх пред корнем семей, где почет отцу-матери?

Сегодня, к примеру, — великий день рождества Исуса Христа. Марья с Софьей — обедню проспали, мать вовремя не разбудила. Они, говорит, слабые у нас. У заутрени-то настоялись, ну и... Слабые? Почему? Веры в бога нет. Небойсь из фортопьяна начнут музыку выколачивать, так куда слабость девается — весь дом даже ходуном ходит. Или плясать на вечерах хватает силы, часа по четыре выплясывают... В гимназии учились, а чему выучились? Не надо бы их туда и отдавать... Однако нельзя, мода теперь такая, замуж ведь надо выходить им, так, дескать, зазорно, ежели без гимназии-то. Мало того, что Фома Мосолов по миллиону приданого может за дочерью дать. Нужно еще и гимназию. Вон они — за обедом на отца надулись, а часу времени не прошло — уж играют музыку. Вишь, как отцов-то гнев сильно действует! А мать так уж совсем в руки забрали, вроде как и не мать она им. «Ты, мамаша, не понимаешь!», «Это теперь, папаша, не принято». Папаша, мамаша... И слова-то какие-то уродские, не русские. В старину не слыхано было этаких...

Ну, дочери — птицы летные, явятся женихи, дал им, по скольку просят, и — кончено! И нет дочерей,

вышли из-под власти отца-матери. А вот сын Яшка, всем миллионам наследник. Когда только он стал таким? В молодости — в страхе держан был. А теперь ему за тридцать... н-да, Сюртуки носит куцые, галстухи пестрые, башмаки вместо сапог... это всё ничего! Пускай, теперь уж над такими никто не смеется. Коляску на резиновых шинах завел — и это ничего... А вот что речи у него этакие... свободные, это как? Это откуда взялось?

«Нам, папаша, при нашем агромадном состоянии, необходимо-с величать нашу жизнь в курсе современности. А то осрамиться можем-с».

«Вам, папаша, при таких больших миллионах никак невозможно оставаться в первобытности чувств. Теперь повсюду происходит развитие цивилизации-с, и потому человек, вам подобный, должен направлять себя к общей точке жизни-с, а древние привычки отрясти с себя, вроде как бы прах с ног...»

Что это за речи? Да ведь ежели бы этак-то сказать Мирону Мосолову — кости все Яшкины в дресву истолок бы дедушка Мирон! А Яшка отцу своему всё это говорит и жив остается. Слушает его отец и — молчит. Молчит, потому что Яшка парень деловой и капитал отцов приумножает ревностно. Хотя, ежели еще ему, Яшке, вожжи опустить посвободнее,— хвост он задерет и пойдет качать через оглоблю. Завертится, запьет, загуляет, пойдут шики да форсы, пойдет бахвалиться капиталом, и всё, что дед да отец хребтами своими собрали, Яшка пригоршнями по ветру пустит.

И теперь у него есть к этому аппетит. В Москву ездил, купил мебели на полторы тысячи рублей...

А дед-то на скамье дубовой сидел... Картину купил — три тысячи заплатил. Да, много дурит парень, много. На чьи деньги? За женой-то только всего сто тысяч взял... Н-да... значит, не безгрешно отцовым-то делом управляет. Ушел он... Но никакой прочной закваски нет в парне, больно уж он предан этой современности проклятой... Отца боится, но не уважает. Раньше-то не боялись, раньше страх был пред родителем, но в страхе этом уважение было, почет родительскому сану...

И ждет, чай, Яшка отцовой смерти, чтоб на свободе его мошной тряхнуть... Скоро дождется, поди-ка, — шестьдесят третий год отцу. Ссунет отца в могилу и учнет пускать городу пыль в глаза... Золотую пыль. Многих ослепит он ей и дорого заплатит за дешевый почет. Почет у него и теперь уже есть — пожертвовал, с отцова благословенья, пять тысяч на какое-то училище и получил за это от города благодарность... Публично, в думе. Это хорошо... Но и то не совсем — приехал из думы и колет глаза отцу: «Вот, папаша, каков должен быть современный образ действий. Изволите видеть — пять тысяч я фукнул и получил за сие публичное одобрение. Но это еще одни пустые звуки-с, а вот что я получу еще поставку муки в интендантство,— так уж это теперь моя полная уверенность. Получу-с и вышеозначенные пять тысячей в удесятеренном размере возвращу обратно. Чувствуете? Это и есть цивилизация-с! А в ваше время-с этаких ходов в играх не было!» Врешь! Были. В старину без мудреных слов деньгу ковали, и старая деньга — чище нынешней. Проще добывалась, без бесовских ухищрений... А нынче всё делается с бесом, потому простой русской голове и непонятно. Мудрят все... А чего мудрят? Не всё ли равно, не того ли же ищут, что и прежде искали? Все за деньгой охотятся, только лжи больше в теперешнем деле. Ладно, мудрите! Фома Миронов Мосолов как жил, так и помрет.

— Ну зачем же? Можно и исправить жизнь... Не поздно еще...

Фома Миронов вздрогнул и открыл глаза. На стуле перед ним сидел какой-то маленький, худой и бледный человек, с большими ласковыми глазами. Он был не молод и не стар. Безобидный такой, хилый, он очень подкупал своими глазами,— смотрели они у него так прямо, просто, сразу было видно, что это — душа-человек. Только очень уж он какой-то раздавленный был, словно он тяжести большие всю жизнь носил на плечах своих.

— Вы кто такой будете? — спросил Фома Миронович, поднимая голову и доверчиво улыбаясь человеку.

— А так я... блуждающее существо... Вы, Фома

Миронович, не беспокойтесь обо мне, вы собой-то займитесь,— ласково говорил человек тихим и добрым голосом.— Впрочем, ежели вам очень уж интересно знать про меня, так я вам скажу вот что: видите ли, у каждого человека в жизни этакий роковой час бывает,— час, в который колебание испытывает душа человеческая... Мысли сердца есть у человека, этакие особенные мысли, самые настоящие, человеческие... Так они, обыкновенно, подавлены бывают до времени, и вдруг все вместе соберутся да и отряхнут грязь-то жизни с души. Душа тут и восколебается. Вроде как бы назад она начинает оглядываться, на пройденный путь жизни.

— Верно! Это, брат, бывает! — воскликнул Фома Миронович и сел на диван.

— Так вот в такой час оглядки назад я и являюсь к человеку для того, чтобы помочь ему в мыслях-то разобраться,— тихо объяснял человечек.

— Это ты, брат, хорошо! Занятие у тебя — божеское! Ну, и дорого ты берешь за это? Али кто что даст?

Человек тихо засмеялся.

— Не приемлю я, Фома, мзды за помощь мою!

— Обет, видно?

— И не обет, Фома... Бросим это, не тут узел дела...

— Мне, видишь ты, больно любопытно, почему ты узнал, что я в тебе нуждаюсь?

А человек опять засмеялся.

— А так уж... Чутье у меня есть этакое, чуть только душу человека мгла дум, несвычных ей, обымет — сейчас я и иду к нему на помощь.

— Та-ак! Ну, и что же ты мне скажешь? — осведомился Фома Миронов.

— А это ты, Фома, послушай серьезно... Про сына Якова думал ты тут... Ждет, дескать, сын смерти моей и хочет огромные капиталы мои в руки себе забрать. Не ошибся ты, думает это Яков...

— Думает, зверь? — крикнул гневно купец Мосолов.

— Думает,— печально качнул головой старик.— Плохой он человек у тебя. На готовый он хлеб родился и сам по себе не большой делец. Работает он, пока ты жив,

помрешь — другие будут за него работать, наемники, а он, Яков, только жить будет. Жить и ту деньгу, которую ты всю жизнь денно и нощно ковал без устали,— сорить будет по земле, без толку, без пользы. Деньга должна быть со смыслом посеяна, тогда она может не только богатый — святой урожай дать.

— Ой ли? Святой — говоришь? Это, значит, ежели ее на церкви отдать? — спросил Фома Миронович.

— Погоди, не перебивай речи. Сообрази ты теперь, как ты, Фома, жизнь прожил? Почету у тебя в городе нет, а ежели иные и кланяются тебе издали, это от страха пред тобой, потому ты за неуважение разорить человека можешь. Никто тебя, Фома, не любит...

— Я, брат, всё это знаю. Я сам никого не люблю...— угрюмо сказал Фома Миронов,— что мне люди? Бог мой судья, а не они... Они сами все подсудимые... да и судить им меня недоступно...

— А судят ведь, Фома,— печально качнул головой человечек.

— Ну и пусть их... Они судят, а господь бог рассудит...

— Судят, говорю. Строго. Фома Мосолов, говорят, неправедным путем миллионы нажил. Через слезы, говорят, человеческий и трудовой пот деньги в его сундуки текли. Пахнут-де они грехом...

— Ишь ты, мудрые какие! — засмеялся Фома Миронов с горечью...— Пахнут! Откуда они знают, чем мои деньги пахнут? Я никому их не давал нюхать... Грехом, слышь, пахнут. А чьи пахнут иначе-то?

— Накопил, говорят, Фома неправедных-то денег да и не знает, по темноте ума своего, что с ними делать. Дрожит, дескать, над ними денно и нощно и даже сосчитать их не может, и на это ума у него нет. Совсем, дескать, Фома-то Мосолов при всех его миллионах жалости достойный человек, жизнь у него, от большого богатства, беспокойная, тесная жизнь, прожил он ее в темноте, ничего не зная, ничего не видя, людям он не помогал много, люди его не любят. И говорят еще, что Фома-де Мосолов скоро помрет, а сын-то деньги по ветру развеет, и пропадут ни за грош все труды Фомы и отца его, великие труды пропадут безо всякой пользы, никакого,

дескать, памятника в жизни по Фоме не останется. И жалеют они тебя презрительно — экий он, дескать, несчастный и жалкий человек!

— Вр-решь! Вр-рут! — гаркнул Фома Мосолов во всю грудь и вскочил с дивана, весь дрожащий и бледный от гнева. Вскочил, наклонился над печальным человеком и грозно, как зверь разъяренный, зарычал ему: — Иди, скажи им — врут! Я не несчастный, не жалкий... Я их... купить всех могу!..

— А еще-то что, Фома? — перебил его спокойно печальный человек.

— А еще?.. А еще?.. Отомщу!

— А как же ты, Фома, отомстишь?..

— Как? Сумею!.. Возьму да и сожгу публично все свои деньги — пусть завидуют!

— Тогда скажут про тебя — с ума-де сошел миллионщик Мосолов. И опять презрительно пожалеют.

Фома Миронович грузно сел на диван и в упор уставился на своего собеседника. А тот тоже не сводил с него своих грустных и ласковых глаз. Долго они молчали, сидя так, и чувствовал Фома Мосолов, что оставляет его гордость его и что в самом деле, пожалуй, он, миллионщик, несчастный и жалкий человек.

— Слушай-ка ты... кто ты там? Чёрт ты — не чёрт, а и не ангел,— глухо заговорил Мосолов.— Знаешь ты, что ли, чего надо делать-то мне перед смертью? Знаешь, так говори...

— Как не знать! Для совета я и пришел к тебе,— ласково улыбнулся печальный человечек.

— Ну и советуй... Ну, сразу, не мучь, не тяни души...

— Отомстить надо, Фома, это ты верно...

— Да как?!

— А просто. Сначала прошлому своему отомсти, бесполезной твоей трудовой жизни оправдание дай. Не оправдана ведь жизнь-то у тебя. Жил ты, а для чего? Смыслу-то и нету в жизни. Трудился много — а зачем? Али ради денег? Да их куда? В могилу их с покойниками не кладут.

— Не тяни, Христа ради! — глухо попросил Фома Миронов.

— Так вот, возьми ты твои миллионы и строй на них училища, гимназии, богадельни, для думы выстрой дом, еще чего-нибудь сотвори из того, что городу нужно...

— Ишь ты как! А не жирно это будет? — криво усмехнулся Фома Миронов.

— ...И останутся все эти дома на века, и будут они тебе, Фома, неразрушимыми памятниками. И всяк уж человек будет знать, Фома, для чего ты жил и деньги копил. Стоит каменный домище — кто строил? Покойник Фома Миронов Мосолов, царствие ему небесное! Всё, что есть в городе хорошего,— его памятники. Великодушный это был человек — целую жизнь трудился, а под конец ее, по Христову завету, всё свое достояние людям отдал...

— Н-да... это, пожалуй, оправдает...— задумчиво сказал Фома Миронов.

— Это перед господом оправдает тебя, не токмо пред людьми. А людям ты тоже отомсти...

— Пес с ними! — махнул рукой Мосолов и брезгливо поджал губы.

— Нет, ты потешь себя, а их поучи,— серьезно сказал печальный человечек.

— А как еще это?

— А вот как: как одаришь ты их, явятся они тебя за твои дела благодарить, тогда ты им и скажи: «Что надо вам от меня? Ничего вы от меня не ждали, и я от вас ничего не жду — идите прочь!..»

— Вот — так ты! — изумленно воскликнул Фома Миронов,— как ты подвел мину-то! То-онко! Да они что тогда? В кольца от злобы совьются! Это я, брат ты мой, устрою! Это вот миллионов стоит! Это...

— И еще скажи им так: «Судили вы меня, поносили,— а сами вы суда и поношения не достойны, что ли? Кто вы? Люди. А я кто? Человек. Как же вы, прежде конца моей жизни, решились чинить суд надо мной? А вот я пред смертью махнул рукой и оправдал всю жизнь мою. И каждый из вас может сделать это. Поспешили вы с судом, а не надо бы, не надо бы, господа люди, спешить вам судить друг друга. Все ведь вы грешны, не забывайте. И вот пришли вы благодарить осужден-

ного... Но идите вон — не хочу я слышать от вас даже и слов благодарности!»

— Слушай, ты! Кто ты... эх! Я сделаю это! Я дворцы состроюо... до гроша истрачусь, по милостыню пойду! Слушай — мы оба с тобой...

Печальный человечек печально смеялся, слушая возбужденные крики Фомы Мироновича.

— Человек... как тебя звать? Я говорю — все миллионы мои посею... вавилонскую башню сгрохаю! И скажу им твои слова... Скажу! А-ах, как я им это скажу!

А человек вдруг стал умаляться, таять, исчезать... вот только одни печальные глаза его остались... вот они вспыхнули последний раз ласковой улыбкой и погасли...

— Стой! Куда ты? Кто ты? — крикнул Фома Миронович...

...И проснулся весь в поту. Стул стоял пред диваном, Фома Миронович дрожащей рукой пощупал его зачем-то. Потом снова вытянулся на диване и задумался, хмуря брови... А через долгое время он сказал вполголоса:

— А что, если... ахнуть этак-то? а? Тьфу, наваждение!

И снова глубоко задумался...

ВАНЬКА МАЗИН

Сдавленный с боков и удлиненный череп, с оттопыренными большими ушами, желтое апатичное лицо, с рыжими кустиками волос на скулах и остром подбородке, меланхолично выпученные, неподвижные и бесцветные глаза, длинный нос, отвислая нижняя губа и большой, всегда полуоткрытый рот; шея, тоже длинная и вся в узловатых жилах; плечи опущены книзу, грудь ввалилась, живот выдался вперед, как у беременной женщины, левая рука заметно короче правой, а ноги изогнуты колесом; на голове этой неуклюжей фигуры висит рыжий картуз с черной заплатой посредине и с изломанным козырьком; картуз велик, и для того, чтоб он не падал на глаза, его вешают на левую сторону длинной головы, он держится на раковине уха и на клочьях густых желтоватых волос, склеенных пылью и грязью до плотности войлока; пестрядинная рубаха, вся в заплатах, болтается на этом уродливом теле как-то особенно неприглядно, порты слишком широки для сухих и тонких ног, онучи растрепаны, и лапти разбиты. Вот вам точный портрет Ваньки Мазина, плотника-вятича, созданного природой как бы специально ради олицетворения понятия о несуразном человеке да для потехи и развлечения ближних своих.

Ванька Мазин с большим успехом служил последней цели,— еще издали, видя его, товарищи по артели смешливо восклицали, кивая головами в его сторону:

— Чёртова карета едет!

Я никогда не видал чёртовой кареты, но при виде Мазина, передвигающегося по земле, мне всегда казалось, что из его тела вытянуты все жилы и от этой причины у него образовалась такая странная походка: ноги,

прежде чем двинуться вперед, сначала откидывались вправо и влево, точно они желали осведомиться, нет ли где в стороне более ровного и легкого пути для их несуразного хозяина; руки вяло болтались по бокам развинченного и сутулого туловища, голова неустанно тряслась в безуспешной борьбе с картузом, съезжавшим на нос, нос громко храпел и шмыгал, пещер с инструментами сбивался со спины на бока; но при всем этом меланхоличные глаза Мазина оставались неподвижными, устремленные куда-то глубоко в даль, точно они жили жизнью совершенно отдельной от жизни развинченного тела.

Он имел смешную привычку всегда мурлыкать себе под нос какую-то песню без слов и, должно быть, без конца; он и на ходу не бросал этой привычки, он шел, пел, фыркал носом и действительно представлял некоторое подобие старого, ржавого, скрипучего экипажа, растерявшего от долгой работы все свои гайки и скрепления.

Его называли Разгильдяем, Комариной тоской,— всё это как нельзя лучше шло к нему и, очевидно, нимало не трогало его самолюбия, ибо он на все клички охотно отвечал своим апатичным и сиплым голосом:

— Што те?

По паспорту ему было сорок семь лет, но даже молодые парни в артели звали его Ванькой и очень редко — по фамилии. Уничижительная кличка тоже нимало не трогала его; он был глубоко равнодушен к своим товарищам, любил уединение и умел быть одиноким среди компании. Когда, в праздники, артель шла всем составом в трактир пить чай, он тоже шел, если его звали, но, сидя за чаем и за бутылкой водки, он всё равно оставался таким же молчаливым и меланхоличным, каким был всегда. Но, несмотря на это, было бы несправедливо назвать его нелюдимым: нет, он скорее походил на человека, задумавшегося над чем-то неразрешимо мудрым и склонного к тихому умопомешательству. Его широко открытые глаза, смотревшие как-то точно сквозь стены и людей, уже с первых дней его вступления в артель навели дедушку Осипа, артиста-плотника и Нестора артели, на такую мысль:

— Вятич-от, видно, того... нездоров душой-то... Глаз у него не играет, око мертвое... Н-да! Значит, того... или он замаян жизнью своей, или совесть у него не энтого... нечиста, стало быть... С пятном, значит... А от этого глаз-от у человека застилает, пятно-то с души на глаз и падает... У которого человека глаз бегает,— тоже нехорошо,— беспокойство, значит, есть на душе... от совести али от думы какой, а и у которого омертвел глаз, тоже плохо... Ежели человек состоит в своей полноте и внутри чист,— у него глаз прямой... смотрит себе прямо на всё и светится, играет, значит... н-да... Стало быть, вы, ребята, того... за вятичем-то надзирайте... как бы чего не было: человек он нам неизвестный...

Ребята всей артелью стали следить за поведением человека с мертвыми глазами и на первых же порах усмотрели, что он — очень плохой работник. Ремесло он знал, но топор, пила и рубанок в его длинных руках действовали плохо, железо как бы пропитывалось апатией человека и, обрабатывая дерево, не звучало с такой гордой силой, как звучало оно в руках других работников. Иногда среди работы Мазин вдруг останавливался и, молча рассматривая инструмент, о чем-то думал над ним.

— Ты! Мухомор! Задремал?! — сурово окрикивал его десятник.

Мазин молча принимался за свое дело.

— Он у нас неторопливый человек,— презрительно посмеивались ребята.

— А куда торопиться? — серьезно спрашивал Ванька Мазин и ждал ответа, глядя на ребят. Они смеялись, дразнили его; он оставался неуязвим, скрытый от колкостей и грубых выходок за своим равнодушием.

Не любили его. Он один был вятский среди артели нижегородцев, он был плохим товарищем, ленивым, неинтересным, не артельным человеком. Но, смеясь над ним, его не трогали особенно грубо, ибо знали, что он, несмотря на свою изломанную кость, силен. Узнали это так.

Однажды на стройке человек шесть несли здоровое бревно; Мазин стоял под самым комлем.

— Не качай! — кричали ему передние. Но он не мог идти нога в ногу с ними,— его кривые ноги не позволяли ему этого, и бревно «толкалось».

— Колченогий дьявол, ровней иди!

Он покряхтывал — старался примениться к шагу товарищей, и бревно еще более толкало их.

— Росомаха чёртова! — крикнул коренастый Яков Лаптев, один из силачей артели, и ударил Мазина длинной и тяжелой щепой ниже спины. Мазин крякнул и, не сказав ему ни слова, пошел дальше. А когда бревно отнесли куда было нужно, он воротился к месту, где работал Яков, остановился перед ним и спокойно спросил его:

— Ты пошто дерешься?

— У-уйди! — злобно крикнул Лаптев.

— Ты начальство, чтобы драться? — допрашивал Ванька.

— Не приставай, говорю! Убить тебя, паука косолапого, и то мало!

— За што? — осведомился Ванька.

— Дай ему в рыло, Яков! Чего он лезет...— посоветовали Лаптеву. Он послушался, размахнулся и... опрокинулся на спину от удара по лбу, неторопливо нанесенного Ванькой.

Артель удивилась,— люди чтут силу, в каких бы формах она ни проявлялась. Лаптев считался силачом и не мог сразу уступить свою славу вятичу. Он встал с земли и, засучивая рукава, зловеще сказал Ваньке:

— Готовься... сейчас я тебе ребра испорчу...

— Ну...— неопределенно произнес Мазин.

— Раздайся, братцы, не тронь их,— скомандовал дедушка Осип.— Не тронь, пускай разом сшибутся... дело правильное... Валяй, ребята, но штобы по совести... без подвоха... Господи, благослови! Р-раз! О-о?!

«Раз» получил Ванька в левый бок, а Лаптев снова поднимался с земли и уже с удвоенной злобой смотрел на своего противника. Тот дожидался его, вздыхая и почесывая ушибленный бок левой рукой. Лаптев горячился и нападал. Ванька спокойно действовал своей длинной правой рукой, аккуратно сшибая противника с ног ударом по лбу сверху вниз. Со стороны казалось,

точно он гвозди вбивает в голову Якова. Семь раз ложился Лаптев на землю и в последний раз, уже не вставая, начал ругаться:

— Облом чёртов! Что ты по башке-то бьешь! Мало тебе, кособокому лешему, места на мне? Кикимора так кикимора и есть,— даже драться и то не умеешь по-человечески...

И вся артель признала, что хоть и силен Ванька, но драться не умеет. А Ванька обратился к сраженному противнику с речью. Он, внушительно подняв вверх правую руку со сжатым кулаком, сказал Лаптеву:

— Попял, как оно драться-то? Во! Да ище я жалел тебя, а то бы и не так... Другорядь не наскочишь... а голову-то студеной водой помочи, она и пройдет... Не больно болеть-то будет... Намочи-ка.— И, замурлыкав, по обыкновению своему, какую-то бесконечную мелодию, он пошел прочь от места действия.

— Ну и чёрт! — восклицала артель, изумленная событием. Лаптев был такой коренастый, широкогрудый, здоровый и веселый, а этот обломок!

— Видали? — говорил дедушка Осип.— Вятский-то правильно объяснился... Он — с сердцем человек... он, тово, обижен богом, но Якову сказал правильно. Не наскакивай, не задевай зря-то... Все человеки... зачем друг на друга зря лезть? Это вятский хорошо поступил: побил человека за дело и говорит ему, — поди, говорит, помочи голову-то. Это — тоже со смыслом сказано! Вот он и вятский... И помяните мое слово — еще он себя не так нам объяснит...

— А хорошо бы его из артели-то турнуть... — заявили ребята.

— Не артельный человек... Это верно,— задумчиво сказал дедушка Осип.— И отчего это он такой?.. Турнуть... это тово... надо подождать... Может, он что еще объявит... приладится к нам...

— Да что в нем толку-то? — протестовали ребята.

— Ленив, это так... Плохой совсем работник... это уж как есть... Но ведь, братцы мои, опять же и ему надо пить и есть и подать платить! Как же? Крестьянин ведь тоже... как же это турнуть? Мы турнем, другие турнут... где же он пить-есть достанет?

Больше дедушке не возражали, и Ванька Мазин остался в артели. Сначала ждали, что он приладится, потом сами приладились к нему, и хотя считали его хуже всех как по работе, так и по характеру, всегда трунили над ним,— и часто очень зло,— но вопрос о том, чтоб турнуть его, более уже не поднимался. Привыкли и к его ленивой, но всегда основательной и чистой работе, за которую он получал два рубля в неделю на харчах подрядчика.

Он был паршивой овцой в маленьком человеческом стаде: положение вполне определенное, ибо в каждом стаде людей необходим человек, недостатки которого оттеняли бы достоинства стада — достоинства, без этого условия мало заметные, плохо выдающиеся.

Однажды, на постройке четырехэтажного дома богачу купцу Смурову, плотники работали над установкой лесов, сетью окружавших три уже выложенные этажа дома. Требовалось приспособить леса для кладки четвертого этажа.

Около обеденного часа на стройку явился сам подрядчик Захар Иванович Колобов, тучный человек, с красным лицом и большой, рыжей, тщательно расчесанной бородой. Всё сразу охватившим взглядом острых серых хозяйских глаз он сосчитал бывших на работе плотников, усмотрел Мазина, неторопливо тащившего вверх по лесам какую-то доску, и вознегодовал.

— Эй, ты, мокрица! Ползи быстрей... У, чёрт косолапый! Дармоеды окаянные...

Плотники поняли, что хозяин не в духе, и удвоили рвение, но это, конечно, ни к чему не повело,— подрядчик ругался не потому, что ругаться следовало, а потому, что ему этого хотелось.

— Али я вам, олухам, не говорил, чтобы лесу нового на настилку не брать? Чтобы жерди новые на настилку не пилить? Трать старый лес!..

— Жидки леса-то, Захар Иванович,— скромно и почтительно заметил Яков Лаптев.

— Что ты понимаешь, тупое рыло? — орал Колобов.

С полчаса он нагонял страх на своих подданных, наконец они стали собираться обедать, а он, осторожно ступая по доскам, пошел на леса.

— Экой облай-человек,— ворчал дедушка Осип.

— Толстый деймон,— втихомолку ругался Лаптев.

Другие ребята вторили им, а Мазин молчал, неторопливо собирая свои инструменты.

— Идемте, что ли? — сказал дедушка артели, столпившейся вокруг него.— Чего ждать? Чтобы он слез оттуда да опять всех облаял? — И дед кивнул головой на леса.

Пробуя рукою стойки и ногами — прочность настилки, Колобов стоял на третьем этаже лесов. Когда он упирался в дерево, слышно было, как скрипят его сапоги. Плотники искоса посмотрели на него и дружно двинулись обедать.

Тогда в воздухе раздался тонкий скрип — скрип гвоздя, вырываемого из дерева, и треск раскалываемой доски. Дедушка Осип обернулся назад и, странно подпрыгнув на месте, крикнул:

— Бра-атцы!

И вместе с его криком в воздухе раздался скрип и треск ломавшегося дерева, грохот падавших досок и отчаянный вой:

— Спас-сай-ай!

Плотники замерли на месте. Леса падали,— стойки медленно, не торопясь, отклонялись от стены, точно она оттолкнула их; на землю сыпались доски, щепы, кирпичи, поднялось облако пыли, и из него раздавались безумные крики Колобова:

— Батюшки! Ба...ай!

Дерево трещало и падало, плотники бессмысленно смотрели на свою разрушающуюся работу и, боясь подойти ближе к стройке, мялись на месте, слушая укоры дедушки Осипа.

— Говорил я... братцы: крепи гвоздями — вот! Не послушали... погубили душу! Ведь разбился, чай! Ах ты, мать пресвятая! Чего стоите? Стоите чего, демоны? Идите... тащите его... А! Ах ты, господи! Идите, говорю, псы! А?

— Чего уж очень-то? — угрюмо сказал Лаптев.— Не кто виноват... Сам он говорил: лес бери старый...

— Гвоздей-то не было... не давал он! — крикнул кто-то.

— Али мы виноваты? — ворчливо заявил другой.

— Так погибать ему за это? а? Погибать?

Дедушка Осип суетился среди артели, весь красный от возбуждения, и дрожащими руками толкал и дергал ребят.

А леса, одна стойка за другой, пошатывались и, скрипя, отходили от стены дома. И с них всё летели на землю кирпичи, доски; упал и покатился по земле какой-то ушат, сыпалась известка, окружая катастрофу облаком белой пыли. Криков Колобова не было уже слышно.

— Ин пойду я,— задумчиво глядя в облако пыли, сказал Мазин и пошел...

— Не ходи! Убьет! — крикнули ему.

— Не тронь! Иди, Ваня! иди, друг... для господа иди!

Но он шел и без поощрений дедушки Осипа. Шел, как всегда, неторопливо и покачивался с боку на бок на своих кривых ногах.

Уже собралась густая и шумная толпа народа, и среди нее хлопотливо бездействовали двое полицейских. Облако извести рассеялось и обнаружило безобразный остов разрушенных лесов,— всюду торчали доски, жерди, иные еще покачивались, точно не решаясь упасть на землю.

Одна доска, высовываясь из окна дома, качалась сильнее других, ибо на конце ее лежал Колобов. Он охватил доску руками и ногами, прильнул к ней головой и животом и так висел в воздухе. Другой конец доски был защемлен в груде навалившегося на него дерева и упирался в колоду окна. Доска была защемлена крепко, но она могла переломиться или человек, прицепившийся к ней, мог лишиться сил, выпустить ее из рук и упасть на землю, на острые обломки дерева, с высоты почти трех этажей. Но пока он лежал на ней смирно, молча, точно сросшись с деревом.

Когда публика увидала эту картину, она на минуту смолкла и затем разразилась с удвоенной силой шумом, в котором выразила все свои чувства, от ужаса и до любопытства. Потом стали советовать друг другу:

— Брезент надо растянуть на руках, и пусть он в брезент прыгнет...

— А ежели он без памяти?

— Войти в дом и тащить доску назад в окно.

— А она переломится...

— Да просто подпереть ее!

— Ну-ка, подопри! Достань чем...

— Гляди! Глядите!

В окне стоял Мазин с веревкой в руках и, должно быть, что-то говорил, ибо губы его двигались. Публика умолкла.

— Захар Иваныч! Слышь? Я, мол, брошу тебе веревку, а ты ее петлей-то захлестни за конец доски! Понял ай нет? Держи!

Веревка развернулась в воздухе и упала на тело Колобова. Он медленно, тихонько пошевельнулся, — доска закачалась. Раздался стон.

— А ты не робей, Иваныч! Твори молитву про себя и действуй! Господь не попустит, чтоб без покаяния...— кричал снизу дедушка Осип. Публика тоже ободряла Колобова, и он, после долгих усилий, надел на конец доски петлю веревки...

— Ну, теперь лежи спокойно,— сказал Мазин и исчез из окна. Веревка натянулась вслед за ним, и доска начала потихоньку подниматься.

— Ай Ваня! — ликовал дедушка Осип, сообразивши план Мазина.— Черти! Идите, помогите парню-то! Ай да Ваня! Братцы, идите!

Несколько человек бросилось в дом, и вскоре доска уже была поднята так, что к окну образовался наклон. Тогда в окне вновь явился Мазин.

— Теперь, Захар Иванович, съезжай назад на брюхе-то! Валяй полегоньку, выдержит... она здоровая, доска-то... Пяться раком... ну...

Хотя опасность еще не миновала — ибо доска могла переломиться,— но среди публики уже раздался смех. Колобов, весь покрытый пылью, с разинутым ртом на сером лице и с безумными глазами, полз на животе по доске, и эта картина действительно была лишена трагизма.

Осторожно перебирая руками, он то съеживался

в большой шар, то растягивал свое тело. Ноги у него срывались с доски и отчаянно болтались в воздухе, доска прогибалась,— тогда он замирал на месте, прижимался к ней и громко, жалобно мычал. Всё это смешило публику, и чем ближе подползал подрядчик к окну, тем громче смеялись над ним.

— То-то, чай, заноз у него в брюхе! — весело воскликнул какой-то рыжий маляр.

— Небось, с аппетитом поест теперь!

— Он всегда аппетит с собой имеет. Нашего брата и после обеда поедом ест! — сострил Лаптев, чем-то обрадованный.

Но вот Колобов дополз до окна и исчез в нем. Потом он явился перед публикой, ведомый под руки двумя какими-то людьми, оборванный, потный и грязный. Он едва переставлял ноги. Его посадили на извозчика и увезли. Публика стала расходиться, несколько человек окружило Мазина и расспрашивало его, как это он догадался снять хозяина. Он стоял с веревкой в руке и объяснял:

— Так уж... Доска тут главная вещь... Пора обедать идти мне...

— А ведь могло убить тебя, как ты пошел?..

— Нет, не убило вот... Наши ребята ушли, видно...

— Вот он! Ванюха! А мы тебя ищем! Где, мол, он? А он — вот он! — кипел дедушка Осип, являясь пред Мазиным.— Обедать айда... Как господь-то помог тебе, а? Это, брат Ваня, господь! Его сила... Потому доска — какая она? Значит, не захотел он, батюшка, чтобы человек без покаяния расшибся... Конечно, и ты, и веревка... Это тоже того... но ты не гордись...

Мазин шел рядом с мудрым дедушкой и шмыгал носом, равнодушно слушая его.

— Не тронуло тебя?

— Нет... По ноге задело раз...

— Больно?

— Ничего, больно... Чай, пройдет...

— Водкой притереть надо...

Мазин помолчал и сказал:

— Водку-то лучше выпить...— Потом добавил со вздохом: — Ежели бы была она...

— Будет! — радостно пообещал дедушка Осип.

Пообедав и выпив по стаканчику, артель стала ожидать распоряжений подрядчика относительно лесов.

— Чай, сойдет скоро, — поглядывая в потолок, хмуро сказал Лаптев.

— Сойдет, известно... ругаться будет, скажет, что — псы, убили было меня! — заявил молодой парень Афоня и покорно засмеялся.

— А как? — спросил дедушка Осип.— И надо ему ругаться, потому есть в этом деле наша вина. Хоть лес был и трепаный, однако у нас есть и глаза и руки... Вот у него и причина к ругани...

Поспорили с дедом и согласились, что хотя на леса шел материал старый, стойки были составные, гвоздей не хватало, однако и с их стороны был недосмотр, а коли так — значит, Колобов вправе ругаться.

— Совсем пустой разговор это,— скептически заметил Лаптев.— Нужна ему причина! Да он и без причины довольно даже ловко лается...

На этом порешили. И ошиблись.

Захар Иванович явился к артели солидный и важный, и, еще когда он переступал через порог, плотники увидали, что ругаться он не хочет.

— Где Иван? — спросил он.

Иванов в артели было трое; двое из них поднялись со скамьи, на которой сидели, и вопросительно взглянули на подрядчика.

— Тот где? — нахмурился Колобов.

— Вятской? Он на нарах... дремает немного. Иван, а Иван!.. Ну-ка, хозяин зовет...

Мазин замычал, зевнул, слез с нар и пошел к подрядчику. Колобов вобрал в себя так много воздуха, что у него всколыхнулся живот и надулись щеки.

— Ну, Иван,— неторопливо начал он, — буду я к тебе речь держать... Как оказался ты из всех этих идолов самым сметливым парнем... и что я без тебя погиб бы, может,— потому что ведь это кто? Что за люди? Дерево... обломы, без соображения... Ну, и выходит, что я тебе — обязан и что ты мне спас жизнь... Понял? Ну вот... И хочу я тебя поблагодарить от всей души... Так-то...

Колобов обвел артель укоризненным взором и увидал на лицах плотников общее всем им выражение любопытства и ожидания...

— Что, черти, выпучили зенки-то? Думаете, ежели я дам Ивану награду, пропить ее с ним? Ну-ка, напейся который,— целковый штрафу! Поняли? А ты, Иван, им не давай ничего... Они соображают уж... ишь, оскалились все на твои-то деньги! Эх, вы... видите — не умен человек, и опиваете его? Ты, Иван, пошли деньги на подать или что, а им — шиш!

— Какие деньги? — спросил Иван.

— А вот сейчас... На вот... спасибо тебе!

Захар Иванович сунул в руку Мазина трешницу и смотрел на него с видом великодушия и ожидания. А Мазин пристально смотрел на бумажку в своей руке.

— Это, стало быть, мне? — спросил он, задумчиво растягивая слоги.

— Чудак! Конечно...

— Мм... стало быть, за то, что я лазил с веревкой... и вообще...

— За это самое, тугой человек! — усмехнулся Колобов. Его забавляла апатия и глупость Мазина.

— Да разве я это за трешницу? — спросил Иван Мазин. Он стоял, понуро опустив голову на грудь, всё еше рассматривая бумажку и не поднимая глаз на подрядчика.

— Что же — мало, что ли? — сухо усмехнулся Колобов и сунул руку в карман брюк. Иван исподлобья взглянул на него и потом, медленно подняв голову, вздохнул. Лицо у него подернулось, и он сделал ту же гримасу, которую делал в тех случаях, когда мясо во щах было чрезвычайно тухло или капуста слишком уж сильно пахла гнилью.

— Так ты думаешь — я за трешницу? Возьми-ко ее... на! Глупый ты человек, Захар Иванов... Ищь ты ведь, трешницу дал! Неужто ты не понимаешь, что я из жалости к душе твоей полез за тобой, а не за трешницей? Я старался, чтобы ты без покаяния жизнь твою не кончил, а ты — на-ко! Ка-ак дам я тебе в ухо за эту твою награду! Ступай от греха... ступай! Противен ты мне...

Говорил он сначала, как всегда,— медленно и задумчиво, а в конце речи повысил тон и как-то зарычал. Ошеломленные плотники во все глаза смотрели на него, дедушка Осип улыбался чему-то, а Колобов даже побледнел от неожиданности.

— Что-о? Ты! Мне в ухо? Гонишь меня? Ты? — заговорил он, задыхаясь от изумления.— А ты, ты, старый чёрт! Смеешься?

— Уйди, мол, Захар Иванов! Смотряй — не шути!— рыкнул Мазин.— Иди... давай мне расчет!

— Так! — громко сказал дедушка Осип.

Колобов снова растерялся. Вся артель смотрела на него — смотрела уже холодно и враждебно, и он чувствовал, что его обаяние, как хозяина, вдруг исчезло куда-то. Но уйти он не решался,— что-то не пускало его. И, стоя пред своими работниками, он криво усмехался, повторяя:

— Та-ак! Ловко! А ну-ка, еще! Ну? Скажи слово!

— Я скажу! — произнес Иван.— Я только не умею... но в рыло я бы тебе закатил! Уйди, мол! не марай мне глаз!

— Так! — воскликнул дедушка Осип.

— Н-ну, черти, хрош-шо! Я вам... дам! Я вам покажу!

Но он чувствовал, что ни дать, ни показать ему нечего. И вдруг, повернувшись, исчез.

— Так, Ваня! правильно! — неистово восклицал дедушка Осип, завертевшись вокруг Мазина.— Хорошо! И очень просто! А? Трешница? Вр-решь! Не везде ей одержать верх возможно, трешницей-то! А ты думал — возможно? Ваня — хорошо это! Доказал ты ему!

И вся артель понимала, что уродливый Ванька Мазин доказал что-то хозяину, и хорошо доказал. Все смотрели на него, как на диковину,— с любопытством и с некоторой дозой боязни. Может быть, в нем осталось еще что-нибудь и на их долю? Но он уже снова воплотился в знакомую им придурковатую форму лентяя Ваньки Мазина и стоял пред ними, как всегда, равнодушный, как всегда, вялый и тупой.

Вечером Мазин и дедушка Осип, рассчитанные подрядчиком, сидели в трактире и пили чай. Мазин молча

жевал белый хлеб, а дедушка Осип объяснял ему его поступок.

— Стало быть, он душу тебе задел этой своей бумажкой. Ты полез туда и мог получить увечье, а то и смерть. Зачем полез? Из жалости к человеку... Он тоже ведь человек, душа одна у всех... Ну вдруг он — трешницу тебе... Как же это можно? Что трешницей покроешь? У тебя в этом деле вся твоя душа, а у него— всего одна трешница? Али это не обида? а?

Ванька Мазин с усилием проглотил хлеб, набитый за обеими щеками, и, взявши в руки стакан с чаем, медленно выговорил:

— Напрасно я его не двинул легонько... За волосы бы оттаскать его хоть, што ли... Да жалко уж больно стало... Дурак он, вижу я... Ну, и — пускай его!

Он махнул рукой и стал громко схлебывать чай с блюдечка, причем каждый глоток заключал вкусным чмоканьем.

КРЫМСКИЕ ЭСКИЗЫ

I

УМИ

...По утрам, просыпаясь, я отворяю окно моей комнаты и слушаю — с горы, сквозь пышную зелень сада, ко мне несется задумчивая песня. Как бы рано ни проснулся я, она уже звучит в утреннем воздухе, напоенном сладким запахом цветущих персиков и инжира.

Свежий ветер веет с могучей вершины Ай-Петри, густая листва деревьев над моим окном тихо колышется, и шелест ее придает звукам песни много красоты, ласкающей душу. Сама по себе мелодия некрасива и однообразна — она вся построена на диссонансах; там, где ожидаешь, что она замрет,— она возвышается до тоскливо-страстного крика, и так же неожиданно этот дикий крик переходит в нежную жалобу. Поет ее дрожащий, старческий голос, поет целые дни с утра и до вечера, и в какой бы час дня ни прислушался — всегда с горы, как ручей, льется эта бесконечная песня.

Жители деревни говорили мне, что вот уже седьмой год они слушают это задумчивое пение. Я спросил их:

— Кто же это поет? — и мне рассказали, что это сумасшедшая старуха, Уми, у которой шесть лет тому назад муж и двое детей поехали в море ловить рыбу и всё еще не вернулись.

С той поры Уми сидит на пороге своей сакли и смотрит в море и поет, дожидаясь своих родных. Однажды я пошел посмотреть на нее. По извилистой тропинке, мимо вросших в гору саклей, через сады и виноградники я поднялся высоко на гору и там увидал полуразрушенную, скрытую в камнях и яркой зелени саклю старухи Уми. Платан, фига и персики росли среди громадных камней, скатившихся с вершин Яйлы, журчал ручей, образуя на пути своем ряд маленьких водопа-

дов, на крыше сакли росла трава, по стенам ее вилось какое-то ползучее растение, и дверь ее смотрела в море.

На камне у двери сидела Уми — высокая, стройная, седая, с лицом, исчерченным мелкими морщинами и коричневым от загара. Камни, нагроможденные друг на друга, сакля, полуразрушенная временем, серая вершина Ай-Петри в жарком синем небе и море, холодно блестевшее на солнце, там внизу,— всё это создавало вокруг старухи обстановку суровую и проникнутую важным спокойствием. Под ногами Уми, по горе, рассыпалась деревня, и сквозь зелень садов ее разноцветные крыши напоминали о рассыпанном ящике красок. Снизу доносился звон лошадиных сбруй, шорох моря о берег и иногда — голоса людей, столпившихся на базаре около кофеен. Здесь наверху было тихо, только ручей журчал да песня Уми аккомпанировала ему, бесконечная, задумчивая песня, начатая шесть лет тому назад.

Уми пела и улыбалась навстречу мне. Ее лицо от улыбки еще более сморщилось. Глаза у нее были молодые, ясные, в них горел сосредоточенный огонь ожидания, и, окинув меня ласковым взглядом, они снова остановились на пустынной равнине моря.

Я подошел и сел рядом с ней, слушая ее песню. Песня была такая странная — в ней звучала уверенность и сменялась тоской, — в ней слышались ноты нетерпения и усталости, она обрывалась, замирала и снова возрождалась, полная радостной надежды...

Но что бы ни выражала собой эта песня — лицо старухи Уми выражало лишь одно чувство — ожидание, в котором не было сомнения, уверенное ожидание, спокойное и радостное.

Я спросил ее:

— Как зовут твоего мужа?..

Она ответила, ясно улыбаясь:

— Абдраим... Сын первый — Ахтем, и еще Юнус... Скоро приедут. Они там едут. Скоро увижу лодку. И ты увидишь!

Она так сказала это «и ты увидишь», точно была уверена, что и для меня увидеть их будет великим счастьем, великое наслаждение принесет мне с собой лодка ее

мужа, когда она покажется на горизонте, где небо отделялось от моря тонкой темно-синей чертой и куда она указывала мне своим коричневым пальцем мумии, высохшей на солнце юга, беспощадно жарком.

Потом она снова запела свою песнь ожидания и надежды. Я слушал, смотрел на нее и думал: «Хорошо так надеяться! Хорошо жить с сердцем, полным ожидания великой радости в будущем!»

А Уми всё пела, тихонько раскачиваясь корпусом и не отрывая глаз от пустынного моря, ослепительно блестевшего на солнце.

Ее сознание, всё поглощенное одной идеей, не воспринимало ничего больше, и я, сидевший с нею рядом,— не существовал для нее. И, полный уважения к ее сосредоточенности, чувствуя, что я готов завидовать ее жизни, полной одной только надежды,— я молчал, не мешая ей забывать обо мне. Море в этот день было спокойно, оно, как зеркало, отражало блеск неба и мне не обещало ничего. Я долго просидел рядом с Уми и ушел не замеченный ею, унося с собой много грусти. Вслед мне неслась песня и звонкий плеск ручья, над морем реяли чайки, целое стадо дельфинов резвилось недалеко от берега — даль моря была пустынна.

Никогда и ничего не дождется старая Уми, но будет жить и умрет с надеждой в сердце...

II

ДЕВОЧКА

Среди больных, гулявших в полдень по дорожкам парка, вдыхая целебный воздух моря, я увидал однажды девочку, поразившую меня огромными глазами, полными какой-то странной грусти — грусти, как бы молча спрашивавшей о чем-то.

Трудно было определить ее лета — темные вопрошающие глаза ее смотрели старчески серьезно, взгляд ее был взглядом человека, много страдавшего и думавшего. Но ее худое, костлявое тельце и маленькое личико не позволяли дать ей более десяти лет.

Розовая блузка висела на ее угловатых плечах, как на вешалке, и веселый цвет материи еще резче оттенял желтую кожу иссушенных болезнью щек и шеи. Девочка была немножко горбата и ходила, переваливаясь с ноги на ногу,— очевидно, у нее ноги были кривы. Но невыразимая и грустная прелесть глаз больного ребенка, привлекая и сосредоточивая на себе внимание, как бы сглаживала уродство тела, исковерканного болезнью, и девочка была красива одухотворенной красотой мученицы.

Было ясно видно, что бремя болезни, исковеркавшей ее хрупкие кости, она несла со дня своего рождения и что скоро уже смерть снимет с нее это бремя. Она кашляла зловещим, сухим кашлем, и, когда проходила близко от меня, я слышал — может быть, это казалось мне — ее учащенное дыхание. Среди роскошной растительности парка, в блеске южного солнца, она возбуждала странное и болезненное чувство — было жалко ее и как-то неловко пред ней, точно я сам косвенно был виноват в том, что она так несчастна. Бывало, она медленно идет по дорожке парка и смотрит пред собой своими дивными глазами — вокруг нее всё цветет и жадно дышит оживляющим воздухом весны, поют птицы, кипарисы кадят небу своим ароматом, журчат обильные водой ручьи, всюду прорезывая зеленые лужайки парка, море и небо любуются друг на друга, добродушно ворчат волны, точно сказки говорят; девочка как бы не видит богатых красок и не слышит музыки возрождения природы, она идет к старому кедру и там, в тени его могучих ветвей, садится на лавочку. Ее провожает всегда одно и то же лицо — высокий человек, щегольски одетый, с неподвижным лицом и с большим перстнем на указательном пальце правой руки, в которой он всегда держит толстую палку.

Когда девочка садится на скамью, он спрашивает ее:

— Устала?

Он говорит громко, и девочка, вздрагивая от его вопроса, кивком головы отвечает ему. Сидит она обыкновенно долго — час и более, но я никогда не видал, чтобы она разговаривала со своим провожатым. Глаза ее смотрят вперед и безмолвно спрашивают — кого?

о чем? Против нее пруд; среди пруда из воды торчит некрасивый пирамидальный камень, струя воды бьет высоко кверху из его вершины и с звонким шумом падает в пруд. Там, где эта струя, переламываясь, дробится на капли и они каскадом падают вниз,— лучи солнца окрашивают их во все цвета радуги, это очень красиво и похоже на град из разноцветных драгоценных камней. Но девочка никогда не смотрела на эту игру солнца — взгляд ее направлялся всегда куда-то дальше того, что было пред ним, точно она видела что-то сквозь предметы.

Это созерцание среди жизни, кипевшей вокруг больной, производило какое-то мистическое впечатление, близкое к ужасу.

«За что она страдает? Ради чего и кому нужно было, чтобы она родилась для такого существования?»

Такие вопросы родились при виде ее, и становилось холодно от этой жестокости, никому не нужной и тем более жестокой.

...Однажды, когда ее проводник — гувернер или отец? — ушел, оставив ее на лавочке под кедром,— я сел рядом с ней. Она посмотрела на меня и улыбнулась — печальной улыбкой, от которой у меня сжалось сердце. Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал о чем — и молчал, смущенный ее взглядом, чувствуя к ней что-то большее, чем уважение.

Вокруг нас раздавался веселый и мощный шум жизни, над нами птицы, у наших ног муравьи — всё торопилось жить, летало, пело, суетилось. Я смотрел на ребенка и думал: «Хорошо, если она не сознает глубокой оскорбительности контраста между нею и кедром, под которым она сидит, и муравьем, на которого она, не замечая его, бросила лепесток цветка!»

Она заговорила со мною первая.

— Вы тоже хвораете? — улыбаясь сказала она слабым голосом.

— Немножко,— отвечал я.

— Вам хорошо здесь?

— Да... А вам?

— Я не люблю, когда много солнца... и шум...

— Разве вам не нравится этот шум? Он же такой

красивый... Послушайте — соловьи и жаворонки, волны моря и ручьи, шелест листьев...

— Много очень... и громко. Если бы тише...

— Да, пожалуй, тише было бы лучше...

Она с убеждением кивнула головой и сказала еще:

— В Петербурге — вот где противно! А в деревне у нас тихо, тихо! Особенно ночью. Я очень любила ночью лежать и слушать. Слушаешь долго... долго, и ничего не слышно... точно и нет ничего на земле... и даже земли нет... Потом что-нибудь вдруг услышишь и вздрогнешь... Так очень хорошо...

Она закашлялась.

— Вам вредно говорить...

— Да,— просто сказала она, помолчала и тихонько, почти шёпотом, сказала: — Мне всё вредно...

Я встал и ушел от нее, боясь выдать пред ней скорбное волнение, охватившее меня.

С той поры, встречаясь, мы стали раскланиваться— она всегда кивала мне головкой и улыбалась, и с каждым днем в ее улыбке всё менее было жизни.

Однажды, когда я пришел в парк и искал ее, я увидал безучастного господина, который шел мне навстречу, держа девочку на руках.

Когда он поравнялся со мной, я, охваченный какой-то боязнью, тихо спросил его:

— Уснула?

Он озабоченно взглянул на меня и глухо ответил:

— Умерла...

ПРИМЕЧАНИЯ

В третий том настоящего издания вошли 27 произведений, написанных Горьким в период с осени 1896 г. до осени 1897 г. Из них «Коновалов», «Варенька Олесова», «Зазубрина», «В степи», «Ярмарка в Голтве», «Озорник», «Супруги Орловы», «Бывшие люди», «Мальва» включались, начиная с $ДЧ_1$, а «Болесь», начиная с $ДЧ_2$— во все авторизованные собрания сочинений писателя и в *ДБЗ*. Очерк «Ярмарка в Голтве» включался Горьким и в однотомник *Грж*. «Баллада о графине Эллен де Курси» после первой публикации включалась автором в сборник «Ералаш и другие рассказы» (Пгр., изд. «Парус», 1918) и во все последующие собрания сочинений.

Остальные произведения этого тома в собрания сочинений Горьким не включались. Все они были опубликованы при жизни автора. Вошли в Собрание сочинений в 30 томах. «Идиллия», «Вода и ее значение в природе и жизни человека», «Часы» после первой публикации редактировались Горьким и были перепечатаны в «Нижегородском сборнике» (СПб., изд. товарищества «Знание», 1905; изд. 2, 1906; изд. 3, 1906). Рассказ «Шабры» редактировался автором, но не перепечатывался им.

Основные принципы построения настоящего издания изложены в предисловии Института (т. I). Там же указаны условные сокращения основных источников, использованных при подготовке Полного собрания художественных произведений в 25 томах. Те же сокращенные обозначения применяются и в примечаниях. Отсутствие специальной оговорки о рукописях и машинописях означает, что либо они не сохранились, либо редакция ими не располагала.

Тексты третьего тома подготовили и примечания к ним составили: *И. И. Вайнберг* («Варенька Олесова», «Зазубрина», «Ярмарка в Голтве», «Красота», «Идиллия», «Поэт», «Часы», «Свободные дни»); *Л. А. Евстигнеева* («Коновалов», «Баллада о графине Эллен де Курси», «В степи», «Встреча», «Ванька Мазин», «Крымские эскизы»); *Ф. Н. Пицкель* («Мальва», «Как меня отбрили», «Вода и ее значение в природе и жизни человека», «Роман», «Немой», «Шабры», «Рождественские рассказы», «Наваждение»); *А. А. Тарасова* («Озорник», «Супруги Орловы»); *Е. А. Тенишева* («Бывшие люди»); *В. Ю. Троицкий* («Болесь»).

Тексты рассмотрены и утверждены специальной Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой.*

В редакционной работе, связанной с подготовкой тома к печати, принимал участие *Н. Н. Жегалов*, в библиографической проверке — *И. И. Соколова* и *М. М. Бондарюк.*

I

КОНОВАЛОВ

(Стр. 7)

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в журнале «Новое слово», 1897, кн. 6, март, стр. 1—41, с большими цензурными изъятиями. Перепечатывалось с тем же подзаголовком в $ДЧ_1$. В $ДЧ_2$ большинство цензурных изъятий восстановлено. Во всех последующих изданиях перепечатывалось без подзаголовка.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1) первоначальный текст рассказа из наборного экземпляра журнала «Новое слово», 1897, кн. 6, март, запрещенный цензурой (ХПГ-35-8-2); 2) текст $ДЧ_1$ с авторской правкой для $ДЧ_2$ (ХПГ-35-8-1); 3) текст $Зн_{10}$ с авторской правкой черными чернилами для $К$ (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту $К$ со следующими исправлениями:

Стр. 10, строка 6: «большими голубыми глазами» вместо «голубыми глазами, большими» (незаконченная правка).

Стр. 11, строка 30: «замесив» вместо «замесили» (незаконченная правка).

Стр. 19, строка 9: «смотреть на [этого гигантского] ребенка» вместо «смотреть на ребенка» (незаконченная правка).

Стр. 28, строка 15: «выплюпул их на пол» вместо «выплюнул на пол» (по $ДЧ_2$, $Зн_4$).

Стр. 30, строка 40: «это была правда» вместо «это было правда» (по $ПТ$, $ДЧ_{1-2}$).

Стр. 32, строка 4: «пред нами» вместо «пред ними» (по $ДЧ_2$ *арх.*).

Стр. 48, строка 41: «в облаках» вместо «в обломках» (по $ПТ$ и $ДЧ_1$).

Стр. 51, строка 39: «Заржали!» вместо «Задержали!» (по $ПТ$, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-3}$).

Рассказ написан в октябре-ноябре 1896 г. в Нижнем Новгороде. Об этом упоминается в очерке А. Е. Богдановича «Из жизни А. М. Пешкова». Рассказывая о встрече с писателем в первых числах ноября 1896 г., мемуарист свидетельствует: «На письменном столе лежали листы рукописи, густо исписанные мелким прямым почерком почти без помарок. Это был „Коновалов“, над которым работал Алексей Максимович по ночам, иногда до белого дня» (сб. «М. Горький на родине». Горький, 1937, стр. 44). Сам автор позднее датировал рассказ тоже 1896 годом (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 14).

«Коновалов» был закончен, видимо, в конце ноября: в начале декабря рукопись уже находилась в редакции петербургского журнала «Новое слово». 6 декабря 1896 г. член редколлегии журнала А. М. Скабичевский писал Горькому: «Ваша повесть привела всех читавших ее в редакции в восторг. Но, ради Христа, нельзя ли сделать ее хоть сколько-нибудь цензурною? Эпизод со Степькой Разиным и особенно сопоставление его с Пугачевым — в печати совершенно немыслимы. Не измыслите ли как-нибудь вытравить из повести этого страшного российского революционера? Ведь и без него в ней много замечательного, что читается с большим интересом и наслаждением» (Архив А. М. Горького, КГ-п-71-6-1).

Узнав о том, что Горький в ту пору был тяжело болен, Скабичевский сразу же послал ему второе письмо. 7 декабря он писал Горькому: «Не будете ли столь добры уполномочить редакцию сделать кое-какие сокращения в Вашей прекрасной повести? Могу Вас уверить, сокращения будут иметь один цензурный характер и не будут очень велики. Это значительно упростило бы дело, чем посылать Вам повесть обратно и утруждать Вас новою работою над ней» (там же, КГ-п-71-6-2). Горький ответил: «Буду весьма благодарен Вам, если Вы возьмете на себя труд исправления рукописи, и убежден, что Ваша опытная рука сделает ее лучше, чем она есть. Скажу по совести — я считал ее неудачной, сам хотел предложить Вам сделать некоторые исправления ‹. . .› Прошу относиться ко мне строже, мне нужно это ввиду того, что я самоучка, и еще раз спасибо Вам за внимание, горячее спасибо» (там же, ПГ-рл-39-25-1).

Приведенная переписка опровергает существующее мнение, будто Горький продолжал работу над рассказом и в начале декабря 1896 г. (см. *Г-30*, т. 28, стр. 451).

Отношение к рассказу «Коновалов» было у автора довольно критическим. В конце 1897 г. в автобиографии, написанной по просьбе С. А. Венгерова, он сообщил: «В марте текущего года в „Новом слове“ очерк „Коновалов“. До сей поры еще не написал ни одной вещи, которая бы меня удовлетворяла, а потому произведений моих не сохраняю — ergo: прислать не могу» (там же, т. 23, стр. 272).

Одобрив и приняв рассказ «Коновалов», редакция журнала «Новое слово» выслала автору аванс, что позволило Горькому уехать в Крым лечиться. По свидетельству Богдановича, аванс был получен вскоре после встречи нового, 1897 г. (сб. «М. Горький на родине...», стр. 58). Однако вопрос о публикации «Коновалова» долго оставался открытым, поскольку в редакции журнала произошел «переворот». В феврале 1897 г. журнал перешел из рук народников в руки «легальных марксистов»; издателем его стал М. Н. Семенов, за которым стояли В. А. Поссе, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский. Сообщая об этом Горькому, Скабичевский писал 22 февраля 1897 г.: «Я решительно не знаю, что делать с Вашей повестью, имея в виду, что Вы получили уже за нее аванс» (Архив А. М. Горького, КГ-п-71-6-3).

Горький вступил в переговоры с новой редакцией журнала, и 13 февраля 1897 г. Поссе отправил ему следующее письмо: «Ваш очерк „Коновалов“ печатается в мартовской книжке „Нового слова“. Новый издатель „Нового слова“ М. Н. Семенов надеется, что Вы будете постоянным сотрудником журнала» (там же, КГ-п-59-1-1). Это письмо решительно противоречит тому тенденциозному рассказу об отношении Горького к «Новому слову», который содержится в написанных три десятилетия спустя воспоминаниях Поссе (В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М.—Л., 1929, стр. 126). «Коновалов» по своему идейному замыслу вполне устраивал новую редакцию. Справедливо лишь утверждение Поссе, что Струве вначале протестовал против публикации рассказа. Подтверждением служит письмо Поссе Горькому, относящееся к январю 1899 г.: «Горького Струве находил вычурным и „Коновалова“ печатал только по наследству» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-32).

«Коновалов» пошел в набор без тех изъятий, которые, руководствуясь цензурными соображениями, хотел сделать Скабичевский. Но цензура задержала мартовский номер «Нового слова», обратив особое внимание на произведение Горького. 17 марта 1897 г. Поссе писал: «Многоуважаемый Алексей Максимович, мы попробовали пустить Вашего „Коновалова“ почти в том виде, как Вы его прислали, но поплатились. Мартовскую книжку конфисковали и жестоко изуродовали Ваше произведение. Теперь перепечатываем два листа; приходится на несколько дней опоздать 〈. . .〉 Одновременно посылаем Вам оттиск „Коновалова“ в неискаженном виде» (там же, КГ-п-59-1-3).

Исключительная придирчивость цензуры объясняется тем, что еще до выхода журнала Главное управление по делам печати было обеспокоено изменением его направления. Сохранился доклад цензора А. А. Елагина, где, в частности, говорится: «Очерк М. Горького „Коновалов“ знакомит нас с типом бродяги — босяка, пьяницы Коновалова, которого гонит с места на место по обширному нашему отечеству жажда свободы и дух недовольства собою и существующими порядками. Автор рассказа, интеллигентный человек, „ходит в народ“, когда культурная жизнь в городе начинает слишком сильно давить его своею условностью». Далее следует пересказ содержания «Коновалова». Заканчивая его, Елагин делает вывод: «Таков тип, к которому автор относится так тепло и симпатично. Тип этот, по-видимому, собирательный, выхваченный прямо из жизни, ясно определяет точку зрения автора. Кажется, не нужно особых комментариев и подчеркиваний для признания рассказа крайне тенденциозным и вредным» (Архив А. М. Горького, ЦД-1-2).

На основании этого доклада С.-Петербургский цензурный комитет постановил: «1) сделать распоряжение чрез инспекторский над типографиями надзор о приостановке выпуска книжки журнала в свет; 2) предложить редактору исключить неудобные места в рассказе „Коновалов“; 3) о докладе цензора 〈. . .〉 донести Главному управлению по делам печати» (там же).

Цензура исключила из «Коновалова» следующие 15 мест, что составило в целом более 9 страниц:

1) стр. 21, строки 3—14: «— То есть как? ∽ и нужно их поддержать»;

2) стр. 22, строки 2—10: «А в книге тебе их жалко... ∽ грустно поник головой»;

3) стр. 26—29, строки 32—9: «Хочешь про Стеньку Разина? ∽ с этого дня»;

4) стр. 29, строка 10—11: «Я еще несколько раз читал ему „Бунт Стеньки Разина“»;

5) стр. 29—30, строки 27—7: «Вот Тарас со Стенькой ∽ как казнили Степана...»;

6) стр. 31—32, строки 35—2: «Нужно такую жизнь строить ∽ что такое есть мы...»;

7) стр. 33, строки 14—27: «„Бунт Стеньки“ я читал ему ∽ несчастного, неудавшегося»;

8) стр. 40, строки 23—37: «он попросил меня ∽ не может понимать»;

9) стр. 48, строки 1—20: «Нужно родиться ∽ хороших, выносливых ног»;

10) стр. 50, строки 4—36: «Оно лежало, ослепляя глаза ∽ против своих владык»;

11) стр. 57—58, строки 33—4: «Люди везде есть ∽ Красоты всякой. Айда?»;

12) стр. 58—59, строки 40—17: «Но большие города ∽ слепотой их ума»;

13) стр. 59, строки 24—31: «А зачем родился ∽ Тошно. Почему мне тошно?»;

14) стр. 59: «Нам ни язык, ни рука ни в чем не помога...» (в последующих изданиях Горький не восстановил эту строку);

15) стр. 60, строка 12: «Хоть бы разгореться ярче!»

15 марта 1897 г. С.-Петербургский цензурный комитет обратился к старшему инспектору типографий «с покорнейшей просьбой о принятии надлежащих мер, чтобы означенные страницы были исключены из всех экземпляров данной книжки журнала, преданы уничтожению и чтобы по сделании указания редактору А. П. Попову с исправлением экземпляр журнала был вновь представлен Комитету на общем основании» (Архив А. М. Горького, ЦД-1-2).

17 марта 1897 г. С.-Петербургский цензурный комитет повторил свою просьбу. Наконец, 18 марта 1897 г., отправляя в Главное управление по делам печати вырезанные листы из «Коновалова», С.-Петербургский комитет доносил: «Особенное внимание цензуры обратил на себя очерк М. Горького „Коновалов“ по многим местам социалистического и резко возбудительного пошиба, так что Комитет вынужден был сделать распоряжение о приостановке выхода книги в свет и предложил редактору Попову устранить места» на 18 страницах (там же).

Главное управление по делам печати, утвердив решение С.-Петербургского цензурного комитета, распорядилось выпустить в свет мартовский номер «Нового слова».

В новой редакции журнала тон задавали так называемые легальные марксисты, но в его работе принимали участие не только представители этого течения. С апреля 1897 г. по ноябрь 1898 г. здесь печатались работы В. И. Ленина «К характеристике экономического романтизма» и Г. В. Плеханова «Судьбы русской критики», «О материалистическом понимании истории». Начальник Главного управления по делам печати М. П. Соловьев неоднократно доносил министру внутренних дел И. Н. Дурново о направлении журнала, обращая внимание на «задорный тон», «резкость выражений» («Красный архив», 1925, том 2, стр. 228). В связи с арестом ноябрьской книжки Соловьев писал, что «журнал „Новое слово" старается разрабатывать марксистское учение не только в абстрактной его форме, но зачастую и в чисто конкретной, на почве событий из русской жизни. Так, например, редакция 〈. . .〉 обращает исключительное внимание на все темные стороны рабочего вопроса 〈. . .〉 В статьях научного содержания последовательно проводится учение К. Маркса и Энгельса 〈. . .〉» (там же, стр. 256).

10 декабря 1898 г. состоялось совещание четырех министров: К. Победоносцева, И. Горемыкина, Н. Муравьева и гр. Делянова. Они вынесли решение о прекращении издания «Нового слова». Решение, подписанное обер-прокурором синода К. Победоносцевым, гласило: «В беллетристическом отделе первое место дается таким произведениям, в которых раскрывается борьба классов и бедственное состояние рабочего люда. С особою яркостью эта тема разработана в талантливых повестях Горького (псевдоним Пешкова) „Коновалов" и „Бывшие люди"» (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 8, ед. хр. 36).

Горький назвал цензурное вмешательство в текст «Коновалова» безжалостным «сдиранием шкуры» и высказал редакции «Нового слова» свое недовольство. Ему ответила член редакции А. М. Калмыкова. 5 сентября 1897 г. она писала: «То „сдирание шкуры", которое совершено было над „Коноваловым", конечно, было допущено лишь как *крайняя* мера. Без этой уступки цензура не разрешала выхода книги» (М. Горький. Собр. соч., т. 1. М.— Л., 1930, стр. 349).

Попытка Горького напечатать «Коновалова» отдельным изданием (вместе с рассказами «Мальва» и «На плотах») оказалась безуспешной. По представлению цензора М. С. Вержбицкого, считавшего, что изображенный Горьким тип «уже не временный бродяга, который по законам русским подлежит водворению на место жительства,— это уже человек идеи, который ищет только свободы», и обратившего внимание на «крайне поощрительное отношение автора к бродяжничеству и тенденциозную оценку этого явления», С.-Петербургский цензурный комитет 25 ноября 1898 г. вынес постановление: запретить отдельное издание рассказа (Архив А. М. Горького, ЦД-1-4).

В 1898 г. Горький включил «Коновалова» в $ДЧ_1$. Рассказ напечатан почти в том же виде, что и в мартовской книжке «Нового слова» (разночтения между этими текстами незначительны).

В 1899 г. автор подготовил рассказ для *ДЧ*$_2$. В этом издании Горькому удалось восстановить ряд изъятых цензурой мест по первоначальному оттиску из журнала «Новое слово» (ХПГ-35-8-1). Но восстановлено было не всё, хотя автор имел под рукой полный текст произведения (см. варианты). По свидетельству С. П. Дороватовского, в издании 1899 г. писатель «сам вел вторую корректуру и вел ее крайне внимательно», в результате чего в текст были внесены существенные изменения («Печать и революция», 1928, № 2, март, стр. 69—71).

В наборный экземпляр *ДЧ*$_2$ вписано несколько фраз и отдельных слов, восстановлена ранее вычеркнутая цензором фраза, определяющая идейный смысл рассказа: «Хоть бы разгореться ярче!»

К осени 1899 г. *ДЧ*$_2$ было отпечатано. Оно сразу же обратило на себя внимание цензуры из-за «Коновалова». В Архиве А. М. Горького хранится цензурное дело «По отпечатанному без предварительной цензуры в типографии „Народная польза“ изданию: М. Горький „Очерки и рассказы“ (т. I, II, III), 1899». После длительных переговоров с Главным управлением по делам печати, 9 октября С.-Петербургский комитет снял запрет с «Очерков и рассказов» (Архив А. М. Горького, ЦД-1-7).

Значительной правке автор подверг рассказ для *Зн*$_4$, сделав в тексте ряд сокращений. В частности, после слов: «разнообразным рисунком» (стр. 31, строка 2) — изъято: «„Стеклянные люди“ по-своему любили нас и почти всегда были моими внимательными слушателями. Раз я читал им „Кому на Руси жить хорошо“, и, наряду с гомерическим хохотом, я слыхал от них много очень ценных суждений на эту тему. Каждый человек, боровшийся с жизнью, побежденный ею и страдающий в безжалостном плену ее грязи, более философ, чем сам Шопенгауэр, потому что отвлеченная мысль никогда не выльется в такую точную и образную форму, в какую выльется мысль, непосредственно выдавленная из человека страданием». Это сокращение, видимо, связано с критикой Н. К. Михайловского, содержащейся в статьях «О Максиме Горьком и его героях», «Еще о г. Максиме Горьком и его героях». Заметив, что Горький выбросил рассуждение о босяках, понимающих больше Шопенгауэра в сложностях жизни, Михайловский писал: «Подобные выкидки свидетельствуют, мне кажется, о совершающемся в г. Горьком переломе» («Русское богатство», 1903, № 4, разд. II, стр. 79).

В июне 1905 г. Горький представил листы из книги «Рассказы» (т. I, «Знание», изд. 6. СПб., 1903) в цензуру, так как думал выпустить «Коновалова» в дешевом издании для народа. Разрешения не последовало. Более того, цензор Н. Энгельгардт, учитывая особые требования, предъявленные к печати в связи с оживлением революционного движения масс, сделал очень большое количество изъятий. Запрещению подверглись даже те места, которые ранее не вызывали нареканий цензуры, а именно:

С т р. 23, строки 14—29: «Я начал говорить ∽ Тебя обидели...»

С т р. 24, строки 2—5: «И насчет арестантов... ∽ Слабый ты, видно, сердцем-то».

С т р. 25, строки 21—31: «С внешней стороны ∽ темная сила прет».

С т р. 41, строки 28—29: «Нет ли книги какой — как жить?»

С т р. 45, строки 14—15: «Братцы, не книга это, а кровь и слезы...»

С т р. 46, строки 22—29: «Максим здесь ∽ то-ошно-о!»

С т р. 51, строки 8—9: «В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастием губерний».

С т р. 53—54, строки 36—5: «Солдат-то земляком оказался ∽ Яшка Мазин».

С т р. 58, строка 32: «Нет, вот она жизнь, вот, как мы...»

С т р. 60, строка 12: «Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!»

Любопытно, что среди этих изъятий есть строки, повествующие о сочувственном отношении солдата к гонимому босяку: был вычеркнут весь рассказ Коновалова о «хорошем солдатике» Яшке Мазине (стр. 54). В обстановке надвигающейся революции 1905 г. всё это показалось цензору опасным.

В докладе Энгельгардта на заседании С.-Петербургского цензурного комитета 10 августа 1905 г. говорится: «Брошюра М. Горького „Коновалов“, изданная для народа, запрещенная СПб. цензурным комитетом в заседании 4 сентября 1898 г. на основании циркулярного определения Главного управления по делам печати от 8-го мая 1895 года за № 2799 и статьи 113 Устава о цензуре, по мнению цензора и комитета, подлежит и ныне запрещению.

Определено: вышеназванную брошюру к напечатанию не разрешать по тем же основаниям» (Архив А. М. Горького, ЦД-4-11).

Последний раз к работе над «Коноваловым» автор вернулся при подготовке его для *К.* Правка, очень значительная, прежде всего касается образа Коновалова, в обрисовке которого устраняются элементы романтизации. Его портрет становится проще, жизненнее. Горький также меняет характеристики других действующих лиц рассказа и часто касается тех мест, которые подверглись цензурным сокращениям. Более мелкие изменения в тексте «Коновалова» связаны с тем, что Горький последовательно устраняет повторы, облегчает громоздкие грамматические конструкции и т. п. (см. варианты).

Рассказ «Коновалов» автобиографичен. События, описанные в нем, происходили в Казани и Феодосии. Горький жил в Казани в 1884—1888 годах. Впоследствии он писал:

«После 15 лет возымел я свирепое желание учиться, с какою целью поехал в Казань, предполагая, что науки желающим даром преподаются. Оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение, по 3 рубля в месяц. Это — самая тяжкая работа из всех, опробованных мною.

В Казани близко сошелся и долго жил с „бывшими людьми“: зри „Коновалов“ и „Бывшие люди“» (*Г-30*, т. 23, стр. 438).

Хлебопекарня, описанная в «Коновалове»,— это заведение В. С. Семенова, увековеченное Горьким в рассказах «Хозяин», «Двадцать шесть и одна» и повести «Мои университеты». Будущий писатель нанялся к Семенову подручным пекаря в ноябре 1885 г. и вскоре познакомился здесь с Александром Коноваловым. Пекарня Семенова находилась на Рыбнорядской площади (ныне площадь Куйбышева), на месте дома № 17, в сыром и глубоком полуподвале. Рабочий день длился более 17 часов. Невыносимые условия труда привели в 1886 г. к забастовке рабочих.

Рабочих в пекарне было много, хотя в рассказе Горького фигурируют только двое: Коновалов и его подручный Максимыч. Реальны и другие действующие лица рассказа, например, «стеклянные люди». Весной 1886 г. юный Горький и пекарь Коновалов часто посещали старый стекольный завод за городом, где поселились «бывшие люди». В 1886 г. здесь жило около 20 человек: Васька Грачик — бывший губернаторский лакей, Давыдов — бывший ветеринар, Родзиевич — бывший машинист, Радлов — бывший студент и др. Горький рассказал о них в статье «О том, как я учился писать» (см. там же, т. 24, стр. 496).

Когда Алексей Пешков поступил работать к Семенову, он уже был постоянным читателем библиотеки А. С. Деренкова, собиравшего коллекцию редких и запрещенных книг. Этой нелегальной библиотекой пользовалась главным образом учащаяся молодежь Казани. Вспоминая свою молодость, Деренков рассказывал: «Алексей Максимович проработал у Семенова около полугода. Работая у Семенова, он приходил ко мне, брал книги для чтения рабочим и для себя. Книги Решетникова и Костомарова, о которых Алексей Максимович говорит в рассказе „Коновалов“, были из моей библиотеки» (*ВС*, стр. 81). В «Моих университетах» Горький так передает свои беседы с пекарями Семенова: «Чёрт знает что я говорил этим людям, но, разумеется, всё, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне, и, видя, как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом,— я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что „работаю в народе“, „просвещаю“ его» (*Г-30*, т. 13, стр. 540).

Вторая встреча Горького с Коноваловым произошла в Феодосии в конце августа — начале сентября 1891 г. Много лет спустя, побывав на строительстве Днепрогэса, писатель вспомнил, как во время юношеских странствий видел строительство Феодосийского мола. «Тогда,— писал Горький,— в порту Феодосии били сваи „вручную“, с копра» (там же, т. 17, стр. 186. Ср. воспоминания И. Бойко и М. Богатырченко.— „Курортные известия“, 1937, № 15, 18 июня).

Фабула рассказа тоже реальна. Горький действительно прочитал в газете сообщение о самоубийстве «муромского мещанина» Коновалова и решил, что это его знакомый. Однако в газете

говорилось о другом человеке — однофамильце горьковского героя. В январе 1926 г. Горький сообщил ученикам 2-го класса 52-й школы Ленинграда:

«Дорогие мои товарищи,— в Муроме повесился не тот Коновалов, о котором я писал, а, как оказалось, однофамилец его; меня ввела в заблуждение газетная заметка и тот факт, что мой друг, А. В. Коновалов, был уроженец Мурома.

Друг же мой умер в 1902 г.,— спустя шесть лет после того, как я напечатал рассказ. Умер он в Одессе, в больнице. Врач, лечивший его, сказал ему однажды, что есть рассказ о пекаре Коновалове, и кратко передал содержание рассказа. Коновалова это очень взволновало, он тотчас решил, что рассказ написан мною — Лешей Грохало; это было мое прозвище в ту пору. Он попросил д-ра Лундберга написать мне о том, что он, Коновалов, еще жив, но — умирает.

Доктор и написал мне о нем.

Таким образом, ваш вопрос о самоубийстве Коновалова отпадает» (там же, т. 29, стр. 456; см. также *Архив Г* XI, стр. 66).

Суть характера Коновалова Горький отчетливо сформулировал в письме к В. В. Зеленину и Л. К. Маклашину — двум подросткам из Сормова, которые в 1930 г. прислали Горькому свой рассказ и сообщили, что хотели бы быть похожими на Коновалова. Горький ответил:

«Вы, ребята, пишете мне: „Хотим быть такими же, как Ваш Коновалов, т. е. людями, вечно ищущими счастья и не находящими себе постоянного места на земле“. Написали вы это потому, что вам „обоим по 17 лет“ и у вас еще не было времени серьезно подумать о человеке и его месте на земле». Далее Горький поясняет: «...вам, людям 30-х годов XX-го века, нет никакого смысла подражать в чем-либо Александру Коновалову, человеку второй половины XIX века, человеку, не плохому „по натуре“, но „несчастному“, жалкому, больному алкоголизмом. По болезни своей он и не искал в жизни прочного или удобного места, чувствуя, что личная его жизнь не удалась, да уже и никогда не удастся ему. Был он человек по характеру своему пассивный, был одним из множества людей того времени, которые, не находя себе места в своей среде, становились бродягами, странниками по „святым местам“ или по кабакам. Если б он дожил до 905 года, он одинаково легко мог бы стать и „черносотенцем“ и революционером, но в обоих случаях — ненадолго. Вот каков герой, которому вы хотите подражать.

Единственное ценное его качество вы не заметили. Качество это — любовь к работе. Работать он действительно любил, работал честно, чистоплотно, в тесто не плевал, как это делали многие другие пекаря, обозленные тяжкой работой по 14—16 часов в сутки. Любовь к работе, честное отношение к ней — это качество социально высокоценное, и вот в этом вам следует подражать Коновалову. Тем более следует, что теперь у нас рабочие — единственные законные хозяева своей страны, и какое бы дело ни делал каждый из них — он работает на себя и только для себя, для своего государства» (*Г-30*, т. 30, стр. 156—157).

Другое высказывание о характере Коновалова содержится в статье «О пьесах». Горький трактует его расширительно, как социальный тип из мира «бывших людей», относя к этому типу «не только странников, обитателей ночлежек и вообще „люмпенпролетариат“, но и некоторую часть интеллигентов — „размагниченных“, разочарованных, оскорбленных и униженных неудачами в жизни 〈. . .〉» (там же, т. 26, стр. 423).

Сразу же после появления в печати «Коновалов» вызвал оживленные споры в критике. Первые отзывы появились в «Сыне отечества», «Образовании» и «Русской мысли».

Скабичевский дал анализ «Коновалова» в статье с характерным заглавием «Типы строптивых людей среди народа». Он писал: «Перед нами один из тех бродяг — босяков, бессемейных и бездомных бобылей, которых много шатается по матушке России из одного конца в другой» («Сын отечества», 1897, № 227, 22 августа). В другой статье, сравнивая Коновалова с наборщиком Гвоздевым из рассказа «Озорник» и с Орловым («Супруги Орловы»), Скабичевский заметил, что Горький одержим какой-то навязчивой идеей, так как всё время возвращается к одному и тому же типу «строптивых» людей. По мнению критика, автор «несколько утрирует их якобы сознательное отношение к особенностям своих натур, влагает в их уста свои собственные суждения о них и делает из них каких-то самоанализирующих философов в романтическом духе, забывая совершенно, что он имеет дело с людьми, которые по самой своей природе, не говоря уже о низкой степени умственного развития, способны более действовать, порою вполне дико, безумно, безобразно, чем анализировать и обсуждать как свои поступки, так и общие свойства своих характеров» («Сын отечества», 1897, № 303, 7 ноября).

Скабичевский недоумевал: откуда берутся в обществе люди, подобные Коновалову? На этот вопрос попытался ответить либерально-буржуазный журнал «Русская мысль». В анонимной рецензии герои Горького сопоставлялись с пьяницами Г. И. Успенского; утверждалось, что «те были продуктом разложения старого крепостного строя; эти — продукты зарождающегося нового общественного строя. Те были голодные мелкие ремесленники и фабричные; эти — как продукт разложения деревни, безработные люди, раклы, коты, босяки, вообще те самые обескураженные, которые, утратив всякое место в социальной организации, вытесненные из этой организации за ее пределы процессом дифференцирования, каждодневно занимаются воровством и грабежами или печально умирают от голода и холода. Те занимали довольно определенное место в природе, а эти, хотя тоже как будто занимают место в природе и даже в силу условий самого совершающегося процесса, породившего их, занимают место огромное, но какое именно — этого определить прямо-таки невозможно. Можно даже сказать,— и автор 〈. . .〉 склонен сказать это,— что они обречены на вымирание 〈. . .〉» («Русская мысль», 1897, № 9, стр. 427). Горькому делал-

ся упрек в пессимизме: «...пессимизм его не книжный, не философский, а прямо жизненный, пессимизм отчаяния, пессимизм людей обескураженных, которым в природе, в пределах существующей общественной организации нет места...» (там же, стр. 428). «Трудно представить себе что-либо более безотрадное, как такое самоуничтожение Коновалова, этого философа русского босячества. И именно русского — это мы подчеркиваем. Никакой другой босяк в мире, ни английский, ни французский, не может дойти до такого самоотрицания и самоуничтожения именно потому, что для него всё же есть выход, какой-никакой, в общественной активности. Для Коновалова такого выхода нет. Он и сам — существо пассивное по преимуществу, да и выславшее его за свои пределы общество тоже пассивно. Потому-то у него и нет выхода в светлое царство мечты, идеала» (там же, стр. 429).

Развивая эту мысль, И. Н. Игнатов сравнивал Коновалова с героями драм французского писателя Ж. Ришпена, певца благородных разбойников. В драме Ришпена «Le chemineau» («Бродяга») действует «рыцарь свободы», психология и облик которого имеют некоторое сходство с босяками Горького. «Но этим не оканчивается сходство,— замечает Игнатов.— Веселое, бодрое и бодрящее других настроение французского бродяги заменяется здесь постоянным беспокойством, затаенной тоской, скрытой злобой, находящей исход в пьянстве» («Русские ведомости», 1898, № 170, 22 августа). Продолжая сравнение, Игнатов писал: «...силой, влекущей chemineau, было стремление к простору, воле и отсутствие обязательств; для Коновалова причина передвижений, пьянства и неудовлетворенности заключается в невозможности разрешить мучающие его нравственные вопросы 〈. . .〉 Постоянное нравственное беспокойство, вечная мысль о необходимости „устроить на земле порядок и в ясность людей привести“ гонит его с одного места на другое...» По мнению критика, Горький дал неверное освещение событий, сделав жизнь босяков отражением их философии (там же).

«Мировая скорбь» Коновалова показалась фальшивой и надуманной Н. К. Михайловскому. Цитируя высказывание Горького о том, что босяки иногда не менее Шопенгауэра смыслят в философии страдания, Михайловский замечал: «Г-н Горький рассказывает про своих героев ужасную, истинно душу потрясающую правду, не скрывая ни одной из черт их многоразличной „порочности“, но вышеприведенное убеждение в их превосходстве над Шопенгауэром заставляет его влагать в их головы маловероятные мысли, а в их уста — маловероятные речи. Язык его босяков до крайности не характерен, напоминая собою превосходный язык самого автора, только намеренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мере отчасти, об их философии» («Русское богатство», 1898, № 9, стр. 67).

Интересно, что в оценке Коновалова народническая критика нередко смыкалась не только с либерально-буржуазной, но и с охранительно-реакционной. Вслед за Михайловским в сознательном искажении жизненной правды Горького упрекали респек-

табельно-буржуазные «Русские ведомости» и солидный умеренно-либеральный «Вестник Европы», и не скрывавшие своего консерватизма «Московские ведомости». А. Басаргин (А. И. Введенский) анализировал рассказ «Коновалов» в статье с характерным заглавием «Тоскующий талант». Он сравнил Коновалова с героями горьковских рассказов «Тоска» и «Супруги Орловы». «Тип Коновалова, очевидно, задуман шире и глубже, чем тип Тихона Павловича и Гришки Орлова. У Тихона Павловича тоска временная, налетная: тронули — он поднялся из грязи, увидел, что в грязи запачкан, и закручинился, затосковал, а потом опять шлепнулся в грязь, и тоска прошла. Гришка тоскует както как бы одною стороной своего существа: его тоска есть жажда отлички, простора для размаха сил 〈. . .〉 Коновалов же тоскует, так сказать, всем существом. Его тоска нечто вроде того, что называют мировою скорбью: жизнь должна иметь смысл и цель, а вот он, Коновалов, никак ее найти не может и вовсе к отысканию ее непригоден» («Московские ведомости». 1898, № 279, 10 октября).

Вульгаризируя идейный смысл рассказа, реакционер Н. Я. Стечькин писал, что Коновалов — это «заболтавшийся забулдыга, который первый находит, что против него необходимо принять строгие меры и особые законы...» (Н. Я. Стечькин. Максим Горький. Его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского общества. СПб., 1904, стр. 23).

Подобная мысль выражена в статье Е. А. Ляцкого «Максим Горький и его рассказы». О героях Горького здесь сказано: «Это народ особый, отверженный или, точнее, сам себя отвергнувший от своих собратьев, хищный, озлобленный бессмысленной злобой голодного волка, по-волчьи рассуждающий и думающий 〈. . .〉 это сила тоскующая, неудовлетворенная, темная, словом, безрадостная и холодная. Типичный представитель такой силы — Коновалов...» («Вестник Европы», 1901, № 11, стр. 292—293).

В статье М. А. Протопопова «Пропадающие силы» доказывалось, что «теоретические воззрения г. Горького, очевидно, находятся в весьма плачевном состоянии» («Русская мысль», 1899, № 6, стр. 194). По уверению Протопопова, герои Горького исповедуют принципы «всё дозволено» и «нет законов иных, разве во мне» (там же, 1900, № 3, стр. 38, 39).

М. О. Меньшиков в статье «Вожди народные» причислил Коновалова к «отбросам общества», способным лишь на гниение. «Коноваловы — вовсе не сила, и сами сознают это,— писал он.— Те, кто почестнее из босяков, понимают это, и, может быть, это сознание полного банкротства — самая трагическая черта этих людей» («Книжки „Недели“», 1900, № 10, стр. 233).

Пытаясь выяснить причину «озверения» Коновалова, критик Н. М. Боголюбов во всем винил не социальную среду, а «чисто психологический фактор» — пьянство и относил Коновалова к типу «неспособных к труду людей и в то же время занимающихся исканием смысла жизни и самобичеванием 〈. . .〉» (Н. Б о г о-

л ю б о в. Герои М. Горького и их мировоззрение. Харьков, 1906, стр. 11). По мнению Боголюбова, Коновалов — комедиант, нуждающийся в том, чтобы его решительно «поставили на место». «Ему требуется такой порядок жизни, который бы давал ему место или оправдывал его именно как беспорядок, его как босяка, пьяницу и тронутого человека» (там же, стр. 11—12).

Еще более резок в критике Коновалова Павел Руфимский. Называя себя врачом, охраняющим общество от разрушительных «нравственных микробов», Руфимский именует горьковского героя зловредной общественной язвой; в уста Коновалова, говорит он, автор вкладывает «„откровение разрушения“, к его рукам протягивает факел анархии, уничтожения всего, чем жили, во что верили, чему служили, для чего работали ряды поколений» (П. Руфимский. Основные мотивы творчества Максима Горького. Казань, 1908, стр. 17). Руфимский уверяет читателей: «Это — люди, может быть, разнузданного, но потому-то и привлекательного „культа“ свободы 〈. . .〉 в лице их новый класс, новое сословие — пролетариат 〈. . .〉 заявляет о своей стихийной жажде к освобождению от старого; они полны ненависти к старому строю, к прежнему обществу и государству, и они достаточно сильны, чтобы разрушить это старое» (там же, стр. 19).

Критики, стоявшие на позициях демократизма, увидели в Коновалове не бродягу-золоторотца, а страстного искателя правды и справедливости. В. Е. Чешихин-Ветринский нашел в нем нечто родственное тургеневским «лишним людям», заметив, что Коновалов это «„лишний человек“ в гибнущей массе золоторотцев» («Образование», 1897, № 7-8, стр. 320). Этот же критик считал Коновалова синтетическим характером: «...добрая доля Коноваловых, одного из которых показал нам автор, найдется и в деревне» (там же, стр. 321). А. И. Богданович называл героев Горького «беспокойными душами», находя, что они родственны мятущейся душе самого автора. Рассматривая галерею горьковских образов, он писал: «Ни Гвоздев, ни Коновалов, ни Орлов не могут удовлетвориться теоретическим ответом, „точка зрения“, веская и значительная для человека идея, не имеет смысла в глазах их, людей жизни. Это и делает их искание таким страстным, беспокойным, жутким, а самое положение трагическим. Жизнь не дает ответа на эти запросы, а выносить эту жизнь они не могут. И они уходят в босую команду, унося туда свое озлобление и жгучую боль неудовлетворенных желаний и неразрешимых дум» («Мир божий», 1898, № 7, отд. II, стр. 8).

С Богдановичем солидаризировались А. О. Недолин (Благоразумов) и Поссе. «Коновалов пьет не для того, чтобы получить какое-либо удовольствие от этого состояния опьянения, а лишь для того, чтобы оглушить себя, придавить те думы, что терзают его и кипят, и не находят исхода» (Ал. О. Недолин. Психология босячества. По сочинениям М. Горького. Одесса, 1900, стр. 22). В статье «Певец протестующей тоски» Поссе писал: «Коноваловы гибнут, не совершив ничего, но их тоска имеет свое значение — в ней первый проблеск протеста против царства

мертвящей скуки, прикрытой или не прикрытой гоголевским весельем» («Образование», 1898, № 11, стр. 53).

Мнение Поссе разделял В. Ф. Боцяновский: «Герои г. Горького хотя и считают себя „лишними людьми“,— писал он,— однако никогда не смиряются. Беспокойство духа, присущее всем им, не позволяет мириться с пошлой обстановкой или принимать в ней участие без всякого протеста. В то же время сильная вера в себя, в свои силы мешает им взвалить всю вину за свои мучения на окружающее их общество, на пресловутую „среду“» («Вестник всемирной истории», 1900, № 7, стр. 172).

Многие критики считали образ Коновалова подлинно национальным, выражающим характерные черты русского простолюдина. Эту точку зрения наиболее красноречиво выразил Е. А. Соловьев-Андреевич. В статье «Вольница» он заметил, что под пером Горького «пьяница Коновалов преображается в какого-то героя шекспировской драмы, рассуждающего с своими придворными 〈. . .〉 о смысле жизни и назначении человека» («Жизнь», 1900, № 4, стр. 317). Поясняя свою мысль, критик писал, что образы босяков у Горького символичны: в них «мы еще раз можем проследить брожение человеческого духа, его мятежное восстание против условностей и искусственности человеческого существования, его обессиленный неверием порыв к той жизни, которая давала бы ему полноту удовлетворения, его борьбу с мещанскою пошлостью, несмотря на все соблазны, искусно выставляемые ею на пути искания смысла бытия» («Жизнь», 1900, № 8, стр. 228). Соловьев-Андреевич заключал: «Босяк — не выход, не идеал и, в сущности говоря, ровно ничего привлекательного в нем нет. И если Горький так приподнимает его, то лишь потому, что видит в нем мятежный и непримиримый дух человека» (там же, стр. 246).

Споры о рассказе «Коновалов» с новой силой разгорелись в 1903 г., после первой постановки пьесы «На дне».

Михайловский сказал журналистам: «У Луки масса сходных черт с Коноваловым. Помните идею: нужен обман, нужно отворачиваться от отрицательных сторон нашего общественного быта, необходимо верить в жизнь и жить этой верой. Это проведено Горьким в Коновалове и повторяется им в Луке» («Волгарь», 1903, № 103, 18 апреля).

Соловьев-Андреевич, вновь обратившись к образу Коновалова, писал: «Ехать в Казань и искать Коноваловых, ехать в Астрахань, чтобы повидать Мальву и Серегу, в Одессу, чтобы поговорить с Челкашом, смешно. Таких босяков мы никогда не найдем, но не в этом и дело. Дело в основном мотиве, в стихийной жажде освобождения целого нового сословия и порыва к нему. Эту жажду и этот порыв Горький воплотил в своих босяках 〈. . .〉 их сила в пробуждении нового класса, его еще неясных грезах, смутных надеждах, не определившихся новых нравственных ценностях, которые он несет в себе и с собой» (Е. А. Андреевич. Опыт философии русской литературы. СПб., 1905, стр. 518—519).

В. В. Стасов назвал «Коновалова» в числе лучших творений

Горького. Касаясь «философских» раздумий Коновалова и других героев Горького, он воскликнул: «...разве всё это не вечно живая, трепещущая, бьющаяся мысль о всем нынешнем, существующем, являющаяся в формах великого, страстного, поэтического таланта? Это ли еще не вечная мечта о счастье и несравненной великой будущности человечества?» («Новости и биржевая газета», 1904, № 272, 2 октября).

Критик А. А. Дивильковский увидел в рассказе «Коновалов» «случай *столкновения* новой идеи с заповедями альтруизма», ибо, по его словам, «направление коноваловской „тоски" всё же заключает в себе альтруистическое зерно» («Правда». М., 1905, февраль, стр. 130—131).

В. В. Воровский в написанной в 1902 г. статье «О М. Горьком» развенчал как народнические, так и либерально-буржуазные концепции раннего творчества писателя. В частности, резко полемизируя с Ляцким, он писал: «Коновалов еще тесно связан с обществом; он живет, поскольку может, ремеслом, он не оторвался еще от среды, породившей его 〈. . .〉 Он уже чувствует 〈. . .〉 что „жизнь — яма", но, решая по-своему общественный вопрос, он исходит не из отрицания общества, а, напротив, из чисто социальной точки зрения. „Нужно такую жизнь, чтобы в ней всем было просторно и никто никому не мешал",— заявляет он. Или: „Кто должен строить жизнь?" — спрашивает он и, не запинаясь, решает: „Мы! сами мы!"» (*Воровский*, стр. 60). По мнению Воровского, Горький обнаружил в своем герое за грубой оболочкой «такие жемчужины нравственных качеств, к которым тщетно апеллируют современные писатели и мыслители» (там же, стр. 66).

А. В. Луначарский оценивал Коновалова как «чудесный, привлекательный тип, который нашел свое законченное выражение 〈. . .〉 Эти Коноваловы — чудесные люди в смысле чуткости и даже мечтаний, но лишенные какой бы то ни было силы, люди, в которых босячество и пьянство порождалось отсутствием возможности претворения мечты в дело 〈. . .〉 Такие люди оказываются Гамлетами, нытиками, совершенно негодными неврастеническими интеллигентами» (*Луначарский*, т. 2, стр. 65).

Рассказ «Коновалов» — одно из самых популярных произведений Горького. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы читателей. Уже в 1903 г. появилась статья Е. Соловьевой «М. Горький в суждениях народа», в которой были собраны отзывы рабочих, крестьян и мастеровых о «Коновалове» (см. «Образование», 1903, № 9, стр. 93—100).

В Архиве А. М. Горького хранятся письма, свидетельствующие об интересе к рассказу «Коновалов» не только рядовых читателей, но и писателей, общественных деятелей (письма П. Х. Максимова от 30 октября 1910 г. КГ-п-49-2-1, Отто Исаковца от 22 мая 1913 г. КГ-ин-2-85-1 и др.). 22 июля 1897 г. Поссе писал Горькому: «У меня душевная чахотка 〈. . .〉 в ближайшем будущем намерен освободиться по примеру Вашего Коновалова, с которым у меня большое родство, несмотря на то,

что тот не умел читать, а я два факультета прошел...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-9).

Интересно свидетельство Ю. Мартова (Ю. О. Цедербаума). В конце 1896 г. он сидел в тюрьме по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» вместе с В. И. Лениным, Г. М. Кржижановским, В. О. Старковым, А. А. Ванеевым. После приговора часть заключенных была отправлена из Петербурга в Москву для пересылки в Сибирь. «Это путешествие из Петербурга в Москву,— писал Мартов,— мне памятно тем, что я впервые услышал имя Максима Горького и познакомился с ним как с писателем. В захваченной нами свежей книжке „Нового слова“ мы прочли повесть „Коновалов“,— прочли с восторгом и захватывающим интересом. Имя автора нам ничего не говорило, хотя кое-кто и читал, быть может, тот или иной из прежних его рассказов, и никто из нас не знал его биографии. Но сама по себе повесть свидетельствовала о нарождении крупной художественной силы, а новая струя, бившая в этом произведении, говорила нам о том, что автору, наверное, предстоит сыграть какую-то особую роль в новой полосе общественного развития, в которую мы явно вступали» (Ю. М а р т о в. Записки социал-демократа. М., 1924, стр. 319).

В 1903 г. Горький одобрил иллюстрации к «Коновалову», принадлежащие И. С. Куликову, ученику Репина. Познакомившись с Горьким, он показал ему свои рисунки к рассказам «Коновалов», «Двадцать шесть и одна». «Прекрасное исполнение рисунков, а главное, тонкое понимание психологии персонажей рассказов очень понравились Горькому,— пишет В. А. Фильберт.— В знак глубокой признательности Алексей Максимович подарил Куликову сборник своих рассказов с лаконической надписью: „*И. С. Куликову М. Горький — на память*“» (В. Ф и л ь б е р т. Академик живописи И. С. Куликов. Владимир, 1955, стр. 11).

С т р. 15. *Герасим* — герой рассказа И. С. Тургенева «Муму».

С т р. 20. *...грустную историю Сысойки и Пилы.* — Имеется в виду повесть Ф. Решетникова (1841—1871) «Подлиповцы».

С т р. 26. *Н. И. Костомаров* (1817—1885) — историк, автор книги «Бунт Стеньки Разина».

С т р. 29. «*Бедные люди*». — первая повесть Ф. М. Достоевского. Макар Девушкин — герой повести.

С т р. 29. *Усолье* — город на Урале, в верховьях реки Камы (переименован в Березники).

С т р. 30. «*Стеклянные люди*».— Старый стекольный завод под Казанью, принадлежал купцу-староверу В. Савинову. Позднее там была сектантская молельная, закрытая по распоряжению правительства в 1850-х гг. После этого завод служил пристанищем для бесприютных. При советской власти здесь создан огородно-животноводческий совхоз № 1 Казанской железной дороги (Н. К а л и н и н. Горький в Казани в 1884—1888 гг. Казань, 1940, стр. 42).

С т р. 33. *Воевода Прозоровский* — был тяжело ранен при взятии Астрахани Степаном Разиным. По приказу Разина сброшен с башни.

С т р. 44. *Гофман* Эрнест Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель.

С т р. 44. *Джонс Фальстаф* — персонаж шекспировских пьес «Генрих IV», «Виндзорские проказницы».

С т р. 48. *...попал в Феодосию.* — В 1890 г. Севастополь вновь стал главной базой Черноморского флота, и коммерческий порт в нем был закрыт. В связи с этим началось строительство большой гавани в Феодосии. Горький пришел туда в поисках работы в конце августа — начале сентября 1891 г.

С т р. 50. *Гулливер* — герой известного романа Свифта «Путешествие Гулливера» (1726 г.).

С т р. 50. *Ксеркс* — персидский царь (486—465 гг. до н. э.), предпринявший поход для завоевания Греции. Был разбит в морском сражении.

С т р. 51. *...анатолийские турки* — Анатолия — старое название полуострова Малой Азии, на котором расположена Турция.

С т р. 54. *...книгу насчет англичанина-матроса...* — Имеется в виду Робинзон — герой романа Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719).

ВАРЕНЬКА ОЛЕСОВА

(Стр. 61)

Впервые, с подзаголовком «Рассказ», напечатано в журнале «Северный вестник», 1898, №№ 3, стр. 109—138, 4, стр. 1—35, и 5, стр. 1—22.

В Архиве А. М. Горького хранится текст $Зн_{10}$ со значительной авторской правкой для *К*.

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 85, строки 36—37: «приедет к вам» вместо «приедет к нам» (по *ПТ*, $ДЧ_2$, $Зн_{1-3}$).

Стр. 91, строка 36: «смотрел на нее» вместо «посмотрел на нее» (по *ПТ*, $Гр_{1-2}$).

Стр. 108, строка 14: «объяснял себе свою лень» вместо «объяснял свою лень» (по *ПТ*, $ДЧ_2$, $Зн_{1-10}$, *Пр* $Зн_{10}$).

Стр. 137, строки 36—37: «я не нравлюсь ей внешне...» вместо «я не нравлюсь ей с внешней...» (по *Пр* $Зн_{10}$, $Гр_{1-2}$).

Стр. 150, строка 2: «выкупаться в реке» вместо «выкупаться к реке» (по *ПТ*, $ДЧ_2$, $Зн_{1-9}$, $Гр_{1-2}$).

Стр. 152, строка 27: «и, полный...» вместо «полный...» (по *ПТ*, $ДЧ_2$, $Зн_{1-10}$, $Гр_{1-2}$).

В изданиях «Знания» рассказ датирован 1897 годом. Этот же год Горький обозначает в письме Д. Д. Протопопову (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 14). Но в 1922 г., готовя рассказ для *К*, автор в оригинале набора переправил «1897» на «1896».

Черновик одного из писем Е. П. Пешковой дает основание считать, что рассказ, может быть, задуманный и даже начатый в 1896 г., вероятнее всего, был написан в 1897 г. Из письма также видно, что первоначально рассказ назывался «Так угодно Венере». В ноябре — декабре 1897 г. Е. П. Пешкова писала М. С. Позерн из села Каменное (близ Торжка), Тверской губернии, где Горький в то время жил с семьей у Н. З. Васильева:

«Недавно Алеша читал свой новый рассказ „Так угодно Венере“. В нем он выводит тип современного интеллигента и чистой девушки. Написано сильно, ярко и страшно трогательно. Я ревела. Ни один его рассказ не производил на меня такого сильного впечатления. И если чтение произв⟨ело⟩ такое впечатление, то сколько дух⟨овной⟩ силы долж⟨ен⟩ он тратить, чтобы переж⟨ить⟩ и перечувст⟨вовать⟩ это во время писания» (Архив А. М. Горького, личные материалы Е. П. Пешковой).

Сразу же по выходе третьего номера «Северного вестника» цензура сигнализировала в Главное управление по делам печати, что журнал, опубликовав «Вареньку Олесову», нарушил устав о цензуре и печати, запрещающий публикации, «в которых заключаются оскорбительные насмешки над целыми сословиями» («Звезда», 1941, № 6, стр. 178). Несмотря на это, журналу удалось закончить публикацию произведения.

После первой публикации Горький неоднократно правил и редактировал «Вареньку Олесову». Первая правка журнального текста связана с подготовкой третьего тома *ДЧ*. В августе 1898 г. Горький писал С. П. Дороватовскому: «Говорить об издании III тома, я полагаю, рано еще. Что поместить в него? „Варенька“ требует основательной работы, а я сейчас должен писать что-нибудь новое, ибо денег — ни гроша. Затем мне хотелось бы, чтоб весь третий том был заполнен рассказами из быта мелкой интеллигенции. Попробуем, каков я буду в этой сфере» (*Г-30*, т. 28, стр. 29). В октябре того же года писатель наметил примерный состав III тома и выслал Дороватовскому вырезки и оттиски рассказов, в том числе и «Вареньку Олесову», но, надо полагать, еще не отредактированную (там же, стр. 33). В письме от 12 февраля 1899 г. Горький вновь обсуждает со своим издателем предполагаемый состав III тома и добавляет: «Очень прошу вот о чем: непременно пришлите мне корректуру „Вареньки“, я эту вещь сокращу» (там же, стр. 62). Просьба прислать корректуру рассказа содержится и в письме Дороватовскому от 22 или 23 апреля (см. там же, стр. 73).

Работая над корректурой, автор устранял излишние подробности, неточности в изображении внутреннего мира героев, их переживаний и ощущений; исключал многие авторские сентенции, преувеличения и «красивости». Множество сокращений вызвано заботой Горького о лаконичности речи, как авторской, так и героев.

Горький поправил высказывания героини о литературе, вычеркнув, в частности, пренебрежительные отзывы о русских классиках; смягчил особенно резкие высказывания Вареньки

о русском «мужике». Тщательной правке подверг Горький финальную сцену, которая вызвала наиболее резкие нападки критики (см. варианты).

Особо следует отметить здесь случай незавершенной авторской правки. На стр. 97 в споре с Ипполитом Сергеевичем Бенковский говорит: «И знаю, что вы крайний материалист. Читал ваши статьи». В первопечатном тексте было: «Читал вашу статью против идеалистов». Последние два слова Горький сократил, а слово «статью» исправил на «статьи». Однако на следующей странице осталась неисправленной связанная с этим реплика Бенковского: «если вы пойдете прямым путем логики от взглядов, изложенных в вашей статье».

Новая авторская правка рассказа для $Зн_4$ была существенной, но принципиально не отличалась от предыдущей (для *ДЧ*). Здесь также следует отметить один случай незавершенной правки. В рассказе Елизаветы Сергеевны о смерти мужа после слов: «он почти каждый день жаловался на колотья в сердце, перебои, бессонницу» в *ПТ*, $ДЧ_2$, $Зн_{1-3}$ следовало: «но все-таки когда его привезли с поля — я едва устояла на ногах...» Горький эту фразу исключил, в результате чего следующая: «Говорят, он там очень волновался, кричал...» — осталась неясной (стр. 62).

Очень тщательной правке подвергся текст «Варенькн Олесовой» при подготовке его для *К*. Горький продолжает сокращать элементы описательности, снимает авторские сентенции и характеристики, в которых обнаженно формулируется идея произведения (см. варианты).

Среди многочисленных поправок, внесенных Горьким в текст после первой публикации, немало таких, которые, очевидно, были продиктованы критическими отзывами.

«Варенька Олесова» сразу же после своего появления обратила на себя внимание критики. Причем отклики, за небольшим исключением, были резко отрицательными. Даже близкие Горькому люди, вроде лечившего его врача и общественного деятеля Л. В. Средина, остались недовольны произведением. Прочитав III том «Очерков и рассказов», Средин 23 декабря 1899 г. писал Горькому: «„Вареньку“ так и не переделали — свинство! а ведь обещали. Вот эта халатность меня возмущает, надо бы подтянуться 〈. . .〉 Не распускайтесь!» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-10-22-1). «Из Ваших произведений,— писал 15 января 1900 г. Горькому П. Ф. Якубович-Мельшин,— мне больше всего по душе те, где Вы описываете жизнь, не мудрствуя лукаво, так, как подсказывает Вам собственное горячее сердце и наблюдат〈сльный〉 ум; меньше всего те, где пробивается наружу, так сказать, кружковое влияние. Напр〈имер〉, „Варенька Олесова“— как хотите — отзывается, на мой взгляд, „эстетизмом“ и „декадентством“ „Сев〈ерного〉 вестника“ 〈. . .〉 Батюшка, Алексей Максимович! Да какой же Вы „эстет“ или „декадент“, Вы, на собств〈енных〉 плечах изучивший горе народное, и потому *обязанный* послужить этому горю? До Варенек ли Олесовых дело Вам? Их ли „горю“ призваны Вы сочувствовать?» (*Г*, *Материалы*, т. II, стр. 367).

Не понравился рассказ и Л. Н. Толстому, который, вероятно, говорил об этом самому автору. О том, что беседа с Толстым о «Вареньке Олесовой» состоялась в первую их встречу, вспоминал сам Горький в очерке «Лев Толстой» (*Г-30*, т. 14, стр. 262). Сохранились пометки Толстого на полях второго тома сочинений Горького в издании «Знания» (1901). В «Вареньке Олесовой» вся сцена на реке отчеркнута, и там, где Полкапов «смотрит с восторгом», написано: «гадко», а где он становится на колени,— «очень гадко» (см. «Толстовский ежегодник», М., 1912, стр. 140).

Из печатных отзывов первый появился уже в майском номере «Книжек „Недели“» под названием «Самобытное декадентство». В новой повести Горького, писал рецензент, «проявляется то же стремление, как и в прежних его рассказах, доказать, что декаданс во вкусе „Северного вестника“ проник уже ⟨во⟩ все слои русского общества. Он хочет, по-видимому, даже убедить, что декаданс явление органическое, почему и берет себе героев декадентов из слоев почти или вовсе не тронутых культурой» («Книжки „Недели“», 1898, № 5, стр. 188). Цитируя текст, где Варенька, сравнивая русскую и французскую литературы, отдает предпочтение последней, рецензент с возмущением заключал, что «дикости» героини «придан книжный характер какого-то популяризированного нитчшеанства». Выдуманная Варенька Олесова «не характеризует новых брожений деревни, да и идут эти брожения не с того конца» (там же, стр. 189, 190).

В декаденты зачислил автора «Вареньки Олесовой» и новременец В. П. Буренин: «... г. Горькому, очевидно, не давали спать спокойно декадентские лавры г. Сологуба, и вот он сочинил сцену еще позаористее» («Новое время», 1898, № 8075, 21 августа). «Я, впрочем, не стал бы беседовать о повести г. Горького и о „небывалом“ ее конце,— писал далее Буренин,— в сущности ведь вся повесть только плоха, а небывалый ее конец имеет значение скандала, не более ⟨. . .⟩ Об этом скандале можно было бы и, пожалуй, даже должно было бы промолчать, если бы не было одного маленького обстоятельства. Дело в том, что г. Горький прославляется некоторыми современными журнальными критиками в качестве нового, крупного, свежего и оригинального таланта» (там же).

В ноябре 1899 г. с рецензией на третий том «Очерков и рассказов» выступил Северов (П. О. Морозов), выразив отношение к «Вареньке Олесовой» той части критики, которая в общем доброжелательно встретила молодого писателя. Высоко оценивая рассказы Горького о «бывших людях», говоря, что их герои «люди живые, настоящие», «всамделишные», критик уничтожающе отзывается о «Вареньке Олесовой». «Здесь что ни слово, что ни положение,— всё от начала до конца надумано, сочинено, кое-как сметано на живую нитку: читаешь — и не узнаешь писателя,— да тот ли это Горький, который прежде умел так правдиво, так непосредственно рисовать картины жизни? Автор, видимо, прочел Мопассана, и захотелось ему изобразить что-нибудь своеобразное на „вечно юную“ эротическую тему. Результат

получился самый плачевный, ни с чем не сообразный...» («Новости», 1899, № 304, 4 ноября).

Первый наиболее обстоятельный разбор «Вареньки Олесовой» появился в журнале «Русская мысль». Статья не была подписана. Принадлежала она П. Ф. Николаеву, который в 1902 г. включил ее в свой сборник «Вопросы жизни в современной литературе» (М., изд. Д. П. Ефимова). Начав с утверждения, что заключительная сцена «Вареньки Олесовой» «отличается поразительной, небывалой в нашей литературе грубостью», и вместе с тем не желая «поддаваться тяжелому первому впечатлению», критик считает необходимым проникнуть в глубину содержания произведения и «угадать, что за идеи или настроения руководили» автором. В отличие от упомянутых выше критиков, Николаев считает, что повесть производит сильное впечатление и что это — результат «недюжинной силы г. Горького» («Русская мысль», 1898, № 7, стр. 291—292). Неустанный интерес, испытываемый на протяжении чтения, всё же, по его определению, «ядовитый и вредоносный». «Г-н Горький не верит в культурного человека; не особенно он верит и в саму культуру, но зато он верит с почти фанатической горячностью в могущество, правду и красоту природы и ее сил. Он, если позволительно так выразиться, прирожденный и, пожалуй, малосознательный руссотист 〈. . .〉 Талант г. Горького есть талант по преимуществу мужественный или, лучше сказать, активный. Автор всегда и везде горит жаждой призыва к делу, к борьбе против всего, что представляется ему задержкой для деятельности, для беспрепятственного движения естественных сил, таящихся в человеческой груди. Он хотел бы снести, устранить все культурные препоны, лежащие на пути потока этих естественных сил; он негодует, даже яростно кричит на эти препоны, он искренно ненавидит их» (там же, стр. 292). Поскольку «оголение и вместе с тем возвеличение инстинкта», по мнению критика, составляет основной пафос произведения, постольку «оголение героини повести г. Горького есть не простая порнография, а до известной степени символ. Автор не только оголил свою героиню, он и обожествил ее, и преклонился пред воплощенным в ней инстинктом. Обожествив естественную силу в лице Вареньки, он совершенно осмеял и проклял культурную слабость в борьбе с инстинктом в лице Полканова. Вся повесть и представляет рассказ о борьбе стремлений, развитых историей в душевной жизни культурного человека, с оголенным, но могучим инстинктом. И инстинкт побеждает» (там же, стр. 293). Критик находит «некоторые сходства, хотя и не заимствования», «Вареньки Олесовой» с «Асей» Тургенева и повестями Помяловского.

Выступивший почти одновременно с Николаевым А. М. Скабичевский очень положительно оценил рассказ, солидаризировался с автором, разоблачающим «прогрессивного» приват-доцента Полканова. «Как и всё очень талантливое, рассказ г. Горького поражает вас своею жизненностью, свежестью и, если хотите, своего рода новизною» («Сын отечества», 1898, № 219, 14 августа).

В разоблачении «прогрессивности» Полкановых увидел главную заслугу автора «Вареньки Олесовой» и критик Андреевич (Е. А. Соловьев). И хотя он, говоря о «презрительном отношении» Горького к интеллигенции, в котором «есть даже и частичка ненависти», не разъясняет, какую именно интеллигенцию имеет в виду писатель, сама характеристика самодовольного фразера Полканова наводила на правильный ответ: «То же надо сказать о стоеросовом магистранте из „Вареньки Олесовой“, о хищном Тарасе Маякине. Оба они заплыли самодовольством. А там, где начинается самодовольство и самоудовлетворенность, кончается интеллигентность в истинном значении этого слова, потому что интеллигентность есть критика и еще раз критика, прежде всего» («Жизнь», 1900, № 8, стр. 244).

Отклики на «Вареньку Олесову» часто появлялись и в последующие годы. В большинстве из них рассказ резко критиковался — автора обвиняли в подражательности, в декадентстве, цинизме, руссоизме, ницшеанстве. А. Басаргин (А. И. Введенский) в статье «Развивается ли талант г. Горького?», характеризуя Вареньку как «полуинтеллигентную, полубосяцкую девушку», писал: «Ее пристрастия и идеалы совершенно ницшеанские 〈. . .〉 Вообще ницшеанская идея, по-видимому, вошла прочным элементом в „мировоззрение“ г. Горького» («Московские ведомости», 1900, № 117, 29 апреля).

В защиту Горького, которого критика обвинила в «декадентстве», выступил в 1901 г. М. М. Филиппов. Хотя критик в целом довольно неодобрительно оценивал «Вареньку Олесову» («Научное обозрение», 1901, № 2), он, однако, когда вышел сборник «Критические статьи о произведениях Максима Горького» (СПб., 1901), в своей обстоятельной рецензии писал: «Если где-либо у Горького можно найти „декадентство“, то именно в „Вареньке Олесовой“, но только в обратном смысле: это хотя и не преднамеренная, но злая сатира на эстетизм декадентов, людей с слабой волей и гиперестезированными чувствами» («Научное обозрение», 1901, № 6, стр. 125).

Среди позднейших критических откликов на «Вареньку Олесову» заслуживает внимания статья А. М. Редько «Куда девалась Варенька Олесова?..», опубликованная в 1908 г.

Если при появлении горьковского рассказа многие критики, говоря о заключительной сцене его, стремились обвинить автора в грубости, пошлости, декадентстве, то десять лет спустя, когда «декадентские розы» пышным цветом расцвели в русской литературе, Редько вспомнил о «Вареньке Олесовой», чтобы противопоставить ее действительно циничным, получившим скандальную славу произведениям, вроде «Санина» М. Арцыбашева, «Истории одной молодости» И. Потапенко, «Брака» В. Серошевского. Сравнивая роман Арцыбашева и рассказ Горького, Редько отмечает, что первый «любуется дерзостью Санина и восторгается им», Горький же «написал свой рассказ в поношение Полканова». «Тем интереснее отметить, как заботливо и осторожно он подготавляет финальную сцену наспльственного любования женским телом» («Русское богатство», 1908, № 12, стр. 7). Проанализи-

ровав взаимоотношения горьковских героев, подчеркнув целомудрие Вареньки и смятение Полканова, в противоположность легкомыслию арцыбашевских женщин и сладострастному цинизму Саппна, критик заключает: «Таков культурный скот в изображении М. Горького и таково нормальное отношение к нему предмета его вожделений — женщины!» (там же, стр. 5).

Подлинное содержание и значение «Вареньки Олесовой» раскрыты советской критикой, рассматривающей произведение как один из ранних подступов к важнейшей из тем зрелого Горького,— разоблачения эгоистического индивидуализма и лицемерного буржуазного либерализма, получившей всестороннюю и глубокую разработку в итоговом произведении писателя — «Жизни Клима Самгина».

«Варенька Олесова» вскоре после своего появления в печати привлекла внимание театров, а позднее и деятелей кино. Наиболее ранняя переделка была осуществлена в 1903 году В. Орлпком, назвавшим инсценировку «Победитель» (С. Балухатый и К. Муратова. М. Горький. Справочник. Л., 1938, стр. 189).

Горький отрицательно относился к подобного рода переделкам. В середине октября 1901 г. он писал К. П. Пятницкому: «Мне советуют протестовать против переделок. Кроме „Фомы <Гордеева>“, двое каких-то идолов переделали „Бывших людей“ в 4-актную канитель. Воображаю, как это превосходно! А какой-то готтентот от литературы переделал „Вареньку“. Очевидный бесстыдник, если не прохвост. Как протестовать? Неудобно, неловко, пожалуй даже — скверно» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 43).

Стр. 80. *Сальяс* — Е. А. *Салиас* де Турнемир, граф (1841—1908), русский писатель, автор ряда исторических романов, из которых наиболее известен «Граф Тятпн-Балтийский».

Стр. 80. *...Маркевича, Пазухина...*— Б. М. *Маркевич* (1822—1884) — русский реакционный писатель, выступавший с романами-памфлетами против деятелей революционного и демократического движения: «Четверть века назад» (1878), «Перелом» (1880), «Бездна» (1883—1884). А. М. *Пазухин* (1851—1919) — русский писатель, автор псевдоисторических романов «Тайна Воробьевых гор», «Женская доля» и др.

Стр. 80. *Фортюнэ де Буагобэя ∽ Борна*? — *Буагобе* Фортюне Ипполит Аугуст (1821—1891) — французский писатель, автор приключенческих романов. *Понсон дю Террайль* Пьер Алексис (1829—1871) — французский писатель, автор уголовно-авантюрных романов. Наиболее известны его многочисленные романы о Рокамболе. *Гуссэ* Арсен (1815—1896) — французский писатель и критик; примыкал к романтическому направлению. *Закон* Пьер (1817—1895) — французский писатель, романы и повести которого изобилуют всякого рода ужасами. *Дюма* — вероятно, имеется в виду Александр Дюма-отец (1803—1870).

Габорио Эмиль (1832—1873) — французский писатель, один из зачинателей современного детективного романа. *Борн* Георг (псевдоним Карла Георга Фюлльборна; 1837—1902) — немецкий писатель, автор авантюрных романов «Грешница и Кающаяся» (русск. пер. 1869), «Евгения, или Тайны французского двора» (русск. пер. 1873), «Тайны Мадридского двора, или Изабелла, бывшая королева Испании» (русск. пер. 1874) и др. Горький неоднократно отмечал успех, которым пользовались эти писатели в России (см. *Г-30*, т. 23, стр. 45—46; т. 24, стр. 138, 485).

Стр. 100. *«Материя — это содержимое того места пространства, в котором мы объективируем причину воспринятого нами ощущения».* — Неточная цитата из «Курса физики» (т. I, СПб., 1897, стр. 24) профессора О. Д. Хвольсона (1852—1934).

Стр. 107. *...пародией на историю Пигмалиона и Галатеи...* — В древнегреческой мифологии богиня Афродита, разгневанная женоненавистничеством прославленного ваятеля Пигмалиона, заставила его влюбиться в статую молодой девушки Галатеи, им же самим созданную. Страсть Пигмалиона оказалась настолько сильной, что оживила статую, и Галатея стала его женой.

Стр. 114. *...учитель мне положение о крестьянах достанет...* — Вероятно, имеются в виду «Положения» о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, изданные одновременно с манифестом об освобождении крестьян (утверждены царем 19 февраля 1861 г. и опубликованы 5 марта).

Стр. 114. *А много вы читаете? — допытывался Ипполит, вспоминая о Петрушке Гоголя.* — Лакей Чичикова в «Мертвых душах» Гоголя, Петрушка, по характеристике писателя, имел «благородное побуждение к просвещению, т. е. чтению книг, содержанием которых не затруднялся...» («Мертвые души», гл. II).

Стр. 133. *Красивое — это долина Казанлыка в Болгарии, красиво в Хорасане... На Мургабе есть места, как рай...* — *Долина Казанлыка* — вернее, казанлыкская котловина в Болгарии — славится своими плантациями роз, благодаря которым получила мировую известность. В период русско-турецкой войны (1877—1878) казанлыкская котловина была ареной крупных военных действий. *Хорасан* — провинция на северо-востоке Ирана с разнообразным ландшафтом: горы, горные степи, солончаковые и субтропические пустыни, низкогорные кряжи и широкие плоскодонные долы. *Мургаб* — река на Памире, в современной Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР. С таким же названием есть река в современной Туркмении, берущая начало в горах Афганистана, на высоте 2600 м.

Стр. 134. *...жена моего товарища ∽ убитого при Эски-Загре?* — Эски-Загра (Старая Загора), город в Болгарии, на прямом пути из Казанлыка в Семенли. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Эски-Загру защищал небольшой отряд болгарского ополчения. Атакованный главными силами забалканской турецкой армии под предводительством Сулейман-паши,

после сильного сопротивления и отчаянной борьбы, 19 июля 1877 г. город был взят турками и сожжен.

С т р. 136. ... *под Горным Дубняком...* — Город в Болгарии; во время русско-турецкой войны был ареной крупных военных действий.

С т р. 143. *Под Систовым лез на штыки...*— Город в Болгарии. 27 июня 1877 г., в русско-турецкую войну, русские войска, форсировав Дунай, заняли г. Систово и прилегающие высоты.

С т р. 143. *В турецкую кампанию...* — Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 гг., в которой, помимо России, участвовали болгарские добровольные дружины, а также войска Румынии. В результате этой войны была освобождена от турецкого ига Болгария и обеспечена независимость Румынии, Сербии и Черногории.

С т р. 148. *Он читал где-то, как однажды это было: она вошла среди ночи...*— Имеется в виду героиня романа Ги де Мопассана «Наше сердце»— мадам де Бюрн (см. часть вторую, гл. I).

БОЛЕСЬ

(Стр. 154)

Впервые, под названием «Письма», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1897, № 130, 1 мая, в разделе «Фельетон».

В Архиве А. М. Горького сохранился текст $Зн_{10}$, правленный автором для *К* (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К*.

В письме Д. Д. Протопопову в марте 1900 г. Горький датировал рассказ 1896 годом (*Архив* $Г_{VII}$, стр. 14).

После первой публикации рассказ существенной переработке не подвергался. При подготовке $ДЧ_2$ автор включил его в издание вместо аллегории «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины». В июне 1899 г. он писал С. П. Дороватовскому: «А вместо „Чижа“ 〈. . .〉 малюсенький рассказик о проститутке, коя писала письма к воображаемому любовнику» (*Г-30*, т. 28, стр. 86). Включая рассказ в $ДЧ_2$, автор дал ему новое название — «Болесь». Основная стилистическая правка текста проводилась при подготовке $Зн_4$ и *К* (см. варианты).

Рассказ автобиографичен. В нем отражен эпизод из жизни писателя в знаменитой казанской трущобе «Марусовке» (осень 1884 г.). Это был дом «как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя...» (*Г-30*, т. 13, стр. 520). 2 марта 1928 г. Горький писал И. А. Груздеву: «„Болесь“ — впечатление казанское, Тереза жила в „Марусовке“; вероятно, написан в 93—4, в Нижнем» (*Архив* $Г_{XI}$, стр. 171). Горький упоминает о героине рассказа и в «Моих университетах»: это была «... сорокалетняя „девушка“, пышная и красивая полька Тереза Борута, „экономка“ 〈. . .〉 Алкоголичка, она пила запоем и пьяная была неописуемо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдум-

чивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деяниях» (*Г-30*, т. 13, стр. 541).

В послесловии к рассказу Клавдии Грос Горький публицистически раскрыл смысл той «хорошей лжи», которая вдохновляла Терезу. «Источник этой лжи — страстное и каждому человеку, кто б он ни был, более или менее, но необходимо присущее желание чего-либо благородного, героического, истинно человечного...» (там же, т. 23, стр. 296). Типические фигуры, подобные героине рассказа, встречаются и в других произведениях Горького — в повести «Горемыка Павел», в рассказах «Пробуждение», «Однажды осенью», «Страсти-мордасти», в романе «Трое», драме «На дне».

БАЛЛАДА О ГРАФИНЕ ЭЛЛЕН ДЕ КУРСИ...

(Стр. 160)

Впервые напечатано в журнале «Летопись», 1917, № 7-8, стр. 81—84.

В Архиве А. М. Горького хранятся: 1) беловая рукопись «Баллады» с незначительной авторской правкой (ХПГ-1-13-1); 2) экземпляр сборника «Ералаш и другие рассказы», правленный автором для *К* (ХПГ-12-5-1).

Печатается по тексту *К* с исправлением по рукописи: «И как ты себя ни мучай» (стр. 473, строка 25) — вместо «И так ты себя не мучай».

Е. П. Пешкова в беседе с А. И. Овчаренко свидетельствовала: «Я очень хорошо помню, что „Баллада о графине де Курси“ написана Алексеем Максимовичем в 1896 году. В 1896 году он нам ее читал. Или в начале 1897 года? Нет, в конце 1896 года, до отъезда нашего в Крым» (Архив А. М. Горького, Ком-1-32-2). Н. К. Пиксанов относит «Балладу» к первой половине 90-х гг., связывая ее с личными переживаниями Горького в период его увлечения О. Ю. Каминской. Цитируя строки баллады: «Мучительны сердца скорбь» (стр. 165), он пишет: «Отнести эту балладу к излагаемому периоду побуждает нас близость только что приведенных лирем с мотивами поэмы о Девушке и Смерти 〈. . .〉 Но есть в балладе мотивы, инородные „гимнам любви“, знаменующие иной фазис интимных личных переживаний и вместе — поэтического творчества: „...любишь безумно, как правду, тобой же рожденную ложь“» (Н. П и к с а н о в. Горький-поэт. Л., 1940, стр. 58—59).

Имеется косвенное свидетельство самого Горького, что баллада относится к первому периоду его творчества. 12 января 1935 г. он писал Г. А. Вяткину: «В 32 г. „Академия“ издала маленькую книжечку, в которую вошла „Баллада о графине де Курси“, „Девушка и Смерть“, т. е. стихи, вошедшие в 1-й том моих рассказов,— очень красивая книжка...» (*Г-30*, т. 30, стр. 369—370). Горький, таким образом, сам связывает балладу с поэмой «Девушка и Смерть».

К тексту баллады писатель вернулся в годы первой мировой войны и, по-видимому, заново переработал его. В записной книжке Горького 1910—1916 гг. имеется набросок, связанный с балладой (ГЭ-17-3; см. варианты). Рукопись произведения, хранящаяся в Архиве А. М. Горького, относится к 1914—1917 гг. В рукописи имеются два подзаголовка. Первый — «Приписывается Бернарду де Вайтрадур, [таланту] труверу доброго короля Рене, властителя Прованса» — зачеркнут. Второй подзаголовок: «Приписывается Гюгу де Брюн, труверу доброго короля Рене, властителя Прованса». В тексте — незначительная стилистическая правка (см. варианты). В 1917 г. баллада с иллюстрациями В. В. Лебедева была напечатана в журнале «Свободное искусство» (Пг., 1917, № 6).

«Баллада о графине Элленде Курси...» тематически примыкает к рассказам Горького о временах «сильных людей»: «Сказание о графе Этельвуде де Комине», «Возвращение норманнов из Англии», «Слепота любви», написанным в середине 90-х годов.

Стр. 165. *Вилланы* — поселяне, во Франции — оброчные крестьяне, в Англии — крепостные.

ЗАЗУБРИНА

(Стр. 166)

Впервые напечатано в еженедельном журнале «Жизнь Юга» (Одесса), 1897, № 18, 11 мая, стр. 331—334, как второе произведение из серии «Жалостливые люди. Очерки» (первое — «Ванька Мазин»).

В Архиве А. М. Горького хранится текст $Зн_{10}$ с авторской правкой для *К*.

Печатается по тексту *К* с исправлением по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-9}$, $Гр_{1-2}$: «Вон он, дьяволов затейник» (стр. 172, строка 5) — вместо «Вон он, дьявол, затейник».

Написано, вероятно, во время пребывания Горького в Крыму, куда он приехал в январе 1897 г. в связи с резким обострением туберкулезного процесса в легких. Возможно, что рассказ предназначался специально для журнала «Жизнь Юга», во исполнение обещания о сотрудничестве: в вышедшем 12 января 1897 г. первом номере еженедельника в ряду писателей, которые будут в нем сотрудничать, было названо имя Горького.

После первой публикации автор неоднократно редактировал текст произведения. При подготовке его для $ДЧ_1$ было снято серийное название «Жалостливые люди. Очерки». Затем рассказ правился для $ДЧ_2$, $Зн_4$ и для *К* (см. варианты).

Критика в общем мало, но неизменно с высокой похвалой отзывалась о «Зазубрине». «У г. Горького,— писал А. М. Скабичевский,— есть рассказ „Зазубрина“, в котором трагическою

жертвою является жалкий рыжий котенок, и тем не менее читатели бывают потрясены смертью котенка нисколь не менее, чем если бы погиб перед их глазами заправский трагический герой». Передав содержание рассказа, критик заключал: «Перед нами мелкий случай тюремной жизни, тем не менее он так талантливо рассказан г. Горьким, что производит на читателя потрясающее впечатление» («Критические статьи о произведениях Максима Горького». СПб., 1901, стр. 110 и 111).

К «Зазубрине» обращались многие художники. Прекрасную иллюстрацию сделал И. Е. Репин для журнала «La Revue illustrée», где произведение появилось в переводе Д. Роша. Обращаясь к Ф. Д. Батюшкову с просьбой прислать этот журнал, Горький писал ему 9 или 10 декабря 1899 г.: «„Зазубрина“, разумеется, мне не интересен, но на рисунок Репина я посмотрел бы с наслаждением. Итак — коли можно, то пусть Рош пришлет мне оный рисунок» (*Г-30*, т. 28, стр. 106).

В 1900 г. рисунок Репина к рассказу «Зазубрина» был воспроизведен в журнале «Жизнь» (№ 3, стр. 128). Горькому рисунок очень понравился. Он писал Батюшкову: «Вы поистине доставили мне огромное удовольствие, прислав дивную картинку Репина. Нравится она мне и всем здесь — чрезвычайно! Как это живо написано, как верно он понял Зазубрину, старика и всех. Хорошо!» (*Г-30*, т. 28, стр. 115). Писатель бережно хранил подлинник этого рисунка. Два года спустя он рекомендовал воспроизвести его в последующих изданиях рассказа. «Посылаю вам несколько снимков, которые следует представить гг. иллюстраторам,— писал Горький 8—9 мая 1902 г. К. П. Пятницкому,— посылаю также рисунок Репина к „Зазубрине“. По миновании надобности в нем, будьте любезны, наклейте его на картон и вставьте в раму за стекло» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 78—79).

В СТЕПИ

(Стр. 174)

Впервые, с подзаголовком «Рассказ босяка», напечатано в книге приложений № 1 к журналу «Жизнь Юга», Одесса, 1897, стр. 56—68.

В Архиве А. М. Горького хранится печатный текст *Зн*$_4$ с авторской правкой для *К* (ХПГ-44-12-1).

Печатается по тексту *К*.

Написано весной 1897 г., по-видимому, в Алупке на даче М. И. Водовозовой (см. Р. В у л ь. А. М. Горький в Крыму. Симферополь, 1961, стр. 17). Рассказ примыкал к двум другим произведениям («Зазубрина» и «Ванька Мазин»), помещенным в «Жизни Юга» под рубрикой «Жалостливые люди». Продолжить этот цикл Горькому не пришлось, так как журнал был вскоре закрыт.

В основу произведения положен реальный факт, который сообщил писателю «сосед по больничной койке». Возможно, что рассказчиком является тот самый одесский босяк, который послужил для Горького прототипом Челкаша. Вспоминая о нем много лет спустя, Горький писал: «С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы...» (*Г-30*, т. 24, стр. 498).

После первой публикации рассказа Горький неоднократно возвращался к работе над текстом. Включенный в $ДЧ_1$ текст почти совпадал с журнальным, первопечатным, но уже для $ДЧ_2$ Горький тщательно отредактировал его (см. варианты).

Издание $ДЧ_2$ обратило на себя внимание цензуры, так как в нем вместе с рассказом «В степи» впервые был помещен «Коновалов» в восстановленном виде (см. об этом примечания к рассказу «Коновалов», стр. 540). Второй том $ДЧ_2$ был задержан и представлен в С.-Петербургский цензурный комитет. Попутно цензор просмотрел рассказ «В степи» и карандашом отчеркнул места, показавшиеся ему предосудительными. Это касается двух высказываний солдата: «Смотришь, не воскрес ли? ∽ основательно управился...» (стр. 185, строки 23—25) и заключительных фраз: «Я не виноват ∽ все мы одинаково — скоты» (стр. 186, строки 10—13). С.-Петербургский комитет задержал выпуск «Очерков и рассказов» до особого распоряжения Главного управления по делам печати, которое последовало 8 октября 1899 г. 9 октября 1899 г. книга была выпущена в свет без каких-либо изменений в тексте произведения (ХПГ-42-30-1).

Другое цензурное дело о рассказе «В степи» относится к 1902 г. В журнале заседаний Варшавского цензурного комитета (председатель Х. Эммаусский) 12 ноября 1902 г. имеется запись о заграничном издании сборника произведений Горького с рассказом «В степи». В рапорте центрального комитета иностранной цензуры № 9364 говорится: «Слушали 〈. . .〉 доклад г. цензора Сидорова о рассмотренном им иностранном сочинении Gorkij (Maksym) „W stepie. Piesn o sokole. Czolkasz". Przeklad B...è, Krakow — Warszawa, 1902.

На стр. 9, 10, 11 и 12 говорится о изобилии в России политически свихнувшихся людей 〈. . .〉 Вследствие этого полагаю в настоящем сборнике исключить 9—12 〈. . .〉 страницы и с этим исключением сборник дозволить.

Комитет, заслушав доклад г. цензора Сидорова и соглашаясь с его мнением, *постановил*: сочинение это дозволить к обращению в публике с предложенными г. цензором исключениями» (*Г*, *Материалы* т. III, стр. 408).

В начале 1900 г. Горький намеревался издать сборник своих лучших рассказов, включив в него и «В степи». Эту мысль подал ему в одном из писем А. П. Чехов. Отвечая ему, Горький писал в начале января 1900 г.: «Насчет отдельной книжки моих хороших рассказов — это Вы великолепно удумали. Я устрою это 〈. . .〉 А все-таки Вы мне, пожалуйста, перечислите те рассказы, которые один другого стоят. Ну — „В степи", „Изергиль",

„На плотах“, „Спутник“,— а потом?» (*Г-30*, т. 28, стр. 113—114). Это издание не было осуществлено: в 1900 г. стали выходить тома собрания сочинений Горького в издательстве «Знание».

В тексте $Зн_{1-3}$ нет существенных разночтений по сравнению с $ДЧ_2$. По желанию Горького, был снят подзаголовок «Рассказ босяка». $Зн_4$ Горьким тщательно редактировалось. Вновь к работе над текстом рассказа автор вернулся в 1922 г., готовя его для *К* (см. варианты).

Читатели и критики сразу заметили рассказ «В степи». Уже в сентябре 1897 г. рецензент «Русской мысли» назвал в числе лучших произведений года «сильный, коротенький, всего в несколько страниц, очерк „В степи“ в закрывшемся одесском журнале „Жизнь Юга“» («Русская мысль», 1897, № 9, стр. 427).

Художественные достоинства произведения были настолько несомненны, что даже рецензент реакционного «Нового времени» вынужден был признать: «По выдержанности тона, искренности и изобразительности это едва ли не лучший рассказ» (В. Г - к о. Книги за неделю. «Новое время», 1899, № 8550, 15 декабря).

Рассказ очень высоко ценил Чехов. 3 декабря 1898 г. он писал Горькому: «Вы спрашиваете, какого я мнения о Ваших рассказах. Какого мнения? Талант несомненный и притом настоящий, большой талант. Например, в рассказе „В степи“ он выразился с необыкновенной силой, и меня даже зависть взяла, что это не я написал. Вы художник, умный человек. Вы чувствуете превосходно, Вы пластичны, т. е. когда изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками! Это настоящее искусство» (*Г и Чехов*, стр. 26). Немного позже Чехов сообщил А. С. Суворину: «Рассказ „В степи“ сделан образцово, это тузовая вещь, как говорит Стасов» (там же, стр. 183). Советуя П. П. Гнедичу познакомиться с произведениями нового талантливого автора, Чехов заметил: «Если нет времени, то прочтите только „В степи“...» (там же). 3 января 1899 г. Чехов снова упомянул о рассказе в очередном письме Горькому. «Ваши лучшие вещи „В степи“ и „На плотах“ — писал ли я Вам об этом? Это превосходные вещи, образцовые, в них виден художник, прошедший очень хорошую школу. Не думаю, что я ошибаюсь. Единственный недостаток — нет сдержанности, нет грации» (там же, стр. 30).

В апреле 1899 г. Чехов побывал у Л. Н. Толстого. В беседе речь зашла о рассказах Горького. Сообщая об этом Горькому, Чехов писал 25 апреля 1899 г.: «Третьего дня я был у Л. Н. Толстого; он очень хвалил Вас, сказал, что Вы „замечательный писатель“. Ему нравятся Ваша „Ярмарка“ и „В степи“, и не нравится „Мальва“» (там же, стр. 37). После свиданья с Горьким весной 1900 г. Толстой сказал В. А. Поссе: «Я, кажется, вчера обидел вашего приятеля. Я не сказал ему главного. За ним всегда останется крупная заслуга. Он показал нам живую душу в босяке. Достоевский показал ее в преступнике, а Горький — в босяке» (Г. И. Лебедев и В. А. Поссе. Жизнь Л. Н. Толстого. СПб., 1913, стр. 122). В дневнике Толстого имеется следующая запись о Горьком, сделанная 11 мая 1901 г.: «Мы все знаем, что

босяки — люди и братья, но знаем это теоретически; он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры их неверны, преувеличены, но мы всё прощаем за то, что он расширил нашу любовь» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 54. М., 1935, стр. 98). Эти высказывания имеют непосредственное отношение к рассказу «В степи».

Однако высокая оценка художественных достоинств рассказа сочеталась в выступлениях многих критиков с попыткой «обезвредить» дух протеста, характерный для произведений Горького. Анализируя «философию» бродяги, вложенную автором в уста рассказчика, критик «С.-Петербургских ведомостей» В. Ш. (возможно В. М. Шулятиков) утверждал, что Горький находится под влиянием «толстоизма» и «трактует „город", „интеллигентов" и всё с ними связанное за сплошное зло», а поэтому «злоупотребляет умышленными крайностями, коробящими нравственное и эстетическое чувство» («С.-Петербургские ведомости», 1900, № 287, 19 октября).

Аналогичный взгляд развивал и энергично защищал Н. К. Михайловский. «Все общественные отношения, в которые вступают герои г. Горького,— утверждал он,— случайны и кратковременны 〈. . .〉 В рассказе „В степи" „студент" тайно от двух своих товарищей грабит и убивает встречного путника и затем бесследно исчезает. И если один из покинутых товарищей, „солдат", очень строго осуждает этот поступок „студента", то не по существу». «Правда, из-за всего этого у г. Горького часто выглядывает нечто иное, что приподнимает босяков; но с какой точки зрения можно отнести, ну хоть, например, ограбление и убийство „студентом" прохожего столяра („В степи") — к „исканию истины", или к „стремлению водворить справедливость на земле", или к „разъедающему скептицизму"? Дело в том, что взгляды босяков г. Горького на нравственность и справедливость не имеют ничего общего со взглядами, исповедуемыми огромным большинством современников» («Русское богатство», 1898, № 9, стр. 72—73, и № 10, стр. 63—64).

В оценке рассказа «В степи» Михайловский оказался единомышленником М. О. Меньшикова, который писал в статье «Красивый цинизм»: «... г. Горький не из тех писателей, которые стремятся возбуждать своею лирой „чувства добрые"». Приведя слова рассказчика: «все мы одинаково — скоты», критик утверждал, что «это один из основных пунктов босяческой философии» («Книжки „Недели"», 1900, № 9, стр. 239, 250). По мнению Меньшикова, Горький «заставляет своих героев рассказывать целые поэмы преступной и грязной жизни, которая вся — протест, вся — ненависть против общества...» (там же, стр. 216).

Критик из «Вестника Европы» Е. А. Ляцкий приписал «циническую философию» босяков самому Горькому. В статье «Максим Горький и его рассказы» он утверждал, что изречение «все мы одинаково — скоты» согласуется со взглядами автора: «Мораль эта, откровенная до хвастовства, принадлежит в рассказе не М. Горькому, впрочем, а „соседу по больничной койке". Но она вполне совпадает с тем, что говорит и сам

М. Горький, когда в нем замрет гуманист-художник и верх возьмет озлобленная босяцкая душа» («Вестник Европы», 1901, № 11, стр. 288).

Автор «Истории русской литературы XIX столетия» Н. А. Энгельгардт тенденциозно использовал рассказ «В степи», пытаясь дискредитировать революционно-освободительные идеи. Он уверял, что Горький вывел в образе «студента» одного из борцов с несправедливым строем. «Так, о „студенте“, который задавил ночью несчастного столяра 〈. . .〉, сказано: „Он мечтал об универсальной мести всем и всему“» (Н. Энгельгардт. История русской литературы XIX столетия, т. 2. СПб., 1903, стр. 528).

Мнение это нашло заостренное выражение в книге П. Руфимского «Основные мотивы творчества М. Горького» (Казань, 1908).

Подобные взгляды встретили резкий отпор со стороны ряда демократических и революционно настроенных критиков.

Отвечая на вопрос о классовой природе босячества, Е. А. Соловьев-Андреевич в статье «Вольница» писал, что герои Горького — «продукт недоедания, а не пресыщения, и оттого они еще ближе ко всем алчущим и жаждущим. В них есть гнев на жизнь, презрение ко лжи и условностям обыкновенного, так называемого упроченного существования, но их отвращение к жизни вообще, вызванное неудачами, мерзостью действительности, ее обидами, не переходит в апатию и тупое равнодушие. Они жадны, и жадно хотят жить» («Жизнь», 1900, № 6, стр. 281). Критик подчеркнул романтизм Горького в изображении босяков. «Только один раз,— писал он,— и только один босяк совершает в его произведениях самую каторжную гадость („В степи“); вообще же босяки народ милый и добродушный, даже прелесть что такое за народ: щедрый, жалостливый, любвеобильный. Вот насчет собственности у них крайне нетвердые понятия; но надо же принять во внимание, что они люди в большинстве случаев безграмотные, не кончившие „даже университета“» (там же, № 4, стр. 317). Сходные мысли высказывал и В. Ф. Боцяновский в статье «В погоне за смыслом жизни». Он назвал героев Горького «беспокойными людьми», но тут же заметил, что высоких идеалов у них нет и творить они не способны. Конечная цель «беспокойных людей — абсолютная свобода, вроде той, о которой мечтает Лакутин в „В степи“». Вместе с тем, «беспокойные люди» Горького «считают себя существами неизмеримо более высокими, нежели все остальные люди» («Вестник всемирной истории», 1900, № 7, стр. 174).

Об отношении марксистской критики и самого Горького к проблеме «босяков» — см. ниже примечания к рассказам «Супруги Орловы» и «Бывшие люди». А. В. Луначарский, говоря о рассказе «В степи», акцентировал критическое отношение Горького к деклассированным элементам интеллигенции («студент»). Он писал: «Правда, вначале Горький совершенно отрицательно относится к интеллигенции, видит в ней прежде всего что-то лишенное корня, жалкое, искусственное и часто лицемерное» (*Луначарский*, т. 2, стр. 75). Тут же Луначарский отметил высокие худо-

жественные достоинства рассказа. Горький — «музыкант прозы. При этом музыка у Горького находится в полном соответствии с живописью слова» (там же, стр. 80). Он назвал Горького великим пейзажистом и страстным любителем пейзажа, заметив: «Он работает над природой как поэт» (там же, стр. 162).

С т р. 176. «*...знал бесчисленное множество тропарей, ирмосов и кондаков...*» — *Тропарь* — церковное песнопение в честь какого-либо православного праздника. *Кондак* — краткая церковная песнь. *Ирмос* — церковное песнопение за всенощной.

С т р. 180. . . . *наш брат Исакий*. . . — Выражение, восходящее к легенде об искушении святого Исаакия бесами (см. «Патерик Киево-Печерского монастыря». СПб., 1911, стр. 130—131).

С т р. 186. *Карсская область* — в Турции, на границе с Советским Закавказьем (возле Эрзурума). После войны 1877—1878 годов принадлежала России.

ЯРМАРКА В ГОЛТВЕ

(Стр. 187)

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1897, № 196, 20 июля, и № 210, 3 августа.

В Архиве А. М. Горького хранится текст $Зн_{10}$ с авторской правкой для *К*.

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 187, строка 8: «Из-за хат вздымаются в небо» вместо «Из-за хат вздымаются на небо» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-9}$).

Стр. 194, строка 38: «Наклонясь к мужу» вместо «Наклоняясь к мужу» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-3}$, $Гр_{1-2}$). В данном издании оставлено авторское написание украинских слов, исправлены лишь некоторые наиболее грубые погрешности и опечатки.

Написано в 1897 г.— очевидно, в первой половине июля. Горький посетил ярмарку в селе Голтва 29 июня этого же года ($ЛЖТ_1$, стр. 195).

В очерке отражены богатые и яркие впечатления Горького из его жизни на Украине летом 1897 г. В начале мая Горький с женой выехал из Крыма в Кременчуг, Полтавской губернии, а оттуда в Мануйловку. Писатель присутствовал на экзамене в Мануйловской школе, познакомился с учителями С. Ф. и Л. Д. Самойленко и О. Н. Меньшиковой, интересовался жизнью села, читал крестьянам стихи Шевченко. По инициативе и при непосредственном участии Горького в Мануйловке был организован сельский любительский театр, в котором ставились пьесы русских и украинских драматургов (см. там же, стр. 196—197).

О своем интересе к украинскому народу, его языку и литературе, о пребывании в Мануйловке Горький писал 29 марта 1933 г. И. Ф. Ерофееву: «Впервые я читал Шевченко еще юношей, в Казани, в конце 80-х годов. Тогда ходили по рукам сборники запрещенных цензурой стихов — рукописные. Помню, что мне очень понравилось четверостишие „И день иде, и ничь иде“, а также „Катерина“. Затем, летом 97 и 8-го гг., живя в Мануйловке, Кременчуг⟨ского⟩ уезда, я читал Шевченко на украинском языке крестьянам; книжка дана была мне учителем Самойленко, кажется — львовское издание. Стихи Шев⟨ченко⟩ вообще очень нравились мне, да и вообще я питал „влеченье, род недуга“ к литературе Украины. Очень хотелось издать Гулака-Артемовского, Основьяненко, Котляревского — особенно! ⟨. . .⟩ Стефан Жеромский посмеивался над моим „украинофильством“ ⟨. . .⟩ В Мануйловке я, в течение летних месяцев 97—8 гг., ставил пьесы украинские Старицкого и др. В „Мартыне Боруле“ ⟨пьеса И. Карпенко-Карого⟩ даже играл роль жениха, кажется. „Труппа“ — почти сплошь местные крестьяне, за исключением учительницы Людмилы Самойленко и другой еще...» (*Г-30*, т. 30, стр. 295—296).

Большое впечатление произвели на Горького исполнители народных песен, которых он слышал, видимо, на ярмарке в Голтве. Писатель вспоминал: «Побывав впервые на одной из украинских ярмарок, я не мог оторваться от игры кобзарей, бандуристов, лирников — этой жемчужины народного творчества» (см. А. К р ы м с к и й. Незабываемый вечер.— «Советская Украина», 1940, № 144, 24 июня).

Всё это и послужило источником жизненных впечатлений, положенных в основу очерка «Ярмарка в Голтве». В 1911 г. Горький писал с Капри киевскому литератору М. М. Данько, переведшему на украинский язык «Ярмарку в Голтве». «Прочитал я эту вещицу, и мне показалось, что на украинском языке она звучит лучше, музыкальнее. С удивительной ясностью вспомнил мои поездки по ярмаркам Полтавщины, фигуры и лица добрых моих знакомых из Мануйловки, Омельника, Манжелии — хорошие два лета прожил я на Поле в 97—8 годах! И так рад был еще раз вспомнить об этом ⟨. . .⟩ Спасибо Вам. . .» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-13-44-1).

После первой публикации автор неоднократно возвращался к правке текста «Ярмарки в Голтве». При подготовке $ДЧ_1$ он снял подзаголовок, одновременно сделав в сноске пояснение, что Голтва — «Полтавской губернии», вычеркнул примечание: «таранью в Малороссии называют воблу». Дан был новый вариант песни «подвыпивших хохлов», которые здесь называются уже просто «двое пьяных», и сокращена сценка с «выпившим москалем».

Подготавливая текст «Ярмарки» для $ДЧ_2$, автор снял примечание к заголовку, опустил перевод украинского слова «хуст-ка», вычеркнул объяснение «остробородым ярославцем», содержания книги «Веретагинская кухня», провел небольшую стилистическую правку.

Ряд поправок был внесен в текст произведения при подготовке *Зн*$_4$.

Тщательной правке подвергся текст для *К*.

Существует также «побочная» редактура рассказа, сделанная Горьким для *Грж*. В отдельных случаях она совпадает с правкой для *К* (см. варианты).

В критической литературе, в отзывах писателей-современников «Ярмарка в Голтве» получила высокую оценку.

В статье «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» Н. К. Михайловский усиленно рекомендует читателям произведения, которые «не имеют к босякам никакого отношения, ни прямого, ни косвенного, ни реального, ни аллегорического». Первое среди них «Ярмарка в Голтве» — «...маленький очерк, написанный без претензий на какую-нибудь глубину или „проникновение", безделка, но вся пропитанная каким-то мягким, светлым юмором, производящим тем большее впечатление, что этого элемента совсем нет в других произведениях г. Горького» («Русское богатство», 1898, № 10, стр. 93).

Вскоре Горький получил письмо от А. П. Чехова (от 16 ноября 1898 г.), который спешил сообщить, что «Ярмарка в Голтве» ему «очень понравилась» (*Г и Чехов*, стр. 24). 25 апреля 1899 г. Чехов писал Горькому, что очерк понравился Л. Н. Толстому (см. выше примечания к рассказу «В степи»). Аналогичное свидетельство встречается в воспоминаниях В. А. Поссе. По словам мемуариста, Толстой сказал Горькому при встрече: «Вот есть у вас рассказ „Ярмарка в Голтве". Этот мне очень понравился. Просто, правдиво. Его и два раза прочесть можно» (Г. Лебедев и В. Поссе. Жизнь Л. Н. Толстого, стр. 120). По утверждению Поссе, «Ярмарка в Голтве» напомнила Толстому Гоголя с его «удивительным юмором» (там же).

В 1902 г. В. Г. Короленко, обращаясь к Горькому с просьбой принять участие в сборнике, посвященном памяти Гоголя, писал: «...малороссы особенно вспоминают „Ярмарку в Голтве"...» (*Г и Короленко*, стр. 55).

Стр. 195. *Солопий Черевик* — один из центральных персонажей «Сорочинской ярмарки» Н. В. Гоголя (1831).

Стр. 196. «*Андрей Бесстрашный, русская повесть*».— Вероятно, одно из изданий лубочной литературы (возможно, «Храбрый Андрей Победоносцев и прекрасная Селима, умирающая на его гробе»; составил С. П. Извольский. М., 1868).

Стр. 196. «*Япанча, татарский наездник, взятие города Казани*».— Историческая повесть И. С. Кассирова (наст. фамилия: Ивин), выдержавшая с 1875 г. множество изданий и выходившая под названиями (иногда и без обозначения автора): «Татарский наездник», «Япанча — татарский наездник, или Гибель последнего царя Казани», «Япанча татарский наездник, или Покорение Казани Иоанном Васильевичем Грозным».

ОЗОРНИК

(Стр. 200)

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в журнале «Северный вестник», 1897, № 8, стр. 1—16.

В Архиве А. М. Горького хранится текст $Зн_{10}$, правленный автором для *К* (ХПГ-44-12-1).

Печатается по тексту *К*.

Рассказ был написан в конце 1896 г. и отослан в журнал «Русское богатство» (см. письмо Горького В. Г. Короленко — *Г-30*, т. 28, стр. 18). В редакторской книге В. Г. Короленко за 1896 г. под 12 декабря записано: «Пешков А. М. (Горький) — О з о р н и к. Ряд сцен. Очень плохо — претенциозно и выдуманно. Влюбленный фабричный Гвоздев.— Типография, тюрьма и пр. Герой — то слишком уж умен, то совсем наивен и глуп» (*Г и Короленко*, стр. 239—240). Это был первый, не сохранившийся вариант рассказа, вероятно, возвращенный Горькому и переработанный им, так как первопечатный текст не содержит тех сюжетных линий, которые отмечены в записи Короленко.

Редакторская правка рассказа при подготовке его для $ДЧ_{1-2}$ и $Зн_{1-3}$ невелика.

При подготовке $Зн_4$ Горький внес в текст значительные исправления, касающиеся в основном образов Истомина и Гвоздева.

Последняя редактура рассказа для *К* отражает стилистическую работу над произведением и характеризуется мелкими и многочисленными исправлениями, сокращающими и уточняющими текст. (см. варианты).

В основу рассказа «Озорник» положены конкретные жизненные наблюдения. С конца февраля 1895 г. по апрель 1896 г. Горький работал сотрудником «Самарской газеты» и около трех месяцев (июль — сентябрь 1895 г.) выступал в роли ее редактора. Молодой фельетонист был очевидцем и участником повседневной жизни провинциальной газеты, наблюдал нелегкий труд типографских рабочих, их отношения с хозяином-издателем. В Куйбышевском областном государственном архиве хранится найденное в материалах канцелярии самарского губернатора дело «По поводу беспорядков и упущений, обнаруженных при цензуре „Самарской газеты“», начатое в декабре 1895 г. и законченное в июне 1896 г. В деле собраны цензорские письма по поводу «нарушений правил цензурного устава», допущенных газетой, и ответные письма редакции газеты (см. об этом в статье: Р. М. В у л ь. Первое редакторство А. М. Горького.— *Г Чтения*, 1968, стр. 226—231). Отмечаемые цензурой случайные, а может быть, и не случайные газетные казусы безусловно были известны Горькому. Так, в передовой статье одного из номеров газеты было обнаружено неизвестно кем вставленное бранное слово, в другом номере — пропуск строки в телеграмме Российского телеграфного агентства искажал содержащуюся в тексте характеристику царя Александра III. В этих и подобных им примерах

можно видеть источник замысла рассказа «Озорник». Прототипом издателя Василия Ивановича мог послужить издатель «Самарской газеты» Семен Иванович Костерин, которого Горький в письме к Короленко от начала августа 1895 г. охарактеризовал так: «...он человек не нашего поля,— и как ни порядочен, а все-таки в конце концов — купец» (*Г-30*, т. 28, стр. 13). Прототипом редактора Истомина, вероятно, стал А. А. Дробыш-Дробышевский, журналист, в 1895—96 гг. редактор «Самарской газеты», стоявший на либерально-народнических позициях. Отвечая И. А. Груздеву на вопрос «о давлении „народнических тенденций в редакциях провинциальных газет“», Горький писал: «Лично я — весьма и трижды в разное время — страдал от педагогики Дробыша, с коим в 96 г. поссорился и ушел из „Самарской газеты“...» (там же, т. 30, стр. 313, 314).

Горький относил «Озорника» к числу первых своих рассказов «реалистического» характера (там же, т. 24, стр. 473) и неоднократно рекомендовал его для массовых и народных изданий. Так, в 1900 г., предполагая издать свои рассказы отдельными книжками, Горький наряду с «Челкашом», «Бывшими людьми», «Мальвой», «Коноваловым» называет «Озорника» (*Архив* $Г_{IV}$, стр. 14); в 1903 г. сообщает К. П. Пятницкому, что для дешевого издания отобрал рассказы «Кирилка» и «Озорник» (там же, стр. 147); в 1925 г. пишет Е. Д. Зозуле: «Лично я хотел бы видеть в „Огоньке“ „Озорника“...» (*Архив* $Г_{X}$, кн. 2, стр. 111).

В дооктябрьский период изданию «Озорника» всячески препятствовала цензура. 18 ноября 1898 г. С.-Петербургский цензурный комитет слушал дело о запрещении выпуска рассказа отдельным изданием и постановил: «Брошюру „Озорник“ запретить» (Архив А. М. Горького, ЦД-1-3). Экземпляр рассказа (листы из $ДЧ_1$), находящийся в цензурном деле, содержит в двух местах пометы цензора красным карандашом. Цензор А. Н. Турчанский отчеркнул часть монолога Гвоздева, обращенного к Истомину: «Вы про нашего брата рабочего толкуете... ∽ вы и сами-то этой же политики держитесь...» (стр. 204—205), введя этот текст в доклад цензурному комитету как свидетельство невозможности новой публикации рассказа. Отчеркнуто также рассуждение Гвоздева в его беседе с Истоминым в конце рассказа: «Нет, вы позвольте ∽ и посейчас, как тогда были» (стр. 216—217), где наборщик непочтительно отзывается о судебном следователе Хрулеве, бывшем «Мишке Сахарнице».

24 августа 1905 г. С.-Петербургский цензурный комитет вновь вынес решение: «Рассказ „Озорник“ к напечатанию не дозволять» (Архив А. М. Горького, ЦД-4-12). В цензурном деле хранится доклад ст. сов. Савенкова, сделанный на заседании цензурного комитета 24 августа 1905 г.: «Для напечатания отдельным изданием представлен на цензурное разрешение коротенький рассказ М. Горького „Озорник“. В рассказе этом со свойственным Горькому талантом выведен типичный хулиган — человек злонамеренный, завистливый, занятый в типографии измышлением и исполнением различных каверз в отношении всех, с кем только стал-

кивает его жизнь, все эти каверзы носят характер озорного издевательства. Автор не выражает к этому типу отвращения, идеализирует его, вкладывая в его уста всем известные софизмы Горького об общественных низах и верхах и жертвах 〈. . .〉 Такая книжка — 2—3 коп.— не может не сделаться доступной именно низшему классу населения 〈. . .〉 Ввиду сего, согласно циркуляра о книжках для народного чтения, рассказ Горького „Озорник“ не подлежит допущению к печатанию новым изданием» (там же, ЦД-4-12). Можно предположить, что под новым изданием имелась в виду *ДБЗ*, в которой рассказ, несмотря на цензурные препоны, вышел в 1906 г.

Рассказ понравился Л. Н. Толстому. В Яснополянской библиотеке сохранился экземпляр II тома «Рассказов» Горького, изд. «Знание», 1901. В конце рассказа «Озорник» рукой Толстого написано: «Хорошо всё».

Критика сразу обратила внимание на новое произведение Горького.

В. А. Поссе писал Горькому 23 августа 1897 г., сразу после выхода журнальной публикации рассказа: «Ваш „Озорник“ мне очень понравился» (там же, КГ-п-59-1-10).

А. М. Скабичевский называл Гвоздева «строптивым человеком» — «в истинном и буквальном смысле этого слова», в отличие от Коновалова, у которого строптивость проявляется лишь в виде тоски. Отмечая, что «типы строптивых людей среди народа» выписаны Горьким ярко, рецензент упрекал автора в том, что он якобы оставляет читателя «в полном неведении», не показывая, «откуда же берутся подобного рода типы, как они создаются?» «Путем ли наследственности»,— недоумевает критик,— «являются ли жертвами особенного темперамента или же внешних условий жизни?», «выродки» они или «избранные натуры?» («Сын отечества», 1897, № 227, 22 августа).

В «Книжках „Недели“» отмечалось, что Горький показал в «Озорнике» — «положение человека, всем обделенного», попытался «изобразить тип, очевидно нарождающийся» («Книжки „Недели“», 1897, № 9, стр. 276, 279). Горький,— подчеркивалось на страницах другого журнала,— ввел «в салоны российской беллетристики» «новые общественные слои», представляющие собой «продукты зарождающегося нового общественного строя» («Русская мысль», 1897, № 9, стр. 427). Однако при этом имелись в виду отнюдь не представители рабочего класса, а безработные люди, босяки, именуемые в рецензии «обескураженными»: «...озорник — такой же обескураженный, как и все герои г. Горького», «его озлобление — беспредметное, так сказать, метафизическое 〈. . .〉 безыдейное, неинтеллектуальное озлобление» (там же, стр. 430). В рецензии, посвященной выходу первого издания «Очерков и рассказов», подчеркивалось: «Для его героев вопрос вовсе не в имущественном неравенстве и даже не в различии общественных положений, а в том, что „человек человеку внимание должен оказывать по движению сердца“» («Русская мысль», 1898, № 8, стр. 308). «Озорника» коснулся и А. И. Бог-

данович: «Гвоздев — по натуре протестант», он «чувствует обиду в своем положении», ищет справедливости в человеческих отношениях, его «беспокойная душа» не может «примириться с установленным порядком вещей», но изменить его — тоже не может («Мир божий», 1898, № 7, стр. 7, 8).

В отличие от большинства критиков, истолковывавших рассказ в духе отвлеченного морализирования, М. Оликов по-своему разглядел стремление Горького к раскрытию социальной основы характера Гвоздева — и безоговорочно осудил за это писателя: «...Что привело всех этих несчастных к такому положению? Кто истинный виновник их бед? — Среда, в которой они родились, наше общество, в котором они живут,— отвечает нам г. Горький. Какое неправильное, предвзятое толкование!». Героев Горького, по мнению рецензента из реакционной газеты, губит не среда, а их собственное «безволие, душевная дряблость, наша русская распущенность» («Русский листок», 1898, № 252, 11 сентября).

Увлеченная «босяцкой темой» Горького, критика 90-х — начала 900-х годов не увидела в Гвоздеве черты нового героя, своеобразного предшественника Павла Грачева, Нила, Павла Власова, как не заметила и резкой сатиры на либеральную интеллигенцию. Позднее на эту сторону рассказа обратил внимание В. В. Воровский: «В „Озорнике“,— писал критик в 1910 г.,— он зло бичует лицемерие газетных либералов» (*Воровский*, стр. 262).

СУПРУГИ ОРЛОВЫ

(Стр. 219)

Впервые, с подзаголовком «Набросок», напечатано в журнале «Русская мысль», 1897, кн. 10, стр. 1—50.

В Архиве А. М. Горького хранится текст $Зн_{10}$, правленный автором для *К* (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 229, строка 26: «дитё» вместо «дитя» (по $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-10}$, *Пр* $Зн_{10}$).

Стр. 232, строка 37: «Вонифатию» вместо «Бонифатию» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-10}$, *Пр* $Зн_{10}$).

Стр. 232, строка 41: «возбуждавшую» вместо «возбуждающую» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-9}$).

Стр. 239, строка 27: «странно» вместо «страшно» (по *ПТ*, $ДЧ_1$).

Стр. 245, строка 26: «в конце ее» вместо «в копец ее» (по *ПТ*).

Стр. 274, строка 17: «я тебя не приструнил» вместо «тебя не приструнил» (по $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-9}$).

Начало работы над произведением относится к 1896 г. В письме к Е. П. Волжиной от 6 июня 1896 г. из Нижнего Новгорода в Самару Горький сообщал: «Пишу для „Нового слова“ рассказ „Супруги Орловы“» (*Архив* $Г_V$, стр. 31).

В названном журнале рассказ не появился; может быть, он в то время и не был окончен, так как в начале марта 1897 г. Е. П. Пешкова в письме к матери, М. А. Волжиной, сообщала: «Алеша ⟨. . .⟩ пишет чудный рассказ „Супруги Орловы“, из жизни мастеровых. Прелесть что такое. Он мне, кажется, больше всех его рассказов нравится» (Архив А. М. Горького).

В рассказе отразились события 1892 года, когда в «холерных бунтах» проявлялось общее недовольство народных масс своим положением. В связи с появлением в печати «Супругов Орловых» цензор Соловьев доносил председателю Московского цензурного комитета о явной тенденциозности рассказа, в котором, по его словам, жизнь «ремесленного сословия» «рисуется слишком мрачными красками». «Я потому особенно обращаю внимание Вашего превосходительства на набросок Горького, что редакция „Русской мысли“ рекламирует этого автора как последовательного „летописца обескураженных“ или, вернее, босяков», как писателя «особенно приятного ей» (цит. по статье: К. Д. М у р а т о в а. Новые цензурные материалы о Горьком. «Звезда», 1941, № 6, стр. 176, 177).

После первой публикации автор редактировал текст рассказа для $ДЧ_1$. Это была очень существенная правка. Горький внес в текст дополнения и изменения смыслового характера, уточняющие идейное содержание образов Орлова и Матрены. Камерная по содержанию и мелодраматичная по выражению чувств героев последняя встреча мужа и жены (см. страницы журнального текста — вариант к стр. 267) была заменена острым, социально насыщенным финалом.

При подготовке рассказа для $ДЧ_2$ была проведена стилистическая правка, свидетельствующая о возросшей взыскательности художника, а исправления для $Зн_1$ в основном носили характер чисто грамматический, корректорский.

При подготовке $Зн_4$ автор нашел более емкие и точные словесные образы, а также исключил из рассказа довольно обширное повествование, являющееся авторской характеристикой психологического состояния Орлова (см. варианты).

Последняя большая авторская правка относится ко времени подготовки $К$ и представляет собой очень тщательную постраничную редактуру стилистического характера.

Первые газетные и журнальные отклики на «Супругов Орловых» были отрицательными. А. М. Скабичевский усмотрел в главном герое рассказа перепевы образов Коновалова и Гвоздева и на этом основании высказал заключение о «некотором истощении творчества молодого писателя» («Сын отечества», 1897, № 303, 7 ноября). Скабичевский говорил также о художественной несостоятельности образа сапожника, о надуманности его превращения в «самоанализирующего философа», рассуждения которого вовсе ему «не по плечу». Впрочем, столь суровая оценка не помешала Скабичевскому в обзоре текущей литературы за 1897 г. назвать «Супругов Орловых» вместе с «Коноваловым», «Озорником» и

«Мальвой» — «талантливыми повестями г. Горького» (там же, 1898, № 1, 1 января).

Критик из «С.-Петербургских ведомостей» Н. Ладожский (В. К. Петерсен) также пытался увести читателя от социальной сущности горьковского рассказа, утверждая, что произведение носит дидактический характер, написано «во имя высоких целей поучения добру и правде», «в защиту детей и материнства» («С.-Петербургские ведомости», 1897, № 323, 25 ноября). Может быть, такого рода попытки истолковать рассказ в отвлеченно-морализаторском духе заставили Горького — в процессе подготовки $ДЧ_1$ — существенно переделать финал, еще сильнее подчеркнув социальную направленность произведения.

Враждебный отзыв о «Супругах Орловых» поместили «Книжки „Недели“». Горький обвинялся в «книжном измышлении», в том, что его герой «не перестает резонерствовать à la Печорин» («Книжки „Недели“» 1897, № 11, стр. 195, 196).

В связи с изданием первого и второго томов $ДЧ_1$ стали появляться критические работы о Горьком или отдельные высказывания о «Супругах Орловых» более объективного и обстоятельного содержания. «О Ваших „Очерках“ начинают уже говорить,— писал В. А. Поссе Горькому 28 апреля 1898 г.,— хотя еще не было объявлений о их выходе. Особенно нравятся Челкаш, Супруги Орловы и Ленька» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-22).

В журнале «Русская мысль» рассказ был назван «более обработанным» из произведений Горького («Русская мысль», 1898, № 1, Библиограф. отд., стр. 40). Несколько месяцев спустя в том же журнале была напечатана развернутая рецензия на первый том $ДЧ_1$. Главное достоинство «Супругов Орловых», как и других рассказов, рецензент увидел в том, что они отразили «запросы от жизни и порывы к лучшему ее устройству, проявляющиеся в среде людей рабочих, начинающих чувствовать неудовлетворенность от того положения, в котором они находятся» («Русская мысль», 1898, № 8, стр. 307).

В «Критических заметках» А. И. Богданович писал, что «...Очерки и рассказы г. Максима Горького представляют едва ли не самое видное явление по свежести и оригинальности таланта, яркого и сильного, и по новизне содержания, всегда интересного и глубоко захватывающего читателя» («Мир божий», 1898, № 7, стр. 1). Григория Орлова Богданович отнес к числу «неудачников и беспокойных душ», к «босой команде».

Е. А. Соловьев-Андреевич писал в «Очерках текущей русской литературы», что наиболее сильное впечатление производит «жажда самосожжения» Орлова, «полнота отчаяния, полнота безнадежности», его «общее огромное озорничество» («Жизнь», 1900, № 4, стр. 330).

Характерной чертой отзывов буржуазно-либеральных или народнических критиков о «Супругах Орловых» было то, что, хваля или осуждая рассказ, приемля или отрицая его героя, они уходили от реальной жизненной основы произведения в отвлеченно-философские сферы, видели в рассказе не животрепещущие проблемы современности, а «вековечные вопросы, над разреше-

нием которых бьется человечество уже тысячелетия» («Мир божий», 1898, № 7, стр. 8).

Однако в некоторых критических работах уже в начале 900-х годов подчеркивалась правдивость изображения жизни в рассказе, его ярко выраженный реалистический характер. Так, М. М. Филиппов в статье «О Максиме Горьком» писал: «... течение рассказа показывает, насколько Горький остается реалистом даже в тех случаях, когда у многих рассказчиков явилось бы сильное искушение закончить рассказ полным торжеством добродетели и превращением пропойцы в милосердного самар⟨ит⟩янина» («Научное обозрение», 1901, № 2, стр. 112).

Цензура настороженно относилась не только к публикациям произведений Горького, но и к отзывам критиков о его творчестве. Например, цензор отмечал, что в январской книжке «Русской мысли» за 1898 г., где положительно оценен рассказ «Супруги Орловы», «Горький — писатель босяков — признается сильным и оригинальным дарованием» (см. указ. статью К. Д. Муратовой — «Звезда», 1941, № 6, стр. 177), а в 1902 г. по сигналу Московского цензурного комитета из февральской книжки того же журнала была изъята «весьма тенденциозная рецензия рассказов М. Горького» (там же). Видимо, из-за цензурных препятствий не увидела света и статья В. В. Воровского «О М. Горьком», написанная в 1902 г. и выражающая марксистскую оценку раннего творчества писателя. Воровский, подробно анализируя «Супругов Орловых», вскрыл социальные причины, способствующие возникновению и формированию типа Григория Орлова и ему подобных — типа «антиобщественного, апархического по своему психическому укладу». Воровский назвал рассказ «самым замечательным с публицистической точки зрения» (*Воровский*, стр. 58, 61).

А. А. Дивильковский, считая, что «М. Горький никогда и не бывал ни босяцким пророком, ни крайним индивидуалистом — и то и другое лишь навязано ему критиками», видел в писателе «прямого наследника всех русских реалистов-художников»; анализируя «Супругов Орловых», критик отмечал, что «Гришка пьет и дерется вовсе не потому, что так ему велит его врожденная наклонность к пьянству и драке, но потому, что Гришкина душа не удовлетворена жизнью в „яме“ ⟨. . .⟩ душа эта ищет для себя дела — и не находит» («Правда», 1905, февраль, стр. 119, 126, 133).

БЫВШИЕ ЛЮДИ

(Стр. 278)

Впервые, с подзаголовком «Очерк», напечатано в журнале «Новое слово», 1897, № 1, октябрь, стр. 54—80, и № 2, ноябрь, стр. 1—35.

В Архиве А. М. Горького хранится печатный текст $Зн_{10}$ с авторской правкой для *К* (ХПГ-44-12-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 287, строка 34: «избрали» вместо «избирали» (по *ПТ*, *ДЧ*$_{1-2}$, *Зн*$_1$).

Стр. 293, строки 17—18: «в минорном настроении» вместо «в мирном настроении» (по *ПТ*).

Стр. 295, строки 30—31: «вкуса к жизни» вместо «вкуса в жизни» (по *ПТ*, *ДЧ*$_{1-2}$).

Стр. 306, строки 34—35: «бородкой» вместо «бородой» (по *ПТ*, *ДЧ*$_{1-2}$).

Стр. 307, строка 4: «квартирант-от» вместо «квартирант-то» (по *ПТ*, *ДЧ*$_1$).

Стр. 316, строка 37: «побуждал» вместо «возбуждал» (по *ПТ*).

Стр. 325, строка 6: «в глазах» вместо «на глазах» (по *ПТ*, *ДЧ*$_{1-2}$, *Зн*$_{1-3}$).

Стр. 325, строка 7: «наступал» вместо «наступил» (по *ПТ*, *ДЧ*$_{1-2}$, *Зн*$_1$).

Стр. 327, строка 26: «в землю» вместо «на землю» (по *ПТ*).

Стр. 338, строка 33: «над теменем» вместо «под теменем» (по *ПТ*, *ДЧ*$_1$).

В рассказе нашли отражение казанские встречи и впечатления писателя 1885—86 гг. Об этом Горький рассказывал Л. Н. Толстому в 1901—02 гг. На реплику Толстого: «Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы»,— Горький ответил, что «Кувалда — живой человек», которого он увидел впервые в камере казанского мирового судьи (*Г-30*, т. 14, стр. 294). Позднее, в августе 1926 г., Горький писал И. А. Груздеву об автобиографичности рассказа «Бывшие люди» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 66), а затем на письмо того же Груздева ответил: «„Кувалда“— прозвище отставного офицера, фамилию коего я не помню, да едва ли и знал ее. Познакомился я с ним в камере миров⟨ого⟩ судьи Колонтаева, куда зашел, спасаясь от дождя. Судился Кув⟨алда⟩ за скандал в общест⟨венном⟩ месте и удивил меня независимостью поведения перед судьей и замысловатостью своих ответов. Ночлежка его помещалась в конце З⟨адне⟩-Мокрой, у городских свалок. В пьяном виде К⟨увалда⟩ любил декламировать Полежаева:

Я — погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал.

Это всегда очень волновало меня» (там же, стр. 79—80).

Вскоре после описанной встречи будущий писатель вынужден был перебраться в ночлежку Кувалды на Задне-Мокрой улице, где прожил с июня по октябрь 1885 г. «В Казани,— писал он позднее,— близко сошелся и долго жил с „бывшими людьми“: зри „Коновалов“ и „Бывшие люди“» (*Г-30*, т. 23, стр. 438).

Обитатели ночлежки и послужили прототипами героев «Бывших людей». О том, что в рассказе воплотились именно казанские впечатления, свидетельствует письмо Горькому А. С. Деренкова от 25 сентября 1914 г.: «Благодарю за книги. Прочитал с большим удовольствием, особенно понравился мне рассказ

„Бывшие люди", может быть потому, что описываются знакомые места и часто знакомые люди» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-15-1).

Материалы цензурного комитета показывают, что произведения Горького, помещенные в журнале «Новое слово», явились одной из причин правительственных гонений на этот журнал и закрытия его в ноябре 1897 г. Цензор А. А. Елагин в донесении о ноябрьской книжке «Нового слова» за 1897 г. писал:

«Задорный тон, резкость выражений журнала постоянно обращали на себя внимание цензуры: о содержании многих книг комитет доносил Главному управлению по делам печати и несколько раз из журнала вырезывались целые статьи. Эти меры имели, однако, мало влияния, доказательством чего служит представленная в комитет 20 ноября вторая книжка журнала.

В отделе беллетристики очерк М. Горького „Бывшие люди" рисует сочувственными штрихами образы босяков, противопоставляя им сытого купца-негодяя и сына его, молодого интеллигента-кулака» («Красный архив», 1925, т. 2, стр. 254). «Бывшие люди» наряду с «Коноваловым» фигурируют как пример недозволенного направления в литературе в обширном докладе начальника Главного управления по делам печати М. П. Соловьева (см. выше примечания к рассказу «Коновалов»). Однако цензурных изъятий в тексте рассказа не было сделано.

После первой публикации рассказ «Бывшие люди» неоднократно редактировался автором. Незначительной правке текст был подвергнут при подготовке его для $ДЧ_1$, более тщательному редактированию (в частности заменялись иностранные слова русскими) — при подготовке для $ДЧ_2$.

В $Зп_{1-3}$ текст «Бывших людей» в основном повторяет текст $ДЧ_2$, а при подготовке $Зн_4$ Горький вновь вернулся к «Бывшим людям», проявив большое внимание к смысловой ёмкости слова, к его значению в данной образной системе.

Фронтальная правка «Бывших людей» была произведена автором в 1922 г. для *К*. Каждая страница текста буквально испещрена поправками. Рассказ после редактуры 1922 г. сократился почти на одну треть по сравнению с первопечатным текстом.

Правка 1922 г. отражала художественную позицию зрелого писателя-реалиста. Горький систематически вычеркивает определения, придающие повествованию субъективный оттенок, устраняет лишенные конкретности эпитеты, опускает пространные авторские ремарки. Вместе с тем редактирование направлено на усиление социальной насыщенности образов и положений. Существенные коррективы вносятся в общую характеристику «бывших людей», в ряде случаев уточняются конкретные описания (см. варианты).

Рассказ «Бывшие люди» вызвал обильную критическую литературу. Еще не вышла в свет книжка журнала «Новое слово» с окончанием произведения, а «С.-Петербургские ведомости»

уже опубликовали «Критические очерки» Н. Ладожского (В. К. Петерсена). Отмечая способность Горького к большим художественным обобщениям, оценивая «Бывших людей» как «прекрасный очерк», рецензент писал: «...являющиеся перед нами фигуры пострадавшего на жизненном поприще ротмистра Кувалды, учителя, развратного расстриги дьякона, мужика с перерезанным горлом, злого неудачника Объедка дышат 〈. . .〉 творческой правдой 〈. . .〉 Заключительная сцена в харчевне Вавилова полна той самой творческой правды, которая всегда сто́ит много больше, чем сухая и случайная правда этнографическая» («С.-Петербургские ведомости», 1897, № 316, 18 ноября).

В статье «О Максиме Горьком и его героях» Н. К. Михайловский коснулся «Бывших людей» в связи с проблемой отношения Горького к мужику. Михайловский признал за писателем широту в постановке и решении этой сложной проблемы. Так, с одной стороны, Тяпà, ненавидя мужиков, изгоняет их из ночлежки, с другой — он же советует учителю ехать в деревню («Русское богатство», 1898, № 9, отд. II, стр. 61, 64). Первый эпизод понят критиком прямолинейно: у Тяпы́ нет ненависти к деревне — он любит ее, тоскует по ней, избегая лишь всего, что может «разбередить душу». Но важен конечный вывод Михайловского. Он пишет, что искания Горького лежат «где-то в стороне от грубого противопоставления деревни и города» (там же, стр. 64).

Касаясь положительных идеалов Горького, Михайловский утверждал в статье «Еще о г. Максиме Горьком и его героях», будто выразителем их в «Бывших людях» является Кувалда: «Недаром Аристид Кувалда говорит, что он должен „смарать в себе все чувства и мысли“, воспитанные прежнею жизнью, и что „нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства, нужно что-то такое новое“. Эти люди стоят на точке „переоценки всех ценностей“ и jenseits von gut und böse[1], как сказал бы Ницше» («Русское богатство», 1898, № 10, отд. II, стр. 64). Упрекая Горького в отрыве от народничества, Михайловский усматривал в его программе нигилистическое отрицание всех нравственных норм и общественных идеалов и отождествлял жизненную позицию героев-босяков с мировоззрением самого писателя.

Другие народнические критики, например Ю. Александрович (А. Н. Потеряхин), говоря об отношении Горького к деревне, игнорировали объективность Михайловского. Ненависть Тяпы́ к мужикам Ю. Александрович возводил в абсолют, приписывая Горькому нетерпимое отношение к крестьянству, которое он якобы принес в «жертву ничтожному божку пролетариата» (Ю. Александрович. После Чехова, т. II. Нигилизм-модерн и наши моралисты, М., б. г., стр. 205).

Развернутый анализ «Бывших людей» дал А. О. Недолин. Он справедливо замечал, что рассказ «Бывшие люди» занимает

---

[1] По ту сторону добра и зла (*нем.*).

несколько особое положение в цикле о босяках: «Это не рассказ об одном каком-нибудь типе,— это ряд картин, связанных лишь единством места, времени и лиц. Но это не мешает всем этим лицам, как живым, вставать перед читателем» (А. О. Недолин. Психология босячества. Одесса, 1900, стр. 23). Сравнивая «Бывших людей» с другими рассказами о босяках, Недолин писал, что Горький в данном рассказе гораздо больше внимания уделил изображению страшного быта, что типы босяков — порождение иной социальной среды — «более озлобленные». Тем не менее «Бывшие люди» не только темой, но и характерами, отношением автора к героям органически связаны со всем «босяцким» циклом. Несмотря на вспышки дикой злобы, «измученность суровой судьбой», в «бывших людях», как и в других босяках, есть мягкость, гуманизм (учитель), искания правды и «порядка» (Тяпá), страсть к размаху, «к жизни, захватывающей дух, и, затем, ко всеобщему отрицанию и разрушению» (Объедок). Наиболее любопытный тип босяка в „Бывших людях“ — Аристид Кувалда. «Бывший интеллигент, он обладает еще одной особенностью — умеет формулировать те настроения, какие гнездятся в головах рядовых босяков, не находя себе выражения. И вот почему, представляя сильный интерес в качестве индивидуального характера, он совмещает в себе так много общих босячеству черт, что является как бы его фокусом» (там же, стр. 25).

Общественная и социальная значимость «Бывших людей» принижалась в критическом разборе рассказа И-том (И. Н. Игнатовым). Классифицируя типы босяков, Игнатов отнес Кувалду к категории, которой свойственно деятельное стремление к водворению справедливости на земле. Но эту черту критик возводил лишь к литературной традиции и шаблону «разбойничьего» романа. В рассказе первое место, утверждал он, «занимает ротмистр — хозяин ночлежки, напоминающий своими поступками разбойнических атаманов былых времен 〈. . .〉 Для него жизнь ясна, и эта ясность, насколько можно судить по его поступкам, резюмируется в решении помогать слабым и насколько возможно вредить сильным 〈. . .〉 В витиеватой речи и в отношениях к окружающим людям он стремится исполнить свою миссию благодетельного разбойничьего атамана» («Русские ведомости», 1898, № 170, 21 августа).

А. И. Богданович сосредоточил свое внимание на мысли о внутренней опустошенности и обреченности босяков: около центральных фигур — Кувалды и учителя — «группируются остальные члены союза „бывших людей“, совершенно погибшие люди, опустившиеся до той ступени, когда человек уже перестает различать добро и зло и становится равнодушен ко всему окружающему 〈. . .〉 Им действительно ничего не осталось в жизни, кроме мечтаний о возможности чего-то нового, что должно воскресить их, дать смысл и цель их существованию. Кувалда, конечно, жестоко заблуждается, полагая, что такая „гольтепа“ может сама создать это новое». И если босяки других рассказов для Горького — «беспокойные души», родственные ему самому, если им он отдает все свои симпатии, то «бывшие люди» для

него — «это отброс». К ним «он так и относится, хотя и жалеет их» («Мир божий», 1898, № 7, отд. II, стр. 9—10, 11).

Е. А. Ляцкий увидел в «Бывших людях» оправдание Горьким зла: «Еще вчера сам отверженный от общества, он ввел с собой целую армию таких же отверженных 〈. . .〉 с упоением начал рассказывать о той грязи, в которой они живут 〈. . .〉 Биографии их способны в самом деле возбудить ужас в непредубежденном читателе». «И все эти Челкаши, Объедки, Кувалды, Кубари, Тяпы 〈. . .〉 пришли с Максимом Горьким и без всякого смущения расселись в гостиных и кабинетах „мыслящих“ и „читающих“ интеллигентов» («Вестник Европы», 1901, № 11, стр. 286, 287). О них Горький и рассказывает «с циничной и хвастливой откровенностью». Такие босяки,— пишет критик,— не народ, а отщепенцы с волчьей философией, и поскольку Горький «признает себя солидарным с *миросозерцанием* своих героев, постольку он 〈. . .〉 *антинароден*» (там же, стр. 292).

Основные принципы статьи Ляцкого, яркого представителя либерально-буржуазной критики, опроверг В. В. Воровский в статьях «О М. Горьком» (1902) и «Максим Горький» (1910). Исходные положения Воровского позволяют правильно понять и «Бывших людей», хотя он на этом рассказе специально не останавливался.

Критики демократического и марксистского направления акцентировали внимание читателей на обличительном пафосе произведения.

В статье Скрибы (Е. А. Соловьева-Андреевича) рассказ «Бывшие люди», наряду с другими рассказами Горького о босяках, рассматривался прежде всего со стороны его протестующего начала. Скриба так определял позицию Горького: «Протест — вот слово, которое может служить ключом к пониманию босяцкой психологии в изображении г. Горького». Но, с другой стороны,— уточнял критик,— «насчет безнадежности своих босяков г. Горький, по-видимому, нисколько не сомневается». Называя рассказ «Бывшие люди» самым большим и лучшим рассказом Горького, Скриба заострял свое внимание не на «безнадежности» босяков, а на романтической приподнятости, гордой независимости главного персонажа — Кувалды, который «в последней сцене неизбежного ареста вырастает до больших размеров, как настоящий вольница. Он, пожалуй, красив в эту минуту, как красив преступник, идущий на казнь с гордо поднятой головой». В учителе, психологически ином типе, Скриба подчеркивает тот же протест: «...и в нем сидит протестующее начало, только не *за себя*. На себя он, быть может, даже от излишней совестливости, окончательно махнул рукою» («Новости и биржевая газета», 1897, № 334, 4 декабря).

В. А. Поссе подчеркивал, что «над „бывшими людьми“ тяготеет 〈. . .〉 *тоска-злоба* 〈. . .〉 Тоска-злоба скрывает в себе недовольство окружающими условиями, скрывает в себе полусознательный протест против „подлой жизни“. Злоба толкает „бывших людей“ на борьбу, мелкую, почти бесплодную, но всё же борьбу. Борьба приносит бодрость и жизнь» (В. П о с с е. Пе-

вец протестующей тоски. «Образование», 1898, № 11, отд. II, стр. 50).

Критик А. А. Дивильковский, говоря о новаторской сущности творчества Горького, видит проявление ее прежде всего в трактовке героизма, лежащего в основе его разнообразных босяцких характеров. Героизм, именно как «жажда победы над жизнью», наиболее ярко проявляется, по мнению критика, у Аристида Кувалды. «Кувалда, как и предыдущие босяцкие 〈. . .〉 персонажи, не является для автора идеалом истинного героя 〈. . .〉 Но важно здесь то, что относительная сознательность „ротмистра" дает впервые возможность перевести общие формулы героизма 〈. . .〉 на язык конкретной современности, т. е. ответить на вопрос: где работа для героя в данную историческую эпоху? 〈. . .〉 Кувалда борется против тех, кто, по его мнению,— причина „порчи жизни" — не только его собственной, но и всей жизни вообще» («Правда», 1905, февраль, стр. 136).

Рассматривая босяков, как людей, стремящихся порвать ради свободы, «вольницы» все социальные и семейные узы, М. М. Филиппов писал, что эту бесперспективную картину Горький смягчает тем, что находит в босяках «искру, которая может при известных условиях развиться даже в пламень самопожертвования и героизма 〈...〉 Рассказ „Бывшие люди" особенно типичен по отношению к указанной теме» («Научное обозрение», 1901, № 2, стр. 109).

Сам Горький в статье «О том, как я учился писать» замечал: «Странные были люди среди босяков, и многого я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни „обывателей" говорили насмешливо, иронически, но не из чувства скрытой зависти, не потому что „видит око, да зуб неймет", а как будто из гордости, из сознания, что живут они — плохо, а сами по себе лучше тех, кто живет „хорошо"» (*Г-30*, т. 24, стр. 498). По признанию писателя, в Кувалде его прежде всего «поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в лохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение, с которым он возражал полицейскому, обвинителю, и потерпевшему — трактирщику...» (там же). Заостряя внимание на таких чертах босяцкой психологии, как гордость, презрение к благам жизни, стремление к свободе, полной независимости, способность критически оценивать окружающую их жизнь, Горький отнюдь не возвеличивал босяка. В 1910 г. он писал П. Х. Максимову: «Я, разумеется, никогда и никого не звал: „идите в босяки", а любил и люблю людей действующих, активных, кои ценят и украшают жизнь хоть мало, хоть чем-нибудь, хоть мечтою о хорошей жизни. Вообще русский босяк — явление более страшное, чем мне удалось сказать, страшен человек этот прежде всего и главнейше — невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни» (там же, т. 29, стр. 148; ср. т. 26, стр. 423—424).

Стр. 291. *...были там амаликитяне...*— Древнее племя арабского происхождения, кочевавшее по Аравии.

С т р. 291. *А филистимляне*? — *Филистимляне* — населявшее Сирию древнее племя, история которого, как и история амаликитян, нашла отражение в Библии.

С т р. 292. *А от которого мы из колен Израилевых*? — Израиль (Иаков) — по библейскому преданию, один из родоначальников израильского (еврейского) народа, делящегося по числу сыновей Израиля на 12 колен.

С т р. 292. *...стал рассказывать о киммерийцах, скифах...*— *Киммерийцы* — древнейшие из известных науке племен, населявших северное Причерноморье. *Скифы* — древние ираноязычные племена, кочевавшие в Причерноморье.

С т р. 292. *Татары от Измаила... а он от еврея...*— По библейской легенде, сын еврейского патриарха Авраама и египтянки Агари Измаил — родоначальник народа измаильтян (племена бедуинов), впоследствии — ревностных последователей ислама.

С т р. 292. *Или — эдом*? — Эдом — в древности небольшая страна в Передней Азии (на территории современной Иордании), населенная эдомитянами, по библийскому преданию — потомками Исава, прозванного Эдомом.

МАЛЬВА

(Стр. 343)

Впервые, с подзаголовком «Набросок», напечатано в журнале «Северный вестник», 1897, №№ 11, стр. 1—27, и 12, стр. 1—18.

В Архиве А. М. Горького хранится печатный текст $Зн_{10}$ со значительной авторской правкой для *К* (ХПГ-44-12-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 345, строка 14: «незнакомую» вместо «знакомую» (по *ПТ* и $ДЧ_1$).

Стр. 346, строка 28: «бородке» вместо «бороде» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-3}$).

Стр. 351, строка 11: «одежу» вместо «одежду» (по *ПТ*, $ДЧ_1$).

Стр. 351, строка 38: «смотрел» вместо «смотреть» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$).

Стр. 359, строка 9: «Яков» вместо «Василий» (по смыслу).

Стр. 360, строка 27: «бывала» вместо «бывало» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-3}$).

Стр. 360, строка 29: «в воздухе» вместо «в воздух» (по *Пр* $Зн_{10}$).

Стр. 361, строка 24: «и расхаживая» вместо «то расхаживая» (по *ПТ*).

Стр. 361, строки 40—41: «увидал Мальву. Она сидела на корме» вместо «увидал Мальву на корме» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-3}$, $Зн_{1-10}$).

Стр. 362, строка 12: «на него» вместо «на ноги» (по *ПТ*, $ДЧ_1$).

Стр. 363, строки 40—41: «не делая» вместо «делая» (по *ПТ*).

Стр. 372, строка 11: «отряхивая песок с платья» вместо «встряхивая песок с глатья» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$, $Зн_{1-3}$).

Стр. 375, строка 11: «у вас начальство» вместо «у нас начальство» (по *ПТ* и $ДЧ_1$).

Стр. 385, строка 40: «было тяжело» вместо «тяжело» (незаконченная правка).

Стр. 388, строка 6: «тоже точно» вместо «точно» (по всем предшествующим изданиям).

Стр. 392, строки 40—41: «сердито» вместо «сильно» (по *ПТ*, $ДЧ_{1-2}$).

Написано, по-видимому, в Мануйловке, где Горький жил с 10 мая по 23 октября 1897 г. А. Е. Богданович утверждал, что «Мальва» именно отсюда была отослана в редакцию (см. А. Е. Богданович. Страницы из жизни М. Горького. Минск, 1965, стр. 27). Это совпадает с воспоминаниями учителя Т. Теплоухова, записанными Дм. Косарпком (Д. М. Коваленко) со слов сына учителя. Теплоухов рассказывал, что видел рассказ в рукописи в момент ее отправки в редакцию; было это, как ему помнится, «летом» в Кременчуге, куда Горький приехал из Мануйловки вместе со своим знакомым, учителем мануйловской школы С. Ф. Самойленко (см. книгу: Пушкін, Шевченко, Горький в народних переказах. Записав Дм. Косарик. ⟨Киев⟩, 1937, стр. 53). В письме редактору журнала «Северный вестник» А. Л. Волынскому, которое предположительно датируется сентябрем 1897 г., Горький писал: «Посылаю рассказ и жду Вашего отзыва о нем» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-9-7-5). По всей вероятности, речь шла о «Мальве».

После выхода журнала «Северный вестник», в котором была напечатана «Мальва», член Цензурного совета Вакар 12 декабря 1897 г. доносил начальнику Главного управления по делам печати: «... в № 12 помещены окончания замеченных в безнравственном направлении: романа „Красная лилия“ (переводный с французского) А. Франса и рассказа сочинения М. Горького под названием „Мальва“. Оба стремятся изобразить в самых ярких красках разврат, царящий в семейном быту, роман — в высшем парижском свете, а рассказ — в быту русских простолюдинов-рыбаков» (цит. по статье: К. М у р а т о в а. Новые цензурные материалы о М. Горьком. «Звезда», 1941, № 6, стр. 178).

В октябре 1898 г. рассказ был представлен в С.-Петербургский цензурный комитет для разрешения публикации его отдельным изданием для народного чтения. В Архиве А. М. Горького хранится доклад цензора с предложением запретить издание и решение цензурного комитета от 25 ноября 1898 г., в котором говорится, что «набросок М. Горького п. з. „Мальва“ к отдельному изданию не дозволен к напечатанию» (ЦД-1-5).

Там же хранится копия более позднего дела, относящегося к 1903 г., о запрещении пьесы «Мальва», переделанной из рассказа Горького М. С. Сиркисом и М. Я. Гохшилером. «Удивляюсь,— пишет цензор,— что авторы выбрали повесть Горького, слишком известную по своей циничности, для сценической обработки. Пьесу эту следует запретить» (ЦД-3-11).

После публикации рассказа в журнале автор неоднократно возвращался к нему, редактируя текст. Первая и вторая серьезные редактуры относятся к периоду подготовки $ДЧ_2$ (в это время

был снят подзаголовок) и $Зн_4$. Наиболее же значительной правке текст рассказа подвергся при подготовке его для *К* (см. варианты).

Позднее к работе над текстом «Мальвы» писатель не возвращался. Но к 1928 г. относится любопытное критическое замечание Горького о языке рассказа: «„Море смеялось“,— писал я и долго верил, что это — хорошо» (*Г-30*, т. 24, стр. 489).

Работая над текстом для *К* в 1922—23 гг., автор это выражение не исправил. Значит ли это, что тогда он относился к нему иначе, чем в 1928 г.? Вероятнее предположить, что, уже тогда оценивая его критически, он не хотел лишать рассказ, написанный в романтическом ключе, органически присущих ему стилевых особенностей.

Романтическая приподнятость «Мальвы» была неприемлема для Л. Н. Толстого и отчасти для А. П. Чехова. В письме от 25 апреля 1899 г. Чехов, сообщив Горькому, что Толстому не нравится «Мальва» (см. выше примечание к рассказу «В степи»), писал: «Он сказал: „Можно выдумывать всё, что угодно, но нельзя выдумывать психологию, а у Горького попадаются именно психологические выдумки, он описывает то, чего не чувствовал“» (*Г и Чехов*, стр. 37). Сам Чехов считал недостатком таких рассказов, как «Мальва» и «На плотах»,— «несдержанность» «в изображении женщин 〈. . .〉 и любовных сцен» (там же, стр. 27).

Первые печатные отзывы о «Мальве» появились уже в 1897 г. Рассказ был принят критиками как новое свидетельство незаурядного таланта автора. Однако замысел автора большинству из них показался неясным, а общий смысл рассказа — непонятным и странным. Так, Н. Ладожский (В. К. Петерсен) писал: «В лице г. Горького мы, кажется, имеем талант и сильный и, несомненно, оригинальный. Пока, однако, этот талант имеет более прав на название странного. Дарование свое автор „Мальвы“ и „Бывших людей“, по-видимому, всецело хочет отдать на описание самых низких, самых несчастных подонков общества: золоторотцев, ночлежников, пьяниц и промысловых рабочих с сопровождающими их проститутками. Не слишком веселая компания, как видите!» («С.-Петербургские ведомости», 1897, № 316, 18 ноября).

Многие критики подошли к рассказу с меркой эмпирического правдоподобия. В. В. Чуйко в статье «В поисках за молодыми беллетристами. Из записной книжки старого критика» резюмировал: «Мальва, простая работница, безграмотная, путающаяся с рыболовами и развратничающая,— нечто вроде разочарованной, какие часто встречаются в старых романах Фредерика Сулье или Евгения Сю. А впрочем, и Васплий — такой же разочарованный философ 〈. . .〉 Сомнительно, чтобы г. Горький, хотя бы на Каспийском море, встречал таких рыболовов, разочарованных философов, предпочитающих природу людям. Всё это фальшиво, книжно, надуманно, незрело, всё это отзывается старой романтикой с ее напыщенной лирической мишурой. Но, отмечая эту надуманную претенциозность молодого автора, нельзя одна-

ко же не заметить, что рядом с этим у него встречаются метко подмеченные черты народа, он, несомненно, изучил рабочий быт и рабочих, знает их и по временам верно изображает их. Неприятна только эта смесь фальшивого, напускного лиризма — с живо схваченными чертами действительности» («Новь», 1897, № 23, 1 декабря, разд. II, стр. 20—21).

Автор анонимной статьи в журнале «Книжки „Недели“» увидел в «Мальве» произведение декадентское. Он писал: «В полноте раскрыть душу русского крестьянина, обновленную декадентством, взял на себя г. Горький, писатель не без дарования и потому достойный не только сожаления, но и внимания 〈. . .〉 Как у всех декадентских красавиц, у Мальвы — *зеленые* глаза, и она также себя сравнивает с облюбованною декадентами птицей — чайкой. Живет она, или вернее — „ходит“ к промысловому караульщику Василию, мужику уже на пятом десятке, но на свою связь смотрит свободно: „Я здесь ничья! Свободная... как чайка! Куда захочу, туда и полечу! Никто мне дороги не загородит! Никто меня не тронет!“ 〈. . .〉 Сережка — тип отчаянного человека и дерзкого балагура, какие действительно существуют в народе; но автор придал и ему вид какого-то декадентского Диогена 〈. . .〉 Не ограничиваясь одними типами, автор и самую технику рассказа ведет декадентскими штрихами. Он с особенною любовью и отчетливостью останавливается на мелочах, с ришпеновскою смелостью избирает самые неэстетические моменты...» («Книжки „Недели“», 1897, № 12, стр. 221—223). В. А. Поссе, высоко отозвавшийся о «Мальве» в письме к Горькому от 26 января 1898 г. («После „Челкаша“ это лучшая Ваша вещь. Вы теперь в сущности единственный беллетрист. Чтоб понять Вас, надо больше, чем имеется у наших „ценителей“, но и они начинают чуять»), так охарактеризовал эту рецензию: «Пошлая „Неделя“ написала о „Мальве“ что могла — пошлость» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-15).

Наиболее развернутый разбор рассказа дан в статье без подписи (автор — П. Ф. Николаев) «Периодические издания» в библиографическом отделе журнала «Русская мысль». Критик устанавливает параллели между творчеством Горького, с одной стороны, и творчеством Короленко и Помяловского, с другой, иногда очень верно оттеняя художественное своеобразие молодого писателя. «Г-н Горький по своему обыкновению и в *Мальве* немногими резкими штрихами рисует нам море, реющих над ним чаек, каменистый или песчаный берег; и от его рассказа действительно веет соленым воздухом этого моря; читатель действительно видит и ласковые волны, плещущие у его ног, и яркие лучи южного солнца, и слышит крик чаек, занятых своей вечной неугомонной борьбой за существование. И личности, о которых идет речь в рассказе, составляют как бы необходимое дополнение к этому ландшафту; они гармонируют с ним 〈. . .〉 Вы чувствуете, что ни на каком ином фоне они не могли бы представляться вам такими яркими» («Русская мысль», 1898, № 1, разд. III, стр. 41). Недостатком рассказа критик считает повторение мотивов и об-

разов, уже встречавшихся в предыдущих произведениях Горького (там же, стр. 41—42).

Труднейшей загадкой для критики оказалась фигура главной героини рассказа, Мальвы. Тот же Николаев с недоумением вопрошал: «что такое, в самом деле, Мальва, если оставить в стороне ее внешние черты ⟨. . .⟩ отлично выписанные? Откуда в ней эти порывы к чему-то возвышенному, к идеальному? Откуда в это бурное сердце забрались чувства великой жалости, великодушия, преклонения пред всем выдающимся из обычной низменной обстановки, готовности к жертве, соединенные с неудержимым стремлением к воле, к женской свободе? ⟨. . .⟩ Почему она в своей тяжелой трудовой и вместе с тем бесшабашной жизни зачитывается житием Алексея божьего человека и, даже не понимая его подвига, задумывается над ним и тяготеет к нему? Что ее тянет к Василию, с его, так сказать, остатком благообразия, и отталкивает от „щенка“ Яшки ⟨. . .⟩ и в конце концов приводит к преклонению пред Сережкой, как истым представителем отрицания всяческих нравственных устоев, сложившихся вековым процессом? Г. Горький не дает ответа...» (там же, стр. 42—43).

В статье «Еще о г. Максиме Горьком и его героях» Н. К. Михайловский сравнивает Мальву с героинями Достоевского: «Мальва — фигура чрезвычайно любопытная, и нам тем более надо на ней остановиться, что едва ли не во всех женщинах г. Горького есть, так или иначе, немножко Мальвы. Это тот самый женский тип, который мелькал перед Достоевским в течение чуть не всей его жизни: сложный тип, тоже находящийся jenseits von gut und böse, так как к нему решительно неприменимы обычные понятия о добром и злом ⟨. . .⟩ Мальва г. Горького принадлежит к этому же типу, но она яснее, попятнее загадочных женщин Достоевского ⟨. . .⟩ и дело здесь не в силе г. Горького, а в той грубой и сравнительно простой среде, в которой выросла и живет его Мальва и благодаря которой ее психология элементарнее, яснее, сохраняя, однако, те же типические черты, которые тщетно старался уловить Достоевский ⟨. . .⟩ он вводит нас в среду, где не стесняются в словах и жестах, поют откровенные песни, ругаются крепкими словами, походя дерутся и где поэтому известные душевные движения получают осязательное, почти животное выражение» («Русское богатство», 1898, № 10, разд. II, стр. 65—66, 68).

Глубоким пониманием Мальвы и других женских образов Горького отличаются высказывания В. В. Воровского в статье «Максим Горький» (1910): «...возьмите старуху Изергиль,— говорит критик,— какое богатство переживаний, какая глубина чувства у этой женщины, имеющей право с презрением взглянуть на бесстрастную, худосочную любовь „культурных“ людей. То же Мальва, то же Марька из „На плотах“ ⟨. . .⟩ Те духовные черты, которые должны бы явиться украшением человека,— смелость и гордость, свободолюбие и презрение к власти денег, сильные чувства и искренние порывы — всё это растеряно и забыто образованным обществом. К позору культурного мира, эти

черты можно встретить лишь среди отбросов общества» (*Воровский*, стр. 258).

В Архиве А. М. Горького хранятся письма некоторых писателей, свидетельствующие о том, какую огромную роль сыграла «Мальва» и другие рассказы в их жизненной и писательской судьбе. Поэт С. А. Обрадович, рассказывая Горькому о своих исканиях смысла жизни, писал 21 марта 1928 г.: «Лет 14 я 〈. . .〉 читал беспорядочно: и художественную литературу, и Четьи-Минеи, и философию 〈. . .〉 Запутался и в один „прекрасный“ день посмотрел на высохшего у верстака, такого бессильного, измученного в 35 лет отца, на мать, плакавшую над люлькой 〈. . .〉 взял веревочку и полез на чердак. Паутина, пылища, рухлядь в углу и ... книги... Взял одну, сбил пыль и читал до темноты, а когда вышел, помню — мир был так тих, необычайно нов, красив, и люди были спокойны, хороши и сильны.

И мне хотелось жить.

Читал я тогда Вашу „Мальву“ и „Старуху Изергиль“.

Всё мое устремление творческое к тому: написать так, чтобы прочел человек, и на *землю* и на *человека* взглянул жадными и радостными глазами» (Архив А. М. Горького, КГ-п-54-14).

В письме С. С. Юшкевича от 25 сентября 1922 г. говорится: «Время „Челкаша“, „Мальвы“, „Бывших людей“ осталось в душе как первая любовь, и годы не погасили этой любви 〈. . .〉 и теперь, усталый, чувствую, что тогда я жил, жил прекрасной верой, носил в себе большую любовь к людям, склонялся перед литературой, в которой Вы блестяще шли первым» (там же, КГ-п-90-18-7).

«Мальва» послужила основой для создания ряда произведений, музыкальных и драматических. В 1906 г. молодой киевский композитор Л. Г. Яновский написал трехактную оперу на сюжет «Мальвы» (см. «Русские ведомости», 1906, № 137, 26 мая). В 1907 г. в Пизе (Италия) была поставлена опера Арсеньева по мотивам рассказа («Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф», 1907, № 3, стр. 34).

Народный артист СССР В. Р. Гардин в воспоминаниях, хранящихся в Архиве А. М. Горького, рассказывает о своем разговоре с писателем в 1916 г. об экранизации «Мальвы» и «Челкаша». На просьбу Гардина разрешить экранизацию Горький ответил советом подождать до лучших времен: «Не хочется мне иметь дело с биржевиками. Пока в кинематографе хозяйничают эти господа, я остерегаюсь его. Не сговорпться мне с биржевиком! 〈. . .〉 А сказать правду,— очень хотелось бы видеть и „Мальву“ и „Челкаша“ на экране. Ведь природа этих рассказов имеет большое значение. Весь сюжет „Челкаша“ строится на параллели с природой. А „Мальва“? Вся в брызгах, в морской пене... Возможности кинематографа очень соблазнительны 〈. . .〉 всё же боюсь! Боюсь, что в конце концов попадет на экран один лишь выхолощенный сюжет. Пропадут люди, исчезнут характеры, испарится мысль. Останется голый сюжет! Кинематографу очень

трудно стать настоящим искусством, пока он в руках дельцов» (Архив А. М. Горького, МоГ-3-22-1).

На сцене театров «Мальва» ставилась несколько раз. Одна из постановок, к которой Горький имел непосредственное отношение, была осуществлена в Москве, в театре-студии имени М. Горького в 1921 г. (см. «Культура театра», 1921, № 3, 10 марта, стр. 55). Пьеса шла в сезон 1921—1922 гг.

К осени 1925 г. относится письмо Горькому артиста и режиссера МХАТ В. В. Лужского: «У нас в МХАТ на Малой сцене (бывш. 2-я студия) молодежь недавно прекрасно показала сцены, стряпанные из Ваших двух рассказов „Мальва“ и „Челкаш“. Стряпано удачно. Актеры играют хорошо. Константин Сергеевич и наша режиссерская коллегия спектакль приняли» (Архив А. М. Горького. КГ-дп-6-15-1).

С т р. 360. *Он нанялся на ватаги...*— Ватага — рыбачья артель.

С т р. 371. *Про Алексея божия человека.*— Имеется в виду повесть об Алексее — человеке божием, переводный памятник житийной литературы.

С т р. 391. *...проводила, жалко стало? — снова спросил ее Сережка словами песни.*— Народную песню типа «Матани», со словами: «Проводила,— жалко стало, Стою, плачу у вокзала...»,— приводит В. Арефьев (см. Н. А-ф-в. Новые народные песни. Деревенские думы и дела.— «Саратовский дневник», 1893, № 285, 30 декабря).

II

ИДИЛЛИЯ

(Стр. 395)

Впервые, под названием «Ради них» и с подзаголовком «Идиллия», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 258, 18 сентября.

В 1904 г. Горький отредактировал текст рассказа и переиздал его под заглавием «Идиллия» в «Нижегородском сборнике» (СПб., изд. «Знание», 1905; изд. 2, 1905; изд. 3, 1906; издания идентичны).

Печатается по тексту первого издания «Нижегородского сборника».

Издание «Нижегородского сборника» было задумано летом 1902 г. К концу года специальная комиссия получила согласие В. Г. Короленко, М. Горького, Л. Андреева, И. Бунина, П. Боборыкина и ряда других авторов участвовать в сборнике. Горький дал, кроме того, согласие стать редактором сборника. К концу 1904 г. работа была закончена, но январские события 1905 г., арест Горького задержали издание. Только 23 февраля, после выхода Горького из Петропавловской крепости, книга была сдана в цензуру (см. письмо Горького председателю комиссии по изданию «Нижегородского сборника» Н. Н. Иорданскому — *Г-30*, т. 28, стр. 364) и наконец вышла из печати. Сборник выпускался с благотворительной целью: «Весь доход с издания поступает в распоряжение Общества взаимопомощи учащих Нижегородской губернии на устройство общежития для учительских детей». А. П. Чехов незадолго до своей смерти прислал письмо с обещанием принять участие в сборнике; воспроизведением факсимиле этого письма открывается книга. Кроме «Идиллии», Горький дал в сборник «Отрывки из воспоминаний об А. П. Чехове» и «Девочку», публиковавшиеся впервые, а также заново отредактированные для сборника ранние рассказы «Вода и ее значение в природе и жизни человека» и «Часы» [1].

Подготавливая рассказ «Идиллия» для «Нижегородского сборника», автор, помимо изменения названия, провел и редакторскую правку (см. варианты).

Рассказ вызвал резкие нападки критики. В. П. Буренин назвал произведения Горького, помещенные в сборнике, «хламом»

[1] Об истории создания сборника и участии в нем Горького см. Н. П. Капралов. М. Горький и «Нижегородский сборник» в книге: М. Горький в Н. Новгороде. Н. Новгород, 1928.

(«Новое время», 1905, № 10450, 8 апреля). Как «несомненно плохие» оценил рассказы «Вода и ее значение в природе и жизни человека», «Идиллия» и «Часы» В-ий (С. Волжский) («Вопросы жизни», 1905, № 3, стр. 300). Буржуазные критики, хотя и нравившие в этот период в либерализм, тем не менее отрицательно отзывались о произведениях, перепечатанных Горьким в «Нижегородском сборнике». «Очень хорошо делает писатель,— утверждал А. А. Измайлов,— что не вводит этих пустячков в собрание своих сочинений. Но даже и просто воспроизводить их едва ли стоило бы. Это когда-нибудь может быть не лишено интереса для биографа, но не нужно для обрисовки фигуры Горького как художника» («Биржевые ведомости», 1905, № 8832, 20 мая).

Аналогичное мнение высказал и Н. Коробка, писавший о помещенных в сборнике произведениях Горького, что «все эти вещи ничего не прибавляют к славе нашего писателя» («Сын отечества», 1905, № 53, 17 апреля).

КАК МЕНЯ ОТБРИЛИ...

(Стр. 403)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 262, 22 сентября.

Печатается по тексту газеты.

С т р. 406. *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 138) — представитель римской стоической философии, автор афоризма: «Владей своими страстями, или они овладеют тобою».

С т р. 406. *Зенон* из Китиона на острове Кипре (ок. 336—264 до н. э.) — основатель стоической философской школы в Афинах.

С т р. 406. ...*«далматский порошок»* — средство от насекомых.

С т р. 407. *Эмар Гюстав* (псевдоним Оливье Глу, 1818—1883); *Заккон Пьер* (1817—1895); *Монтепен Ксавье де* (1823—1902)— французские писатели, авторы остросюжетных романов. *Понсон дю Террайль* Пьер Алексис (1829—1871) — создатель известной серии авантюрных романов «Похождения Рокамболя» и «Воскрешение Рокамболя». *Салиас* (Салиас-де-Турнемир) Е. А. (1840—1908) — русский писатель, автор исторических романов. *Пазухин* А. М. (1851—1919) — русский беллетрист, автор многочисленных романов («Тайна Воробьевых гор», «Женская доля» и др.). *Кондратьев* И. К. (1870—1904) — русский беллетрист и драматург, автор псевдоисторических романов («Великий разгром», «Гунны» и др.). *Хрущев-Сокольников* Г. А. (1845—1890) — русский писатель, автор романа в стихах «Великосветская Нана». *Рудниковский* (псевдоним М. Н. Былова, ум. 1918), русский беллетрист.

С т р. 407. *Торквемада Томас* (1420—1498) — глава испанской инквизиции, отличался исключительной жестокостью.

КРАСОТА

(Стр. 411)

Впервые, с подзаголовком «Рассказ одного романтика», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 269, 29 сентября.

В Архиве А. М. Горького хранится газетная вырезка первопечатного текста, правленная автором для $ДЧ_2$ (см. примечания к рассказу «Красавица», т. II, стр. 621). Однако рассказ в это издание не вошел.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок», с учетом исправлений, внесенных в него автором (ХПГ-35-13-1).

Редактируя рассказ, Горький снял подзаголовок, сделал некоторые сокращения и внес несколько мелких поправок (см. варианты).

ПОЭТ

(Стр. 418)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 286, 16 октября.

Печатается по тексту газеты.

«ВОДА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»

(Стр. 427)

Впервые, с подзаголовком «Исповедь преступника», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 290, 20 октября.

Печатается по тексту первого издания «Нижегородского сборника» (см. выше примечания к рассказу «Идиллия»).

Толчком для создания рассказа послужила ситуация, «рожденная сатирическим воображением Щедрина» (см. Я. Эльсберг. Об одном щедринском разговоре и одном горьковском рассказе. «Огонек», 1947, № 43, 26 октября, стр. 19).

Вскоре после смерти Салтыкова-Щедрина сотрудник «Отечественных записок» Я. В. Абрамов напечатал статью «Памяти М. Е. Салтыкова», где рассказал, в частности, о беседе с великим сатириком, в которой, кроме автора статьи, участвовал и А. Я. Герд: «М. Е. 〈. . .〉 начал добродушно подсмеиваться над гимназией, в которой училась его дочь и директором которой состоял А. Я. Герд. „Какие у них там темы для сочинений даются, — говорил он, обращаясь ко мне и кивая на А. Я.: — не угодно ли написать сочинение „о пустыне и море“! Да ни одна из учениц не видела отродясь никакой пустыни, а вместо моря видела только „Маркизову лужу“ (устье Невы) — вот и сочиняй 〈. . .〉 Я сам уж попробовал написать сочинение для вашего свирепого учителя,— продолжал М. Е., обращаясь к А. Я. Герду,— и ничего,

слава богу, получил за свое сочинение тройку!"» («Неделя», 1889, № 19, 7 мая, стр. 611—612).

В «Нижегородском сборнике» рассказ опубликован с подстрочным примечанием: «Этот и следующие два рассказа 〈„Идиллия" и „Часы"〉 были напечатаны в провинциальных газетах несколько лет тому назад».

Готовя рассказ для «Нижегородского сборника», Горький значительно его переработал. Был снят подзаголовок. Сделано много вычерков. Отдельные места исправлены, уточнены (см. варианты).

К перепечатке Горьким своих ранних произведений в «Нижегородском сборнике» критика отнеслась отрицательно (см. выше примечания к рассказу «Идиллия»).

С т р. 433. *Паульсон* И. И. (1825—1898) — русский педагог, методист по первоначальному обучению.

РОМАН

(Стр. 435)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 297, 27 октября.

Печатается по тексту газеты.

С т р. 443. *...за бесписьменность* — т. е. за отсутствие паспорта.

НЕМОЙ

(Стр. 445)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 316, 15 ноября.

Печатается по тексту газеты.

Легенда о Юзгляре ранее была обработана Горьким в стихотворном произведении — «Юзгляр», имеющем подзаголовок «Рассказ киргизца» (см. в т. I наст. пзд.). По-видимому, Горький колебался, к какому национальному первоисточнику следует отнести легенду — башкирскому или киргизскому. След этого колебания сохранился и в тексте «Немого»: на стр. 446 осталось «о житье-бытье киргиз».

ВСТРЕЧА

(Стр. 448)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 321, 20 ноября.

Печатается по тексту газеты с исправлением: «в плоть и кровь автора» (стр. 452, строка 5) вместо «в печать и кровь автора» (по смыслу).

Старый коммунист С. И. Мицкевич в воспоминаниях «Об Алексее Максимовиче Пешкове — Максиме Горьком», характеризуя взгляды Горького в 1890-х гг., подчеркивает неприязнь писателя к ренегатам. Горький резко критиковал людей, «отрицающих революционные пути и считающих, что теперь всего важнее скромная культурная работа...» (Архив А. М. Горького, МоГ-9-12-1). Об одном из них повествуется в рассказе «Встреча».

Сопоставление двух эпох: 60-х и 80—90-х годов — очень характерно для молодого Горького. Оно встречается во многих фельетонах, написанных в тот же период. Так, в фельетоне «Несколько теплых слов» писатель бичевал «наше бедное подвигами время», сожалея, что живет в «худосочное скептическое время, среди всеобщей моральной нищеты, среди шатания мысли и смятения духа...» (*Г-30*, т. 23, стр. 8).

С т р. 449. «*Чичерроваккио с сыном...*» — Итальянский революционер Анджело Брунетти (1800—1849), по прозвищу Чичерроваккио, 10 августа 1849 г. вместе со своим тринадцатилетним сыном был расстрелян австрийцами. Здесь — лубочная картинка на этот сюжет.

С т р. 449. *Тьер Адольф* (1797—1877) — французский государственный деятель, организатор расправы над парижскими коммунарами.

ЧАСЫ

(Стр. 456)

Впервые, с подзаголовком «Элегия», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 323, 22 ноября.

Печатается по первому изданию «Нижегородского сборника» (см. выше примечания к рассказу «Идиллия»).

В конце 1904 г. Горький переработал «Часы» — снял подзаголовок, написал новую, заключительную главу. Существенной была и стилистическая правка (см. варианты).

Первые критические отклики появились в печати после опубликования произведения в «Нижегородском сборнике». Как и другие перепечатанные в сборнике рассказы Горького, как весь сборник в целом, «Часы» были встречены буржуазной и декадентской критикой резко отрицательно. В. П. Буренин назвал это произведение собранием «прописных» истин («Новое время», 1905, № 10450, 8 апреля). И. Смирнов нашел в произведении «пересказ плохо понятых по русским переводам идей Ницше» («Весы», 1905, № 4, стр. 48). Более сдержанно, но тоже отрицательно, отозвался о «Часах» А. А. Измайлов. «„Часы“,— писал он,— род стихотворения в прозе, вместившего размышления о вечности, времени, человечестве, счастье и страдании, жизни и смерти, величии и ничтожестве 〈. . .〉 на пяти страничках. Вещица выдает всегдашнюю склонность Горького пофилософствовать. Но особенно слаб в этой стороне наш талантливый писатель, и „Часы“, как „Человека“, надо отнести к слабейшим его вещам».

Сетуя на то, что Горький перепечатывает свои ранние «пустячки», критик заключал: «Очень значительная разница между нынешним Горьким и ранними посредственными попытками первого заявления его о себе в литературе» («Биржевые ведомости», 1905, № 8832, 20 мая).

С т р. 459. *Иов* — имя «праведника» из ветхозаветной книги, носящей его имя. Цитата не совсем точна: «На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого бог окружил мраком» «Книга Иова», гл. 3, стих 23).

ШАБРЫ

(Стр. 461)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, №№ 332, 334 и 337, с 1 по 6 декабря.

В Архиве А. М. Горького хранится вырезанный из газеты текст рассказа с начатой авторской правкой.

Печатается по тексту вырезки из «Нижегородского листка» (ХПГ-48-5-1).

В конце 1897 г. издатель и редактор ряда демократических изданий и сборников В. С. Миролюбов обратился к Горькому с просьбой о сотрудничестве в «Журнале для всех» — литературно-научном издании, рассчитанном на широкий круг читателей. В частности, он просил разрешения перепечатать из «Русского богатства» рассказ «Челкаш». Горький горячо отозвался на предложение издателя. В конце декабря 1897 г. или начале января 1898 г. он писал Миролюбову: «Рад, что Вы сообщили мне о начале Вашего славного дела 〈. . .〉 Разумеется, печатайте „Челкаша“, если полагаете, что он подходящ для публики, на которую Вы рассчитываете. И еще я Вам, Виктор Сергеевич, показал бы рассказик „Шабры“, напечатанный в октябре в „Нижегор〈одском〉 листке“, и рассказ „Ефимушка“ (там же, тогда же). Я скоро переезду жить в Нижний и оттуда вышлю Вам эти штуки. Их очень хвалили извозчики, а также и интеллигенция» (*Г-30*, т. 28, стр. 20).

Вероятно, для публикации в «Журнале для всех» Горький и начал править текст рассказа, вырезав его из газеты «Нижегородский листок». Однако правка была прервана в самом начале. Автор исправил только фразу: «Ехали по лощине, промытой дождями» на — «Ехали по оврагу» (стр. 465), не согласовав ее с последующим текстом. Новая публикация рассказа не состоялась.

СВОБОДНЫЕ ДНИ

(Стр. 475)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, №№ 346, 348 и 352, с 15 по 21 декабря.

Печатается по тексту газеты.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ

(Стр. 492)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 356, 25 декабря.

Печатается по тексту газеты.

НАВАЖДЕНИЕ

(Стр. 501)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 359, 29 декабря.

Печатается по тексту газеты.

С т р. 501. *Полуимпериал* — золотая монета в 5 руб., а после 1897 г.— в 7 руб. 50 коп.

С т р. 503. *Пошевни* — широкие сани, розвальни.

С т р. 504. *Дресва* — мелкий щебень.

ВАНЬКА МАЗИН

(Стр. 511)

Впервые напечатано в журнале «Жизнь Юга» (Одесса), 1897, №№ 14—16, с 13 по 27 апреля, в серии «Жалостливые люди (Очерки)», под номером I (под номером II в той же серии был опубликован рассказ «Зазубрина»).

Печатается по журнальному тексту с исправлением: «поест теперь» (стр. 520, строка 9) вместо «поешь теперь» (по смыслу).

Рассказ написан, по всей вероятности, в Алупке, весной 1897 г., когда Горький жил в пансионе М. И. Водовозовой.

При жизни автора рассказ не перепечатывался, хотя писателю напомнил о нем И. А. Груздев в 1929 г. (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 202). По свидетельству С. М. Брейтбурга, Горький ответил решительным отказом на предложение опубликовать этот забытый рассказ в числе других ранних произведений: «При жизни моей рассказы эти не будут изданы» («Красная новь», 1937, № 6, стр. 42).

С т р. 512. *Пещер, пестер* — большая высокая корзина из прутьев или бересты; иногда — корзина средней величины, которую носят на спине.

КРЫМСКИЕ ЭСКИЗЫ

(Стр. 525)

I. Уми. II. Девочка

Впервые напечатаны в газете «Нижегородский листок», 1897, № 148, 1 июня.

Печатаются по тексту газеты.

В Архиве А. М. Горького хранится вырезка из газеты «Нижегородский листок» с текстом рассказа «Девочка» — от слов: «...личико не позволяли дать ей более 10 лет» (стр. 527, строка 38) до конца рассказа (ХПГ-35-14-1). Никаких исправлений в тексте нет. Горький обратился к этому тексту, видимо, в 1899 г., когда намеревался включить «Девочку» в *ДЧ*$_2$. Об этом свидетельствует его письмо к С. П. Дороватовскому, относящееся к июню 1899 г. Горький просил выбросить из второго издания рассказ «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины». «А вместо „Чижа“, чтобы публику не обижать,— писал он,— суньте что-нибудь, если найдется: „Красоту“, „Девочку“...» (*Г-30*, т. 28, стр. 86).

Горький отправил вырезку Дороватовскому, написав на ней: «Н. Л. 97, 148. VI. 1», что означает — где и когда опубликован рассказ («Нижегородский листок», 1897, № 148, 1 июня). Однако в *ДЧ*$_2$ «Девочка» не вошла.

Рассказы написаны в Крыму в начале мая (до 8) 1897 г. (см. А. Е. Богданович. Из жизни А. М. Пешкова. В сб. «М. Горький на родине», стр. 59). Уехав лечиться в Крым, Горький поселился в Алупке и подолгу гулял в знаменитом парке, окружающем дворец Воронцова. Впервые осмотрев его, Горький писал в одном из писем: «...это роскошный парк в несколько верст длиной, с фонтанами, прудом, чудесным дворцом, он расположен на берегу, в нем прелестный воздух. От квартиры нашей это недалеко» (Р. Вуль. А. М. Горький в Крыму, стр. 16). Этот парк описан в эскизе «Девочка». До сих пор неподалеку от Зеркального пруда в Воронцовском парке есть кедр, носящий название «горьковский». Под ним писатель часто отдыхал, о нем же говорится в произведении.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Самара, 1898 г.
Фото Б. Бик (кадр из группы). Фронтиспис

«Очерки и рассказы» М. Горького. Титульный лист второго тома в издании С. Дороватовского и А. Чарушникова . 17

«Коновалов». Цензорские вычерки в рассказе, запрещенном к печати в 1905 году 47

«Очерки и рассказы» М. Горького. Страница из первого издания С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1898 г., с пометами Горького 55

«Баллада о графине Эллен де Курси». Первая страница текста в «Свободном журнале», 1917, № 6, с иллюстрациями В. В. Лебедева 163

«Супруги Орловы». Страница рассказа с правкой М. Горького для издания «Книга» 235

СОДЕРЖАНИЕ

I

	Текст	Примечания
Коновалов	7	535
Варенька Олесова	61	551
Болесь	154	559
Баллада о графине Эллен де Курси, украшенная различными сентенциями, среди которых есть весьма забавные	160	560
Зазубрина	166	561
В степи	174	562
Ярмарка в Голтве	187	567
Озорник	200	570
Супруги Орловы	219	573
Бывшие люди	278	576
Мальва	343	583

II

Идиллия	395	590
Как меня отбрили... *Quasi una fantasia*	403	591
Красота	411	592
Поэт. *Набросок*	418	592
«Вода и ее значение в природе и жизни человека»	427	592
Роман	435	593
Немой. *Башкирская легенда*	445	593
Встреча. *Набросок*	448	593
Часы	456	594
Шабры. *Рассказ*	461	595
Свободные дни. *Этюд*	475	595
Рождественские рассказы. *Рождественский рассказ*	492	596
Наваждение. *Святочный рассказ*	501	596
Ванька Мазин	511	596
Крымские эскизы: I. Уми. II. Девочка	525	596
Примечания	531 —	597
Список иллюстраций		598

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. С. РЮРИКОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили:
И. И. Вайнберг, Л. А. Евстигнеева, Ф. Н. Пичкель,
А. А. Тарасова, Е. А. Тенишева, В. Ю. Троицкий

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор третьего тома *Ю. Я. Барабаш*

*

Редактор издательства *А. И. Корчагин*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технические редакторы *В. Д. Прилепская, О. М. Гуськова*
Корректоры *В. Г. Богословский, Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 14/X 1968 г. Подписано к печати 31/VII 1969 г.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага № 1. Усл. печ. л. 31,562.
Уч.-изд. л. 28,7. Тираж 300 000 экз.
Изд. № 3626/69. Тип. зак. № 3230.
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука»
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28

1р.50к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАУНА»